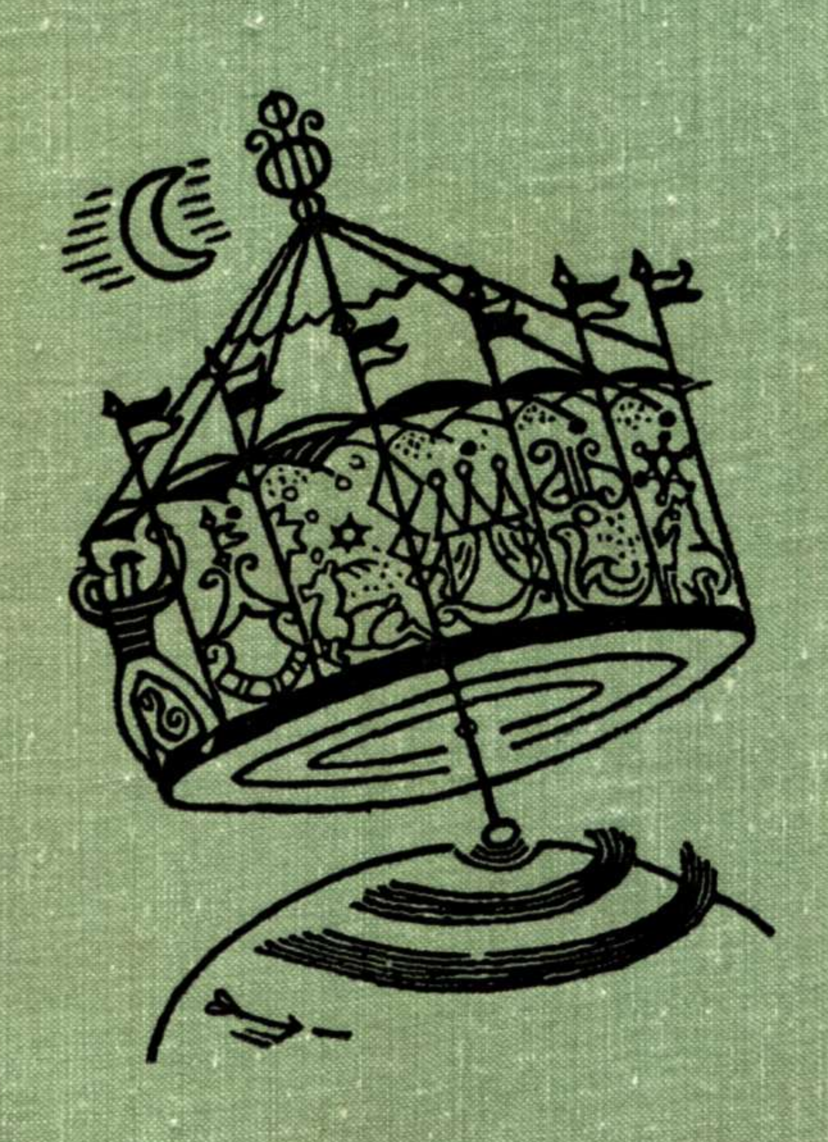
Карел Чапек






МОСКВА «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА» 1975

Карел Чапек

Собрание сочинений в семи томах

С иллюстрациями Карела и Иозефа Чапеков

Москва, «Художественная литература», 1975

Карел Чапек

Собрание сочинений

Том второй

Романы

Перевод с чешского

Москва, «Художественная литература», 1975

И (Чехосл)
Ч 19

Комментарии
С. Никольского

Оформление художников
В. Шумилиной и Л. Рабичева

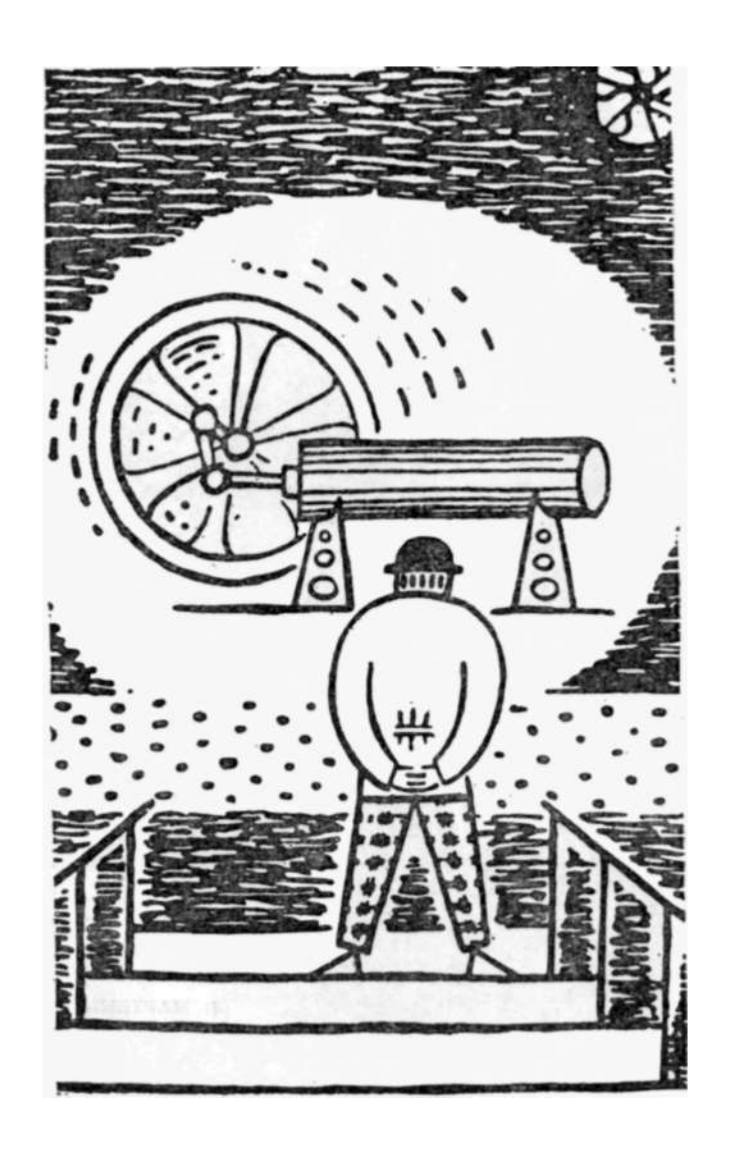
Ч $\frac{70304-272}{028(01)-74}$ **подписное**

Фабрика абсолюта

Роман-фельетон

РИСУНКИ ИОЗЕФА ЧАПЕКА

Перевод
В. МАРТЕМЬЯНОВОЙ



Предисловие

Это предисловие я думал, собственно, написать уже к первому изданию, но не сделал этого, с одной стороны, по причине страшной лени, не помню, чем вызванной, с другой — покоряясь судьбе; честно говоря, предисловием, на мой взгляд, делу не поможешь. Когда книга вышла, я начитался разных вполне заслуженных упреков в ее адрес: дескать, с Бальзаковыми «Поисками абсолюта» ее не сравнить; завершается она пошлым поглощением ливерных колбасок, а главное — это вообще никакой не роман.

Последний довод сразил меня прямо-таки наповал. Каюсь, это действительно совсем не роман. В свое оправдание мне бы теперь хотелось только объяснить, при каких обстоятельствах эта книжка не стала романом.

Однажды весной, в четыре часа дня я дописал «R.U.R.», с облегчением отбросил перо и отправился погулять на Небозизек. Сначала я чувствовал себя легко и свободно, свалив с плеч тяжкий груз каторжного труда, но потом у меня возникло ощущение пустоты, я понял, что мне невыносимо скучно. И спросил себя, — поскольку день все равно испорчен, — не лучше ли пойти домой и написать для газеты фельетон. Подобные решения обычно принимаешь, не имея ни малейшего представления, о чем, собственно, будешь писать; в таких случаях какое-то время расхаживаешь по кабинету, насвистывая какой-нибудь приевшийся мотивчик, от которого невозможно избавиться, или ловишь мух; потом тебе припоминается что-то, и ты садишься за стол. Вот и мне в тот день пришла в голову какая-то давняя идея, я разрезал бумагу на четвертушки и принялся писать фельетон.

Исписав две четвертушки, я сообразил, что для одного фельетона материала слишком много; его хватило бы на шесть фельетонов, и я прервал писание буквально на середине предложения, начертанного на третьей четвертушке.

Месяца два спустя я изнывал в деревне от дождей и одиночества; у меня не оставалось другого выхода, как обзавестись бумагой и закончить наброски шести фельетонов. Затянувшаяся непогода и увлекательный материал

повинны в том, что я настрочил двенадцать глав и сделал заготовки для шести следующих. Потом я послал отделанные двенадцать глав в газету, с просьбой публиковать по одной в «Понедельнике», и поклялся, что тем временем досочиню конец. Пути жизни неисповедимы; одиннадцать глав появились уже в печати, а у меня не было написано дальше ни строчки; я забыл, что это должно пойти в печать, а главное — у меня выпало из памяти, что я напридумывал раньше. Типография настаивала, чтобы я быстрее высылал окончание, и тогда я, словно девушка в сказке, швырнул на дорогу еще одну главу, чтоб они хоть на несколько дней оставили меня в покое.

Преследуемый типографией, я строчил главу за главой; я пробовал обставить заказчика, но он не отставал ни на шаг. Я петлял, словно загнанный заяц; кидался в разные стороны, только бы выиграть время и кое-как поправить то, что напортил во время этой гонки. Судите сами, как долго я держался; такая жизнь продолжалась еще восемнадцать глав, пока я не выбросил белого флага: конец. Неужто и впрямь у этой книжки нет сквозного действия? Разве не захватывает дух эпическое повествование о том, как автор, гонимый эриниями, укрывается в горной хижине и в недрах редакции, на Святой Килде, в Градце Кралове, на тихоокеанском атолле, У Семи Халуп, в трактире у Дамогорских, чтобы именно там, скрестив руки на груди и бросая в лицо своим противникам последние аргументы, объявить о безоговорочной капитуляции? Затаив дыхание, вы следите за тем, как до последнего мгновения он верит, что, несмотря на немилосердную гонку, приближается к цели и, в свою очередь, сам преследует некую цель; и если на тридцатой главе силы оставляют автора, то продолжает жить его вера, что в этом извилистом пути был-таки единый цельный смысл. Это и есть именно тот истинный смысл и сквозное действие романа, который на самом деле вообще никакой не роман, а некая цепь фельетонов; это уточнение я и подписываю нынче на титуле нового издания.

Октябрь 1926 *Карел Чапек*

Глава 1
ОБЪЯВЛЕНИЕ

В первый день нового, 1943 года пан Г. Х. Бонди, президент заводов МЕАС, как всегда, просматривал газеты; несколько неучтиво обойдя сообщения с театра военных действий и миновав очередной правительственный кризис, он на всех парусах понесся по газетному простору («Лидове новины» давно уже впятеро увеличили свой формат и вполне могли служить парусом даже в заморских плаваниях), устремляясь к экономической рубрике. Избороздив экономическую рубрику вдоль и поперек, пан Бонди свернул паруса и позволил себе предаться мечтам.

«Угольный кризис, — отметил пан Бонди, — истощение угленосных пластов. Остравский бассейн надолго прекратил работу. Черт побери, это катастрофа. Придется возить уголь из Верхней Силезии, — вот и подсчитайте, как вздорожает наша продукция; где уж тут выдержать конкуренцию! Ума не приложу, как быть; если еще и Германия повысит тарифы — придется прикрыть лавочку. Акции Промыслового банка тоже катятся вниз. И потом — наши масштабы, о господи! Нелепые, ничтожные, мизерные масштабы! И этот окаянный кризис!»

Пан Г. Х. Бонди, председатель правления, задумался. Что-то раздражало его, мешая рассуждать спокойно. Он снова перелистал отложенные было газетные листы, пока на последней странице не наткнулся на словечко «тение», собственно, даже «ение», потому что на букве «т» газета была перегнута пополам. Именно эта незаконченность не давала пану Бонди покоя. «Скорее всего, это «приобретение», — предположил пан Бонди не слишком уверенно, — или «падение». А может, «изобретение». Акции на азот тоже упали. Страшный застой. Жалкие, до смешного жалкие у нас масштабы. Да нет, чепуха, никому не придет в голову помещать в газете объявления об изобретении... Скорее всего, речь идет о пропаже. Ну да, там, наверно, так и стоит «пропала», ну разумеется...»

Несколько обескураженный пан Г. Х. Бонди снова развернул газету, чтобы положить конец недоразумению, но странное сочетание совершенно потерялось в пестром калейдоскопе объявлений. Он пробегал глазами столбец за



столбцом, а слово пряталось с досадным упорством. Пан Бонди принялся исследовать газету снизу и даже с правой стороны — противное «тение» как сквозь землю провалилось.

Г. Х. Бонди не сдавался. Он снова сложил газету, и — глядь! — ненавистное «ение» появилось само собой; тут пан

Бонди прижал его пальцем, поспешно развернул страницу и... тихо чертыхнулся про себя. Под рукой чернело самое заурядное, самое что ни на есть обыкновенное объявление:

СРОЧНО
— ПО СУГУБО ЛИЧНЫМ МОТИВАМ —
ПРОДАЕТСЯ
ВЕСЬМА ВЫГОДНОЕ ДЛЯ ЛЮБОЙ ФАБРИКИ ИЗОБРЕТЕНИЕ.
ОБРАЩАТЬСЯ К ИНЖ. Р. МАРЕКУ, БРЖЕВНОВ, 1651.

«Стоило волноваться, — посетовал пан Г. Х. Бонди, — из-за каких-то патентованных подтяжек! Мелкие жулики, шуты гороховые помещают глупейшие объявления, а я трачу на них целых пять минут!

Нет, я положительно схожу с ума. Мизерные масштабы! Никакого простора для деятельности, никакого размаха!»

Президент Бонди поудобнее устроился в качалке, чтобы с комфортом прочувствовать всю пагубность узкого поля деятельности. Правда, МЕАС — это десять заводов, тридцать четыре тысячи рабочих. МЕАС — ведущее предприятие по производству металлических изделий, а по производству котлов МЕАС просто вне конкуренции. Колосники МЕАС на уровне мировых стандартов. Но за двадцать лет работы — господи боже! — в других-то условиях удалось бы добиться кое-чего и побольше...

Г. Х. Бонди вдруг подскочил в своем кресле. «Инженер Марек, инженер Марек! Погоди-ка, не тот ли это Марек, по прозвищу Рыжий, Рудольф, Руда Марек, дружище Руда из Политехнического? Да, да, да, в объявлении так и сказано: «инж. Р. Марек». Руда, крокодил ты этакий, возможно ли?! Ах, шалопай, до чего докатился! Предлагать «весьма выгодное изобретение» — ха-ха-ха — «по личным мотивам», знаем мы эти «личные мотивы» — денег нет, да? И ты задумал поймать жар-птицу на какой-то грязный, засаленный патент? Ну да, ты ведь вечно носился с идеей перевернуть мир. Ах, голубчик, что сталось теперь с нашими великими идеями! Куда девалась великодушная и легкомысленная наша молодость!»

Президент Бонди снова откинулся в кресле. «Похоже, что это и в самом деле Руда Марек, — размышлял он. — А Марек — это голова! Немножко прожектер, но что-то в нем было. Идеи были. А впрочем, совсем никудышный

человек. Проще говоря, сумасброд. Странно, как это из него профессор не получился? Почти два десятка лет мы не виделись, бог знает чем он занимался все это время; похоже, докатился до ручки; скорее всего, дошел окончательно; живет, бедняга, где-то в Бржевнове и пробавляется... изобретениями. Да, страшный конец!»

Пан Бонди попытался представить нищету «дошедшего до ручки» изобретателя. И ему удалось вообразить взлохмаченную голову и заросшую щетиной физиономию, грязные, тонкие, будто картонные стены — словно в кино. Мебели — никакой; в углу матрац, на столе убогое сооружение из катушек, гвоздей и обгоревших спичек; мутное окошко выходит на задворки. И в обстановке этой беспросветной нужды появляется гость, облаченный в богатую шубу. «Я хотел бы познакомиться с вашим изобретением». Полуслепой изобретатель не узнает давнишнего приятеля; покорно опускает он нечесаную голову, соображая, куда бы усадить гостя, и — о, милосердный боже! — окоченевшими от холода, скрюченными трясущимися пальцами пытается привести в движение свою жалкую машинку, какой-то невообразимый перпетуум-мобиле, и в смущении лепечет, что это *могло бы* работать, *наверняка* могло бы, если бы... если бы он в состоянии был купить... приобрести... Гость в роскошной шубе обводит взглядом жалкую чердачную каморку и вдруг молча вынимает из кармана кожаный кошелек и кладет на стол тысячу, вторую («Да хватит уж!» — перепугался сам пан Бонди)... третью. («Между прочим, довольно бы и тысячи», — одергивает пана Бонди какой-то внутренний голос.) «Это — на дальнейшие ваши работы, пан Марек, нет, нет, вы совершенно ничем не обязаны. Ах да, мое имя! Ну, это пустяки. Считайте меня вашим другом».

Президент Бонди остался очень доволен и даже тронут нарисованной картиной. «Пошлю-ка я к Мареку своего секретаря, — решил он, — сейчас или завтра прямо с утра. А чем же мне заняться сегодня? Нынче праздник, в правление идти не надо; собственно, я свободен. Ах, вот что значит узкое поле деятельности! Целый день не к чему приложить руки! А что, если я сам нынче...»

Г. Х. Бонди поколебался. Это смахивало на авантюру — поехать и собственными глазами убедиться, до чего докатился этот бржевновский сумасшедший. «В конце концов мы же были *такими* друзьями! Все-таки наше общее

прошлое к чему-то меня обязывает?! Поеду!» — решил пая Бонди. И поехал.

В поисках убогого домишка под номером 1651 пан Бонди исколесил весь Бржевнов; в конце концов это несколько ему наскучило, и председатель правления заводов МЕАС обратился в полицейское отделение.

— Марек, Марек... — Инспектор порылся в памяти. — Скорее всего, это будет инженер Рудольф Марек, «Марек и К^0», электроламповый завод, Миксова улица, тысяча шестьсот пятьдесят один

Электроламповый завод! Президент Бонди был разочарован, да, да, президент был слегка удручен. Выходит, Руда Марек не ютится на чердаке. Руда Марек — заводчик и по «личным мотивам» продает какое-то изобретение! Это уже пахнет конкуренцией, старина, ИЛИ Я не Бонди!

— Не знаете ли вы, как у него дела? — словно невзначай осведомился он у полицейского, уже садясь в машину.

— О, превосходно! — послышалось в ответ. — Прекрасный завод! Знаменитая фирма, — добавил инспектор с подобающим почтением. — Инженер Марек — богатый человек, — пояснил он затем, — и страшно ученый. Все опыты ставит.

— Миксова улица! — приказал пан Бонди шоферу.

— Третья направо! — крикнул инспектор вслед отъезжавшей машине.

И вот пан Бонди у жилого флигеля вполне приличного завода. «О, да тут чистенько, газончики, по стенам — дикий виноград... Гм, — удивился про себя пан Бонди, нажимая кнопку звонка. — Недотепу Марека всегда отличало этакое человеколюбие и жажда преобразований».

В этот момент на лестнице появляется сам Марек, Руда Марек; он очень худ и серьезен, можно сказать — вдохновенен; и у Бонди странно щемит сердце, — правда, Рудольф уже не так молод, как прежде, но и заросшего щетиной сумасброда-изобретателя, каким рисовало его воображение пана Бонди, он ничуть не напоминает. Просто его трудно узнать. Пан Бонди не успел еще оправиться от изумления, а инженер Марек подал ему руку и тихо произнес:

— Ну вот ты и здесь, Бонди. Я ждал тебя.

Глава 2
КАРБЮРАТОР

— Я ждал тебя, — повторил Марек, усадив гостя в мягкое кожаное кресло.

Ни за что на свете Бонди не признался бы, как мечтал увидеть «дошедшего до ручки» ученого-изобретателя.

— Ну вот видишь, — несколько преувеличенно порадовался он, — бывает ведь в жизни! Как раз сегодня утром мне пришло в голову, что мы с тобой не виделись уже двадцать лет! Двадцать лет, Рудольф, представь себе, двадцать лет!

— Гм, — буркнул Марек, — так, значит, ты хочешь купить мое изобретение?

— Купить? — растерянно протянул Г. Х. Бонди. — Я, право, не знаю... Я, собственно, об этом не думал. Мне захотелось тебя повидать и...

— Не ломайся, пожалуйста, — перебил его Марек. — Я ведь знал, что ты придешь. За изобретением, конечно. Оно *как раз* для тебя, на нем можно заработать. — Марек махнул рукой, откашлялся и начал снова, сдержанно и размеренно: — Изобретение, которое я продемонстрирую вам, знаменует собой более значительный переворот в технике, чем паровая машина Уатта. Если коротко определить сущность этого открытия, то речь идет, теоретически говоря, о *предельном использовании атомной энергии...*

Бонди незаметно зевнул.

— Скажи, пожалуйста, чем ты занимался все эти двадцать лет?

Марек несколько удивленно взглянул на старинного приятеля.

— Современная наука утверждает, что материя, то есть атомы, состоит из бесчисленных квантов; собственно, атом — это скопление электронов, мельчайших электрических частиц.

— Очень увлекательно, — перебил инженера президент Бонди. — Видишь ли, я всегда был слаб в физике. А ты плохо выглядишь, Марек. И что, собственно, толкнуло тебя заняться этой игруш... гм, этим заводишком?

— Что? Да так, случай. То есть я изобрел новый способ использования металлических волосков в лампах накаливания. В общем, пустяки, я придумал это между делом. А последние двадцать лет я разрабатываю проблему

полного сгорания материи. Ответь мне, Бонди, что в наше время составляет главнейшую проблему современной техники?

— Торговля, — ответил президент. — А ты женат?

— Вдов, — ответил Марек и в возбуждении принялся расхаживать по комнате. — Никакая не торговля, понимаешь? Сгорание! Предельное использование тепловой энергии, которая заключена в материи. Представь, сжигая уголь, мы получаем лишь стотысячную долю того, что могли бы получить! Понимаешь?

— Да, да, уголь страшно дорог, — глубокомысленно подтвердил пан Бонди.

Марек сел.

— Если ты пришел не ради моего Карбюратора — убирайся прочь, — возмутился он.

— Продолжай, — предложил исполненный миролюбия пан Бонди.

Марек обхватил голову руками.

— Двадцать лет я работал над этим, — глухо вырвалось у него, — и теперь продаю первому встречному! Это мечта всей моей жизни. Величайшее изобретение! Серьезно, Бонди, это великая вещь!

— Наверное. Особенно по нашим жалким масштабам, — поддакнул Бонди.

— Нет, вообще великая. Представь: теперь для тебя открывается возможность использовать энергию атома, всю, без остатка!

— Ага, — произнес президент, — значит, будем топить атомами. Ну, а почему бы и нет? У тебя тут прелестно, Руда, скромненько и мило. А сколько душ занято на производстве?

Марек не отозвался.

— Видишь ли, — задумчиво произнес он, — можно сказать: «использование энергии атома», или «сгорание материи», или «разрушение материи», — это не имеет никакого значения.

— По мне, лучше всего «сгорание», — откликнулся пан Бонди, — «сгорание» как-то интимнее.

— Да, но в данном случае наиболее точным был бы термин «расщепление материи». То есть нужно расщепить атом на электроны и запрячь их в работу, понятно?

— Великолепно, — уверил президент. — Вот именно: запрячь бы их в работу!

— Возьмем, к примеру, двух лошадей, обе изо всей силы тянут канат в противоположных направлениях. Что это, по-твоему?

— По-видимому, какой-то забавный спорт, — предположил пан президент.

— Нет, не спорт, а состояние покоя. Лошади натягивают канат, но не трогаются с места. И если ты перерубишь веревку...

— Они рухнут на землю! — восторженно вскричал Г. Х. Бонди.

— Нет, они разбегутся в разные стороны; они уподобятся освобожденной энергии. Видишь ли, материя — это такая же упряжка. Оборви связь, которая держит на цепи электроны, и они...

— Разбегутся в разные стороны!

— Да, они разбегутся, но мы можем изловить их и запрячь снова, понимаешь? Ну, представь себе такую картину: положим, мы с тобой растопили печь углем. Получили какое-то количество тепла и, кроме того, пепел, угарный газ и сажу. Материя здесь не исчезла, понятно?

— Само собой. Не желаешь ли сигару?

— Не желаю. Но оставшаяся материя обладает еще несметными запасами неизрасходованной атомной энергии. И если бы нам удалось использовать *всю* атомную энергию *вообще,* то мы использовали бы и все атомы. Короче: *материя исчезла бы.*

— Ах так, вот теперь я понял.

— Это все равно, как если бы мы плохо смололи зерно: сняли бы тонкую шелуху, а остальное развеяли по ветру, как пепел. А при *тщательном* помоле от зерна ничего, или почти ничего, не остается, не правда ли? Вот и при полном сгорании от материи тоже не остается ничего или почти ничего. Она перемалывается вся без остатка. Используется до предела. Обращается в изначальное ничто. Видишь ли, материя поглощает массу энергии только для того, чтобы существовать; отними у нее бытие, заставь ее не существовать, и освободится несметное количество энергии. Вот оно как, Бонди.

— Гм... Не так уж плохо.

— Пфлюгер, например, считает, что килограмм угля содержит двадцать три биллиона калорий. Я думаю, Пфлюгер преувеличивает.

— Ну разумеется!

— После теоретических подсчетов я пришел к выводу, что их там около семи биллионов. Это означает, что при полном сгорании угля на одном его килограмме средняя по мощности фабрика может работать несколько сот часов!

— Черт возьми! — воскликнул Бонди, вскакивая.

— Точного расчета времени я тебе не представлю. У себя на фабрике я вот уже шесть недель жгу полкилограмма угля при нагрузке в тридцать килограммометров, и представь, дружище, он все вертится... вертится... вертится, — бледнея, прошептал инженер Марек.

Президент Бонди в растерянности поглаживал свой подбородок, гладкий и круглый, как попка младенца.

— Послушай, Марек, — нерешительно произнес он, — ты наверняка... того... несколько... переутомился.

Марек устало отмахнулся:

— Пустяки. Если бы ты хоть немного разбирался в физике, я бы растолковал тебе принцип работы моего Карбюратора [1]. Видишь ли, это еще одна, совершенно новая глава высшей физики. Впрочем, ты сам убедишься, спустившись вниз, в подвал. Я засыпал в машину полкилограмма угля, завинтил ее и приказал опечатать при свидетелях, чтоб никто не смог прибавить горючего. Тебе стоит взглянуть на это, право, стоит. Конечно, ты все равно ничего не поймешь, но спуститься спустись! Спускайся, тебе говорят!

— А разве ты сам не пойдешь? — удивился Бонди.

— Нет, ступай один. И слушай, Бонди, не задерживайся там слишком долго...

— А что? — Бонди заподозрил неладное.

— Да так. Представь себе, что долго там быть... скажем... вредно для здоровья. Зажги электричество, выключатель тут же, у двери. Шум в подвале — это не от машины. Она работает бесшумно, без перебоев, без запаха. Шумит там этот, как его... вентилятор. Ну, ну, ступай, я подожду здесь. Потом мне расскажешь...

---

[1] Название, данное инженером Мареком своему атомному котлу, разумеется, совершенно не соответствует его назначению, и это прискорбный результат того, что техники не знают латыни; более правильно это изобретение было бы назвать: Комбуратор, Atomkettle, Carbowatt, Disgregator, Motor M., Bondymover, Hylergon, Molekularstoffzersetzungskraftrad, E. W. и прочее, то есть принять любое другое название из предлагавшихся позднее; прижилось, разумеется, самое неудачное. (*Прим. автора.*)

* * *

Президент Бонди спускается вниз, тихо радуясь, что на некоторое время избавился от этого помешанного. (А что Марек помешанный — в этом все-таки нет сомнения!) Бонди несколько озабочен тем, как бы убраться отсюда подобру-поздорову, и побыстрее. Заметим, что двери, ведущие в подвал, огромной толщины, окованы железом, совсем как у банковских сейфов. Прекрасно, зажжем свет. Выключатель рядом, около двери. Посреди бетонного, со сводчатым потолком, чистого, как монастырская келья, подвального помещения на бетонных козлах лежит огромный медный цилиндр. Он закрыт со всех сторон, лишь наверху — решеточка, опечатанная пломбами. Внутри машины темно и тихо. Из цилиндра, равномерно скользя, выдвигается поршень, медленно вращающий тяжелое маховое колесо. Вот и все. Лишь вентилятор в подвальном окне шумит не умолкая.

То ли от вентилятора тянет сквозняком, то ли еще что, но чело пана Бонди овевает легкий ветерок; ощущение такое, будто от восторга дыбом подымаются волосы, а тело уносит в бесконечный простор — и вот ты уже летишь, не чувствуя собственного веса. Охваченный неизъяснимым блаженством, Г. Х. Бонди опускается на колени, ему хочется громко кричать и петь от умиления и счастья, ему чудится шум необъятных и бесчисленных крыл. Но тут кто-то больно хватает его за руку и тащит наверх — вон из подвала. Это инженер Марек, на голове у него капюшон или скафандр водолаза, Марек волочит Бонди вверх по лестнице. В передней Марек снимает металлический капюшон и утирает струящийся по лбу пот.

— Еще немного — и было бы поздно, — выдыхает он в страшном волнении.

Глава 3
ПАНТЕИЗМ

Президенту Бонди представляется, будто все это сон. Марек с материнской заботливостью усаживает его в кресло и в мгновение ока извлекает откуда-то коньяк.

— На, выпей немедленно, — бормочет он, трясущейся рукой поднося Бонди коньячную рюмку. — Тебе *тоже* несладко пришлось, а?

— Напротив, — вяло выговаривает президент: язык с трудом повинуется ему. — Это было так прекрасно, дружище! Я будто парил в воздухе, или что-то в этом роде...

— Да, да, — подхватил Марек, — именно это я и хотел сказать. Ты словно паришь или *возносишься* куда-то, а?

— *Чрезвычайно* приятное ощущение, — повторил пан Бонди. — По-моему, это и есть экстаз. Как будто там нечто... нечто...

— Нечто божественное? — неуверенно подсказал Марек.

— Может быть. И даже наверняка, дружище. Я отродясь не бывал в церкви, Руда, но в подвале было словно в церкви. Что это я там вытворял, скажи на милость?

— Стоял на коленях, — с горечью признался Марек и принялся расхаживать взад-вперед по комнате.

Президент Бонди в недоумении провел рукою по лысине.

— Гм, странно. Да брось, неужто я стоял на коленях? Слушай, а что там... гм... что там, в этом склепе, так действует на человека?

— Карбюратор, — проворчал Марек, кусая губы. Лицо его в эту минуту еще больше осунулось и посерело.

— Черт возьми, — удивился Бонди, — как же это он, а?

Инженер молча пожал плечами; опустив голову, продолжал мерить шагами комнату.

Г. Х. Бонди следил за ним взглядом, не в силах скрыть младенческого удивления. «Марек спятил, — сказал он себе, — но, черт возьми, что в его подвале действительно находит на человека? Такое мучительное блаженство, такая неколебимая уверенность, восторг и всепоглощающая покорность богу...»

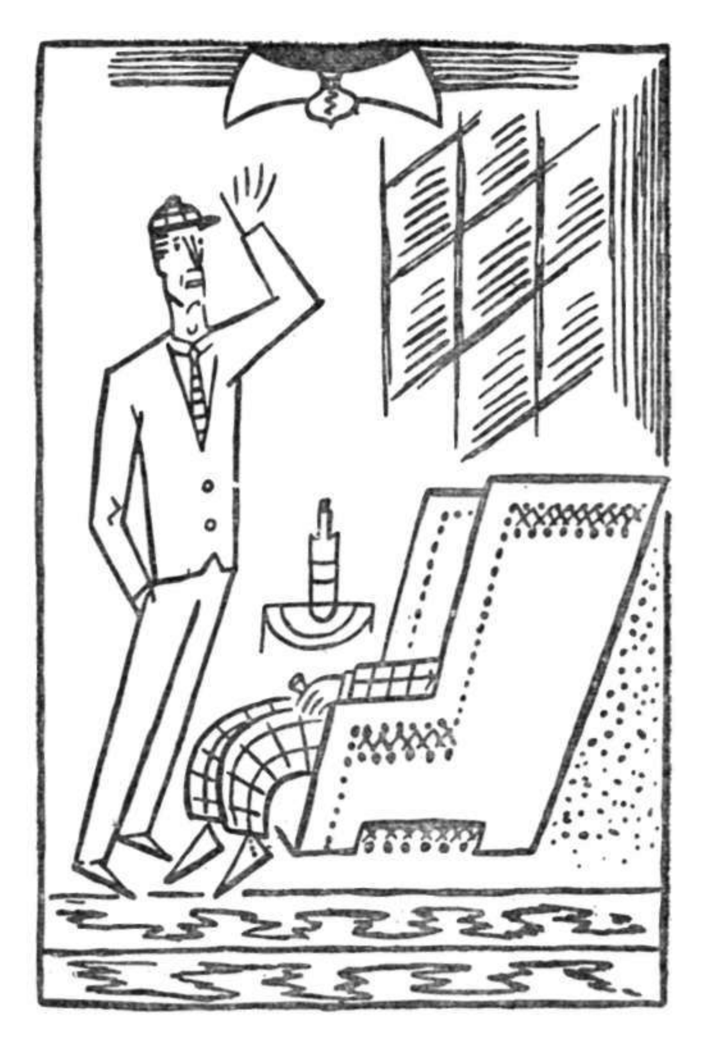
Пан Бонди поднялся и снова наполнил рюмку коньяком.

— Марек, — обратился он к инженеру, — я знаю, что это такое.

— Что ты знаешь? — выпалил Марек и замер на месте.

— Что там, в склепе. Это странное душевное состояние. Скорее всего, это какая-нибудь отрава!

— Разумеется, отрава! — зло расхохотался Марек.



— Я сразу догадался, — похвастался повеселевший Бонди. — Значит, это твой аппарат выделяет что-то... ну, вроде как озон, правильно? Или, вернее, какой-то отравляющий газ. Стоит человеку подышать им, и он... малость... того... не в себе, не так ли? Бесспорно, дружище, это не что иное, как отравляющий газ; каким-то образом он выделяется при сгорании угля в этом... самом... твоем

Карбюраторе. То ли светильный, то ли веселящий газ, или фосген, словом, нечто вроде... Поэтому ты установил там вентилятор. И поэтому сам спускаешься в подземелье только в противогазе, разве я не прав? У тебя там черт-те что скапливается, Марек!

— Если бы это был *газ!*— взорвался Марек, потрясая в воздухе кулаками. — Видишь ли, Бонди, из-за этого я и вынужден продать свой Карбюратор. Иначе я просто не *вынесу,* не вынесу, — выкрикивал он чуть ли не со слезами на глазах. — Я не предполагал, что мой Карбюратор начнет вытворять *такое,* такое... немыслимое... непотребство. Ты вообрази, *это* он выкидывает у меня с самого начала! И кто бы ни приблизился — все его чувствуют. Ты еще ничего не знаешь, Бонди, а мой дворник поплатился собственной шкурой.

— Бедняга, — воскликнул пораженный пан президент, — неужели скончался?

— Нет, он *обратился!* — в отчаянии вскричал Марек. — Я признаюсь тебе, Бонди: у моего изобретения, у моего Карбюратора, есть один чудовищный недостаток. Но ты купишь его или возьмешь даром, несмотря ни на что; ты возьмешь его, Бонди, даже если из него посыплются черти. Тебе, Бонди, это безразлично, лишь бы выкачать миллиарды. И они потекут в твои карманы, любезный. Мой Карбюратор — эпохальное изобретение, но я уже не хочу иметь с ним ничего общего. У тебя не такая взыскательная совесть, ты слышишь, Бонди? Миллиарды потекут к тебе, тысячи миллиардов, но на твоей совести будет и страшное зло. Решайся!

— Нет уж, ты меня в это дело не впутывай, — запротестовал Бонди. — Если Карбюратор вырабатывает отравляющие газы, власти запретят его и — конец. Ты ведь знаешь, с нашими ничтожными масштабами... Вот в Америке...

— Какие там отравляющие газы, — вырвалось у Марека, — он вырабатывает нечто в *тысячи раз более страшное.* Запомни, Бонди, что я сейчас тебе скажу: это выше человеческого понимания, но мошенничества здесь ни на йоту. Так вот, в моем Карбюраторе *на самом деле* материя сгорает дотла, от нее даже пепла не остается: другими словами, мой Карбюратор расщепляет, испепеляет, разлагает материю на электроны; он истребляет, перемалывает ее, не знаю уж, как еще сказать, — короче говоря, он

использует ее полностью. Ты и понятия не имеешь, какая огромная энергия заключена в атомах. Имея в запасе полцентнера угля, ты сможешь объехать на корабле вокруг света, залить электричеством Прагу, привести в движение Рустон, — все, что пожелаешь; чтоб отопить целую квартиру и приготовить пищу для большой семьи, тебе хватит уголька величиною с орешек; в конце концов мы обойдемся даже без угля — просто добудем тепло из первого подвернувшегося под руку булыжника или комка глины, обнаруженного возле дома. Любое количество материи скрывает в себе больше энергии, чем огромный паровой котел, остается только ее выжать! Только суметь сжечь ее без остатка! И я научился это делать, Бонди; мой Карбюратор сжигает ее; согласись, Бонди, ради такого грандиозного успеха стоило трудиться двадцать лет!

— Видишь ли, Руда, — осторожно начал пан президент, — это поразительно, но я почему-то тебе верю. Честное слово, верю. Видишь ли, когда я стоял перед этим твоим Карбюратором, я чувствовал: тут скрыто нечто невообразимое, великое, прямо потрясающее. Я бессилен побороть в себе это чувство — и я тебе верю. Там, внизу, в этом подвале, у тебя сокрыта какая-то тайна. И она перевернет весь мир.

— Ах, Бонди, — в смятении прошептал Марек, — вот в том-то и загвоздка. Погоди, я тебе растолкую. Ты когда-нибудь читал Спинозу?

— Нет, никогда.

— Я тоже прежде никогда не читал, а теперь, видишь, начинаю интересоваться такими вещами. В философии я ни шиша не смыслю, для инженера это лес темный, но что-то все-таки в ней есть. Ты ведь веришь в бога?

— Я? Как тебе сказать, — задумался Бонди. — Я, право, не знаю. Бог, скорее всего, есть, но где-то на другой планете. У нас — нет! Куда там! Такие штучки, видно, не для нашего века. Да что бы он здесь делал, скажи на милость?!

— Я в бога не верю, — твердо признался Марек. — *Не хочу* в него верить. Я всегда был атеистом. Я верил в материю, прогресс — и ни во что больше. Я человек науки, Бонди, а наука не может допустить существования бога.

— Для торговли, — заявил пан Бонди, — абсолютно безразлично, есть бог или нету. Хочет быть, пусть себе

будет, — бога ради, пожалуйста! Мы друг другу не помеха.

— Но с точки зрения науки, — строго возразил инженер, — это абсолютно исключено. Или он, или наука. Я не утверждаю, что бога нет; я утверждаю только, что он *не должен быть* или, по крайней мере, *не должен* проявляться. И я убежден, что наука постепенно, шаг за шагом вытеснит бога или хотя бы ограничит его влияние; я убежден, что в этом — высочайшее ее назначение.

— Возможно, — невозмутимо промолвил пан президент, — излагай дальше.

— А теперь представь себе, Бонди, что... или нет, погоди, сперва я задам тебе вопрос: ты знаешь, что такое пантеизм? Это учение о том, что во всем сущем проявляется единый бог, или Абсолют, — как тебе угодно. В человеке, в камне, в траве, в воде — повсюду. И знаешь, чему учит Спиноза? Что материальность — это лишь проявление или одна из сторон божественной субстанции, в то время как другая ее сторона — дух. А известно ли тебе, что утверждает Фехнер?

— Что-то не слыхал, — признался президент.

— Фехнер учит, что все, все без исключения обладает душой, что бог одушевляет все сущее. А Лейбница ты читал? По Лейбницу, материя состоит из частиц души, из монад, которые суть субстанция бога. Что ты на это скажешь?

— Не знаю, что и сказать, — растерялся Г. Х. Бонди, — я в этом не разбираюсь.

— Вот и я тоже не разбираюсь; очень уж все это туманно. Но вообрази на мгновение, что в любой частице материи в самом деле разлит бог, что он как бы замурован в ней. И стоит тебе разбить частицу вдребезги, как он вырвется наружу, словно дух из волшебной бутылки. Словно его спустят с привязи. И он выделится из материи, как светильный газ из угля. Спалишь один атом — и вот тебе: подвал полон Абсолюта. Просто диву даешься — так стремительно он распространяется.

— Постой, — прервал Марека пан Бонди, — повтори еще раз, но не спеша.

— Представь себе, — повторил Марек, — *допустим,* что любая материя содержит Абсолют в связанном состоянии, назовем его инертной энергией или, еще проще, скажем, что бог вездесущ — он в любой материи и в любой ее ча-

стице. Так вот представь себе, что ты *полностью* уничтожаешь какую-то часть материи, уничтожаешь на первый взгляд совершенно без остатка, но поскольку любая материя — это, собственно, материя плюс Абсолют, тебе удается уничтожить *только* материю, а неистребимая часть ее, химически чистый, освобожденный, деятельный Абсолют остается. Остается неразложимый химически, нематериальный резидуум, у которого нет ни линий спектра, ни атомного веса, ни химической валентности, ни подчинения закону Мариотта — словом, никаких, *ни малейших* свойств материи. Остается чистый бог. Химическое «ничто», обладающее колоссальной силой воздействия. Поскольку это «ничто» эфемерно, на него не распространяются законы материи. Уж отсюда вытекает, что химическое «ничто» проявляется сверхъестественно, в виде чуда. Вывод этот напрашивается из простого предположения, что бог присутствует в материи. Ты способен убедить себя, что он, *допустим,* присутствует в ней?

— Безусловно, — ответил Бонди. — Ну и что?

— Прекрасно, — заключил Марек и встал. — Так он *на самом деле* присутствует в ней.

Глава 4
БОЖЕСТВЕННЫЙ ПОДВАЛ

Президент Бонди, задумавшись, посасывал свою сигару.

— А как ты это установил?

— Испытал на себе, — бросил Марек, снова принявшись расхаживать по комнате. — Мой Карбюратор, Perfect Carburator [1], используя материю до предела, вырабатывает побочный продукт, и продукт этот — чистый, ничем не связанный Абсолют. Бог в химически чистом виде. Я бы выразился так: Карбюратор, с одной стороны, извергает механическую энергию, а с другой — бога. Совершенно так же, как если бы мы разлагали воду на кислород и водород, только в несравненно больших масштабах.

— Гм, — хмыкнул пан Бонди. — А что дальше?

— На мой взгляд, — осторожно продолжал М а р е к , — некоторые *исключительные* личности способны разложить материальную и божественную субстанцию сами в себе,

---

[1] совершенный карбюратор (*англ.*).

то есть, видишь ли, как бы выделить или выжать Абсолют из своей собственной материи. Христос, чудотворцы, факиры, медиумы, пророки делают это посредством некоей психической силы. Мой Карбюратор вырабатывает бога чисто машинным способом. Это нечто вроде фабрики, фабрики Абсолюта.

— Факты! — потребовал Г. Х. Бонди. — Держись фактов.

— Вот тебе факты: я сконструировал свой Perfect Carburator сперва чисто теоретически; потом сделал небольшую модель, она не действовала. Только четвертая модель оказалась удачной. Она была точно такого же размера, но работала превосходно. Возясь с этой маленькой машинкой, я ощущал какое-то странное воздействие на психику, необыкновенную приподнятость и восторг, охватывавший меня. Тогда я полагал, что это просто радость творчества или, возможно, следствие переутомления. Но именно в то время я впервые обрел дар прорицателя и начал творить чудеса.

— Как, как ты сказал? — воскликнул президент Бонди.

— Обрел дар прорицателя и начал творить чудеса, — угрюмо подтвердил Марек. — Минутами на меня находило озарение. Я, например, мог предвидеть, что произойдет в будущем. И твой приход я тоже предвидел. Однажды, работая на токарном станке, я сорвал себе ноготь, и вдруг он вырос у меня на глазах. По-видимому, я сам пожелал этого, однако как-то не по себе от этого делается и — страшно. Или — ты только подумай! — я передвигался по воздуху. Видишь ли, ученые называют это левитацией. Я никогда не верил подобным глупостям. Представь себе, как я перепугался.

— Еще бы, — серьезно согласился Бонди, — это, должно быть, очень неприятно.

— Ужасно. Я думал, это нервы, самовнушение, что ли. А потом установил в подвале последний большой Карбюратор и привел его в действие. Как я тебе говорил, он работает уже шесть недель днем и ночью. Тут-то я и постиг все размеры бедствия. За один день работы подвал был набит Абсолютом до отказа, так что бог стал расползаться по всему дому. Видишь ли, чистый Абсолют проникает через любые тела, через твердые, правда, несколько медленнее. В воздухе он распространяется со скоростью света. Когда я спустился вниз, со мною приключилось что-то вроде

приступа. Я орал не своим голосом. Не знаю, откуда у меня взялись силы убежать оттуда. Наверху я стал размышлять об этом. Первой моей мыслью было, что это какой-то новый возбуждающий газ, который образуется в процессе полного сгорания. Поэтому я приказал укрепить снаружи вентилятор. При этом на двоих монтеров снизошла благодать, им были видения; третий оказался алкоголиком и, видимо, поэтому обладал каким-то иммунитетом. Пока я верил, что это всего лишь газ, я провел в подвале целый ряд опытов; любопытно, что в присутствии Абсолюта любой источник света испускает лучистую энергию гораздо интенсивнее. И если бы Абсолют можно было удержать в стеклянном шаре, я изыскал бы способ использовать его в лампочках; но Абсолют улетучивается из любого сосуда, как бы плотно закрыт он ни был; потом я решил, что это, возможно, какое-нибудь неизвестное ультраизлучение, но опыты не обнаружили ни малейших признаков электричества. На самых чувствительных фотопластинках не оставалось никаких следов. Третьего дня нам пришлось поместить в санаторий дворника и его жену, они жили как раз над подвалом.

— Что с ними? — спросил пан Бонди.

— Обратились. Прониклись религиозным духом. Оп читал проповеди и творил чудеса. А жена сделалась прорицательницей. До тех пор дворник ни в чем предосудительном не был замечен — воплощенная солидность, монист и вольнодумец, человек в высшей степени порядочный. И представь себе — ни с того ни с сего начал исцелять людей просто прикосновением руки. Разумеется, на него тут же донесли; окружной врач, мой приятель, был страшно взволнован; я поместил дворника в санаторий, от греха подальше; говорят, ему уже лучше, он поправился, утратил чудотворную силу. Теперь я хочу отправить его в деревню до окончательного выздоровления. Потом я сам стал чудотворцем и обрел дар провидения. Помимо всего прочего, моему внутреннему взору рисовались бесконечные болотистые заросли гигантского хвоща, населенные какими-то странными животными; причина этого, очевидно, в том, что я жег в Карбюраторе верхнесилезский уголь, то есть один из самых древних. Должно быть, именно в нем заклят каменноугольный бог.

— Марек, это ужасно, — содрогнулся президент Бонди.



— Ужасно, — сокрушенно отозвался Марек. — Мало-помалу я пришел к мысли, что это не газ, а Абсолют. Со мной творилось что-то необыкновенное. Я читал чужие мысли, я излучал свет, мне приходилось превозмогать себя, чтоб не стать на колени и не начать проповедовать веру в бога. Я хотел было засыпать Карбюратор песком, но вдруг неведомая сила подняла меня на воздух.

Машину нельзя остановить ничем. Я уже не ночую дома. И на фабрике среди рабочих тяжелые случаи осенения благодатью. Ума не приложу, как быть, Бонди. Да, да, я перепробовал всевозможные материалы, чтобы изолировать Абсолют от внешней среды, запер его в подвале. Пепел, песок, металлические стены не в состоянии помешать его распространению. Я попробовал было обложить подвал сочинениями профессора Крейчи, Спенсером, Геккелем, всякими там позитивистами. И что ты думаешь? Абсолют спокойно проникает даже через такие вещи! Газеты, молитвенники, «Святой Войтех», патриотические песенники, общеобразовательные лекции, произведения К. М. Выскочила, политические брошюры, стенограммы заседаний парламента, — для Абсолюта нет ничего непреодолимого. Я просто в отчаянии. Абсолют невозможно ни запереть, ни откачать. Это зло, вырвавшееся на свободу.

— Ну и что? — спросил пан Бонди. — Неужели это на самом деле такое уж зло? Даже если все, что ты говоришь, — правда, такое ли уж это большое несчастье?

— Бонди, у моего Карбюратора великое будущее, он перевернет весь мир, экономическое и социальное его устройство; он неизмеримо удешевит производство; он уничтожит нищету и голод; когда-нибудь он убережет нашу планету от вечной мерзлоты. Но, с другой стороны, он выбрасывает в мир бога, свой побочный продукт. Клянусь тебе, Бонди, этого не следует недооценивать; мы не привыкли считаться с *реальным* богом, нам не известно, что может натворить одно его присутствие, скажем, в области культуры, нравственности и так далее. Ведь на карту поставлена судьба мира и цивилизации.

— Погоди, Марек, — задумчиво предположил Бонди. — А нельзя ли его как-нибудь заговорить? Не найдется ли на него заклятия? Ты не обращался к священникам?

— К каким священникам?

— Да все равно. Дело тут, понятно, не в вероисповедании. Они должны бы найти на него управу!

— Вздор, — взорвался Марек. — Попов еще здесь не хватало. Чтоб они в моем подвале святое место для паломников и богомолок устроили. Это у меня, с моими-то взглядами.

— Ну ладно, — решил пан Бонди, — тогда я их сам позову. Никогда ведь не знаешь... но повредить это не повредит. В конце концов, я лично ничего не имею про-

тив бога. Лишь бы он не мешал работе. А ты пробовал договориться с ним по-хорошему?

— Нет, нет, — запротестовал инженер Марек.

— Вот это напрасно, — сухо заметил Г. Х. Бонди, — может, с ним удалось бы подписать какой-нибудь контракт? Совершенно деловой, во всех пунктах обговоренный контракт, вроде: «Обязуемся вырабатывать вас незаметно, без перебоев, в объеме, определенном договором; вы, со своей стороны, обязуетесь отказаться от проявлений божественной сущности в таком-то и в таком-то радиусе от места производства». Пойдет он на это, как ты думаешь, а?

— Не знаю, — протянул Марек, потеряв интерес к дальнейшему разговору. — Кажется, он находит удовольствие в том, чтобы и впредь существовать независимо от материи. А может... в своих интересах... он и пойдет на переговоры. Но меня ты в это не впутывай.

— Прекрасно, — согласился президент, — я пошлю своего нотариуса. Исключительно тактичный и ловкий человек. Кроме того, гм... он мог бы, пожалуй, предложить ему какой-нибудь костел. Ведь фабричный подвал и вообще заводские окрестности для бога несколько... гм-гм... несколько солидны. Мы могли бы проверить его вкус. Ты не пытался сделать это?

— Нет, по мне, лучше всего затопить подвал водой.

— Спокойнее, спокойнее, Марек. Это изобретение я у тебя, пожалуй, куплю. Ты, конечно, понимаешь, что я... гм-гм... пошлю еще сюда своих инженеров... Все еще надо как следует изучить. А вдруг это на самом деле всего лишь отравляющий газ? Но ежели это действительно господь бог, так ведь главное, чтобы Карбюратор надежно работал.

Марек встал.

— Значит, ты берешь на себя смелость поставить Карбюратор на одном из заводов МЕАС?

— Я беру на себя смелость, — ответил президент Бонди, тоже вставая, — организовать массовое производство карбюраторов. Карбюраторы для поездов и пароходов, карбюраторы для центрального отопления, для бытовых нужд и учреждений, для фабрик и школ. Не пройдет и десяти лет, как мир будут отапливать только карбюраторы. Я предлагаю тебе три процента от общего дохода. В ближайший год это составит, пожалуй, лишь несколько

миллионов. А пока подыщи себе другую квартиру, чтобы я мог послать сюда своих людей. Завтра утром я приведу его преосвященство епископа. Постарайся избежать встречи с ним, Руда. И вообще я не желал бы больше тебя здесь видеть. Ты слишком резок, Руда, а я не хочу с первых шагов испортить отношения с Абсолютом.

— Бонди, — прошептал Марек в ужасе, — предупреждаю тебя в последний раз: ты выпустишь в мир бога.

— В таком случае, — прозвучал полный достоинства ответ, — этим он будет обязан лично мне. И я надеюсь, что по отношению ко мне он не окажется неблагодарным.

Глава 5

ЕГО ПРЕОСВЯЩЕНСТВО

Недели две спустя после Нового года инженер Марек заглянул в кабинет президента Бонди.

— Как дела? — спросил пан Бонди, поднимая голову от каких-то бумаг.

— Все в порядке, — ответил Марек. — Я передал твоим инженерам подробные чертежи Карбюратора. Этот лысый, как его...

— Кролмус...

— Да, инженер Кролмус замечательно упростил мой атомный мотор, превращающий энергию электронов в движение. Толковый парень этот твой Кролмус. Ну, а у тебя что новенького?

Президент Г. Х. Бонди молча продолжал писать.

— Строим, — бросил он коротко, — фабрику карбюраторов. Заняты семь тысяч каменщиков.

— Где?

— На Высочанах. Акционерный капитал повысили на полтора миллиарда. В газеты проникло кое-что о нашем новом изобретении. Познакомься, — прибавил он и обрушил на колени Марека полцентнера чешских и иностранных газет, после чего углубился в какие-то бумаги.

— Я уже две недели там... не... — горько пожаловался Марек.

— Что?

— Я уже две недели не появлялся на своем заводе в Бржевнове. Я... боюсь... я не решаюсь... Что там?

— М-м-м, как тебе сказать...

— А... мой Карбюратор? — подавляя тревогу, спросил Марек.

— Работает безостановочно.

— А как... то... другое... тот... побочный?

Президент вздохнул и отложил перо.

— Тебе известно, что мы вынуждены были закрыть Миксову улицу?

— Почему?

— Народ ходил туда молиться. Толпами. Полиция взялась было разгонять, и на месте происшествия осталось около семи убитых. Они позволяли себя молотить палками, как бараны.

— Этого надо было ожидать, надо было ожидать, — в отчаянии бормотал Марек.

— Мы обнесли улицу колючей проволокой, — продолжил Бонди. — Выселили жителей из близлежащих домов — понимаешь, один за другим тяжелейшие приступы религиозной горячки. Теперь там работает комиссия министерства здравоохранения и просвещения.

— Я думаю, — с явным облегчением вздохнул Марек, — что власти запретят мой Карбюратор.

— О нет! — возразил Г. Х. Бонди. — Клерикалы что есть мочи восстают против него, зато прогрессивные партии им назло его отстаивают. Собственно, никто понятия не имеет, в чем тут дело. Видно, ты совсем не следишь за газетами, мой милый. Ведь пока все вылилось в абсолютно неуместную полемику с церковью. А на сей раз она не так уже далека от истины. Этот окаянный преосвященный поставил в известность кардинала-архиепископа.

— Какой еще преосвященный?

— Да какой-то Линда, разумный, впрочем, человек. Видишь ли, я отвез его туда, чтоб он, как специалист, поглубже познакомился с этим чудотворным Абсолютом. Он обследовал машину три дня кряду, не вылезая из подвала, и...

— Обратился? — ахнул Марек.

— Куда там! Или он натренировался, общаясь с господом богом, или сам твердокаменный атеист, еще похуже чем ты, не знаю; только три дня спустя приходит он ко мне и заявляет, что, с точки зрения *католической* религии, о боге тут не может быть и речи, что церковь, дескать, начисто отвергает и запрещает пантеистическую гипотезу как ересь; одним словом, это не тот легальный

бог, которого признает святая церковь, а посему он, как епископ, обязан объявить Абсолют мошенничеством, заблуждением, ересью. Весьма, весьма разумно рассуждал этот преосвященный.

— Значит, он не ощутил никаких сверхъестественных явлений?

— Нет, все было: благодать, видения, экстаз, все, все, как положено. Он не отрицает, что эти факты имеют место.

— Тогда как же он их объясняет, скажи, пожалуйста?

— Никак. Он толковал, что церковь ничего не объясняет, она либо благословляет, либо предает анафеме. Одним словом, он решительно против того, чтоб компрометировать церковь каким-то новоявленным, неискушенным богом. Во всяком случае, я его так понял. Тебе известно, что я приобрел костел на Белой горе?

— Зачем?

— Это недалеко от Бржевнова. Триста тысяч отдал, мой милый. Потом на словах и в письменной форме предложил Абсолюту переселиться из подвала в это роскошное помещение. Вполне приличный костел, в стиле барокко; помимо всего прочего, я заранее оговорил, что согласен произвести некоторые необходимые переделки. И ты представляешь, позавчера, в двух шагах от костела, в доме номер четыреста пятьдесят семь, с одним водопроводчиком приключился дивный экстаз, а в костеле ничего, ровным счетом никаких чудес!

— Один случай экстатического состояния зарегистрирован в Воковицах, два — и того дальше, в самых Коширжах; на Петршинском беспроволочном телеграфе повальное увлечение религией вспыхнуло как эпидемия. Радиотелеграфисты, служащие тамошней станции, ни с того ни с сего разослали по всему свету какие-то странные депеши, кажется, новое Евангелие: дескать, бог грядет в мир, дабы искупить наши грехи, и так далее, в том же духе. Срам-то какой, подумать стыдно! Левые газеты поносят министерство связи на чем свет стоит, от него только клочья летят, вопят, будто «клерикализм выпускает когти», глупости всякие, одним словом. И никому невдомек, что это как-то связано с Карбюратором. Марек, — Бонди вдруг перешел на шепот, — я тебе кое в чем признаюсь, только это секрет: неделю назад это снизошло на нашего министра обороны.

— На кого? — вскрикнул Марек.

— Тише! На министра обороны. Он отдыхал на своей вилле в Дейвицах, и на него нежданно-негаданно снизошла благодать. Утром министр созвал пражский гарнизон и обратился к нему с речью о вечном мире, призывал к мученичеству. Разумеется, после этого ему пришлось распрощаться с военной карьерой. Газеты сообщали, что министр внезапно заболел. Вот оно как, голубчик.

— И в Дейвицах тоже... — простонал инженер. — Ведь это катастрофа, Бонди. Но с какой скоростью он распространяется!

— Уму непостижимо, — поддакнул президент. — Тут один человек перевозил пианино из зараженной Миксовой улицы куда-то на Панкрац; а через двадцать четыре часа весь панкрацкий дом был охвачен приступом милосердия...

Президент не договорил, так как вошедший слуга доложил о его преосвященстве епископе Линде. Марек поспешил было откланяться, но Бонди насильно усадил его в кресло.

— Сиди и помалкивай; он бесподобен, этот епископ.

В этот момент его преосвященство епископ Линда показался в дверях; это был веселый, небольшого роста господин с золотыми очками на носу и маленьким ртом, губы он благообразно складывал изящной гузкой. Бонди представил его преосвященству инженера Марека как владельца злосчастного бржевновского подвала. Епископ довольно потирал руки, в то время как взбешенный инженер бормотал что-то о редком удовольствии, хотя хмурый вид его говорил: шел бы ты куда подальше, поповская рожа. Его преосвященство сложил ротик гузкой и с живостью повернулся к пану Бонди.

— Пан президент, — бойко начал он без излишних церемоний. — Я пришел к вам по весьма деликатному вопросу. Весьма деликатному, — повторил он мягко, со вкусом облизываясь. — Мы обсуждали ваше... гм-гм... дело в консистории. Его святейшество наш архипастырь склонен обойтись с неприятным событием как можно мягче. Вы понимаете, речь идет об этом непристойном происшествии с чудесами. Пардон, я не желал бы оскорбить чувства господина владельца...

— Пожалуйста, не утруждайте себя, продолжайте, — сурово перебил его Марек.

— Короче, речь идет об этом скандале. Его святейше-

ство заявил, что, с точки зрения разума и веры, нет ничего более прискорбного, чем сие безбожное и прямо-таки кощунственное поношение законов природы...

— Позвольте, — вмешался Марек, исполненный духа противоречия, — естественные законы вы уж предоставьте нам, сделайте одолжение. Мы ведь не беремся судить о церковных догматах.

— Заблуждаетесь, брат мой, — улыбаясь, попенял Мареку преподобный отец. — Заблуждаетесь. Наука без наших догматов — лишь горсть сомнений. Прискорбнее, однако, то, что ваш Абсолют противоречит законам церкви. Противоречит учению о святости, не щадит церковных традиций. Грубо нарушает учение о святой троице. Не признает апостольской иерархии. Не поддается и экзорцизму церкви. И так далее. Короче, он держит себя таким образом, что мы вынуждены со всей суровостью его отринуть.

— Ну, ну, — миролюбиво заметил президент Бонди, — пока что он ведет себя весьма... пристойно.

Преосвященный епископ предостерегающе поднял палец.

— Пока, но мы не знаем, как он проявит себя в будущем. Послушайте, пан президент, — вдруг доверительно заговорил он, — вы опасаетесь неприятностей. Мы тоже. Вы, как деловой человек, не прочь ликвидировать Абсолют, не вызывая лишнего шума. Мы, наместники и слуги божьи, также. Мы не можем попустительствовать возникновению какого-либо нового бога или даже нового вероучения.

— Слава тебе, господи, — с облегчением вздохнул пан Бонди, — я был уверен, что мы с вами договоримся.

— Прелестно! — воскликнул святой отец, счастливо поблескивая стеклышками очков. — Уговор дороже денег. Высокочтимая консистория, защищая интересы святой церкви, может позволить себе взять под свое высокое покровительство этот ваш... гм-гм... этот ваш Абсолют; святая церковь попыталась бы привести его в соответствие с католическим вероучением, а дом под номером тысяча шестьсот пятьдесят один в Бржевнове провозгласить святым местом.

— Ого! — Марек в волнении вскочил со стула.

— Да, да, — повелительным тоном продолжал преосвященный епископ, — святым, разумеется, при соблюде-

нии определенных условий. Во-первых, производство Абсолюта в вышеозначенном доме должно быть сведено до минимума, там можно будет вырабатывать лишь ослабленный, мало вирулентный, разреженный Абсолют, который проявлял бы себя не столь напористо, а лишь спорадически, примерно так же, как в Лурде. В противном случае мы ни за что не ручаемся.

— Хорошо, — согласился пан Бонди, — а во-вторых?

— А во-вторых, — подхватил епископ, — Абсолют должен вырабатываться из угля, добытого в Малых Сватонёвицах. Как вы изволите знать, Мале Сватонёвице — место паломничества к пречистой деве Марии, и, надо надеяться, с помощью тамошнего угля нам удастся в Бржевнове в доме тысяча шестьсот пятьдесят один основать очаг культа пречистой девы.

— Ладно, — одобрил Бонди, — что еще?

— В-третьих, вы обязуетесь нигде и никогда больше Абсолют не вырабатывать.

— Позвольте, — вскричал президент Бонди, — а наши карбюраторы?!

— Они никогда не будут введены в эксплуатацию, за исключением бржевновского, который станет собственностью святой церкви и будет работать на ее благо и процветание.

— Нелепость! — Пан Бонди перешел к обороне. — Карбюраторы выпускаться *будут.* В течение трех недель будет смонтирован первый десяток машин. В ближайшее полугодие — тысяча двести. За год — десять тысяч. На наших заводах уже налажено их производство.

— А я вам говорю, — тихо и сладко пропел преосвященный, — в течение года не вступит в строй ни один Карбюратор.

— Но почему?

— Потому, что ни верующим, ни атеистам не нужен *реальный* и деятельный бог. Не нужен, господа. Это исключено.

— А я вам говорю, — горячо вмешался в разговор Марек, — карбюраторы *будут* работать. Отныне я за это; я *за* — именно потому, что вы против; наперекор вам, ваше преосвященство; наперекор всем суевериям; наперекор Риму. И я возвещаю, — инженер Марек набрал в легкие воздуха и воскликнул в безмерном упоении; — Да здравствует Perfect Carburator!

— Ну, увидим, — с глубоким вздохом произнес отец Линда. — Господам представится возможность убедиться в том, что высокочтимая консистория не бросает слов на ветер. Не пройдет и года, как вы сами остановите производство Абсолюта. Но ущерб, ущерб, который он нанесет до тех пор! Господа, не думайте, ради всего святого, будто церковь своей волей вводит или упраздняет бога, церковь лишь ограничивает и направляет его действия. А вы, господа безбожники, позволите ему разлиться, как полой воде. Но челн святого Петра переждет и этот потоп; подобно ковчегу Ноеву, он вынесет наводнение Абсолюта, однако цивилизация, — возвысил голос епископ, — тяжко поплатится за это!

Глава 6

МЕАС

— Господа, — заявил президент Г. Х. Бонди на заседании правления заводов МЕАС (Металлум энд Комп.), созванном двадцатого февраля, — могу вам сообщить, что одно из зданий нового заводского комплекса на Высочанах было вчера введено в эксплуатацию. В ближайшие дни начнется серийное производство карбюраторов, для начала по восемнадцати штук в день. В апреле мы планируем выпуск шестидесяти пяти штук ежедневно. В конце июля — двести. Мы проложили пятнадцать километров железнодорожного полотна, главным образом в целях наилучшего обеспечения заводов углем. Сейчас монтируются двенадцать паровых котлов. Начато строительство нового рабочего квартала.

— Двенадцать паровых котлов? — небрежно переспросил доктор Губка, глава оппозиции.

— Да, пока что двенадцать, — подтвердил президент Бонди.

— Это очень странно, — заметил доктор Губка.

— Производство растет, господа, — пояснил пан Бонди. — Что тут особенного — двенадцать котлов для такого огромного комплекса.

— Разумеется! Правильно! — раздались голоса.

Доктор Губка иронически усмехнулся.

— А для чего пятнадцатикилометровый железнодорожный путь?

— Для наилучшего обеспечения заводов топливом, для подвозки сырья. Мы считаем, что, работая на полную мощность, мы будем расходовать по восемь вагонов угля в день. Не могу понять, какой резон господину доктору Губке возражать против транспортировки угля?

— Я возражаю потому, — крикнул в ответ доктор Губка, вскакивая, — что вся эта затея крайне подозрительна! Да, господа, чрезвычайно подозрительна. Пан президент Бонди вынудил нас соорудить карбюраторную фабрику. «Карбюратор, — уверял он, — единственный двигатель будущего. Карбюратор, — утверждал он со всей определенностью, — может развить мощность в тысячи лошадиных сил на одном ведре угля». А теперь президент толкует о каких-то двенадцати паровых котлах и о целых вагонах топлива. Объясните мне, господа, отчего теперь уже недостаточно ведра угля для того, чтобы привести в действие наши фабрики? Для чего мы монтируем паровые котлы вместо атомных двигателей? И если вся эта затея с Карбюратором не пустое надувательство, то я никак не пойму, почему пан президент не перевел нашу новую фабрику на карбюраторные двигатели? Этого не понимаю не только я, этого никто не понимает. Отчего же, господа, пан президент не доверяет своим карбюраторам настолько, чтоб установить их на наших собственных заводах? Это весьма неудачная реклама для наших карбюраторов, господа, если сам производитель не может или не желает их использовать! Убедительно прошу уважаемое собрание обратиться к пану Бонди за разъяснением. Я лично уже составил собственное мнение на сей счет. Я кончил, господа.

Доктор Губка решительно сел, победоносно высморкавшись.

Члены правления смущенно молчали; обвинение доктора Губки было слишком недвусмысленно. Президент Бонди не поднимал глаз от своих бумаг; ни один мускул не дрогнул на его лице.

— М-да, — миролюбиво начал старый Розенталь, нарушая молчание, — но ведь пан президент сам все объяснит. Ну, разумеется, все объяснится, господа. Я думаю... м-м-да... конечно, все уладится в лучшем виде. Господин доктор Губка, безусловно, кое в чем... м-м-да... принимая во внимание, да, принимая во внимание его соображения... само собой...

Президент Бонди поднял наконец глаза.

— Господа, — тихо проговорил он, — я предложил вам положительные отзывы наших инженеров о карбюраторе. И в действительности все обстоит так, как было доложено специалистами, — именно так, а не иначе. Карбюратор не надувательство. В испытательных целях мы сконструировали десять таких моторов. Все работают безупречно. Вот доказательства: карбюратор номер один приводит в движение нагнетательный насос на Сазаве; машина работает бесперебойно вот уже две недели. Номер два — землечерпалка на Верхней Влтаве работает отлично. Номер три — в экспериментальной лаборатории Брненского политехнического института. Номер четыре — поврежден при транспортировке. Номер пять — освещает Градец Кралове. Все это десятикилограммовые карбюраторы... Номер шесть — на мельнице в Сланом. Номер семь — установлен для центрального отопления блока домов в Новом Месте. Владелец блока — присутствующий здесь заводчик Махат. Прошу, пан Махат!

При этом возгласе пожилой господин вздрогнул, словно очнувшись от сна.

— А?

— Я спрашиваю, как функционирует ваше новое центральное отопление?

— Что такое? Отопление?

— В вашем новом блоке, — спокойно подсказал пану Махату президент Бонди.

— В каком блоке?

— В ваших новых домах...

— В моих домах? Но у меня нет никаких домов...

— Но, но, но, — вмешался господин Розенталь. — Вы же строили в прошлом году новые дома.

— Я? — удивился Махат. — Да, да, вы правы, строил, только я, знаете ли, эти дома теперь раздарил. Видите ли, я их раздал.

Президент Бонди повнимательнее вгляделся в члена правления заводов МЕАС пана Махата.

— Кому вы раздали их, Махат?

Щеки Махата слегка порозовели.

— Ну, бедным людям, знаете ли. Я поселил там бедных людей. Я... я, то есть я пришел к такому убеждению и... словом, бедным людям... вы меня поняли?

Пан Бонди, не сводя с Махата глаз, допрашивал его с пристрастием судебного следователя.

— Отчего вы так поступили, пан Махат?

— Я... я как-то не мог поступить иначе, — смутился Махат. — Меня вдруг осенило. И мы все должны сделаться святыми, не так ли?

Президент нервно барабанил пальцами по столу.

— А ваши родственники, семья?

Махат широко расплылся в довольной улыбке.

— О, мы все заодно, понимаете? Эти бедные люди такие трогательные! Среди них есть и увечные, — моя дочь ухаживает за ними, знаете ли. Мы все так переменились!

Г. Х. Бонди опустил глаза. Дочь Махата, Элен, белокурая Элен, наследница семидесяти миллионов, прислуживает увечным! Элен, которая могла, должна была, почти уже стала пани Бонди! Бонди кусал губы; вот тебе и н*а*, ничего не скажешь!

— Пан Махат, — сдавленным голосом проговорил он, — я хотел только узнать, как у вас работает новый карбюратор.

— Ах, превосходно! Во всех домах так прекрасно, так тепло! Слушайте! — вдохновенно продолжал Махат. — Кто туда ни ступит — сразу делается иным человеком. Там будто в раю. Мы словно переселились на небо — все до единого. Ах, придите к нам, люди добрые!

— Теперь вы убедились, господа, — стараясь казаться невозмутимым, обратился к присутствующим президент Бонди, — что карбюраторы работают превосходно, как я вам и обещал. Я прошу вас воздержаться от дальнейших расспросов.

— Мы желаем знать только одно, — воскликнул охваченный боевым задором доктор Губка, — отчего в таком случае мы сами не строим новых фабрик с карбюраторным двигателем? Почему мы должны расходовать дорогой уголь, коли другим поставляем атомную энергию? Намерен ли президент Бонди раскрыть нам свои карты?

— Не намерен, — отрезал Бонди, — у нас будут топить углем. В силу причин, мне известных, на нашем производстве карбюраторный двигатель использован не будет. И довольно, господа! Я расцениваю ваше согласие как проявление доверия ко мне лично.

— Если бы вы все, — промолвил пан Махат, — испытали, сколь прекрасно состояние святости! От души сове-



тую вам, господа: раздайте все, что имеете. Станьте неимущими и святыми! Бегите мамоны и поклоняйтесь богу единому, неделимому.

— Ну, ну, ну, — усмирил пана Махата господин Розенталь. — Пан Махат, вы такой милый, такой достойный человек... Пан Бонди, вы знаете, как я доверяю вам, в

знаете что? Пошлите мне один карбюратор для моего центрального отопления! Я испробую эту штуку, господа, почему бы нет, а? Какие тут могут быть разговоры? Договорились, пан Бонди?

— Все мы братья во Христе, — не умолкал сияющий Махат. — Передадим фабрики неимущим, господа! Вношу предложение переименовать МЕАС в общину «Смиренных сердец». Мы будем тем семенем, из которого произрастет древо веры, согласны? Наступит царство божье на земле...

— Прошу слова! — вскричал доктор Губка.

— Ну, по рукам, пан Бонди? — добивался своего старый Розенталь. — Вы же видите, я всецело на вашей стороне. Значит, вы одолжите мне один карбюратор, пан Бонди!

— Ибо сам бог грядет на землю, — страстно возвещал Махат. — Вы слышите заповедь его: станьте как святые и неимущие; откройте сердца ваши вечному; будьте совершенны в любви своей. Знаете, господа...

— Прошу слова! — хрипел доктор Губка.

— Тихо! — перекрывая гвалт, крикнул президент Бонди; бледный, с горящим взором, он вырос над ними, расправив могучие плечи шестипудового мужчины. — Господа, если вам не нравится фабрика карбюраторов, я беру ее под собственный единоличный контроль. Я оплачу вам все затраты — все, до последнего геллера. Я организую свое собственное предприятие, господа. Мое почтенье!

— Но я протестую, — взвизгнул доктор Губка. — Мы все протестуем! Мы не продадим производство карбюраторов! Такой редкий товар, господа! Мы никому не позволим одурачить нас, господа. Отказаться от такого прибыльного дела — нет уж, извините!

Президент Бонди позвонил в колокольчик.

— Друзья мои, — угрюмо вымолвил он, — на сегодня довольно споров. Мне кажется, коллега Махат... несколько... гм-гм... того... нездоров. Что же касается карбюраторов, то я вам гарантирую сто пятьдесят процентов дивидендов. Предлагаю прекратить прения.

Доктор Губка потребовал слова.

— Предлагаю, господа, чтобы каждый член правления получил по одному карбюратору — на пробу, так сказать.

Президент Бонди обвел взглядом присутствующих; в лице его что-то дрогнуло, он хотел было что-то сказать, но только пожал плечами и процедил сквозь зубы:

— Согласен.

Глава 7

GO ON![1]

— Как наши дела в Лондоне?

— Акции МЕАС — вчера тысяча четыреста семьдесят, позавчера — семьсот двадцать.

— Прекрасно.

— Инженер Марек утвержден почетным членом семидесяти научных обществ. Наверняка получит Нобелевскую.

— Прекрасно.

— Масса заказов из Германии. Свыше пяти тысяч карбюраторов.

— Гм...

— Из Японии — девятьсот заказов.

— Посмотрим!

— В Чехии интерес незначительный. Всего три заявки.

— Гм, этого следовало ожидать. Не те масштабы, знаете ли!

— Россия просит двести штук разом.

— Прекрасно. Итого?

— Тринадцать тысяч заказов.

— Прекрасно. Как продвигается строительство?

— Цех атомных автомобилей подводят под крышу. Секция атомных самолетов приступит к работе до конца недели. Закладывается фундамент завода атомных локомотивов. Один цех корабельных реакторов уже действует.

— Минуту. Внедрите в обиход следующие названия: атомобиль, атом-мотор, атомоход, понимаете? Как у Кролмуса дела с атомными орудиями?

— Кролмус уже конструирует модель в Пльзени. Наш атомокар наездил на брюссельском автодроме тридцать тысяч километров, скорость — двести семьдесят километров в час. На полкилограммовые атоммоторы за последние два дня нами получено семьдесят тысяч заявок.

— Вы только что утверждали, что в итоге у нас тринадцать тысяч заявок.

— Тринадцать тысяч заявок на устойчивые атомные котлы. Восемь тысяч — на тепловые карбюраторы для

---

[1] Продолжайте! (*англ.*)

центральных отопительных систем. Около десяти тысяч на атомобили. Шестьсот двадцать — на атомолеты. Атомолет нашей марки «А-7» проделал беспосадочный полет Прага — Мельбурн в Австралии; состояние пассажиров и экипажа нормальное; вот депеша.

Президент Бонди гордо выпрямился.

— Однако, милейший, все идет превосходно!

— На сельскохозяйственные машины — пять тысяч заявок. На микромоторы — двадцать две тысячи заявок. На атомнасосы — сто пятьдесят заявок. На атомпрессы — три; атомпечей высоких температур запрошено двенадцать. Атомных радиотелеграфных станций — семьдесят пять; атомоходов — сто десять, преимущественно для России. Мы открыли сорок восемь агентств в различных столицах мира. Американский Steel Trust, берлинская AEG, итальянский Фиат, Маннесман, Крезо и шведские сталелитейные заводы предлагают объединиться. Концерн Круппа приобретает наши акции, невзирая на высокие цены.

— Как дела с выпуском новых акций?

— Условия приобретения пересматривались тридцать пять раз. Печать пророчит двести процентов супердивидендов. Кстати, газеты ни о чем другом не пишут; социальная политика, спорт, достижения науки и техники — все сведено к одному карбюратору. Какой-то немецкий корреспондент переслал нам семь тонн вырезок; француз — четыре центнера; англичанин — целый вагон. Специальная научная литература по данному вопросу, издание которой планируется в этом году, потребует приблизительно шестидесяти тонн бумаги. Англо-японская война прекращена вследствие падения общественного интереса. В одной только Англии осталось без работы девятьсот тысяч шахтеров. В бельгийском угольном бассейне вспыхнуло восстание — что-то около четырех тысяч убитых; больше половины шахт мира законсервированы. Пенсильванские предприниматели уничтожили свои нефтяные склады. Пожар еще продолжается.

— Пожар продолжается, — мечтательно повторил президент Бонди. — Пожар продолжается. Мы победили, о господи!

— Президент Угольной компании покончил жизнь самоубийством. На бирже — чистое безумие. В Берлине нынче с утра наши акции стоят выше восьми тысяч. Совет

министров заседает непрерывно, министры намерены объявить чрезвычайное положение. Это не изобретение, пан президент, — это переворот.

Президент Бонди и генеральный директор МЕАС молча посмотрели друг на друга. Ни один из них не был поэтом, но в эту минуту души их пели и ликовали.

Генеральный директор придвинул свой стул поближе к Бонди и произнес вполголоса:

— Пан президент, Розенталь лишился рассудка.

— Розенталь? — опешил Г. Х. Бонди.

Директор подтвердил печальную новость.

— Стал ортодоксом, носится с талмудистской мистикой и каббалой. Десять миллионов пожертвовал сионистам. А недавно в пух и прах рассорился с доктором Губкой. Вы слышали, Губка перешел в общину «Чешских братьев»?

— И Губка!

— Да. По-моему, члены нашего правления заразились от коллеги Махата. Вы не присутствовали на последнем заседании, пан директор. Это было невыносимо — они до самого утра вели религиозный диспут. Губка настаивал, чтобы мы передали заводы в руки рабочих. К счастью, уважаемые господа забыли поставить вопрос на голосование. Все были словно помешанные.

Президент Бонди грыз ногти.

— Что же нам теперь с ними делать, господин директор?

— Гм, тут ничего не поделаешь. Психоз, характерный для нашего времени. Даже в печати намекают на это. Но пока что тема карбюраторов вытеснила эту проблему. Невиданная вспышка религиозного фанатизма. Очевидно, какой-то вирус действует на психику или что-то вроде того. На днях я встретил доктора Губку, он проповедовал, обращаясь к толпе людей, собравшейся перед Промысловым банком, что-то насчет озарения души и приуготования к пришествию бога. Срам, да и только. Под конец он даже творил чудеса. И Форст — туда же. Розенталь свихнулся окончательно. Миллер, Гомола и Колатор заявили о добровольном отречении от своих миллионов. Отныне нам не собрать членов правления. Это сумасшедший дом, пан президент. Придется вам все забрать в свои руки.

— Но это ужасно, господин директор, — вздохнул Г. Х. Бонди.

— Согласен. А вы слышали о Цукробанке? Там дух божий вселился во всех служащих разом. Они раскрыли сейфы и раздавали деньги всем без разбора, кто бы ни заглянул. А в центральном банковском зале банкноты жгли на костре тюками. Я бы назвал это «коммунизмом религиозных фанатиков».

— В Цукробанке, гм... А у них нет карбюратора?

— Есть. Карбюратор центрального отопления. Цукробанк одним из первых приобрел нашу новинку. Теперь полиция распорядилась закрыть это учреждение. Вы знаете, даже уполномоченные и директора не уберeглись.

— Я запрещаю продавать карбюраторы банкам, господин директор!

— Почему?

— Запрещаю — и все. Пусть обогреваются углем.

— Теперь, пожалуй, поздновато. Все банки переходят на новую систему отопления. Уже ведутся работы по установке карбюраторов в парламенте и во всех министерствах. Гигантский карбюратор на Штванице предназначен для освещения Праги. Это пятидесятикилограммовый колосс, его мотор не имеет себе равных. Послезавтра в восемнадцать часов объявлен торжественный пуск в присутствии главы государства, бургомистра, пражского магистрата и представителей МЕАС. Вы должны принять участие в этом торжестве. Именно вы, пан Бонди!

— Сохрани бог! — переполошился президент. — Нет, нет, сохрани бог! Не пойду.

— Но это ваш долг, пан президент. Нельзя же послать туда Розенталя или Губку, у них ведь буйное помешательство. Еще нагородят там всякого вздору. Это дело нашей чести. Бургомистр готовит торжественную речь, где воздаст должное нашему предприятию. Ждут представителей зарубежных держав и корреспондентов различных мировых агентств. Готовится невиданное торжество. Как только на улицах зажгутся фонари, зазвенят фанфары и трубы, зазвучат хоры Кршижковского, певческого общества «Глагол», Дедрасбора, хор учителей, вспыхнет фейерверк, прогремит сто один залп. Пражский Град озарится огнями; не знаю, что там выдумают еще. Нет, вы непременно должны присутствовать, пан президент.

Г. Х. Бонди устало поднялся. «Боже мой, боже, и ты это терпишь, — шептал он, — да минует нас, господи... чаша сия...»

— Так вы придете?! — неумолимо настаивал генеральный директор.

— Отчего ты оставил меня своей милостью, о господа владыко!

Глава 8
НА ЗЕМЛЕЧЕРПАЛКЕ

Землечерпалка МЕ-28 недвижно возвышалась над Штеховицами, и силуэт ее четко вырисовывался на фоне вечернего неба. Неутомимый ковш уже давно прекратил подачу холодного песка с влтавского дна; вечер был сырой и безветренный, благоухающий запахами свежескошенного сена и ароматами леса. Северо-запад еще пылал нежным оранжевым светом. То тут, то там, колебля отражение небес в зеркальной глади, божественно просияет речная волна, сверкнет, прошелестит тихонько и разольется в мерцании вод.

Со стороны Штеховиц к землечерпалке, упорно преодолевая быстрое течение, приближался челн — на спокойной, переливающейся светлыми красками реке он казался черным, как водяной жук.

— Это к нам, — спокойно заметил матрос Кузенда, восседавший на корме землечерпалки.

— Их там двое, — помолчав, отозвался механик Брых.

— Я знаю, кто это, — догадался пан Кузенда.

— Штеховицкие влюбленные, — подсказал пан Брых.

— Пойду сварю им кофе, — решил пан Кузенда и спустился вниз.

— Эге-ге, ребята! — крикнул пан Брых пловцам. — Левее, левее берите! Ну-ка давайте мне руку, барышня, так! И хоп — наверх!

— Я с Пепиком, — заговорила девушка, ступив на палубу, — мы... мы хотели...

— Добрый вечер, — поздоровался молодой рабочий, выбравшись из челна следом за своей милой. — А где пан Кузенда?

— Пан Кузенда готовит кофе, — объяснил механик. — Присядьте. Гляньте, еще кто-то плывет. Это вы, пекарь?

— Это я, — раздалось в ответ. — Добрый вечер, пан Брых. Я привез к вам почтаря и лесничего.

— Так поднимайтесь наверх, братья, — пригласил пан Брых. — Как пан Кузенда сварит кофе, так и начнем. А кто еще будет?

— Я, — послышалось у борта. — Я, то есть пан Гудец, хотел бы послушать вас.

— Приветствую вас, пан Гудец, — сказал механик, обращаясь к кому-то внизу. — Подымайтесь наверх, тут лесенка. Погодите, я подам руку, пан Гудец, вы ведь у нас впервые.

— Пан Брых, — крикнули с берега, — пошлите лодочку за нами, ладно? Нам тоже к вам хочется.

— Съездите за ними, кто там внизу, — попросил пан Брых, — пусть все слышат слово божье. Рассаживайтесь, любезные братья и сестры. С тех пор как мы топим калбулатом, у нас тут чистота. Сейчас брат Кузенда подаст кофе, и начнем. Приветствую вас, молодежь. Поднимайтесь на палубу. — Тут пан Брых подошел к люку, откуда в трюм землечерпалки вела лесенка. — Алло, Кузенда, на палубе десять человек.

— Хорошо, — донесся из чрева землечерпалки глухой густой бас. — Несу.

— Так, рассаживайтесь, пожалуйста, — усердно приглашал гостей пан Брых, — у нас только кофе, пан Гудец; надеюсь, это вас не обидит?

— Нет, нет, нисколько, — уверил хозяина пан Гудец, — я лишь хотел посмотреть на ваше... ваши... ваше... заседание.

— Наше богослужение, — смиренно поправил гостя пан Брых. — Так, значит, вы знаете, что все мы братья. Должен вам сообщить, пан Гудец: я был алкоголик, а Кузенда — политический деятель; и на нас снизошла благодать. А эти вот братья и сестры, — он показал на сидящих вокруг, — каждый вечер приезжают к нам, чтобы помолиться о такой же благодати. Вот пекарь страдал удушьем, а Кузенда его исцелил. Расскажите нам, брат пекарь, как это произошло.

— Кузенда возложил руки мне на грудь, — тихо и проникновенно произнес пекарь, — и вдруг у меня в грудях разлилась этакая сладость. Видать, что-то у меня там лопнуло, и я вздохнул легко, словно вознесся на небеса.

— Постойте, пекарь, — поправил рассказчика Брых, — Кузенда не возлагал руки вам на грудь. Он и сам не ведал, что творит чудо. Он только махнул на вас ру-

кой — так вот, и вы сказали, что вам полегчало. Вот как дело было.

— Мы тоже были при этом, — заговорила девушка из Штеховиц. — И у пана пекаря еще такое сияние появилось вокруг головы! А потом пан Кузенда излечил меня от чахотки, — правда, Пепик?

— Чистая правда, пан Гудец, — подтвердил влюбленный Пепик. — Но куда большее чудо приключилось со мной. Я ведь дурной человек, пан Гудец; я уже в кутузке сидел, знаете, за воровство, ну и еще кое за какие грехи. Пан Брых мог бы вам такое порассказать!..

— Пустяки, — отмахнулся Брых. — Обошли вас божьей милостью, и все тут. Но здесь, на этом самом месте, дивные дела творятся, пан Гудец. Однако вы и сами, поди, в этом убедитесь. Уж так-то хорошо брат Кузенда говорит об этом, потому как раньше он ходил на разные собрания. Смотрите, вот он, идет уже.

Все повернулись в сторону люка, который вел в машинное отделение. В отверстии показалась бородатая физиономия растерянного и несколько напряженно улыбающегося человека, которого толкают в спину, а он делает вид, будто в этом нет ничего особенного. Кузенда высунулся из люка по пояс — в обеих руках он держал большой жестяной поднос, уставленный глиняными горшочками и банками из-под консервов; неуверенно улыбаясь, он плавно поднимался наверх. Стопы ног пана Кузенды уже были на уровне палубы, а он со своими горшочками улетал все выше и выше. Поднявшись на полметра над отверстием, он остановился, как-то странно перебирая ногами, непроизвольно повис в воздухе, явно пытаясь коснуться пола.

Пану Гудецу казалось, что это сон.

— Что с вами, пан Кузенда? — в испуге прохрипел он.

— Ничего, ничего, — замялся Кузенда и оттолкнулся от воздуха, а пану Гудецу припомнилось, что в детстве над его колыбелькой висела картинка с изображением вознесения Христа и что там Иисус с апостолами точь-в-точь так же вот висели в поднебесье, подгребая ногами, но выражение их лиц не было столь сокрушенным.

Тут паи Кузенда внезапно подался вперед и поплыл, поплыл по вечернему небу, словно уносимый легким зефиром; время от времени он поднимал ногу, как будто намеревался сделать шаг в воздухе или предпринять еще коечто; он заметно опасался за свои горшочки.



— Примите у меня кофе, пожалуйста, — вдруг попросил он.

Механик Брых поднял руки и принял железный поднос с горшочками.

Тут Кузенда свесил ноги, скрестил на груди руки и неподвижно замер, склонив голову набок.

— Приветствую вас, братья, — обратился он к присутствующим. — Пусть вас не смущает, что я летаю; это всего лишь знамение. Этот горшочек с цветами для вас, барышня.

Механик Брых разносил горшочки и консервные баночки. Никто не отваживался нарушить тишину; попавшие на палубу впервые с любопытством глазели на вознесение Кузенды. Остальные гости не спеша отхлебывали кофе, в промежутках между глотками будто бы творя молитву.

— Попили уже? — немного погодя раздался голос Кузенды, и недавний политический деятель широко раскрыл белесые, сияющие восторгом глаза. — Тогда я начну.

Он откашлялся, подумал немного и начал:

— Во имя отца! Братья и сестры, мы собрались здесь, на землечерпалке, где нам господь являет знамение милости своей. Я не стану отсылать прочь неверующих и пересмешников, как это делали спириты. Пан Гудец явился к нам неверующим, а пан лесничий рассчитывал потешиться всласть. Приветствую обоих. Однако вам следует знать, братья, что благодаря явленной мне милости господней я вижу всех насквозь. Ах, лесничий, лесничий, ведь вы зелье хлещете почем зря, и гоните неимущих из лесу, и сквернословите, когда в этом нет никакой нужды. Не делайте этого впредь. А вы, пан Гудец, отъявленный мошенник, вы лучше меня знаете, что я имею в виду; потом вы не в меру вспыльчивы, резки. Но вера исправит вас и исцелит.

На палубе воцарилась глубокая тишина. Пан Гудец тупо уставился в землю. Лесничий всхлипывал и трясущимися руками шарил у себя в карманах.

— Вижу, вижу, пан лесничий, — нежно пропел парящий в воздухе Кузенда, — вам закурить хочется. Пожалуйста, не стесняйтесь. Здесь вы как у себя дома.

— Рыбки, — прошептала девушка и показала на зеркальную водяную гладь. — Посмотри, Пепик, карпы тоже пришли послушать.

— Это не карпы, — проговорил озаренный милостью божьей Кузенда, — это лини или окуни. А вы, пан Гудец, перестаньте терзаться из-за своих грехов. Взгляните на меня: я ничем не интересовался, кроме политики. И я вам скажу, что это тоже грех. А вы, лесничий, утрите слезы, я не хотел вас обидеть. Кому однажды открылась истина

господня, тот видит людей насквозь. Вы ведь тоже, пан Брых, можете теперь читать в душе у каждого.

— Могу, — кивнул пан Брых, — вот пан почтмейстер думает, не поможете ли вы его доченьке? У нее золотуха, не так ли, почтмейстер? Приведите ее к нам, и пан Кузенда ей поможет.

— Вот говорят: суеверие, — заметил Кузенда. — Братья, ежели бы мне раньше кто-нибудь стал рассказывать про чудеса да про бога, я бы поднял такого на смех. Настолько я был испорчен. А как попали мы сюда, на землечерпалку, к этой новой машине, что работает без угля, так всякая грязная работа у нас прекратилась. Да, пан Гудец, это первое чудо, которое явилось нам здесь; этот калбурат все делает сам, словно все понимает. И землечерпалка плывет сама по себе, куда ей надобно, а поглядите, как крепко она сейчас стоит. Посмотрите, пан Гудец, якоря-то уже наверху, она стоит себе без якорей, а когда нужно черпать песок, плывет опять, сама начинает работу и сама определяет, когда ее кончить. Нам, то есть Брыху и мне, даже пальцем пошевелить — и то незачем. И пусть мне теперь кто-нибудь скажет, что это не чудо. Взяли мы на заметку такое дело — правда, Брых? — и стали раздумывать, пока не разобрались. Это божеская землечерпалка, храм железный, а мы — всего лишь слуги господни. И ежели раньше-то господь бог являлся в источниках пли, как у древних греков, в дубах, а порой и в женщине, то отчего бы ему не объявиться теперь в землечерпалке? А чего, в самом деле, брезговать машиной? Машина — она порой чище монашки, а у Брыха все блестит, как в буфете. Ну это так, к слову пришлось. И потом учтите, бог вовсе не бесконечен, как утверждают католики. Он действует в радиусе около шестисот метров, на краях приметно слабее. Сильнее всего он здесь, на землечерпалке. Здесь он способен творить чудеса, а на берегу его хватает только на озарение и обращение людей в свою веру; в Штеховицах, например, при благоприятном ветре он оказывает себя этаким священным благовоньем. Как-то вертелись тут гребцы из «Молнии» и из Чешского яхт-клуба, так на них снизошла благодать. Вот какая сила у него здесь. А что богу от нас надобно, может почувствовать только эта... душа, — вещал Кузенда, выразительно тыча пальцем себя в грудь. — Я знаю, он не выносит политики, денег, умствований, гордыни и высокомерия. Ведомо мне, что он

обожает людей и животных, радуется вашему приходу и одобряет благие поступки. Он демократ до мозга костей, братья. Нас, то есть меня и Брыха, жжет каждый геллер, пока мы не истратим его на кофе для всех. Однажды в воскресенье здесь собралось сотни две молящихся, на обоих берегах сидели, и знаете, кофе у нас вдруг оказалось столько, что хватило на всех. И какой был кофе, братья! Но это лишь отдельные его проявления. А самое великое чудо — это его влияние на наши души. Это так неописуемо прекрасно, что дрожь пробирает. Иногда прямо чувствуешь, будто умираешь от любви и счастья, словно сливаешься вот с этой водой, зверюшками, с глиной и каменьем или как будто тебя сжимают в каких-то гигантских объятиях, — нет, никто не в состоянии выразить этого ощущения. Все вокруг звенит и поет, постигаешь язык всего сущего — воды, ветра; видишь, как все связано между собой и с тобою самим, и все вокруг делается яснее, отчетливее, чем даже печатный текст в книге. Порой это словно приступ, так что пена на губах выступает; иной раз он оказывает действие помаленьку и пронизывает все ваше существо до последней жилочки. Братья и сестры, да не убоимся мы никого на свете. К нам теперь подплывают двое полицейских, чтоб, значит, распустить наше собрание, поскольку о нем будто бы не заявлено в полицию. Но вы сидите в мире и спокойствии и доверьтесь землечерпальному богу.

Стемнело, но палуба землечерпалки и лица собравшихся людей светились нежным сиянием.

У борта судна прогремели и стихли весла гребцов.

— Эй, — окликнул чей-то мужской голос, — нет ли там пана Кузенды?

— Тут он, — херувимским голосом пропел Кузенда. — Поднимайтесь наверх, братья полицейские. Мне уже известно, что на нас донес штеховицкий трактирщик.

Двое полицейских ступили на палубу.

— Который из вас Кузенда? — спросил главный.

— Это я, извиняюсь, — отозвался Кузенда, возносясь несколько выше. — Сделайте милость, господин полицейский, поднимитесь ко мне.

Тут полицейские плавно вознеслись вверх и по воздуху приблизились к Кузенде. Ноги их отчаянно искали опоры, руки хватали податливый воздух; слышно было их лихорадочное, учащенное дыхание.

— Не пугайтесь, братья полицейские, — величественно изрек Кузенда, — и молитесь со мною вместе: «Отче наш, иже воплотился в этот ковчег».

— Отче наш, иже воплотился в этот ковчег, — хрипло повторял разводящий.

— Отче наш, иже воплотился в этот ковчег, — заголосил пан Гудец, грохнувшись на колени, и хор голосов присоединился к нему и зазвучал в унисон.

Глава 9
ТОРЖЕСТВО

Редактор Цирил Кевал, корреспондент пражских «Лидовых новин», облекшись в черный фрак, помчался на Штваницу, чтобы вовремя тиснуть статейку о торжественном пуске новой центральной карбюраторной электростанции для Большой Праги. Вонзившись в толпы любопытствующих зевак, запрудивших Петрский квартал, проникнув сквозь тройной кордон полицейских, он очутился возле небольшого каменного домика, увешанного флагами. Из домика доносилась ругань монтеров, которые, как полагается, не поспевали и теперь изо всех сил наверстывали упущенное. Центральная пражская карбюраторная станция была не больше общественной уборной. Возле нее в задумчивости расхаживал слегка смахивавший на философствующую цаплю редактор Чванчара из газеты «Венков».

Пан Чванчара любезно поздоровался с молодым коллегой.

— Держу пари, молодой человек, — провозгласил он, — сегодня что-нибудь да произойдет. Не было еще на моем веку торжества, на котором не совершилось бы какой-нибудь глупости. И так уж больше сорока лет.

— Но это потрясающе, не правда ли, мэтр? — заметил Кевал. — Крохотный домик зальет светом целую Прагу, приведет в движение трамвай и поезда в радиусе шестидесяти километров, тысячи фабрик и... и...

Пан Чванчара скептически покачал головой.

— Увидим, дорогой, увидим. Нас, стреляных воробьев... на мякине не проведешь; а впрочем... — Тут пан Чванчара понизил голос до шепота: — Обратите внимание, дорогой, тут нет даже запасного карбюратора. А если этот сломается или, скажем, взорвется... что тогда... а?

Кевалу стало неприятно, что до такой простой вещи он не додумался сам.

— Это исключено, мэтр, — пылко возразил он. — Я располагаю надежной информацией. Этот домик сооружен лишь для блезиру. Настоящая электростанция где-то в другом месте; она... она... там, — прошептал он, показывая вниз и давая тем самым понять, что электростанция находится глубоко под землей. — Не смею сказать, где именно. Но вы заметили, мэтр, что вся Прага раскопана?

— Уж сорок лет, как раскопана, — задумчиво подтвердил пан Чванчара.

— Ну, вот видите, — развивал свою мысль вдохновленный Цирил Кевал, — из стратегических соображений, это же понятно. Сложная система подземных переходов. Склады, пороховые погреба и так далее. У меня абсолютно точные сведения. Шестнадцать подземных карбюраторных крепостей вокруг Праги. Наверху ничего похожего — футбольное поле, палатки с газированной водой или памятник, ха-ха-ха, понятно? Потому теперь повсюду такая пропасть всяких памятников.

— Молодой человек, — оборвал Кевала Чванчара, — что современная молодежь знает о войне? А мы могли бы о ней кое-что порассказать. Ага, господин бургомистр уже прибыл.

— И новый министр обороны. Ну, что я вам говорил? Глядите, ректор Политехнического, генеральный директор МЕАС, старейшина еврейской общины.

— Французский посланник. Министр общественных работ. Дорогой коллега, подойдемте поближе. Архиепископ. Итальянский посол. Премьер-министр. Председатель спортивного общества «Сокол». Вот увидите, дорогой, кого-нибудь да забыли пригласить.

В это мгновение пан Цирил Кевал уступил место какой-то даме и был отторжен от патриарха газеты «Венков» и от входа, куда вливался непрерывный поток приглашенных. Послышались звуки государственного гимна, прозвучала команда почетному караулу, и в сопровождении свиты государственных мужей в цилиндрах и военных мундирах по красной ковровой дорожке в каменный домишко прошествовал глава государства. Пан Кевал поднялся на цыпочки, проклиная свою галантность. «Теперь, — горевал он, — мне туда никак не попасть. Чванчара прав, — размышлял Цирил далее, — без глупости ничего



не обходится, выстроят ведь этакий теремок ради такого славного торжества!.. Ну, ладно, речи сообщит телеграфное агентство, а всякие там красивые слова — «глубокое впечатление», «замечательный прогресс», «бурные аплодисменты главе государства» и все такое прочее — это мы и сами придумаем».

Внутри домика вдруг стало тихо, кто-то забормотал приветственную речь. Пан Кевал зевнул и, засунув руки в карманы, обошел домик вокруг. Сгущались сумерки. В темноте белели чистые белые перчатки полицейских и праздничные резиновые дубинки блюстителей порядка. Вдоль набережной толпился народ. Торжественная речь, как водится, затянулась. Но кто же, собственно, ее произносит? В эту минуту пан Кевал обнаружил в бетонной стене Центральной станции, на высоте двух метров от земли, маленькое оконце. Он оглянулся и — хоп — схватился за прутья решетки, после чего просунул в окошко свою сообразительную голову. Ага, речь держит господин бургомистр славного города Праги, красный как рак; возле него Г. Х. Бонди, президент М Е А С , — он представляет свое предприятие и почему-то кусает губы. Глава правительства держит руку на рычаге машины, чтобы повернуть его по условному знаку, после чего праздничный свет зальет улицы Праги, грянет музыка, взметнутся в небо разноцветные ракеты. Министр общественных работ беспокойно ерзает на месте; очевидно, собирается говорить, как только кончит бургомистр. Какой-то молоденький офицер теребит себя за кончики усов, посланники делают вид, будто всем сердцем внимают речи оратора, из которой не поняли ни единого слова; два делегата от рабочих слушают, уставясь куда-то в одну точку.

«В общем все идет как надо», — отметил про себя пан Кевал и спрыгнул на землю.

Обежав раз пять Штванице, он снова вернулся к домику и тут же влез на окошко. Бургомистр все еще держал речь. Кевал насторожился и услышал: «...близилось поражение белогорское...» Репортера как ветром сдуло, он уселся в сторонке и закурил. На улицах стало совсем темно. В вышине, меж кронами деревьев, мерцали звезды. «Странно, — подумалось пану Кевалу, — почему это они высыпали на небо, не дождавшись, пока глава государства повернет рычаг?» Меж тем Прага погружалась в темноту. Влтава, не расцвеченная бликами городских фонарей, катила свои черные воды; все с нетерпением ожидало торжественного мгновения — явления света. Докурив сигару, пан Кевал вернулся к станции и вновь взобрался на окошко. Господин бургомистр еще не кончил — теперь он казался темно-багровым; глава государства все еще не снял руку с рычага; гости развлекались втихомолку, только

иностранные послы слушали застыв. Где-то далеко позади мелькнула голова пана Чванчары.

Последние силы оставили пана бургомистра, и слово взял министр общественных работ; этот прямо-таки рубил фразы, только бы по возможности сократить речь. Глава государства перехватил рычаг из правой руки в левую. Старик Биллингтон, дуайен дипломатического корпуса, скончался стоя, даже в свой смертный час сохраняя на лице выражение всепоглощающего внимания. Тут министр кончил — словно отрезал.

Пан Г. Х. Бонди поднял голову, обвел присутствующих тяжелым взглядом и тоже произнес несколько слов — в том смысле, что МЕАС препоручает свое детище обществу во славу и процветание нашей метрополии, — и все. Глава государства выпрямился и повернул рычаг. В то же мгновение небывалое сияние озарило Прагу; ахнули толпы; на всех колокольнях ударили в колокола; с башни святой Марии прозвучал первый артиллерийский залп. Кевал, повиснув на прутьях решетки, оглядел город. Со Стршелецкого острова взвились осветительные ракеты; Градчаны, Петршин и Летна засверкали гирляндами разноцветных лампочек, где-то вдали усердствовали, заглушая друг друга, оркестры: над Штваницей закружились освещенные бипланы; со стороны Вышеграда по воздуху несся огромный дирижабль V16, увешанный лампионами; люди обнажили головы, полицейские, приложив руки к каскам, замерли, будто изваяния; теперь с Марииной башни ухали две батареи, им вторили мониторы у Карлина. Кевал опять приник к решетке, чтобы увидеть конец торжественной церемонии. Но вдруг вскрикнул, вытаращил глаза и прямо прилип к оконцу, однако вскоре, пролепетав нечто вроде «о господи!», выпустил прутья решетки и тяжело рухнул наземь. Не успел пан Кевал должным образом приземлиться, как об него споткнулся какой-то человек, поспешно спасавшийся бегством; пан Кевал в отчаянии вцепился в полу его сюртука; беглец оглянулся. Это был президент Г. Х. Бонди, бледный как мертвец.

— Что там творится, пан президент? — заикаясь, выговорил Кевал. — Что они там делают?!

— Пустите меня! — выдохнул Бонди. — Христа ради, пустите меня! Бегите отсюда!

— Но что там произошло?

— Пустите! — воскликнул Бонди и, отпихнув Кевала кулаком, исчез за деревьями.

Дрожа всем телом, Кевал оперся о ствол. Изнутри бетонного строеньица доносилось нечто похожее на варварский гимн.

* * *

Несколько дней спустя ЧТА сделало следующее невразумительное заявление: «Вопреки утверждениям одной нашей газеты, перепечатанным также и за границей, хорошо информированные круги сообщают, что при торжественном пуске карбюраторной электростанции не произошло ничего сколько-нибудь непристойного. В связи с этим бургомистр Большой Праги подал в отставку по состоянию здоровья. Дуайен Биллингтон, напротив, пребывает в полном здравии. Нельзя не отметить, что все приглашенные на торжество заявили, будто более сильного ощущения они до сих пор не испытывали. Преклонять колени и возносить молитвы господу — право каждого гражданина. Свершение чудес не противоречит никаким постановлениям демократического режима. Тем паче неуместно впутывать главу государства в те достойные сожаления происшествия, которые имели место на станции из-за недостаточной вентиляции и нервного переутомления».

Глава 10
СВЯТАЯ ЭЛЕН

Спустя несколько дней после вышеупомянутых событий пан Г. Х. Бонди в задумчивости бродил по пражским улицам с сигарой в зубах. Прохожим, очевидно, казалось, что он смотрит себе под ноги, на самом же деле пан Бонди зрел в будущее. «Марек был прав, — рассуждал он сам с собой, — еще более прав был его преосвященство Линда. Словом, без дьявольских последствий бога на свет не произведешь. Народ пусть себе творит, что ему взбредет в голову. Но от этого бога могут потерпеть крах банки и вообще черт знает какие перемены произойдут в промышленности. Сегодня в Промысловом банке на религиозной почве забастовка; мы продали им карбюратор, и ровно через два дня банковские служащие объявили, что все ценности

они передают на богоугодное дело помощи бедным. Во времена Прейсса этого наверняка бы не случилось».

Бонди угрюмо сосал сигару. «Неужели, — рассуждал он сам с собой, — придется все бросить? А ведь за один только сегодняшний день мы получили заказов более чем на двадцать три миллиона крон. Эту лавину уже невозможно остановить. Но дело пахнет концом света или еще чем-нибудь в этом роде. Через два года нам всем придет конец.

Нынче на планете работает несколько тысяч карбюраторов, и каждый днем и ночью извергает Абсолют. Этот Абсолют чертовски интеллигентен. У него ведь не исчезает безумное желание непременно занять себя делом. Конечно, он устал от праздности, тысячелетиями ему не позволяли работать, а теперь спустили с привязи. Какие шутки он выкидывает в Промысловом банке! Сам ведет бухгалтерские книги, подводит итоги, отвечает на письма; составляет приказы вместо членов правления. Рассылает контрагентам страстные послания насчет деятельной любви. Все это так; но акции Промыслового банка стали макулатурой: кило за кусочек вонючего сыра. Вот оно как получается, когда бог впутывается в банковские дела.

Фирма «Оберлендер», текстильная фабрика в Упице бомбардирует нас отчаянными депешами. Месяц назад они поставили у себя карбюратор; all right [1], машина отлажена на диво. И вдруг сельфакторы и станки начинают работать сами по себе. Стоит порваться нити, как она сама собой связывается и ткет дальше. А ткачам остается поглядывать, сложа ручки. Рабочий день кончается в шесть часов, ткачи и ткачихи расходятся по домам, а станки действуют круглыми сутками вот уже три недели подряд и ткут, ткут — непрерывно. Фирма завалила нас депешами: тысяча чертей, заберите себе наш товар, шлите сырье, остановите машину. А теперь это несчастье обрушилось на фабрики братьев Буксбаум, Моравца, «Моравца и К^0» — словно какая-то инфекция передается по воздуху. В городе уже нет сырья; предприниматели в панике швыряют в сельфакторы тряпье, солому, глину — все, что попадется под руку. И — скажите на милость! — из этого дерьма машина вырабатывает километры полотенец, коленкора, ситца и всевозможных других товаров. Переполох царит страшенный; цены на текстиль стремительно падают;

[1] прекрасно (*англ.*).

Англия повышает таможенные тарифы; соседние государства грозят бойкотом. А фабрики стонут: Христа ради, примите хотя бы товар! Везите куда хотите, присылайте людей, вагоны, автопоезда, остановите машины! Бесконечные жалобы в арбитраж с требованием возмещения убытков. Проклятая жизнь! И такие сообщения сыплются отовсюду, где установлен карбюратор. Абсолют ищет себе занятия, исступленно рвется к жизни. Однажды он сотворил мир, а теперь накинулся на производство. В его власти Либерец, брненские хлопчатобумажные фабрики, Трутнов, двадцать сахароваренных заводов, лесопильни, пльзеньские пивоварни; опасность грозит заводам Шкода; он уже трудится в Яблонце над производством ювелирных изделий и в яхимовских рудниках; кое-где заводчики сокращают рабочих, а кое-где запирают фабрики и в панике оставляют станки работать под замком. Перепроизводство достигло невообразимых размеров. Фабрики, где нет Абсолюта, закрыты. Это катастрофа...

...А ведь я патриот, — вспомнил пан Бонди. — Я не позволяю превращать в развалины нашу родину-мать! Ведь у меня здесь и собственные заводы. Ладно, отныне заказы для Чехии будут ликвидированы. Что было, то было, но с этой минуты в Чехию не поставят ни одного карбюратора. Мы наводним ими Германию и Францию; затем примемся бомбардировать Абсолютом Англию. Англия — консервативная страна, она отказывается принимать наши карбюраторы. Ну что же, начнем сбрасывать их с дирижаблей, как гигантские бомбы; мы заразим богом весь промышленный и финансовый мир и лишь в Чехии сохраним культурный, свободный от бога островок добропорядочности и добросовестной работы. Это мой патриотической долг, а кроме того, у меня же тут заводы!»

Г. Х. Бонди был взволнован открывшейся перед ним перспективой. «По крайней мере мы выиграем время, пока изобретут какие-нибудь антиабсолютные маски. Черт побери, я из собственного кармана выложу три миллиона на изобретение защитных средств против бога. Ну, скажем, не три — два миллиона. Чехи будут ходить в масках, в то время как остальные — ха-ха-ха! — потонут в боге. По крайней мере, их промышленность пойдет ко дну».

Пан Бонди взглянул на мир прояснившимся взором. Вон идет молоденькая женщина; походка легкая, пружинистая; интересно, а какова красотка лицом?



Пан Бонди прибавил шагу, обогнал незнакомку и изогнулся было в учтивом поклоне, но вдруг раздумал и круто повернул обратно, да так резко, что чуть было не столкнулся с девушкой носом к носу.

— Ах, это вы, Элен, — торопливо заговорил пан Бонди, — я предполагал, что... что...

— Я знала, что вы идете за мной следом, — ответила девушка, опустив ресницы, и остановилась.

— Вы это знали? — обрадовался пан Бонди. — И я вспоминал о вас.

— Я чувствовала ваше животное желание, — тихо промолвила Элен.

— Мое... что?

— Ваше животное желание. Вы не узнали меня. Вы меня ощупывали взглядом, словно я продаюсь.

Господин Бонди нахмурился.

— Элен, отчего вам хочется меня унизить?

Элен покачала головой.

— Все мужчины так поступают. Все, все — одинаково. Редко встретишь на улице ясный, открытый, человеческий взгляд.

Пан Бонди присвистнул. Ага, вот оно что! Религиозная община старого Махата!

— Да, да, — ответила Элен на его невысказанное предположение. — Вы тоже могли бы войти в нашу общину.

— Ну, разумеется! — воскликнул пан Бонди и подумал при этом: «Эх, жаль, славная была девка!»

— Почему жаль? — безгневно спросила Элен.

— Послушайте, Элен, — запротестовал Бонди, — вы читаете мысли. Это неприлично. Если бы люди читали мысли друг друга, общение стало бы невозможным. Это бестактно — знать, что твоему собеседнику пришло в голову.

— Но как же быть? — молвила Элен. — Каждый, кому открылась любовь к богу, наделен этим даром; любая ваша мысль одновременно возникает и у меня: я не читаю ее, она появляется сама. Если бы вы знали, как это очищает душу, коли тебе самому доступно осудить малейшее тайное неблагородство.

— Гм, — хмыкнул пан Бонди, опасаясь, как бы его не посетила неосторожная мысль.

— Несомненно, — убеждала его Элен, — с божьей помощью я излечилась от страсти к деньгам. Ах, как я была бы рада, если бы вы тоже прозрели!

— Сохрани бог, — перепугался Г. Х. Бонди. — Прошу прощения, но все-таки вы оправдываете недостатки, которые таким способом... гм... таким способом... обнаруживаете в людях?

— О, разумеется!

— Тогда выслушайте меня, Элен, — проговорил Бонди, — вам я могу открыть свое сердце: все равно вы прочли бы это в моей душе. Я никогда не женился бы на женщине, умеющей читать мои мысли. Она может быть святой — пожалуйста, сколько угодно; может быть милосердной — ради бога, никаких ограничений; на это я заработаю, а для меня это как-никак реклама; я смирился бы даже с вашими добродетелями — из любви к вам, Элен. Я вынес бы все испытания. Ведь по-своему я любил вас, Элен. Признаюсь вам в этом, потому что вы и сама все знаете. Но, Элен, ни торговля, ни общество невозможны без задних мыслей. И главное — без тайных мыслей невозможно супружество. Это исключено, Элен. Даже если вам встретится святейший из святых — не выходите за него замуж, покуда не разучитесь читать его мысли. Легкое надувательство — единственно безотказно действующий рычаг в общении между людьми. Не выходите замуж, святая Элен!

— Почему же не выходить? — сладко пропела святая Элен. — Наш бог не против природы; он освящает ее — и только. Он не требует от нас умерщвления плоти. Он освящает ее. Он заповедал нам жить и плодиться. Он желает, чтобы мы...

— Тррр, — прервал святую пан Бонди, — ваш бог в этом ничего не смыслит. И если он лишает нас права заблуждаться — он отъявленный враг природы. Он просто возмутителен, Элен, абсолютно возмутителен. И если у него есть капля разума — он признается в этом. Или он вовсе неискушен, или преступник и разрушитель. Глубоко сожалею, Элен. Я не против религии, но этот бог сам не ведает, что творит. Удалитесь в пустынь, святая Элен, вместе со своим ясновидением. Люди его не потерпят. До свиданья, Элен, а лучше — прощайте.

Глава 11
ПЕРВАЯ БАТАЛИЯ

До сих пор не установлено, как это произошло; но тем не менее именно в тот период, когда фабрика инженера Р. Марека (Бржевнов, Миксова, 1651) была оккупирована сыщиками и окружена полицейскими кордонами, не-

известные злоумышленники уволокли оттуда Мареков экспериментальный карбюратор. Тщательнейшие расследования ни к чему не привели — украденная машина пропала бесследно.

А некоторое время спустя владелец карусели Ян Биндер решил купить у торговца утилем на Гаштальской площади нефтяной моторчик. Торговец предложил покупателю огромный медный цилиндр с маховым колесом, заметив, что этот двигатель очень дешев в эксплуатации; стоит, дескать, всыпать внутрь немножко угля, и он работает как заводной долгие месяцы. Ян Биндер, внезапно осененный небывалой, прямо-таки слепой верой в медный цилиндр, отдал за него три сотни; он сам погрузил его на повозку и отвез к своей неисправной карусели, в пражское предместье Злихов.

Ян Биндер скинул пиджак, снял цилиндр с повозки и, тихо насвистывая, принялся за работу. Вместо маховика он насадил на вал колесо, на колесо накинул ремень, натянув его и на другой вал, который одним своим концом должен был крутить карусель, а другим — шарманку. Потом хозяин смазал втулки, задвинул их в одно из колес и, сунув руки в карманы, выпятив губы, словно собираясь свистнуть, замер в ожидании того, что будет дальше. Колесо, сделав три оборота, остановилось; потом дрогнуло, качнулось и начало плавно, сосредоточенно вращаться. Тотчас раздались звуки шарманки, которая заиграла всеми своими дудочками и трубочками; карусель встрепенулась, словно пробуждаясь ото сна, расправила свои члены и плавно пошла по кругу. Серебристая ее бахрома переливалась на солнце; белые кони под чепраками с красными поводьями стронули с места свои царские экипажи; олень, вытаращив страшные, остекленевшие глаза, понесся вскачь, поднявшись на дыбы; лебеди, величественно изогнув благородные шеи, повлекли за собой белоснежно-лазурные челны; играя всеми цветами радуги, звеня песнями, карусель разворачивалась во всей своей неописуемой, райской красоте перед застывшим взором трех граций, намалеванных на шарманке, которая упивалась собственным искусством.

А Ян Биндер стоял, выпятив губы, засунув руки в карманы, и разглядывал свою карусель, захваченный каким-то неведомым, новым и прекрасным чувством. Но теперь он

был уже не один. Ребенок с грязной, заплаканной, сопливой физиономией увлек сюда свою молоденькую няньку я застыл перед каруселью, широко раскрыв глаза и рот. Нянька тоже таращила глаза и стояла словно очарованная. Карусель кружилась, сверкающая, торжественная и величественная, словно праздник; она то проносилась мимо с головокружительной скоростью, трепеща, как корабль, груженный индийскими пряностями, то плыла, словно золотое облако, высоко в небе, — впечатление создавалось такое, будто, оторвавшись от земли, она мчит в небеса, полыхая позолотой и напевая песню. Но нет, это поет шарманка; вот она звенит женскими голосами, осыпаемыми серебристым дождем звуков арфы; а теперь гудит девственный лес или орган; в глубине джунглей флейтами заливаются птички, словно опускаясь тебе на плечи; звучные фанфары оповещают жителей о вступлении в город вождя или даже целой армии, чьи огненные мечи блещут на солнце. Но кто же творит этот чудный гимн? Тысячи людей размахивают ветками, небеса разверзаются, и под барабанный бой на землю слетает песнь самого бога.

Ян Биндер поднимает руку, но тут карусель останавливается и раскрывает свои объятия ребенку. И он взбирается на нее, словно входит в распахнутые врата рая, и нянька, как лунатик, следует за ним и сажает его в челн, запряженный лебедем.

— Нынче задаром, — хрипло бросил Биндер, отчего восторженно залилась шарманка и карусель закружилась, словно взмывая в небеса. Ян Биндер пошатнулся. Что это? Это ведь уже не карусель, а вся земля пошла кругом. Злиховский костел выписывает гигантские эллипсы, подольский санаторий вместе с Вышеградом, медленно, непрестанно кружась, перебираются на противоположный берег Влтавы. Да, да, все вращается вокруг карусели, быстрей, быстрей, как турбина; только карусель стоит прочно посредине земли, мерно колыхаясь, будто корабль, на палубе которого прохаживаются белые кони, олени, лебеди и невинный ребенок — он ведет няню за руку и нежно гладит животных. О да, земля несется стремительно, и на всем ее пространстве лишь карусель являет собой любезный сердцу приют спокойствия и отдохновения. Ян Биндер, пошатываясь, чувствуя тошноту в желудке, подхваченный коловращением земли, с вытянутыми вверх руками,

спотыкаясь, цепляется за железные тяжи карусели и вскакивает на ее тихую палубу.

Отсюда видно, как вращается, расходится кругами земная поверхность, как по ней, словно по неспокойному морю, катятся волны... Из домишек выскакивают обезумевшие обитатели, бессмысленно размахивают руками, силятся удержаться на месте, падают, будто их подхватывает некий гигантский, бешено вращающийся волчок. Биндер, крепко вцепившись в карусельные цепи, наклоняется к людям и ревет: «Ко мне, ко мне, люди добрые!» И люди добрые, видя озаренную сиянием карусель, возносящуюся над бешено раскрутившейся землей, спотыкаясь, торопятся к нему. Биндер, держась за стальные прутья одной рукой, другую протягивает им и выхватывает из пучин земли детей, старушек, стариков — и вот они уже на карусельной палубе, переводят дух после великого испуга и ахают, завидев летящую по кругу планету. Уже всех вытянул пан Биндер, но по земле еще носится черный пес, скуля со страху; он и рад бы допрыгнуть до палубы, да земля вращается вокруг карусели все быстрей и быстрей. Тогда Биндер опускается на корточки, протягивает руку, хватает пса за ошейник и поднимает его наверх.

В ту же секунду шарманка грянула благодарственную песнь. Она звучит хоралом потерпевших крушение, где хриплые голоса пловцов вплетаются в детскую молитву; над разбушевавшейся стихией распростерлась радуга мелодии (be molle), а небеса распахнулись блаженным сиянием скрипичного pizzicato. Чудом спасенные люди стоят на Биндеровой карусели в полном молчании, обнажив головы; женщины тихо шевелят губами, читая молитву, а дети, уже забывая о только что пронесшейся грозе, отваживаются даже погладить жесткую морду оленя и круто изогнутую шею лебедя. Белоснежные кони снисходительно позволяют детским ножонкам вскарабкаться в их седла; то тут, то там раздается конское ржание, и лошадь важно, с достоинством цокает копытом. Земля вращается теперь медленнее, и Ян Биндер, высокий, в своей полосатой тельняшке, нескладно начинает речь:

— Так вот, люди добрые, собрались мы здесь, бежав суеты мирской. Тут, значится, мир божий посередь гроз, тут мы уложены, как в постельке. И это нам знамение, что должны мы бежать от мирского шума и найти прибежище в объятиях господа, аминь!



Это или нечто подобное внушал Ян Биндер в своей проповеди, а люди, сгрудившиеся на карусели, внимали ему, словно священнику. Наконец земля остановилась; шарманка тихо, благоговейно взяла последний аккорд, и люди live пососкакивали вниз.

Ян Биндер напомнил еще раз, что катались все задаром, и отпустил их, обращенных в новую веру и возвышенных душой.

А когда в четвертом часу маменьки с детками и старички пенсионеры снова вышли прогуляться между Злиховым и Смиховым, шарманка снова завела свою музыку, снова завертелась земля, и снова Ян Биндер спасал людей на карусельной палубе и успокаивал их приличествующей случаю проповедью; в седьмом часу с фабрики возвращались рабочие; в девятом откуда-то появились влюбленные, а в одиннадцатом гуляки высыпали из кабачков и кинематографа; все они были подхвачены земной круговертью и уцелели лишь благодаря радушно распахнутым объятиям карусели; спасенные были укреплены для будущей жизни напутственными словами Яна Биндера.

Душеспасительная деятельность пана Биндера продолжалась неделю, после чего карусель покинула Злихов и подалась вверх по течению Влтавы, в Хухле и на Збраслав, а затем — в Штеховице. Уже четверо суток с непреходящим успехом трудилась она во славу божию, пока не разыгралось несколько загадочное происшествие.

Ян Биндер как раз закончил проповедь и, сотворив крестное знамение, отпустил своих новых учеников. Но тут из тьмы выступила, приближаясь к нему, черная безмолвная толпа; во главе ее шествовал высокий мужчина с обвисшими усами; он вплотную подступил к Биндеру.

— А ну, — вымолвил великан, с трудом сдерживая гнев, — сматывайтесь отсюда, а не то...

Биндеровские прихожане, заслышав это, вернулись к своему пастырю. Биндер, чувствуя за собой крепкий тыл, сказал твердо:

— Смотаемся после дождичка в четверг.

— Спокойно, милый человек, — посоветовал кто-то из пришедших, — к вам обращается пан Кузенда.

— Оставьте его, пан Гудец, — перебил усатый. — Я один с ним управлюсь. Так вот, второй раз вам говорю: сматывайте удочки, а не то я во имя господа бога разнесу все вдребезги.

— Стало быть, убирайтесь-ка и вы восвояси, — ответствовал Ян Биндер, — а не то я во имя господа бога вышибу вам зубы.

— Черт побери! — завопил механик Брых, продираясь сквозь толпу вперед. — Пусть попробует!

— Братья, — мягко увещевал Кузенда, — сперва потолкуем по-хорошему. Биндер, вблизи нашей землечерпальной святыни вы творите ваши мерзопакостные фокусы, но мы этого не потерпим.

— Надувательство это, а не святыня, — во всеуслышание провозгласил Биндер.

— Что?! — воскликнул пораженный в самое сердце Кузенда.

— Это надувательство, а не святыня!

Трудно передать в связном повествовании, что произошло затем. По-моему, первым на Биндера бросился пекарь из Кузендова лагеря, но Биндер поверг его наземь, треснув кулаком по затылку.

Затем лесничий двинул Биндера прикладом в грудь, но в то же мгновение лишился ружья; один штеховицкий молодчик вышиб им Брыху передние зубы и сбил шляпу с головы пана Гудеца. Кузендов почтарь душил какого-то парнишку (Биндерова последователя). Биндер бросился к нему на помощь, но штеховицкая девица сиганула на него сзади и укусила в плечо, где у пана Биндера был вытатуирован чешский лев. Кто-то из «биндеровцев» вытащил нож, и Кузендова рать в своем большинстве оставила позиции, но некоторые, напав на карусель, все же успели обломать рога оленю и свернуть благородную шею одному из лебедей. Карусель застонала, покосилась, и крыша ее обрушилась на нечестивцев.

Кузенда, ошеломленный ударом по голове, потерял сознание. Все погрузилось во мрак и безмолвие. Подоспевшие зеваки узрели такую картину: у Биндера сломана ключица, Кузенда валяется в беспамятстве, Брых выплевывает зубы и кровь, а штеховицкая барышня рыдает в истерике. Прочие улепетнули.

Глава 12
ПРИВАТ-ДОЦЕНТ

Молодой, едва достигший пятидесятипятилетнего возраста д-р философии пан Благоуш, приват-доцент кафедры сравнительной теологии Карлова университета, довольно потирал руки, подступая к четвертушкам чистой бумаги. Легко начертав заглавие: «Религиозные явления последнего времени», он начал свою статью следующими сло-

вами: «Спор об определении понятия «религия» ведется со времен Цицерона». Написав это, приват-доцент погрузился в раздумье. «Эту статью, — решил он, — пошлю в «Час»; погодите, братья коллеги, посмотрим, какой вы поднимете переполох! На мое счастье, вовремя подвернулась эта мистическая лихорадка! Чрезвычайно актуальная выйдет статья!

В газетах появятся отзывы — вроде «Наш молодой, подающий надежды ученый, д-р философии Благоуш опубликовал глубокое исследование...» и так далее; потом мне дадут экстраординарную профессуру, и Регнер лопнет от злости».

Молодой ученый опять с удовольствием потер сухонькие ручки, так что раздался радостный хруст, и принялся сочинять дальше. Когда под вечер к нему зашла хозяйка спросить, что пан желает на ужин, ученый был уже на шестидесятой четвертушке и дошел до отцов церкви. В двенадцатом часу пополуночи (на четвертушке 115-й) он приблизился к собственному определению понятия религии, которое от определений его предшественников отличалось одним-единственным словом; затем д-р Благоуш вкратце рассказал (не преминув сделать несколько полемических замечаний) о методах точной теологической науки, после чего сжатое вступление к статье было завершено.

Вскоре после полуночи наш доцент записал: «Именно в последнее время дают себя знать различные религиозные и культовые явления, которые заслуживают внимания точной теологической науки. И хотя первоочередной и непосредственной ее задачей является восстановление религиозных верований давно вымерших народов, однако живая действительность также может предоставить *современному* (подчеркнуто д-ром Благоушем) исследователю разнообразный материал, mutatis mutandis [1], проливающий свет на культы давнего прошлого, о которых мы судим только на основании предположений».

Затем д-р философии, воспользовавшись сообщением газет и изустными свидетельствами очевидцев, описал кузендизм, где обнаружил черты фетишизма, а также тотемизм (землечерпалка как тотем Штеховиц). Ученому удалось установить родство биндеризма с танцующими дервишами и оргаистическими культами древних. Д-р Бла-

---

[1] в измененных условиях (*лат.*).

гоуш упомянул также о явлениях, имевших место при торжественном пуске карбюраторной электростанции, и остроумно сопоставил их с культом огня у парсов. В общине Махата ученый увидел черты аскетизма и факирства; примеры разнообразных случаев ясновидения и чудесного исцеления д-р Благоуш весьма тонко сравнил с черной магией древних негритянских племен Центральной Африки. Несколько шире коснулся он вопроса психической инфекции и массового внушения; он исторг из тьмы веков шествия флагеллантов, крестовые походы, хилиазм и малайский амок. Религиозные движения последних дней д-р Благоуш рассмотрел в психологических аспектах: как заболевание дегенератов-истериков и как психическую эпидемию среди суеверных, интеллектуально неразвитых масс; и в том и другом случае ученый указывал на пережитки примитивных культовых форм, склонность к анимизму и шаманству, на коммунизм первых религиозных общин, напоминающий анабаптистов и вообще ослабление деятельности разума в пользу наипримитивнейших инстинктов — суеверий, веры в чудеса, в переселение душ, мистику, идолов.

«Не нам судить, — писал д-р Благоуш, — в какой степени здесь присутствуют очковтирательство и мошенничество лиц, спекулирующих на легковерии простых людей; научный эксперимент со всей очевидностью показал бы, что мнимые чудеса нынешних тауматургов не что иное, как давным-давно известные проделки шутов и гипнотизеров.

С этой точки зрения обращаем внимание органов безопасности и психиатров на новые, что ни день возникающие как грибы «религиозные общины», секты и кружки верующих.

Точная теология ограничивает свою задачу констатацией того, что все эти религиозные явления — по сути дела лишь пережитки варварства и смесь наидревнейших элементов культа, подсознательно живущих в народной фантазии; достаточно нескольких фанатиков, шарлатанов и явных маньяков, чтобы под цивилизованным слоем европейского общества проступили доисторические мотивы слепой веры...»

Д-р Благоуш встал из-за письменного стола; он только что дописал 346-ю четвертушку своего опуса, но еще не чувствовал себя утомленным. «Теперь нужен эффектный

конец, — сказал он себе, — несколько идеек насчет прогресса и науки, замечание о подозрительной снисходительности правительства к религиозному обскурантизму, тезис о необходимости дать отпор реакции и так далее».

В этот момент молодой ученый, охваченный восторгом вдохновения, подошел к окну и выглянул на улицу — тишь, безлюдье царили вокруг. Ни один огонек не мерцал в жилищах людей. Д-р Благоуш легонько вздрогнул от утренней свежести. Приват-доцент взглянул на небо; оно уже померкло, но все еще переливалось звездами, далекое, величавое. «Как давно я не видел неба! — подумал вдруг ученый. — Бог мой, больше тридцати лет!»

Тут нежная прохлада коснулась его чела, словно кто-то обнял его голову своими чистыми, холодящими руками. «Я так одинок, — тоскливо пожаловался старик, — всю жизнь очень одинок! Да, да, приголубь, приласкай меня, ветер; ах, уже более четверти века ничья ладонь не ласкала моего лба!»

Замирая от счастья и дрожа, д-р Благоуш стоял у окошка. «Тут кто-то есть, — вдруг осенило доктора, объятого мучительно-сладкой истомой, — о, боже, я ведь тут не один! Кто-то обнял меня, кто-то стоит возле. О, если бы он остался со мной навсегда!»

Если бы некоторое время спустя в кабинет доцента вошла хозяйка, она увидела бы, как ученый муж воздел к небу руки и запрокинул голову; выражение непередаваемого восторга разлилось по его лицу. Но вот он вздрогнул, открыл глаза и, словно лунатик, вернулся к письменному столу.

«С другой стороны, нет никаких сомнений, — торопливо записывал он, не заботясь о связи с предыдущим, — что бог нынче не в состоянии проявляться иначе, как в примитивных культовых формах. Упадок веры, характерный для современности, разрушил вековую зависимость человека от древней религии; богу приходится все начинать сначала, обращая нас в свою веру, как некогда он обращал дикарей; поэтому он прежде всего должен стать идеалом и фетишем, божком общины, клана или племени; он одушевляет природу и оказывает на нас влияние через магов и чародеев. На наших глазах повторяется эволюция религии от доисторических форм до высших ее ступеней. Возможно, что нынешняя религиозная волна разойдется по

нескольким направлениям, каждое из которых будет добиваться господства за счет остальных.

Мы вправе ожидать и периода религиозных сражений, которые пылом своим и упорством превзойдут крестовые походы, а по своим масштабам оставят далеко позади последние мировые войны. В нашем растерявшем всякую веру мире царство божье нельзя создать без великих жертв и догматических междоусобиц. Однако, невзирая на это, говорю вам: отдайтесь Абсолюту всем существом своим; уверуйте в бога, в каком бы обличье он ни являлся; знайте, что он уже грядет к нам, дабы сотворить на нашей земле и, по всей видимости, на других планетах нашей системы вечное царствие божие, царствие Абсолюта. Наперед говорю вам: покоритесь!»

* * *

Эта статья приват-доцента д-ра Благоуша действительно появилась в печати, хотя и не в полном виде: редакция опубликовала лишь рассуждения ученого относительно сект и заключительную часть с осторожным комментарием в том смысле, что эта статья молодого ученого в значительной степени примечательна для умонастроений времени.

Большого переполоха статья Благоуша не вызвала. Произведенное ею впечатление вскоре было вытеснено новыми событиями. Только приват-доцент Регнер, тоже молодой д-р философии, прочитал статью Благоуша с нескрываемым интересом; во время чтения он не раз восклицал по разным поводам: «Нет, Благоуш невыносим. Совершенно невозможен. Ну помилуйте, можно ли на профессиональном уровне рассуждать о религии, если сам веришь в бога?»

Глава 13
ИЗВИНЕНИЯ АВТОРА ХРОНИКИ

А теперь позвольте летописцу Абсолюта обратить внимание читателей на свое незавидное положение. Прежде всего он как раз приступает к главе 13, сознавая, что это злосчастное число будет иметь роковое влияние на ясность и полноту изложения. Что-нибудь да перепутается в этой зловещей главе — уж будьте покойны. Конечно, автор мог бы как ни в чем не бывало надписать

«Глава 14», но бдительный читатель тотчас почувствовал бы себя лишенным 13-й главы и был бы прав: ведь он заплатил за все повествование. Впрочем, если вас пугает тринадцатое число, пропустите эту главу; право, она проливает не так уж много света на темную историю фабрики Абсолюта.

Куда горше другие сомнения автора. Он поведал вам с той связанностью, на которую был способен, о возникновении и успехах фабрики Абсолюта; описал последствия установки нескольких карбюраторных котлов у пана Махата, в Промысловом банке, на упицком текстильном предприятии, на Кузендовой землечерпалке и на Биндеровой карусели; на примере трагического происшествия с Благоушем автор показал, как разносится инфекция, вызванная свободно проникающим всюду Абсолютом, который, как можно было видеть, начал распространяться, подобно эпидемии, энергично, хотя и без строго разработанного плана.

Теперь учтите, что с тех пор были произведены многие тысячи карбюраторов различных типов. Поезда, самолеты, автомобили и корабли, оснащенные самым дешевым мотором, выпускали на своих путях целые облака Абсолюта, подобно тому как прежде они оставляли за собой пыль, дым и смрад. Заметьте, что тысячи фабрик во всех уголках мира уже вышвырнули старые котлы и заменили их карбюраторами; что сотни министерств и учреждений, сотни банков, бирж и универсальных магазинов, экспортных агентств и ресторанов, отелей и казарм, школ, театров и рабочих клубов, тысячи редакций и обществ, кабаре и частных домов отапливались наиновейшей карбюраторной Центральной Отопительной Системой производства фирмы МЕАС. Не забудьте также, что в концерн МЕАС влились заводы Стиннеса и что американский Форд перешел на серийное производство карбюраторов, выпуская их по тридцати тысяч в день.

Да, да, сделайте одолжение, подытожьте все это и припомните, какие последствия имела установка каждого из кратко описанных мною карбюраторов. Умножьте эти результаты в сотни тысяч раз, и тогда вы легко представите положение, в котором оказался автор хроники.

О, с какой радостью я вместе с вами последовал бы за каждым только что увидевшим свет карбюратором! Разинув рот, наблюдал бы за его погрузкой; угостил бы хлеб-

цем или кусочком сахара тяжеловозов с королевскими, необъятными крупами, задал бы им сенца — это они доставят на дребезжащей телеге новенький медный цилиндр к месту назначения; с каким удовольствием, заложив руки за спину, я помогал бы при его установке и давал бы советы монтажникам, а потом ждал бы, когда он начнет вращаться. С каким нетерпением я всматривался бы в лица людей — когда же «это» начнется, когда Абсолют проникнет в них через нос, уши или еще как-нибудь и примется разрушать их косное естество, менять склонности, врачевать душевные раны; как своим широким лемехом он начисто перепашет, воспламенит и перемелет их в порошок, чтоб возродить вновь; как он раскроет перед ними мир — удивительный, человечный и подлинный мир чудес, восторгов, вдохновения, проникновения, веры! Ибо помните — автор хроники открыто признается в том, что он в историки не годится; там, где историк ступой или прессом своей исторической эрудиции, эвристики, дипломатики, отвлеченных понятий, синтеза, статистики и прочих исторических ухищрений сожмет тысячи и сотни тысяч мелких, живых, личных впечатлений в некую плотную материю, легко поддающуюся обработке и именуемую «исторический факт», «социальное явление», «общественная жизнь», «эволюция», «направление» или даже вообще «историческая правда», хроникер видит лишь разрозненные эпизоды и даже находит удовольствие копаться в них. Скажем, теперь ему не мешало бы заняться прагматическим, эволюционным, идейным, синтетическим описанием и разбором «религиозного течения», охватившего весь мир на пороге 1950 года; и хроникер, сознавая грандиозность этой миссии, приступил было к собиранию фактов «божественных явлений» данной эпохи; и глядь, на этом эвристическом пути наткнулся на «казус» Яна Биндера, артиста варьете в полосатой тельняшке; Биндер вышел на пенсию и странствует теперь со своей атомной каруселью по городам и весям. Разумеется, исторический синтез повелевает хроникеру абстрагироваться от полосатой тельняшки, от карусели и даже от Яна Биндера и держаться «исторической сути», научного положения, утверждая лишь, что «божественный феномен с самого начала захватил широчайшие слои населения». Тут хроникер обязан чистосердечно признаться, что не может он абстрагироваться от Яна Биндера, что очарован его каруселью и что даже эта полосатая

тельняшка занимает его куда больше, чем некая «синтетическая картина». Конечно, это просто неспособность данного лица к научной деятельности, пустое дилетантство, ограниченность исторического кругозора — называйте как угодно, но если бы автор хроники мог поступить по своему усмотрению, он побрел бы вместе с Яном Биндером к Будейовицам, потом на Клатовы, к Пльзени, в Жлутице, все дальше и дальше от Праги; с сожалением расстается он с Яном в Штеховицах и машет ему на прощанье: «Прощайте, молодец Биндер. Прощай, карусель, мы уж не увидимся больше».

Бог мой, да ведь и Кузенду с Брыхом я оставил на влтавской землечерпалке; я охотно провел бы с ними еще не один вечер, потому что я люблю Влтаву, текущие воды вообще и особенно вечера у реки; потом, я чрезвычайно привязан к пану Кузенде и пану Брыху; что же касается пана Гудеца, пекаря, почтмейстера, лесничего и штеховицких влюбленных, то я верю, что и с ними тоже интересно было бы познакомиться поближе — как и с любым, с любым из вас, с любым из обитателей земли. А между тем я вынужден спешить и едва ли успею помахать им шляпой. Прощайте, пан Кузенда! Доброй ночи, пан Брых! Благодарю вас за неповторимый вечер на землечерпалке! И с вами я должен расстаться, доктор Благоуш! Я мечтал бы побыть с вами подольше и описать всю вашу жизнь — что ж, разве жизнь приват-доцента не увлекательна по-своему? Поклонитесь, по крайней мере, от меня вашей хозяйке!

Все, что ни есть вокруг, достойно внимания.

Именно поэтому я хотел бы следовать по пятам за каждым новым карбюратором; я — и вы со мною вместе — узнавали бы новых людей, а они всегда этого стоят. Взглянуть хоть одним глазком, как они живут, постичь тайны их сердец, увидеть рождение их веры и спасения — изумиться дивному диву человечьих таинств, — вот это была бы удача!

Представьте себе нищего, председателя президиума, банковского директора, машиниста, кельнера, раввина, майора, редактора экономического отдела, клоуна в кабаре — вообще все виды людских амплуа; представьте скрягу, сластолюбца, фанфарона, скептика, скромника, карьериста — всевозможные виды человеческих темпераментов, а теперь попробуйте вообразить, сколько различ-

ных, бесконечно разнообразных, неповторимых и удивительных проявлений «божеской благодати» (или — если угодно — отравления Абсолютом) можно было бы встретить и сколь важно было бы заняться каждым из них в отдельности! Сколько здесь ступеней веры, от обычного верующего до фанатика, от кающегося грешника до чудотворца, от новообращенного до страстного апостола! Объять все это! Всему подать руку! Но этому не суждено сбыться; *такая* книга никогда не выйдет из-под моего пера, а поэтому хроникер, отказавшийся от чести научно «отфильтровать» исторический материал, с тоской отвращает свои взоры от разрозненных *фактов,* о которых ему не суждено поведать миру.

О, если бы я мог остаться возле святой Элен! Если бы не должен был вероломно покинуть Р. Марека, который лечит свои нервы в Шпиндельмюле! Если бы я оказался в состоянии вскрыть череп и проникнуть в тайну созидательного мозга стратега промышленности, президента Бонди! Ничего не поделаешь; отныне Абсолют заполнил весь мир и сделался «массовым явлением»; хроникер, с грустью оглядываясь назад, вынужден предпочесть всему этому суммарное изображение лишь некоторых социальных и политических событий, которые стали неизбежностью.

Итак, мы переступаем черту нового круга фактов.

Глава 14

ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ

Автору хроники так же, наверное, как и многим из вас, нередко случалось смотреть на ночное небо, усыпанное звездами, в немом восхищении сознавать их бесчисленность, невообразимую отдаленность и бесконечность вселенной и заставлять себя верить, что каждая точка — это огромный пылающий мир или целая населенная разумными существами планетная система и что таких точек, наверное, биллионы; когда смотришь с вершины (со мной так было в Татрах) на горизонт и видишь перед собою луга, леса, горы, а под ногами, совсем близко, — густой лес и травы, буйные, полные ненасытной жизни, когда различаешь среди них пестроту цветов, кружение насекомых и бабочек, когда это щедрое разнообразие помножаешь про себя на просторы, уходящие в бесконечную

даль, да к этим просторам прибавляешь еще миллионы километров иных пространств, образующих поверхность нашей планеты, тоже процветающих и изобильных, — в такие моменты тебя посещает мысль о творце, и ты говоришь себе: если все это творение чьих-то рук, то творец, прямо скажем, был ужасно расточительным. Если уж кому-то вздумалось стать творцом, создателем, то вовсе нет надобности творить столь бессмысленно и много. Изобилие — это хаос, а хаос — это нечто вроде невменяемости или запоя. Да, интеллект человека немеет перед расточительной щедростью создателя. Проще говоря, всего *слишком* много, и беспредельность эта уму непостижима. Разумеется, рожденный для Вечного во всем привык к беспредельности и не имеет правильного представления о мере (ибо *любая* мера предполагает конечность), а богу, скорее всего, вообще неизвестно это понятие.

Пожалуйста, не расценивайте мое утверждение как хулу или поношение; я пытаюсь лишь выразить словами несоответствие человеческого разума и космического изобилия. Это бессмысленное, прямо-таки лихорадочное буйство и разнообразие сущего трезвому уму кажется, скорее, следствием распущенности, а не сознательного и последовательного созидания. Только это я и позволил бы себе заметить со всей присущей мне деликатностью, прежде чем мы вернемся к нашему рассказу.

Читателям уже известно, что благодаря полному сгоранию материи, которое стало реальностью после изобретения инженером Мареком атомного карбюратора, с очевидностью было доказано присутствие Абсолюта во всяком веществе. Вероятно, это можно представить себе примерно так (хотя это тоже гипотеза) : до сотворения мира Абсолют существовал в виде бесконечной несвязанной энергии. Вследствие неких серьезных физических или нравственных причин свободная энергия пустилась творить что есть мочи, превратись в энергию деятельную, и, в точном соответствии с законом превращения, перешла в состояние бесконечной связанной энергии; она как-то растворилась в своей активности, то есть в созданной богом материи, где и осталась заколдованной и скрытой. Понять это не просто, но тут уж ничего не поделаешь.

А в наше время, когда материя полностью сгорала в атомном моторе Марека, связанная энергия, как видно, освобождалась, избавляясь от материальных пут; она стала

вольной энергией, или Абсолютом деятельным, столь же свободным, как и перед сотворением мира. Произошло внезапное раскрепощение неизвестной дотоле рабочей силы, которая уже однажды проявила себя при сотворении мира.

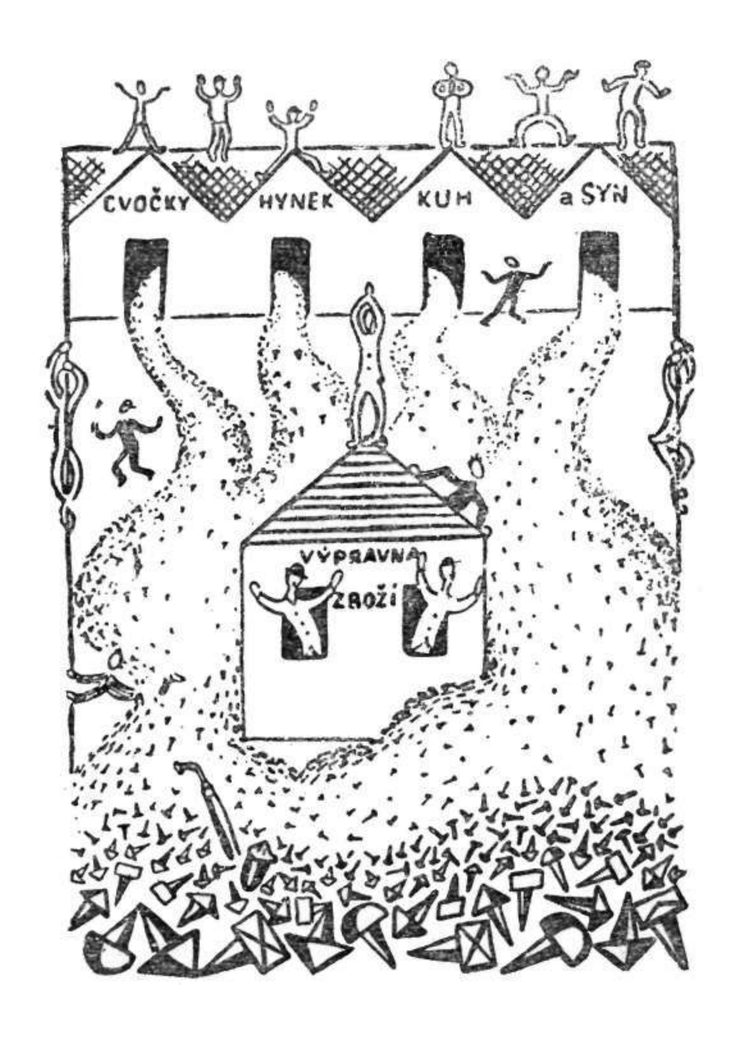
Если бы вдруг космос полностью испепелил себя, изначальное творение создателя могло бы быть повторено еще раз; и это был бы несомненный и безусловный конец света, что сделало бы возможным основание новой мировой фирмы «Космос II». А между тем в карбюраторах Марека материальный мир сжигали всего лишь килограммами. Абсолют, освобождаемый по таким крохам, или не чувствовал себя достаточно сильным, чтобы с места в карьер возобновить дело творения, или не пожелал повторяться; так или иначе, он решил заявить о себе двояким способом — традиционным и самым современным.

Традиционный способ носил, как вы уже знаете, религиозный характер и выражался в разного рода внушениях, обращениях, нравственном воздействии, экстатических состояниях, пророчествах и — главное — вере в бога.

В область интимных чувств и человеческой культуры Абсолют вторгся уже испытанным способом, но с размахом дотоле невиданным. Несколько месяцев спустя на планете не осталось никого, кто бы — хоть на короткий миг — не ощутил *божьего промысла,* с помощью которого Абсолют заявил о своих правах на человеческую душу. Но к психологической форме волеизъявления Абсолюта мы еще вернемся позже, когда нам придется живописать ее катастрофические последствия.

Современный способ проявления Абсолюта принес нечто совершенно неслыханное. Бесконечная энергия, некогда занявшая себя сотворением мира, теперь, очевидно, учтя изменившиеся обстоятельства, хлынула в производство. Абсолют не творил — он вырабатывал. Отказавшись от чистого творчества, он стал к станку. И сделался Неустанным рабочим.

Представьте себе, что на фабрике — скажем, на фабрике сапожных гвоздей — вместо паровой машины поместили самый дешевый из существующих двигателей. Абсолют, хлещущий непрестанным потоком из атомного мотора, моментально постиг — я бы сказал, своим природным умом постиг — суть данного способа производства я отдался ему со всей неукротимой дееспособностью, или,



вернее, необузданным честолюбием: он начал производить гвозди. Стоило ему разойтись — и остановить его стало уже невозможно. Станок, никем не управляемый, непрерывно извергал гвозди. Железные прутья, предназначавшиеся на гвозди, тянулись друг за другом, летели по воздуху и сами собой вкладывались в станки. Непривычному взгляду это поначалу казалось чудовищным. Когда запасы сырья иссякли, железо само начало *произрастать* из глубин

земли. Чистое железо проступало на фабричной территории, словно кто-то высасывал его из земных недр; затем железные прутья поднимались приблизительно на метр и с лихорадочной поспешностью устремлялись в машины, как будто кто-то *засовывал их* туда. Обратите, пожалуйста, внимание: хотя я всюду говорю «железо поднималось» или «железо устремлялось», но очевидцы описывают свои впечатления в таких выражениях, словно железо *было поднято* яростной, но невидимой силой *насильственно,* со столь явным и сосредоточенным усилием, что это вселяло ужас; очевидно, для подобных метаморфоз требовалось *колоссальное* напряжение. Конечно, тот, кто баловался спиритизмом и видел «вознесение столика», может подтвердить, что столик поднимался отнюдь не с бесплотной легкостью, а в каких-то судорогах: он трещал во всех сочленениях, дергался, вставал на дыбы, пока не подскакивал ввысь, словно приподнятый неодолимой силой. Но как изобразить ожесточенную, немую, упорную борьбу, после которой железо ползет наверх, вытягивается в прутья, лезет в станки и позволяет разрубить себя на гвозди?! Прутья извиваются, словно змеи, сопротивляясь чему-то влекущему их в машины, звенят и скрежещут в тишине, в неощутимой немоте; корреспонденты того времени отмечают *кошмарное* впечатление от этого зрелища; право, это было чудо, но не думайте, что чудеса — нечто столь же удивительное и замысловатое, как сказка; на мой взгляд, в основе любого чуда лежит раздражающее нервное напряжение. Однако с каким бы усилием ни действовал Абсолют, нас ошеломляет прежде всего его колоссальная производительность; за примерами далеко ходить не нужно; вспомним: одна наша гвоздильная фабрика, полоненная Абсолютом, круглыми сутками извергала такое количество гвоздей, что на фабричном дворе образовались целые горы, которые впоследствии повалили загородки и засыпали улицу.

Ограничимся пока примером с гвоздями. Тут вы видите всю первозданность Абсолюта, неистощимого и расточительного, как в дни сотворения мира. Однажды устремившись в производство, он уже не заботился о распределении, спросе, сбыте, целесообразности — ни о чем вообще; просто всю свою нерастраченную энергию он обрушил на производство гвоздиков. Будучи, в сущности, бесконечен,

он не знал меры и не ограничивал себя ни в чем, даже в производстве сапожных гвоздей.

Можете представить, какую панику вызвала активность нового двигателя среди рабочих этой фабрички! В их глазах Абсолют был неожиданным и бесчестным конкурентом, тем, кто совершенно обесценил их труд; безусловно, они с полным правом могли бы защитить себя от наступления манчестерского капитализма, сговорившись разорить фабрику и повесить фабриканта, и они сделали бы это, если бы с первых же секунд не были покорены и околдованы Абсолютом: среди них вспыхнула религиозная горячка всех форм и оттенков. Они переболели вознесениями, пророчествами, чудесами, видениями, исцелениями, святостью, сверхлюбовью к ближнему и тому подобными противоестественными и даже фантастическими состояниями.

С другой стороны, нетрудно вообразить, как воспринял божественную сверхпроизводительность владелец такой гвоздильной фабрики. Он, по-видимому, должен был бы возликовать, вышвырнуть рабочих, на которых и без того был зол, и довольно потирать руки, любуясь лавиной гвоздиков, которые не стоили ему ни гроша. Но он тоже, конечно, был подвержен психическому воздействию Абсолюта и поэтому тут же, не сходя с места, передал фабрику рабочим, братьям во Христе, в общее пользование, да к тому же он попросту сообразил, что горы гвоздиков теперь утратят всякую ценность, ибо не найдут сбыта.

Правда, рабочим не нужно было стоять у станков и подносить железные прутья; кроме того, они оказались совладельцами фабрики. Но несколько дней спустя обнаружилось, что необходимо устранить многотонные горы никому не нужных сапожных гвоздей, устранить любым способом. Сперва целые вагоны гвоздей удавалось рассылать по фиктивным адресам, но вскоре не осталось ничего другого, как вывозить их за город, где выросли гигантские свалки. На уборке гвоздей все фабричные рабочие были заняты по четырнадцати часов в сутки; однако они не роптали, осиянные духом божьей благодати и взаимопонимания.

Простите мне столь долгое топтание вокруг темы гвоздей. Абсолют не знал узкой промышленной специализации.

С таким же рвением он вторгся в прядильни, где творил чудеса и не только вил веревки из песка, но и прял

из него пряжу; ткацкое, трикотажное и суконное производство Абсолют взял на откуп, безостановочно выдавая миллионы километров всего, что можно кроить. Он завладел металлургическими, прокатными, литейными, стекольными, химическими заводами, заводами сельскохозяйственных машин, лесопильнями, деревообделочной промышленностью, производством сахара, удобрений, резины, азота, нефти, кирпича, обоев, керамики, обуви, бумажными фабриками, красильнями, шахтами, пивоварнями, типографиями, молочными, мельницами, монетными дворами, автозаводами, точильнями. Абсолют ткал, вязал, прял, ковал, плавил, штамповал, сколачивал, монтировал, шил, строгал, пилил, копал, жег, белил, чистил, варил, фильтровал, прессовал по двадцать четыре и даже двадцать шесть часов в сутки. Впряженный в сельскохозяйственные машины вместо локомобилей, Абсолют пахал, сеял, боронил, рыл, косил, жал и молотил. И в каждой отрасли он сам создавал производственное сырье и в сотни раз увеличивал выпуск продукции. Он был неистощим. Он прямо бурлил кипучей энергией. Оп открыл численное выражение своей собственной бесконечности: изобилие.

Чудо с пятью рыбками и одним хлебцем было повторено в монументальной форме чудесного размножения сапожных гвоздей, досок, азотистых удобрений, шин, бумаги и прочих фабрично-заводских изделий.

На земле наступило изобилие во всем, в чем нуждаются люди. Люди, однако, нуждаются в чем угодно, только не в беспредельном изобилии.

Глава 15

КАТАСТРОФА

Да, да, в нынешние прекрасные, я бы сказал, благословенные времена дороговизны трудно вообразить социальное зло беспредельного изобилия. Нам представляется, что если бы вдруг на планете обнаружились несметные залежи предметов потребления, то это был бы рай. «Чего же лучше, — думаем мы, — если всего хватает на всех и так дешево, братцы!»

Так вот, экономическая катастрофа, разразившаяся в мире благодаря вмешательству Абсолюта, была вызвана тем, что все необходимое для человека можно было достать не только дешево, но прямо-таки задаром. Вы могли даром

взять горсть гвоздей, чтобы прибить ими подошвы ботинок или доски пола; вы могли увезти и полный вагон такого добра, только, скажите на милость, зачем? Что бы вы стали с ним делать? Провезли бы сотню-другую километров и раздали бы дорогой? Этого вы предпринять не могли, ибо, стоя над лавиной гвоздей, вы видели бы уже не гвозди, то бишь вещь, относительно полезную, но нечто совершенно ненужное и бессмысленное в своем изобилии; нечто столь же бесполезное, как звезды на небе. Да, да, да, вот именно: некогда этакая громада новых блестящих гвоздиков была великолепной и даже возбуждала поэтические чувства, подобно звездам небесным. Она казалась созданной ради безмолвного восхищения. По-своему это был великолепный пейзаж с гвоздями — столь же великолепный, как пейзаж с морем. Но ведь море не вывозят вагонами в центральные области страны, туда, где его нет. На морские воды не распространяются законы распределения. Отныне они не распространялись и на сапожные гвозди.

Однако в то время, как в одном месте распростерлось сверкающее море новых гвоздей, в нескольких километрах от пего достать гвозди не было никакой возможности. Экономически обесцененный гвоздь исчез с полок скобяных лавок. Захотели вы, к примеру, прибить гвоздем подошву или воткнуть его ближнему под матрац — хвать, а его и нет. Нету гвоздочка — как в городе Сланом или в Чаславе нету моря.

О, где вы, прославленные торговцы минувших времен, что умели товар задешево приобрести и втридорога продать? Увы, сгинули вы и пропали, ибо снизошла на вас милость божия; устыдились вы своей корысти и заперли лавочки — только и думы теперь, что о братстве; раздали вы все, что имели, и ни за что, ни за что на свете не хотите отныне наживаться на распределении товаров, потребных братьям во Христе; где нет стоимости, там нет и рынка. А где нет рынка, нет и распределения; где нет распределения, нет и товара. А где нет товара, растет спрос, растут цены, растут прибыли, расцветает торговля. Но вы отвратили взор свой от прибыли и почувствовали непреодолимое отвращение ко всем цифрам вообще. Вы перестали глядеть на мир глазами потребления, спроса и сбыта. Воздев руки, вы дивились красе и изобилию. А меж тем гвозди кончились. Их не стало. Лишь где-то за морем они громоздились неиссякаемой громадой.

И вы, пекари, тоже встали у дверей своих лавчонок и принялись зазывать... «Приидите, люди божий, ради Христа, приидите и возьмите хлебы и муку, булочки и кренделечки, смилуйтесь, Христа ради, и берите даром!» И вы, торговцы мануфактурой, вы тоже вынесли отрезы сукон и тончайшего полотна прямехонько на улицу и со слезами радости на глазах оделяли встречного и поперечного, отрезая им по пять, по десять метров и Христом-богом умоляя принять ваш маленький подарок; и лишь когда ваша лавка начисто опустела, пали вы ниц и возблагодарили бога за то, что ему угодно было позволить вам нарядить ближних, как цветы полевые. И вы, мясники и колбасники, вы тоже водрузили на головы корзины с мясом, с сардельками, копчеными колбасами и пошли от двери к двери, стуча, названивая, упрашивая, чтобы каждый выбрал, что ему по душе; также и вы, торговцы обувью, мебелью, табаком, сумками, очками, украшениями, коврами, тростями, веревкой, жестяным товаром, фарфором, книгами, вставными челюстями, овощами, лекарствами и бог знает чем еще — все вы, осененные духом божиим, высыпали на улицы и «раздавали все, что имеете», после чего, встречаясь или стоя на порогах своих опустошенных лавчонок и складов, сообщали друг другу с пылающим взором: «Ну, брат, я облегчил свою совесть!»

Итак, несколько дней спустя обнаружилось, что раздавать больше нечего. Но и купить тоже. Абсолют разорил, опустошил начисто все торговые дома.

А в то же время где-то вдали от городов машины извергали миллионы метров сукон и полотна, Ниагары сахара, рождая бурное, неисчерпаемое изобилие божественного перепроизводства всевозможных товаров. Слабые попытки распределить этот поток среди потребителей вскоре, однако, прекратились. С ним не было никакого сладу.

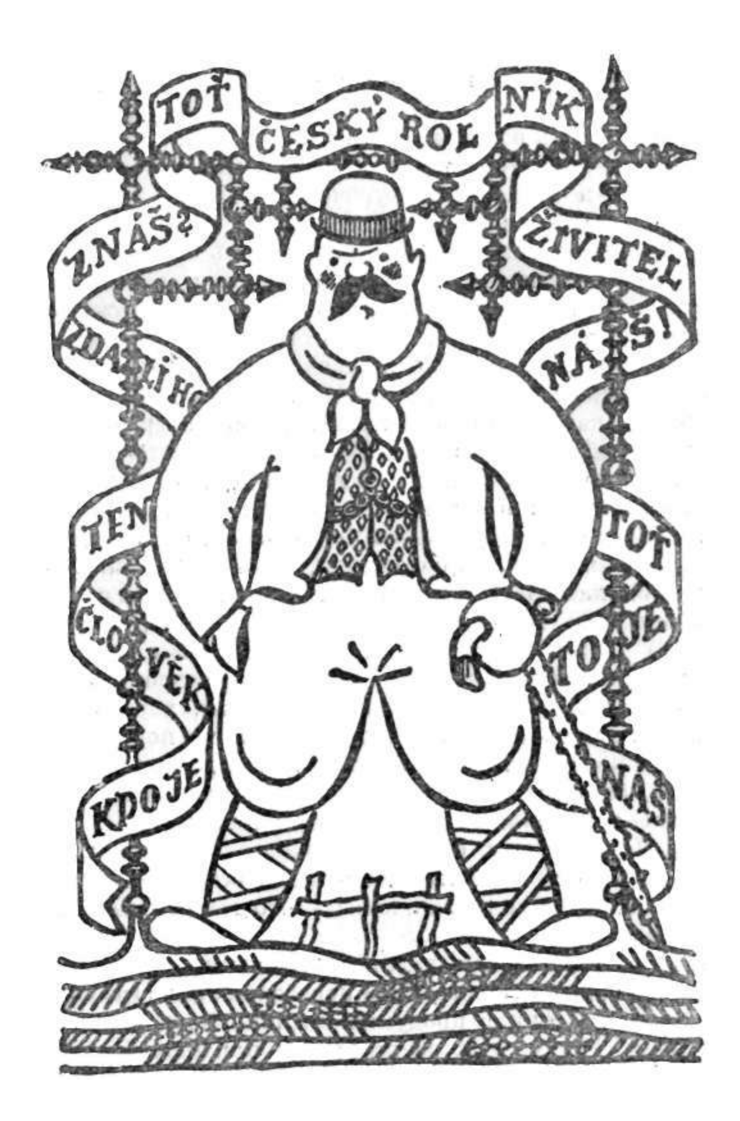
Впрочем, вполне возможно, что катастрофа в экономике была вызвана чем-то иным, а именно — инфляцией. Абсолют овладел монетными дворами и типографиями; ежедневно он пускал в обращение сотни миллиардов банкнот, металлических денег и ценных бумаг. Инфляция была налицо: пачка пятитысячных банкнот ценилась едва ли больше, чем более или менее плотная туалетная бумага. И если бы вам пришло в голову предложить за детскую соску пятак или полмиллиона — для денежного оборота

это не имело бы ни малейшего значения; соски вы не получили бы все равно, ибо соски исчезли.

Числа утратили всякий смысл. И этот распад системы чисел явился, разумеется, естественным следствием бесконечности и всемогущества бога.

К этому времени в городах уже давал себя знать недостаток продовольствия и даже голод. Снабженческий аппарат по вышеизложенным причинам развалился окончательно, хотя и в эту пору существовали министерства снабжения, торговли, социального обеспечения и железных дорог; по нашим понятиям, можно было бы своевременно остановить огромный поток продукции, уберечь ее от гибели и осмотрительно вывезти на места, разоренные божьей щедростью. Увы, этого не случилось. Министерские служащие, отмеченные особо мощным воздействием благодати, все служебные часы проводили в радостных молитвах. В министерстве заготовок наилучшим образом овладела ситуацией секретарша мадемуазель Шарова, которая особенно ревностно проповедовала девять заповедей; в министерстве торговли председатель профсоюзного комитета, некто Винклер, провозгласил аскетизм типа индийских йогов. Правда, эта лихорадка длилась лишь четырнадцать дней, после чего в людях развилось — явно по специальному внушению Абсолюта — чудесное осознание долга перед обществом. Ответственные учреждения лихорадочно трудились днем и ночью, дабы справиться с продовольственным кризисом, но, по-видимому, было уже поздно; ежедневное производство каждым из министерств от пятнадцати до пятидесяти трех тысяч актов, которые по решению межведомственной комиссии столь же регулярно отвозили на грузовых машинах и сбрасывали во Влтаву, было единственным результатом этой горячки.

Естественно, самым тяжелым оказалось положение с продовольствием, однако, по счастью, в нашей стране (поскольку я описываю события в своем отечестве) на страже общественных интересов стоял СЛАВНЫЙ ТРУЖЕНИК СЕЛА. Господа, вдумайтесь теперь в смысл того, что мы твердим испокон веков: наше крестьянство — ядро нации; об этом даже поется в одной старой песне. «Кто ж этот человек? Знаешь ли ты? Это чешский крестьянин, кормилец наш!» Кто же тот камень, о который разбилось лихорадочное расточительство Абсолюта? Кто же тот гранит, что твердо и невозмутимо



пережил панику, охватившую мировой рынок? Кто же это не сложил молитвенно рук, не потерял головы и «остался верен своим интересам»? Кто этот человек? Знаешь ли ты? Это чешский крестьянин, кормилец наш!

Да, это был наш крестьянин (кстати, в иных странах наблюдалось аналогичное явление), именно он на свой

манер спас мир от голодной смерти. Представьте себе, если бы им, так же как городскими жителями, овладела мания раздавать все неимущим и нуждающимся; если бы крестьянин за здорово живешь отказался от своего зерна, буренушек и телятушек, курочек, гусей и картошки — через две недели в городах начался бы голод, и деревня была бы выжата, истощена, сама осталась бы без запасов, под угрозой вымирания. Благодаря нашему доброму селянину этого не произошло. Теперь пусть это ex post[1] объясняют чудодейственным инстинктом нашей деревни, верной, чистой, глубоко укоренившейся в народе традицией или, наконец, тем, что на селе Абсолют был менее заразителен, так как в сельском хозяйстве с его раздробленностью Карбюратор не нашел такого массового применения, как в промышленности, — думайте что хотите, но факт остается фактом: в момент общего краха экономической системы и рынка *крестьянин не раздавал,* он не подарил никому ни крошки. Ни соломинки, ни овсяного зернышка. На развалинах древней промышленной и торговой системы наш сельский труженик безмятежно торговал тем, что имел. И торговал втридорога. Непостижимым чутьем он учуял катастрофическую роль изобилия и вовремя притормозил его. Притормозил, взвинтив цены, хотя амбары ломились от добра. И это свидетельствует о поразительно здоровом начале нашего селянина, который, не тратя слов попусту, безо всякой организации, ведомый лишь спасительным внутренним голосом, поднимал цены везде и всюду. Подняв цены, он уберег добро от разбазаривания. Среди безумного изобилия он отстоял островок нехватки и дороговизны. Чуял, должно быть, что тем самым спасает мир от верной гибели.

Ибо между тем как прочий, обесцененный, даром раздаваемый товар с естественной неизбежностью сгинул и не появлялся на рынке, продукты питания продавались попрежнему. Разумеется, за ними вам приходилось прогуляться в деревню. Ваш пекарь, мясник, лавочник ничего не могли предложить вам, кроме братской любви и святого слова. Поэтому, перекинув через плечо котомку, вы побрели за сто двадцать километров в деревню; шли от хутора к хутору — ан глядь! — и подхватили: там кило картошки за золотые часики, а тут яичко за полевой бинокль,

[1] после всего (*лат.*).

еще где-нибудь — килограммчик отрубей за фисгармонию или пишущую машинку. И — вот видите! — нашлось чем перекусить. А если бы крестьянин все это раздал — вы давно протянули бы ноги. Крестьянин приберег для вас и фунт масла — приберег оттого, что возмечтал получить за него персидский ковер или редчайшей красоты киевский национальный костюм.

Итак, кто остановил безумные эксперименты Абсолюта? Кто не утратил здравого смысла в переполохе, наделанном половодьем добродетели? Кто устоял во времена катастрофического потока изобилия, кто, не щадя животов наших и добра, уберег нас от погибели?

Кто ж этот человек? Знаешь ли ты?
Это чешский крестьянин, кормилец наш!

Глава 16
В ГОРАХ

Хижина в Медвежьей долине. Полдень. Инженер Рудольф Марек, съежившись, просматривает на террасе газеты, порой откладывая их, чтобы полюбоваться широкой панорамой Крконошских гор. В горах — величественная, кристальная тишина, и сломленный горем человек распрямляет плечи, чтобы вздохнуть полной грудью.

Но в этот момент внизу возникает чья-то фигурка и направляется к хижине.

«Какой чистый воздух! — приходит в голову Мареку, отдыхающему на веранде. — Здесь, слава богу, Абсолют еще скован, рассеян во всем, притаился в этих горах и лесах, в этой шелковистой, ласковой траве и голубом небе; здесь он не носится по свету, не пугает и не творит чудес, а лишь спрятан в материи. Бог глубоко и неслышно присутствует всюду, затаил дыхание да поглядывает искоса. — Инженер Марек воздел руки, принося безмолвную благодарность. — Боже мой, как упоителен здесь воздух!»

Человек, шедший снизу, останавливается перед верандой.

— Ну, наконец-то я разыскал тебя, Марек!

Марек поднял взгляд, — видимо, визит не обрадовал хозяина. Перед верандой стоял Г. Х. Бонди.

— Наконец-то я тебя разыскал! — повторил пан Бонди.

— Поднимайся наверх, — буркнул явно недовольный Марек. — Какой черт тебя сюда приволок? Ну и вид у тебя, милейший!

Действительно, Г. Х. Бонди осунулся и пожелтел; на висках серебрится седина, а под глазами собрались усталые морщины. Молча опустился он возле Марека и сжал руки между колен.

— Ну, что с тобой? — настойчиво потребовал ответа Марек, нарушив мучительное молчание.

Бонди махнул рукой:

— Выхожу в тираж, голубчик. То бишь... на меня... на меня это... тоже...

— Благодать? — воскликнул Марек и отскочил от Бонди, как от прокаженного.

Бонди кивнул. Не слеза ли раскаяния дрожит у него на ресницах?

Марек понимающе присвистнул:

— Значит, и ты... Бедняга!

— Нет, нет, — поспешил возразить Бонди и вытер глаза, — ты не думай, что я и теперь еще... Я это как-то перенес на ногах, Руда, как-то перетерпел, только, знаешь, когда это... на меня нашло... это была счастливейшая минута в моей жизни. Ты понятия не имеешь, Руда, каким страшным напряжением воли спасаешься *от этого.*

— Верю, — серьезно согласился Марек. — А скажи, пожалуйста, какие ты... какие симптомы ты отмечал у себя?

— Любовь к ближнему, — шепнул Бонди, — я спятил от этой любви, голубчик. Никогда не поверил бы, что можно ощущать что-либо подобное.

Они помолчали.

— Так, значит, ты... — первым возобновил прерванный разговор Марек.

— Я это преодолел. Знаешь, как лисица, которая, попав в капкан, перегрызает себе лапу. Но после этого я чертовски сдал. Я почти развалина, Руда. Словно после тифа. Поэтому и приехал сюда, чтобы опять собраться с силами... Здесь безопасно?

— Совершенно. Пока... О нем ни слуху ни духу. Его лишь чувствуешь... в природе и вообще во всем, но так бывало и прежде... в горах это испокон веков.

Бонди угрюмо молчал.

— Ну и что? — тоскливо проговорил он немного по-

годя. — Что ты на это скажешь? Ты вообще — ты в курсе того, что творится внизу?

— Слежу по газетам... в какой-то степени... и по сообщениям прессы можно воссоздать... картину происходящего. В газетах, конечно, вечно все переврут, но для того, кто умеет читать между строк... Послушай, Бонди, а там действительно все очень страшно?

Г. Х. Бонди затряс головой.

— Хуже, чем ты предполагаешь. Словом, положение отчаянное. Знаешь, — убитый горем Бонди перешел на шепот, — он уже повсюду. По-моему, он действует по вполне определенному плану.

— По плану? — воскликнул Марек и вскочил.

— Не кричи так громко. У него есть план, дружище. Он действует дьявольски хитро. Скажи, Марек, какая, по-твоему, держава могущественнее всех в мире?

— Английская, — не колеблясь, ответил Марек.

— Какое там! Производство — вот какая держава могущественнее всех. И так называемые «массы» — тоже. Понимаешь, в чем его план?

— Не понимаю.

— Он овладел тем и другим. Захватил производство и массы, и теперь они у него в руках. Судя по всему он рассчитывает на завоевание мирового господства. Так-то вот, Марек.

Марек сел.

— Погоди, Бонди, я тут, в горах, много об этом думал. Я слежу за Абсолютом и все сопоставляю. Я, Бонди, не могу ни о чем другом думать. Я не могу предрекать, куда все это катится, но полагаю, Бонди, что никакого плана у него нет. Я не берусь судить, что тут и как. Возможно, он стремится к чему-то более великому, да не знает, как за это взяться. Я тебе больше скажу, Бонди: он — все еще стихийная сила. Он совершенно не разбирается в политике. Он вандал в народном хозяйстве. Он бы должен был пойти на выучку к церковникам; у них такой богатый опыт... Видишь ли, иногда он представляется мне таким младенцем...

— Не верь, Руда, — горько вздохнул Г. Х. Бонди. — Он знает, чего хочет. Потому и набросился на крупное производство. Он куда современнее, чем мы предполагали.

— Обыкновенная забава, ничего больше, — возразил Марек. — Ему бы только чем-нибудь заняться. Видишь ли,

это такая... младенческая резвость. Погоди, я знаю, ты готов мне возразить. Он великолепно работает. И просто импонирует всем своей дееспособностью. Но это, Бонди, настолько бессмысленно, что тут не может быть ни намека на план.

— Эти самые «настолько бессмысленные» дела всегда оказывались в истории тщательно продуманными и спланированными, — вспылил Г. Х. Бонди.

— Эх, Бонди, — быстро заговорил Марек, — погляди, сколько у меня газет. Я слежу за каждым его шагом. И я тебе говорю: последовательности тут нет ни малейшей. Все это только импровизация всемогущества. Он проделывает сногсшибательные трюки, но как-то вслепую, бессистемно, путано. Его деятельность нецеленаправлена. Он пришел в мир чересчур неподготовленным. И в этом его слабость. Он мне даже симпатичен чем-то, но я вижу и его слабину. Организатор он никудышный и, вероятно, хорошим никогда не был. Его идеи гениальны, но в них нет последовательности. И я удивляюсь, Бонди, как это тебе до сих пор не удалось его перехитрить. Тебе, с твоим прохиндейством и ловкостью!

— С ним ничего нельзя поделать, — заметил Бонди. — Он нападает на тебя изнутри, со стороны твоей собственной души, так сказать, и — крышка. Если ему не удается воздействовать на твой разум, он ниспосылает чудодейственную благодать. Знаешь, какую штуку он выкинул с паном Шавлом?

— Ты бежишь его, — убеждал Марек, — а я наступаю ему на пятки. Я его уже немножко изучил и, пожалуй, мог бы состряпать ордер на арест. Приметы: бесконечен, бесформен, невидим; место пребывания: повсюду вблизи атомных двигателей; род занятий: мистический коммунизм; состав преступления: отчуждение имущества граждан, незаконная медицинская практика, нарушение закона о собраниях и митингах, развал работы учреждений и так далее; особая примета: всемогущество. Короче, Абсолют подлежит аресту.

— Смеешься, — вздохнул Г. Х. Бонди. — А смешного ничего нет. Он нас одолел.

— Ну, это мы еще посмотрим! — вскричал Марек. — Пойми, Бонди. Он до сих пор не умеет управлять. Он так напортачил со своими новшествами! Скажем, взялся за сверхпроизводство, вместо того чтобы сперва подготовить

железные дороги к сверхъестественной перегрузке. А теперь сам сел в калошу — все, что напроизводил, оказалось ни к чему. С этим своим чудесным изобилием он просто провалился. Во-вторых, мистическими проповедями он сбил с толку служащих и разрушил весь управленческий аппарат, который теперь-то ему бы и пригодился, чтобы навести во всем порядок. Революции можно устраивать где угодно, только не в учреждениях; если бы даже речь шла о конце света, все равно прежде следовало бы разорить вселенную, а уже потом канцелярии. Вот оно как, Бонди. И в-третьих, он, как стихийный, наивный, теоретически беспомощный коммунист, отменил денежное обращение, чем сразу парализовал циркуляцию продуктов производства. Он не верил, что законы рынка сильнее законов божьих. Он не желал считаться с тем, что производство без торговли попросту бессмыслица. Ни о чем подобном он не имел понятия. Вел себя как... как... Словом, у него левая рука не ведает, что творит правая. И в итоге мы имеем неслыханное изобилие и ужасающую нужду. Он всемогущ, а сотворил лишь хаос. Знаешь, я убежден, что некогда он на самом деле создал и законы природы, и ящеров, и горные массивы — все, что угодно, но не товарооборот. Бонди, современная наша торговля и производство — дело не его рук, за это я ручаюсь головой, потому что тут он совершенный невежда. Нет, Бонди, торговля и производство — это не от бога.

— Погоди, — отозвался Г. Х. Бонди, — я понимаю, что результаты его деятельности грандиозны... невообразимы. Ну, а что с ним можно поделать?

— Пока ничего. Я, милый Бонди, только слежу и сопоставляю. Это новый Вавилон. Тут вот, видишь, клерикальные газеты высказывают подозрение, что «неразбериха», возникшая в наше беспокойное время, с дьявольской тщательностью подготовлена и спровоцирована франкмасонами, «свободными каменщиками». «Народни листы» обвиняют евреев, правые социалисты — левых, аграрии — либералов. Смех, да и только. Но, знаешь, это только цветочки, ягодки, по-моему, еще впереди; все только начинает запутываться. Подойди-ка, Бонди, я у тебя кое-что спрошу.

— Ну?

— По-твоему, он... как ты думаешь... он... единственный?

— Черт побери, — растерялся Бонди, — а это важно?

— Теперь все зависит от этого, — ответил Марек. — Подойди, Бонди, ко мне поближе и слушай внимательно.

Глава 17

«МОЛОТ И ЗВЕЗДА»

— Брат мой, Первый дозорный, что ты видишь на Востоке? — вопросил Досточтимый, облаченный в черный костюм, белый кожаный фартук и с серебряным молоточком в руке.

— Вижу Мастеров, собравшихся в Мастерской и готовых к Акту творения, — ответствовал Первый дозорный.

Досточтимый ударил молоточком.

— Брат мой, Второй дозорный, что видишь ты на Западе?

— Вижу Мастеров, собравшихся в Мастерской и готовых к Акту творения.

Досточтимый трижды стукнул молоточком, что означало: «Творение начинается». Братья франкмасонской ложи свободных каменщиков «Молот и звезда» сели, не спуская глаз с Досточтимого Г. Х. Бонди, который созвал их столь неожиданно. В Мастерской, между стен, затянутых черным крепом, на котором были вышиты Основные Максимы, воцарилась глубокая тишина.

Досточтимый Бонди был бледен и задумчив.

— Братья, — обратился к присутствующим Досточтимый спустя некоторое время, — я призвал вас исключительно... исключительно ради Акта творения, который... в порядке исключительном... вопреки тайным предписаниям нашего Ордена... не является чистой формальностью. Я сознаю... что нарушаю торжественный... и священный дух нашего Акта... тем, что поручаю вам... вынести решение о вещах... действительно важных... общественных... огромного значения.

— Досточтимый вправе предписать нам характер Акта, — провозгласил Judex Formidabilis [1] при всеобщем одобрении.

— Итак, — начал Г. Х. Бонди, — речь идет о том, что наш Орден подвергается систематическим нападкам со стороны клерикалов. Они утверждают, что наша вековая...

---

[1] Грозный Судья (*лат.*).

тайная деятельность каким-то образом связана с чрезвычайными и достойными всяческого сожаления событиями... в сфере промышленной и духовной. «Клерикальная газета» настаивает, что ложи Свободомыслящих масонов умышленно развязали... эти демонические силы... Встает вопрос... что мы собираемся предпринять для Блага всего человечества и Чести Всевышнего. Итак... я открываю дискуссию.

После минутного торжественного молчания поднялся Второй дозорный.

— Братья, в сей исторический момент я одобряю, в некотором роде, те проникновенные слова, которые произнес наш многоуважаемый Досточтимый. Он упомянул, в некотором роде, о достойных сожаления событиях. Да, мы те, кто, в некотором роде, стоит на страже Блага Человечества, и только ради Человеческого Блага должны объявить все эти достойные сожаления чудеса, озарения благодатью, припадки любви к ближнему и прочие неприятности событиями, в некотором роде, достойными чрезвычайного сожаления. Наш долг, соблюдая полную тайну, приличествующую нашему Ордену, отвергнуть, в некотором роде, всякую связь с достойными сожаления фактами, которые, в некотором роде, никак не согласуются с традиционными и прогрессивными принципами нашего Великого Ордена. Братья, эти достойные сожаления принципы, в некотором роде, находятся в принципиальном противоречии со всем этим, как справедливо указал Досточтимый, потому что клерикалы, в некотором роде, вооружаются против нас, и если мы имеем в виду, в некотором роде, Наивысшие Интересы Человечества, то есть я теперь предлагаю, чтобы мы в полном смысле этого слова выразили согласие с достойными сожаления событиями, как справедливо сказал Досточтимый...

Поднялся Judex Formidabilis.

— Брат Досточтимый, прошу слова. Констатирую, что здесь достойным сожаления образом говорилось об известных событиях. На мой взгляд, эти события не столь уж достойны сожаления, как полагает брат Второй дозорный. И хотя я не знаю, на какие события намекает брат Второй дозорный, но ежели он имеет в виду святые собрания сект, которые посещаю и я, то я полагаю, что он введен в заблуждение и даже — я не боюсь этого сказать открыто — просто ошибается.

— Предлагаю, — высказался третий брат, — поставить вопрос на голосование: достойны сожаления вышеуказанные события или нет?

— А я, — взял слово еще один брат, — вношу предложение избрать более узкий комитет для рассмотрения достойных сожаления событий — скажем, в составе трех человек.

— Пяти!

— Двенадцати человек!

— Позвольте, братья, — прервал прения Judex Formidabilis, — я еще не кончил.

Досточтимый постучал молоточком.

— Слово имеет брат Judex Formidabilis.

— Братья, — вкрадчиво начал Judex, — не станем придираться к словам. События, о которых здесь были высказаны достойные сожаления мнения, такого свойства, что заслуживают внимания, интереса и даже рассмотрения. Не отрицаю, я принял участие в работе нескольких религиозных обществ, которые удостоились милости божьей. Полагаю, что это не противоречит уставу масонской ложи Свободных каменщиков.

— Нисколько, — отозвалось несколько голосов, — ни в коей мере.

— Далее: признаюсь, что я сам удостоился чести явить миру несколько небольших чудес. Надеюсь, что и это не унижает ни моего Сана, ни Достоинства.

— Разумеется.

— В таком случае, исходя из собственного опыта, я могу заявить, что вышеуказанные события являются, наоборот, достойными всяческих похвал, возвышенными и благородными, что они споспешествуют Благу Человечества и Славе Всевышнего, а посему с точки зрения каменщиков против них не может быть никаких возражений. Вношу предложение, чтобы ложа заявила о своем нейтралитете по отношению ко всем проявлениям божественной сущности.

Тут встал Первый дозорный и сказал.

— Братья, хоть я ничему из этого не верю, ничего сам не видел и ничего не знаю, но я думаю, что нам лучше держаться за этого бога. Я думаю, что все это яйца выеденного не стоит, но только зачем нам говорить об этом во всеуслышание? Я, стало быть, предлагаю, чтобы мы

тайно дали всем попять, что мы располагаем самой точной информацией и согласны все оставить как есть.

Досточтимый возвел очи горе и заметил:

— Обращаю внимание братьев, что Союз промышленников избрал Абсолют своим Почетным председателем. Далее: акции МЕАС, так называемые Акции Абсолюта, еще в состоянии подниматься. Кстати, некто, не пожелавший назвать свое имя, пожертвовал «Вдовьей мошне» нашей ложи тысячу этих Акций. Прошу продолжать прения.

— Значит, — объявил Второй дозорный, — я, в некотором роде, беру назад эти достойные сожаления события. Исходя из высшего принципа, я совершенно согласен. Я предлагаю обсудить этот вопрос с точки зрения высшего принципа.

Досточтимый поднял очи и сказал:

— Обращаю внимание братьев, что Большая ложа намерена проинструктировать членов ложи по вопросу о последних событиях. Большая ложа рекомендует Мастерам вступать в разнообразные религиозные кружки и секты с целью преобразовать их в духе масонства — в Мастерские Учеников. Члены новых Мастерских будут воспитываться в духе просвещения и борьбы против церкви. Рекомендуется приглядеться к разным вероучениям: монистическим, абстинентским, флетчеровским, вегетарианским и так далее. Каждый кружок будет исповедовать иную веру, дабы можно было убедиться на практике, которая из них лучше других для Блага Человечества и во Славу Всевышнего. Этот род деятельности, согласно приказу Большой ложи, обязателен для всех Мастеров. Прошу продолжать прения.

Глава 18

В РЕДАКЦИИ НОЧЬЮ

Крупнейший католический, он же массовый журнал «Друг народа» располагал не слишком большой редакцией; в половине десятого вечера там остался один только ночной редактор Коштял (бог весть почему у ночных редакторов так невыносимо смердят трубки) и патер Иошт; насвистывая какой-то мотивчик, он писал завтрашнюю передовую.

В эту минуту, держа в руках еще мокрые гранки, в редакцию вошел метранпаж Новотный.



— Где передовая, господа, где передовая? — заворчал он. — Когда же мы будем набирать передовую?!

Патер Иошт прекратил свист.

— Сей момент, пан Новотный, сей м о м е н т, — выпалил он. — Ни одна идея не приходит в голову! «Дьявольские махинации» у нас уже были?

— Позавчера.

— Ах, так. А «Вероломные происки»?

— Тоже были.

— «Подлое мошенничество»?

— «Мошенничество» я тиснул только сегодня.

— «Безбожное изобретение»?

— Раз шесть по меньшей мере.

— Очень жаль, — вздохнул патер Иошт. — Кажется, мы чересчур расточительны, разбазариваем удачные идеи почем зря. Как вам сегодняшняя передовая, пан Новотный?

— Сильна, — отозвался метранпаж, — но нам пора набирать завтрашнюю.

— Сей момент будет завтрашняя, — заверил патер Иошт. — По-моему, наверху остались довольны утренним выпуском. Вот увидите, нас посетит его преосвященство. «Иошт, — скажет он, — это ты здорово завернул». А было у нас «Исступленное буйство»?

— Было.

— Какая жалость! Придется зарядить новую обойму. «Иошт, — обратится ко мне его преосвященство, — вали на них! Все они временно, только мы навеки». Вам ничего подходящего в голову не приходит, пан Новотный?

— Ну, скажем, «Преступная ограниченность» или «Распутная злоба».

— Прекрасно, — с облегчением вздохнул патер Иошт. — И откуда у вас столько прекрасных идей, пан Новотный?

— Из старых подборок «Друга народа». Однако передовичка за вами, ваше преподобие.

— Сей момент. «Преступная ограниченность и распутная злоба определенных кругов, которые Бааловыми идолами мутят чистые родники скалы Петровой...» Ага... сию секунду: «Скалы Петровой... мутят чистые родники... так... ставят на золотого тельца... именуемого дьявол, или Абсолют».

— Готова передовая? — раздалось в дверях ночной редакции.

— Laudetur Jesus Christus, [1] ваше преосвященство! — гаркнул патер Иошт.

— Готова передовая? — повторил его преосвященство епископ Линда, врываясь в редакцию. — И кто состряпал утреннюю передовицу? Откололи коленце, господи! Какой болван сочинял это?

[1] Благословен будь, Иисус Христос (*лат.*).

— Это я, — заикаясь, проблеял патер Иошт, делая шаг назад. — Ваше преосв... я думал...

— Он думал! — взревел епископ Линда, жутко блестя стеклами очков. — Вот тебе, полюбуйся! — Скомкав утренний выпуск «Друга народа», епископ швырнул его под ноги Иошту. — Он думал! Посмотрите-ка, он думает! А почему ты мне не позвонил? Не спросил, о чем теперь нужно думать? И вы, Коштял, как вы смеете пропускать такое в газеты? Вы тоже думали, а? Новотный!

— Простите, — выдохнул дрожавший всем телом метранпаж.

— Нет, как вы могли отправить такое в набор? Вы тоже думали?

— Нет, я не думал, с вашего позволения, — запротестовал метранпаж, — я набираю, что мне дают.

— Никто из вас не смеет ничего думать, вы можете делать только то, что я прикажу, — категорически распорядился епископ Линда. — Садись, Иошт, и читай, что ты тут утром нагородил. Читай, говорю!

— «Уже давно, — дрожащим голосом прочитал патер Иошт свое собственное утреннее сочинение, — уже давно беспокоит нашу общественность подлое мошенничество...»

— Что?

— Подлое мошенничество, ваше преосвященство, — простонал патер Иошт. — Я думал... я... я теперь вижу...

— Что ты теперь видишь?

— Что это несколько сильно сказано, про это подлое мошенничество.

— Вот и я так считаю. Дальше!

— «...подлое мошенничество вокруг так называемого Абсолюта, которым масоны, евреи и прочие провокаторы... баламутят свет. Научно доказано...»

— Вы только посмотрите! — воскликнул епископ Линда. — Этот балбес что-то научно доказал! Читай дальше!

— «...научно доказано, — запинаясь, читал злосчастный Иошт, — что так называемый Абсолют... такой же безбожный обман... как и медиум...»

— Не спеши, — неожиданно ласково остановил Иошта святой отец, — напиши-ка в своей передовице вот что: «Научно доказано...» Записал?.. «... доказано, что я, патер Иошт, осел, болван и растяпа...» Записал?

— Записал, — прошептал уничтоженный патер Иошт. — Пожалуйста, дальше, ваше преосв...

— Дальше брось это в мусорный ящик, — отозвался епископ, — и не хлопай больше ушами, а слушай внимательно. Ты видел сегодняшние газеты?

— Да, ваше преосв...

— М-да, не похоже. Сегодня утром, голубчик, во-первых, вышло «Послание» монистического союза; там сказано, что Абсолют — это Единство, которое монисты всегда считали богом, и что культ Абсолюта таким образом вполне отвечает монистическому учению. Ты это прочел?

— Прочел.

— Во-вторых, в газетах было сообщено, что масонские ложи рекомендуют своим членам культ Абсолюта. Читал?

— Читал!

— Далее: что Синодальный съезд лютеран прослушал пятичасовую лекцию суперинтенданта Маартенса, где последний доказывал тождество Абсолюта с подлинным господом. Это ты тоже читал?

— Читал!..

— Наконец, заявления «Вольной мысли», «Армии спасения», коммюнике Теософского центра Адиар, открытое письмо в адрес Абсолюта, подписанное обществом батраков, заявление Союза владельцев каруселей за подписью председателя Я. Биндера, затем «Голос похоронных обществ», специальный выпуск «Голосов загробного мира», «Читателя-анабаптиста» и «Трезвенника» — друг любезный, да читал ли ты все это?

— Читал.

— Так вот, любезный сын мой: всюду все эти органы с великими почестями рекламируют Абсолют в своих целях; его превозносят, делают блестящие предложения, именуют почетным членом, меценатом, покровителем и не знаю кем там еще, а у нас некий бестолковый болван патер Иошт, этакая козявка, ничтожный Иоштичек распинается, объявляя Абсолют подлым мошенничеством и научно доказанным обманом. Пресвятая дева Мария, ну и задал ты нам хлопот!

— Но, ваше преосвященство, ведь у меня инструкция... писать против... этих... чудес.

— Инструкция, — строго прервал преподобный отец. — А ты что, не видишь, как изменилось положение? Иошт, — воскликнул епископ, — наши святые места опустели, а наша паства перебежала к Абсолюту! Иошт, глупый ты человек, если мы хотим вернуть наших овец, мы должны

привлечь Абсолют на свою сторону. Во всех костелах будут установлены атомные карбюраторы, но этого тебе, тупая башка, не уразуметь. Запомни только одно: Абсолют должен работать на нас; он должен держать нашу сторону, id ets[1] должен быть нашим и *только* нашим. Capiscis, mi fili?[2]

— Capisco[3], — прошептал патер Иошт.

— Deo gratias![4] А теперь ты, Иоштичек, сделаешь поворот кругом, станешь из Савла Павлом. Сочинишь славную передовичку, где дашь понять, что Святая конгрегация вняла просьбам верующих и приняла Абсолют в лоно церкви. Пан Новотный, об этом имеется Апостольское послание; наберите его тройным жирным шрифтом на передовой полосе. Коштял, сообщите в «Хронике», что президент Г. Х. Бонди примет в воскресенье из рук архипастыря святое крещение и выражение нашей радости по этому поводу, понятно? А ты, Иошт, садись и пиши... Погоди, вначале подпусти что-нибудь эдакое... покрепче.

— Скажем, «преступная ограниченность и распутная злоба определенных кругов...»?

— Вот именно, прекрасно, так и напиши: «Преступная ограниченность и распутная злоба определенных кругов вот уже долгие месяцы пытается совратить наш народ с пути истинного. Открыто провозглашается еретическое заблуждение, что Абсолют — это нечто отличное от истинного бога, которому мы от колыбели препоручили наши души...» Записал? «...препоручили в радостной вере... и любви...» Записал?.. Продолжай...

Глава 19
КАНОНИЗАЦИЯ

Как вы, конечно, понимаете, принятие Абсолюта в лоно церкви в описываемой ситуации явилось большой неожиданностью. Собственно, оно было проведено лишь папским бреве, а конклав кардиналов, поставленный перед свершившимся фактом, был занят только одной серьезной

---

[1] то есть (*лат.*).
[2] Понимаешь, сын мой? (*лат.*)
[3] Понимаю (*лат.*).
[4] Слава богу! (*лат.*)

проблемой: насколько возможно крещение Абсолюта? Решено было отказаться от этой процедуры, хотя крещение является очевидной церковной традицией (вспомним Иоанна Крестителя), но в подобных случаях обращаемый обязан лично присутствовать при обряде; помимо всего прочего, вопрос о том, кто из царствующих особ согласится быть крестным отцом Абсолюта, был необычайно щекотлив. Поэтому Святая конгрегация просила святейшего папу во время ближайшей понтификальной мессы вознести молитву за нового члена церкви, что и было осуществлено с подобающей торжественностью. Позднее в богословские книги было внесено положение о том, что наряду с помазанием и крещением через мученичество церковь признает также крещение чудотворным и достойным подражания деянием.

Между прочим, за три дня до издания бреве папа соблаговолил предоставить аудиенцию господину Г. X. Бонди, который до этого события в течение сорока часов совещался с папским секретарем монсеньором Кулатти.

Почти одновременно состоялось благословение Абсолюта по форме «super culti immemorabili» [1] в знак признания добродетельности Абсолюта, ныне благословляемого, и установлен приличествующий случаю, но ускоренный обряд канонизации с весьма существенными изменениями, разумеется: речь шла не об объявлении Абсолюта святым, но богом. Тотчас была составлена комиссия по деификации из виднейших теологов и пастырей церковных. Так, Procurator'ом Lei [2] был назначен венецианский архиепископ кардинал доктор Варези, в качестве Advocatus Diaboli [3] выступал монсеньор Кулатти.

Кардинал Варези предложил семнадцать тысяч свидетельств о совершенных Абсолютом чудесах, которые подписали почти все кардиналы, патриархи, приматы, митрополиты, князья церкви, архиепископы, магистры орденов и аббаты; к каждому свидетельству были приложены заключения светил медицины, хвалебные отзывы университетов и мнения профессоров естественных наук, инженеров и экономистов и, наконец, подписи очевидцев, заверенные нотариусом. «Семнадцать тысяч докумен-

---

[1] благословен испокон веков (*лат.*).

[2] Дословно: поверенным бога при ведении споров (*лат.*).

[3] Дословно: заступника дьявола (*лат.*).

тов, — как заявил монсеньор Варези, — лишь жалкая часть свидетельств о подлинно содеянных Абсолютом чудесах, число коих по самым осторожным подсчетам уже перевалило за тридцать миллионов».

Помимо этого, Procurator Dei собрал хвалебные отзывы выдающихся деятелей мировой науки. Так, ректор медицинского факультета в Париже профессор Тардье, тщательно проанализировав деяния Абсолюта, пришел к следующему заключению:

«...итак, поскольку бесчисленные случаи болезней, предложенные нам для исследования, с точки зрения науки и практической медицины были абсолютно безнадежны (паралич, рак гортани, слепота после хирургического изъятия обоих глаз, хромота как следствие оперативного отнятия обеих нижних конечностей, смерть в результате полного отделения головы от туловища, странгуляция у висельника, пробывшего в петле в течение двух суток и т. д.), медицинский факультет Сорбонны считает, что так называемые чудесные исцеления в подобных случаях можно объяснить либо совершенным незнанием анатомо-патологических условий, клинической неискушенностью и полным отсутствием медицинской практики, либо — чего мы не хотим исключать — вмешательством высшей силы, не ограниченной законами природы или знанием их».

Психолог профессор Мэдоу (Глазго) сообщал:

«...так как в вышеперечисленных действиях, безусловно, проявляется мыслящая сущность, способная устанавливать связи между вещами, ассоциировать, помнить и даже логически рассуждать, — сущность, способная производить психические операции без помощи мозга и нервной системы, то данный факт может служить убедительным подтверждением уничтожающей критики, которой я подверг психо-физический параллелизм профессора Майера. Подтверждаю: Абсолют — сущность психическая, сознательная и разумная, хотя до сих пор недостаточно исследованная учеными».

Профессор Брненского политехнического института Лупен написал следующее:

«С точки зрения производственной эффективности, Абсолют есть сила, заслуживающая высочайшего уважения».

Прославленный химик Вилибальд (Тюбинген) сообщил:

«Абсолют обладает могучей потенцией для существования и интеллектуальной эволюции, ибо являет собой блестящий образец соответствия Эйнштейновой теории относительности».

Автор хроники не рискует далее задерживать внимание читателей на положительных суждениях мировых светил, тем более что все они были опубликованы в «Actae Sanctae Sedis».

Процесс канонизации совершался ускоренным темпом; тем временем коллегия знаменитых догматиков и богословов выпустила сочинение, в котором на основе заповедей и трудов отцов церкви доказывалось тождество Абсолюта с третьим ликом господа.

Но прежде чем состоялось торжественное посвящение Абсолюта в сан бога, константинопольский патриарх — глава Восточной Церкви — объявил о тождестве Абсолюта с первым божьим ликом, с самим создателем. К этому явно еретическому воззрению присоединились старокатолики, обрезанные абиссинские христиане, евангелисты гельветского толка, нонконформисты и несколько довольно крупных американских сект. Разгорелся жаркий богословский диспут. Что до иудеев, то в их среде было распространено тайное учение, утверждавшее, будто Абсолют — это древний Ваал; либерально настроенные евреи открыто заявили, что в таком случае они готовы исповедовать веру в Ваала.

Представители «Вольной мысли» съехались в Базеле; в присутствии двух тысяч делегатов Абсолют был провозглашен Богом Вольнолюбивых мыслителей, после чего последовали невероятно резкие нападки на священнослужителей иных вероисповеданий, которые, как отмечалось в резолюции, «хотят извлечь доход из одного-единственного научного бога и завлечь его в грязную сеть церковных догматов и поповского лукавства, дабы он захирел и прекратил свое существование». Однако бог, который открылся просвещенному взору передовых мыслителей современности, «не имеет ничего общего со средневековым хламом этих фарисеев. «Вольная мысль» — вот его единственная обитель, и только Базельский конгресс вправе определять статут и ритуал вольного вероисповедания».

Приблизительно в то же время немецкий «Monisten bund» [1] в чрезвычайно торжественной обстановке заложил краеугольный камень будущего собора Атомного Бога в Лейпциге. По слухам, дело кончилось схваткой, в которой шестнадцать человек получили ранения, а прославленному физику Люттгену разбили очки.

Кстати, той же осенью явления божеской благодати имели место в Бельгийском Конго и французской Сенегамбии. Нежданно-негаданно африканцы избили и сожрали своих миссионеров, предпочтя поклоняться каким-то новым идолам, под названием не то Ато, не то Алолто; позже обнаружилось, что идолы эти не что иное, как атомные моторы, и что в этом деле каким-то образом замешаны немецкие офицеры и агенты. Напротив, к исламскому бунту, вспыхнувшему в Мекке в декабре того же года, приложили руку несколько французских эмиссаров, укрывших вблизи Каабы двенадцать легких атомных моторов «Аэро». Очередное восстание магометан в Египте и Триполи, резня в Аравии — по неточным данным — стоили жизни около 30 тысячам европейцев.

Двенадцатого декабря в Риме была наконец проведена деификация Абсолюта. Семь тысяч пастырей с горящими свечами в руках сопровождали святейшего папу к собору Святого Петра, где позади главного алтаря был вмонтирован самый мощный, двенадцатый карбюратор — дар концерна МЕАС папскому престолу. Обряд длился пять часов, в давке были смяты тысяча двести верующих и зевак. Точно в полдень папа взял первую ноту «In nomine Dei Deus» [2], и в то же мгновение зазвонили колокола всех католических храмов, все епископы и священники отвратились от алтарей и возвестили верующему люду: «Habemus Deum» [3].

Глава 20
СВЯТОЙ КИЛДА

Святой Килда — островок, вернее, всего-навсего утес плиоценового туфа, лежащий далеко на запад от Гебридских островов; несколько низкорослых березок, пучок

---

[1] «Союз монистов» (*нем.*).
[2] Во имя божие бог (*лат.*).
[3] У нас есть бог (*лат.*).

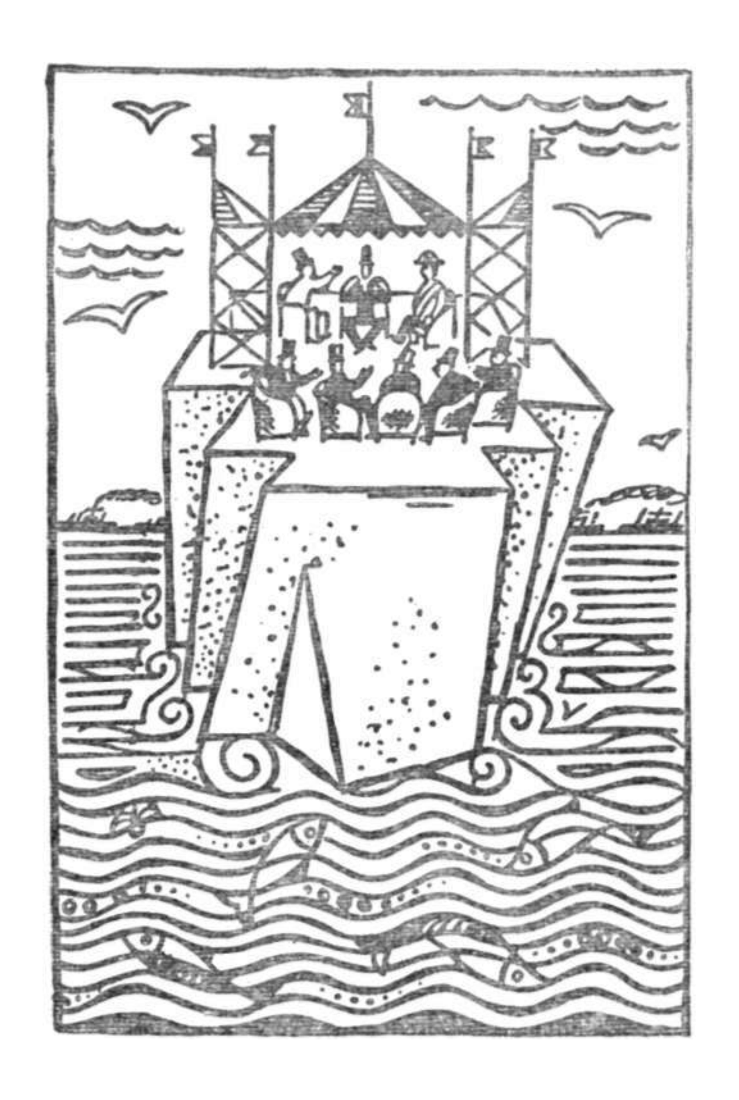
вереска да бурые травы, стайка гнездящихся здесь чаек да полуарктическая бабочка из рода Polyommatus — вот и вся жизнь этого форпоста нашей части света, затерявшегося в бескрайних просторах неспокойного океана, над которым столь же нескончаемой чередой несутся тяжелые мрачные тучи. Впрочем, Святой Килда был, есть и навеки останется необитаемым.

Однако в последние декабрьские дни вблизи островка бросил якорь корабль его величества под названием «Драгун». С корабля высадились плотники; они привезли с собой доски и бревна и уже к вечеру поставили просторную приземистую деревянную виллу. На следующий день явились обойщики, они привезли с собой наимоднейшую, красивую и удобную мебель. На третий день из корабельного трюма выбрались стюарды, повара и кельнеры, которые переправили на виллу посуду, вино, консервы и вообще все, что изобрела цивилизация для благородных, разборчивых и владетельных мужей.

Утром четвертого дня на островок прибыл сэр О'Паттерней, премьер Англии, спустя полчаса — американский посланник Горацио Бумм, за ним последовали — каждый на военном корабле — китайский уполномоченный мистер Кей, французский премьер Дюдье, царский русский генерал Бухтин, имперский канцлер доктор Вурм, итальянский министр князь Тривелино и японский посол Янато. Шестнадцать английских миноносцев бороздили воды океана вокруг Святого Килды, дабы преградить доступ на остров корреспондентам газет: данное совещание Генерального совета крупнейших держав мира, поспешно созванное всемогущим сэром О'Паттернеем, должно было происходить при закрытых дверях с соблюдением строжайшей тайны. Во имя этой тайны было потоплено торпедой большое китобойное судно «Нильс Ганз», пытавшееся под покровом ночи проскочить сквозь Цепь миноносцев; помимо двенадцати человек экипажа, при этом погиб политический обозреватель газеты «Чикаго трибюн» мистер Джо Гашек.

Несмотря на всевозможные запреты и строгости, корреспондент «Нью-Йорк геральд» господин Билл Приттом[1] пробрался на остров в качестве официанта, и именно его перу мы обязаны несколькими сообщениями о сей

[1] В оригинале — игра слов: «Был при том».



памятной встрече — они дошли до нас, уцелев после всех постигших мир исторических катастроф.

Господин Билл Приттом полагал, что данная конференция, созванная на высшем уровне, происходила в местах столь отдаленных только для того, чтобы исключить прямое влияние Абсолюта на ее решения. В любом другом месте Абсолют мог бы проникнуть на собрание

мужей, облеченных столь высокой властью. И это могло произойти в любой форме: внушения, озарения и даже чуда, что, разумеется, в высокой политике привело бы к полному конфузу. Важнейшей задачей конференции, надо полагать, был договор о колониальной политике; державы должны были договориться о том, что ни одна из них не будет поддерживать религиозные движения на территории других государств. Поводом к этому послужила немецкая пропаганда в Конго и Сенегамбии, а также тайное французское влияние в период разгара махдизма в английских магометанских колониях и особенно случай с японскими поставками карбюраторов в Бельгию, где начались бурные волнения многочисленных сект. Итак, совещания происходили при закрытых дверях, было опубликовано лишь сообщение о том, что Германия вправе иметь интересы в Курдистане, а Япония — на некоторых греческих островах. Англо-японский и франко-германо-русский блок были встречены, как и следовало ожидать, с исключительной сердечностью.

Во второй половине дня специальным миноносцем на Святого Килду прибыл пан Г. Х. Бонди, который был принят Генеральным советом.

Только около пяти часов пополудни (по Гринвичу) славные дипломаты ушли на перерыв, во время которого мистер Билл Приттом впервые получил возможность собственными ушами услышать представителей Высоких Договаривающихся Сторон. После обеда развлекались беседами о спорте и об артистках. Сэр О'Паттерней — потомственный лорд с поэтической гривой седых волос и вдохновенным взглядом — весьма остроумно и увлекательно рассказывал о ловле лосося его превосходительству премьер-министру Дюдье; изысканные жесты, звучная речь, уверенное «je ne sais quoi» [1] выдавали искушенного адвоката. Барон Янато, отказываясь от всяких напитков, улыбался и слушал молча, словно воды в рот набрал; доктор Вурм перелистывал какие-то бумаги; генерал Бухтин прогуливался по залу с князем Тривелино; Горацио Бумм в совершенном одиночестве разыграл на бильярде серию карамболей (я видел его дивный триппль-буссар через руку, которому мог позавидовать любой знаток), меж тем как мистер Кей, смахивавший на

---

[1] еще нечто... (*франц.*)

очень желтую и очень сморщенную старушонку, с громким стуком перебирал какие-то буддийские четки; в Империи Солнца он был мандарином.

Внезапно все дипломаты сгрудились вокруг господина Дюдье, который внушал следующее:

— Да, господа, c'est ça [1]. Мы не можем остаться к нему безучастными. Или мы его признаем, или отвергнем. Мы, французы, скорее за последнее.

— Потому что у вас в стране он проявляет себя как ярый антимилитарист, — с нескрываемым злорадством заявил князь Тривелино.

— О нет, господа, — вскричал Дюдье, — это несерьезно. Французской армии это не коснулось. Ярый антимилитарист, ха! У нас уже столько было этих антимилитаристов! Нет, господа, берегитесь его: он демагог, коммунист, un bigot [2], черт знает что еще, но он во всем радикал! Oui, un rabouliste, c'est ça [3]. Он падок на самые невообразимые популярные лозунги. Он всегда заодно с толпой. У вас, светлейший, — вдруг обратился господин Дюдье к князю Тривелино, — он выступает в роли националиста и упивается иллюзиями о возрождении Римской империи; но заметьте, ваше сиятельство, так он проявляет себя в городах, зато в деревне держится за долгополых и творит чудеса во имя святой девы Марии. Он работает на два фронта — на Ватикан и на Квиринал. Тут или какой-то умысел, или... я просто теряюсь в догадках. Господа, положа руку на сердце, признаемся, что у каждого из нас с ним свои затруднения.

— У нас, — задумчиво признался Горацио Бумм, опершись о бильярдный кий, — он проявляет большой интерес к спорту. Indeed, big sportsman [4]. Он благоволит к любым видам спортивных игр, а также — к сектам. Он обладатель фантастических рекордов. Он социалист. Заодно с противниками сухого закона. Превращает воду в спиртное. Как-то на банкете в Белом доме все присутствовавшие... гм... все страшно напились. Пили, знаете ли, одну воду, но он уже в наших желудках обратил ее в алкоголь.

— Странно, — заметил сэр О'Паттерней, — в Англии он ведет себя скорее как консерватор. Это всемогущий

---

[1] ничего не поделаешь (*франц.*).
[2] ханжа (*франц.*).
[3] Да, именно возмутитель спокойствия (*франц.*).
[4] Да, он большой спортсмен (*англ.*).

клерикал. Устраивает демонстрации, проповеди на улицах и such things[1]. Я полагаю, он настроен против нас, либералов.

Тут вступил в разговор улыбающийся барон Янато:

— А в Японии он чувствует себя как дома. Очень, очень обаятельный бог. Очень хорошо прижился у нас. Настоящий японец.

— Какой же он японец, — крякнул генерал Бухтин, — что это вы, батюшка? Он — русский, православный русский, славянин. Широкая русская натура, ваше превосходительство. Помогает нам держать в повиновении русских мужиков. Намедни наш архимандрит устроил в его честь процессию, десять тысяч свечей, а народу, господа, как маковых зерен. Православный люд съехался со всех концов матушки Руси. И чудеса же он там являл, господи помилуй, — прибавил генерал, крестясь и низко кланяясь.

Имперский канцлер сначала молча прислушивался к разговору, а потом подступил поближе:

— Да, к народу он подойти умеет. И всюду воспринимает местный образ мысли. Для своих лет, г-м-гм... он на удивление подвижен. Мы это видим по нашим соседям. В Чехии, например, он ведет себя как крайний индивидуалист. Там у каждого свой индивидуальный Абсолют. А у нас Абсолют государственный. Он мгновенно проникся чувством высшего государственного долга. В Польше он воздействует как своего рода алкоголь, а у нас... как... как высший... höhere Verordnung, verstehen sie mich?[2]

— А в областях, населенных католиками? — с улыбкой спросил князь Тривелино.

— Это уже локальные различия, — уклонился от прямого ответа доктор Вурм. — Это не должно поколебать чашу весов, господа. Германия сегодня монолитна, как никогда. Мы глубоко признательны, князь, за католические карбюраторы, которые вы контрабандой перебрасываете к нам. К счастью, они весьма плохого качества, как и вообще вся итальянская продукция.

— Тише, тише, господа, — урезонил спорщиков сэр О'Паттерней, — соблюдайте нейтралитет в вопросах

---

[1] все такое (*англ.*).

[2] высший порядок, вы меня понимаете? (*нем.*)

религии. Что касается меня, то я ловлю лососей на двойную удочку. На днях подсек во-от такого длинненького, представляете? Четырнадцать фунтов.

— А папский нунций? — тихо спросил доктор Вурм.

— Святой престол требует соблюдения спокойствия любой ценой. Они хотят, чтобы на мистицизм был наложен полицейский запрет. В Англии это не пройдет, а вообще... Я утверждаю, что он весил четырнадцать фунтов. Heaven [1], я вынужден был за что-нибудь ухватиться, чтобы не полететь в воду.

Барон Янато улыбнулся еще учтивее.

— А мы не желаем никакого нейтралитета. Он великий японец. И весь мир должен принять японскую веру. Мы намерены также разослать миссионеров, чтобы они распространяли нашу веру.

— Господин барон, — серьезно обратился к Янато сэр О'Паттерней, — вы помните об исключительно дружеских отношениях между нашими государствами?!

— Англия должна принять японскую веру, — улыбнулся барон Янато, — и тогда наши отношения станут еще дружественнее.

— Постой-ка, батюшка, — воскликнул генерал Бухтин, — какая это еще такая японская вера? Коли уж вера, так пусть это будет вера православная. И знаешь почему? Главное, потому что она — православная, во-вторых, потому что русская; в-третьих, потому что так хочет наш государь, а в-четвертых, потому что у нас, касатик, самое большое войско. Я, господа, режу правду-матку по-военному. Раз уж вера, то, значит, наша, православная.

— Но вопрос стоит совсем не так, — взволновался сэр О'Паттерней, — мы собрались здесь не за этим!

— Совершенно верно, — поддержал сэра доктор Вурм, — мы собрались здесь, чтобы выработать общую точку зрения на нового бога.

— На какого? — неожиданно уточнил китайский уполномоченный мистер Кей, впервые взглянув в глаза собеседникам.

— Как на какого?! — переспросил пораженный доктор Вурм. — Но ведь он, кажется, единственный...

— Наш японский, — приятно улыбнулся барон Янато.

— Православный, батенька, православный — и ни-

[1] О небо (*англ.*).

какой другой, — гудел генерал Бухтин, покраснев как индюк.

— Будда, — коротко высказался мистер Кей и снова опустил веки, отчего стал совершенной копией высохшей мумии.

— Джентльмены, — резко поднявшись, предложил сэр О'Паттерней, — прошу вас перейти в другое помещение.

Дипломаты снова перекочевали в зал совещаний. В восемь часов вечера оттуда выскочил, потрясая кулаками, сизый от гнева его благородие генерал Бухтин. За ним последовал доктор Вурм, на ходу приводивший в порядок папку с документами. Забыв о правилах приличия, не приподняв шляпы, в сопровождении безмолвного М. Дюдье удалился пунцовый О'Паттерней. Князь Тривелино покидал конференц-зал бледный, как полотно; барон Янато — сохраняя неизменную улыбку. Последним вышел мистер Кей, опустив глаза и перебирая в руках длинные черные четки.

* * *

На этом обрывается сообщение, которое опубликовал господин Билл Приттом в газете «Геральд». Официальное коммюнике об этой конференции напечатано не было — если не считать упомянутого выше известия о «сферах интересов». Если тогда и было принято какое-либо решение, оно, скорее всего, не имело никакого значения. Ибо, выражаясь языком гинекологов, «в лоне истории» уже назревали непредвиденные события.

Глава 21
ДЕПЕША

В горах идет снег. Большие тихие хлопья, кружась, падают на землю уже целую ночь напролет, снега нападало больше полуметра, а он все валит и валит не переставая. Тишь опускается на леса. Изредка под тяжестью снега хрустнет ветка, и этот хруст звучно и коротко раздается в плотном снежном безмолвии.

Подморозило; с прусской стороны подул ледяной ветер. Нежные хлопья превратились в колючую крупу, которая немилосердно хлещет по щекам. Снег словно ощетинился острыми иглами, кружит в воздухе. С деревьев

серебристой пылью сыплются белые облака — они стремительно проносятся над землей, взвиваются вихрем и поднимаются к темному небу. От земли к небу метет метель.

Ветви дремучих деревьев скрипят и стонут; с тяжелым треском падают наземь стволы, ломая молодую поросль, но и эти резкие звуки словно разметаны, развеяны свистящим, пронзительным прерывистым шумом ветра. Стоит ему утихнуть, и станет слышно, как, повизгивая, скрипит под ногами смерзшийся снег, словно ступаешь по битому стеклу.

Над Шпиндельмюлем прокладывает себе дорогу рассыльный с телеграфа. Пробираться но глубокому снегу чертовски тяжело. И хотя рассыльный натянул на уши фуражку, повязанную красным платком, спрятал руки в шерстяные варежки, обмотал горло пестрым шарфом, ему никак не согреться. «Ну, — подбадривает он сам себя, — часа за полтора доберусь до Медвежьей долины, а вниз скачусь на санках, попрошу у кого-нибудь. Придумают же люди, черт подери, посылать телеграммы в этакую непогодь!»

Возле Девичьих мостков рассыльного подхватил порывистый ветер и закрутил-завертел по полю. Схватился человек скрюченными руками за туристский указатель.

«Пресвятая дева Мария, — взмолился он про себя, — должен ведь быть конец этому!» Прямо на него по вольному простору движется огромный снежный смерч, он все ближе, ближе, совсем рядом, теперь только затаить дыхание... Тысячи иголок впиваются в щеки, проникают за ворот, отыскали дырку в штанах и щиплют голое тело; мокро под обледеневшей одеждой... Шквал промчался, а рассыльному так и хочется взять да повернуть обратно. «Инженер Марек, — повторяет он адрес, — он даже не здешний; но телеграмма — срочная, кто его знает, что там стряслось, с семьей или еще с кем».

Ветер немного утих, и рассыльный, миновав Девичьи мостки, побрел наверх вдоль ручья. Снег скрипит под его тяжелыми сапогами, дрожь пробирает до костей. Снова завыл ветер, целые сугробы снега рушатся с веток — один упал рассыльному на шапку и засыпался за воротник; по спине ручьем струится ледяная вода. Но хуже всего, что ноги ужасно скользят по сыпучему снегу,

а дорога вьется все круче и круче. И в ту же минуту разыгрывается настоящий снежный буран.

Снег несется сверху, словно лавина, словно белая стена. Рассыльный не успел повернуться, и принял удар в лицо, и скорчился, с трудом переводя дух. Он сделал шаг вперед и упал, сел, подставив ветру спину. На душе сделалось тоскливо от страха погибнуть под снегом. Он поднялся и попробовал ступить дальше, но опять поскользнулся, и упал на руки, и съехал на несколько метров вниз. Ухватился за ствол и тяжело отдышался. «Проклятье, — чертыхнулся он, — ведь я должен одолеть эту гору!» Ему удалось сделать шаг-другой, но опять он упал и опять на животе соскользнул вниз. Вот он ползет на четвереньках; рукавицы промокли, за гамаши набился снег, но он упрямо держит курс — только вперед и выше! Только бы не застрять здесь! По лицу струится пот, смешиваясь с растаявшим снегом, но человек забыл о снеге; ему кажется, что он сбился с дороги; плача навзрыд, он карабкается вверх. Но трудно ползти на четвереньках в длинном плаще; он поднялся и двинулся сквозь ветер, полшага вперед — два шага назад; прошел чуть-чуть, но ноги разъехались, человек ткнулся лицом в колючий снег и снова очутился внизу. Встав на ноги, он обнаружил, что потерял палку.

А снежные валы мчатся по горам, цепляются за скалы, свищут, гикают, улюлюкают, завиваются вихрями. Рассыльный судорожно всхлипывает, захлебываясь от страха и отчаяния, взбирается наверх, переводит дыхание, шаг — передышка, еще шаг — остановка, отвернись, глотни воздуха воспаленными губами; еще один шаг, господи Иисусе. Вот он ухватился за дерево. Который же теперь все-таки час? Он вытянул из жилета свои круглые, как луковица, часы в желтом прозрачном футляре; циферблат залепило снегом. Видно, скоро стемнеет. Возвратиться? Но ведь я почти у цели!

Порывистый ветер сменился затяжной пургой. Тучи клубятся прямо по склонам; грязно-серый туман пронизан мятущимися снежными хлопьями. Метель метет по всей земле, бьет прямо в лицо, слепит глаза, забивает нос, уши; мокрыми, застывшими пальцами приходится выбирать его отовсюду. Спереди посыльный покрыт пятисантиметровым слоем снега, его плащ отяжелел, задубел и почти не сгибается, словно сколочен из досок. Слой снега, налипший

на подошвы, растет с каждым шагом и становится все тяжелее.

На лес спускаются сумерки. А сейчас вряд ли больше двух часов пополудни.

Вдруг все накрыла желто-зеленая мгла, и снег хлынул сплошной стеной. Хлопья, огромные, с ладонь, влажные и набрякшие, кружась, опускаются такой густой пеленой, что уже нельзя отличить землю от неба; при каждом вздохе снег набивается в нос; посыльному приходится пробираться меж высоких — не дотянуться — крутящихся сугробов. Приходится шагать вслепую, разгребая в снегу узкий проход. Посыльный думает только об одном — идти вперед, единственное его желание — вдохнуть полной грудью, не захлебываясь снегом. С трудом вытаскивая ноги, человек еле тащится по сугробам; стоит вытянуть сапог — и от ямки тотчас не останется и следа.

А меж тем в городах, там, внизу, кружатся легкие, редкие снежинки и тают, превращаясь в жидкую, черную грязь. В лавках зажигаются огни, кафе заливает поток электрического света, а люди сидят и ворчат — какой, дескать, нынче выдался хмурый день. В огромном городе вспыхивают бесчисленные фонари и отражаются в лужах.

Но только один-единственный огонек трепещет на занесенной снегом горной полонине. Неровно мерцает, пробиваясь сквозь снежную завесу, колеблется, гаснет и вот опять вспыхивает, будто живой. Хижина в Медвежьей долине освещена.

Было пять часов, то есть почти вечер, когда перед Медвежьей хижиной остановилось нечто бесформенное. Оно взмахнуло белыми толстыми крыльями и принялось колотить себя, счищая застывшие пласты снега. Под снегом оказался плащ, под плащом — две ноги; эти ноги стучали по каменному порогу, и от них отваливались огромные комья снега. Эта «масса» была рассыльным из Шпиндельмюля.

Он вошел в хижину и увидел склонившегося над столом мужчину. Рассыльный хотел было с ним поздороваться, но голос совсем не слушался его. Раздалось только сипенье, как бывает, когда из машины выпускают пар.

Хозяин поднялся.

— Но, голубчик, кой черт понес вас сюда в такую бурю? Ведь вы же могли пропасть за милую душу.

Почтальон кивнул и что-то просипел в ответ.

— Какая глупость! — ругался хозяин. — Барышня, дайте ему чаю! Ну куда ты греб, старик? На Мартинову дачу?

Рассыльный покачал головой и открыл кожаную сумку, всю забитую снегом, достал оттуда телеграмму — она смерзлась настолько, что хрустела.

— Ихи-иххарек? — просипел он.

— Как? — удивленно переспросил хозяин.

— Это... значит... инженер Марек? — раздельно произнес рассыльный, взглядом прося прощения.

— Я инженер Марек! — воскликнул худощавый человек. — Вы ко мне? Давайте!

Инженер Марек развернул депешу. Там стояло:

ТВОИ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ ПОДТВЕРДИЛИСЬ БОНДИ

И ни слова больше.

Глава 22
УБЕЖДЕННЫЙ ПАТРИОТ

В пражской редакции «Лидовых новин» кипела работа. Телефонист орал в трубку, свирепо ругаясь с телефонисткой. Звякали ножницы, стучала машинка, а пан Цирил Кевал, взгромоздясь на стол, барабанил по нему ногами.

— Значит, и на Вацлавской проповедь, — вполголоса произнес он. — Какой-то новоявленный аскет призывал к добровольной нищете. Подстрекал народ жить, как птицы небесные. Бородища во-о какая, до пояса. Прямо страх берет, сколько их, этих бородатых, теперь развелось. Каждый — что твой апостол.

— М-да, — буркнул старый пан Рейзек, роясь в сообщениях Чехословацкого телеграфного агентства.

— И отчего это бороды так быстро растут? — размышлял пан Кевал. — Послушайте, Рейзек, а по-моему, и тут тоже не обошлось без Абсолюта. Эй, Рейзек, сдается мне, что и у меня скоро борода отрастет, представьте себе — такая вот, по пояс.

— М-да, — раздумчиво промолвил пан Рейзек.

— На Гавличковой площади нынче обедня «Вольной мысли». А на Тыловой творит чудеса патер Новачек. Вот увидите, там опять подерутся. Вчера этот Новачек исцелил одного человека, хромого от рождения. А потом

состоялось торжественное шествие, и этот хромоногий избил одного еврея. Ребра три сломал, а может, и больше. Тот, оказывается, был сионист.

— М-да, — заметил пан Рейзек, перечеркивая какой-то материал.

— Нынче *наверняка* заварится каша, Рейзек, — размышлял вслух Цирил Кевал. — Прогрессисты организуют митинг на Староместской. Снова выкинули лозунг «Отколитесь от Рима». А патер Новачек основывает «Маккавеев», — это, знаете ли, вооруженная католическая гвардия. То-то будет потеха! Архиепископ запретил Новачеку творить чудеса, ну, а он прямо-таки осатанел; уже принялся за воскрешение мертвецов.

— М-да, — заметил пан Рейзек, продолжая черкать.

— Мама писала, — понизив голос, продолжал Цирил Кевал, — что у нас в Моравии, знаете ли, у Густопечи и в окрестностях народ очень зол на Чехию, — чехи, дескать, безбожники, тупицы, идолопоклонники, придумывают новых богов и всякое такое... Лесничего застрелили только за то, что чех. Я вам говорю, Рейзек, повсюду такая творится кутерьма!

— М-да, — согласился пан Рейзек.

— И в синагоге передрались, — прибавил пан Кевал. — Сионисты крепко вдарили по тем, кто верит в Ваала. Было даже трое убитых... Погодите, я нынче слетаю на Гибернскую. Тамошний гарнизон был приведен в боевую готовность, тем временем вршовицкие казармы послали ультиматум в Чернинские казармы, чтобы те признали вршовицкие догматы о трех ступенях искупления. В противном случае пусть готовятся к битве на Сандберке; вот, значит, дейвицкие канониры отправились разоружать чернинских. Вршовицкие соорудили вокруг казарм баррикады, солдаты установили в оконных проемах пулеметы и объявили войну. Их осаждает седьмой драгунский гарнизон Пражского Града и четыре легкие батареи. По истечении, кажется, шести часов они откроют огонь. Рейзек, Рейзек, какая это радость — в такое время жить на свете!

— М-да, — буркнул пан Рейзек.

— А в университете, — с упоением продолжал пан Кевал, — там естественный факультет схватился с историческим. Естественники, видите ли, отрицают явления,



они вроде как пантеисты. Профессора возглавили демонстрацию, декан Радл сам нес знамя. Историки засели в университетской библиотеке в Клементинуме и отчаянно оборонялись, главным образом книгами. Декану Радлу угодили по макушке Беленовским в кожаном переплете — и он тут же на месте испустил дух. Должно быть, сотря-

сение мозга. Magnificus [1] Арне Новак тяжело ранен томом «Открытий и научных изобретений». Под конец историки засыпали обидчиков Собранием сочинений Яна Врбы. Теперь там работают саперы; пока что отрыли семерых убитых, в том числе — трех доцентов. По-моему, засыпанных книгами не более тридцати.

— М-да, — отозвался пан Рейзек.

— «Спарта»-то, голубчик, — тараторил Кевал, захлебываясь от восторга, — «Спарта» объявила единым и неделимым богом древнегреческого Зевса, а «Славия» выступает за Свантовита. В воскресенье на Летной состоится матч между обоими божествами; оба клуба, кроме бутсов, имеют на вооружении ручные гранаты, «Славия» будто бы намерена прихватить на поле боя пулеметы, «Спарта» — одну стодвадцатимиллиметровую пушку. За билетами — давка, болельщики обоих клубов вооружаются тоже. Ох, Рейзек, что будет! Какой тарарам! Я думаю, выиграет Зевс.

— М-да, — отозвался пан Рейзек, — однако теперь вы могли бы взглянуть на редакционную почту.

— Пожалуй, — милостиво согласился Цирил Кевал, — знаете ли, как-то привыкаешь к этому богу. Так что новенького в ЧТА?

— Ничего особенного! — пробурчал пан Рейзек. — Кровавые демонстрации в Риме. В Ольстере что-то назревает — видно, зашевелились ирландские католики. Святой Килда вообще отвергается. В Пеште — погромы. Раскол во Франции, там снова объявились вальденсы, а в Мюнстре — анабаптисты. В Болонье избран лжепапа, некий патер Мартин из общества «Босоногих братьев». И так далее. С мест — ничего. Хотите посмотреть корреспонденцию?

Цирил Кевал успокоился и стал знакомиться с почтой; редакция получила сотни две писем; он прочитал от силы шесть, на большее его не хватило.

— Взгляните, Рейзек, — начал он, — все дудят в одну дуду. Взять хоть это. «Хрудим. Уважаемая редакция! Я давний подписчик вашей уважаемой газеты... Ваших читателей, наверное, как и всю общественность, взбудораженную бесплодными дискуссиями...» Ну так и есть, — остановился пан Кевал, — он забыл написать «заинтересует». Итак, «...заинтересует великое чудо, которое сотворил местный священник Закоупил». И так далее. В Ичине

[1] Уважаемый (*лат.*).

это проделал старьевщик, а в Бенешове — директор школы. В Хотеборже — владелица табачной лавочки вдова Иракова. И что же, прикажете мне читать все это?

На мгновение воцарилась рабочая тишина.

— Черт побери, Рейзек, — зазвучал опять голос Кевала, — послушайте, какую бы сенсацию выдумать, а? Пустить бы уникальную, бесподобную утку? Про то, что где-то что-то совершилось само собой, безо всяких чудес? Только, по-моему, нам никто не поверит. Погодите, я, может, что-нибудь выдумаю.

Они помолчали.

— Рейзек, — жалобно простонал Кевал, — ничего простого мне не приходит в голову. Когда начинаешь размышлять, ловишь себя на том, что это тоже, собственно, чудо. Все, что ни на есть, — какие-то чудеса.

В этот момент в комнату ворвался главный редактор.

— Кто просматривал «Трибуну»? У них такая новость, а мы проморгали!

— Что за новость? — полюбопытствовал Рейзек.

— В разделе экономики. Американский консорциум скупил Тихоокеанские острова и сдает их внаем. Крохотный коралловый атолл — за шестьдесят тысяч долларов в год. Спрос огромный, даже на Европейском континенте. Акции уже поднялись на две тысячи семьсот. Т. Х. Бонди участвует ста двадцатью миллионами. А мы проморгали! — И шеф с грохотом закрыл за собой двери.

— Рейзек, — заговорил Кевал, — вот очень любопытное письмо: «Уважаемая редакция! Извините, что я, убежденный патриот, не забывший злых времен угнетения и мрака, осмеливаюсь просить вас, чтобы вы резвым пером своим народу чешскому растолковать изволили убежденных патриотов беспокойство и щемящую душу тоску...» и так далее. А вот: «...Вижу народ наш, древний, славянский, в ссоре брат против брата, несчетные партии, секты и церкви, аки волки, грызутся друг с другом, взаимно удушая один другого, в ослеплении братоубийственной ненависти...» Старенький, должно быть, корреспондент, очень уж рука у него дрожит, неразборчиво получается. «...а между тем извечный наш враг, аки лев рыкающий, обхаживает нас, бросает древнему народу чешскому призыв германский «Отколитесь от Рима», будучи в том заодно с лжепатриотами, для коих шкурные интересы превыше желанного единства национального. Со скорбью и со-

крушением видим мы, что приближается новая битва у «Лиан, в коей, когда чех пойдет против чеха ради защиты каких-то религиозных идей, все на поле брани полягут. И, о горе! Сбудутся слова Писания о царстве, в себе разделенном. И начнутся сечи да брани, как предсказывают наши славные, неподдельные Рукописи о делах богатырских.

— Хватит, — отмахнулся пан Рейзек.

— Потерпите маленько, тут он толкует о чрезмерном разрастании партий и церкви. Будто бы это наследственный чешский порок. «...И в том не может быть ни малейшего сомнения, то же самое утверждал и доктор Крамарж. Отчего и заклинаю вас в сей час полнощный, когда со всех сторон нам грозит опасность, великая и страшная, бросьте клич народу чешскому, дабы слился он воедино ради защиты родины нашей. А ежели единства ради надобно и связующее звено — не будем мы ни протестантами, ни католиками, ни монистами, ни даже абстинентами, — все перейдем в единую славянскую, могущественную и братскую веру православную, которая объединит великую семью славянских братьев и в бурные эти времена даст нам защиту и — монарха славянского. Те же, кто не примкнет в дружном и добровольном порыве к этой славной идее всеславянства, будет государственной мощью или другим каким средством, чрезвычайностью положения продиктованным, вынужден отринуть свои групповые и сектантские интересы на благо единства нации». И дальше в том же духе. Подпись: «Убежденный патриот». Что вы на это скажете?

— Ничего не скажу, — буркнул пан Рейзек.

— А я думаю, тут что-то есть, — начал пан Кевал, но в этот момент в редакцию ворвался телефонист и сообщил:

— Звонят из Мюнхена. Вчера в Германии вспыхнула не то гражданская, не то религиозная война. Стоит ли сообщать об этом в газетах?

Глава 23

АУГСБУРГСКИЙ КОНФЛИКТ

До двенадцати часов вечера редакцией «Лидовых новин» были получены следующие телефонограммы:

«ЧТА — Мюнхен, 12 текущего месяца. ВТБ сообщает, что вчера в Аугсбурге имели место кровавые демонстра-

ции. Семьдесят протестантов убиты; демонстрации продолжаются».

«ЧТА — Берлин, 12 т. м. По официальным сведениям, число убитых и раненых в Аугсбурге не превышает двенадцати. Полиция поддерживает спокойствие».

«Соб. кор. — Лугано, 12 т. м. Из хорошо информированных источников стало известно, что жертв в Аугсбурге уже более 5 тысяч. Железнодорожное сообщение в северном направлении прервано. Баварское министерство заседает непрерывно. Немецкий император прервал охоту и находится на пути в Берлин».

«ЧТА — Рейтер, 12 т. м. Сегодня в 3 часа утра правительство Баварии объявило Пруссии священную войну».

Спустя день после описываемых событий Цирил Кевал уже прибыл в Баварию; нижеследующий текст взят из его относительно достоверного описания:

«На Шеллеровой карандашной фабрике в Аугсбурге уже 10 числа сего месяца в 18 часов рабочие-католики избили протестантского магистра, оспаривавшего какое-то положение, касающееся культа святой девы Марии. Ночь прошла спокойно, однако утром в 10 часов рабочие-католики прекратили работу на всех фабриках, с возмущением требуя увольнения служащих-протестантов. Фабрикант Шеллер убит, два управляющих застрелены. Под давлением рабочих духовенство вынуждено было выступить во главе процессии и нести дароносицу. Архиепископ доктор Ленц, вышедший умиротворить манифестантов, был сброшен в воды реки Лех. Социал-демократические лидеры сделали попытку обратиться к народу, но вынуждены были спастись бегством и укрыться в синагоге. В 15 часов синагога была взорвана динамитом. Тем временем были разграблены еврейские и протестантские лавочки, причем дело дошло до стрельбы и массовых поджогов; магистрат подавляющим большинством голосов принял резолюцию о непорочном зачатии девы Марии и издал пламенное обращение ко всем католикам мира, дабы те обнажили мечи в защиту святой католической веры.

Эти события вызвали самую различную реакцию в прочих городах Баварии. В Мюнхене в восьмом часу вечера при массовом стечении народа и в обстановке общего подъема была принята резолюция об отделении южных земель от Германской Федеративной Империи. Мюнхенское правительство депешей уведомило Берлин,

что принимает на себя всю ответственность за управление землями. Имперский канцлер доктор Вурм немедленно нанес визит министру обороны, по распоряжению которого в Баварию были направлены 10 тысяч штыков из саксонских и прирейнских гарнизонов. Во втором часу пополуночи на баварской границе были пущены под откос составы с оружием, раненых расстреливали из пулеметов. В 9 часов утра мюнхенское правительство, договорившись с альпийскими землями, приняло решение об объявлении священной войны лютеранам».

«...По всей видимости, в Берлине не теряют надежды на мирное разрешение возникших недоразумений. Император до сих пор еще не кончил свое выступление в парламенте; он утверждает, что не признает деления на католиков и протестантов, для него существуют только немцы. Войска северного гарнизона сосредоточены, по-видимому, на линии Эрфурт — Гота — Кассель, католическое войско широким фронтом наступает в направлении Цвейк и Рудольфштадт, встречая отпор лишь со стороны гражданского населения. Город Грейц сожжен дотла, жители частью убиты, частью захвачены в плен. Слухи о большом сражении пока не подтвердились. Беженцы, остановившиеся в Байрейте, рассказывают, что с севера доносится канонада тяжелых артиллерийских орудий. Вокзал в Магдебурге разрушен баварской авиацией. Веймар в огне».

«...Здесь, в Мюнхене, всех охватил неописуемый энтузиазм. В школах работают призывные комиссии, толпы добровольцев сутками простаивают на улицах в ожидании своей очереди. На ратуше для всеобщего обозрения выставлены головы двенадцати пасторов. Католическое духовенство днем и ночью служит мессы в переполненных храмах; депутат патер Гроссгубер от усталости рухнул перед алтарем замертво. Евреи, монисты, трезвенники и прочие иноверцы забаррикадировались в домах. Банкир Розенгейм, старейшина еврейской общины, сегодня утром всенародно сожжен на костре».

«...Послы Дании и Голландии потребовали вернуть им паспорта. Американский поверенный выразил протест по поводу нарушения мирного договора, в то время как Италия заверила Баварию в полном и весьма благосклонном нейтралитете».

«...По улицам тянутся нескончаемые ряды новобранцев, несущих знамена с белым крестом на красном поле

и лозунгом: «Такова воля божья». Дамы, все как одна, идут в сестры милосердия и готовят лазареты к приему раненых. Почти все магазины закрыты. Биржа тоже».

* * *

Так развивались события 14 февраля.

15 февраля великое побоище началось на обоих берегах реки Берри. Протестантская армия была несколько оттеснена. В тот же день прозвучали первые выстрелы на бельгийско-голландской границе, Англия спешно приводила флот в боевую готовность.

16 февраля. Италия разрешила свободное передвижение испанским войсковым частям, посланным на помощь Баварии. Тирольские мужики, вооружившись косами, пошли войной на гельветских швейцарцев.

18 февраля. Лжепапа Мартин послал по телеграфу благословение баварской армии. Битва у Мейнингена закончилась вничью. Россия объявила войну польским католикам.

19 февраля. Ирландия объявила войну Англии. В Брюсселе объявился лжекалиф и выступил со своим войском под зеленой хоругвью пророка. Мобилизация в балканских государствах. Резня в Македонии.

23 февраля. Прорван северогерманский фронт. Массовые восстания в Индии. Мусульмане объявили священную войну христианам.

27 февраля. Греко-итальянская война и первые бои на албанской территории.

3 марта. Японская флотилия движется на восток, к берегам США.

15 марта. Крестоносцы (католики) заняли Берлин. Между тем в Штеттине создан Союз протестантских государств. Немецкий кайзер Кашпар I объявил себя главнокомандующим.

16 марта. Двухмиллионная армия Китая хлынула через границы Сибири и Маньчжурии. Войска лжепапы Мартина вошли в Рим, папа Урбан бежал в Португалию.

18 марта. Испания требует от лиссабонских властей выдачи папы Урбана, после отказа ipso facto [1] вспыхивает испано-португальская война.

---

[1] как следствие (*лат.*).

26 марта. Государства Южной Америки предъявляют ультиматум Североамериканскому союзу, в котором требуют отмены «сухого закона» и запрета свободы вероисповедания.

27 марта. Японская пехота высадилась в Калифорнии и Британской Колумбии.

На 1 апреля международное положение в общих чертах было таково: в Средней Европе разразился острейший конфликт между двумя мирами — католическим и протестантским. Протестантская уния вытеснила крестоносцев из Берлина, заняла Саксонию и оккупировала даже нейтральную Чехию; волею судеб войсками в Праге командовал шведский генерал-майор Врангель, вероятно, потомок известного генерала времен Тридцатилетней войны. Зато крестоносцы овладели Нидерландами и затопили их, разрушив дамбы, затем они захватили весь Ганновер и Голштинию, докатившись до самого Любека, откуда проникли в Данию. Война была беспощадной. Города сравнивались с землей, мужчины были перебиты, женщины до пятидесяти лет — изнасилованы; но прежде всего уничтожались карбюраторы противника. Свидетели этих невиданных кровопролитий уверяют, что с обеих сторон в войне участвовали сверхъестественные силы; иногда некая незримая рука останавливала неприятельский самолет и швыряла его оземь; поймав на лету 54-дюймовый снаряд весом в одну тонну, отсылала его обратно — на голову тех, кто его выпустил. Особенно страшные дела творили воюющие стороны, сокрушая карбюраторы; порой это напоминало смерч, который разносил в щепы и уничтожал до последнего камня здание с атомным котлом — подобно тому, как порыв ветра вздымает кучу легкого пуха; кирпичи, балки, черепица вихрем носились в воздухе, издавая пронзительный свист; кончалось это обычно взрывом сокрушительной силы, который выламывал деревья, разрушал постройки в радиусе до двенадцати километров и оставлял воронку двухсотметровой глубины; сила детонации, разумеется, колебалась в зависимости от мощности взрываемого карбюратора.

На фронте протяженностью в триста километров были пущены отравляющие газы, которые дотла выжгли всю растительность, но, поскольку эти черные, стелющиеся по земле тучи не однажды — опять-таки вследствие стратегического вмешательства сверхъестественной силы —

возвращались в расположение своих собственных войск, генералитет отказался от столь ненадежного средства. Обнаружилось, что Абсолют способен переходить в нападение, но умеет и обороняться; кроме того, во время операций в ход шли неслыханные средства, как-то: землетрясения, циклоны, серные дожди, потопы, ангелы, мор, саранча и т. д., так что не оставалось ничего иного, как изменить стратегию войны. Отпала надобность в массовых наступлениях, окопах, линиях заграждений, в укрепленных пунктах и прочей ерунде; солдату вручали нож, патроны и несколько гранат и отправляли его, на свой страх и риск, убивать другого солдата, на груди которого был изображен крест иного цвета. Не было армий, встречавшихся лицом к лицу; просто-напросто определенная территория превращалась в поле боевых действий, где происходило взаимное избиение, пока в конце концов не выяснялось, кому теперь эта земля принадлежит. Понятно, такой метод ведения войны чудовищно кровав, но, согласитесь, он обладает и несомненными преимуществами.

Такова была ситуация в Средней Европе. В начале апреля протестантские войска через Чехию проникли в Австрию и Баварию, а католики заполнили Данию и Померанию; Голландия, как мы уже отметили, исчезла с карты Европы вообще.

В Италии свирепствовали сторонники папы Урбана (урбановцы) и лжепапы Мартина (мартиновцы), а Сицилия оказалась в руках греческих эвзонов. Португальцы оккупировали Астурию и Кастилию, но лишились Эстремадуры. На юге война приняла крайне ожесточенный характер. Англия сражалась на землях Ирландии и, кроме того, в колониях. В начале апреля она удерживала только прибрежную полосу Египта. Прочие гарнизоны были уничтожены, а колонисты вырезаны туземцами. Турки с помощью арабских, суданских и персидских солдат наводнили Балканский полуостров и овладели Венгрией, но в этот момент возникли разногласия шиитов с суннитами из-за какой-то, очевидно, весьма существенной, проблемы четвертого калифа Али. Секты гонялись друг за другом по всей Юго-Восточной Европе — от Константинополя до Татранских уступов, обнаруживая невероятное упорство и жестокость, отчего, к несчастью, изрядно досталось и христианам. В общем, этой части Европы еще раз пришлось горше, чем какой-либо другой.

Польша была стерта с лица земли русской армией, но затем русские войска были переброшены на восток — против желтой чумы, которая катилась на север и на запад. В Северной Америке пока что высадилось только десять японских корпусов.

До сих пор мы ни словом не обмолвились о Франции. Но для этой темы автор хроники резервирует главу 24-ю.

Глава 24

НАПОЛЕОН ИЗ ГОРНОЙ БРИГАДЫ

Бобинэ, Тони Бобинэ, двадцатидвухлетний поручик горной артиллерии из гарнизона Аннеси (Верхняя Савойя), в те времена находившийся на шестинедельных учениях в Эгие, откуда в ясную погоду на западе можно видеть озеро Аннеси и Женеву, а на востоке — тупой хребет Добрака и вершины Монблана, — отзовитесь, вы уже дома? Ага, значит, поручик Тони Бобинэ сидит на камне и пощипывает свои маленькие усики, может, со скуки, а может, и оттого, что он уже в пятый раз перечитывал газеты двухнедельной давности и погрузился в раздумье.

Теперь автору хроники следовало бы проследить за мыслью будущего Наполеона, а между тем он все ниже опускает взор с заснеженных склонов в долину реки Арли, где уже тает снег и куда манят его маленькие местечки Межев, Флуме, Южен с островерхими крышами костелов, словно куча игрушек, — ах, воспоминания давно минувшего детства! О мечты над строительными кубиками!

Итак, поручик Бобинэ... Нет, откажемся от попытки подвергнуть психологическому анализу душу великого человека и определить, в какой момент в ней появился зародыш титанических идей. Нам это не под силу, да если бы мы и смогли выполнить столь грандиозную задачу, то, вероятно, были бы разочарованы. Представьте себе, короче говоря, что такой вот махонький поручик Бобинэ сидит на горной вершине посреди разваливающейся Европы; за плечами у него орудийный расчет, а под ним — крохотный мир, который так удобно расстрелять отсюда, сверху: в старом номере аннесийского «Монитора» поручик только что прочитал передовую, где некий господин Бабийяр мечтал о сильной руке кормчего, который вывел

бы корабль Франции из нынешнего шторма и устремил его к новой славе и могуществу; вокруг — на высоте двух тысяч метров над уровнем моря — чистый, не замутненный богом воздух, в котором мыслям легко и просторно; представьте себе все это, и вы поймете, отчего поручик Бобинэ, сидя на камне, задумался и что толкнуло его сочинить письмо своей обожаемой седовласой старушке-маман, письмо довольное сумбурное, где шла речь о том, что она «скоро услышит о своем Тони», что у Тони родилась «блестящая идея», что сегодня он был занят тем-то и тем-то: ночью крепко спал, утром созвал солдат своей батареи, сверг старого, бестолкового капитана, захватил жандармский пост в Салланше, по-наполеоновски лаконично объявил войну Абсолюту и снова отправился спать; на следующий День расстрелял карбюратор пекарни в Фоне, окружил вокзал в Бонневилле и овладел комендатурой в Аннеси; к этому времени под его началом находилось уже три тысячи солдат. В течение недели он разнес в щепы более двухсот карбюраторов и повел пятнадцать тысяч штыков и сабель на Гренобль. К моменту провозглашения комендантом Гренобля он располагал уже армией, насчитывающей сорок тысяч солдат; затем Бобинэ спустился в долину Роны, предварительно очистив местность от атомных двигателей с помощью дальнобойных орудий. На дороге, ведущей к Шамбери, Бобинэ взял в плен министра обороны, который прибыл сюда вправить поручику мозги. День спустя министр обороны, пораженный грандиозностью планов *Бобинэ,* произвел его в генералы. Первого апреля Лион был свободен от Абсолюта.

Победоносное шествие Бобинэ до сих пор обходилось без существенных кровопролитий. Лишь за Луарой ему начали оказывать сопротивление фанатичные католики; порой дело доходило до настоящей резни. К счастью для Бобинэ, даже в селах, которыми Абсолют владел безраздельно, многие французы относились к нему скептически и, более того, обнаружили свою несуразную приверженность к безбожию и идеям просвещения. После массовой резни и новых варфоломеевских ночей les Bobinets [1] были встречены как освободители. И в самом деле, куда бы они ни приходили, с уничтожением карбюраторов всюду воцарялись мир и спокойствие.

[1] солдаты Бобинэ (*франц.*).



Уже в июле парламент издал указ о «выдающихся заслугах Тони Бобинэ перед родиной» и вместе со званием маршала присвоил ему звание Первого консула. Франция была сплочена. Бобинэ возвел атеизм в принцип государственной политики. Малейшая приверженность религии каралась смертью по законам военного времени.

Нельзя обойти молчанием некоторые эпизоды из жизни этого великого человека.

Б о б и н э и е г о м а т у ш к а. Как-то в Версале Бобинэ проводил совещание со своим генералитетом. День был жаркий, он стоял у открытого окна и вдруг заметил старенькую даму, гревшуюся в парке на солнышке. Бобинэ, прервав маршала Жоливэ, воскликнул: «Смотрите, господа, это моя матушка!» Все присутствовавшие — а среди них были и видавшие виды генералы — прослезились, растроганные проявлением сыновней любви.

Б о б и н э и л ю б о в ь к р о д и н е. Однажды Бобинэ присутствовал на параде войск на Марсовом поле. Лил проливной дождь, и, когда мимо Бобинэ проходили тяжелые артиллерийские орудия, одна военная машина, въехав в большую лужу, забрызгала грязью плащ Бобинэ. Маршал Жоливэ хотел было на месте наказать командира злосчастной батареи, однако Бобинэ удержал его: «Не беспокойтесь, маршал, ведь эта грязь — французская!»

Б о б и н э и и н в а л и д. Как-то раз Бобинэ инкогнито отправился в Шартрез. По дороге у автомобиля лопнула шина; пока водитель менял ее, к машине приблизился одноногий инвалид и стал просить милостыню. «Где этот человек потерял ногу?» — спросил Бобинэ. Инвалид ответствовал, что потерял ее в Индокитае, будучи солдатом, и что у него старушка мать, и что у них часто нечего кушать. «Наградите этого человека, маршал», — приказал тронутый Бобинэ. И впрямь: спустя неделю в дверь халупы инвалида постучал личный курьер Бобинэ и передал убогому калеке сверточек «от Первого консула». Какими словами передать радостное удивление несчастного, когда он, развернув узелок, обнаружил в нем бронзовую медаль!

Не удивительно, что, обладая столь редкостным душевным благородством, Бобинэ соблаговолил наконец пойти навстречу искреннему желанию своего народа и четырнадцатого августа провозгласил себя при всеобщем ликовании французским императором.

Для земного шара наступили тогда времена весьма неспокойные, но великие с точки зрения истории. Буквально все части света могли гордиться ратными подвигами своих солдат. Нет сомнения, что марсианам Земля в тот период казалась звездой первой величины, отчего марсианские астрономы решили, что наша планета все еще находится в раскаленном и расплавленном состоянии. Как вы сами понимаете, рыцарская Франция и ее представитель император Тони Бобинэ по мере сил способст-

вовали этому впечатлению. Вероятно, в данном случае оказали свое действие остатки Абсолюта, поскольку они не рассеивались в просторах вселенной, а возбуждали чувства возвышенные и пылкие. Короче, спустя два дня после коронации великий император объявил, что пробил час, когда Франция покроет всю планету знаменами победы, и ответом ему был единодушный гул восхищения.

План Бобинэ был таков:

1. Занять Испанию и захватить Гибралтар — ключ к Средиземному морю.

2. Оккупировать долину Дууая (до Пешта включительно) — ключ к центральным районам Европы.

3. Занять Данию — ключ к северному взморью.

Поскольку территориальные ключи непременно должны быть обагрены кровью, Франция снарядила три армии, которые повсюду покрыли эту великую державу неувядаемой славой.

Четвертая армия оккупировала Малую Азию, поскольку Малая Азия — ключ к Востоку.

Пятая овладела устьем реки Святого Лаврентия, поскольку оно — ключ к Американскому континенту.

Шестая затонула в морском бою у английских берегов.

Седьмая — осадила Севастополь.

31 декабря 1944 года все ключи лежали в карманах артиллерийских галифе императора Бобинэ.

Глава 25

ТАК НАЗЫВАЕМАЯ ВЕЛИЧАЙШАЯ ВОЙНА

Нам, людям, свойственна такая черта: пережив то или иное несчастье, мы находим особенное удовольствие в том, чтобы убедиться, что пережитая неприятность была в своем роде «величайшей» и невиданной со времен сотворения мира. Например, случись в стране засуха, газеты очень угодят нам сообщением, что теперь стоит самая страшная жара, которую термометр не показывал с 1881 года; при этом мы еще ощущаем легкую досаду на этот 1881 год за то, что он обставил нас. Или: вы отморозили себе уши так, что они саднят и шелушатся, но непонятная радость переполняет вас при известии, что теперь... «самый жестокий мороз, не отмечавшийся с 1786

года». Точно так же обстоит дело и с воqнами. Переживаемая в данный момент война должна быть или самой справедливой, или самой кровопролитной, самой успешной или самой длительной за столько-то лет. *Любая* превосходная степень доставит нам гордое удовлетворение от сознания того, что на нашу долю выпало пережить нечто исключительное и редкостное.

Однако война, длившаяся с 12 февраля 1944 до осени 1953 года была действительно и без преувеличений Величайшей Войной, — ради всего святого, не будем лишать современников этой единственной и заслуженной радости. В войне принимали участие 198 миллионов мужчин, из которых уцелели только тринадцать человек. Я мог бы привести цифры, которыми любители арифметики и статистики пытались наглядуо изобразить масштаб потерь: например, на сколько тысяч километров протянулся бы ряд трупов, если их разместить один за другим, или сколько часов двигался бы скорый поезд по рельсам, где шпалами служили бы мертвецы; или, если отрезать указательные пальцы у всех погибших и положить в жестянки из-под сардин, сколько сотен вагонов было бы занято такого сорта товаром, и так далее; но у меня плохая память на цифры, кроме того, я не желал бы обсчитать вас ни на один, хотя бы самый жалкий статистический вагон, а посему повторяю только, что *это была* самая великая война со времен сотворения мира как по числу жертв, так и по протяженности фронтов.

Автор хроники еще раз просит прощения за то, что не владеет в достаточной степени даром масштабного изображения событий. Конечно, ему следовало бы описать, как продвигалась война от Рейна до Евфрата, от Кореи до Дании, от Лугано до Гапаранда и так далее.

С огромным удовольствием он живописал бы, например, въезд в столицу Швейцарии — Женеву — бедуинов, одетых в белые бурнусы, с двухметровыми копьями, на которых торчат головы неприятелей, или любовные приключения французского волонтера в Тибете; русские казачьи сотни в песках Сахары; конные сражения македонских комитатов с сенегальскими стрелками на берегах финских озер. Материал, как видите, необозримый.

Победоносные полки Бобинэ на одном энтузиазме, так сказать, прошли по стопам Александра Македонского через Индию в Китай; желтая лавина китайцев, преодолев

Сибирь и Россию, докатилась тем временем до Франции и Испании, отрезав мусульман, орудовавших в Швеции, от их родины.

Русские полки, отступив под сокрушительным напором численно превосходящих сил китайцев, очутились в Северной Африке, где Сергей Николаевич Злосеин основал новую монархию, однако вскоре был убит в результате заговора находившихся под его началом баварских генералов, которые выступили против подчиненных ему прусских атаманов, после чего царский трон в Тимбукту занял Сергей Федорович Злодеин.

Наша чешская родина многократно переходила из рук в руки и попеременно пережила владычество шведов, французов, турок, русских, китайцев, причем во время каждого из этих нашествий туземное население уничтожалось на корню, до последнего человека. В соборе святого Вита в те времена успели совершить богослужение пастор, адвокат, имам, архимандрит и бонза, разумеется, с переменным успехом. Единственно утешительным было то обстоятельство, что Сословный театр с тех пор не пустовал — в нем размещался военный склад.

После того как в 1951 году японцы вытеснили Китай из Восточной Европы, на какое-то время возникла Срединная империя — так китайцы именуют свою родину — по странной случайности как раз в границах прежней Австро-Венгерской монархии: на престоле в Шенбрунне опять восседал престарелый монарх, стошестилетний мандарин Яя Вэр-юань, «к чьему просвещенному разуму, — как изо дня в день убеждал читающую публику «Винер Миттагсцайтунг», — с ребяческим благоговением взывают ликующие народы». Государственным языком был объявлен китайский, вследствие чего национальные распри мгновенно прекратились; государственным богом стал Будда; ревностные католики Чешской и Моравской земель, пытавшиеся эмигрировать за границу, попали в лапы китайских карателей, благодаря чему необычайно возросло число наших национальных мучеников. Зато некоторые замечательно трезвые чешские патриоты Высочайшим Повелением Монарха были удостоены звания мандарина, в особенности здесь отличились То Бол-кай, Гро-ши и, по-видимому, многие другие. Кроме того, китайское правительство провело множество чрезвычайно прогрессивных реформ, как-то: раздача талончиков вместо

продуктов питания и т. д. Однако Срединная империя просуществовала недолго: запасы свинца для патриотов были исчерпаны полностью, а посему незамедлительно рухнули и всяческие авторитеты; несколько уцелевших китайцев после побоищ осели в Чехии и укоренились здесь в последующие мирные времена, преимущественно в качестве высокопоставленных чиновников.

Тем временем император Бобинэ, обосновавшийся в индийской Симле, прослышал, что в доселе не изученных горных районах в бассейне рек Иравади, Сулина и Меконга существует Королевство Амазонок, и двинулся туда со своей испытанной гвардией. И больше уже не вернулся. По одной версии, он обзавелся там семьей; другая версия гласит, будто королева амазонок Амалия отсекла Бобинэ голову в бою и кинула ее в бурдюк, наполненный кровью, со словами: «Satia te sanguine, quem tantum sitisti!» [1] Последняя версия, безусловно, трогательнее.

Наконец, Европа сделалась ареной диких схваток черной расы, хлынувшей из глуби Африки, с монгольскими племенами; о том, что творилось в течение этих двух лет, разумнее умолчать. Остатки цивилизации уничтожены. На Градчанах, скажем, медведи расплодились в таком количестве, что последние аборигены Праги разрушили все мосты (Карлов мост в том числе), лишь бы охранить правый берег Влтавы перед кровожадными бестиями; от городского населения уцелела лишь горстка людей; вышеградский капитул прекратил свое существование как по мужской, так и по женской линии. На матче на первенство страны между командами «Спарта» — «Виктория» (Жижков) присутствовало всего сто десять зрителей.

На других континентах дела обстояли не лучше. Северная Америка, изнемогшая в кровавых боях сторонников и противников «сухого закона», была превращена в японскую колонию. В Южной Америке сменилось одно за другим несколько царств: Уругвайское, Чилийское, Перуанское, Бранденбургское и Патагонское. В Австралии сразу же после падения Англии было основано Идеальное Государство, в результате чего эта благословенная страна превратилась в мертвую пустыню. В Африке было съедено более двух миллионов представителей белой расы; негры бассейна Конго ринулись в Европу, вся прочая

[1] Насыться же кровью, которой ты так алкал! (*лат.*)

Африка содрогалась под ударами ста восьмидесяти шести императоров, султанов, королей, главарей и президентов, колошмативших друг друга.

Да, такова история.

У каждого из сотен миллионов солдат некогда были детство, любовь, привязанности, жизненные планы, каждый мог испытать страх и мог стать героем, но чаще всего ощущал только смертельную усталость и был бы рад мирно растянуться на постели; никто не хотел умирать. И от всего этого осталась лишь горсточка кратких сухих сообщений: сражение там-то и там-то, потерь — столько и столько-то; результат — такой-то и такой-то, а, ко всему прочему, он наверняка ни на что не влиял.

Поэтому я еще раз говорю вам: не лишайте людей, живших тогда, их единственной гордости — убеждения в том, что ими была пережита величайшая из войн. Хотя мы-то, разумеется, понимаем, что годиков эдак через двадцать кое-кому удастся развязать войну еще более великую и жестокую; ведь и в этом направлении человечество достигает все больших успехов.

Глава 26

БИТВА У ГРАДЦА КРАЛОВЕ

Здесь автор хроники прибегает к авторитетам Августа Седлачека, Иозефа Пекаржа и других признанных историографов, разделяющих ту точку зрения, что важнейшим источником познания исторической истины являются события местного значения, в которых, словно в капле воды, отражаются процессы, происходящие в целом мире.

Так вот, одна такая капля под названием Градец Кралове памятна автору хроники тем, что он в детстве, будучи инфузорией-первоклашкой тамошней гимназии, носился по его улицам, и он представлялся ему огромным миром; впрочем, довольно об этом.

В Величайшую Войну Градец Кралове вступил, имея на вооружении один-единственный карбюратор, да и тот располагался в пивной, что по сей день прячется за храмом Святого духа неподалеку от домов каноников. Очевидно, святое соседство повлияло на Абсолют — пиво там варили на редкость густое и отъявленно католическое, так что его употребление у градецких жителей вызвало

удивительное состояние, которое доставило бы истинную радость покойному епископу Брыниху.

Поскольку Градец Кралове был расположен как-то слишком уж на виду, то вскоре он очутился под властью пруссаков, которые в порыве лютеранской нетерпимости разбили карбюратор на пивоваренном заводе. Тем не менее Градец, верный исторической традиции, сохранил прежний накал религиозного чувства, особенно после того как тамошнюю епархию получил его преосвященство епископ Линда.

Несмотря на бесконечную смену власти в стране, переходившей от гвардейцев Бобинэ к туркам, затем к китайцам, градецкие обитатели не утратили гордого сознания того, что у них: 1) лучший в восточной Чехии любительский театр, 2) самая высокая в восточной Чехии колокольня и 3) страницы его истории отмечены крупнейшей битвой, имевшей место в восточной Чехии. Укрепленный сознанием своего превосходства, Градец Кралове выдержал страшнейшие испытания Величайшей Войны.

Как только империя китайских мандаринов развалилась, во главе магистрата Градца Кралове стал осмотрительный бургомистр Скочдополе. Его правление в пору повсеместной анархии было отмечено относительным спокойствием, чему немало благоприятствовали мудрые наставления епископа Линды и уважаемых господ старейшин.

Но вот возвратился в город какой-то портняжка, по прозванию, кажется, Гампл, тоже — увы! — градецкий уроженец; с малых лет шлялся он по свету, даже в Алжире служил в иностранном легионе; одним словом — авантюрист. Он участвовал в походах Бобинэ, завоевывал Индию, но дезертировал где-то у Багдада, ужом проскользнул мимо башибузуков, французов, шведов, китайцев и снова юркнул в родной город.

Так вот, портняжка этот, по прозванию Гампл, набрался идей «бобинизма» и, не успев войти в градецкие врата, стал помышлять ни больше ни меньше как о том, чтобы встать у кормила власти. Шить платья — это ему не улыбалось; вот и принялся он подкапываться под начальство да критиковать порядки: дескать, то да се, в магистрате сидят одни долгополые, казна пуста, господин Скочдополе ни на что не способен, старая он развалина, и так далее, и так далее. Ничего не поделаешь — войнам обычно сопутствует падение нравов и крушение автори-



тетов. У нашего Гампла нашлись приверженцы; с их помощью он основал новую социал-революционную партию.

Однажды — дело было в июле — поименованный выше Гампл собрал толпу людей на Малой площади и, взгромоздясь на край городского водоема, разглагольствовал, между прочим, о том, что народ категорическим образом требует лишить этого подлеца, мракобеса и поповского прихвостня Скочдополе бургомистрских полномочий.

В ответ на это Скочдополе развесил повсюду объявления, гласившие, что ему, бургомистру, законно избранному народом, никто не указ, а меньше всего пришлый дезертир; что в нынешней, напряженной обстановке новые выборы проводить не след и что наш рассудительный народ останется верен себе.

Именно этого-то Гампл и поджидал. Чтобы осуществить свою авантюру в духе императора Бобинэ, он вышел из своей квартиры на Малой площади с алым знаменем в руках; а за ним шли двое мальчишек, которые что есть мочи колотили в барабан. Обойдя Большую площадь, он постоял немного возле резиденции епископа, после чего под грохот барабанов отступил на поле у реки Орлице, которое попросту называли «У мельницы». Там он воткнул древко знамени в землю и, усевшись на барабан, сочинил объявление о войне. Потом послал мальчишек в город, чтобы барабанили по всем улицам и всех оповещали о новом манифесте, в котором значилось:

«Именем его величества императора Бобинэ приказываю престольному городу Градцу Кралове передать мне ключи от городских ворот. Если этого не будет сделано до захода солнца, то, завершив к рассвету необходимые военные приготовления, я начну артобстрел города, конные и пешие атаки. Имущество и жизнь будут сохранены лишь тем, кто до указанного срока придет в мой лагерь «У мельницы», захватив с собой исправное оружие, и принесет присягу его величеству императору Бобинэ. В парламентеров приказываю стрелять. Император не вступает в переговоры.

Генерал *Гампл*».

Обращение это было прочитано и произвело всеобщее смятение, особенно после того как пономарь костела Святого духа ударил на Белой башне в набат. Господин Скочдополе нанес визит епископу Линде, но тот высмеял его; затем бургомистр созвал чрезвычайное заседание городского совета, где предложил выдать ключи от городских ворот генералу Гамплу. Обнаружилось, что таковых ключей в природе не имеется: несколько старинных ключей и замков в качестве исторической реликвии прихватили с собой шведы. Среди этих хлопот градоправителей застигла ночь.

Всю вторую половину дня и особенно усердно вечером по дивным старинным аллеям обитатели Градца двигались к «Мельнице». «Знаете ли, — говорили знакомые друг другу при встрече, — надо бы посмотреть, что за лагерь у этого безумца Гампла». Придя к «Мельнице», они убеждались, что таких любознательных полным-полно и что под барабанный бой Гамплов адъютант принимает присягу на верность императору Бобинэ. Кое-где горели костры, а вокруг них мелькали тени — словом, все выглядело чрезвычайно живописно; кое-кто из любопытствующих вернулся в Градец в явно подавленном настроении.

Ночью зрелище было еще великолепнее. В полночь господин Скочдополе взобрался на Белую башню и увидел, что на востоке, неподалеку от речки Орлице, полыхают сотни костров, тысячи фигур мечутся возле огней, отбрасывающих свой кровавый отсвет далеко вокруг. Сомнений не оставалось: на «Мельнице» рыли окопы. Бургомистр сполз с колокольни, заметно озадаченный. Как видно, генерал Гампл не врал, расписывая свою военную мощь.

На рассвете генерал Гампл вышел из деревенской мельницы, где он провел целую ночь, склонившись над планами города. Несколько тысяч солдат, преимущественно в гражданском платье, уже выстроились колоннами по четыре; по крайней мере, каждый четвертый из них был вооружен; толпы женщин, стариков и детей теснились поодаль.

«Вперед!» — приказал Гампл, и в эту минуту зазвучали фанфары духового оркестра всемирно известной фабрики духовых инструментов пана Червеного, и под бодрые звуки бодрого марша («Шли девицы по дорожке») Гамплова рать двинулась на город.

Возле города генерал Гампл остановил свои полки и выслал вперед трубача и глашатая — призвать мирное население выйти из своих домов. Однако никто не вышел. Дома были пусты.

Малая площадь пустовала.

Большая площадь пустовала.

Весь город был пуст.

Генерал подкрутил усы и направился к ратуше. Двери ее были распахнуты настежь. Он вошел в зал заседаний и уселся на место бургомистра. Перед ним на зеленом сукне аккуратной стопкой лежали чистые листки, и на

каждом каллиграфическим почерком уже было выведено: «Именем его величества императора Бобина».

Генерал Гампл подошел к окну и возгласил:

— Солдаты, сраженье окончено. Карающая рука возмездия свергла власть клики клерикалов. Для нашего любимого города настала пора свободы и прогресса. Солдаты! Вы показали себя храбрыми воинами. Ура!

«Ура!» — нестройно ответило войско и разбрелось по домам. В дом бургомистра тоже гордо вернулся один Гамплов воин (позже этих воинов окрестили «гампломанами»), унося на плече ружье какого-то китайского вояки.

Так пан Гампл сделался главой города. Следует признать, что и его осмотрительное правление было отмечено относительным спокойствием среди всеобщей анархии благодаря мудрым советам епископа Линды и уважаемых господ старейшин.

Глава 27

НА ОДНОМ ТИХООКЕАНСКОМ АТОЛЛЕ

— Разрази меня гром, — воскликнул капитан Трабл, — если этот верзила не их предводитель!

— Это Джимми, — отозвался Г. Х. Бонди, — вы знаете, он служил тут. Я думал, что он уже образумился.

— Черт меня дернул, — не унимался капитан, — пристать здесь. У-у, проклятая... А?

— Послушайте, — окликнул капитана Г. Х. Бонди, кладя винтовку на стол веранды. — Тут всюду так?

— По-моему, всюду, — утешил его капитан Трабл. — На Равайвайе они сожрали капитана Баркера со всем его гарнизоном. А на Мангайе содрали шкуру с трех миллионеров — вот вроде вас.

— С братьев Сазэрлэнд? — уточнил Бонди.

— Кажется, так. А на острове Старбуке они зажарили правительственного комиссара, толстяка Мака Дуана; вы с ним не знакомы?

— Нет, не знаком.

— Вы не знакомы с Маком? — вскричал капитан. — И как давно вы здесь обретаетесь, голубчик?

— Уже девятый год, — вздохнул пан Бонди.

— Ну, за девять лет вы могли бы с ним познакомиться, — заметил капитан. — Девятый год, подумать только!

Делаете бизнес, да? Или нашли этакую тихую гавань? Нервы лечите?

— Нет, — ответил Бонди, — видите ли, я предвидел, что там, на севере, такое стрясется, ну и убрался подобру-поздорову. Надеялся, что здесь спокойнее.

— Спокойнее? Вы еще не знаете наших чернокожих молодцов! Да тут понемножку все время война идет, приятель!

— О нет! — защищался Г. Х. Бонди. — Здесь на самом деле царил мир. Эти папуасы, или как вы их там называете, вполне приличные парни. Только в последнее время они как-то... того... что-то хорохорятся. И знаете, я толком так и не разобрал, чего они хотят...

— Ничего особенного, — ответил капитан, — просто они хотят нас слопать.

— С голоду? — изумился пан Бонди.

— Не знаю. Скорее всего, из благочестивых побуждений. Такой обряд, понимаете? Вроде причастия, что ли. У них это нет-нет да и прорвется.

— Ах, вот как, — пробормотал пан Бонди в задумчивости.

— Всякому свое, — ворчал капитан, — у них здесь одна страсть: сожрать чужестранца и закоптить его голову.

— Еще и голову закоптить? — Бонди передернуло от омерзения.

— Да это уже после того, как убьют, — утешил его капитан. — Они берегут головы на память. Вы видели сушеные головы в Окленде, в этнографическом музее?

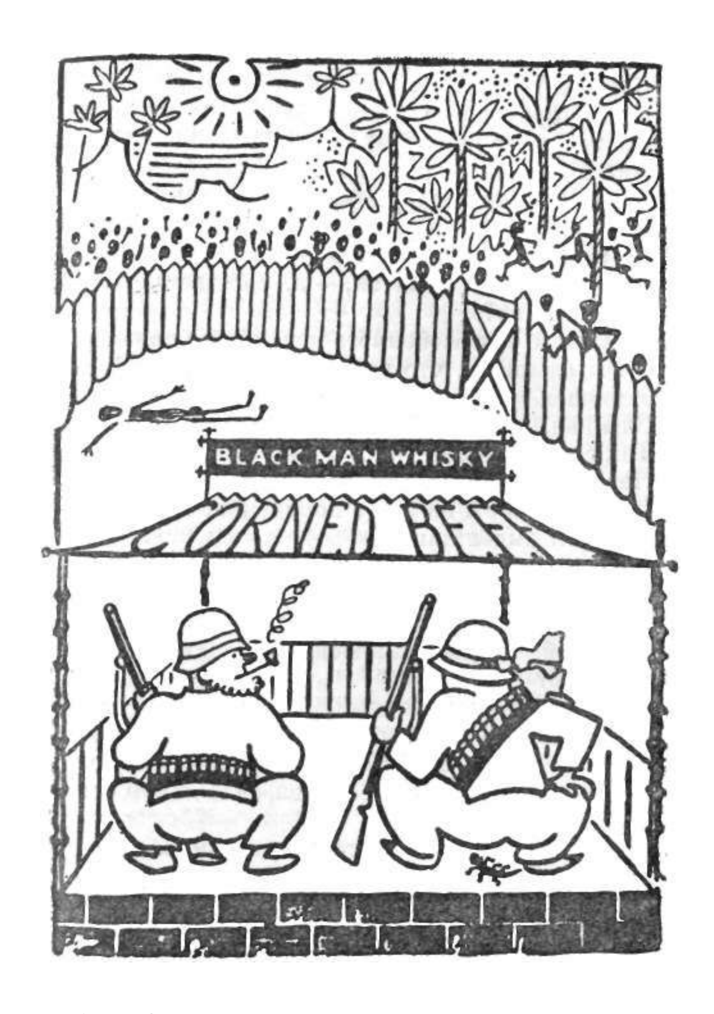
— Нет, — сказал Бонди, — я думаю... не такое уж это привлекательное зрелище — моя копченая голова.

— Пожалуй, вы для этого слишком полноваты, — позволил себе сделать критическое замечание капитан. — Худой от копчения не изменяется так основательно.

Весь вид пана Бонди изобличал необычайное беспокойство. Поникнув, сидел он в своем бунгало на коралловом острове Герегетуа, который приобрел перед самым началом Величайшей Войны. Капитан Трабл неодобрительно хмурился, поглядывая на заросли манговых деревьев и бананов, окружавшие бунгало.

— А сколько здесь туземцев? — неожиданно спросил он.

— Примерно сто двадцать, — ответил Г. Х. Бонди.



— А нас?

— Семь вместе с поваром-китайцем.

Капитан вздохнул и поглядел на море. Там стояла на якоре его яхта «Папеета», но, чтобы попасть на нее, пришлось бы пройти по узкой тропинке, петлявшей в манговой чаще, что представлялось ему совсем небезопасным.

— Алло, маэстро, — окликнул он Бонди немного погодя, — собственно, чего они там не поделили? Границы какие-нибудь?

— Куда там! Сущие пустяки!
— Колонии?
— И того пустяковее.
— О... торговые договора?
— Нет. Всего-навсего истину.
— Какую такую истину?
— Абсолютную истину. Понимаете, каждый народ хочет знать абсолютную истину.

— Гм, — буркнул капитан, — а, собственно, с чем ее лопают, эту истину?

— Да ничего тут особенного нет, просто такая у людей страсть. Вы слышали, что там, в Европе, и вообще... везде... объявился этот... как его?.. ну, понимаете... бог.

— Слышал.

— Так вот, это все от него, понимаете?

— Нет, не понимаю, мил человек. По-моему, всамделишный бог навел бы на свете порядок. А этот ваш ненормальный и невсамделишный.

— О нет, сударь, — возразил Г. Х. Бонди, явно обрадовавшись возможности поговорить с бывалым человеком, имеющим свои взгляды на вещи. — Я вам говорю, этот бог настоящий. Но, признаюсь, он слишком великий.

— Думаете?

— Думаю. Он бесконечный. И в этом вся загвоздка. Понимаете, каждый норовит урвать от него кусок и думает, что это и есть весь бог. Присвоит себе малую толику или обрезок, а воображает: вот, мол, он целиком в моих руках. Каково, а?

— Ага, — поддакнул капитан, — да еще злится на тех, у кого другие куски.

— Вот именно. А чтоб самого себя убедить, что у него-то он целиком, кидается убивать остальных. Понимаете ли, как раз потому, что для него важно завладеть всем богом и всей истиной. Потому он не может смириться, что у кого-то еще есть свой бог и своя истина. Если это допустить, то придется признать, что у него самого всего-навсего несколько мизерных метров, или там галлонов, или мешков божьей правды. Предположим, если бы какой-нибудь Снипперс был всерьез убежден, что только его, Снипперсов, трикотаж — лучший в мире, он без зазрения совести сжег бы на костре любого Массона вместе со всем его трикотажем. Да только пока дело идет о трикотаже, Снипперс головы не теряет. Но он стано-

вится нетерпим, когда речь заходит об английской политике или о религии. Если бы он верил, что бог — это так же солидно и необходимо, как трикотаж, он позволил бы, чтобы всяк оснастил его по-своему. Но вы понимаете, в этом вопросе у него нет такой уверенности, как в торговле; поэтому он навязывает людям Снипперсова бога или же Сниппересову истину — навязывает, ведя споры, войны, через всякую дешевую рекламу. Я торговец и разбираюсь в конкуренции, но это...

— Минутку, — прервал его капитан Трабл и, тщательно прицелившись, пальнул по манговым зарослям. — Вот так. Теперь, по-моему, одним меньше.

— Пал за веру, — мечтательно вздохнул Бонди, — и вы, применив насилие, помешали ему сожрать меня. Он погиб, защищая национальный идеал людоеда. В Европе люди испокон веков пожирали друг друга из-за каких-то там идеалов. Вы, капитан, — милый человек, но вполне вероятно, что, поспорь мы из-за какого-нибудь мореходного принципа, вы бы меня пристукнули. Видите, я и вам не верю.

— Прекрасно, — заворчал капитан, — стоит мне на вас посмотреть, и я становлюсь...

— Отъявленным антисемитом, да? Это ничего, я ведь перешел в христианство, я, видите ли, выкрест. А знаете, капитан, что нашло на этих черных паяцев? Позавчера они выловили в море японскую атомную торпеду. Установили ее вон там, под кокосовыми пальмами, и теперь поклоняются. Теперь у них есть свой бог. И ради него они готовы сожрать нас.

Из манговых зарослей загремел воинственный клич.

— Слышите, — заворчал капитан, — честное слово, лучше уж снова сдавать экзамены по геометрии.

— Послушайте, — зашептал Бонди, — а нельзя ли нам перейти в их веру? Что касается меня...

В этот момент на «Папеете» грохнул пушечный выстрел. Капитан слабо вскрикнул от радости.

Глава 28
У СЕМИ ХАЛУП

Пока армии ведут бои всемирно-исторического значения, и границы государств извиваются, словно дождевые черви, и весь свет образует гигантскую свалку, старая

бабушка Благоушова У Семи Халуп чистит картошку, дедушка Благоуш сидит на порожке и покуривает себе буковые листья, а их соседка Проузова, опершись о плетень, задумчиво вздыхает:

— Ну и ну!..

— И то с к а з а т ь , — соглашается Благоуш.

— И то, и т о , — подхватывает Благоушка.

— Вот оно так и в ы х о д и т , — откликается Проузова.

— Что верно, то в е р н о , — замечает дедушка Благоуш.

— Ничего не п о д е л а е ш ь , — добавляет Благоушка, принимаясь за новую картофелину.

— Бают, тальянцу крепко н а л о ж и л и , — припоминает Благоуш.

— Да кто же наклал-то?

— Да будто бы турки.

— Это что ж, выходит, конец, поди, войне-то?

— Куда там! Нынче все сызнова, шваб попрет.

— На нас?

— Сказывают, супротив французов.

— Господи, выходит, сызнова все вздорожает!

— Охо-хо-хо-хо!.. Вздорожает.

— Вот тебе и «охо-хо-хо».

— И то верно.

— А еще сказывали, будто швейцар писал, что все уже кончить пора.

— Вот и я так говорю.

— Да, а я ноне за свечку полторы тыщи отдала. Такая вонючая свечка — для хлева.

— И та будто полторы вам встала?

— То-то и оно. Какая же дороговизна, милые вы мои!

— И то правда.

— И то, и то.

— И кто когда о том думал? Полторы тыщи!

— А раньше-то за две сотни всего — и на тебе, хорошая свечка.

— Да что вы, бабушка, когда это было! Оно и яичко, бывало, достанешь за пять-то сотен.

— И фунт масла за три тысячи.

— Да какое масло-то!

— И сапоги за восемь тыщ.

— Да что, Благоушка, дешевая прежде жизнь была.

— А нынче-то...

— Охо-хо-хо-хо...

— И когда этому конец придет...

Помолчали. Старый Благоуш поднялся, распрямил спину и отправился поискать себе соломинку.

— Да и то сказать, — проговорил он самому себе под нос и развинтил трубку, чтобы легче было ее чистить.

— Небось уж смердит, — живо подметила Благоушка.

— Смердит, — подтвердил Благоуш. — Как не смердеть? Ведь уж и табак на свете перевелся. Последнюю пачку сын принес, когда служил учителем. Постой, это же в сорок девятом было, а?

— На рождество ровно четыре года минет.

— И то, — согласился Благоуш, — стареем, ох, стареем!

— А я-то говорю, сосед, — начала Проузка, — и чевой-то она все идет да идет?

— Что идет-то?

— Да вот эта война.

— Да кто ж ее знает, — глубокомысленно рассудил Благоуш и дунул в трубку, так что в ней засипело. — Того никто не ведает, соседка. Сказывают, из-за веры это.

— Из-за какой же веры-то?

— Из-за нашей, а может, из-за лютерьянской, кто ж его знает! Дескать, чтоб была одна вера.

— Дак у нас и была она, единая-то вера.

— А в других местах иная. А ноне, говорят, приказ вышел, чтоб везде одна была.

— Откуда же приказ-то?

— Да кто ж его знает! Сказывают, были машины такие для бога. Длиннющие такие котлы.

— А на что же котлы-то?

— Этого никто не знает. Котлы — и все тут. И сказывают, господь бог являлся народу, это чтобы они в него верили. Оно прежде-то, соседушка, сколько безверья-то было! А ведь нужно в чего-нибудь да верить, куда ни шло. Ведь ежели бы у людей вера была, он бы, господь бог, второй-то раз не явился. Так, значит, пришел он на свет из-за этого безверья, смекаешь?

— И то. Да откуда это война-то страшенная пришла?

— А кто ж его знает! Сказывают, начал будто Китай либо турок. Они будто в тех котлах везли с собой ихнего бога. Они, сказывают, больно в бога веруют, эти турки да Китай. Вот и желали, чтобы и мы верили вместе с ними, по-ихнему.

— Да отчего ж это по-ихнему?

— То-то и оно, что никто того не знает. А я так скажу — пруссак это начал. А швед и не лез.

— Господи боже! — запричитала Проузка. — Какая дороговизна-то, а? Полторы тыщи за свечку!

— А еще я скажу, — продолжал Благоуш, — что войну эту иудеи затеяли, чтоб, значит, нажиться. Вот оно как, по-моему.

— Дождичка бы теперь бог послал, — заметила Благоушка, — картошка ноне плохая, словно орехи.

— А скорее всего, — продолжал Благоуш, — этого господа бога они для того выдумали, чтоб было на кого вину свалить. Это придумка у них такая была. Чтоб, значит, и войну начать, и греха на душу не брать. Для того они все это и подстроили.

— Да кто это, они-то?

— Да кто ж его знает! Я так скажу: подговорились они с папой римским, с иудеями, со всеми подговорились, со всеми на свете! Эти, эти самые... *Калбулаты,* — взвизгнул дед Благоуш в волнении. — Я им это прямо в глаза скажу! Кому это понадобился новый господь бог? Нам, деревенским, хватало и того, старого. В самый раз хватало, и славный такой был, осмотрительный, порядок понимал. И никому на глаза не показывался. И покой был.

— А почем вы, соседушка, яйцами торгуете?

— Нынче по две тыщонки!

— В Трутнове, сказывают, по три.

— Вот я и говорю, — взволновался старый Благоуш, — должно было это случиться. Уж очень люди стали друг на друга злы. Вот хоть бы супруг ваш, соседушка, помилуй его господи, он, значит, это... спирит... А я ему в шутку и скажи как-то: «Ты, сосед, призови обратно того злого духа, что из меня вышел», — а он как осерчал, так да самой своей смерти со мной словом не обмолвился. А ведь сосед как-никак... Или возьмите вы Тонду Влчека, как он хотел, чтобы все мы, значит, фоксатов держались, что ими, значит, землю хорошо удобрять, а кто не хотел, он тому морду бил, кому ни попадя, как скаженный какой. А сын мой, учитель, значит, говорит, мол, это повсюду так, — кто чего себе ни удумает, хочет, чтоб и все так считали. И ни за что не отстанет. От этого и все зло. Вот оно и выходит, что всяк хочет всех в свою веру обратить.

— Так, так, — согласно подтвердила тетушка Прозова, зевая. — А все одно...

— И то, и то, — вздохнула старушка Благоушова.

— Завсегда это так на белом свете, — добавила Прозова.

— А вам, бабам, только бы языком молоть, — обиженно закончил дед Благоуш и поплелся во двор.

Между тем армии всех континентов вели всемирно-исторические бои во имя «прекрасного будущего», как утверждали крупнейшие мыслители того времени.

Глава 29
РЕШАЮЩЕЕ СРАЖЕНИЕ

Осенью 1953-го Величайшая Война близилась к концу. Не было армий. Оккупационные войска, чаще всего оторванные от тыла, редели и исчезали куда-то, словно вода в песке. Генералы-самозванцы брели от города к городу, вернее, от одних руин к другим, во главе горстки солдат, среди которых был один барабанщик, один мародер, один гимназист, один запевала и еще один непонятный человек, которого никто и не старался узнать поближе. Они брали выкуп за то, что не устраивали поджогов или давали благотворительные концерты «в пользу инвалидов, их вдов и сирот».

Никто уже точно не знал, сколько теперь воюющих сторон.

В обстановке полного разложения и разрухи наступил конец Величайшей Войны. Она закончилась столь неожиданно, что до сих пор неизвестно, где происходило последнее, решающее сражение. Историки ведут нескончаемые споры о том, какая из битв знаменовала собой разрешение и окончание мирового конфликта. Кое-кто (Дюрих, Асбридж и особенно Морони) склоняется к выводу, что такой битвой явилась битва под Линцем. В этой довольно крупной операции участвовали шестьдесят солдат, представлявших различные враждующие страны. Битва вспыхнула в большом зале трактира «У розы» из-за кельнерши Гильды (она же Маржена Ружичкова из Нового Быджова). Победу одержал итальянец Джузеппе, который увел с собой эту Гильду, но поскольку на следующий день она убежала от него с чехом Вацлавом Грушкой, то, собственно, исход и этого сражения тоже трудно признать окончательным.



Польский исследователь Усиньский считает такой битвой сражение у Гороховки, Леблон — у Батиньоля, ван Гроо — резню близ Нью-порта, но у меня складывается впечатление, что в данном случае ученые руководствуются скорее региональным патриотизмом, чем объективными историческими фактами. Короче говоря, последняя, решающая битва Величайшей Войны осталась неиз-

вестной. И тем не менее мне представляется возможным определить ее с достаточной степенью вероятности по источникам, удивительно совпадающим, а именно — по целому ряду пророчеств, предшествовавших Величайшей Войне.

Так, сохранился печатный (готический шрифт) текст пророчества, восходящего еще к 1845 году, где говорится, что «через сотню лет настанут страшные времена и много ратного народа падет на поле брани», но что «по прошествии сотни месяцев *тринадцать* народностей *под березой* в поле сойдутся и в сече жестокой себя посекут», после чего воцарится пятидесятилетний мир.

В 1893 году турчанка Вали Шён (?) вещала, что «пять раз по дюжине лет минет, пока настанет мир во всем белом свете; в тот год *тринадцать* кесарей сойдутся в сече под *березовым деревом,* а потом будет мир, какого никогда не было и не будет».

Упоминается видение чистокровной негритянки из Массачусетса, которой в 1909 году привиделось «чудище черное, двурогое, и чудище желтое, трехрогое, и чудище красное о восьми рогах, которые бились *под деревом* (березовым?), так что кровь их обрызгала целый свет».

Любопытно, что число рогов в общей сложности составляет тринадцать, явно как символ тринадцати национальностей.

В году 1920-м пророчил высокочтимый Арнольд, что «грядет война девятилетняя и охватит она все континенты. Один великий кесарь падет в этой войне, три великие державы разрушатся, девяносто девять столиц превратятся в развалины, и последнее сражение этой войны будет последним и в столетии».

Видение Джонатаново (год тот же), опубликованное в Стокгольме: «Сеча и мор девяносто девять земель истребит, девяносто девять земель погибнет и вновь возродится; последняя битва продлится девяносто девять часов и будет столь кровавой, что все герои падут под сенью *березового дерева».*

В пророчестве немецкого народа (год 1923-й), говорится о битве на *«Березовом поле»* (Birkenfeld).

Депутат Бубник при обсуждении бюджета на 1924 год говорил следующее: «...и положение не улучшится, пока последний солдат не будет мобилизован служить *под березой».*

Таких и тому подобных вещих документов за период 1845—1944 годы сохранилось более двухсот; в сорока восьми из них встречается число «тринадцать», в семидесяти — «березовое дерево», в пятнадцати — просто «дерево». Итак, вполне можно предположить, что последнее решающее сражение имело место где-то поблизости от «березового дерева»; кто там воевал — нам не известно, но уцелело после битвы общим счетом тринадцать солдат разных национальностей, и солдаты эти улеглись почивать от трудов праведных под сенью березы. В сей момент и пришел конец Величайшей Войны.

Вполне возможно, однако, что «береза» в данном случае выступает символом мест и местечек с такими названиями, как: Бржезаны, Бржезенец, Бржезград, Бржези (их в Чехии 24), Бржезина (этих 13), Бржезновес, Бржезинка (4), Бржезинки, Бржезины (3), Бржезка (4), а также Бржезко, Бржезна (2), Бржезнице (5), Бржезник, Бржезно (10), Бржезова (11), Бржезове Горы, Бржезовице (6), Бржезовик, Бржезувки, Бржежаны (9) и даже Бржезолупы. Или же немецкие: Бирк, Биркенберг, Биркенфельд, Биркенхайд, Биркенгаммер, Биркихт; или английские: Биркенхед, Биркенхем, Бирч, и т. п.; или французские: Булленвилль, Булле, и т. п.

Таким образом, число городов, сел и местечек, где, по всей вероятности, могла разыграться последняя, решающая битва, сокращается до нескольких тысяч (если, конечно, говорить о Европе, которая, естественно, имеет преимущественное право в вопросе на последнее сражение); в результате скрупулезных научных изысканий можно будет примерно хотя бы установить, *где* это произошло, если уж абсолютно невозможно доказать, кто выиграл сражение.

И все-таки согласитесь — картина заманчивая: неподалеку от места, где разыгралось последнее действие всемирной трагедии, качалась на ветру хрупкая белая береза; наверно, над полем брани заливался жаворонок и какая-нибудь бабочка-боярышница порхала над разъяренными воинами. Ай — глядь! — убивать-то почти уж некого; стоит жаркий октябрьский полдень; тут герои один за другим поворачиваются спиной к ратному полю и, распрямившись, истосковавшись по мирной жизни, направляются под сень березы. И вот уже все тринадцать уцелевших в последней битве лежат под деревцем. Один

положил усталую голову на сапог соседа, другой — на его задницу... не смущаясь его привычек (грубых, я имею в виду). Тринадцать уцелевших солдат со всего света храпят под одной березой.

К вечеру они проснутся, оглядятся вокруг и схватятся за оружие. Но тут кто-нибудь из них — историк так никогда и не узнает его имени — скажет:

— Черт побери, ребята, да хватит с нас всего этого!

— А ты, парень, прав, — с облегчением вздохнет другой, откладывая оружие в сторону.

— В таком случае угости-ка меня кусочком сала, болван, — ласково попросит третий.

А четвертый воскликнет:

— Эх, черт, покурить бы, братцы! Нет ли у кого, а?

— Бежим, братцы, — предложит пятый, — мы больше не играем.

— На тебе окурочек, — пообещает шестой, — а ты дай мне хлебца чуток.

— Домой, чуете, домой пойдем! — гудит седьмой.

— А что, твоя старуха все еще ждет тебя? — спросит восьмой.

— Бог ты мой, я уже шесть лет не спал в постели, — вздохнет девятый.

— Вот ведь чертовня какая творилась, — заметит десятый и плюнет с досады.

— И то верно, — согласится одиннадцатый. — Да теперь нас никуда калачом не заманишь.

— Не заманишь, — повторяет двенадцатый. — Что мы, ослы, что ли? По домам, ребята!

— Ах, как я рад, что конца дождался! — объявит тринадцатый и перевернется на другой бок.

Вот так, пожалуй, не иначе, можно представить себе, как закончилась Величайшая Война.

Глава 30

КОНЕЦ — ДЕЛУ ВЕНЕЦ

Много лет протекло с тех пор. В кабачке «У Дамогорских» сидит механик Брых, ныне владелец слесарной мастерской, и читает «Лидове новины».

— Сию минуту будут готовы колбаски, — объявляет трактирщик, выглядывая из кухни.

Но постойте, ведь это же Ян Биндер, бывший владелец карусели; правда, он раздобрел и не носит уже полосатой тельняшки, но это он!

— Да, торопиться некуда, — раздумчиво отзывается пан Брых. — Опять же патер Иошт еще не появлялся. И пан редактор Рейзек тоже опаздывает.

— А-а... как дела у пана Кузенды? — спрашивает пан Биндер.

— Да знаете, как оно. Прихварывает малость. Милейший он человек, пан Биндер!

— И то сказать... — соглашается пан трактирщик. — Пан Брых, не могли бы вы отнести ему колбаску... от меня... уж будьте любезны...

— Да я с радостью, пан Биндер, знаете, он так будет рад, что вы его помните. Да что тут толковать, я со всей душою...

— Благословен господь, — прозвучал у дверей веселый голос, и пан Иошт, румяный от морозца, снял шляпу и пальто.

— Вечер добрый, ваше преподобие, — приветствовал Иошта пан Брых, — а мы уж вас заждались.

Патер Иошт весело улыбнулся, потирая зазябшие руки.

— Так что пишут в газетах, любезный, что пишут?

— Вот кстати: «Президент республики присвоил молодому, подающему надежды ученому, приват-доценту доктору Благоушу звание экстраординарного профессора...» Помните, пан каноник, это тот самый Благоуш, что писал в свое время о Кузенде.

— Как же, как же, помню! — воскликнул патер Иошт, протирая очки. — Явно безбожник; они там, в университете, все богохульники. Да и вы ведь тоже бога не помните, пан Брых.

— Ну, пан каноник помолится за нас за всех, — примирительно бросил пан Биндер. — Мы ему на небе для компании нужны. Колбаски прикажете, ваше преподобие?

— Две больших и одну маленькую!

— Ну, понятно, две больших, одну маленькую.

Пан Биндер проворно отворил дверь на кухню и крикнул: «Две из потрохов, одну кровяную».

— Добрычер, — буркнул редактор Рейзек, вваливаясь в кабачок. — Холодно, братцы!

— Вот и вечеринка у нас! — суетился пан Биндер. — Вот и гости собрались!



— Так что новенького? — бодро расспрашивал патер Иошт пана редактора. — Как дела в редакции? Я ведь тоже, когда молод был, в газете пописывал.

— А этот Благоуш про меня тоже упоминал в своих сочинениях, — вспомнил пан Брых. — Я еще эту статью

вырезал. «Апостол Кузендовой секты» — эвона как он меня величал. Охо-хо-хо, прошли те времена!

— Ужинать, — потребовал пан Рейзек.

Но пан Биндер с дочерью уже ставили на стол дымящиеся колбаски; все в капельках сала, они еще шипели, развалясь на пышной капусте, словно турецкие одалиски на подушках. Патер Иошт громко причмокнул и вонзил вилку в ближайшую обольстительницу.

— Эх, хорошо, — помолчав, восхитился пан Брых.

— Угу, — не сразу отозвался пан Рейзек.

— Удались на славу, пан Биндер, — признал благодарный пан каноник.

Воцарилась благодатная, сосредоточенная тишина.

— Чувствую какие-то новые пряности, — присоединил свой голос благодарности пан Брых. — Приятные!

— Да, но тут все в самый раз.

— И корочка должна прямо-таки хрустеть на зубах.

— М-м-м...

Опять наступила длительная пауза.

— А капуста сюда идет самая беленькая.

— На Мораве, — заговорил пан Брых, — капусту делают прямо словно кашу. Я там в подмастерьях служил, так эта каша сама в горло течет.

— Господь с вами, — поразился патер Иошт. — И не говорите, все равно не поверю, что это вкусно.

— Верьте не верьте, а там так делают. И едят ложками.

— Вот страх-то господень, — обеспокоился каноник. — Это странный какой-то народ, братья. Ведь в капусту всегда жиру нужно много класть, верно я говорю, пан Биндер? И я не понимаю, как можно делать иначе.

— Знаете, — проникновенно обратился к присутствовавшим пан Брых, — с этой капустой выходит, как с нашей верой. Не умещается в голове человека, почему это нужно исповедовать иную веру.

— Ах, оставьте, голубчик, — защищался патер Иошт. — Я скорее поверю в Магомета, чем съем капусту, приготовленную по-иному. Ведь ясно как божий день, что капусту надо заправлять жиром.

— А когда разговор идет про веру, это неясно?

— Когда про нашу веру, ясно, — твердо заявил пан каноник, — а про все прочие — неясно.

— Вот мы и снова пришли к тому, с чего начали перед войной, — вздохнул пан Брых.

— А люди завсегда возвращаются к тому, с чего начинали, — вмешался пан Биндер. — Так и сам пан Кузенда считает. «Биндер, — говорит он, — никакая правда не даст себя одолеть. Видишь ли, Биндер, этот наш бог на землечерпалке вовсе не был плох, и твой — карусельный — тоже был совсем не дурен, а вот так получилось, что оба сгинули. Всяк верит в своего исключительного бога, а другому человеку не верит, не верит, что этот, другой-то, тоже любит хорошего бога. Люди всегда должны верить в людей, а остальное приложится». Так говорит пан Кузенда.

— И то верно, — согласился пан Брых, — человек, он может, скажем, считать, что иная вера — плохая вера, а вот думать, что человек, исповедующий иную веру, обязательно плохой, грубиян, проходимец, — это уже нельзя. Так и в политике, так и во всем.

— А сколько людей заразилось ненавистью и погибло, — отозвался патер Иошт. — Выходит, чем крупнее дело, в которое ты веришь, тем яростнее ты отвергаешь неверующих. А ведь самой большой верой должна быть вера в людей.

— Всяк прекрасно мыслит про все человечество, а вот когда нужно поладить с отдельным человеком — тут и загвоздка. Пусть лучше я тебя убью, зато спасу человечество. А это нехорошо, ваше преподобие. И мир до тех пор нехорош будет, пока люди не научатся друг другу верить.

— Пан Биндер, — в раздумье проговорил патер Иошт, — так, может, вы завтра приготовите эту моравскую капусту? Надо попробовать.

— Ее обжаривают, но только немного, и ставят вроде как упревать. И с колбасками — оно вкусно, прямо пальчики оближешь, честно говорю. В каждой вере и в каждой правде что-нибудь доброе да найдется, только бы это доброе каждый признал.

Дверь с улицы отворилась, и в горницу вошел полицейский. Он замерз и зашел пропустить рюмочку рома.

— А, это вы, пан Грушка, — признал вошедшего Брых. — Откуда идете?

— Да с Жижкова, — откликнулся полицейский, снимая огромные рукавицы. — Облава была.

— А кого ловили?

— Двух бродяг. Всякую тварь, словом. Этот дом номер тысяча шесть, подвал то есть, настоящий притон.

— О каком притоне речь? — не понял пан Рейзек.

— Да притон с карбюратором, пан редактор. Стоял там маленький карбюратор от старого, еще довоенного мотоцикла. Вот всякая шваль и повадилась около него оргии устраивать.

— Что же это за оргии?

— Ну, в общем, непорядок. Молятся и поют псалмы: видения, видите ли, у них, пророчествуют, чудесами голову себе забивают, ну всякая такая чушь.

— А это не полагается?

— Не полагается, полицейский запрет наложен. Это ведь, понимаете ли, дело такое — вроде опиума. У нас такой притон и в Старом Месте был. Этих карбюраторных гнезд мы уже семь штук разорили. Всякая шваль туда набивалась. Бродяги бездомные, курвы, личности подозрительные. Оттого и запретили. Непорядок.

— И много еще таких притонов?

— Да нет, по-моему, это был последний карбюратор.

Кракатит

Роман

Перевод
П. АРОСЕВОЙ



I

К вечеру сгустилась мгла ненастного дня. Идешь по улице — словно продираешься сквозь вязкую влажную массу, которая тут же неумолимо смыкается за тобой. Хочется быть дома. Дома, у своей лампы, в коробке из четырех стен. Никогда еще не был ты так одинок.

Прокоп прокладывает себе путь по набережной. Его бьет озноб, от слабости лоб покрыт испариной; Прокоп посидел бы на мокрой скамейке, да придерутся, пожалуй, полицейские. Кажется, он шатается? Ну да, у Староместских мельниц кто-то обошел его стороной, словно пьяного. И Прокоп прилагает все силы, чтобы держаться прямо. Вот навстречу — человек: шляпа надвинута на брови, воротник поднят. Прокоп стискивает зубы, морщит лоб, напрягает все мышцы — лишь бы пройти, не покачнувшись. Но ровно за шаг до прохожего в глазах у пего темнеет, и все вокруг пускается в бешеную пляску; вдруг близко, совсем близко он видит пару цепких г л а з , — они так и вонзились в н е г о , — натыкается на чье-то плечо, выдавливает из себя нечто вроде «извините» и удаляется, судорожно стараясь сохранить достоинство. Сделав несколько шагов, Прокоп останавливается и оборачивается: человек стоит, пристально смотрит ему вслед. Прокоп срывается с места, торопясь уйти; но что-то мешает ему, тянет оглянуться. Ага, тот все еще глядит на него с таким вниманием, что шея высунулась из воротника — как у черепахи. «Пусть с м о т р и т , — встревоженно думает Прокоп. — Больше не оглянусь». И он пошел, изо всех сил стараясь держаться прямо; вдруг — шаги за спиной. Человек с поднятым воротником преследует его. Даже, кажется, бегом. И Прокоп в невыносимом ужасе бросается вперед.

Опять все закружилось. Тяжело дыша, выбивая зубами барабанную дробь, привалился он к дереву и закрыл глаза. Ему было очень плохо, он боялся, что упадет, что разорвется сердце и кровь хлынет горлом. Открыв глаза, прямо перед собой он увидел человека с поднятым воротником.

— Скажите, вы не инженер Прокоп? — видимо, в который уже раз спрашивал человек.

— Я... меня там не было, — попытался Прокоп отрицать что-то.

— Где? — спросил человек.

— Там. — И Прокоп мотнул головой в сторону Страгова. — Что вам надо?

— Неужели не узнаешь? Я ведь Томеш. Томеш из политехнического, забыл?

— Томеш, — повторил Прокоп; ему было совершенно безразлично, кто это такой. — Ну да, Томеш, конечно. А что... что вам от меня надо?

Человек с поднятым воротником подхватил Прокопа под руку.

— Прежде всего тебе надо сесть, понимаешь?

— Да, — согласился Прокоп и позволил отвести себя к скамейке. — Видите ли, я... мне нехорошо, вот что.

Внезапно он вытащил из кармана руку, обвязанную грязной тряпкой.

— Поранился, видите? Проклятая штука.

— А голова не болит?

— Болит.

— Ну, слушай, Прокоп, — сказал человек. — Кажется, у тебя жар. Надо ехать в больницу, понял? Тебе нехорошо, сразу видно. Да постарайся же наконец вспомнить, что мы знакомы! Я — Томеш. Еще на химическом вместе учились. Ну, вспомнил?

— Помню — Томеш, — вяло отозвался Прокоп. — Шкодливый такой. Что с ним случилось?

— Ничего. Он сейчас разговаривает с тобой. Тебе надо в постель, слышишь? Где ты живешь?

— Там, — с усилием выговорил Прокоп, неопределенно мотнув головой. — На... на Гибшмонке.

Тут он попытался встать.

— Я не хочу туда! Не ходите туда! Там... там...

— Что там?

— Кракатит, — шепнул Прокоп.

— А это что?

— Ничего. Не скажу. Туда нельзя никому. А не то-не то...

— Что не то?

— Фффр — бум! — И Прокоп взмахнул рукой.

— Да что же это?

— Кракатоэ. Кра-ка-тау. Вулкан. В-вулкан, понимаете? Мне вот... поранило палец. Не знаю, что

это — Прокоп осекся и медленно добавил: — Страшная штука...

Томеш смотрел на него внимательно, словно ожидая чего-то.

— Значит, — заговорил он после паузы, — ты все еще возишься со взрывчатыми веществами?

— Ну да...

— И успешно?

Из груди Прокопа вырвалось что-то похожее на смешок.

— А тебе хочется узнать, а? Это, брат, не так-то просто. Не... не так-то просто, — повторил он, пьяно качая головой. — Оно, знаешь, само... само собой...

— Что?

— Кра-ка-тит. Кракатит. Крррракатит. И — само собой... Я просто оставил пыль на столе. Все смел вввв — в такую баночку. Осталось то-только чуть-чуть на столе — и... вдруг...

— Взорвалось.

— Взорвалось. Просто налет, щепотка пыли, рассыпал немного. Его и не видно было. Лампочка — далеко, за целый километр. Это не из-за нее. А я — в кресле как колода. Устал, понимаешь. Слишком много работы. И вдруг — тррpах. Меня швырнуло на землю. Выбило окна, лампочку — вдребезги. Детонация, как-как целый патрон лиддита. Стра-страшная взрывная ссила. Я... я сначала думал, лопнула эта фафрораф...форфра...фар-фо-ровая, фафроровая, фафро-ровая, фафро — господи, ну как это, белое такое, ну, изолятор, как это называется? Силикат кремния...

— Фарфор.

— Баночка. Я думал, лопнула та баночка со всем содержимым. Зажег спичку, а она там, цела, а она — целая! Стою столбом, даже спичкой обжегся. И — прочь оттуда, через поле... впотьмах... в Бржевнов, не то в Стршешовице... И-и где-то по дороге мне пришло в голову это слово. Кракатоэ. Кракатит. Кра-ка-тит. Не-не-нет, это было не-не-не так. Когда взорвалось, я полетел на пол, кричу: «Кракатит! Кракатит!» Потом забыл. Кто тут? Вы... вы кто?

— Твой коллега Томеш.

— Ах да, Томеш. Вот паршивец! Лекции выклянчивал. Не вернул мне одну тетрадь по химии. Томеш — а как его звали?

— Иржи.

— Да, вспомнил, Ирка. Ты — Ирка, знаю. Ирка Томеш. Где моя тетрадка? Погоди, я тебе что-то скажу. Если взорвется остальное — дело плохо. Понимаешь — разнесет всю Прагу. Сметет. Сдует — ффффу! Это — если взорвется та фарфоровая баночка.

— Какая баночка?

— Ты — Ирка Томеш, я знаю. Иди в Карлин, в Карлин или на Высочаны и погляди, как взорвется. Беги скорей, скорей!

— Зачем?

— Я ведь изготовил центнер. Центнер кракатита. Нет, кажется, только грамм сто пятьдесят. Он там, в фар-фо-ровой баночке. Если она взорвется... Нет, постой, это невозможно, это какая-то бессмыслица... — бормотал Прокоп, хватаясь за голову.

— Ты о чем?

— По... поче... почему не взорвалось то, что было в баночке? Раз этот просыпанный порошок... сам собой... Погоди, на столе — цин... цинковый лист... лист... Отчего взорвалось на столе? Погоди, сиди тихо, — еле ворочал языком Прокоп. Потом, шатаясь, встал.

— Что с тобой?

— Кракатит, — пробормотал Прокоп, повернулся всем телом и в обмороке рухнул наземь.

II

Первое, что ощутил Прокоп, очнувшись, была тряска — все тряслось, дребезжало, и кто-то крепко держал его за талию. Страшно было открыть глаза — казалось, что-то грохочущее несется прямо на него. Но тряска и дребезжание не прекращались, и Прокоп открыл глаза — перед ним был мутный четырехугольник, за которым проплывали туманные пятна и полосы света. Он не мог объяснить себе, что это такое, и смятенно смотрел на проплывающие мимо, подпрыгивающие призраки, безвольно подчиняясь судьбе. Потом понял: непрестанный грохот — от колес экипажа, а за окошком мелькают в тумане обыкновенные фонари. Утомленный напряженным наблюдением, Прокоп снова сомкнул веки и пассивно отдался движению.

— Сейчас ты ляжешь, — тихо произнес кто-то над его головой, — примешь аспирин, и тебе станет лучше. А утром я приглашу доктора, ладно?

— Кто это? — сонно спросил Прокоп.

— Томеш. Полежишь у меня, Прокоп. Ты весь горишь. Что у тебя болит?

— Всё. Голова кружится. Так, знаешь, кру...

— Лежи смирно. Я вскипячу чаю, а ты пока выспишься. Это от волнения, понимаешь? Просто нервная лихорадка. К утру все пройдет.

Прокоп наморщил лоб, стараясь что-то припомнить.

— Я знаю, — озабоченно сказал он, помолчав. — Слушай, надо выбросить эту баночку в воду. Чтоб не взорвалась.

— Не беспокойся. И не разговаривай.

— А... я, пожалуй, могу сидеть. Тебе не тяжело?

— Нет, лежи, лежи.

— ...А у тебя осталась моя тетрадка по химии, — вдруг вспомнил Прокоп.

— Да, да, я отдам. А теперь — лежи смирно, слышишь?

— Ох, какая у меня тяжелая голова....

Тем временем наемный экипаж громыхал вверх по Ечной улице. Томеш негромко насвистывал какую-то мелодию, поглядывал в окно. Прокоп дышал хрипло, с еле слышным стоном. Туман оседал влагой на тротуары, его слизкая сырость проникала даже под пальто. Было темно и безлюдно.

— Сейчас приедем, — громко произнес Томеш.

Экипаж быстрее задребезжал по площади и завернул направо.

— Погоди, Прокоп, — можешь пройти несколько шагов? Я помогу...

Томеш с трудом втащил своего гостя на третий этаж. А Прокопу казалось, что он совсем легкий, невесомый, и он позволил чуть ли не нести себя по лестнице; но Томеш совсем запыхался, он то и дело вытирал пот.

— Правда, я как перышко? — удивился Прокоп.

— Как бы не так, — буркнул Томеш, еле переводя дух, и отпер свою дверь.

Пока Томеш раздевал его, Прокоп чувствовал себя совсем малым ребенком.

— Моя мамочка... — начал он что-то рассказывать. — Когда моя мамочка, а это уже... это было давно... папа сидел за столом, а мамочка уносила меня в кроватку — слышишь?

Наконец Прокоп в постели, одеяло натянуто до подбородка, но зубы все еще стучат от озноба; он смотрит, как Томеш торопливо растапливает печку. От жалости к себе и от слабости растроганный Прокоп чуть не плакал и без конца лепетал что-то; он успокоился, когда на лоб ему положили холодный компресс. Тогда он стал молча рассматривать комнату; в ней пахло табаком и женщиной.

— А ты безобразник, Томеш, — серьезно проговорил он. — Все-то к тебе девки ходят.

— Ну и что? — повернулся к нему Томеш.

— Ничего. А чем ты, собственно, занимаешься?

Томеш махнул рукой.

— Плохи мои дела, дружище. Денег ни гроша.

— Кутишь?

Томеш покачал головой.

— Знаешь, мне жаль тебя, — сочувственно заговорил Прокоп. — Ты мог бы... Смотри, я работаю уже двенадцать лет.

— А что это тебе дает? — резко возразил Томеш.

— Ну, кое-что перепадает. Вот продал в этом году взрывчатый декстрин.

— За сколько?

— За десять тысяч. Но это так, пустяки. Паршивенькая взрывчатка для шахт. Если бы я захотел...

— Тебе уже лучше?

— Чудесно! Я открыл такие методы... Знаешь, дружище, один нитрат церия — сильный, сволочь! А хлор, хлор, тетрафаза хлористого азота взрывается от света. Зажжешь лампочку — и тррах! Но это ерунда. Слушай, — неожиданно выпалил он, высовывая из-под одеяла худую, страшно изуродованную руку. — Стоит мне взять что-нибудь в руки, и я... чувствую движение атомов. Как мурашки. И каждое вещество щекочет по-своему, понимаешь?

— Нет.

— Это — сила, понимаешь? Сила, заключенная в материи. Материя обладает чудовищной силой. Я... я на ощупь чувствую, что в ней все так и кишит... И сдержи-

вается-то все это... невероятным усилием. Стоит расшатать изнутри, — и бац! — распад. Все — взрыв. Цветок распускается — это взрыв. Любая мысль — это взрыв в мозгу. Вот ты подаешь мне руку, а я чувствую, как в тебе что-то взрывается. Такое у меня тонкое осязание, брат, и слух. Все шумит — как сода в воде. Это все — крошечные взрывы. Ох, как гудит голова! Та-та-та-та — как пулемет.

— Ладно, — сказал Томеш, — А теперь прими аспирин.

— Хорошо. Взры... взрывчатый аспирин. Перхлорированный ацетилсалицилацид. Ерунда. А вот я, знаешь, открыл экзотермические взрывчатые вещества. Собственно, любое тело — взрывчатое вещество. Вода... вода — взрывчатое вещество. Земля... и воздух — тоже взрывчатка. Перо, пух в перине — взрывчатка. Ну, пока это имеет только теоретическое значение. И я открыл атомные взрывы. Я-я-я произвел альфа-взрыв. Все рас-распадается на по-положительные частицы. Термохимии не существует. Де-струк-ция. Деструктивная химия, вот что. Это грандиозная штука, Томеш, с чисто научной точки зрения. У меня дома есть такие таблицы... О, если б у меня были аппараты! Но у меня — только глаза... да руки... Вот погоди, я еще все напишу!

— Тебе спать не хочется?

— Хочется. Я сегодня... немного устал. А ты что делал все эти годы?

— Да ничего. Так, жил.

— Жизнь — взрыв, понимаешь? Рррраз! — человек родился, бац! — рассыпался. А нам-то кажется, что это длится бог знает как долго. Постой, я, кажется, что-то напутал?..

— Нет, все правильно, Прокоп. Быть может, завтра со мной произойдет это самое «бац». То есть если не достану денег. Но это неважно, старина, ты спи.

— Я могу тебе одолжить, хочешь?

— Брось! У тебя нет такой суммы. Быть может, мой отец... — И Томеш махнул рукой.

— Вот как, у тебя еще есть папа! — помолчав, неожиданно мягко произнес Прокоп.

— Есть, как же. Он — врач в Тынице. — Томеш встал, прошелся по комнате. — Жалкое положение, брат, жалкое! Качусь по наклонной плоскости, ну... А ты обо мне не беспокойся. Я уж... что-нибудь да придумаю. Спи!

Прокоп затих. Из-под полуопущенных сек он видел, как Томеш, присев к столику, роется в каких-то бумагах. Так сладко было слушать шелест бумаги и негромкое гудение огня в печке. Человек, склонившийся над столом, подпер голову руками и, казалось, не дышал; а Прокопу мерещилось, что он лежит и видит своего старшего брата, своего брата Иозефа; тот занимается — завтра ему сдавать экзамен по электротехнике... И Прокоп заснул горячечным сном.

III

Ему снилось — он слышит грохот бесчисленных колес. «Какая-то фабрика», — подумал он и побежал вверх по лестнице. И вдруг очутился перед большой дверью, на которой висела стеклянная дощечка с надписью: «Плиний». Он страшно обрадовался и вошел.

— Господин Плиний у себя? — спросил он у барышни за пишущей машинкой.

— Сейчас придет, — ответила она, и к Прокопу подошел высокий бритый человек в куртке и в огромных круглых очках.

— Что вам угодно? — спросил он.

Прокоп с любопытством рассматривал его необычайно выразительное лицо. Лицо истого британца, выпуклый, изборожденный морщинами лоб, на виске — родимое пятно величиной с мелкую монету и подбородок — как у киноактера.

— Вы... вы — простите, вы Плиний?

— Прошу вас, — сказал высокий человек и коротким жестом пригласил Прокопа в свой кабинет.

— Я весьма... это для меня... величайшая честь, — бормотал Прокоп, усаживаясь.

— Что вам угодно? — перебил его высокий человек.

— Я раздробил материю, — объявил Прокоп.

Плиний — ни слова; играет себе стальным ключиком, то и дело опуская за стеклами очков тяжелые веки.

— Дело вот в чем, — торопливо начал Прокоп. — Ввввсе распадается, не правда ли? Материя хрупка. Но я сделаю так, чтобы она распалась мгновенно — бум! Взрыв, понимаете? Вдребезги. На молекулы. На атомы. Но я расщепил и атом.

— Жаль, — задумчиво сказал Плиний.

— Почему? Чего жаль?

— Жаль разрушать что-либо. И атомов жаль. Продолжайте.

— Я... расщепляю атомы. Я знаю, еще Резерфорд... Но его излучение — просто детские игрушки! Пустяки. Надо — en masse[1]. Если хотите, я взбунтую тонну висмута; он раз-разнесет весь мир, но это неважно. Хотите?

— Зачем вам это нужно?

— А это... интересно с научной точки зрения, — опешил Прокоп. — Погодите, как бы вам... понимаете, ведь это не-ве-ро-ятно интересно. — Он схватился за голову. — Постойте, у меня трещит голо-ва; с научной точки зрения... это будет... чрезвычайно интересно, правда? Сейчас, сейчас я вам все объясню, — с облегчением воскликнул он. — Динамит — динамит рвет материю на куски, на глыбы, а бензолтрноксозонид дробит ее в порошок; отверстие пробивает небольшое, зато дррррробит материю на-на-на субмикроскопические пылинки, понимаете? Все дело в скорости взрыва. Материя не успевает расступиться; не успевает даже раз-раздвинуться, разорваться, понимаете? А я... я уууувеличил скорость взрыва. Аргонозонид. Хлораргоноксозонид. Тетраргон. И все дальше, дальше. Тогда уж и воздух не успевает расступиться; он такой же упругий, как... как стальная пластина. И рвется на молекулы. И все дальше, дальше... И вдруг, по достижении определенной скорости, взрывная сила начинает чудовищно возрастать. Растет... в геометрической прогрессии. Я смотрю как дурак. Отчего это? Откуда, откуда, откуда берется вдруг эта энергия? — лихорадочно вопрошал Прокоп. — Ответьте!

— Вероятно, она заключена в атоме, — предположил Плиний.

— Ага! — победоносно воскликнул Прокоп, отирая пот со лба. — Вот в чем загвоздка! Очень просто — в атоме. Атомы как бы... сталкиваются друг с другом, и... ссссрывают бета-оболочку... и ядро должно расщепиться. Это — альфа-взрыв. Знаете, кто я? Я — первый человек, преодолевший коэффициент сцепления, сударь. Я открыл атомные взрывы. Я... выбил из висмута тантал. Слушайте, знаете ли вы, сколько энергии в одном грамме ртути? Четыреста

[1] в массовом масштабе (*франц.*).

шестьдесят два миллиона килограммометров. Материя обладает потрясающей силой. Материя — это полк, который топчется на месте: ать-два, ать-два. Но подайте ему нужную команду — и полк рванется в атаку, en avant! [1] Это и есть взрыв, понимаете? Урра!

Прокоп осекся от собственного крика; в голове стучало так, что он перестал воспринимать окружающее.

— Простите, — сказал он, чтобы скрыть смущение, и трясущейся рукой нащупал портсигар. — Курите?

— Нет.

— Древние римляне уже курили, — заверил его Прокоп и открыл портсигар; в нем лежали тяжелые патроны. — Возьмите, — стал уговаривать он Плиния, — это легкие сигары «экстра нобель».

С этими словами он скусил кончик тетрилового патрона и стал искать спичку.

— Все это чепуха, — снова заговорил он, — а известно вам, что есть взрывчатое стекло? Жаль. Слушайте, я могу сделать для вас взрывчатую бумагу. Напишите письмо, кто-нибудь бросит его в огонь, и — ррраз! — весь дом в клочья. Хотите?

— К чему? — спросил Плиний, подняв брови.

— Просто так. Сила должна вырваться на свободу. Я вам скажу одну вещь. Вот если вы станете ходить по потолку вниз головой — что получится? Прежде всего я плюю на теорию валентности. Все можно сделать. Слышите, потрескивает за стеной? Это растет трава: маленькие взрывы. Каждое семечко — самовзрывающийся капсюль. Пффф — как ракета. А эти болваны воображают, будто нет никакой тавтомерии. Я им покажу такую меротропию, что они обалдеют. И все только на основании лабораторных работ, сударь!

Прокоп с ужасом чувствовал, что несет околесицу. Желая поправиться, он все быстрее молол языком, перескакивая с пятого на десятое. Плиний серьезно кивал головой; он даже раскачивался всем телом, все сильнее и сильнее, словно кланялся. Прокоп бормотал путаные формулы и не мог остановиться, не мог оторвать взгляда от Плиния, а тот раскачивался все быстрее и быстрее, как заведенный. Пол поплыл у Прокопа из-под ног, начал вздыматься.

---

[1] вперед! (*франц.*)

— Перестаньте же наконец! — в ужасе закричал Прокоп и проснулся. Вместо Плиния он увидел Томеша — тот не оборачиваясь от стола, проворчал:

— Не кричи, пожалуйста.

— Я не кричу, — сказал Прокоп и закрыл глаза. В голове часто, болезненно стучал пульс.

Ему казалось — он летит, по крайней мере, со скоростью света; как-то странно сжималось сердце. «Это просто — сплющивание Фитцджеральд-Лоренца, — сказал он себе. — Я должен стать плоским, как блин». Вдруг впереди ощетинились необъятные стеклянные грани; нет, это просто бесконечные, гладко отшлифованные плоскости, пересекающие друг друга и образующие острые углы, как у кристаллографических моделей; и вот его несет с ужасающей быстротой прямо на одну из этих граней... «Осторожнее!» — крикнул он сам себе, потому что через тысячную долю секунды он грохнется об эту грань и разобьется; но тут же его молниеносно отбросило назад, прямо на острие гигантского обелиска; отраженный от него, как луч света, он рухнул на гладкую стеклянную стену — и вот скользит по ней, вниз, вниз, со свистом скатывается в какой-то острый угол, бешено извивается меж его сходящихся стен, и опять его швырнуло назад, неизвестно на что, и опять кинуло куда-то — он падает лицом на острую грань, но в последнюю секунду его подбрасывает вверх; сейчас он размозжит голову об эвклидову плоскость бесконечности, но вот он уже стремительно срывается вниз, вниз, во тьму; резкий толчок, болезненное сотрясение всего тела, но он тотчас поднимается и бросается бежать. Мчится по лабиринту и слышит сзади топот погони; проход все уже, он спотыкается, стены сдвигаются страшным, неотвратимым движением; Прокоп делается тонким, как шило; еле переводя дух, мчится он в диком ужасе, стараясь пробежать это место, пока стены его не раздавили. С грохотом сомкнулся за ним каменный проход, а сам он стремглав полетел в бездну, вдоль отвесной стены, от которой веет ледяным холодом. Страшный удар, и он теряет сознание; очнувшись, Прокоп увидел себя в черной тьме; он шарит руками по ослизлым каменным стенам, зовет на помощь — но с губ его не срывается ни единого звука: такая здесь тьма.

Дрожа от ужаса, он бредет, спотыкаясь, по дну пропасти; вот нашарил боковой туннель, бросился туда; это не

туннель, а скорее лестница — наверху, бесконечно далеко, светится маленькое отверстие, как в шахте; и он бежит вверх по несчетным, страшно крутым ступеням; но там, наверху — всего лишь маленькая площадка, легкая металлическая платформа, она дребезжит и сотрясается под ногами, повиснув над головокружительной глубиной, и вниз ведет нескончаемая винтовая лестница с железными ступеньками. А он уже слышит позади тяжелое дыхание преследователей. Вне себя от ужаса устремился он вниз, кругами, по винтовой лестнице, а сзади гремит железом, громыхает разъяренная толпа врагов. Вдруг лестница обрывается в пустоту. Прокоп взвыл, раскинул руки и, все еще кружась, полетел в бездну. Голова его пошла кругом, он уже ничего не видит и не слышит; ноги плохо повинуются ему, но он бежит, не зная куда, гонимый страшным слепым инстинктом — добежать куда-то, пока не поздно. Все быстрее, быстрее его бег по бесконечному сводчатому коридору, временами мелькает семафор, на котором выскакивают по очереди цифры: 17, 18, 19. Вдруг он понял, что бежит по кругу, а цифры — это количество кругов, которые он пробежал: 40, 41... Стало невыносимо жутко, что он опоздает, не выберется отсюда; он помчался с бешеной скоростью, со свистом рассекая воздух — семафор замелькал, как телеграфные столбы в окне экспресса; еще, еще быстрей! Семафор уже не мелькает, стоит на месте, с молниеносной быстротой отсчитывая тысячи и десятки тысяч кругов, и нигде нет выхода из этого коридора, а на вид он — прямой и гладкий, как гамбургский туннель, и все же замыкается в круг; Прокоп рыдает от отчаяния; это — вселенная Эйнштейна, а мне надо дойти, пока не поздно! Вдруг — леденящий вопль, и Прокоп замер: это голос отца, кто-то убивает его; Прокоп ринулся вперед еще быстрее, семафор исчез, сделалось темно; Прокоп шарит по стенам — вот нащупал запертую дверь; за дверью слышатся отчаянные крики и грохот переворачиваемой мебели. Ревя от ужаса, Прокоп впивается ногтями в дверь, колотит, царапает; расщепил ее, разбросал по щепочке и обнаружил за ней знакомую лестницу, которая каждый день приводила его домой, когда он был маленький; а наверху хрипит отец, кто-то душит его, колотит об пол. С криком взлетает Прокоп по лестнице; вот знакомые сени, он видит кувшин и мамин хлебный ларь, дверь в кухню приот-

ворена, и там, за дверью, храпя, молит отец, чтобы его не убивали; кто-то бьет его головой оземь; Прокоп хочет броситься на помощь, но какая-то слепая, безумная сила заставляет его бегать здесь, в сенях, кругами, кругами, все быстрее, и заливаться, захлебываться смехом — а там, в кухне, утихают придушенные стоны отца. И не в силах вырваться из заколдованного круга, все ускоряя свой бег, Прокоп рычит от ужаса в припадке безумного хохота.

Он снова проснулся, весь в поту, не в силах унять дрожь; Томеш стоял у его изголовья и клал новый холодный компресс на пылающий лоб.

— Как хорошо, как хорошо, — пробормотал Прокоп. — Я больше не буду спать.

И он тихо лежит, глядя на Томеша, который снова уселся у лампы. «Ирка Томеш, — вспоминал Прокоп, — постой, и еще Дурас, и Гонза Бухта, Судик, Судик, Судик, кто же еще? Судик, Трлица, Трлица, Пешек, Иованович, Мадр, Голоубек — тот, что носил очки, — вот и весь наш курс на химическом отделении. Господи, а этот — кто? Ах да, это Ведрал, он погиб в шестнадцатом году, а сзади него сидят Голоубек, Пацовский, Трлица, Шеба — весь курс». И тут он вдруг услышал: «Прокоп — на коллоквиум».

Прокоп страшно перепугался. На кафедре сидит профессор Вальд, по привычке теребя бородку сухонькой ручкой.

— Скажите, — спрашивает профессор Вальд, — что вы знаете о взрывчатых веществах.

— Взрывчатые вещества... взрывчатые вещества... — нервно начинает Прокоп. — Их взрывная сила происходит от того, что мгновенно расширяется газ, который развивается из гораздо меньшего объема взрывной массы... Простите, это неверно.

— Почему? — строго спрашивает Вальд.

— Я-я-я открыл альфа-взрывы. Дело в том, что взрыв происходит вследствие распада атома. Частицы атома разлетаются... разлетаются...

— Чепуха, — перебивает его профессор. — Нет никаких атомов.

— Есть, есть, есть, — настаивает Прокоп. — Пожалуйста, я до-докажу...

— Устаревшая теория, — ворчит профессор. — В природе не существует атомов, есть только гуметаллы. Вы знаете, что такое гуметалл?

Прокоп покрылся испариной от страха. В жизни он не слышал этого слова. Гуметалл?

— Не знаю, — подавленно прошептал он.

— Вот видите, — сухо произнес Вальд. — А еще осмеливаетесь являться на коллоквиум. Что вы знаете о кракатите?

Прокоп остолбенел.

— Кракатит, — беззвучно сказал он, — это... это совсем новое взрывчатое вещество, которое... которое до сих пор...

— Как оно взрывается? От чего? От чего происходит взрыв?

— От волн Герца, — с облегчением выговорил Прокоп.

— Откуда вам это известно?

— Потому что он взорвался у меня сам собой. Потому... потому что не было никакого другого импульса. И потом...

— Ну?

— ...его син-синтез... удался при вы-вы-высокочастотной осцилляции. Это до сих пор не вы-вы-выяснено, но я думаю, что... что там были какие-нибудь электромагнитные волны.

— Были. Я знаю. А теперь напишите на доске химическую формулу кракатита.

Прокоп взял кусочек мела и нацарапал на доске свою формулу.

— Прочитайте.

Прокоп вслух произнес формулу. Тогда профессор Вальд встал и заговорил совсем другим голосом:

— Как? Как?

Прокоп повторил.

— Тетраргон? — быстро переспросил профессор. — Плюмбум[1] сколько?

— Два.

— Как это делается? — до странности близко спросил голос. — Процесс? Как это делается? Как?.. Как делается кракатит?

Прокоп открыл глаза. Над ним склонялся Томеш, с карандашом и блокнотом в руке он, затаив дыхание, следил за губами Прокопа.

[1] Свинец (*лат.*).

— Что? — обеспокоенно пробормотал тот. — Что тебе надо? Как это делается?

— Тебе что-то приснилось, — сказал Томеш, пряча блокнот за спину. — Спи, дружище, спи.

IV

«Кажется, я что-то выболтал», — отметилось в наиболее ясном уголке Прокопова мозга; а впрочем, ему было в высшей степени безразлично; хотелось спать, спать без конца. Привиделся турецкий ковер, его узоры беспрестанно смещались, сливались, принимали новые очертания. За этим ничего не крылось, и все-таки зрелище почему-то раздражало; и во сне Прокопу страстно захотелось еще раз увидеть Плиния. Он старался вызвать его образ, но вместо Плиния выплыло отвратительное осклабившееся лицо, оно скрежетало желтыми съеденными зубами, зубы крошились, и лицо выплевывало их по кусочкам. Прокоп пожелал избавиться от этого видения; в голову пришло слово «рыбак» — и вот появился рыбак над серой водой, в сети бились рыбы; Прокоп сказал себе «строительные леса» — и действительно увидел леса, подробно, до последней скобы и скрепы. Долго он забавлялся тем, что выдумывал слова и рассматривал их образное воплощение; но настал момент, когда он никакими усилиями не мог больше припомнить ни одного слова, ни одного предмета. Тщетно он бился, обливаясь холодным потом в ужасе от собственного бессилия. «Надо действовать методически, — решил он. — Начну сначала или я погиб!» Посчастливилось вспомнить слово «рыбак», но вместо рыбака ему предстала пустая глиняная бутыль из-под керосина; это было страшно. Он сказал «стул», но с удивительной четкостью увидел фабричный просмоленный забор, под которым росли жалкие кустики поникшей, запыленной травы и валялись ржавые обручи. «Это сумасшествие, — подумал он с леденящей отчетливостью. — Это, господа, типичное помешательство, гиперфабула угонги дугонги Дарвин». Этот термин неизвестно почему показался ему невероятно смешным. Прокоп разразился громким, захлебывающимся хохотом — и проснулся.

Он был весь в поту, одеяло сбилось к ногам. Лихорадочным взглядом окинул он Томеша, который торопливо

ходил по комнате, швыряя какие-то вещи в чемодан, но не узнал его.

— Послушайте, послушайте, — начал Прокоп, — это ужасно смешно, послушайте, — да погодите же, вы должны, послушайте...

Он хотел как анекдот преподнести тот странный научный термин и смеялся заранее; но никак не мог вспомнить его и, рассердившись, замолчал.

Томеш надел ульстер, нахлобучил шапку; уже взяв в руку чемоданчик, заколебался, подсел на кровать к Прокопу.

— Слушай, старина, — озабоченно сказал он, — мне сейчас надо уехать. К папе, в Тынице. Если он не даст мне денег — я не вернусь, понимаешь? Но ты не волнуйся. Утром зайдет привратница, она приведет доктора, ладно?

— Который час? — равнодушно спросил Прокоп.

— Четыре.... Пять минут пятого. Скажи... тебе ничего не надо?

Прокоп закрыл глаза, решив не интересоваться больше ничем на свете. Томеш заботливо укрыл его, и снова стало тихо.

Вдруг Прокоп широко открыл глаза. Он увидел над собой незнакомый потолок, по карнизу бежал незнакомый орнамент. Протянул руку к своему ночному столику — рука повисла в пустоте. Испуганно повернул голову и вместо своего широкого лабораторного стола увидел чей-то чужой столик с лампочкой. Там, где было окно, стоит шкаф; на месте умывальника — какая-то дверь. Все это совсем сбило его с толку; не в силах понять, что с ним происходит и где он очутился, он, преодолевая головокружение, сел на кровати. Постепенно сообразил, что он не дома, но не мог вспомнить, как сюда попал.

— Кто тут? — громко спросил наобум, с трудом ворочая языком.

— Пить! — помолчав, добавил он. — Пить!

Тягостная тишина. Прокоп поднялся с постели и, пошатываясь, отправился искать воду. На умывальнике нашел графин и жадно припал к нему; на обратном пути к кровати ноги его подкосились, и он сел на стул, не в состоянии двигаться дальше. Сидел он, наверное, очень долго и совсем замерз, потому что облился водой из графина; ему стало очень жаль себя — вот попал бог знает куда и

даже до постели добраться не может, и так он одинок, так беспомощен... и Прокоп расплакался по-детски, навзрыд.

Выплакавшись, он почувствовал, что в голове у него прояснилось. Он даже смог добраться до постели и улегся, стуча зубами; едва согревшись, уснул обморочным сном без сновидений.

Когда он проснулся, шторы были подняты, за окном стоял серый день и в комнате немного прибрали; он не мог сообразить, кто это сделал, зато помнил вчерашний взрыв, Томеша и его отъезд. Отчаянно трещала голова, давило грудь и зверски терзал кашель. «Плохо дело, — сказал себе Прокоп, — очень плохо; надо бы домой да в постель». Он встал и начал медленно одеваться, то и дело отдыхая. Какая-то страшная тяжесть сжимала грудь. Одевшись, посидел, трудно дыша, безразличный ко всему.

И тут коротко, нежно звякнул звонок. Прокоп с трудом поднялся, пошел отворять. В коридоре у порога стояла молодая женщина; вуаль закрывала ее лицо.

— Здесь живет... пан Томеш? — смешавшись, поспешно спросила она.

— Прошу вас. — Прокоп отступил, пропуская ее; и когда она, немного нерешительно, прошла совсем близко, на Прокопа повеяло едва ощутимым, тонким ароматом; он с наслаждением вдохнул его.

Усадив гостью у окна, он сел напротив, изо всех сил стараясь держаться прямо. Он чувствовал — от этого он кажется строгим и чопорным, что внушало крайнюю неловкость и ему самому и девушке. Она сидела, потупившись, и кусала губы под вуалью. О нежное, тонкое лицо, о руки — маленькие и неспокойные! Внезапно она подняла глаза, и Прокоп затаил дыхание, пораженный: такой прекрасной она ему показалась.

— Пана Томеша нет дома? — спросила гостья.

— Томеш уехал, — нерешительно ответил Прокоп. — Уехал сегодня ночью, мадемуазель.

— Куда?

— В Тынице, к отцу.

— А он вернется?

Прокоп пожал плечами.

Девушка склонила голову, руки ее беспокойно задвигались, словно борясь с чем-то.

— Он сказал вам, почему... почему...

— Сказал.

— И вы думаете — он это сделает?

— Что именно, мадемуазель?

— Застрелится...

Молнией блеснуло в памяти — он видел, как Томеш укладывает револьвер в чемодан. «Быть может, завтра со мной произойдет это самое — «бац», — процедил тогда Томеш. Прокоп не хотел рассказывать об этом девушке, но выражение лица, вероятно, выдало его.

— О боже, боже! — воскликнула девушка. — Это ужасно! Скажите, скажите...

— Что?

— Не может ли... не может ли кто-нибудь поехать к нему? Если бы кто-нибудь ему сказал... передал... Тогда ему не нужно будет этого делать, понимаете? Если бы кто-нибудь поехал к нему сегодня же...

Прокоп не отрывал глаз от ее рук, которые она сжимала в отчаянии.

— Я поеду, мадемуазель, — тихо сказал он. — Кстати... я собираюсь, кажется, в те края. И если хотите, я...

Девушка подняла голову.

— Нет, правда? — радостно воскликнула она. — Вы можете?

— Видите ли... Я его старый... старый товарищ, — объяснил Прокоп. — И если вам надо передать ему что-нибудь... или послать — я с удовольствием.

— Господи, какой вы хороший! — одним дыханием произнесла она.

Прокоп слегка порозовел.

— Пустяки, — возразил он. — Просто случайное совпадение... я сейчас как раз свободен и все равно собирался куда-нибудь поехать... и вообще. — Смутившись, он махнул рукой. — Не стоит и говорить. Я сделаю все, что вы хотите.

Девушка покраснела и поспешно отвела взгляд.

— Прямо не знаю, как вас... благодарить, — смущенно сказала она. — Мне так неудобно... Но это очень важно, и потом, ведь вы его друг... Не думайте, что это для меня... — Она превозмогла смущение и устремила на Прокопа чистые прекрасные глаза. — Я должна передать ему одну вещь от другого человека. Я не могу вам сказать...

— И не надо, — быстро вставил Прокоп. — Я передам, вот и все. Я так рад, что могу вам... что могу ему... А на

улице дождь? — внезапно спросил он, взглянув на ее мокрую горжетку.

— Дождь.

— Это *хороню*, — заметил Прокоп; на самом деле он просто подумал, как приятно было бы охладить лоб, если бы он посмел прижаться к ее горжетке.

— У меня нет с собой этой вещи, — сказала гостья, вставая. — Просто маленький сверточек. Не могли бы вы подождать... я принесу через два часа.

Прокоп поклонился, как деревянный, боясь потерять равновесие. В дверях она обернулась и пристально взглянула на него.

— До свидания, — и исчезла.

Прокоп сел и закрыл глаза. Дождевая роса на горжетке, густая, вся в каплях вуаль; тихий голос, аромат, беспокойные руки в тесных, крохотных перчатках; прохладный аромат, ясные глаза под красивыми, четкими бровями — от их взгляда кружится голова. Мягкие складки юбки на круглых коленях, руки, маленькие ручки в тесных перчатках... Аромат, глухой, дрожащий голос, личико нежное, побледневшее... Прокоп закусил дрожащие губы. Грустная, смятенная, отважная. Серо-голубые глаза, глаза чистые, ясные. О боже, боже, как льнула вуаль к ее губам!

Прокоп застонал, открыл глаза. Это — девчонка Томеша, — сказал он себе в слепой ярости. Знала, куда идти, она здесь не впервые. Быть может, здесь... здесь, в этой комнате... — В невыносимой муке Прокоп впился ногтями в ладони. — А я, дурак, навязываюсь ехать к нему! Я, дурак, повезу ему письмецо! И что... что мне за дело до нее?

Тут его осенила спасительная идея. Сбегу домой, в свою лабораторию, в свой домишко на холме! А она пусть явится... пусть делает, что хочет! Пусть... пусть... пусть едет к нему сама, если... если ей это так важно...

Он окинул взглядом комнату; увидев смятую постель, Устыдился, застелил ее, как привык делать дома. Потом ему показалось, что получилось неважно — начал перестилать, приглаживать, а там и за все принялся, убрал Комнату, попытался покрасивее уложить складки гардин; потом сел ждать — а голова кружилась, и грудь раздирало давящей болью.

V

Ему мерещилось, что он идет по бескрайнему огороду; вокруг — одни капустные кочаны, только это не кочаны, а ухмыляющиеся, облезлые, гнусавые, блеющие, чудовищные, водянистые, прыщавые, лупоглазые человеческие головы; они растут на тощих кочерыжках, и по ним ползают отвратительные зеленые гусеницы.

И через огород бежит к нему девушка — лицо ее закрыто вуалью; слегка приподнимая юбку, она перепрыгивает через человеческие головы. Но из-под каждой вырастают голые, тощие, мохнатые руки, они хватают девушку за ноги, за юбку. Девушка кричит в беспредельном ужасе, еще выше поднимает юбку, выше округлых колен, обнажая белые ноги, старается перескочить через эти цепкие руки. Прокоп закрывает глаза; он не может видеть ее белых крепких ног и сходит с ума от страха, что эти зеленые головы надругаются над девушкой. Он бросается наземь и срезает перочинным ножом первую голову — та визжит по-звериному, щелкает гнилыми зубами, стараясь укусить его за руку. Теперь вторую, третью... господи Иисусе, когда же он выкосит это огромное поле, чтобы добраться до девушки, которая сражается с головами там, на другом конце бесконечного огорода? И он вскакивает в бешенстве, топчет ужасные головы, пинает, давит ногами; его ноги запутались в тонких, присасывающихся лапках, он падает, его схватили, рвут, душат — и все исчезает...

Все исчезает в головокружительном вихре. И вдруг, совсем близко, раздается глуховатый голос: «Я принесла пакет...» Он вскочил, открыл глаза: перед ним стоит служанка с Гибшмонки, косоглазая, беременная, с мокрым от стирки животом, и подает ему что-то, завернутое в мокрую тряпку. «Это не она», — замирает с болью сердце Прокопа; вдруг появляется высокая грустная продавщица, она деревянными распорочками растягивает для него перчатки. «Не она!» — кричит Прокоп и тут же видит опухшего ребенка на рахитичных ножках, и этот ребенок... этот ребенок бесстыдно предлагает ему себя! «Иди прочь!» — вскрикивает Прокоп, и перед его глазами возникает кувшин, брошенный посреди грядок увядшей, объеденной улитками капусты — видение это не исчезает, несмотря на все его усилия.

Но тут тихонько, как теньканье птички, звякнул звонок. Прокоп кинулся открыть; на пороге стоит девушка в вуали, прижимает к груди пакет и тяжело переводит дыхание.

— Это вы, — негромко сказал Прокоп, почему-то глубоко тронутый.

Девушка вошла, задев его плечом; на Прокопа снова пахнуло мучительно-пьянящим ароматом.

Она остановилась посреди комнаты.

— Прошу вас, не сердитесь, — тихо и как-то торопливо заговорила она, — не сердитесь, что я дала вам такое поручение. Вы даже не знаете, почему... почему я... Но если это в какой-то степени затруднительно...

— Я поеду, — хрипло выговорил Прокоп.

Девушка устремила на него свои серьезные чистые глаза.

— Не думайте обо мне дурно. Я только боюсь, как бы пан... как бы ваш друг не совершил чего-нибудь, что могло бы потом до гроба мучить другого человека. Я так верю вам... Вы его спасете, правда?

— С огромным удовольствием, — воскликнул Прокоп каким-то чужим, неверным голосом, настолько опьяняло его восхищение. — Мадемуазель, я... все, что вам угодно...

Он отвел глаза — боялся, что сболтнет лишнее, что она услышит, как стучит его сердце, и стыдился своей неуклюжести. Его смятение передалось девушке; она вспыхнула, не зная, куда девать глаза.

— Благодарю, благодарю вас, — начала она тоже каким-то неуверенным голосом, а руки ее судорожно мяли запечатанный пакет.

Настала тишина, от которой у Прокопа сладко и мучительно закружилась голова. Мороз пробежал у него по спине, когда он почувствовал, что девушка украдкой изучает его лицо; но, внезапно взглянув на нее, Прокоп увидел, что она потупилась, чтобы не встретиться с ним взглядом. Он понимал — надо что-то сказать, чтобы спасти положение, но только беззвучно двигал губами и трепетал всем телом.

Наконец девушка шевельнула рукой, шепнула:

— Вот пакет...

Прокоп совсем забыл, зачем он все время прячет руку за спиной, и протянул ее к пакету. Девушка, побледнев, отшатнулась.

— Вы ранены! — вырвалось у нее. — Покажите...

Прокоп быстро убрал руку.

— Пустяки, — поспешно заверил он. — Просто... просто немного воспалилась... воспалилась маленькая ранка... понимаете?

Девушка, все еще бледная, втянула в себя воздух сквозь зубы, словно сама ощутила его боль.

— Почему вы не идете к доктору? — воскликнула она. — Вы никуда не можете ехать! Я... я пошлю когонибудь другого.

— Она уже *заживает*, — запротестовал Прокоп, словно у него отнимали самое дорогое. — Честное слово, все уже... почти в порядке, просто царапинка, и вообще глупости, почему бы мне не поехать? И потом, мадемуазель, в таком деле... Ведь не можете вы послать постороннего, правда? Да она и не болит, смотрите. — И он тряхнул рукой.

Девушка сдвинула брови в строгом сострадании.

— Вам нельзя ехать! Почему вы мне не сказали? Я... я не позволю! Я не хочу...

Прокоп почувствовал себя глубоко несчастным.

— Послушайте, мадемуазель, — горячо заговорил он. — Ей-богу, это ерунда; я привык. Вот смотрите. — И он показал ей левую руку, на которой не хватало почти целого мизинца, а на суставе указательного пальца вздулся узловатый шрам. — Такое уж мое ремесло! — Он не заметил, что девушка отступила, что губы ее побелели, что она смотрит на широкий шрам, пересекающий его лоб от глаза к виску. — Раздается взрыв, вот и все; я как солдат. Поднимаюсь — и снова в атаку, понимаете? Ничего со мной не случится. Ну, давайте!

Он взял у нее пакет, подбросил и снова поймал.

— И не беспокойтесь! Поеду, как барин. Я, видите ли, давно уже нигде не бывал. Вы знаете Америку?

Девушка молча смотрела на него и хмурила брови.

— Пусть говорят, что существуют новые теории, — лихорадочно болтал Прокоп. — Погодите, я им еще докажу, когда закончу расчеты. Жаль, вы в этом не разбираетесь; вам я рассказал бы, вам я верю, вам — верю, а ему — нет. Не верьте ему, — настойчиво попросил он. — Остерегайтесь его! Вы так прекрасны! — восторженно выдохнул он. — Там, на холме, я никогда ни с кем не разговариваю. Это просто деревянный домишко, знаете?

Ха, ха, как вы боялись этих голов! Но я вас в обиду не дам, будьте уверены; не бойтесь. Я вас не дам...

Ее глаза расширились от испуга.

— Вы не можете ехать!

Прокоп стал грустным и сразу обмяк.

— Нет, не слушайте меня. Я наболтал чепухи, правда? Просто я хотел, чтобы вы не думали больше о моей руке. И не боялись. Теперь все прошло.

Он превозмог волнение, сдержанный и хмурый от усилия сосредоточиться.

— Я поеду в Тынице и найду Томеша. Отдам ему этот пакет и скажу, что его послала девушка, которую он знает. Правильно?

— Да, — нерешительно отозвалась она, — но вы не можете...

Прокоп попытался просительно улыбнуться, и вдруг его тяжелое, все в шрамах лицо стало почти прекрасным.

— Не надо, — тихо сказала он. — Ведь это... это — для вас.

Девушка заморгала: Прокоп тронул ее до слез. Она молча кивнула, подала руку. Он поднял свою обезображенную левую; она взглянула на нее с любопытством и крепко пожала.

— Я так вам благодарна! — быстро проговорила о н а . — Прощайте.

На пороге девушка остановилась, словно хотела сказать еще что-то; сжимая ручку двери, ждала...

— Передать... ему... привет? — с кривой усмешкой осведомился Прокоп.

— Нет, не надо. — И она быстро взглянула на него. — До свиданья.

Дверь захлопнулась. А Прокоп все смотрел на нее, вдруг ему стало смертельно тяжко, от слабости голова пошла кругом, каждый шаг стоил ему неимоверных усилий.

VI

На вокзале пришлось прождать полтора часа. Прокоп сидел в коридоре, дрожа от холода. В раненой руке пульсировала жгучая боль; он закрывал глаза, и тогда ему казалось, что больная рука растет, вот она стала величиной с голову, с тыкву, с бак для белья, и этот огромный

ком живого мяса горит и дергается. Вдобавок его мутило от слабости и на лбу все время выступал холодный пот. Прокоп не решался смотреть на грязный, заплеванный, покрытый слякотью пол, чтобы не стошнило. Он поднял воротник и впал в полудремоту, постепенно поддаваясь глубокому безразличию. Ему казалось — он снова солдат и, раненный, лежит в широком поле. Где же сейчас ведут бой товарищи? Тут в сознание его ворвался резкий звон, и кто-то крикнул: «Посадка на поезд Тынице — Духцов — Молдава!»

Но вот он уже в вагоне, и его обуяло безудержное веселье, словно он кого-то перехитрил, от кого-то убежал. «Теперь-то, брат, я уж поеду в Тынице, и ничто меня не задержит!» Едва не расхохотавшись от радости, он удобно уселся и с повышенным оживлением стал разглядывать своих попутчиков. Напротив сидел человек с тонкой шеей, — видимо, портняжка, — худая смуглая женщина и еще человек со странно невыразительным лицом; рядом с Прокопом поместился очень толстый господин. У него было такое брюхо, что он никак не мог сдвинуть колени. За ним, кажется, был еще кто-то, по это неважно. Прокопу нельзя смотреть в окно — от этого кружится голова. Ратата-ратата-ратата — взрывается поезд, все дребезжит, стучит, сотрясается в торопливом беге. Голова портняжки мотается из стороны в сторону, черная прямая женщина как-то странно, словно она деревянная, подскакивает на месте, невыразительное лицо третьего спутника дрожит и мелькает, как в плохо снятом фильме. А толстый сосед — просто груда желе, оно колышется, подрагивает, трясется, и это необычайно смешно. «Тынице, Тынице, Тынице, — скандирует Прокоп в такт колесам. — Скорее! Скорее!» От стремительного движения в поезде стало тепло, даже душно, Прокоп вспотел; теперь у портняжки две головы на двух тощих шеях, обе они вздрагивают и дребезжат, стукаясь друг о друга. Черная женщина насмешливо и оскорбительно подскакивает на сиденье; она нарочно притворяется деревянной куклой. Невыразительное лицо исчезло; там сидит теперь одно туловище, безжизненно сложив руки на коленях; руки подскакивают, как у мертвого, а головы нет.

Прокоп собирает последние силы, чтобы увидеть все по-настоящему; он щиплет себя за ногу, но ничто не помогает, туловище по-прежнему без головы и пассивно

подчиняется толчкам поезда. От этого Прокопу становится нестерпимо жутко; он толкает локтем толстого соседа, но тот колышется студнем, и Прокопу кажется, что его толстое тело беззвучно хохочет над ним. Он не может больше выносить это, оборачивается к окну, но там неожиданно видит человеческое лицо. Сначала он не понял, в чем странность этого лица, и долго всматривался, пока не узнал другого Прокопа, который вперил в него пристальный взгляд. «Чего он хочет? — внутренне содрогнулся Прокоп. — Господи, неужели я забыл пакет у Томеша?» Он быстро ощупал карманы, в грудном нашел сверток. Лицо в окне усмехнулось, и Прокопу стало легче. Он даже отважился взглянуть на обезглавленное туловище, — и что же? — оказалось, человек просто спрятал голову под висящее пальто и спит, укрывшись. Прокоп сделал бы то же самое, но боится, как бы кто не вытащил у него запечатанный конверт. И все же сон одолевает его, Прокоп несказанно устал; никогда он не думал, что можно так устать. Он задремал, ошалело вырвался из дремоты и снова стал засыпать. У черной женщины одна подскакивающая голова на плечах, другую она обеими руками держит на коленях; а вместо портняжки сидит пустой костюм, и из ворота высовывается фарфоровая головка манекена. Прокоп заснул, но внезапно очнулся в твердой уверенности, что он уже в Тынице — может быть, кто-то крикнул об этом за окном, потому что поезд стоит.

Он выбежал из вагона и увидел, что наступил вечер; два-три человека сошли на маленькой, скупо освещенной станции, за которой лежит неизведанная туманная тьма. Прокопу сказали, что до Тынице надо ехать в почтовой тележке, если только еще осталось место. Почтовая тележка представляла собой просто козлы и сзади них — небольшой ящик для посылок; на козлах уже сидел почтарь и какой-то пассажир.

— Пожалуйста, подвезите меня до Тынице, — сказал Прокоп.

Почтарь очень грустно покачал головой.

— Де могу, — не сразу ответил он.

— Но... почему же?

— Места нет, — резонно объяснил тот.

На глазах Прокопа от жалости к себе навернулись слезы.

— А далеко ли... пешком?

Почтарь, полный участия, подумал.

— Да около часу ходьбы.

— Но я... не могу идти! Мне надо к доктору Томешу, — возразил удрученный Прокоп.

Почтарь подумал еще.

— Вы... стало быть, пациент?

— Мне очень плохо, — пробормотал Прокоп; и действительно, он весь дрожал от слабости и холода.

Опять почтарь задумался и опять покачал головой.

— Да ведь никак не могу, — наконец произнес он.

— Я умещусь, я... мне бы только маленькое местечко, я...

На козлах молчание, только слышен хруст — почтарь почесывает усы. Потом, не говоря ни слова, он слез, повозился над постромками и молча ушел на станцию. Пассажир на козлах не шелохнулся.

Прокоп был так измучен, что опустился на уличную тумбу. «Не дойду, — с отчаянием думал он. — Останусь тут, пока... пока...»

Почтарь вернулся с пустым ящиком. Кое-как втиснул его на подножку козел, после чего долго и задумчиво разглядывал свое сооружение.

— Ну, полезайте, — сказал он потом.

— Куда?

— Куда... На козлы.

Прокоп очутился на козлах каким-то сверхъестественным образом, словно его вознесли небесные силы. Почтарь опять что-то делал с упряжкой, но вот он уселся на ящик, спустив ноги, и взял вожжи в руки.

— Но-о, — сказал он.

Лошадь — ни с места. Только дрогнула.

Тогда почтарь вытянул горлом тонкое, гортанное: «рррр!» Лошадь взмахнула хвостом и громко выпустила воздух.

— Рррр!

Тележка тронулась. Прокоп судорожно ухватился за низенькие поручни; он чувствовал, что удержаться на козлах — выше его сил.

— Рррр!

Казалось, высокий, раскатистый возглас гальванизирует старого конягу. Он бежал, прихрамывая, помахивая хвостом, и на каждом шагу пускал ветры.

— Ррррррр!

Они ехали по аллее голых деревьев в черно-черной тьме, только прыгающая полоска света от фонаря скользила по дорожной грязи. Прокоп оцепеневшими пальцами сжимал поручни; он чувствовал, что уже не владеет своим телом, что ему нельзя падать, что он страшно ослабел. Какое-то освещенное окно, аллея, черные поля.

— Рррр!

Лошадь безостановочно пускала ветры и трусила рысцой, перебирая ногами неуклюже и неестественно — словно давно уже была мертвой.

Прокоп искоса глянул на своего спутника. Это был старик, с шарфом, повязанным вокруг шеи; он все время что-то жевал, откусывал, жевал и выплевывал. И Прокоп вспомнил, что уже видел это: отвратительное лицо из его сна, которое скрежетало съеденными зубами, ломая и выплевывая их по кусочкам. Это было удивительно и страшно.

— Ррррр!

Дорога петляет, взбирается на холмы и снова сбегает с них. Какая-то усадьба, лает собака, человек идет по дороге, здоровается: «Добрый вечер». Домиков становится все больше. Тележка сворачивает, пронзительное «рррр!» обрывается, лошадь останавливается.

— Ну вот, доктор Томеш живет тут, — говорит почтарь.

Прокоп хотел что-то сказать — и не смог; хотел отпустить поручни — и не удалось, потому что пальцы его застыли в судороге.

— Приехали, говорю, — повторил почтарь.

Постепенно судорога ослабла, Прокоп слез с козел, охваченный неуемной дрожью. Отворил калитку, словно она была ему знакома, позвонил у дверей. Внутри раздался яростный лай, и молодой голос крикнул: «Гонзик, тихо!» Дверь открылась, и Прокоп, тяжело ворочая языком, спросил:

— Пан доктор дома?

Секундная пауза; потом молодой голос сказал:

— Входите.

Прокоп стоит в теплой комнате; на столе лампа, ужин, пахнет буковыми дровами. Старик в очках, сдвинутых на лоб, поднимается из-за стола, подходит к Прокопу:

— Ну-с, на что жалуетесь?

Прокоп мрачно вспоминает, что ему тут, собственно, понадобилось.

— Я... дело в том... Ваш сын дома?

Старик внимательно посмотрел на гостя.

— Нет. Что с вами?

— Ирка... Ирка... Я его друг... вот принес ему... Я должен ему передать, — бормотал Прокоп, нащупывая в кармане запечатанный конверт. — Это очень важно... и...

— Ирка в Праге, — перебил его доктор. — Да сядьте, по крайней мере!

Прокоп несказанно удивился.

— Но он говорил... говорил, что едет сюда. Я должен ему отдать...

Пол под ним заходил ходуном, поплыл под ногами.

— Аничка, стул! — странным голосом крикнул доктор. Прокоп еще услыхал глухой вскрик и рухнул наземь. Его залила безграничная тьма — и потом уже ничего больше не было.

VII

Не было ничего; только временами словно разрывались пелены тумана и в разрыве выглядывал узор на стене, резной верх шкафа, уголок занавески или кусочек лепного карниза у потолка; а иной раз над ним склонялось лицо — он видел это лицо словно со дна колодца, но не мог разглядеть черты. С ним что-то делали; кто-то время от времени смачивал его пылающие губы, приподнимал беспомощное тело, но все снова тонуло в текучих обрывках сновидений; чудились какие-то пейзажи, орнаменты ковра, дифференциалы, огненные шары, химические формулы, лишь изредка что-то из этого хаоса всплывало на поверхность, становясь на миг более связным сном, чтобы тут же растечься в широкоструйном потоке беспамятства.

Наконец наступил момент, когда он очнулся, увидел над собой теплый, надежный потолок с лепным карнизом; отыскал глазами собственные худые, мертвенно-бледные руки на пестром одеяле; потом обнаружил спинку кровати, шкаф и белую дверь; все было странно милым, тихим и уже знакомым. Он понятия не имел, где находится; попытался сообразить, но голова оказалась невоз-

можно слабой, все снова начало путаться, и он закрыл глаза, покорно отдаваясь отдыху.

Тихонько скрипнула дверь. Прокоп раскрыл глаза и сел на постели, словно его подняла какая-то сила. А в дверях стоит девушка, такая тоненькая, высокая и светлая, ее ясные-ясные глаза выражают глубокое удивление, рот полуоткрыт, и она прижимает к груди белое полотно. Не шелохнется от растерянности, лишь взмахивает длинными ресницами, а розовый ротик начинает нерешительно, робко улыбаться.

Прокоп, сдвинув брови, усиленно подыскивает слова, по в голове полная пустота; и он беззвучно шевелит губами, наблюдая за девушкой каким-то строгим, вспоминающим взором.

— «Гунумай се, анасса, — внезапно и невольно вырвалось у него, — теос ню тис э бротос эсси? Эй мен тис теос эсси, той уранон геурин эхусин, Артемиди, се эго ге, Диос курэ, мегалойо, эйдос те мегетос тэ фюэн т'анхиста эисхо».

И дальше, стих за стихом, полились божественные слова привета, с которыми Одиссей обратился к Навсикае: «Руки, богиня иль смертная дева, к тебе простираю! Если одна из богинь ты, владычиц пространного неба, то с Артемидою только, великою дочерью Зевса, можешь сходна быть лица красотою и станом высоким; если ж одна ты из смертных, под властью судьбины живущих, то несказанно блаженны отец твой и мать, и блаженны братья твои, с наслаждением видя, как ты перед ними в доме семейном столь мирно цветешь, иль свои восхищая очи тобою, когда в хороводах ты весело пляшешь».

Девушка недвижно, словно окаменев, внимала привету на незнакомом языке; и на ее гладком лбу было написано такое смятение, глаза ее моргали так по-детски, так испуганно, что Прокоп удвоил усердие Одиссея, выброшенного на берег, сам лишь смутно понимая смысл слов.

— «Кейнос д'ау пери кери макартатос», — торопливо скандировал он. — «Но из блаженных блаженнейший будет тот смертный, который в дом свой тебя уведет, одаренную веном богатым. Нет! Ничего столь прекрасного между людей земнородных взоры мои не встречали доныне: смотрю с изумленьем».

«Себас м'эхей эйсороонта».

Девушка густо покраснела, будто поняла хвалу древнегреческого героя; неловкое и милое смущение сковало

ее члены, а Прокоп, сжимая руки под одеялом, все говорил, словно молился.

— «Дэло дэ п о т э», — продолжал он п о с п е ш н о. — «В Делосе только я — там, где алтарь Аполлонов воздвигнут, — юную стройно-высокую пальму однажды заметил (в храм же зашел, окруженный толпою сопутников верных, я по пути, на котором столь много мне встретилось бедствий). Юную пальму заметив, я в сердце своем изумлен был долго: подобного ей благородного древа нигде не видал я. Так и тебе я дивлюсь. Но, дивяся тебе, не дерзаю тронуть коленей твоих: несказанной бедой я постигнут».

«Дейдиа д'а й н о с», — да, он не дерзал и страшно боялся, но и девушка боялась и прижимала к груди белое полотно, не в силах отвести взгляд от Прокопа, который торопился высказать свою муку:

— «Только вчера, на двадцатый мне день удалося избегнуть моря: столь долго игралищем был я губительной бури, гнавшей меня от Огигии острова. Ныне ж *сюда* я демоном брошен для новых напастей — еще не конец им; верно, немало еще претерпеть мне назначили боги».

Прокоп тяжело вздохнул и поднял страшно исхудавшие руки.

— «Алла, анасс', элеайрэ!» «Сжалься, царевна; тебя, испытавши превратностей много, первую здесь я с молитвою встретил; никто из живущих в этой земле не знаком мне; скажи, где дорога в город, и дай мне прикрыть обнаженное тело хоть лоскут грубой обертки, в которой сюда привезла ты одежды».

Девичье лицо немного просветлело, приоткрылись влажные губы — быть может, Навсикая ответит... Но Прокопу хотелось еще благословить ее за тень милого состраданья, от которого порозовело ее лицо.

— «Сой де теой тоса дойен, госа фреси сэси менойнас!» «О! Да исполнят бессмертные боги твои все желанья, давши супруга по сердцу тебе с изобилием в доме, с миром в семье! Несказанное там водворяется счастье, где однодушно живут, сохраняя домашний порядок, муж и жена, благомысленным людям на радость, недобрым людям на зависть и горе, себе на великую славу...» [1]

Последние слова Прокоп произнес почти на одном дыхании: он сам едва понимал, что говорил, — слова тек-

---

[1] Перевод В. А. Жуковского.

ли плавно, помимо его воли, из какого-то неведомого уголка памяти; прошло почти двадцать лет с тех пор, как он с грехом пополам заучивал сладкую мелодию шестой песни «Одиссеи». Ему доставляло почти физическое облегчение вот так, вольно изливать эту песню; в голове становилось легче и яснее, он ощущал почти блаженство от томной, приятной слабости — и тут на губах его дрогнула смущенная улыбка.

Девушка ответила улыбкой, шевельнулась и сказала:

— Ну, как? — Она подошла ближе и рассмеялась. — Что это вы говорили?

— Не знаю, — неуверенно промолвил Прокоп.

Вдруг распахнулась неплотно прикрытая дверь, и в комнату ворвалось что-то маленькое, косматое, оно взвизгнуло от радости и прыгнуло на постель Прокопа.

— Гонзик! — испуганно воскликнула девушка. — Сейчас же пошел с кровати!

Но собачонка уже облизала лицо Прокопа и в приливе бурного веселья зарылась в одеяло. Прокоп поднял руку, чтобы вытереть лицо, и с изумлением почувствовал под ладонью бороду.

— Что... что это? — пролепетал он удивленно и осекся.

Песик сходил с ума от радости; в приливе необузданной нежности он покусывал руки Прокопа, скулил, фыркал и — рраз! — ткнулся мокрой мордочкой ему в грудь.

— Гонзик! — крикнула девушка. — Сумасшедший! Отстань! — Подбежав к постели, она взяла Гонзика на руки: — Боже, Гонзик, какой ты дурачок!

— Пусть его, — попросил Прокоп.

— Но ведь у вас болит рука, — с глубокой серьезностью возразила девушка, прижимая к груди барахтающегося песика.

Прокоп недоуменно взглянул на правую руку. От большого пальца через всю ладонь тянулся широкий шрам, покрытый новой, тоненькой, красной кожицей — она приятно зудела.

— Где... где я? — удивленно спросил он.

— У нас, — с великолепной простотой ответила девушка, и Прокоп тотчас удовлетворился этим ответом.

— У вас, — с облегчением повторил он, хотя понятия не имел, где это. — И давно?

— Двадцатый день. И все время... — Она запнулась. — Гонзик спал с вами, — поспешно добавила она, неизвестно

почему краснея. — Вы это знаете? — И она принялась баюкать собачонку, как малое дитя.

— Не знаю, — силился что-то вспомнить Прокоп. — Неужели я спал?

— Все время! — сорвалось у нее. — Пора бы и выспаться!

Она опустила Гонзика на пол и подошла к кровати.

— Вам теперь лучше?.. Может быть, вам что-нибудь надо?

Прокоп покачал головой; он не мог придумать, чего бы ему хотелось.

— Который час? — неуверенно спросил он.

— Десять. Не знаю, что вам можно есть; вот папа придет, тогда... Папа будет так рад... Значит, вам ничего не нужно?

— Зеркало... — нерешительно попросил Прокоп.

Девушка, засмеявшись, убежала. У Прокопа гудела голова; он старался вспомнить все, что произошло, но не мог. А девушка уже вернулась, щебечет что-то и подает ему зеркальце. Прокоп хочет поднять руку, но — бог весть почему, это не получается; девушка вкладывает ручку зеркальца в его пальцы, но оно падает на одеяло. Тут она побледнела, почему-то встревожилась и сама поднесла зеркало к его глазам. Прокоп увидел густо заросшее, почти незнакомое лицо; он смотрел, не понимая, — и вдруг у него задрожали губы.

— Ложитесь, сейчас же ложитесь! — приказывает тоненький, почти плачущий голосок, и проворные руки подкладывают ему подушку.

Прокоп опускается навзничь и закрывает глаза. «Вздремну немножко», — думает он, и вокруг воцаряется приятная, глубокая тишина.

VIII

Кто-то подергал его за рукав.

— Ну, ну, — говорит этот кто-то. — Мы ведь больше не будем спать, правда?

Открыв глаза, Прокоп увидел старика — у него розовая лысина и белая бородка, очки в золотой оправе, поднятые на лоб, и чрезвычайно живые глаза.

— Не спите больше, глубокоуважаемый, — повторил старик, — довольно с вас; а то проснетесь на том свете.

Прокоп хмуро оглядел этого человека. Ему еще хотелось спать.

— Что вам надо? — строптиво пробормотал он. — И... вообще, с кем имею честь?

Старик разразился хохотом.

— Разрешите представиться — доктор Томеш. Вы до сих пор не изволили обратить на меня внимание, не правда ли? Ну, ничего. Так как же мы себя чувствуем?

— Прокоп, — недружелюбно ответил больной.

— Так-так, — довольным тоном проговорил доктор. — А я думал, вы — Спящая Красавица. Ну, а теперь, господин инженер, — бодро продолжал он, — надо вас осмотреть. Ну, ну, не хмурьтесь.

Он ловко выхватил из Прокоповой подмышки градусник и, довольный, промурлыкал:

— Тридцать пять и восемь. Голубчик, вы слабы, как муха. Надо бы покушать, верно? Не двигайтесь.

Прокоп почувствовал прикосновение гладкой лысины и холодного уха — лысина и ухо елозили от плеча к плечу, от живота к горлу, и все время слышалось ободряющее мурлыканье.

— Ну, слава богу, — выговорил наконец доктор, спуская очки на глаза. — Справа еще незначительные хрипы, и сердце... ну, ничего, выправимся, не так ли?

Нагнувшись к Прокопу, он зарылся пятерней в его волосы, большим пальцем приподымая и опуская ему веки.

— Больше не спать, ясно? — приказал он, изучая зрачки пациента. — Мы получим книжку и будем читать. Съедим что-нибудь, выпьем рюмочку вина и... да не дергайтесь! Я вас не укушу.

— Что со мной? — робко спросил Прокоп.

Доктор выпрямился:

— О, теперь уже ничего. Слушайте, откуда вы взялись?

— Где?

— В Тынице. Мы подняли вас с полу, и... Откуда вы явились, голубчик?

— Не знаю. Из Праги, кажется, — с трудом соображал Прокоп.

Доктор энергично потряс головой.

— Из Праги, поездом! С воспалением мозговых оболочек! Да вы в своем уме? Вообще вы знаете, что это такое?

— Что?

— Менингит. Сонная форма, и вдобавок — воспаление легких. Сорок градусов, а?! С таким букетом, дружище, не ездят на загородные прогулки! А знаете вы, что... ну-ка дайте сюда правую руку, живо!

— Да это так... просто царапина, — извиняющимся тоном произнес Прокоп.

— Хороша царапина. Заражение крови, понятно? Вот когда вы поправитесь, я вам скажу, что вы были... что вы были осел. Извините, — добавил он с благородным возмущением, — я чуть было не выразился крепче. Интеллигентный человек, а не знает, что несет в себе три болезни с возможным смертельным исходом! Как вы только держались на ногах?

— Не знаю, — пристыженно прошептал Прокоп.

Доктору явно хотелось еще браниться, но он только проворчал что-то и махнул рукой.

— А как вы себя сейчас чувствуете? — строго спросил он. — Чуть-чуть... придурковатым, не так ли? Ничего не помните, верно? А тут вот — этакая слабость? — И он постучал себя пальцем по лбу.

Прокоп молчал.

— Ну вот что, господин инженер, — заговорил снова доктор. — Не обращать внимания. Это состояние продержится еще некоторое время, ясно? Понимаете? Не утомлять мозг. Не думать. Все восстановится постепенно. Только временное расстройство, некоторая забывчивость, растерянность — вы меня поняли?

Доктор кричал, обливаясь потом, нервничал, словно ругаясь с глухонемым. Прокоп внимательно следил за ним; потом спросил спокойно:

— Значит, я останусь слабоумным?

— Да нет, нет! — вскипел доктор. — Совершенно исключено! Просто... на некоторое время... потеря памяти, рассеянность, быстрая утомляемость и всякие такие признаки, ясно? Нарушение координации движений, поняли? Отдыхать. Покой. Ничего но делать. Благодарите бога, глубокоуважаемый, что вы вообще выжили...

— Выжили... — повторил доктор, помолчав, и радостно, с трубным звуком, высморкался. — Слушайте, такого случая в моей практике еще не встречалось. Выявились к нам в совершенной delirium [1], свалились на пол, и — finis [2], мое почтенье. Что мне было с вами делать? До больницы далеко, а девчушка моя над вами того... ревела, и вообще вы пришли как гость... к Ирке, к сыну, не так ли? Вот мы вас и оставили у себя, понятно? Ну, ну, вы нам не помешали. Однако такого забавного гостя я еще не видывал. Проспать двадцать суток, благодарю покорно! Когда мой коллега, главный врач больницы, резал вам руку, вы даже не изволили проснуться, вот как! Спокойный пациент, ничего не скажешь. Впрочем, теперь это не важно. Главное, вы уже выкарабкались. — Доктор звонко хлопнул себя по ляжке. — Черт возьми, не спите! Эй, эй, голубчик, эдак вы можете уснуть вечным сном, слышите? Старайтесь же, леший вас побери, хоть немного перемогаться! Перестаньте спать, слышите?

Прокоп вяло кивнул; у него было такое ощущение, словно какая-то пелена протягивается между ним и всем окружающим, обволакивает все, гасит свет, глушит звуки.

— Андула — вина! — откуда-то издалека донесся до него встревоженный голос. — Принеси вина!

Быстрые шаги, говор, словно он где-то под водой, — и вот прохладная струйка вина вливается в его горло. Прокоп открыл глаза: над ним склонилась девушка.

— Вам нельзя спать, — говорит она взволнованно, а ее длинные ресницы вздрагивают — словно в них отдается биение сердца.

— Больше не буду, — смиренно извиняется Прокоп.

— Да уж, я это строго запрещаю, глубокоуважаемый, — шумит доктор у изголовья. — Из города сюда специально приедет на консультацию главный врач; пусть увидит, что и мы, деревенские лекари, кое-чего стоим! Вы должны держаться молодцом!

С необычайной ловкостью приподняв Прокопа, он подгреб ему под спину подушки.

— Так, теперь вы будете сидеть; спать — только после обеда, ладно? Мне пора принимать больных. А ты, Анда,

---

[1] горячке (*лат.*).

[2] конец (*лат.*).

садись здесь и болтай о чем хочешь; когда не нужно, язык у тебя работает за троих! Если он захочет спать — позови меня; уж я с ним поговорю по-свойски. — В двери он еще раз обернулся и проворчал: — Но... я очень рад. Что? Смотрите же!

Прокоп перевел глаза на девушку. Она сидела, отодвинувшись от кровати и положив руки на колени, и представления не имела, о чем говорить. Ага — вот подняла голову, приоткрыла губы; послушаем, что скажет! Но Андула вдруг снова застеснялась, проглотила готовые вырваться слова и еще ниже опустила голову. Видно было, как трепетали над щеками ее длинные ресницы.

— Папа такой резкий, — решилась она наконец. — Он привык кричать... ругаться... с пациентами...

Тема, к сожалению, была исчерпана; зато очень кстати в пальцах ее очутился подол фартучка, который она долго с большим интересом и вниманием складывала поразному, моргая выгнутыми ресницами.

— Что это бренчит? — спросил Прокоп после затянувшейся паузы.

Она повернула голову к окну; у нее красивые белокурые волосы, они озаряют ее лоб; а на влажных губках — сочный блик света.

— Это коровы, — с облегчением объяснила она. — Там господский скотный двор... Наш дом тоже в имении. У папы есть лошадь и коляска... Его зовут Фрицек.

— Кого?

— Коня. Вы никогда не были в Тынице, правда? Здесь ничего нет. Только аллеи и поля... Пока жива была мамочка, у нас было веселее; тогда еще наш Ирка сюда ездил... Но вот уже больше года он не показывается. Поссорился с папой, и... даже не пишет. У нас не принято о нем говорить. А вы с ним часто встречались?

Прокоп решительно покачал головой.

Девушка вздохнула, задумалась.

— Он какой-то... не знаю. Странный такой. Все бродил здесь, руки в карманы, и зевал... Я знаю, здесь нет ничего интересного; но все же... Папа так рад, что вы остались у нас, — закончила она быстро и без видимой связи с предыдущим.

Где-то на дворе хрипло, смешно прокукарекал молодой петушок. И вдруг разразилось страшное смятение среди

кур — послышалось отчаянное «ко-ко-ко» и победный визгливый лай собачонки. Девушка вскочила:

— Гонзик гоняется за курами!

Но она тотчас села, решив предоставить кур их судьбе. Наступила приятная, ясная тишина.

— Я не знаю, о чем с вами разговаривать, — заявила она потом с чудесной простотой. — Я вам газеты почитаю, хотите?

Прокоп улыбнулся. А она уже вернулась с газетами и отважно пустилась по волнам передовицы. Финансовое равновесие, государственный бюджет, непокрытые долги... Милый, неуверенный голосок спокойно произносил все эти чрезвычайно важные слова, и Прокопу, который ее вовсе не слушал, было лучше, чем если бы он спал глубоким сном.

IX

Но вот Прокопу уже разрешено на часок в день покидать постель; он до сих пор еле волочит ноги и, к сожалению, скуп на разговоры. Что бы вы ему ни сказали — он чаще всего ответит односложно, с виноватой робкой улыбкой.

В полдень, например, — а на дворе только начало апреля, — он сидит обычно в садике на скамейке; рядом с ним — косматый терьер Гонзик смеется, разинув до ушей пасть под мокрыми лесниковскими усами — он явно гордится ролью компаньона и от радости облизывается, жмурит глаза, когда Прокоп изуродованной левой рукой гладит его по теплой лохматой голове. В этот час доктор обычно выбегает из своей амбулатории, — его шапочка то и дело съезжает с гладкой лысины. Доктор присаживается на корточки и принимается сажать овощи, толстыми короткими пальцами разминает комья земли, любовно готовит ложе для молодых саженцев. Иногда доктор приходит в расстройство и начинает ворчать: положил куда-то на грядки свою трубку и не может найти... Тогда Прокоп поднимается и с инстинктом подлинного детектива (ибо в постели он читает детективные романы) идет прямо к потерянной трубочке. Гонзик пользуется этим, чтобы хорошенько встряхнуться.

В этот час Анчи (именно так, и ни в коем случае не «Андулой» желает она называться) выходит поливать

отцовские грядки. В правой руке она несет лейку, левой балансирует; серебряный дождик льется на весеннюю землю, а если под руку подворачивается Гонзик, попадает и ему — на хвостик или на веселую дурашливую мордочку; он отчаянно взвизгивает и бросается искать защиты у Прокопа.

Все утро к амбулатории тянутся пациенты. Они кашляют в приемной и молчат, и каждый думает лишь о собственных недугах. Иной раз из кабинета врача доносится душераздирающий вопль — значит, доктор рвет зуб какому-нибудь мальчугану. Тогда Анчи, бледная, перепуганная, боязливо моргая красивыми длинными ресницами, бросается к Прокопу в поисках защиты; возле него она пережидает, когда кончится эта ужасная операция. Но вот мальчишка убегает с протяжным воем, и Анчи с милой неловкостью пытается замять свою сентиментальную трусость.

Конечно, совсем другое дело, когда у докторского дома останавливается телега, устланная соломой, и двое дядек осторожно вносят по лестнице тяжелораненого. У него раздроблена рука или нога сломана, а то и голову размозжила копытом лошадь; холодный пот стекает по его смертельно бледному лбу, и он стонет тихо, героически сдерживаясь. Тогда на весь дом ложится трагическая тишина; в кабинете бесшумно вершится что-то страшное; веселая толстая служанка ходит на цыпочках, у Анчи глаза полны слез, пальцы ее дрожат. Доктор врывается в кухню, с криком требует рому, вина или воды, удвоенной грубостью маскируя мучительное сострадание. И после этого еще целый день он ни с кем не разговаривает, постоянно раздражается и хлопает дверьми.

Но бывает и великий праздник, веселая ежегодная ярмарка в жизни деревенского доктора: прививка оспы. Сотни мамаш покачивают на руках свои хныкающие, ревущие, спящие сверточки, заполняя все — амбулаторию, коридор, кухню и садик. Анчи — как одуревшая, ей хочется нянчить, качать, перепеленывать всех этих беззубых, орущих малышей, покрытых нежным пушком, — это какой-то припадок восторженного стихийного чувства материнства. Да и у старого доктора как-то особенно задорно поблескивает лысина, с самого утра он ходит без очков, чтобы не пугать малюток, и глаза у него тают от утомления и радости.

Иной раз среди ночи раздается нервозный звонок. Потом в дверях слышны невнятные голоса, доктор ругается, и кучеру Иозефу приходится запрягать. Где-то в деревне светится окошко — рождается новый человек. Доктор приезжает домой под утро, усталый, но довольный, и от него на десять шагов разит карболкой; но таким его больше всего любит Анчи.

Есть в доме и другие личности; толстая хохотушка Нанда в кухне, — Нанда целый день поет, гремит посудой и надрывается от смеха. Затем важный кучер Иозеф с обвисшими усами — историк; он постоянно читает книги по истории и очень любит рассказывать, например, о гуситских войнах или об исторических загадках родного края. За ним следует господский садовник, невероятный бабник; он каждый день забегает к доктору в садик, прививает его розы, подстригает кусты и повергает Нанду в опасные пароксизмы смеха. Затем живет здесь уже упомянутый выше косматый, развеселый Гонзик — он сопровождает Прокопа, ловит блох, гоняется за курами и обожает кататься на козлах докторской коляски. А Фриц — это старый вороной конь, уже начинающий седеть, степенный и добродушный, приятель кроликов; погладить его теплый, чувствительный храп — верх удовольствия. Есть еще смуглый адъюнкт из имения, влюбленный в Анчи, которого последняя в союзе с Нандой разыгрывает самым бессовестным образом. Потом управляющий имением, старый плут и вор — этот является к доктору играть в шахматы. Доктор волнуется, приходит в ярость и проигрывает. Наконец еще несколько лиц и в том числе — необыкновенно скучный, помешанный на политике землемер, который по праву сословного равенства отравляет Прокопу настроение.

Прокоп много читает — или притворяется, что читает. Его покрытое шрамами тяжелое лицо мало что говорит окружающим, а тем более не обнаруживает, какую отчаянную борьбу ведет Прокоп с нарушенной памятью. Особенно пострадали последние годы работы; самые простые формулы и процессы испарились без следа, и Прокоп на полях книг записывает обрывки формул, которые вдруг всплывают в памяти, когда он меньше всего о них думает. Потом он встает и идет играть с Анчи на бильярде; это игра, во время которой не нужно много говорить. И его чопорная, непроницаемая серьезность

ложится тенью на Анчи; она играет сосредоточенно, целится, строго сдвинув брови, но когда шар, будто назло, катится совсем не, туда, куда надо, — открывает от удивления ротик и язычком показывает нужное направление.

Вечера у лампы. Больше всех болтает доктор, восторженный натуралист без каких-либо познаний в этой области. Его особенно восхищают последние мировые загадки: радиоактивность, бесконечность пространства, электричество, теория относительности, происхождение материи и возраст человечества. Он — отъявленный материалист и именно потому тонко чувствует таинственный, сладкий ужас неразрешимого. Иной раз Прокоп не удерживается и начинает поправлять бюхнеровскую наивность его взглядов. Старик слушает его с неподдельным благоговением и в эти минуты безмерно уважает Прокопа — особенно там, где перестает понимать его, например, в области потенциала резонации или квантовой теории. Анчи — та просто сидит упершись в стол подбородком; она, пожалуй, уже великовата для такой позы, но после смерти матери эта девушка, видимо, забыла взрослеть. Затаив дыхание, она переводит немигающий взгляд расширенных глаз с отца на Прокопа.

А ночи — ночи здесь мирные и необъятные, как всюду в деревне. Порой брякнет цепь в коровнике, да близко или далеко залают псы; по небу скользнет падучая звезда, вешний дождь прошумит в саду, да с серебристым звоном стекают капельки из крана садовой колонки. Чистым, глубинным холодком тянет в раскрытое окно, и человек засыпает благословенным сном без сновидений.

X

Да, дело шло на поправку: с каждым днем к Прокопу мелкими шажками возвращалась жизнь. Только в голове его стоял туман, как будто все, что он видел, происходило во сне. Оставалось только поблагодарить доктора и отправляться восвояси. Он хотел сказать об этом как-то после ужина, но именно в этот вечер все молчали, словно набрав в рот воды. Потом старый доктор взял Прокопа и увел к себе в кабинет. И там, походив вокруг да около, он со смущенной грубостью объявил, что Прокопу вовсе

незачем уезжать, ему еще надо отдохнуть, выздоровление его не полное, и вообще пусть остается, и точка. Прокоп вяло возражал; но факт оставался фактом: он еще не чувствовал себя в форме, и к тому же несколько избаловался. Словом, разговорам об отъезде пока был положен конец.

После обеда доктор всегда запирался в кабинете.

— Приходите как-нибудь ко мне посидеть, — мимоходом бросил он однажды Прокопу.

Прокоп зашел и застал доктора над множеством пузырьков, ступочек и порошков.

— Понимаете, в Тынице нет аптеки, — объяснил доктор, — и мне самому приходится изготовлять лекарства.

И он дрожащими толстыми пальцами принялся отвешивать какой-то порошок на ручных весах. Руки плохо его слушались, весы раскачивались и крутились; старик сердился, фыркал, и на носу у него мелкими капельками выступил пот.

— Что поделать, плохо вижу, — оправдывал он старческую слабость своих пальцев.

Прокоп некоторое время смотрел, потом, ни слова не говоря, забрал у него весы. Стук, стук — и порошок отвешен с точностью до миллиграмма. И вторая доза и третья. Чувствительные весы так и плясали в пальцах Прокопа.

— Нет, вы только посмотрите! — изумлялся доктор, с восхищением следя за руками Прокопа, изломанными, узловатыми, с уродливыми суставами, обломанными ногтями и обрубками на месте нескольких пальцев. — Сколько же ловкости в ваших руках, голубчик!

Вскоре Прокоп уже растирал какую-то мазь, отмеривал капли и подогревал пробирки. Доктор, сияя, налеплял ярлычки. Через полчаса все лекарства были готовы, Да еще отвешена про запас целая горка порошков. А через несколько дней Прокоп уже с легкостью читал докторские рецепты и безмолвно заменял провизора. Bon! [1]

Как-то под вечер доктор копался на одной из грядок в своем саду. Вдруг — громовой удар в доме, и тотчас после этого со звоном посыпались стекла. Доктор бросился в дом, столкнулся в коридоре с перепуганной Анчи.

[1] Хорошо! (*франц.*)

— Что случилось? — гаркнул он.

— Не знаю, — еле слышно ответила Анчи. — Это в кабинете...

Доктор вбежал туда и увидел Прокопа — ползая на четвереньках, тот собирал с полу осколки и бумаги.

— Что вы здесь натворили? — закричал старик.

— Ничего, — ответил Прокоп, поднимаясь с виноватым видом. — У меня пробирка лопнула...

— Да что вы, в самом деле, черт... — взревел было доктор и осекся: из левой кисти Прокопа ручейком стекала кровь. — У вас что, палец оторвало?

— Простая царапинка, — запротестовал Прокоп, пряча руку за спину.

— А ну-ка, покажите, — крикнул старый врач и потащил Прокопа к окну. Половина пальца висела на узенькой полоске кожи. Доктор кинулся к шкафчику с инструментами за ножницами и увидел в дверях смертельно бледную дочь.

— Тебе что надо? — обрушился он на нее. — Марш отсюда!

Анчи не двинулась. Она прижимала руки к груди с таким видом, будто готова была упасть в обморок.

Доктор вернулся к Прокопу; сначала делал что-то с ваткой, потом звякнули ножницы.

— Свет! — крикнул он дочери; та бросилась к выключателю, зажгла лампу.

— Да не стой здесь! — гремел старый врач, окуная иглу в бензин. — Нечего тебе тут делать! Подай нитки!

Анчи подбежала к шкафчику, достала ампулу с нитками.

— А теперь уходи!

Анчи взглянула на спину Прокопа и поступила наоборот: подошла и обеими ладонями обхватила раненую руку, приподняв ее. Доктор в это время мыл руки; он повернулся к Анчи с намерением снова взорваться, но вместо этого проворчал:

— Так, а теперь держи крепче! И ближе к свету!

И Анчи держала, зажмурив глаза. Было тихо — слышалось только сопение доктора; тогда девушка отважилась поднять веки. Внизу, где работал отец, виднелось что-то кровавое и безобразное. Анчи скорее перевела взгляд на Прокопа; он отвернулся, веки его дергались от

боли. Анчи цепенела от этой чужой боли и глотала слезы; ее начало мутить.

Тем временем рука Прокопа разбухала: груды ваты, батист Бильрота и, верно, целый километр бинта — доктор все наматывал и наматывал его, пока не получилось нечто огромное, белое. Анчи держала руку Прокопа, а колени ее дрожали, и ей казалось — этой страшной операции не будет конца. Внезапно у нее закружилась голова, потом она услыхала голос отца:

— На, выпей скорей!

Открыв глаза, она увидела, что сидит на стуле, отец подает ей мензурку с какой-то жидкостью, а сзади стоит Прокоп, улыбается и, как ребенка, держит у груди забинтованную руку, похожую на гигантский бутон.

— Пей же! — настаивал отец, широко улыбаясь. Она проглотила содержимое мензурки и задохнулась, это был смертоубийственный коньяк.

— А теперь вы. — И доктор протянул мензурку Прокопу. Тот был немного бледен и мужественно ждал нагоняя. После всех выпил и сам доктор, откашлялся и начал: — Скажите на милость, что вы тут, собственно, делали?

— Опыт, — с кривой, виноватой улыбкой ответил Прокоп.

— Что? Какой опыт? Над чем?

— Да так просто... Я только... хотел только... нельзя ли что-нибудь получить из хлорида калия.

— Что именно?

— Взрывчатку, — шепнул Прокоп со смирением грешника.

Доктор опустил глаза на его забинтованную руку.

— И поплатились, голубчик! Руку вам могло оторвать! Что? Больно? Так вам и надо, получили по заслугам, — кровожадно заявил он.

— Ой, папа, не надо сейчас! — вмешалась Анчи.

— А ты что тут делаешь? — проворчал доктор и погладил ее рукой, пахнущей карболкой и йодоформом.

*

Отныне ключи от амбулатории доктор держал в кармане. Прокоп выписал кучу ученых книг, носил руку на перевязи и занимался целыми днями.

Зацвели вишни, липкие молодые листочки засверкали на солнце, золотые лилии раскрыли свои тяжелые бутоны. По саду бродит Анчи со своей толстушкой приятельницей, они ходят обнявшись и хохочут; прижались друг к другу розовыми щечками, шепчутся о чем-то, краснеют, смеются, зачем-то целуются...

После долгих лет Прокоп снова ощущает физическое блаженство. С первобытным наслаждением он отдается ласке солнца и жмурит глаза, чтобы лучше расслышать, как шумит кровь в его теле. Вздохнув, садится за работу; но ему хочется двигаться, и он совершает далекие прогулки, бродит по окрестностям, предаваясь несказанной радости дышать. Иногда он встречает Анчи — в доме или в саду — и пытается завести с ней беседу; Анчи смотрит на него исподлобья и не знает, о чем говорить; впрочем, Прокоп тоже не знает и потому впадает в ворчливый тон. Короче, ему лучше — или, по крайней мере, он чувствует себя увереннее, когда бывает один.

Занимаясь, он заметил, как сильно отстал; наука во многом ушла гораздо дальше и в ином направлении, в некоторых вопросах ему приходилось заново отыскивать ориентиры; а главное, он боялся вспоминать о собственной работе, ибо там — он чувствовал это — особенно сильно разрушились связи. Он трудился, как вол, или грезил; грезил о новых лабораторных методах, и в то же время его манили точные и смелые расчеты теоретика; и он приходил в ярость на самого себя, когда его грубый мозг был не в состоянии расщепить тоненький волосок проблемы. Он отдавал себе отчет, что его лабораторная «деструктивная химия» открывает самые удивительные виды на теорию строения материи; он наталкивался на неожиданные взаимосвязи, но тут же растаптывал их своими слишком тяжеловесными рассуждениями. Раздосадованный, он бросал тогда все, чтобы углубиться в какой-нибудь глупый роман; но и во время чтения его не покидала одержимость исследователя; вместо слов ему являлись на страницах книги сплошные химические знаки; это были какие-то невообразимые формулы веществ, состоящих из неизвестных до сей поры элементов; они тревожили его даже во сне.

XI

В ту ночь Прокопу приснилось, что он изучает чрезвычайно ученую статью в «The Chemist» [1]. Он споткнулся о формулу «AnCi» и не знал, как ее расшифровать; напряженно вдумывался, кусал пальцы и вдруг понял что это — имя Анчи [2]. Да вот и сама она стоит, подсмеивается над ним, закинув руки за голову; он подошел, обхватил ее и стал целовать, кусать ее губы. Анчи отчаянно обороняется локтями и коленями, он грубо держит ее, одной рукой срывая с нее платье и раздирая его на длинные полосы. Он уже осязает ладонями юную плоть; Анчи бешено вырывается, волосы упали ей на лицо — и вот уже она слабеет, падает; Прокоп бросается к ней, но под руками его — только длинные полосы ткани, бинты; он рвет их, разбрасывает, стремясь выпутаться, и просыпается.

Ему было невыразимо стыдно за этот сон; он тихонько оделся, сел у окна и стал ждать рассвета. Нет резкой грани между ночью и днем; только небо слегка бледнеет, и над землей проносится сигнал, который — не свет и не звук, но он велит природе: проснись! И вот настает утро — еще среди ночи. Раскричались петухи, зашевелилась скотина в хлевах. Небо, бледнея, становится перламутровым, постепенно светлеет, нежно розовея; первая красная полоса вспыхнула на востоке, «чилип-чилип-ятити, пию-пию я!» — щебечут, кричат птицы, и первый человек не торопясь идет к своей работе.

Сел за работу и ученый человек. Долго обкусывал он кончик ручки, прежде чем решился начать; это будет великий труд, итог экспериментов и размышлений за долгие двенадцать лет — труд, поистине купленный ценою крови. Конечно, здесь он напишет только схему, или, вернее — некую теорию физики, или поэму, или символ веры. Это будет картина мира, построенного из цифр и уравнений. Но этими астрономическими числами измеряется не глубина, не красота неба: это — расчеты нестойкости разрушительных свойств материии.

Все сущее — лишь инертное, выжидающее взрывчатое вещество; но каким бы ни был индекс его инертности —

---

[1] «Химике» (*англ.*).
[2] Анчи пишется по-чешски: Anči.

эта цифра всего лишь бесконечно малая дробь по сравнению с индексом его разрушительной силы. Все, что происходит — движение звезд, и телурический труд, вся энтропия, сама усердная, ненасытная жизнь, — все это лишь поверхностно, лишь в незначительной мере, лишь частично ограничивает, связывает взрывную силу, имя которой — материя. Знайте же все: путы, связывающие эту силу, — как паутина на руках спящего титана; дайте мне власть уколоть его — и он сорвет земную кору и бросит Юпитера на Сатурна. А ты, человечество, ты только ласточка, трудолюбиво слепившая свое гнездо под кровлей космического порохового склада; чирикаешь на восходе солнца, в то время как в бочках под тобой беззвучно грохочет потенциал ужасающего взрыва...

Этого Прокоп, конечно, не писал; эти мысли были затаенной мелодией, окрыляющей тяжеловесные фразы его ученых рассуждений. Он находил куда больше фантазии в голой формуле и больше ослепительной красоты — в числовом выражении. Так писал он свою поэму в знаках, цифрах, на чудовищном жаргоне ученых.

Прокоп не спустился к завтраку. Тогда к нему пришла Анчи, принесла молоко. Он поблагодарил, но тут ему вспомнился его сон, и он не посмел поднять на нее глаза. Он упорно глядел в угол; один бог знает, как это было возможно, но он видел каждый золотой волосок на ее обнаженных руках; никогда он так ясно не видел их.

Анчи стояла совсем близко.

— Вы будете писать? — нерешительно спросила она.

— Да, — угрюмо проворчал он и думал: что бы она сказала, если бы он вдруг положил свою голову ей на грудь?

— Целый день?

— Целый день.

Наверное, отшатнулась бы, глубоко оскорбленная; но у нее крепкие, маленькие, широко расставленные груди, хотя она об этом, вероятно, и не догадывается. Впрочем, какое ему дело!

— Вам что-нибудь надо?

— Нет, ничего.

Глупо; так хочется впиться зубами ей в руку, что ли... Женщина никогда не понимает, до чего она выводит человека из равновесия.

Анчи пожала плечами, слегка задетая.

— Ну и хорошо.

И ушла.

Прокоп встал, принялся ходить по комнате; он злился на себя и на нее, а главное — ему не хотелось больше писать. Он пытался собрать разбежавшиеся мысли, но это никак не удавалось. Прокоп рассердился и в досаде зашагал от стены к стене с регулярностью маятника. Час, два часа. Внизу гремят тарелками, накрывают на стол. Он снова сел к бумагам, опустил голову на руки. Вскоре явилась служанка с обедом.

Он вернул еду почти не тронутой и, совсем расстроившись, бросился на кровать. Видно, он тут всем надоел, да и с него уже хватит, пора уезжать. Да, да, завтра же! Он стал строить разные планы насчет своей будущей работы, и, неизвестно почему, было ему стыдно и больно; наконец от всего этого он уснул как убитый. Проснулся под вечер — душа словно вываляна в болотной грязи, а тело заражено гнилью лени. Слонялся по комнате, зевал и бездумно злился. Стемнело — он даже света не зажег.

Служанка принесла ужин. Ужин остыл, а он все прислушивался к тому, что происходит внизу. Звякали вилки, доктор что-то бубнил и очень скоро после ужина хлопнул дверью своей комнаты. Стало тихо.

Уверенный, что никого больше не встретит, Прокоп вышел в сад. Стояла теплая и ясная ночь. Уже цвели сирень и жасмин. Волопас широко раскрыл на небе свои звездные объятия — тишина, подчеркнутая далеким собачьим лаем. У каменной ограды сада — что-то светлое. Конечно — Анчи.

— Чудесный вечер, правда? — через силу пробормотал он только для того, чтобы сказать хоть что-нибудь, и прислонился к ограде рядом с девушкой.

Анчи — ни звука, только отвернулась, и плечи ее вздрагивают как-то непривычно и неспокойно.

— Это — Волопас, — уже общительнее проворчал Прокоп, — а над ним... Дракон и Цефей, а вон там — Кассиопея, вон те четыре звездочки. Но чтоб их увидеть, надо выше поднять голову.

Анчи отворачивается, размазывая что-то около глаз.

— А та, яркая, — нерешительно продолжает Прокоп, — это Поллукс, бета в созвездии Близнецов. Не надо на меня сердиться. Я, наверное, показался вам грубым?

Я... меня что то мучило, понимаете? Не надо обращать внимания.

Анчи глубоко вздохнула.

— А как называется... вон та? — отозвалась она тихим, неуверенным голоском. — Та, что пониже, самая светлая?

— Это Сириус, в созвездии Большого Пса. Его еще называют Альгабор. А левее, гораздо левее — Арктур и Спика. Вон звезда упала! Видели!

— Видела. За что вы утром так на меня сердились?

— Я не сердился. Вероятно, я иногда... немного неуклюж; но жизнь моя была сурова, знаете — слишком сурова; я всегда был одинок и... настороже, как на передовом посту. Даже говорить толком не умею. Сегодня вот хотел... хотел написать нечто прекрасное... эдакую научную молитву, чтобы ее каждый мог понять; я думал, что... смогу вам прочитать это. И видите — все во мне погасло, и теперь даже стыдно разгореться, словно это — слабость. И вообще — говорить о себе... Ну, как будто засох, понимаете? И седею быстро.

— Но вам это к лицу, — тихо заметила Анчи.

Прокопа поразила такая сторона вопроса.

— Ну, знаете, — растерянно сказал он, — приятного тут мало. Пора бы уж... пора бы собирать свой урожай. Ах, сколько сделал бы любой другой из всего, что я знаю! А у меня нет ничего, ничего, ничего... Я только — «berühmt» и «célèbre» [1], «highly esteemed» [2], а у нас об этом никто не знает. Мне кажется, видите ли, что мои теории довольно плохи; я не теоретик. Но то, что я открыл, имеет некоторую ценность. Мои экзотермические взрывчатки... диаграммы... и атомные взрывы — кое-чего да стоят. А я опубликовал едва ли десятую часть того, что мне известно. Сколько бы сделали из этого другие! Я ведь даже... не понимаю больше их теорий, они так тонки, так остроумны... меня это только сбивает с толку. Я — кухонный дух. Поднесите мне к носу любое вещество — и я нюхом узнаю, что можно из него извлечь. Но постичь, что из этого вытекает... с теоретической и философской точки зрения — не умею. Я знаю... одни факты; *я их делаю;* это *мои* факты, понимаете? И все же я... я чувствую

---

[1] знаменитый (*нем.* и *франц.*).
[2] весьма уважаемый (*англ.*).

за ними какую-то истину; огромную, всеобщую истину... которая все перевернет, когда взорвется. Но эта великая истина... кроется в фактах, а не в словах. Вот почему, вот почему надо искать факты — пусть хоть обе руки оторвет!..

Анчи, прислонившись к ограде, еле дышала. Никогда еще этот угрюмый чудак не говорил так много, — а главное, никогда он не говорил о себе. Он с трудом ворочал тяжкие глыбы слов; в нем билась огромная гордость, мешаясь с застенчивостью и душевной мукой; и если б он даже говорил интегралами — Анчи поняла бы: перед ней раскрывают что-то глубоко сокровенное, по-человечески выстраданное.

— Но самое, самое худшее... — бормотал Прокоп. — Иногда, а здесь — особенно... даже это, даже это мне кажется глупым... и ненужным. И конечная истина... и вообще все. Никогда со мной не бывало такого. Зачем? И к чему?.. Вероятно, самое разумное — поддаться... просто подчиниться вот этому... — (Теперь он обвел рукой все, что их окружало). — Просто — жизни. Человеку нельзя быть счастливым; это его размягчает — понимаете? Тогда все остальное кажется ему напрасным, мелким... и бессмысленным. Больше всего... больше всего человек создает от отчаяния. От тоски, от одиночества, от состояния оглушенности. Потому что тогда его ничто не удовлетворяет. Я вот работал как сумасшедший. Но здесь — здесь я начал чувствовать себя счастливым. Здесь я познал, что существует, вероятно... нечто лучшее, чем — мыслить. Здесь просто живешь... и видишь, до чего замечательно — просто жить. Как ваш Гонзик, как кошка, как курица. Любое животное умеет жить... а мне это кажется таким чудесным, словно я до сих пор и не жил... И вот... я вторично потерял двенадцать лет.

Его изуродованная, бог весть сколько раз зашитая правая рука лежала, вздрагивая, на ограде. Анчи молчала, в темноте видны были ее длинные ресницы; она оперлась локтями на каменный забор и смотрела, моргая, на звезды. Что-то зашелестело в кустах, Анчи испугалась, метнулась к плечу Прокопа.

— Что это?

— Ничего, наверное, куница; пришла кур воровать.

Анчи застыла, как изваяние. Теперь ее молодая, упругая грудь плотно прижата к руке Прокопа — быть

может, Анчи ничего не замечает, зато Прокоп чувствует это слишком хорошо; он страшно боится шевельнуть рукой: во-первых, Анчи тогда подумает, что он нарочно положил руку на ограду, а во-вторых, она вообще переменит позу. Но странно — именно это обстоятельство исключает теперь для него возможность говорить о себе и о своей бесплодно пролетевшей жизни.

— Никогда, — смятенно лепечет он, — никогда я не был так рад... так счастлив, как здесь. Ваш отец лучший из людей, а вы... вы так молоды...

— А я думала, что кажусь вам... слишком глупенькой, — отвечает Анчи тихо и счастливо. — Вы со мной никогда так не разговаривали.

— Правда, до сих пор — никогда, — согласился Прокоп.

Оба помолчали. Он чувствовал рукой, как чуть заметно подымается и опускается ее грудь, и мороз пробегал у него по коже; он старался не дышать — и она, казалось, затаила дыхание в тихом оцепенении и смотрит, не мигая, широко раскрытыми глазами — смотрит в никуда. О, погладить, сдавить! Кружись, голова, от первого касания, от ласки — невольной и жаркой! Встречал ли ты приключение, пьянящее сильнее, чем эта неосознанная и покорная близость? Склоненный бутон, тело робкое и нежное! Если б могла угадать ты мучительную нежность этой жесткой мужской руки, что сейчас, не шелохнувшись, ласкает тебя и сжимает! А что, если... что, если... что, если я сейчас так сделаю... сожму?..

Анчи выпрямилась естественнейший движением. Ах, девочка, ты и впрямь ни о чем не подозревала!

— Доброй ночи, — тихо говорит Анчи, и лицо ее бледно и смутно. — Доброй ночи, — говорит она чуть сдавленным голосом и подает ему руку; подает ее неловко и вяло, будто сломленная чем-то, и широко распахнутыми глазами глядит в другую сторону.

Разве не такой у нее вид, будто она хочет еще побыть здесь? Нет, уходит, колеблясь; нет, остановилась, рвет в клочки какой-то листочек. Что еще сказать? Доброй ночи, Анчи, пусть вам спится лучше, чем мне.

Ибо теперь, конечно, Прокопу невозможно уйти спать. Он бросается на скамью, охватывает голову руками. Ничего, ничего не случилось... непоправимого; просто стыдно

сразу думать бог весть о чем. Анчи чиста и невинна, как телочка, и довольно об этом; я ведь не мальчик.

Тут во втором этаже осветилось окно. Это спальня Анчи.

У Прокопа гулко забилось сердце. Он знает — подло и стыдно тайком заглядывать туда; как гость, он, конечно, не должен этого делать. Он даже попробовал покашлять (чтобы она слышала), но почему-то не вышло; и он сидит, неподвижный, как статуя, и не может оторвать взор от золотого окна. Анчи ходит по комнате, нагибается, что-то делает, плавно, широко разводя руками — ага, постилает свою кроватку. Теперь стала у окна, смотрит во тьму, закинув руки за голову: точно такая, какою он видел ее во сне. Вот теперь, теперь надо дать о себе знать, хотя бы из приличия — почему ты не сделал этого? А теперь уже поздно; Анчи отвернулась, ходит, исчезла; да нет, просто села спиной к окну, видимо, снимает туфли — очень медленно и задумчиво; никогда так славно не мечтается, как с ботинком в руке. Ну вот, хоть сейчас пора бы тебе скрыться; вместо того он встал на скамью, чтобы лучше видеть. Анчи вернулась к окну, она уже без блузки; подняла нагие руки, вынимает шпильки из прически. Тряхнула головой — густые волосы разлились по плечам; девушка встряхнула ими, разом перебросила всю эту пышную благодать на лицо, принялась расчесывать щеткой и гребнем — расчесывать до тех пор, пока голова не стала круглой, как луковичка; наверно, это очень смешно, потому что Прокоп, бесстыдник, так и сияет.

Анчи, белая дева, стоит склонив голову, заплетает волосы в две косы; глаза ее потуплены, и она что-то шепчет, вот засмеялась, застыдилась чего-то, поежилась; осторожно, бретелька сейчас соскользнет! Анчи глубоко задумалась, гладит свое белое плечико в приливе какой-то сладострастной неги; вздрогнула от холода — бретелька совсем спустилась — и свет погас.

Никогда я не видел ничего белее — прекраснее и белее, чем это освещенное окно.

XII

Он встретил ее утром — она купала в корыте Гонзика; собачонка отчаянно барахталась, расплескивая воду, но Анчи была неумолима — держала ее за космы и яростно

намыливала, сама вся в мыльных хлопьях, мокрая и веселая.

— Осторожнее! — закричала она издали. — Он вас обрызгает!

Она была похожа на молодую восторженную мать; ой, боже, как все просто и ясно на этой солнечной земле!

Даже Прокоп не вынес безделья. Вспомнив, что испортился звонок, принялся чинить батарейку. Он очищал цинковую пластинку, когда к нему тихо приблизилась Анчи; рукава засучены по локоть, руки мокрые — в доме стирка.

— Не взорвется? — спросила озабоченно.

Прокоп не выдержал — улыбнулся; и она засмеялась и обрызгала его мыльной пеной — но тотчас же с серьезным видом подошла, отерла локтем с волос белые хлопья! О! Вчера бы не осмелилась...

В полдень Анчи понесла вместе с Нандой корзину белья с сад: отбеливать. Прокоп с облегчением захлопнул книгу — не позволит же он Анчи таскать тяжелую лейку! Отобрал лейку, сам стал кропить белье; густой дождик весело, щедро барабанит по бахромчатым скатертям, по белоснежным большим покрывалам, по широко распяленным мужским сорочкам; вода шумит, журчит, собирается в складках заливчиками и озерцами. Прокоп сунулся было кропить белые колокольчики нижних юбок и прочих интересных предметов, но Анчи вырвала у него лейку. Прокоп сел в траву, с наслаждением вдыхая запах влажного белья и следя за проворными красивыми руками Анчи. «Сой де теой дойен, — вспомнил с благоговение м . — Себас м'эхей эйсороонта». «Смотрю с изумленьем...»

Анчи подсела к нему на траву.

— О чем вы думали?

Она жмурит глаза от яркого света и радости, разрумянившаяся и неизвестно почему очень счастливая. Полными пригоршнями рвет свежую траву — сейчас, расшалившись, бросит ему в волосы! Но почему-то ее все еще сковывает почтительная робость перед этим прирученным героем.

— Вы когда-нибудь кого-нибудь любили? — спрашивает она ни с того ни с сего и поспешно отводит глаза.

Прокоп смеется.

— Любил. Да ведь и вы тоже любили!

— Тогда я еще была глупая, — вырывается у Анчи, и она невольно краснеет.

— Гимназист?

Анчи только кивнула и принялась жевать травинку.

— Ну, это были пустяки, — быстро сказала она потом. — А вы?

— Однажды я встретил девушку, у нее были такие же ресницы, как у вас. Кажется, она была на вас похожа. Продавала перчатки или что-то в этом роде.

— А дальше?

— Дальше — ничего. Когда я второй раз пошел покупать перчатки, ее там уже не было.

— И... она нравилась вам?

— Нравилась.

— И... вы никогда ей...

— Никогда. Теперь мне делает перчатки... бандажист.

Анчи сосредоточивает все свое внимание на земле.

— Почему... вы всегда прячете от меня руки?

— Потому, что они у меня... изуродованы, — ответил Прокоп и мучительно покраснел, бедняга.

— Но это и прекрасно, — шепнула Анчи, не поднимая глаз.

— Обедааать, обедааать! — возвестила Нанда, выйдя из дому.

— Господи, как скоро, — вздохнула Анчи и очень неохотно поднялась.

*

После обеда старый доктор «прилег вздремнуть» — так, ненадолго.

— Понимаете, — словно извиняясь, объяснил он, — утром наработался как лошадь.

И тотчас начал усердно похрапывать. Анчи и Прокоп улыбнулись друг другу одними глазами и вышли на цыпочках; в саду еще разговаривали тихонько, будто чтили послеобеденный сон доктора.

Анчи заставила Прокопа рассказать о себе. Где родился, и где вырос, и о том, как побывал в самой Америке, сколько горя хлебнул, что и когда делал. А ему хорошо было вспоминать свою жизнь; ибо, к его удивлению, она оказалась более запутанной и удивительной, чем он сам думал. Да еще о многом он умолчал — особенно... ну, особенно о некоторых сердечных делах: во-первых, они не

имели большого значения, а во-вторых, как известно, у каждого мужчины есть о чем умолчать. Анчи сидела тихая, как мышка; ей казалось очень смешным и неправдоподобным, что Прокоп тоже был ребенком и мальчиком и вообще совсем другим, не похожим на того угрюмого и непонятного человека, рядом с которым она чувствует себя такой маленькой и неловкой. Но теперь она уже осмелела до того, что могла бы и дотронуться до него — завязать ему галстук, причесать волосы и вообще... И словно впервые разглядела она его широкий нос, твердые губы и строгие, мрачные, с кровавыми прожилками глаза; и черты его казались ей удивительно странными и сильными.

Но вот настала ее очередь рассказывать. Она уже открыла рот и вздохнула поглубже — и вдруг засмеялась. Согласитесь — что можно сказать о еще не написанной жизни, да к тому же человеку, который однажды двенадцать часов пролежал, засыпанный землей, побывал на войне, в Америке и бог знает где еще!

— Я ничего не знаю, — сказала она искренне.

Ну разве такое «ничего» не стоит всего жизненного опыта мужчины?

Давно миновал полдень, когда они вместе пошли по разогретой солнцем полевой тропке. Прокоп молчит, а Анчи слушает. Анчи гладит рукой колючие колоски. Анчи плечом коснулась Прокопа, пошла медленнее, словно ноги у нее вязнут; потом ускорила шаг, идет впереди него, срывает колосья, охваченная какой-то потребностью разрушать. Это солнечное уединение начинает тяготить и нервировать ее. «Незачем было сюда ходить», — думают оба тайком и в мучительном разладе с самими собой через силу прядут тонкую, рвущуюся нить разговора. Вот наконец часовенка под двумя старыми липами — цель прогулки. Предвечерний час, когда заводят свои песни пастухи. Вот скамья для странников; они присели и совсем стихли. Какая-то женщина перед часовней молилась на коленях — наверное, за своих близких. Едва она ушла, Анчи преклонила колени на ее месте. Было в этом нечто бесконечно женственное; Прокоп ощутил себя мальчишкой рядом со зрелой простотой древнего священного действа. Наконец Анчи поднялась, серьезная и повзрослевшая, на что-то решившаяся, с чем-то примиренная; словно познала нечто, словно несла в себе

некое бремя — задумчивая, неуловимо измененная; и когда они побрели домой по сумеречной тропинке, отвечала ему односложно, сладостным, глубоким голосом.

За ужином она не разговаривала, молчал и Прокоп; скорее всего оба думали об одном: когда же старый доктор уйдет читать свои газеты. А доктор бурчал себе под нос, пытливо оглядывая их через очки; да, брат, тут что-то не то, что-то не в порядке! Молчание затянулось и стало тягостным, как вдруг раздался звонок, и человек — не то из Седмидоли, не то из Льготы — попросил доктора поехать к роженице. Это очень мало обрадовало доктора, он даже забыл браниться. Уже с саквояжем в руках он остановился на пороге, сухо приказал:

— Иди спать, Анчи.

Она молча поднялась, стала убирать со стола. Долго, очень долго пропадала где-то на кухне. Прокоп нервно курил и собрался было уже уходить. Тут она вернулась, бледная, как от озноба, и сказала, героически пересиливая себя:

— Не хотите поиграть на бильярде?

Это значило: о саде сегодня не может быть и речи.

Да, это была отвратительная партия; Анчи была просто неуклюжей — толкала шары вслепую, забывала о своей очереди играть, отвечала еле-еле. Один раз промахнулась по шару, который, как говорится, «свесил ножки в лузу», и Прокоп стал показывать, как надо было ударить: целиться в правую щечку, взять кием чуть ниже середины, и готово! При этом — только чтобы навести кий — он положил свою руку на ее. Анчи резко обернулась, потемневшими глазами заглянула ему в лицо, швырнула кий на пол и убежала.

Что делать? Прокоп быстро ходил по бильярдной, курил и злился. Вот странная девушка. Но зачем она сама сбивает меня с толку? Ее невинный рот, ясные, такие близкие глаза, личико гладкое, горячее — ты ведь не каменный в конце концов! Разве такой уж грех — погладить личико, поцеловать, погладить — ах, розовые щечки! — и взъерошить волосы, волосы, тонкие, нежные волоски над юной шейкой (ты ведь не каменный!). Поцеловать, погладить, коснуться, облобызать благоговейно и бережно? Глупости! — сердился Прокоп, — я старый осел; как мне не стыдно — такой ребенок, она об этом и не думает, и не думает... Ладно. Прокоп справился с искушением,

хотя удалось это ему далеко не сразу. Можно было увидеть, как он стоит перед зеркалом, в кровь искусав губы, и угрюмо, с горечью перебирает, мерит свои годы.

Иди спать, старый холостяк, иди; ты только что уберегся от срама, от того, чтобы юная, глупая девочка высмеяла тебя — уж и это хорошо. Кое-как укрепившись в своем решении, Прокоп побрел наверх, в свою комнату. Одно его тяготило — надо пройти мимо Анчиной двери. Он шел на цыпочках: наверное, спит уже, дитя... И вдруг стал как вкопанный, а сердце бешено заколотилось: ее дверь... дверь Анчи не закрыта... Приотворена даже, и за нею — тьма. Что это значит? И вдруг услышал там, в комнате, нечто вроде подавленного всхлипывания.

Какая-то сила чуть не швырнула его в эту дверь; но что-то другое, бесконечно более властное, одним ударом сбросило его с лестницы и вынесло в сад. Он стоял в темных кустах и прижимал руку к сердцу, которое билось, как язык набатного колокола. Господи боже, зачем я не вошел к ней! Анчи, наверное, стоит на коленях, полураздетая, и плачет в подушку, отчего? — не знаю; но если бы я вошел — ну, что бы случилось? Ничего, я стал бы рядом с ней на колени и попросил бы ее не плакать больше; погладил, погладил бы легкие волосы, волосики, распущенные на ночь. О боже, зачем она оставила дверь приоткрытой?

Смотри, вон светлая тень скользнула из дома и движется в сад. Это Анчи, она не раздета, и волосы ее не распущены; она прижимает ладони к вискам — ладони так приятно холодят пылающий лоб, — и прерывисто вздыхает: последние отзвуки плача. Анчи, словно не замечая, проходит мимо Прокопа, но уступает ему место рядом, с правой стороны; она не слышит, не видит — но не сопротивляется, когда он берет ее под руку и уводит к скамейке. Прокоп мысленно подбирает хоть какие-нибудь слова утешения (а, черт, какие же?!), как вдруг: бац, ее голова ткнулась ему в плечо, взрыв судорожных рыданий, и вот, посреди всхлипываний и сморканья, она говорит ему, что «это пустяки, ерунда». Прокоп обнимает ее, словно родной дядя, и в полной растерянности бессвязно бормочет, что она хорошая и очень милая; всхлипыванья тают в долгих вздохах (где-то под мышкой он чувствовал их горячую влажность). И вот стало совсем хорошо. О ночь, небожительница, ты облегчаешь сдав-

ленную грудь, развязываешь неповоротливый язык; ты возносишь, благословляя, окрыляешь тихо трепещущее сердце, сердце, полное тоски и одиночества; жаждущих поишь из своей бесконечности. В какой-то исчезающе-малой точке вселенной, где-то между Полярной звездой и Южным Крестом, Центавром и Лирой, вершится трогательное действо: некий мужчина вдруг ощутил себя единственным защитником и отцом девочки с заплаканным личиком; он гладит ее по головке и говорит — что, собственно, он говорит? Что он *так* счастлив, *так* счастлив, что *любит, страшно* любит существо, которое всхлипывает и сморкается у него на плече, что никогда он отсюда не уедет, и прочее в этом роде.

— Не знаю, *что* это мне в голову взбрело, — всхлипывая, вздыхает Анчи. — Я... мне так хотелось с вами еще... поговорить...

— А почему вы плакали? — буркнул Прокоп.

— Потому что вы так долго не шли, — звучит неожиданный ответ.

В душе Прокопа что-то слабеет — может быть, воля.

— Вы... вы меня... любите? — выдавливает он из себя, а голос его ломается, как у четырнадцатилетнего. Головка, зарывшаяся у него под мышкой, кивает энергично и недвусмысленно.

— Наверное, я должен был... прийти к вам, — подавленный, шепчет Прокоп.

Головка решительно тряхнула: нет, нет!

— Здесь мне лучше, — вздохнула Анчи минутку погодя. — Здесь... так прекрасно!

Вряд ли кто-нибудь поймет, что прекрасного нашла она в жестком мужском пиджаке, пропахшем табаком и потом; но Анчи зарывается в него лицом, и ничто на свете не заставит ее поднять глаза к звездам; так она счастлива в этом темном, пахучем убежище. Ее волосы щекочут нос Прокопа, от них исходит чудесный тонкий запах. Прокоп гладит ее опущенные плечи, ее юную шейку и грудь и встречает лишь трепещущую покорность; тут он забывает все, резко и грубо запрокидывает ей голову, хочет поцеловать влажные губы. Но Анчи — Анчи бешено отбивается, она просто в ужасе, твердит: «Нет, нет, нет»... — и снова утыкается лицом в его пиджак, и он слышит, как сильно бьется ее испуганное сердечко. И тут

Прокоп понимает, что этот поцелуй был бы первым в ее жизни.

Тогда ему становится стыдно, его охватывает безграничная нежность, и он уже ни на что больше не отваживается — только гладит ее по волосам: это можно, это можно; господи, она ведь еще совсем ребенок и совсем глупенькая! А теперь — ни слова, ни словечка больше, чтобы даже дыханием не оскорбить неслыханного детства этой белой рослой телочки; ни одной мысли, которая могла бы грубо объяснить смятенные побуждения этого вечера! Он говорит, сам не понимая что; в его речах звучит медвежья мелодия, и нет никакого синтаксиса; они касаются попеременно звезд, любви, бога, прекрасной ночи и какой-то оперы — название и сюжет Прокоп не в силах вспомнить, но скрипки и человеческие голоса звучат в нем опьяняющим звоном. Временами ему кажется, что Анчи уснула; он умолкает, пока блаженный, сонный вздох на его плече не доказывает, что его слушают внимательно.

Потом Анчи выпрямилась, сложила руки на коленях и задумалась.

— Не знаю, не знаю, — томно сказала она, — никак не могу поверить, что это — правда...

По небу светлой черточкой скатилась звезда. Благоухает жасмин, спят закрывшиеся шары пионов, дыхание неведомого божества шелестит в вершинах деревьев.

— Как бы мне хотелось остаться здесь, — шепнула Анчи.

Еще раз пришлось Прокопу выдержать безмолвный бой с искушением.

— Спокойной ночи, Анчи, — заставил он себя сказать. — Что, если... если вернется ваш папа?..

Анчи послушно встала.

— Доброй ночи. — Она еще колебалась.

Так стояли они лицом к лицу и не знали, что начать... или кончить. Анчи была бледна, глаза ее растерянно моргали, вся ее фигурка говорила о том, что она готова решиться на какой-то подвиг; но когда Прокоп, совсем уже теряя голову, протянул руку к ее локтю, она трусливо увернулась и пошла на попятный. Они шагали по садовой дорожке, и расстояние между ними было не меньше метра; но когда добрались до того места, где лежали самые черные тени, — видимо, потеряли направление, по-

тому что Прокоп стукнулся зубами о чей-то лоб, торопливо поцеловал холодный нос и нашел своими губами отчаянно сжатый рот; и он грубо разрыл его, ломая девичью шею, раздвинул стучащие зубы и иступленно стал целовать жаркие, влажные, раскрытые, стонущие губы. Ей удалось вырваться, она отошла к калитке и заплакала. Прокоп бросился утешать ее, он гладит ее, рассеивает поцелуи по волосам, по уху, по шее, спине, но ничто не помогает; он молит, поворачивает к себе мокрое личико, мокрые глаза, мокрый всхлипывающий рот — его губы полны соленой влаги слез, а он все целует и гладит — и вдруг чувствует, что она уже ничему не сопротивляется, она отдалась на его милость и, наверное, плачет над своим страшным поражением. Тогда в Прокопе разом проснулась вся мужская рыцарственность, он выпустил из рук этот жалкий комочек и, растроганный до слез, только целует дрожащие, смоченные слезами пальцы. Вот так, так-то лучше... И тут она прижимает свое лицо к его грубой лапе, целует ее влажными, обжигающими губами, ласкает горячим дыханием, трепетными, мокрыми ресницами — и не дает, не отпускает его руку. Тогда и он заморгал часто, затаил дыхание — чтобы не задохнуться от мучительной нежности.

Анчи подняла голову.

— Доброй ночи, — сказала она тихо и очень просто подставила губы.

И Прокоп склонился над ними, поцеловал, как дуновение ветерка, нежно, как только умел, — и не осмелился провожать ее дальше; постоял в каком-то оцепенении, потом побрел совсем на другой конец сада, куда не проникает ни один лучик из Анчиного окна; и там он стоит, словно молится. Но нет, это не молитва — это всего лишь прекраснейшая ночь его жизни.

XIII

Едва рассвело — Прокоп не мог больше выдержать дома: решил сбегать нарвать цветов. Положить их у порога Анчиной спальни, и когда она проснется... Окрыленный радостью, выбрался Прокоп из дома чуть ли не в четыре часа утра. Люди, какая красота! Всякий цветок искрится, как глаза (а у нее — спокойные большие глаза телки... у нее такие длинные ресницы... сейчас она спит,

и веки у нее выпуклые и нежные, как голубиные яйца... господи, знать бы ее сны... если руки ее сложены на груди — их приподымает дыхание; если они под головой, тогда, наверное, соскользнул рукав и виден локоток — розовый твердый шарик... недавно она говорила, что до сих пор спит в железной детской кроватке... говорила, что в октябре ей исполнится девятнадцать, на шее у нее — родимое пятнышко... возможно ли, что она меня любит, это так странно) — и в самом деле, ничто не сравнится красотою с летним утром, но Прокоп не отрывает глаз от земли, улыбается в меру своего уменья и через множество калиток добирается до реки. И там, только у противоположного берега, обнаруживает бутоны кувшинок; пренебрегая всеми опасностями, он снимает одежду и бросается в густую слизь заводи, ранит ноги о какие-то коварные острые листья, но возвращается с охапкой цветов.

Кувшинки — цветы поэтичные, но они пускают отвратительный сок из мясистых стеблей; и Прокоп бежит со своей поэтичной добычей домой, соображая, чем бы обернуть стебли букета. Ага, вон на лавочке у дома доктор забыл вчерашнюю «Политику». Прокоп весело рвет ее, прочитывая мимолетно о какой-то балканской мобилизации, о том, что где-то пошатнулось министерство и что умер кто-то, изображенный в черной рамочке, — умер, оплакиваемый, разумеется, всей нацией. Вот уже обернуты мокрые стебли, и Прокоп залюбовался делом рук своих; и тут его будто сильно толкнуло в грудь: на газетной обертке он увидел одно-единственное слово. Это слово было: КРАКАТИТ.

С минуту Прокоп неподвижно глядел на него, попросту не веря глазам. Потом с лихорадочной поспешностью развернул газету, рассыпав роскошные цветы, и наконец нашел следующее объявление: «КРАКАТИТ! Прошу инж. П. сообщить свой адрес. Карсон, Гл. почтамт». И ничего больше. Прокоп протер глаза и перечитал: «Прошу инж. П. сообщить свой адрес. Карсон». Что за дьявольщина... Кто такой Карсон? И откуда он знает, гром и молния, откуда может он знать?.. В пятидесятый раз перечитывал Прокоп загадочное объявление «КРАКАТИТ! Прошу инж. П. сообщить свой адрес». И дальше: «Карсон, Гл. почтамт». Больше ничего и не вычитаешь.

Прокоп сидел, словно оглушенный дубиной. «Зачем, зачем я взял в руки эту проклятую газету», — с отчая-

нием промелькнуло у него в голове. Как это там написано? — «КРАКАТИТ! Прошу инж. П. сообщить свой адрес». Инж. П. — это он, Прокоп, а кракатит — то самое проклятое место, то неясное, затуманенное место в его мозгу, та болезненная опухоль, то, о чем он не осмеливался думать, с чем он ходил, биясь головой об стену, то, что уже утратило название — как тут написано? «КРАКАТИТ»! Внутренний толчок заставил Прокопа широко раскрыть глаза. Внезапно он увидел... увидел ту самую соль свинца, и разом в его памяти развернулся путаный фильм: нескончаемая, яростная борьба в лаборатории с этим тяжелым, тупым, инертным веществом; бессмысленные опыты вслепую, когда ничто не удавалось, пощипывание в пальцах, когда он в бешенстве ломал и дробил это вещество руками, кислый привкус на языке, едкий дым, усталость, от которой он засыпал, сидя на стуле, стыд, упрямство, и вдруг — во сне, что ли, последняя идея, эксперимент, парадоксальный и чудесно простой, физический трюк, которым он до того ни разу не пользовался. Увидел тончайшие белые иголочки, которые он смел наконец в фарфоровую банку, уверенный, что завтра произведет славный взрыв там, в песчаной яме, в поле, где находился его весьма незаконный опытный полигон. Увидел свое кресло в лаборатории, из которого вылезал волос и пружины; он рухнул тогда в это кресло, как измученный пес, и, вероятно, уснул, ибо вокруг стояла полная тьма — и вдруг ужасающий взрыв, звон стекла, и он летит вместе с креслом на пол. А потом — резкая боль в правой руке — чем-то ее поранило; а потом — потом...

Прокоп наморщил лоб — столь стремительное возвращение забытого причиняло ему боль. Ну да, вот он, этот шрам, через всю ладонь. Потом я хотел зажечь свет, но все лампочки полопались. И я шарил на ощупь в темноте, стараясь понять, что произошло: на столе груда осколков, а там, где я работал, цинковая пластина порвана, перекручена, спеклась, дубовая столешница расколота, словно в нее ударила молния. Потом я нашарил ту фарфоровую баночку, и она оказалась цела — и только тогда я ужаснулся. Ну да, ну да, это и был кракатит. А потом...

Прокопу невмочь было сидеть; он переступил через рассыпанные кувшинки, заметался по саду, кусая от

волнения пальцы. А потом я бежал куда-то, через поле, через вспаханное поле, несколько раз падал — господи, где же это было? Здесь связность его воспоминаний была основательно нарушена; несомненной была только страшная боль под лобными костями да какие-то дела с полицией. Потом я разговаривал с Иркой Томешем, и мы отправились к нему — нет, мы поехали на извозчике; я был болен, и он за мной ухаживал. Ирка — славный парень. Но, ради бога, что было дальше? Ирка Томеш сказал, что едет в Тынице, к отцу, но сюда он не приезжал; вот оно что, как странно... а я в это время спал, кажется...

Коротко, нежно звякнул звонок; я пошел открыть, и на пороге стояла девушка, лицо ее было скрыто вуалью...

Прокоп застонал, закрыл руками лицо. Он не отдавал себе отчета, что сидит на скамье, на той самой скамье, где прошедшей ночью дано ему было утешать и ласкать совсем другую...

...«Здесь живет пан Томеш?» — спросила она, задыхаясь: бежала, наверное, и горжетка вся обрызгана дождем — и неожиданно, так неожиданно подняла незнакомка глаза...

Прокоп чуть не взвыл от муки. Увидел ее, словно это было вчера; руки, маленькие руки в тесных перчатках, росинки дыхания на густой вуали, взгляд чистый, исполненный горя; прекрасная, грустная, отважная. «Вы его спасете, правда?» Ее серьезные глаза совсем близко, — от них кружится голова! — она смотрит на него и комкает какой-то сверток, толстый пакет с печатями, прижимает его к груди трепетными руками, всеми силами подавляя смятение...

Прокопа словно ударили по голове. Куда я девал этот пакет? Кто бы ни была эта девушка — я обещал отдать его Томешу. За время болезни я... забыл обо всем; или, вернее... не хотел об этом думать. Но теперь... Теперь его надо отыскать, это ясно.

Бурей ворвался он в свою комнату, разбросал все содержимое ящиков. Нету, нету, нету нигде! В двадцатый раз перебрал он свои пожитки, листок за листком, вещь за вещью. Потом уселся посреди разгрома, как над развалинами Иерусалима, сдавив руками лоб. Наверно, пакет взял доктор, или Анчи, или хохотушка Нанда; иначе быть не может. Непоколебимо уверившись в этом путем детективных рассуждений, он ощутил вдруг какое-то

недовольство, какое-то неприятное чувство; как во сне, подошел он к печи, глубоко засунул руку внутрь и вынул... искомое. Тогда только он смутно припомнил, что сам положил пакет в это место, когда еще был не совсем здоров; теперь он вспоминал, что среди всех обмороков и бредовых снов он постоянно заботился о том, чтобы пакет был при нем, и приходил в ярость, когда сверток забирали; при всем том он очень боялся этого толстого пакета, ибо с ним было связано чувство мучительной тревоги и тоски. Наверное, он с хитростью сумасшедшего спрятал его в печку от самого себя, чтобы отвязаться. Ну, да черт ли разберется во всех загадках подсознания; теперь пакет здесь, у него в руках, этот толстый, перевязанный конверт за пятью печатями, и на нем написано: «Для пана Иржи Томеша». Прокоп попытался угадать хоть что-нибудь по этому сложившемуся тонкому почерку; но вместо этого снова увидел девушку в вуали — она комкает конверт дрожащими пальцами... и вот, вот опять поднимет глаза... Прокоп жадно принюхался к конверту: пахнет слабым, далеким ароматом.

Он положил пакет на стол, долго ходил вокруг него. Страстно захотелось узнать, что там внутри, за пятью печатями; несомненно — тяжелая тайна, развязка отношений, роковых и мучительных. Правда, она сказала, что... что делает это для кого-то другого; но она была так взволнована... И все же, чтобы она, *она* могла любить Томеша — невероятно! Томеш — шалопай, — констатировал Прокоп с глухой яростью; этому цинику всегда везло у женщин. Ладно, я найду его и передам ему послание любви; и дело с концом...

И вдруг в голове вспыхнуло: что, если существует какая-то связь между Томешем и этим, как его, этим треклятым Карсоном! Никто ведь не знал и не знает о кракатите; только Ирка Томеш, вероятно, каким-то образом разнюхал... Новая картинка сама собой возникла в путаной киноленте памяти: он, Прокоп, лежит в бреду (кажется, это было в квартире Томеша), а Ирка склоняется над ним, записывает что-то в блокнот. Конечно, сомнений быть не может — он записывал мою формулу! Я выболтал все, он вытянул из меня, украл и продал, должно быть, этому Карсону! Прокопа до глубины души потрясла подобная подлость. Господи, и в руки такого человека попала та девушка! Да если есть на свете хоть одна ясная

цель, то вот она: надо спасти девушку во что бы то ни стало!

Ладно, сначала надо найти Томеша, вора; я отдам ему этот запечатанный пакет, а кроме того — выбью зубы. Далее — он просто в моих руках: я заставлю его дать мне адрес и имя той девушки и обязаться... Нет. Никаких обещаний от подлеца! Но я пойду к ней и расскажу ей все. А потом навсегда исчезну с ее глаз.

Довольный таким рыцарским решением, Прокоп остановился над злополучным пакетом. Ах, знать бы только одно, одно-единственное — была ли она любовницей Томеша?! Опять она встала перед ним, прекрасная, сильная. Ни взглядом, ни взмахом ресниц не коснулась она тогда грешного ложа Томеша. Неужели можно так лгать глазами, так лгать такими глазами?..

И тут, втянув в себя сквозь зубы воздух, как от сильной боли, он взломал печати, сорвал шпагат и вскрыл пакет. В нем были деньги и письмо.

XIV

А доктор Томеш уже сидит за завтраком, отфыркиваясь и ворча: роды сегодня выдались трудные; изредка он бросает на Анчи взгляды — испытующие и недовольные. Анчи молчит как убитая, не ест, не пьет, она просто глазам своим не верит — отчего Прокоп еще не показывался? Губы ее слегка дрожат, она вот-вот заплачет. Тут входит Прокоп — его движения странно резки, он бледен и даже не присел — так он спешит. Кое-как поздоровавшись, бегло взглянул на Анчи, словно на незнакомую, и тотчас, с нетерпеливым раздражением спросил:

— Где сейчас ваш Ирка?

Доктор обернулся в крайнем изумлении:

— Что-о?

— Где сейчас ваш сын? — повторил Прокоп, сжигая его упрямыми глазами.

— Откуда я знаю? — проворчал доктор. — Я о нем и слышать не хочу.

— Он в Праге? — настойчиво допытывается Прокоп, а руки его уже сжимаются в кулаки.

Доктор молчит, но, видно, в душе его происходит усиленная работа.

— Мне надо с ним говорить, — цедит Прокоп, — *надо,* слышите? Я должен поехать к нему, сейчас, немедленно! Где он?

Доктор, пожевав губами, встает и направляется к двери.

— Где он? Где он живет?

— Не знаю! — не своим голосом крикнул доктор и захлопнул за собой дверь.

Прокоп обернулся к Анчи. Она сидела в каком-то оцепенении, устремив в пустоту огромные глаза.

— Анчи, — лихорадочно забормотал он, — вы должны сказать, где ваш Ирка... Я... мне нужно съездить к нему, понимаете? Дело в том, что... такое дело... В общем, тут дело касается некоторых вещей... я... Прочитайте это, — закончил он поспешно и сунул ей под нос смятый обрывок газеты. Но Анчи видела только какие-то круги.

— Это мое открытие, понимаете? — нервно объяснил он. — Меня разыскивают, некий Карсон... Где ваш Иржи?

— Мы не знаем, — шепнула Анчи. — Вот уже два... уже два года он нам не пишет...

— А-ах! — вырвалось у Прокопа, и он яростно скомкал газету.

Девушка окаменела; только глаза ее, казалось, все росли, и каким-то жалобным смятением дышали полуоткрытые губы.

Прокоп готов был провалиться.

— Анчи, — рассек он наконец тягостное молчание, — я вернусь. Через несколько дней... Я... Это *очень важное дело.* Надо же... надо же все-таки думать... и о своей работе. Ведь у каждого, знаете, есть... определенные обязанности... (Господи, вот брякнул!) Поймите, что... Ну, просто я должен! — выкрикнул он вдруг. — Мне лучше умереть, чем не поехать, понимаете?

Анчи лишь едва заметно кивнула. Ах, если бы она кивнула ниже, — бум! — с громким плачем уронила бы голову на стол, но так у нее только глаза наполнились слезами, остальное Анчи сумела проглотить.

— Анчи, — бормотал растерявшийся Прокоп, в отчаянии ретируясь к двери. — Я даже прощаться не стану; правда, не стоит: через неделю, через месяц я снова буду здесь... Ну, послушайте...

Он не смел даже взглянуть на нее; а она сидела, словно отупев; опустились ее плечи, глаза сделались

незрячими, а носик уже набухал от сдерживаемых слез — смотреть больно!

— Анчи... — сделал он еще одну попытку и тут же смолк. Бесконечной показалась ему эта последняя минута на пороге; он чувствовал — надо было еще что-то сказать или сделать, но вместо всего этого еле выжал что-то вроде «до свиданья» и, с мукой в душе, вышел.

Как вор, на цыпочках, покидал Прокоп дом. Заколебался еще у двери, за которой оставил Анчи. Там до сих пор стояла тишина, сдавившая его невыразимым страданием. Перед выходом из дому он вдруг остановился, как человек, забывший что-то, и на цыпочках вернулся в кухню. Слава богу, Нанды нет, и он подошел к полочке. «...АТИТ!.. адрес. Карсон, Гл. почтамт». Это он прочел на газете, которую веселая Нанда выстригла узорным кружевом и постлала на полочку. Там он положил для служанки полную пригоршню денег за ее услуги и исчез.

Прокоп, Прокоп, так не поступает человек, если он собирается вернуться через неделю!

*

«Идет-идет, идет-идет», — скандирует поезд; но для человеческого нетерпения уже недостаточна его громыхающая, брякающая скорость; человек — весь нетерпение — ерзает на скамье, то и дело вытаскивает часы, и движения его резки и нервны. Один, два, три, четыре — это телеграфные столбы. Деревья, поле, деревья, будка обходчика, деревья, откос, откос, забор, поле. Одиннадцать часов семнадцать минут. Свекольное поле, женщины в синих передниках, дом, собачонка, вбившая себе в голову обогнать поезд, поле, поле, поле. Одиннадцать семнадцать. Господи, неужели время остановилось? Лучше думать о чем-нибудь; закрыть глаза и считать до тысячи; произносить мысленно «Отче наш» или химические формулы. «Идет-идет, идет-идет!» Одиннадцать восемнадцать. Боже, что делать?

Вдруг Прокоп очнулся. «КРАКАТИТ» — бросилось ему в глаза — он даже испугался. Где это? Ах, это сосед напротив читает газету, на оборотной стороне ее — все то же объявление. «КРАКАТИТ! Прошу инж. П. сообщить свой адрес. Карсон, Гл. почтамт». Ну его к черту, этого Карсона, — думает «инж. П.», однако на ближайшей стан-

ций скупает все газеты, какие только плодит благодатная родина. Объявление — во всех, и всюду одно и то же; «КРАКАТИТ! Прошу инж. П...» Ах, леший тебя побери, — удивляется «инж. П.», — как они меня разыскивают! Зачем я им нужен, если Томеш уже все им продал?

Но вместо того чтобы решать эту важную загадку, Прокоп огляделся — не следят ли за ним — и, кажется, в сотый раз вынул знакомый нам разорванный, набитый деньгами пакет. Долго вертел он его, подкидывал, взвешивал на ладони, всячески стараясь растянуть для себя огромное удовольствие — ждать; наконец вынул то письмо, драгоценное письмо, написанное энергичным, сложившимся почерком.

«Пан Томеш, — в который раз жадно перечитывал Прокоп, — я делаю это не ради вас, а ради сестры. С того мгновения, как вы прислали ей то ужасное письмо, она сходит с ума. Она хотела продать все свои платья и драгоценности, чтобы послать вам деньги; мне стоило большого труда удержать ее от поступка, который она не могла бы скрыть от своего мужа. То, что я вам посылаю, мои собственные деньги; знаю, вы примете их без излишних угрызений, и прошу не благодарить меня. *Л.*».

А ниже торопливо приписано:

«Богом прошу, оставьте М. в покое! Она отдала все, что имела; отдала вам больше, чем принадлежало ей. Я замираю от ужаса, что будет, если все обнаружится. Заклинаю вас всем на свете, не злоупотребляйте своим страшным влиянием на нее! Было бы слишком подло, если бы вы...» — окончание фразы было зачеркнуто, а далее следовала еще приписка: «Поблагодарите за меня вашего друга, который вручит вам это. Мне не забыть его доброты ко мне в минуту, когда я больше всего нуждалась в человеческой помощи».

Прокопа прямо душил избыток тяжкого счастья. Значит, она не принадлежала Томешу! И ей не на кого было опереться! Храбрая девушка и энергичная — сорок тысяч достала, только бы спасти свою сестру от... видимо, от какого-то позора! Вот эти тридцать тысяч — из банка: они еще оклеены бандеролью — в таком виде она получила их... черт, почему на бандероли нет названия банка? Остальные десять тысяч она собрала бог весть где и как; тут попадаются мелкие банкноты, жалкие грязные пятерки, обветшалые бумажки, прошедшие несчетное коли-

чество рук, смятые бумажки из дамских сумочек; господи, какой отчаянной беготни ей стоило собрать вот эту горстку денег! «Мне не забыть его доброты...» В эту минуту Прокоп готов был до смерти избить Томеша, бессовестного, гнусного негодяя! Но вместе с тем прощал ему все... ведь она не была его любовницей! Она не принадлежала Томешу, а это по меньшей мере означает, что она — ангел чистейший, совершеннейший, святыня. И было у него ощущение, словно какая-то неведомая рана в сердце заживает так стремительно, что причиняет боль.

Да, найти ее; прежде всего я должен... должен вернуть ей деньги (он даже не устыдился столь прозрачного повода) и сказать ей, что... что, одним словом... она может на меня рассчитывать, в отношении Томеша и вообще... «Мне не забыть его доброты». Прокоп даже руки сложил, как для молитвы: боже, да я готов сделать что угодно, лишь бы заслужить эти слова...

О-ох, как медленно тащится поезд!

XV

Добравшись до Праги, Прокоп помчался к Томешу на квартиру. Возле Музея остановился: проклятье, где же, собственно, живет Томеш? Я шел тогда... да, шел, дрожа от озноба, к трамвайной остановке у Музея; но откуда? С какой улицы? Бесясь и ругаясь, бродил Прокоп вокруг Музея, в тщетных попытках определить направление, но так ничего и не вспомнил и отправился в полицию, в адресный стол. Иржи Томеш, — листал в книгах запыленный чиновник, — инженер Томеш, это — на Смихове, такая-то улица. Видимо, это был старый адрес, но Прокоп помчался на Смихов, на такую-то улицу. Привратник, выслушав его вопросы, лишь покачал головой. Да, жил здесь такой, но уже год с лишним как съехал; где он живет сейчас — никто не знает; впрочем, он оставил тут разные долги...

Удрученный, забрел Прокоп в какое-то кафе. «КРАКАТИТ», — бросилось ему в глаза с последней полосы газеты. «Прошу инж. П. сообщить свой адрес. Карсон, Гл. почтамт». Ба, конечно, он знает о Томеше, этот Карсон; ну да, между ними есть какая-то связь. Ладно, черкнем открытку: «Карсону, Главный почтамт до востребо-

вания. Приходите завтра в полдень в такое-то кафе. Инж. Прокоп». Едва он написал это, как в голову пришла новая мысль: «Долги!» Прокоп, схватился, побежал в суд, в отдел розыска ответчиков. Действительно, здесь очень хорошо знали адрес Томеша: целая груда неврученных повесток, судебных исполнительных листов и так далее; однако похоже на то, что упомянутый Томеш Иржи исчез бесследно, не сообщив о своем новом местопребывании. И все же Прокоп бросился по последнему известному адресу Томеша. Привратница, чью память освежило приличное вознаграждение, тотчас узнала Прокопа; да, один раз он ночевал здесь; затем она преохотно доложила, что инженер Томеш — обманщик и негодяй; что он уехал в ту самую ночь, оставив его, пана Прокопа, на ее, привратницы, попечение; что она трижды поднималась к нему — осведомиться, не надо ли чего, но он, пан Прокоп, все спал и разговаривал во сне, а после полудня исчез. Спрашивается, где же господин Томеш? Да уехал тогда же, оставил все, как есть, и до сих пор не возвращался; только деньги прислал откуда-то из-за границы, но уже начался новый квартал, и он опять должен за квартиру. Говорят, если он не объявится к концу месяца, судебные исполнители продадут с аукциона все его пожитки. Долгов, говорят, наделал больше четверти миллиона, вот и сбежал.

Прокоп подверг эту превосходную женщину подробному допросу: известно ли ей что-нибудь о некоей особе, которая как будто была в некоторых отношениях с паном Томешем, и кто вообще сюда приходил, и тому подобное. Привратница не знала ровным счетом ничего; а что до баб, то их ходило сюда штук двадцать, и с вуалями и без них, и намазанные, и всякие прочие, одним словом, срам на всю улицу!

Прокоп уплатил ей за квартал из своих денег и получил ключ от квартиры Томеша.

В комнате стоял затхлый запах давно заброшенного, почти мертвого человеческого жилья. Только теперь Прокоп заметил роскошное убранство той комнаты, где он мучительно боролся с горячкой. Везде персидские ковры, бухарские или еще какие-то подушки, по стенам — обнаженные натуры и гобелены, Восток и европейские кресла, туалетный столик субретки и ванная дорогой проститутки, смесь роскоши и пошлости, распутства

и безалаберности. И здесь, посреди всей этой мерзости, стояла в тот день она, прижимая пакет к груди; она потупила чистые, полные горя глаза — но вот, боже мой, поднимает их в мужественной, искренней доверчивости... Господи, что она должна была подумать обо мне, встретив в этом вертепе! Я должен разыскать ее, хотя бы... хотя бы для того, чтобы вернуть ей деньги; хотя бы ради этого, если не ради чего-то другого, большего... Ее просто необходимо найти!

Легко сказать — найти; но как? Прокоп кусал губы, усиленно соображая. Знать бы по крайней мере, где искать Ирку, — подумал он. Его рассеянный взор наткнулся на груду корреспонденции, ожидавшей Томеша. Большая часть ее по виду напоминала деловые письма, вероятно счета. Потом несколько личных писем — он нерешительно рассматривал их, вертел в руках. Быть может, в одном из них есть какой-нибудь след, адрес или хоть что-нибудь, что могло бы привести к нему... или к ней! Он героически сопротивлялся искушению вскрыть хоть какое-нибудь из писем; но он был совсем один, отделенный от мира мутными стеклами окон, а здесь все дышало мерзкой, постыдной тайной. И, разом отбросив все колебания, Прокоп принялся рвать конверты и читать письмо за письмом. Счет за персидские ковры, за цветы, за три пишущих машинки; настойчивое напоминание о том, что прошел срок рассчитаться за вещи, сданные на комиссию; какие-то загадочные операции, касающиеся лошадей, иностранной валюты и двенадцати вагонов кругляка, стоявших где-то под Кремницей. Прокоп не верил своим глазам; судя по этим документам, Томеш был или крупный контрабандист, или агент по продаже персидских ковров, или спекулянт валютой, а скорее всего — и то, и другое, и третье; помимо того, он перепродавал автомобили, экспортные сертификаты, канцелярскую мебель — да, вероятно, все на свете. В одном письме шла речь о каких-то двух миллионах, в то время как другое, грязное, нацарапанное карандашом, грозило судом за то, что Томеш выманил у его автора фамильную драгоценность («старинный Ring[1] мово деда»). Короче, все вместе обнажало длинную цепь мошенничеств, растрат, подделки экспортных документов и касалось прочих параграфов уголовного

[1] перстень (*нем.*).

кодекса, насколько мог судить Прокоп; просто удивительно, как это все до сих пор не выплыло наружу. Какой-то адвокат лаконично доводил до сведения, что такая-то фирма подала на пана Томеша в суд за растрату сорока тысяч крон; пану Томешу, в его собственных интересах, надлежит явиться в контору и т. д. Прокоп ужаснулся: когда все наконец лопнет — куда могут долететь брызги этой невероятной грязи? Он вспомнил и тихий дом в Тынице, и ту, что стояла однажды здесь, в отчаянной решимости спасти этого человека. И он собрал всю деловую переписку фирмы «Томеш» и бросился к печке — жечь. Печка была набита обугленными бумажками; видимо, перед отъездом сам Томеш тем же способом разрешал свои проблемы.

Ну хорошо, это были деловые бумаги; осталось еще несколько сугубо личных писем, одни написанные изящным почерком, другие — жалкими каракулями. И снова стоит над ними Прокоп, не смея решиться. Но что еще, во имя всех чертей, могу я сделать? И вот, сгорая от стыда, он торопливо принялся вскрывать оставшиеся конверты. Здесь — несколько липких интимностей — «котик... помню... новое свидание...» — и так далее. Некая Анна Хвалова с трогательными орфографическими ошибками сообщает, что Еничек помер «от сыпи». А вот кто-то предупреждает, что знает «такое, чем могла бы заинтересоваться полиция», но готов пойти на переговоры, так как пану Томешу, конечно, известна цена подобной деликатности; тут же — намек на «тот самый дом по Бржет. ул., пан Томеш сам знает, кого там спросить, чтобы все осталось шито-крыто». И снова о какой-то деловой операции, о проданных векселях; письмо подписано: «Твоя Ружа». Та же Ружа сообщает, что ее муж уехал. Тот же почерк, что и в первом письме, на этот раз — послание с курорта; сплошь коровьи сантименты, разнузданная эротика немолодой дебелой блондинки, подслащенная бесконечными ахами, упреками, изъявлениями чувств, и ко всему этому — «котик», «сумасшедший дикарь» и прочие мерзости; Прокопу стало тошно. Письмо по-немецки, инициал «G», продажа валюты — «продай те бумаги, erwarte Dich. P. S. Achtung, K. aus Hamburg eingetroffen» [1]. То же самое «G» под торопливым, оскорбленным посланием,

[1] жду тебя. Постскриптум: К. приехал из Гамбурга (*нем.*).

леденящее обращение на вы: «Верните те десять тысяч, sonst wird K. dahinterkommen»...[1] гм!

Прокопу до смерти противно проникать в пахучую полутьму всех этих постельных делишек, но теперь уже поздно останавливаться. Наконец — четыре письма, подписанные инициалами «М»: письма слезливые, лихорадочные, мучительные, дышащие тяжкой, страстной историей какой-то слепой, душной, рабьей любви. Были тут отчаянные мольбы, пресмыкание в прахе, безумные обвинения, ужасающее навязывание себя и еще более страшное самобичевание; упоминание о детях, о муже, просьба взять у нее еще взаймы, неясные намеки и слишком очевидное унижение женщины, измученной любовью. Так вот она какая, ее сестра! У Прокопа было ощущение, словно он видит насмешливые жестокие губы, колючий взгляд, барски-надменное, самоуверенное и самовлюбленное лицо Томеша; он готов был ударить по нему кулаком. Но что толку — эта обнаженная, скорбная любовь женщины не сказала ему ни слова о той... другой, для которой у него до сих пор нет имени и искать которую положила ему судьба.

Стало быть, остается только найти Томеша.

XVI

Найти Томеша — о, словно *это так* просто! Прокоп еще раз произвел генеральный обыск во всей квартире; он перерыл все шкафы и ящики, не обнаружив, кроме старых запыленных счетов, любовных писем, фотографий и прочего холостяцкого хлама, ничего, что могло бы пролить хоть малейший свет на загадку исчезновения Томеша. Впрочем, конечно, у кого рыльце в пуху, тот постарается скрыться подальше!

Прокоп еще раз допросил привратницу; узнал, правда, кучу сомнительных историй, но ни одна не наводила на след. Он обратился к домовладельцу с вопросом — откуда именно прислал Томеш те деньги. Пришлось выслушать целую проповедь желчного и довольно неприятного старичишки, страдавшего всеми возможными катарами и сетовавшего на испорченность нынешних молодых людей.

---

[1] или К. обо всем догадается (*нем.*).

Ценой нечеловеческого терпения Прокоп выудил наконец лишь одно: упомянутые деньги были переведены не самим Томешом, а каким-то банкиром на счет Дрезденского банка «auf Befehl des Herrn Tomes» [1].

Тогда Прокоп помчался к адвокату, который, как было сообщено выше, имел весьма недвусмысленное дело к разыскиваемому. Адвокат без всякой нужды тщательно облекал дело в мантию профессиональной тайны. Но когда Прокоп по глупости выболтал, что должен передать Томешу кое-какие деньги, адвокат оживился и потребовал, чтобы Прокоп вручил эти деньги ему; Прокопу стоило большого труда выпутаться из этой истории. Отсюда он извлек урок: не следует наводить справки о Томеше у людей, состоящих с ним в каких-либо деловых отношениях.

На первом же перекрестке Прокоп остановился: что дальше? Остается один Карсон. Неизвестная величина, которая что-то знает и чего-то хочет. Ладно, пусть будет Карсон. Прокоп нащупал в кармане открытку, которую забыл послать, и бросился к ближайшей почте.

Но у почтового ящика рука его опустилась. Карсон, Карсон... Да, но ведь то, чего хочет Карсон, тоже далеко не пустяк. Черт бы его побрал, этот тип разнюхал что-то о кракатите и замыслил — впрочем, бог знает, что он замыслил. Зачем он вообще меня разыскивает? Вероятно, Томешу известно не все; или он не захотел все продать; или ставит бессовестные условия, и Карсон воображает, что я, осел, обойдусь дешевле. Да, видимо, так и есть; но (и тут Прокоп впервые ужаснулся последствий) разве можно вообще открывать тайну кракатита? Тысяча чертей, сначала надо как следует выяснить, каковы его качества и на что он годен, как с ним обращаться и прочее; кракатит, брат, это тебе не нюхательный табак и не детская присыпка. А во-вторых, во-вторых, кажется, это вообще... чересчур сильный табак для нашей планеты. Представьте, каких бед может наделать кракатит... допустим, во время войны. От таких размышлений Прокопу стало даже не по себе. И кой черт припутал сюда еще этого треклятого Карсона? Господи Иисусе, надо во что бы то ни стало помешать...

Прокоп схватился за голову так порывисто, что прохожие оглянулись. Боже мой, ведь там, на холме, в своей

---

[1] по распоряжению г-на Томеса (*нем.*).

лаборатории на Гибшмонке, я оставил в фарфоровой баночке чуть ли не полтораста граммов кракатита! Ровно столько, сколько нужно для того, чтобы поднять на воздух — не знаю, целый округ! В первое мгновение Прокоп оцепенел от ужаса — потом бегом бросился к трамваю: словно эти несколько минут имели еще какое-то значение! Прокоп дрожал от нетерпения, пока трамвай тащился на другой берег Влтавы; выскочил на ходу, с разбегу одолел Коширжский холм и помчался к своей лачуге. Дверь оказалась запертой, и Прокоп обыскал все карманы в надежде найти хоть какое-нибудь подобие ключа; потом осмотрелся, как вор, — уже сгустились сумерки, — разбил стекло, открыл изнутри шпингалеты и влез к себе домой через окно.

Едва он зажег первую спичку, как понял, что ограблен самым методичным образом. Впрочем, постель и прочий хлам остались; зато все пузырьки, колбы и пробирки, мельницы, ступки, мисочки и аппараты, ложки и весы, вся его примитивная химическая кухня, все, в чем содержались вещества, нужные для его опытов, все, на чем мог быть хотя бы тончайший налет или осадок химикалий — все исчезло. Исчезла и фарфоровая баночка с кракатитом. Он рывком выдвинул ящик стола: все его записи и заметки, до последнего исписанного клочка, малейшая память о его двенадцатилетних экспериментах — все пропало. С пола соскребли даже пятна, следы его работ, даже его рабочую блузу — старую, засаленную, заскорузлую от пролитых кислот блузу и ту унесли. К горлу подступил комок слез. Что же это такое, что они со мной сделали!

До глубокой ночи сидел Прокоп на своей солдатской койке, оцепенело глядя на опустошенную лабораторию. Минутами утешал себя — быть может, вспомнит еще все, что написал за двенадцать лет в своих блокнотах; но, выбрав наугад какой-то эксперимент и попытавшись по памяти мысленно воспроизвести его, понял, что не сдвинется с мертвой точки, несмотря на самые отчаянные усилия; тогда он впился зубами в изуродованные пальцы и застонал...

Проснулся он от звука поворачиваемого ключа. На дворе — раннее утро, в лабораторию, словно к себе домой, входит незнакомый человек — и прямо к столу. Вот он

сидит там, не сняв шляпы, мурлычет что-то и тщательно выскабливает цинковую пластину, покрывающую стол. Прокоп сел на койке, крикнул:

— Эй, что вам тут надо?

Человек обернулся в крайнем изумлении и молча уставился на Прокопа.

— Что вам тут надо? — раздраженно повторил Прокоп.

Человек — ни слова; да еще очки надел, продолжая с глубоким интересом разглядывать Прокопа.

Прокоп скрипнул зубами, в душе его уже закипало грубое ругательство. Но тут человек просиял, вскочил со стула, и вдруг у него стал такой вид, как если бы он радостно завилял хвостом.

— Карсон, — быстро назвал себя незнакомец и заговорил по-немецки. — Боже, как я рад, что вы вернулись! Вы читали мое объявление?

— Читал, — ответил Прокоп своим жестким, стопудовым немецким языком. — А что вы здесь ищете?

— Вас, — воскликнул гость, до крайности обрадованный. — Известно ли вам, что я разыскиваю вас уже полтора месяца? Все газеты, все детективные агентства, ха-ха, сударь! Что скажете! Herr Gott [1], как я рад! Ну, как дела? Здоровы?

— Зачем вы меня обокрали? — хмуро осведомился Прокоп.

— Простите — что?

— Зачем вы обокрали меня?

— О господин инженер, — так и рассыпался счастливый человек, ничуть не обидевшись, — что вы такое говорите! Я вас обокрал! Я, Карсон! Нет, это великолепно, ха-ха!

— Обокрали, — упрямо повторил Прокоп.

— Та-та-та, — запротестовал Карсон. — Спрятал. Убрал. Как только вы решились все бросить? Ведь могли украсть, а? Что? Конечно, могли, сударь. Украсть, продать, опубликовать, а? Естественно. Могли. А я все спрятал, понимаете? Честное слово. Вот почему я вас и искал. Я все верну. Все. То есть... — В голосе его послышалось колебание, и под сверкающими стеклами очков вдруг обнажилась твердая сталь. — В том случае...

[1] Господи (*нем.*).

если вы будете разумны. Но мы договоримся, верно? — быстро добавил он. — Вам нужно получить ученое звание. Блестящая карьера. Атомные взрывы, распад элементов, превосходные вещи. Наука, прежде всего наука! Мы договоримся, не так ли? Честное слово, вы все получите обратно. Так-то.

Прокоп молчал, ошеломленный этим словоизвержением, а Карсон размахивал руками и кружился по лаборатории в безудержной радости.

— Все, все я сохранил для вас, — весело болтал он. — Каждую щепочку. Рассортировано, уложено, под ярлычками, под печатями. Ха-ха, я мог ведь взять и уехать со всем этим добром, верно? Но я честный человек, сударь. Все верну. Мы должны договориться. Спросите о Карсоне. Датчанин, был доцентом в Копенгагене. Я тоже делал науку, божественную науку! Как это у Шиллера? «Dem einen ist sie... ist sie...» Забыл, но, в общем, что-то о науке; потеха, верно? Ну, благодарить еще рано. Потом, потом. Так-то.

Прокоп, правда, и не думал благодарить, но Карсон сиял, как счастливый благодетель.

— На вашем месте, — восторженно ворковал он, — на вашем месте я устроил бы...

— Где сейчас Томеш? — оборвал его Прокоп.

Карсон уколол его испытующим взглядом.

— Гм... *мы* о нем кое-что знаем, — осмотрительно процедил он. — Э, да что там! — Он ловко переменил тему, — Вы устроите... устроите крупнейшую лабораторию в мире. Лучшие аппараты. Всемирный институт деструктивной химии. Вы правы, кафедра — глупость. Повторять, как попугай, старые истины... Потеря времени. Устройтесь по-американски. Гигантский институт, полк ассистентов, все что угодно. А о деньгах вам беспокоиться нечего. Точка. Где вы завтракаете? Мне так хотелось бы пригласить вас...

— Чего вы, собственно, добиваетесь? — вырвалось у Прокопа.

Тут Карсон присел на койку рядом с ним, с горячностью схватил его за руку и вдруг проговорил совсем другим голосом:

— Только не пугайтесь. Можете заработать кучу миллионов.

XVII

Прокоп ошеломленно взглянул на Карсона. Странно — лицо у него теперь было совсем другое, — оно уже не сияло блаженством, не напоминало мордочку мопса; теперь все в этом низеньком человечке стало серьезным и строгим, глаза прикрылись тяжелыми веками и лишь временами взблескивали, как два клинка матовой стали.

— Не будьте дураком, — выразительно произнес о н . — Продайте нам кракатит, и делу конец.

— Откуда вы вообще знаете... — начал было Прокоп.

— Я вам все скажу. Честное слово, все. Господин Томеш был у нас. Привез полтораста граммов и формулы. К сожалению, он не привез нам сведений, как добывать кракатит. Ни он сам, ни наши химики до сих пор не восстановили процесса составления. Какой-нибудь трюк, верно?

— Да.

— Гм. Быть может, и без вас догадаются.

— Не догадаются.

— Господин Томеш... знает кое-что, но страшно скрытничает. У нас он работал за запертой дверью. Очень скверный химик, но умнее вас. Хоть не выбалтывает того, что знает. Зачем вы ему рассказали? Он ничего не умеет — разве что выкачивать авансы. Надо было вам самому прийти.

— Я его к вам не посылал, — проворчал Прокоп.

— Вот как, — усмехнулся Карсон. — Чрезвычайно интересно. Ваш Томеш явился к нам...

— Куда это?

— К нам. Комбинат в Балттине. Знаете?

— Нет. Не знаю.

— Иностранное предприятие. Последнее слово техники. Лаборатория для разработки новых взрывчатых веществ. Производим керанит, метилнитрат, желтый порох и прочее. Главным образом — для армии, понимаете? Секретные патенты. Так вы продадите нам кракатит?

— Нет. А Томеш еще у вас?

— Ах да, господин Томеш; послушайте, вот была потеха! Приходит он к нам и говорит: вот завещание моего друга, гениального химика Прокопа. Он умер у меня на руках и при последнем издыхании — ха-ха! — доверил мне... Ха-ха-ха, великолепно, не правда ли?

Прокоп лишь криво усмехнулся.

— А Томеш до сих пор... в Балттине?

— Погодите. Конечно, сначала мы задержали его... как шпиона. Они к нам ходят толпами, понимаете? А этот порошок, кракатит, отдали на пробу.

— Результат?

Карсон воздел руки:

— Вос-хи-тительный!

— Скорость взрыва? Какое получилось Q? Какое t? Цифры!

Карсон так стремительно опустил руки, что раздался шлепок, и изумленно округлил глаза:

— Что вы, какие там цифры! Первый опыт... пятьдесят процентов крахмала... и крушер разлетелся вдребезги; один инженер и два лаборанта... тоже вдребезги. Не верите? Опыт второй: блок Траузеля, девяносто процентов вазелина и — бум! Снесло крышу, убит один рабочий; от блока остались одни шкварки. Тогда в дело вмешались военные; они смеялись над нами — уменья, мол, у вас, как... у деревенского кузнеца. Дали мы им немного; они засыпали это вперемешку с древесным углем в орудийный ствол. Великолепный результат. Семеро артиллеристов вместе с командиром... Чью-то ногу нашли в трех километрах. За два дня — двенадцать убитых: вот вам цифры, ха-ха! Восхитительно, не правда ли?

Прокоп хотел что-то сказать, но запнулся. Двенадцать убитых за два дня, черт возьми!

Карсон, сияя, поглаживал себя по коленям.

— На третий день мы решили отдохнуть. Знаете, это производит плохое впечатление, когда... таких случаев много. Распорядились только нейтрализовать кракатит... около тридцати граммов... в глицерине и так далее. Свинья лаборант оставил щепотку порошка на столе, и ночью, когда лаборатория была заперта...

— Взорвалось! — воскликнул Прокоп.

— Да. В десять тридцать пять. Лаборатория — в щепы, да еще, кажется, два объекта... Попутно подорвалось еще тонны три метилнитрата Пробста... Короче, около шестидесяти убитых, н-ну... Конечно, тщательные расследования и всякое такое. Оказалось — в лаборатории никого не было, так что взорвалось, видимо...

— Само собой, — вставил Прокоп, еле дыша.

— Да. У вас тоже?

Прокоп мрачно кивнул.

— Вот видите, — быстро сказал Карсон. — Ни к чему оно. Опаснейшая штука. Продайте нам, и все, — избавитесь. А то что вам с ним делать?

— А вам что с ним делать? — процедил Прокоп.

— Мы уж... к этому приспособлены. Господи, а эти несколько убитых... Вот вас было бы жаль.

— Но кракатит в фарфоровой баночке не взорвался, — упорно размышляя, протянул Прокоп.

— Слава богу, нет. Что вы!

— И случилось это ночью, — продолжал Прокоп.

— В десять тридцать пять вечера. Точно.

— И... эта щепотка кракатита лежала на цинковой... на металлической пластине, — развивал свою мысль Прокоп.

— Она тут ни при чем, — проговорился было Карсон, несколько сбитый с толку, но тут же прикусил язык и принялся расхаживать от стены к стене. — Это было... вероятно, просто окисление. — Он попытался замять свой промах. — Какой-нибудь химический процесс. Смесь с глицерином тоже не взорвалась.

— Потому что глицерин — не проводник, — пробормотал Прокоп. — Или не может ионизировать, не знаю...

Карсон остановился перед ним, сложив руки за спиной.

— Вы очень умны, — искренне признал он. — Вы должны получить много денег. А здесь... пропадете.

— Томеш все еще в Балттине? — спросил Прокоп, изо всех сил стараясь, чтобы вопрос прозвучал равнодушно.

У Карсона что-то блеснуло за стеклами очков.

— Мы не теряем его из виду, — уклончиво ответил он. — Но *сюда* он уже ни за что не вернется. Приезжайте к нам... может быть, и найдете его, если он вам... так... нужен, — подчеркнуто, с расстановкой произнес Карсон.

— Где он? — упрямо повторил Прокоп, давая понять, что иначе он не разговаривает.

Карсон взмахнул руками, как птица крыльями.

— Ну — сбежал, — пояснил он, заметив непонимающий взгляд Прокопа.

— Сбежал?

— Испарился. Плохо стерегли, а он — очень хитрый. Обязался восстановить процесс изготовления кракатита. Экспериментировал... месяца полтора. Стоил нам уйму

денег. Потом скрылся, негодяй. Наверно, не получилось, а? Он ничего не умеет.

— И где же он?

Карсон наклонился к Прокопу:

— Он подлец. Теперь предлагает кракатит другому государству. Да еще утащил к ним наш метилнитрат, жулик. Они попались на его удочку, теперь он работает у них.

— Где?

— Я не имею права разглашать это. Ей-богу, не могу. И когда он улизнул, я отправился — ха-ха! — навестить вашу могилу. Вот пиетет, а? Гениальный химик, и никто его здесь не знает. Ох, и работка была! Пришлось, как дураку, печатать объявления. Ясно, на это обратили внимание... те, другие, понятно? Вы меня поняли?

— Нет.

— Ну, так взгляните. — И Карсон бодро направился к противоположной стене. — Вот! — сказал он, постучав по доске.

— Что это?

— Пуля. Здесь кто-то был.

— А кто в него стрелял?

— Да я же. Вот если бы вы полезли... через окно... недели этак две тому назад, кое-кто очень точно взял бы вас на мушку, поверьте!

— Но кто?

— Не все ли равно — одно государство или другое. В эти двери, милый мой, входили представители *весьма* великих держав. А вы тем временем, ха-ха, ловили где-то рыбку, а? Чудесный парень! Но послушайте, дорогой, — вдруг озабоченно сказал он, — не вздумайте ходить один. Нигде и никогда, понятно?

— Чепуха!

— Погодите. Для этого вовсе не требуются гренадеры. Нужны очень незаметные люди. В наши дни это делается... чрезвычайно деликатно. — Карсон подошел к окну и постучал по стеклу. — Вы и понятия не имеете, сколько писем пришло по моему объявлению. Обнаружилось человек шесть Прокопов... Скорей, посмотрите!

Прокоп приблизился к окну:

— Что там?

Карсон коротким пальцем показал на дорогу. Там вихлялся на велосипеде какой-то паренек; он отчаянно

старался удержать равновесие, но колеса упорно стремились в разные стороны. Карсон вопросительно взглянул на Прокопа.

— Наверное, учится ездить, — неуверенно высказался тот.

— До чего неловок, а? — С этими словами Карсон открыл окно. — Боб!

Паренек на велосипеде остановился как вкопанный.

— Yessr! [1]

— Go to the town for our car! [2]

— Yessr!

И, нажав на педали, юный велосипедист стрелой понесся к городу,

Карсон обернулся от окна.

— Ирландец. Очень ловкий мальчик. Так что я хотел сказать? Да, объявилось шесть Прокопов — встречи в разных местах, главным образом ночью: ну, не потеха ли? Прочитайте-ка это письмецо.

— «Приходите завтра в десять вечера в мою лабораторию. Инж. Прокоп», — прочитал Прокоп, как во сне. — Но ведь это... почти моя рука!

— То-то же, — осклабился Карсон. — Да, милый мой, здесь земля горит под ногами. Продайте нам, вам же спокойное будет!

Прокоп только отрицательно покачал головой.

Карсон остановил на нем тяжелый, упорный взгляд.

— Можете потребовать... скажем... двадцать миллионов. Продайте нам кракатит,

— Нет.

— Вы все получите обратно. И двадцать миллионов. Эй, продайте!

— Нет, — угрюмо уронил Прокоп. — Не хочу я иметь ничего общего... с вашими войнами. Не хочу!

— А что вам дала ваша родина? Гениальный химик, и... живет в лачуге! Соотечественники! Знаем мы их! У великих людей нет соотечественников. Не смотрите ни на что! Продайте, и...

— Не желаю.

Карсон сунул руки в карманы и зевнул.

---

[1] Да, сэр (yes, sir)! (*англ.*)

[2] Отправляйтесь в город за нашим автомобилем! (*англ.*)

— Войны! Думаете, вы их предотвратите? Пхе! Продайте и перестаньте ломать себе голову — к чему? Вы ученый... что вам до остального? Войны! Перестаньте, не будьте смешным. Пока у людей есть зубы и ногти...

— Не продам, — процедил Прокоп.

Карсон пожал плечами.

— Как угодно. Сами найдем. Или Томеш найдет. Тоже хорошо.

Некоторое время было тихо.

— Мне-то все равно, — снова заговорил Карсон. — Если вам приятнее, поедемте с этим товаром во Францию, в Англию, куда хотите, хоть в Китай. Вдвоем, понимаете? Здесь нам никто не заплатит. Вы будете ослом, если продадите кракатит за двадцать миллионов. Положитесь на Карсона. Ну, как?

Прокоп решительно покачал головой.

— Характер, — одобрительно заявил Карсон. — Честь и слава. Мне это очень нравится. Слушайте, вам я откроюсь. Абсолютная тайна. Руку!

— Меня не интересуют ваши тайны, — проворчал Прокоп.

— Браво. Скромный человек. В моем вкусе, сударь.

XVIII

Карсон уселся, закурил очень толстую сигару и глубоко задумался.

— Н-да... — произнес он через некоторое время. — Стало быть, и у вас взорвалось. Когда это было? Дата?

— ...Не помню.

— День недели?

— ...Не помню. Кажется... дня через два после воскресенья.

— Значит, во вторник. Правильно. А в котором часу?

— Вероятно... после десяти вечера.

— Правильно. — Карсон задумчиво выпускал клубы дыма. — И у нас впервые взорвалось — как вы изволите выражаться, «само по себе» — во вторник, в десять тридцать пять. Вы что-нибудь видели?

— Нет. Я спал.

— Ага. Оно взрывается и в пятницу, около половины одиннадцатого. По вторникам и пятницам. Мы проверя-

ли, — объяснил он в ответ на удивленный взгляд Прокопа. — Мы положили на открытом месте миллиграмм кракатита и наблюдали днем и ночью. Взрыв происходил всегда по вторникам и пятницам в половине одиннадцатого. Семь раз. А один раз — в понедельник, в десять двадцать девять. Так-то.

Прокоп ограничился безмолвным изумлением.

— По кракатиту пробегает сначала синяя искра, — задумчиво добавил Карсон, — и после этого он взрывается.

Было так тихо, что Прокоп слышал тиканье карсоновских часов.

— Н-да... — вздохнул Карсон и рассеянно провел рукой по рыжей щетке волос.

— Что это значит? — не выдержал Прокоп.

Карсон только пожал плечами.

— А вы, — сказал он, — вы-то что думали, когда у вас взорвалось... «само по себе»? Ну?

— Ничего! — уклончиво ответил Прокоп. — Я не задумывался о... возможных причинах.

Карсон буркнул что-то обидное.

— Вернее, — поправился Прокоп, — тогда мне пришло в голову, что это... может быть, воздействие электромагнитных волн.

— Ага. Электромагнитные волны. Мы тоже так думали. Превосходная идея, только — идиотская. К сожалению, абсолютно идиотская. Так-то.

Теперь Прокоп действительно ничего не понимал.

— Во-первых, — развивал свою мысль Карсон, — радиоволны посылаются не только по вторникам и пятницам, в половине одиннадцатого вечера — так? А во-вторых, мой милый, будьте спокойны — мы тотчас проверили воздействие волн. Коротких, длинных, всех возможных. И ваш кракатит не реагировал *ни на столечко.* — Карсон показал на своем мизинце нечто бесконечно малое. — Зато во вторник и в пятницу... в половине одиннадцатого... ваш порошок вдруг решает взрываться «сам по себе». И знаете, что еще?

Естественно, Прокоп не знал.

— Еще вот что. С некоторых пор... вот уже примерно около полугода... европейские радиотелеграфисты вне себя от возмущения. Понимаете, кто-то прерывает передачи. Совершенно регулярно. И по странной случайности...

всегда по вторникам и по пятницам, начиная с десяти тридцати вечера. Что вы сказали?

Прокоп ничего не сказал, он только тер себе лоб.

— Да, да, по вторникам и пятницам. Это называется «забивать волны». Как начнет трещать в ушах радиотелеграфистов — ребята чуть с ума не сходят. Неприятная штука, верно? — Карсон снял очки и принялся протирать их с величайшим тщанием. — Сначала... сначала они думали, это — магнитные бури или что-то там еще. Но когда убедились, что *это* делается регулярно, по вторникам и пятницам... Короче, «Маркони», ТСФ, «Трансрадио» и разные министерства почт и военно-морских сил, торговли, внутренних дел и бог весть еще чего готовы выплатить двадцать тысяч фунтов стерлингов умному человеку, который отыщет причину. — Карсон снова надел очки и весело крякнул: — Думают, что существует какая-то незаконная станция, которая забавляется тем, что по вторникам и пятницам забивает все передачи. Вот чепуха-то! Чтобы какая-нибудь частная станция так просто, смеха ради, бросала на ветер по меньшей мере сто киловатт! Тьфу! — Карсон даже сплюнул.

— По вторникам и пятницам, — произнес Прокоп. — Значит, одновременно...

— Странно, правда? — осклабился Карсон. — У меня, миленький, все записано: во вторник, такого-то числа, в десять тридцать пять с секундами — сорваны передачи всех радиостанций от Ревеля и так далее. И в ту же самую секунду у нас, «сама по себе», как вы изволите выражаться, взрывается определенная доза кракатита. А? Что? То же самое в следующую пятницу: в десять двадцать семь с секундами — сорваны передачи и взрыв. Затем — вторник, десять тридцать — взрыв и сорваны передачи. И так далее. В виде исключения, сверх программы, что ли, один раз отмечено забивание передач в понедельник, в десять двадцать девять и тридцать секунд. И — взрыв. Секунда в секунду. Восемь раз в восьми случаях. Весело, правда? Что вы на это скажете?

— Н-не знаю, — промямлил Прокоп.

— Тогда слушайте дальше, — подумав несколько минут, заговорил Карсон. — Томеш работал у нас. Он ничего не умеет, но кое-что знает. Томеш велел поставить в лаборатории высокочастотный генератор и запер двери у нас перед носом. Подлец. Я отроду не слыхал, чтобы

в области обычной химии применялись высокочастотные машины. А? Что вы на это скажете?

— Д-да... конечно... — попытался увильнуть Прокоп, бросив беспокойный взгляд на свой собственный новенький агрегат, стоящий в углу.

Карсон мигом перехватил этот взгляд.

— Гм! А у вас тоже есть такая игрушка! Славный трансформатор. Почем купили?

Прокоп нахмурился, но Карсон уже тихо просиял.

— Я думаю так, — заговорил он с возрастающим удовольствием, — было бы очень здорово, если бы удалось... допустим, с помощью высокочастотных токов... в магнитном поле или еще как-нибудь... раскачать, расшатать, ослабить внутреннюю структуру какого-либо вещества настолько, что достаточно было бы слегка ударить на расстоянии... какими-нибудь волнами... разрядами... осцилляцией или черт его знает чем еще, чтобы вещество это распалось — а? Бац! На расстоянии! Что вы об этом скажете?

Прокоп опять ничего не сказал; Карсон, с наслаждением посасывая сигару, упивался его растерянным видом.

— Я не электрик, понимаете? — снова заговорил он. — Мне все объяснил один ученый, но провалиться мне на этом месте, если я что-нибудь понял. Этот тип завалил меня всякими электронами, ионами, элементарными квантами, и уж не помню, как он все это называл; а под конец светило кафедры объявило, будто все это, короче говоря, вообще невозможно. Ну и натворили вы дел, дружище! Создали такое, что вовсе и невозможно, по мнению всемирно признанного авторитета. Тогда я сам все объяснил себе, — продолжал Карсон. — Так, по-дилетантски. Некто, допустим, вбил себе в голову создать нестойкое соединение... некоей соли свинца. Упомянутая соль — упрямая штука: никак не хочет вступать в реакцию, а? Этот химик пробует так и эдак, бьется, как... рыба об лед. И тут он, допустим, вспоминает, что в январском номере журнала «The Chemist» говорилось, что данная флегматичная соль — превосходный когерер... для электромагнитных волн. И вот у химика появляется идея. Идиотская и гениальная идея: что, если подчинить себе эту проклятую соль с помощью электрических волн, а? Взбудоражить ее, расшевелить, встряхнуть, как перину. Что? Н-да, лучшие

человеческие идеи рождаются из чепухи. И вот этот химик достает маленький смешной трансформатор и берется за дело; что он там делал — пока секрет, но в конце концов... он получил искомое соединение. Черт побери, он его получил! Скорее всего — склеил как-то с помощью осцилляции. Кажется, мне придется на старости лет изучать физику: я болтаю чепуху, правда?

Прокоп проворчал нечто невразумительное.

— Ну, ничего, — с довольным видом заявил Карсон. — Важно, что вещество пока держится прочно; я болван, но представляю себе это так: новое вещество приняло какую-то электромагнитную структуру, что ли. Но если ее нарушить, то оно... распадется, верно? К счастью, около десяти тысяч официальных радиостанций и несколько сотен подпольных поддерживают в нашей земной атмосфере эдакий приятный электромагнитный климат, эдакую... э-э... осцилляционную ванну, которая как раз подходит для этой структуры. Вот она и держится...

Карсон немного подумал.

— А теперь, — продолжал он, — теперь представьте себе, что некий дьявол или подонок обладает средством, позволяющим *великолепнейшим образом* прерывать электромагнитные волны. Ну, попросту стирать их или как там еще. И представьте себе, что он — бог весть почему — делает это регулярно по вторникам и пятницам, в половине одиннадцатого вечера. В ту же минуту, в ту же секунду во всем мире нарушается радиосвязь; но в ту же минуту и секунду происходит что-то и в этом... лабильном соединении, если только оно не изолировано... скажем, в фарфоровой баночке. Что-то в нем нарушается... лопается что-то, и оно... оно...

— ...распадается! — воскликнул Прокоп.

— Да, распадается. Взрывается. Интересно, правда? Один ученый господин объяснил мне это... черт, как же он говорил? Что будто бы...

Прокоп вскочил, схватил Карсона за отвороты пиджака.

— Слушайте! — От страшного волнения он начал заикаться. — Значит, если... кракатит... рассыпать, например, здесь... или где угодно... просто рассыпать по земле...

— Тогда в ближайший вторник или пятницу в половине одиннадцатого все взлетит на воздух. Н-да... Милый мой, не задушите меня.

Прокоп отпустил Карсона и забегал по комнате, в ужасе кусая пальцы.

— Ясно, — бормотал он, — ясно! Никто не имеет права... про... произво...

— Кроме Томеша, — скептически заметил Карсон.

— Отвяжитесь! — взорвался Прокоп. — *Этот* не додумается!

— Н-ну, — с сомнением возразил Карсон, — я не знаю, сколько вы ему рассказали.

Прокоп осекся.

— Представьте себе, — лихорадочно заговорил он, — представьте себе... в-в-войну! У кого в руках кракатит, тот может... может... когда угодно...

— Пока только по вторникам и пятницам.

— ...поднять на воздух... целые города... целые армии... все! Достаточно только... только рас-сыпать — можете вы это себе представить?

— Могу. Восхитительно!

— А потому... в интересах человечества... никогда... никогда не отдам!

— В интересах человечества! — проворчал Карсон. — А знаете ли вы, что в интересах человечества важнее было бы обнаружить эту... эту...

— Что — эту?

— Эту проклятую станцию анархистов.

XIX

— Итак, вы думаете... — запинаясь, начал Прокоп, — что... быть может...

— Итак, мы *знаем,* — перебил его Карсон, — что есть на свете неизвестные передающие и принимающие радиостанции. Что они регулярно, по вторникам и пятницам, передают... отнюдь не пожелания доброй ночи. Что они располагают какими-то, нам до сих пор неведомыми средствами — разрядами, осцилляцией, искрами, лучами или еще какой-то чертовщиной и... короче, чем-то неуловимым. А может быть, какими-нибудь антиволнами, антиосцилляцией — не знаю, черт возьми, как это называется — в общем, чем-то таким, что прерывает, стирает наши волны, понятно? — Карсон поискал глазами по комнате. — Ага, — сказал он, найдя кусочек мела. — Получается так, — он начертил на полу стрелу длиной в пол-локтя, — или

так, — и он замазал мелом кусок половицы, потом послюнил палец и провел по белому темную черту. — Так или так, понимаете? Позитивно или негативно. Или они посылают какие-то новые волны в нашу среду, или создают искусственные паузы в нашей мерцающей, насквозь пронизанной радиоволнами атмосфере — ясно? И тем и другим способом можно работать... минуя наш контроль. И оба способа до сих пор — полнейшая загадка... с технической и научной точки зрения. А, дьявол! — И Карсон во внезапной ярости швырнул мелок с такой силой, что он разлетелся вдребезги. — Это уж слишком! Посылать тайные депеши загадочному адресату с помощью неизвестных нам средств! Кто это делает? Как вы думаете?

— Может быть, марсиане, — заставил себя пошутить Прокоп; в действительности ему было не до шуток.

Карсон бросил на него убийственный взгляд, но тут же заржал, как лошадь.

— Ладно, допустим, марсиане. Превосходно! Допустим это, господин магистр. Но лучше допустим, что это делает кто-то на нашей планете. Допустим, какая-то земная власть рассылает свои тайные инструкции. Допустим, у нее есть чрезвычайно серьезные причины уклоняться от контроля. Допустим, что это некая... международная служба, или организация, или черт знает что, располагающая неведомыми нам средствами, тайными станциями и прочим в этом роде. В любом случае... в любом случае человечество имеет право заинтересоваться таинственными депешами, не так ли? Все равно — из пекла они отправляются или с Марса. Попросту в этом... заинтересовано человечество. Можете себе представить... В общем, сударь, вряд ли это радиопередачи о Красной Шапочке. Так-то. — Карсон забегал по комнате. — Прежде всего несомненно, что эта радиостанция находится где-то... в Центральной Европе, приблизительно в центре всех этих помех, верно? — начал он размышлять вслух. — Она относительно слаба, так как передает только ночью. Черт подери, тем хуже: радиостанцию Эйфелевой башни или Науэна найти легко, не так ли? Господи! — воскликнул он вдруг, внезапно остановившись. — Подумайте только, где-то в сердце Европы существует и готовится нечто непонятное. Это «нечто» широко разветвлено, у него есть свои органы руководства, оно поддерживает тайные связи; оно владеет техническими средствами, неизвестными нам,

таинственными силами и, чтоб вы знали, — это Карсон выкрикнул во всю глотку, — владеет кракатитом! Так-то!

Прокоп вскочил как ужаленный.

— Что... Что-о?!

— Да, у них есть кракатит. Девяносто граммов и еще тридцать пять. Все, что у нас оставалось.

— Что вы с ним делали?! — рассвирепел Прокоп.

— Опыты. Берегли его, словно... какую-нибудь добродетель. Но в один прекрасный вечер...

— Ну же!

— Он исчез. Вместе с фарфоровой банкой.

— Украден?

— Да.

— Но кто... кто?

— Конечно, марсиане, — ухмыльнулся Карсон. — К сожалению, через посредство одного лаборанта, который скрылся. И, естественно, с фарфоровой баночкой.

— Когда это случилось?

— Как раз накануне того дня, когда меня послали сюда, к вам. Образованный человек, саксонец. Ни пылинки нам не оставил. Понимаете — поэтому-то я и приехал.

— И вы полагаете, кракатит попал в руки тех... неизвестных?

Карсон только фыркнул.

— Откуда вы знаете?

— Я это утверждаю. Слушайте. — И Карсон покачался с носка на пятку на своих коротеньких ножках. — Похож я на труса?

— Н-нет.

— Так вот я вам скажу: *это* мне внушает страх. Ей-богу, душа в пятки уходит. Кракатит — проклятая штука; таинственная станция — еще хуже; но если то и другое попало в одни руки, тогда... мое почтение. Тогда Карсон уложит свой чемоданчик и отправится к тасманским людоедам. Понимаете, мне бы не хотелось увидеть конец Европы.

Прокоп только судорожно сжимал руки коленями. «Иисусе, Иисусе...» — шептал он про себя.

— Н-даа... — протянул Карсон. — Меня удивляет лишь одно: почему до сих пор не взлетело на воздух... хоть что-нибудь крупное. Водь стоит только нажать где-то какой-то рычажок за несколько тысяч километров оттуда — тррр-ах! И точка. Чего они еще ждут?

— Все ясно, — лихорадочно заговорил Прокоп. — Кракатит нельзя выпускать из рук. А Томеш... Томешу надо помешать...

— Господин Томеш продаст кракатит самому дьяволу, если тот заплатит, — быстро возразил Карсон. — В настоящее время господин Томеш — одна из величайших опасностей в мире.

— А, черт! — в отчаянии вырвалось у Прокопа. — Что же делать?

Карсон выдержал длинную паузу.

— Ясно что, — сказал он наконец. — Надо отдать кракатит.

— Нннет! Никогда!

— Надо отдать. Хотя бы потому, что он — ключ к расшифровке. Время не терпит, сударь. Ради всех святых, отдайте его кому хотите, только без долгих проволочек! Отдайте швейцарцам, или Союзу старых дев, или чертовой бабушке; но они полгода прокорпят над ним, прежде чем поймут, что вы не сумасшедший. Или — отдайте нам. В Балттине уже построили такую машину, знаете — принимающий аппарат. Представьте себе... бесконечно быстрые взрывы микроскопических частиц кракатита. Возбудитель взрывов — неизвестные волны. Как только они там где-то включают их, в нашей машине начинается треск: трррр-та-та, трррр, трррр-та, тррр-та-та-та. И все! Остается расшифровать, и готово дело. Был бы только кракатит!

— Не дам, — еле выговорил Прокоп, покрываясь холодным потом. — Я вам не верю... Вы... вы начнете производить кракатит для своих нужд.

У Карсона дернулись уголки губ.

— Ну, если вас только это беспокоит... Можем созвать, если угодно, Лигу Наций, Всемирное почтовое объединение, Конгресс евхаристической церкви или всех чертей с дьяволами вместе. Чтоб ваша душенька не тревожилась. Я — датчанин, и на политику мне наплевать. Так-то. И вы отдадите кракатит в руки международной комиссии. Что с вами?

— Я... я долго болел, — объяснил Прокоп, смертельно побледнев. — И мне до сих пор еще... нехорошо. Я два дня ничего не ел.

— Слабость, — заметил Карсон; он подсел на койку, обнял Прокопа. — Сейчас пройдет. Поезжайте в Балттин.

Очень здоровый климат. Потом сможете съездить к Томешу. Денег у вас будет что песку. Станете big man[1]. Ну?

— Ладно, — шепнул Прокоп, как малое дитя, позволяя Карсону тихонько баюкать себя.

— Так, так. Чрезмерное напряжение, правда? Но ничего. Главное — главное будущее. Видно, немало пришлось вам горя хлебнуть, верно? А вы молодец. Ну, вот вам уже и лучше. — Карсон задумчиво затянулся. — Великолепное, блистательное будущее. Получите уйму денег. А мне дадите десять процентов, ладно? Таков уж международный обычай. Карсону тоже надо...

На улице засигналил автомобиль.

— Слава богу, — облегченно вздохнул Карсон. — Машина пришла. Ну, поехали!

— Куда?

— Пока что — поесть.

XX

На следующий день Прокоп проснулся с невероятно тяжелой головой и сначала никак не мог сообразить, где он; ждал, что услышит квохтанье кур или пронзительный лай Гонзика. Постепенно до сознания дошло, что он уже не в Тынице; что лежит в номере отеля, куда Карсон привез его, пьяного до бесчувствия, опухшего, рычащего, как дикий зверь; но, едва сунув голову под струю холодной воды, Прокоп ясно вспомнил весь вчерашний день, и ему захотелось провалиться от стыда.

Они пили уже за обедом, но умеренно, оба только сильно покраснели; потом катались в машине где-то по Сазавским или еще каким-то лесам, чтобы протрезвиться; Прокоп болтал без передышки, а Карсон лишь жевал сигару да кивал головой: «Вы станете big man». Биг мэн, биг мэн, — колоколом отдавалось в голове Прокопа, — видела бы мое торжество та... та, под вуалью! Он надувался, как индюк, — вот-вот лопнет; а Карсон все кивал головой, словно китайский болванчик, да распалял его бешеную гордость. Прокоп чуть не вывалился из машины,

[1] большой человек (*англ.*).

так яростно он жестикулировал; кажется, он излагал свои взгляды на всемирный институт деструктивной химии, социализм, брак и воспитание детей, словом, нес околесицу. Вечером Прокоп с Карсоном взялись за дело всерьез. Где только они не пили — один бог ведает. Это был кошмар; Карсон платил за всех незнакомых собутыльников, багровый, лоснящийся, в шляпе, сползшей на глаза; плясали какие-то девки, кто-то бил бокалы, а Прокоп, рыдая, исповедовался Карсону в своей безумной любви к той, которую не знает. Вспоминая сейчас об этом, Прокоп за голову хватался от стыда и боли.

Потом его, орущего «кракатит!», усадили в машину. Леший знает, куда повезли. Мчались по бесконечным шоссе, рядом на сиденье подпрыгивал алый огонек — вероятно, сигара Карсона, — и он бормотал заплетающимся языком: «Скорее, Боб», — или что-то в этом роде. Вдруг на каком-то повороте навстречу ударили два ярких световых пятна, взвыло несколько голосов, машину отбросило в сторону, и Прокоп, вывалившись, проехался лицом по траве; это отрезвило его настолько, что он обрел способность слышать. Какие-то люди яростно переругивались, называя друг друга пьяной образиной. Карсон сыпал проклятиями, обозленный тем, что «вот теперь надо возвращаться», потом Прокопа, как наиболее пострадавшего, с тысячами предосторожностей уложили во встречную машину, Карсон сел рядом — и они поехали назад, оставив Боба у поломанного автомобиля. На полпути «наиболее пострадавший» принялся петь и горланить и у самого въезда в Прагу снова ощутил жажду. Пришлось заезжать в несколько ночных баров, прежде чем он утихомирился.

С угрюмой брезгливостью изучал Прокоп в зеркале свое исцарапанное лицо. От этого неприятного зрелища его оторвал швейцар отеля, принесший — с подобающими извинениями — листок для прописки. Прокоп заполнил графы, надеясь, что на том дело и кончится. Но едва швейцар прочитал его фамилию и профессию, как вдруг очень оживился и попросил Прокопа никуда не уходить: один иностранный господин просил администрацию отеля тотчас позвонить ему, буде пан инженер Прокоп соизволит у них остановиться. И если пан инженер позволит... Пан инженер был так зол на себя самого, что позволил бы

даже перерезать себе горло. Поэтому он сел и стал ждать, покорно мирясь с мучительной головной болью. Через четверть часа швейцар появился снова с визитной карточкой. На ней было написано:

> Sir Reginald Carson
> Col. B. A., R. A., M. P., D. S. etc.
> President of Marconis Wireies Co
> London [1]

— Давайте его сюда, — велел Прокоп, в глубине души безмерно удивляясь, почему этот почтенный Карсон еще вчера не открыл ему своих сногсшибательных званий и отчего он сегодня является с такими церемониями; кроме того, Прокопу было любопытно, каков вид у сэра Карсона после вчерашней богомерзкой ночи. И тут он вытаращил глаза в крайнем изумлении: в дверь входил совершенно незнакомый господин, на добрый локоть выше вчерашнего Карсона.

— Very glad to see you [2], — неторопливо произнес незнакомый джентльмен и поклонился примерно так, как если бы кланяться вздумал телеграфный столб. — Сэр Реджиналд Карсон, — представился он, отыскивая глазами стул.

Прокоп издал какой-то неопределенный звук и показал посетителю на стул. Джентльмен сел, согнувшись под прямым углом, и принялся не спеша стягивать великолепные замшевые перчатки. Это был очень длинный и чрезвычайно чопорный господин с лошадиной физиономией, заглаженной в строгие складки; в галстуке — огромный индийский опал, на золотой цепочке — античная камея, гигантские ноги игрока в гольф — словом, лорд до мозга костей. Прокоп онемел.

— Прошу вас, — произнес он наконец, когда молчание уже стало тягостным.

Однако джентльмен не торопился.

---

[1] Сэр Реджиналд Карсон
Колл. Б. А., Р. А., М. П., Д. С. и т. д.
Президент акц. о-ва «Маркони»
Лондон.

[2] Рад вас видеть (*англ.*).

— Не сомневаюсь, — заговорил он в конце концов по-английски, — не сомневаюсь, вы были удивлены, прочитав в газетах мое обращение к вам. Полагаю, вы — инженер Прокоп, автор... э-э... весьма интересных статей о взрывчатых веществах.

Прокоп молча кивнул.

— Очень рад, — без тени поспешности заявил сэр Карсон. — Я разыскивал вас по делу, весьма интересному с научной точки зрения и практически важному для нашего акционерного общества, а именно общества «Маркони», президентом которого я имею удовольствие состоять, и не менее важному для Международной ассоциации беспроволочного телеграфа, каковая оказала мне незаслуженную честь, избрав меня своим генеральным секретарем. Вы удивляетесь, несомненно, — продолжал он, ничуть не устав от столь длинной фразы, — что эти достойные организации направили меня к вам, хотя ваши выдающиеся труды относятся к совершенно иной области. Вы позволите...

С этими словами сэр Карсон открыл свой портфель крокодиловой кожи и вынул какие-то бумаги, блокнот и золотой карандашик.

— В течение примерно девяти месяцев, — начал он медлительно, надев золотое пенсне, чтобы заглянуть в бумаги, — европейские радиостанции констатируют...

— Простите, — перебил его Прокоп, не в силах больше владеть собой, — так это вы давали объявления в газетах?

— Конечно. Итак, они констатируют регулярные помехи...

— ...по вторникам и пятницам, знаю. Кто вам рассказал о кракатите?

— Я сам дошел бы до этого пункта, — с некоторой укоризной произнес почтенный лорд. — Well[1], я пропущу кое-какие подробности в предположении, что вы до известной степени информированы о наших затруднениях и о... э-э... о...

— ...о тайной всемирной организации, так?

Сэр Карсон вытаращил бледно-голубые глаза.

— Простите — о какой организации?

— Ну, об этих загадочных ночных передачах, о конспиративной организации, которая их...

Сэр Реджиналд Карсон жестом остановил его.

---

[1] Хорошо (*англ.*).

— Фантазия, — снисходительно молвил он. — Чистая фантазия. Я знаю, на это намекали даже в «Дейли Ньюс», когда наше общество назначило довольно крупную премию...

— Знаю, знаю, — быстро вставил Прокоп, опасаясь, как бы медлительный лорд не начал рассказывать о премии.

— Да. Чистая бессмыслица. Дело имеет исключительно коммерческую подоплеку. Кто-то заинтересован в том, чтобы доказать ненадежность наших радиостанций, понимаете? Кто-то хочет подорвать доверие общественности к нам. К сожалению, наши когереры и... э-э... приемники бессильны определить своеобразную природу волн, с помощью которых совершаются помехи. И так как мы получили информацию о том, что вы являетесь обладателем некоей субстанции, или химикалий, которые весьма, весьма любопытным образом реагируют на эти помехи...

— Кто вас информировал?

— Ваш сотрудник, мистер... э-э... мистер Томес. Мистер Томес, ведь так? — Медлительный джентльмен выудил из своих бумаг какое-то письмо. — «Dear Sir[1], — с некоторым усилием начал он читать. — Из газет я узнал о назначении премии...» и так далее. «Поскольку в настоящее время я не могу отлучиться из Балттина, где работаю над одним изобретением, и так как дело столь огромного значения не может быть разрешено путем переписки, я прошу вас разыскать в Праге моего друга и давнего сотрудника инженера Прокопа, в руках которого находится новое вещество, кракатит, тетраргон одной из солей свинца, синтез которого производится под специфическим воздействием высокочастотного тока. Как показывают тщательно проделанные опыты, кракатит реагирует на неизвестные волны сильным взрывом, из чего само собой напрашивается вывод о его решающем значении для исследования упомянутых волн. Учитывая важность вопроса, я полагаю — за себя и за своего друга, — что премия будет значительно повы... повыше...» — Тут сэр Карсон закашлялся. — Вот и все, — сказал он. — О премии можно будет поговорить отдельно. Подписано: мистер Томес, Балттин.

— Гм... — хмыкнул Прокоп, охваченный нешуточным подозрением. — Неужели такое частное... ненадежное...

---

[1] Милостивый государь (*англ.*).

фантастическое сообщение достаточно для общества «Маркони»...

— Beg your pardon[1], — возразил длинный джентльмен, — конечно, мы получили очень точные сведения об определенных экспериментах в Балттине...

— Ага. От некоего лаборанта-саксонца, верно?

— Нет. От нашего собственного представителя. Сейчас я вам прочитаю.

Сэр Карсон снова полез в свои бумаги.

— Вот. «Dear Sir, здешним станциям до сих пор не удается предотвратить известные вам помехи. Попытки противодействовать им с помощью более мощных передатчиков ни к чему не привели. Я получил секретные, но надежные сведения о том, что институт военной промышленности в Балттине приобрел некоторое количество вещества...»

Стук в дверь.

— Войдите, — сказал Прокоп.

Вошел коридорный с визитной карточкой:

— Один господин просит...

На визитной карточке было написано:

Ing. Carson, Balttin

— Пусть войдет! — распорядился Прокоп, внезапно развеселившись; на протестующий жест сэра Карсона он не обратил ни малейшего внимания.

Вслед за этим в двери появился вчерашний Карсон со слишком явными признаками бессонной ночи на лице; он бросился к Прокопу, издавая радостные возгласы.

XXI

— Погодите, — остановил его Прокоп. — Разрешите вас познакомить. Инженер Карсон — сэр Реджиналд Карсон.

Сэр Карсон вздрогнул, но остался сидеть, сохраняя невозмутимое достоинство; зато инженер Карсон свистнул от удивления и опустился на стул, как человек, которому отказали ноги. Прокоп, прислонившись к стене, с откровенным злорадством наслаждался видом обоих.

[1] Простите (*англ.*).

— Ну, как? — бросил он в конце концов.

Сэр Карсон принялся складывать свои бумаги в портфель.

— Несомненно, наш разговор лучше отложить, — медленно проговорил он.

— Нет уж, извольте остаться, — возразил Прокоп. — Скажите, господа, а вы не родственники?

— О нет! — отозвался инженер Карсон. — Скорее наоборот!

— Который же из вас настоящий Карсон?

Никто не ответил; это была тягостная пауза.

— Потребуйте, чтоб этот господин предъявил документы, — резко сказал сэр Реджиналд.

— Пожалуйста! — воскликнул инженер Карсон. — Но только после предыдущего оратора. Так-то.

— А кто из вас печатал объявление?

— Я! — немедленно отозвался инженер Карсон. — Моя идея, сударь. И я утверждаю — даже в нашем деле считается неслыханной подлостью выезжать даром на чужих идеях. Так-то.

— Позвольте, — обратился к Прокопу сэр Реджиналд с неподдельным возмущением, — это уж слишком. Разве можно публиковать второе объявление за другой подписью! Мне просто пришлось примениться к тому, что уже предпринял этот господин.

— Ага! — воинственно подхватил инженер Карсон. — И потому сей господин присвоил мое имя, понимаете?

— Я утверждаю, — перешел в наступление и сэр Реджиналд, — что этого господина зовут вовсе не Карсон.

— Как же тогда его зовут? — быстро спросил Прокоп.

— Не знаю точно, — презрительно процедил лорд.

— Карсон, — обратился Прокоп к инженеру, — кто этот джентльмен?

— Конкурент, — с горьким юмором ответил тот. — Именно он пытался заманить меня в разные места с помощью подметных писем. Вероятно, ему хотелось познакомить меня с очень милыми людьми.

— Со здешней военной полицией, если угодно, — проворчал сэр Реджиналд.

Инженер Карсон злобно блеснул глазами и предостерегающе кашлянул: об этом — ни звука! Иначе...

— Не желают ли господа еще что-нибудь объяснить друг другу? — ухмыльнулся Прокоп, подойдя к двери.

— Нет, больше мне нечего объяснять, — с достоинством молвил сэр Реджиналд; до сих пор он не удостаивал другого Карсона даже взглядом.

— Тогда вот что, — заговорил Прокоп. — Во-первых, благодарю за визит. Во-вторых, я очень рад, что кракатит находится в хороших руках, то есть в моих собственных, ибо если бы у вас была хоть малейшая надежда заполучить его другим способом, вряд ли вас так интересовала бы моя особа — правильно? Я вам весьма обязан за эту невольную информацию.

— Погодите торжествовать, — буркнул Карсон. — Остается еще...

— ...он? — договорил Прокоп, указывая на сэра Реджиналда.

Карсон отрицательно покачал головой.

— Еще чего! Но — неизвестный третий.

Прокоп почти оскорбился:

— Простите, уж не думаете ли вы, что я верю хоть чему-нибудь из ваших вчерашних россказней?

Карсон с сожалением пожал плечами:

— Что ж, как вам угодно.

— Далее, в-третьих, — продолжал Прокоп, — я попрошу вас сообщить мне, где сейчас Томеш.

— Но ведь я говорил вам, что не имею права... — вскочил Карсон. — Приезжайте в Балттин и узнаете.

— Тогда вы, сударь, — повернулся Прокоп к сэру Реджиналду.

— Beg your pardon, — произнес длинный джентльмен, — но это я пока оставлю при себе.

— Тогда, в-четвертых, я убедительно прошу вас не съесть друг друга, потому что пойду...

— ...в полицию, — догадался сэр Реджиналд. — Очень правильно сделаете.

— Я счастлив, что вы одобряете это. И прошу прощения за то, что на это время я вас тут запру.

— О, пожалуйста, — вежливо согласился лорд, в то время как Карсон попытался бурно протестовать.

С большим облегчением Прокоп запер за собой дверь да еще приставил к ней двух коридорных, после чего бросился в ближайший участок, так как счел нужным сообщить в полицию кое-какие сведения. Однако задача оказалась не из легких; он не мог обвинить обоих иностранцев ни в краже серебряных ложек, ни в игре в макао,

и ему стоило большого труда преодолеть колебания полицейского чиновника, который, видимо, принял его за умалишенного. Наконец, — скорее всего для того чтобы Прокоп отвязался, — чиновник послал с ним агента в штатском, личность весьма потрепанную и молчаливую. В отеле они нашли обоих коридорных, которые мужественно стояли на посту, окруженные взволнованными служащими отеля. Прокоп открыл дверь ключом, и агент, фыркнув носом, спокойно вошел в номер, словно явился купить подтяжки. Номер был пуст. Оба Карсона исчезли.

Молчаливая личность бросила беглый взгляд на комнату и двинулась прямиком к ванной, о которой Прокоп совершенно забыл. Окно ванной, выходящее в вентиляционный колодец, оказалось распахнутым настежь, а на противоположной стене выбито окошко уборной. Молчаливая личность направилась к уборной. Дверь выходила в другой коридор; она была заперта, а ключ исчез. Агент повозился с отмычкой и открыл уборную; в ней — никого, только на сиденье унитаза видны следы ног. Молчаливая личность все снова заперла и заявила, что пришлет сюда комиссара.

Полицейский комиссар, человечек очень подвижный, известный криминалист, явился довольно скоро; добрых два часа он терзал Прокопа, желая во что бы то ни стало узнать, какие дела были у него с обоими иностранцами; похоже было, что комиссару очень хочется арестовать хотя бы Прокопа, который то и дело страшно противоречил сам себе, давая показания о своих отношениях с обоими Карсонами. Затем комиссар подверг допросу швейцара и коридорных и настоятельно попросил Прокопа явиться в шесть часов в полицейское управление, а до той поры не рекомендовал ему выходить из отеля.

Остаток дня Прокоп провел, бегая по комнате и с ужасом думая, что, вероятнее всего, будет арестован; ибо какие же может он дать объяснения, если твердо решил молчать о кракатите? Черт знает, сколько времени продлится предварительное заключение, и вот, вместо того чтобы искать ту, незнакомку в вуали... Глаза Прокопа наполнились слезами; он чувствовал себя слабым и размагниченным до того, что стыдился самого себя. Около шести часов он, однако, собрал все свое мужество и отправился в полицейское управление.

Его тотчас ввели в комнату с толстыми коврами, кожаными креслами и большим сигарным ящиком (это был кабинет начальника полиции). За письменным столом Прокоп увидел огромную спину — спину боксера; эта спина, склоненная над бумагами, сразу пробудила в нем страх и покорность.

— Садитесь, пан инженер, — приветливо сказала спина, промокнула что-то и повернулась к Прокопу, показав не менее монументальное лицо, прочно посаженное на бычью шею. Этот могучий господин с секунду изучал Прокопа, затем сказал: — Пан инженер, я не стану принуждать вас рассказывать мне о том, что вы — конечно, по веским причинам — хотите оставить в тайне. Мне известна ваша работа. Полагаю, что и в этом случае речь шла об одной из ваших взрывчаток.

— Да.

— Вероятно, она имеет крупное значение... скажем, оборонного характера.

— Да.

Мощный господин поднялся, протянув руку Прокопу.

— Я только хотел поблагодарить вас, пан инженер, за то, что вы не продали ее иностранным агентам.

— И это все? — с облегчением вздохнул Прокоп.

— Да.

— Их поймали? — вырвалось у инженера.

— Зачем? — улыбнулся начальник полиции. — У нас нет на это права. Поскольку дело касается только вашей личной тайны, а не тайны нашей армии...

Прокоп понял деликатный упрек и смутился.

— Это открытие... еще не доведено до конца...

— Верю. Надеюсь на вас, — ответил мощный господин и вторично подал ему руку.

Тем все и кончилось.

XXII

Надо действовать методически, — сказал себе Прокоп. И вот, после длительных размышлений, когда в голову ему приходили самые сумасбродные идеи, он остановился на следующем плане: прежде всего — через день он помещал во всех крупных газетах объявление: «Иржи Томеш. Податель письма с пораненной рукой просит даму в вуали

сообщить свой адрес. Весьма важно. Шифр — 40 000, ответ на условное имя Грегр». Такая формулировка казалась ему весьма хитроумной; правда, нельзя быть уверенным, что молодая дама вообще читает газеты, а тем более объявления, но кто знает? Случайность — великая вещь. Однако вместо ожидаемой случайности возникли обстоятельства, которые можно было предвидеть, но о которых Прокоп не подумал заранее; на условное имя пришла уйма писем, содержащих по большей части счета, напоминания, угрозы и брань по адресу исчезнувшего Томеша; пли в них просили «пана Томеша в его собственных интересах указать свое местопребывание на усл. шифр»... и тому подобное. Мало этого: в конторе объявлений болтался какой-то худощавый человек; он приблизился к Прокопу, когда тот получал свою корреспонденцию, и осведомился, где живет Иржи Томеш. Прокоп огрызнулся со всей грубостью, какую только допускали обстоятельства; тогда худощавый человек вытащил полицейское удостоверение и выразительно попросил Прокопа не дурить. Оказывается, худощавый человек имел отношение к известной уже нам растрате и прочим отвратительным махинациям. Прокопу удалось убедить сыщика, что он и сам очень хотел бы знать, где находится Томеш; однако после этого случая, после изучения всех пришедших на его имя писем вера Прокопа в газетные объявления заметно ослабла. И в самом деле: в следующие дни ответов приходило все меньше и меньше, зато они становились все грознее.

Во-вторых, Прокоп посетил частное сыскное бюро. Там он рассказал, что ищет незнакомую девушку под вуалью и даже попытался описать ее наружность. Сыщики охотно соглашались доставить ему секретную информацию о ней, если только он назовет ее местожительство или фамилию. Пришлось уйти не солоно хлебавши.

Третья идея была гениальна. В уже упомянутом конверте, с которым Прокоп не расставался ни днем ни ночью, лежало, кроме мелких кредиток, тридцать тысячных бумажек, заклеенных бандеролью, как принято в банках выдавать крупные суммы. Названия банка на обертке не было; по вполне вероятно, что девушка взяла эти деньги из какого-то кредитного учреждения именно в тот день, когда Прокоп уехал по ее поручению в Тынице. Итак, следовало установить точную дату отъезда, а потом

обойти все банки в Праге, упросить там назвать имя лица, которое в тот день сняло со счета тридцать тысяч крон (или несколько больше). Да, точно установить дату; Прокоп, правда, смутно помнил, что кракатит взорвался у него, кажется, во вторник (за два дня до этого было воскресенье или какой-то праздник), значит, девушка взяла деньги, вероятно, в одну из сред; но ни месяца, ни недели Прокоп вспомнить не мог — то ли это было в марте, то ли в феврале. С огромным усилием старался он восстановить в памяти или вычислить этот день; но ничего не вышло: он не знал точно, как долго болел. Да, но зато в Тынице, у доктора Томеша, конечно, помнят, когда он свалился им на голову! Осененный блестящей мыслью, он телеграфировал старому доктору: «Сообщите телеграфом дату моего приезда к вам. Прокоп». Едва он отправил депешу, как уже пожалел: его мучила совесть, что он нехорошо поступил с доктором и Анчи. И действительно, ответ не приходил. Он уже решил выпустить эту нить из рук, как вдруг подумал, что, быть может, привратница Ирки Томеша помнит тот день, и помчался к ней; однако привратница утверждала, что это произошло в субботу. Прокоп впал в отчаяние; но тут пришло письмо, написанное крупными, аккуратными буквами образцовой ученицы: в Тынице он приехал в такой-то день, и «папа не должен знать, что я. вам писала». Больше ничего. Подпись — Анчи. И почему-то, когда Прокоп читал эти две строчки, сердце его обливалось кровью.

С удачно раздобытой датой Прокоп кинулся в ближайший банк: не могут ли ему сказать, кто именно в такой-то день взял в вашем учреждении, скажем, тридцать тысяч крон. Служащие качали головой: не принято, да и вообще не разрешается оглашать тайну вкладов. Однако, увидев, как он расстроился, пошли посовещаться с кем-то, потом спросили его — с чьего счета были сняты деньги; может быть, ему известно — взяли их с книжки, с текущего счета, получили по чеку или по аккредитиву? Прокоп, конечно, ничего не знал. Затем ему разъяснили: интересующее его лицо могло просто продать банку ценные бумаги, и тогда его имя даже и не может быть зарегистрировано в книгах. Когда же Прокоп сознался, что вообще не знает, в каком именно банке были получены деньги, служащие просто рассмеялись: неужели он собирается обегать все двести пятьдесят или сколько их есть

банков, филиалов или меняльных контор в Праге? Так рухнула гениальная идея Прокопа.

Оставалась четвертая возможность: случайно встретить незнакомку на улице. Прокоп попытался и здесь ввести какую-то систему; он разделил Прагу на секторы и обследовал участок за участком, бегая с утра до вечера. Однажды он подсчитал, скольких людей встречает в среднем за день; получилась цифра около сорока тысяч; таким образом, принимая во внимание общую численность населения Праги, у него был лишь один шанс из двенадцати встретить ту, которую искал. Но и ничтожный шанс внушал ему большую надежду. Есть в Праге улицы, места, как будто избранные для того, чтоб она там жила или хотя бы просто проходила по ним: улицы с цветущими акациями, старинные тихие площади, интимные уголки, где течет глубинная, степенная жизнь. Нет, невозможно представить себе, чтобы она поселилась вот на этой шумной, сумрачной улице, по которой можно лишь поспешно пробегать, или среди прямоугольной сухости безликих доходных домов, или среди мутной грязи ветхости; но почему бы ей не жить вон там, за теми светлыми окнами, за которыми притаила дыхание тенистая, хрупкая тишина? Дивясь, блуждая как во сне, открывал Прокоп — впервые в жизни — этот город, где провел столько лет; боже, сколько в нем прекрасных мест, где струится жизнь, мирная и зрелая, и зовет тебя, беспокойный человек: обуздай, обуздай себя самого!

Несчетное количество раз догонял Прокоп молодых женщин, бог весть чем напоминавших ему издали ту, которую он видел всего дважды; он бежал за ними с бьющимся сердцем: что, если — она?! И кто скажет, какое наитие или чутье руководило им: всегда это были хоть и незнакомые, но красивые и грустные женщины, замкнутые в себе, огражденные какой-то неприступностью. Однажды он был почти уверен, что увидел ее; горло его сжалось так, что он должен был остановиться перевести дух; и тут незнакомка вошла в трамвай и уехала. Три дня сторожил он на этой станции, но больше не встречал ее.

Хуже всего было по вечерам; смертельно усталый, он стискивал тогда руки меж колен, силясь изобрести какой-нибудь новый план поисков. Господи, никогда я не откажусь от надежды найти ее; я помешался на этом — пусть;

я безумец, идиот, маньяк; но никогда я не откажусь... Чем дальше она ускользает, тем это сильнее во мне, ну, просто... это... судьба, что ли...

Как-то раз он проснулся среди ночи, и ему стало вдруг предельно ясно: *так* он никогда не найдет незнакомку; надо встать, разыскать Ирку Томеша, который знает ее, и заставить его рассказать о ней. И Прокоп оделся и никак не мог дождаться утра. Он не был подготовлен к непонятным трудностям и проволочкам с оформлением паспорта; не мог даже взять в толк, чего от него требуют, и бесился, и тосковал в горячечном нетерпении. Наконец, наконец-то ночной экспресс помчал его за границу. Первым долгом — в Балттин!

Теперь все решится, чувствовал Прокоп.

XXIII

Решилось все, к сожалению, совсем не так, как он предполагал.

У него был план: разыскать в Балттине человека, назвавшегося Карсоном, и сказать ему примерно следующее: товар за товар, на деньги мне плевать; вы тотчас отведете меня к Иржи Томешу, к которому у меня есть дело, и получите за это хорошую взрывчатку, скажем, фульминат йода, с гарантированной детонацией в какие-нибудь одиннадцать тысяч метров в секунду, или, пожалуй, даже окись некоего металла, взрывающуюся со скоростью целых тринадцати тысяч метров в секунду, и делайте с ним что хотите... Дураки будут, если не пойдут на такую сделку.

Снаружи Балттинский комбинат показался Прокопу не очень крупным; у него слегка екнуло сердце, когда вместо привратника он наткнулся на часового. Он спросил господина Карсона (черт, ведь это не настоящее его имя); но солдатик с примкнутым штыком на винтовке, не вымолвив ни слова, препроводил его к разводящему. Тот сказал немногим больше солдата и повел Прокопа к офицеру. «Инженер Карсон здесь неизвестен, — ответил офицер, — но зачем он нужен посетителю?» Прокоп заявил, что ему, собственно, надо поговорить с Томешем. Это произвело такой эффект, что офицер послал за полковником. Полковник, очень тучный астматик, принялся

дотошно расспрашивать Прокопа, кто он такой и что ему надо. К тому времени в кабинете дежурного собралось человек пять военных, и они так посматривали на Прокопа, что того бросило в пот. Ясно было — ждут кого-то, кому уже дали знать по телефону. Этот кто-то ворвался бурей и оказался тем самым Карсоном! Его величали господином директором; Прокоп так никогда и не узнал его настоящего имени. Увидев Прокопа, Карсон вскрикнул от радости, затараторил, что его давно ждут и всякое такое; тотчас велел позвонить в замок, чтобы приготовили «кавалерский покой» для гостей, подхватил Прокопа под руку и повел по территории комбината. Тут Прокоп понял: то, что он принял за заводские цехи, была всего лишь казарма для солдат и пожарных; отсюда вело длинное шоссе, проходящее через туннель в поросшей зеленью насыпи, которая достигала примерно десятиметровой высоты. Они поднялись на насыпь, и только теперь Прокоп получил кое-какое представление о Балттинском комбинате: целый город военных складов, обозначенных цифрами и литерами, холмики, поросшие травой, — пороховые погреба, несколько поодаль железнодорожная станция с цейхгаузами и кранами, и дальше — еще какие-то совсем черные здания и дощатые бараки.

— Видите тот лес? — показал Карсон на горизонт. — За ним-то и находятся опытные лаборатории, понятно? Вон те песчаные бугры — это полигон. Так. А в том парке — замок. Рот разинете, когда я вам покажу лаборатории! Кха-кха, по последнему слову техники... А теперь пойдемте в замок.

Карсон весело болтал о чем угодно, но о деле — ни слова; они шли через парк, и он показывал Прокопу то редкий сорт аморфофалуса, то какую-нибудь редкостную японскую вишню; но вот и балттинский замок, весь увитый плющом. У входа ждет тихий, деликатный старичок в белых перчатках; зовут его Пауль, и он вводит Прокопа прямо в «кавалерский покой». В жизни не был Прокоп в подобном помещении. Мозаичный паркет, английский ампир, все старинное, драгоценное — даже присесть страшно. Не успел Прокоп умыться, как явился Пауль с подносом — яички, бутылка вина, дрожащий бокал — и поставил все это на стол так бережно, словно прислуживал принцессе. Под окнами — двор, посыпанный желтым песком; конюх в сапогах с отворотами гоняет на корде

высокого, в яблоках, коня; возле конюха стоит худощавая смуглая девушка, прищуренными глазами следит за ногами жеребца; вот она бросила краткое приказание и, опустившись на колено, ощупала его бабки.

Снова примчался Карсон — теперь, мол, надо представить Прокопа генеральному директору. Он повел Прокопа по длинному белому коридору, увешанному оленьими рогами и уставленному вдоль стен черными резными стульями. Розовый, как кукла, лакей в белых перчатках распахнул перед ними дверь, Карсон втолкнул Прокопа в какой-то зал рыцарских времен, и дверь за ними закрылась. У письменного стола стоял высокий старик, странно прямой — словно его только что вытащили из шкафа и подготовили для обряда приветствия.

— Господин инженер Прокоп, ваша светлость, — провозгласил Карсон. — Князь Хаген-Балттин.

Прокоп нахмурился, сердито мотнул головой, видимо считая это движение поклоном.

— Добро... пожаловать, — произнес князь Хаген, протягивая очень длинную руку.

Прокоп снова поклонился.

— Наде-юсь, вам будет... у нас... хорошо, — продолжал князь, и тут Прокоп заметил, что половина княжеского тела парализована.

— Ока-жите нам честь раз-делить нашу трапезу, — проговорил князь, явно беспокоясь, как бы у него изо рта не выпала искусственная челюсть.

Прокоп нервно переступил с ноги на ногу.

— Простите, князь, — сказал он наконец, — но я не могу задерживаться; мне надо... еще сегодня...

— Невозможно, абсолютно невозможно! — воскликнул Карсон из-за его спины.

— Я сегодня должен уехать, — упрямо повторил Прокоп. — Я хотел только... попросить, чтобы мне сообщили, где Томеш. За это я готов, если нужно, предоставить вам... если нужпо...

— Как? — вскричал князь и выпучил глаза на Карсона, ничего не понимая. — Чего... он... хочет?

— Не надо сейчас, — шепнул Карсон Прокопу и громко ответил: — Господин Прокоп хочет только сказать, ваша светлость, что не был подготовлен к вашему приглашению. Но это неважно. — Карсон быстро обернулся

к Прокопу. — Я все устроил. Сегодня будет déjeuner[1] в парке, так что... черный костюм не нужен; можете прийти в чем есть. Я уже телеграфировал насчет портного; ни о чем не беспокойтесь. Завтра все будет в порядке. Так-то.

— Сочту осо-бой честью... для н а с , — закончил аудиенцию князь, подавая Прокопу мертвые пальцы.

— Что это значит? — взорвался Прокоп, когда они вышли в к о р и д о р . — Говорите, сударь, и л и . . . — И он схватил Карсона за плечо.

Карсон расхохотался и увернулся из-под его руки, как озорной мальчишка.

— Или — что? — рассмеялся он и побежал, подскакивая, как м я ч . — Поймайте меня — все скажу! Честное слово!

— Шут гороховый! — взревел, бросаясь за ним, разъяренный Прокоп.

Карсон, хохоча, слетел по лестнице и мимо железных рыцарей выскользнул из двери; выбежав на газон, он начал паясничать, явно издеваясь над Прокопом.

— Ну, что? — кричал он. — Что вы мне сделаете?

— Изобью! — прохрипел Прокоп, устремляясь к нему, как взбешенный бык.

Карсон визжал от радости, прыгал по траве, петляя как заяц.

— Скорей! — ликовал о н . — Вот я где! — и, проскальзывая под рукой Прокопа, показывал ему нос из-за дерева.

Прокоп молча гонялся за Карсоном, сжав кулаки, серьезный и грозный, как Аякс. Он уже задыхался, когда вдруг заметил, что с лестницы замка за их беготней прищуренными глазами наблюдает смуглая амазонка. Его ожгло стыдом, он остановился, как бы испугавшись: а что, если эта девушка подойдет и станет щупать ему бабки?

Карсон сразу стал очень степенным, подошел к нему, сунув руки в карманы, и дружески проговорил:

— Недостаток тренировки. Вам нельзя вести сидячий образ жизни. Упражнять сердце! Так-то. А-аа! — просияв, закричал он. — Наша повелительница, хо-хо! Дочь старика, — тихо добавил он. — Княжна Вилле, то есть

---

[1] второй завтрак (*франц.*).

Вильгельмина-Аделаида-Мод и так далее. Интересная девчонка — двадцать восемь лет, великолепная наездница. Я должен вас представить, — уже громко закончил он и потащил упирающегося Прокопа к девушке.

— Светлейшая княжна! — воскликнул он еще издали. — Вот представляю вам — можно сказать, почти против его воли — нашего гостя. Инженер Прокоп. Бешеный человек. Хочет меня убить.

— Добрый день, — молвила княжна и обернулась к Карсону. — Знаете, у Вирлвинда распухли бабки.

— О боже! — ужаснулся Карсон. — Бедная княжна!

— Вы играете в теннис?

Хмурый Прокоп даже не понял, что вопрос относится к нему.

— Не играет, — ответил за Прокопа Карсон, ткнув его под ребра. — Вам следует научиться! Княжна проиграла Сюзанне Ленглен только один сет, — верно?

— Потому что я играла против солнца, — с некоторым неудовольствием объяснила княжна. — Во что вы играете?

И снова Прокоп не понял, что обращаются к нему.

— Господин инженер — ученый, — горячо затараторил Карсон. — Он открыл атомные взрывы и тому подобные вещи. Гигантский ум, серьезно. Мы по сравнению с ним — просто судомойки. Нам впору разве что картошку чистить и прочее в этом роде. Зато он... — Карсон даже присвистнул от восхищения, — просто волшебник. Если хотите, он вырвет водород из висмута. Так-то!

Серые глаза сквозь щелку век скользнули по Прокопу, который стоял, ошпаренный смущением, тихо ярясь на Карсона.

— Очень интересно, — отозвалась княжна, но глаза ее уже смотрели куда-то мимо. — Попросите его как-нибудь подробно рассказать мне об этом. Итак, до встречи в полдень. Хорошо?

На этот раз Прокоп поклонился почти вовремя, и Карсон увлек его в парк.

— Порода, — произнес он уважительно. — В этой женщине чувствуется порода. И горда, верно? Погодите, вот узнаете ее поближе.

Прокоп остановился.

— Слушайте, Карсон, во избежание недоразумений: я никого не собираюсь узнавать ближе. Сегодня или завтра я уезжаю, понятно?

Карсон как ни в чем не бывало покусывал какой-то листочек.

— Жаль, — ответил он. — Здесь очень хорошо. Ну, что поделаешь!

— Короче — говорите, где Томеш.

— Скажу, когда будете уезжать. Как вам понравился старик?

— Какое мне до него дело? — буркнул Прокоп.

— Ну, да... Антикварный экземпляр, для представительства. К сожалению, раз в неделю его регулярно хватает удар. Зато Вилле — чудесная девушка. Потом тут есть еще Эгон, восемнадцатилетний оболтус. Оба сироты. Потом гости: какой-то кузен князь Сувальский, разные офицеры, Ролауф, фон Граун — знаете, член Жокей-клуба — и доктор Краффт, воспитатель, и остальное общество. Сегодня вечером вы должны заглянуть к нам. Вечеринка с пивом — без всяких аристократов, только наши инженеры и тому подобное, знаете... Вон там, в моей вилле. Это в вашу честь.

— Карсон, — строго сказал Прокоп, — прежде чем уехать, я хочу серьезно поговорить с вами.

— Это не к спеху. Отдыхайте пока, вот и все. Ну, мне пора на работу. Можете делать что понравится. Никаких формальностей. Хотите купаться — вон там пруд. Ничего, ничего, об этом — позже. Будьте как дома. Так-то!

И он исчез.

XXIV

Прокоп бродил по парку, безотчетно злясь и сонно позевывая. Он удивлялся — чего от него хотят? — и с неудовольствием рассматривал свои заношенные брюки и ботинки, смахивавшие на солдатские башмаки. Задумавшись, Прокоп едва не забрел на середину теннисного корта, где княжна играла с двумя франтами в белых костюмах. Он быстро свернул и пошел туда, где предполагал найти выход из парка. С этой стороны парк оканчивался своего рода террасой: каменная балюстрада и отвесно вниз — стена, метров двенадцати высотой. Отсюда можно было любоваться сосновой рощей; внизу, вдоль опушки, ходил солдат с примкнутым к винтовке штыком.

Тогда Прокоп направился в другую сторону; там парк полого спускался. Здесь он обнаружил пруд с купальнями,

но, пересилив желание искупаться, вошел в чудесную березовую рощицу. Ага, здесь только забор из штакетника, полузаросшая тропинка ведет к калитке; калитка даже не заперта, можно выйти из парка в сосновый лес. Он тихо добрался по скользкому хвойному ковру до самой опушки. А, черт, перед ним — изгородь из колючей проволоки, в добрых четыре метра высотой! Интересно, прочна ли проволока? Осторожно попробовал рукой, ногой и вдруг заметил, что с той стороны проволочной изгороди за его действиями с любопытством наблюдает вооруженный солдат.

— Вот жара, а? — заговорил Прокоп, чтобы не показать смущения.

— Проход воспрещен, — ответил солдат.

Прокоп повернулся на каблуках и пошел вдоль проволочной изгороди. Сосновый лес сменился кустарником, за ним виднелись какие-то амбары и хлева — видимо, скотный двор; Прокоп заглянул в щелку забора — оттуда вдруг раздался страшный лай, рык, храп, и добрая дюжина догов, волкодавов и овчарок в остервенении кинулись к забору. Четыре пары недоверчивых глаз выглянули из четырех дверей. Прокоп на всякий случай поздоровался и хотел было двинуться дальше, но один из работников побежал за ним и сказал, что и здесь «ходить воспрещается!» — после чего проводил Прокопа до самой калитки в березовую рощу.

Все это очень расстроило Прокопа. «Карсон должен сказать мне, где тут выход, — решил он. — Я вам не канарейка, чтоб держать меня в клетке». Он обошел стороной теннисный корт и направился к парковой дорожке, по которой Карсон привел его к замку. Но теперь на его пути возник словно сошедший с экрана парень в берете блином, пожелавший узнать, куда господин изволит идти.

— К выходу, — коротко ответил Прокоп.

— Но здесь проход воспрещен, — объяснил парень в берете, — это дорога к складам боеприпасов, и кто хочет туда попасть, должен получить пропуск в дирекции. А ворота, ведущие с территории замка, — как раз в противоположной стороне, идите назад по главной дороге, потом налево, пожалуйста.

Прокоп пустился по главной дороге и налево — и пожалуйста, добрался до больших решетчатых ворот. Дед-привратник вышел отпереть их.

— Пожалуйте листочек!
— Какой листочек?
— Пропуск.
— Какой пропуск?
— Разрешение на выход.

Прокоп взбесился:

— Да что я, в тюрьме, что ли!?

Дед сочувственно пожал плечами:

— Прошу прощения — сегодня мне такой приказ даден.

«Бедняга, — подумал Прокоп, — ну, тебе ли задержать кого? Достаточно двинуть рукой *вот так...»*

Из окна сторожки выглянуло знакомое лицо, чрезвычайно напоминавшее лицо некоего Боба. И Прокоп, даже не закончив своей мысли, повернулся спиной и побрел обратно к замку. Клянусь всеми чертями, сказал он себе, странные тут делаются дела. Похоже, что кого-то не хотят выпускать. Ладно, поговорю с Карсоном. И вообще — чихать я хотел на их гостеприимство, к столу не пойду; не стану я сидеть с хлыщами, которые там, на корте, хихикали у меня за спиной. В крайнем возмущении поднялся Прокоп в отведенный ему покой, бросился в старинный шезлонг, жалобно скрипнувший под ним, и предался гневу. Вскоре постучал Пауль и мягко спросил, — пойдет ли господин к déjeuner.

— Не пойду, — проворчал Прокоп.

Пауль поклонился и исчез. Через несколько минут он появился снова, толкая перед собой столик на колесиках, уставленный бокалами, хрупким фарфором и серебром.

— Какого желаете вина? — деликатно осведомился Пауль.

Прокоп проворчал что-то в том духе, чтобы его оставили в покое.

Пауль на цыпочках подошел к двери, принял там из двух белых лап большую суповую миску.

— Consommé de tortues [1], — почтительно шепнул он и налил супу в тарелку, после чего миска была передана белым лапам. Таким же путем появились рыба, жаркое, салаты — блюда, которых Прокоп никогда не ел; он даже не знал толком, как их едят, однако ему было стыдно обнаружить при Пауле хоть тень замешательства.

---

[1] Черепаховый суп (*франц.*).

— Сядьте, — пригласил его Прокоп, понюхав и пригубив чуть терпкое белое вино.

Пауль сдержанно поклонился и, конечно, остался стоять.

— Слушайте, Пауль, — продолжал Прокоп, — как вы думаете — я арестован?

Пауль учтиво пожал плечами.

— Простите, не могу знать.

— По какой дороге можно выбраться отсюда?

Пауль подумал немного.

— С вашего разрешения — по главной дороге, потом налево. Прикажете кофе?

— Что ж, давайте.

Прокоп ошпарил себе глотку превосходным мокко, и Пауль поднес ему вместе с серебряной зажигалкой все ароматы Аравии в сигарном ящике.

— Слушайте, Пауль, — снова начал Прокоп, откусывая кончик сигары, — спасибо за все. Не знали вы тут некоего Томеша?

Пауль, усердно вспоминая, обратил глаза к небу.

— Простите, не знал.

— Сколько здесь солдат?

Старый слуга подумал и стал подсчитывать:

— На главном посту — сотни две. Это пехота. Затем — полевые жандармы, не знаю, сколько их. В Балттин-Дортуме гусарский эскадрон. На полигоне в Балттин-Диккельне артиллеристы, но они сменяются.

— Зачем тут полевые жандармы?

— Прошу прощения, мы на военном положении. Завод боеприпасов.

— Ага. Значит, здесь вокруг — всюду посты?

— Здесь только патрули, ваша милость. Цепь — дальше, за лесом.

— Какая цепь?

— Запретная зона, ваша милость. Туда никому нельзя.

— А если кто захочет уехать...

— Должен попросить разрешение на выезд в комендатуре. Не угодно ли вашей милости еще чего-нибудь?

— Нет, спасибо.

Прокоп с наслаждением растянулся в шезлонге, как сытый бей. Ладно, посмотрим, сказал он себе; пока тут не так уж плохо. Он хотел поразмыслить о случившемся,

но вместо этого ему вспомнилось, как прыгал, увертываясь от него, Карсон. «Неужели не догоню?» — подумал Прокоп и пустился вдогонку. Достаточно было одного пятиметрового скачка, чтоб настичь беглеца, но Карсон поднялся в воздух, как кузнечик, и плавно перелетел через кусты. Прокоп топнул и взлетел следом за ним — только ноги поджал, перелетая над кустами. Еще толчок — и Прокоп полетел неизвестно куда, уже не заботясь о Карсоне. Он возносился над деревьями, легонький, вольный, как птица; попробовал сделать ногами несколько плавательных движений — и поднялся выше! Это ему очень понравилось. Сильными толчками он ввинчивался круто вверх. Под ногами, как четкий план, открылся замковый парк со всеми его беседками, газонами, петляющими дорожками; можно было распознать теннисный корт, пруд, крышу замка, березовую рощицу; а вон там — псарня, и сосновый лесок, и колючая изгородь, справа же начинаются склады боеприпасов, а за ними — высокая стена. Прокоп полетел в ту сторону, где еще не успел побывать. По дороге сообразил: то, что он счел сегодня террасой, были остатки старых замковых укреплений, могучий бастион с бойницами и рвом, некогда питаемым водой из пруда. Прокопу важно было рассмотреть часть парка между главными воротами и этим бастионом; там — заросшие тропинки, буйный кустарник, насыпь — уже только метра в три высотой, а под ней то ли мусорная свалка, то ли куча компосту; дальше — огород, окруженный довольно ветхим частоколом, в частоколе — зеленая калитка; за нею — шоссе. Надо поглядеть поближе, — сказал себе Прокоп и стал медленно спускаться. Тут на шоссе выскакал кавалерийский эскадрон с саблями наголо и ринулся на Прокопа. Тот подтянул колени к подбородку, чтоб ему не отсекли ноги; но это движение сообщило его телу такой толчок, что он стрелой взвился в небо. Глянув еще раз на землю, он увидел все таким маленьким, точно смотрел на карту; далеко внизу, на шоссе, выехала крошечная батарея, сверкающий ствол орудия поднялся к зениту, вспухло белое облачко и — бумм! — первый снаряд пролетел над головой Прокопа. Пристреливаются, — сообразил Прокоп и поспешно задвигал руками, чтобы убраться подальше. Бумм! — второй снаряд просвистел мимо носа. Прокоп изо всех сил торопился прочь от этого места. Бумм! — третьим снарядом у него перебило

крылья, Прокоп стремглав полетел головой вниз и — проснулся. Кто-то стучал в дверь.

— Войдите! — вскакивая, крикнул Прокоп; он еще не совсем очнулся и с трудом соображал, где находится.

Вошел седовласый, благородного вида господин, весь в черном, и низко поклонился.

Прокоп стоял, ожидая, пока благородный господин заговорит.

— Дребайн, — представился министр (по меньшей мере!) и снова поклонился.

Прокоп отвесил столь же низкий поклон.

— Прокоп, — ответил он. — Чем могу служить?

— Не соблаговолите ли вы немного постоять?

— Пожалуйста, — пролепетал Прокоп, сбитый с толку: что с ним будут делать?

Седовласый господин изучал фигуру Прокопа прищуренными глазами; даже обошел его кругом и погрузился в созерцание Прокоповой спины.

— Могу я попросить вас немного выпрямиться?

Прокоп вытянулся, как солдат; какого черта...

— Разрешите, — сказал господин, опускаясь на одно колено.

— Что вам надо? — испуганно отшатнувшись, воскликнул Прокоп.

— Снять мерку. — С этими словами господин уже вытащил из заднего кармана сантиметр и принялся мерить длину брюк Прокопа.

Прокоп отступил к окну.

— Перестаньте, понятно? — раздраженно крикнул он. — Я не заказывал никаких костюмов.

— Мне уже дано распоряжение, — учтиво настаивал господин.

— Слушайте, — едва владея собой, начал Прокоп, — идите ко всем... Не нужны мне никакие костюмы, и точка! Поняли?

— Пожалуйста, — согласился господин Дребайн и присел на корточки; он приподнял жилет Прокопа, потянул за нижний конец брюк. — На два сантиметра длиннее, — заметил он, вставая. — Позвольте! — и опытной рукой скользнул Прокопу под мышку. — Слишком свободно.

— Ну и ладно, — буркнул Прокоп, поворачиваясь к нему спиной.

— Благодарю, — сказал Дребайн, разглаживая на лопатках Прокопа какую-то складку.

Прокоп обернулся вне себя:

— Эй вы, руки прочь, а не то...

— Простите, — извинился господин, мягко обхватывая его вокруг талии; и прежде чем Прокоп, обуянный жаждой убийства, успел пошевелиться, назойливый господин стянул сантиметр вокруг его пояса, отступил и, склонив голову, принялся разглядывать талию Прокопа. — Да, именно так, — вполне удовлетворенный, заметил про себя портной и низко поклонился со словами: — Честь имею...

— Иди ты к лешему! — гаркнул Прокоп ему вслед. — Ничего, завтра меня здесь не будет, — закончил он про себя, после чего, возмущенный, зашагал из угла в угол. — Да разрази их гром, неужели эти люди воображают, что я тут полгода проживу?

Тут, постучав, с видом невинного младенца вошел Карсон. Прокоп остановился, сцепив руки за спиной, смерил его мрачным взглядом.

— Слушайте, — резко сказал оп. — Кто вы такой, собственно говоря?

Карсон и бровью не повел; скрестив руки на груди, он поклонился на восточный манер:

— О принц Аладдин, я — джинн, твой раб. Приказывай — я выполню любое твое желание. А вы изволили соснуть? Ну, ваше благородие, как вам тут нравится?

— Чудесно, — с горечью ответил Прокоп. — Только я хотел бы знать: должен ли я считать себя арестованным и по какому праву?

— Арестованным? — ужаснулся Карсон. — Господи боже мой, разве кто-нибудь не пускал вас в парк?

— Нет; но — из парка.

Карсон сочувственно кивнул:

— Неприятно, правда? Мне очень досадно, что вы недовольны. Вы купались в пруду?

— Нет. Как мне отсюда выйти?

— Боже мой, да через главные ворота. Идите прямо, потом налево...

— И предъявите пропуск, так? Только пропуска-то у меня и нет.

— Какая жалость, — заметил Карсон. — А ведь здесь очень красивые окрестности.

— А главное — их тщательно охраняют.

— Очень тщательно, — согласился Карсон. — Прекрасно сказано.

— Послушайте! — взорвался Прокоп, потемнев от гнева. — Думаете, очень приятно на каждом шагу натыкаться на штыки или колючую проволоку?

— Где же это? — удивился Карсон.

— Везде по краям парка.

— А зачем вас черти носят по краям? Ходите себе в середине, вот и все.

— Значит, я под арестом?

— Боже сохрани! Да, чтоб не забыть: вот вам удостоверение. Пропуск на комбинат, понимаете? Вдруг вам захочется заглянуть туда.

Прокоп взял удостоверение и удивился: там была наклеена его фотография, сделанная, видимо, сегодня.

— Могу я с этим пропуском выйти с территории?

— О нет, — поспешил ответить Карсон. — Не советую. И вообще будьте немножко осмотрительней, ладно? Понимаете? Вот, взгляните. — И он показал в окно.

— Что там?

— Эгон обучается боксу. Ага, съел! А с ним — фон Граун. Хо-хо, мальчишка не из трусливых!

Прокоп с отвращением смотрел на двор, где полуголый юноша, с окровавленным носом и губами, всхлипывая от ярости и боли, вновь и вновь бросался на своего более опытного противника, чтобы через секунду отлететь от него еще более жалким и окровавленным. Особенное омерзение внушало Прокопу то, что зрелищем этим любовались старый князь — сидя в кресле на колесах, он смеялся во все горло — и княжна Вилле, которая при этом спокойно беседовала с каким-то великолепным красавцем. Наконец совершенно одурев, Эгон упал на песок; кровь капала у него из носа.

— Скоты, — проворчал Прокоп неизвестно по чьему адресу и сжал кулаки.

— Не надо быть таким чувствительным, — сказал Карсон. — У нас жесткая дисциплина. Живем... как на военной службе. Не балуем н и к о г о . — Он так выразительно подчеркнул последние слова, что они прозвучали угрозой.

— Карсон, — очень серьезно спросил Прокоп. — Я тут... ну, вроде как... в тюрьме?

— Да что вы! Всего лишь — на бдительно охраняемом предприятии. Пороховой завод — это ведь не парик-

махерская, верно? Придется вам как-нибудь приспособиться.

— Я завтра уеду, — упрямо проговорил Прокоп.

— Ха-ха! — рассмеялся Карсон и шлепнул его по животу. — Вот шутник! Итак, сегодня вечером вы заглянете к нам?

— Никуда я не пойду! Где Томеш?

— Что? Ах, ваш Томеш! Ну, пока он очень далеко. Вот ключ от вашей лаборатории. Там никто вам не помешает. К сожалению, у меня нет больше времени.

— Карсон, — начал было Прокоп, но осекся: Карсон сделал такой повелительный жест, что он не посмел продолжать; и Карсон удалился, посвистывая, как ученый скворец.

Прокоп пустился со своим пропуском к главным воротам. Дед-привратник, качая головой, внимательно изучил удостоверение: нет, эта бумажка — для ворот С, вон в ту сторону, к лабораториям. Прокоп отправился к воротам С; парень из фильма в берете блином, просмотрев удостоверение, показал: сначала прямо, потом третья поперечная дорожка на север. Прокоп, конечно, двинулся в южном направлении, но через три шага его задержал полевой жандарм: назад, третья дорожка налево. Прокоп плюнул на «третью дорожку налево» и пустился прямо через луг; через минуту за ним бежало трое: «Здесь ходить воспрещается!» Тогда он покорно пошел по третьей дорожке на север и, когда уже думал, что никто его не видит, свернул к складам боеприпасов. Там его остановил солдат с примкнутым штыком на винтовке и растолковал, что ему надо вон туда, перекресток VII, дорога № 6. Прокоп пытал счастье на каждом перекрестке, но всюду его останавливали и посылали на дорогу VII № 6. Наконец он смирился и понял, что литеры на удостоверении: «C_3 n. w. F. H. A. VII № 6 Bar. V — 7 S. b.!» — имеют таинственный и непреклонный смысл, которому следует слепо подчиняться. Он пошел по указанному пути. Там уже не было никаких складов, только маленькие железобетонные домики, обозначенные различными номерами — видимо, лаборатории; домики были разбросаны среди песчаных бугров и сосен. Дорога привела его к уединенному домику под номером V—7; на двери красовалась медная дощечка: «Инж. Прокоп». Прокоп открыл дверь ключом, который дал ему Карсон, и вошел.

Внутри оказалась прекрасная лаборатория химии взрывчатых веществ — настолько полно и современно оборудованная, что у Прокопа занялся дух от профессиональной радости. На гвозде висела его старая блуза, в углу, как в Праге, стояла солдатская койка, в ящиках превосходно сконструированного письменного стола, тщательно рассортированные и систематизированные, лежали все его печатные статьи и рукописные заметки.

XXV

Полгода не держал Прокоп в руках милую сердцу химическую посуду.

Он осмотрел аппарат за аппаратом; здесь было все, о чем он когда-либо мог мечтать, новенькое, расставленное в педантическом порядке — как на выставке. Была библиотека специальных книг и практических руководств; огромная полка с химикалиями, шкаф с чувствительными инструментами, кабина для опытных взрывов, шкаф с трансформаторами, приборы для опытов, назначения которых он даже не знал. Осмотрев едва ли половину этих чудес, он, подчиняясь внезапному побуждению, бросился к полке за какой-то солью бария, азотной кислотой и еще чем-то и приступил к опыту; в ходе эксперимента ему удалось обжечь себе палец, взорвать пробирку и пропалить дыру в пиджаке. Тогда, удовлетворенный, он сел к столу и нацарапал два-три наблюдения.

После этого Прокоп снова принялся разглядывать лабораторию. Она несколько напоминала ему новенький парфюмерный магазин: все было *слишком* в порядке, но стоило ему тронуть одно, переставить другое, разбросать все по своему вкусу — и стало гораздо уютнее. В самый разгар работы Прокоп вдруг остановился: ага, сказал он себе, так вот чем хотят меня заманить! Того гляди явится Карсон и запоет: сделаетесь «биг мэн», и всякое такое...

Мрачно уселся Прокоп на койку и стал ждать. Но никто не появился, и он, как вор, прокравшись к лабораторному столу, опять занялся солью бария. Все равно я тут в последний раз, утешал он сам себя. Опыт удался блестяще: вспыхнул длинный язычок пламени, стеклянный колокол на точных весах разлетелся вдребезги. Ох, влетит

мне, виновато екнуло у Прокопа сердце, когда он увидел размеры ущерба; и он выскользнул из двери, как школьник, разбивший окно. Уже спустились сумерки, моросил дождь. В десяти шагах от лаборатории стоял часовой.

Прокоп не торопясь пошел к замку той же дорогой, что привела его сюда. В парке — ни души; мелкий дождь шелестел в верхушках деревьев, ярко светились окна замка, в сумерках раздавались бурные звуки рояля — играли какую-то торжествующую песню. Прокоп повернул в пустынную часть парка между главными воротами и террасой. Здесь буйно разрослись кусты, скрыв все дорожки; он забрался в сырую гущу, как дикий вепрь, то прислушиваясь, то снова продираясь вперед и с хрустом ломая ветки. Вот наконец и край зарослей, кусты здесь перевешиваются через старый вал, не достигающий в этом месте и трех метров высоты. Прокоп ухватился за ветки, чтобы по ним спуститься с вала, но под тяжестью его солидного веса ветки обломились с резким треском — как пистолетный выстрел, — и Прокоп грузно свалился на какую-то мусорную кучу. Посидел с бьющимся сердцем: вдруг услышали? Не придут ли? Слух улавливал только шорохи дождя. Тогда он поднялся, стал искать забор с зеленой калиткой — как было во сне.

Все совпало в точности, кроме одного: калитка оказалась приоткрытой. Это его очень встревожило: значит, кто-то только что вошел или вышел; в обоих случаях — поблизости кто-то есть. Что делать? Мгновенно решившись, Прокоп ударом ноги распахнул калитку и быстро вышел на шоссе. И в самом деле — на шоссе маячил невысокий человек в резиновом плаще и с трубкой в зубах. Оба постояли лицом к лицу в некоторой растерянности: кто начнет? И с чего? Начал, конечно, более темпераментный Прокоп. Молниеносно избрав из нескольких возможностей путь насилия, он бросился на человека с трубкой и, боднув его, как баран, всей своей тяжестью, опрокинул в дорожную грязь. Прижал его грудью и локтями к земле, слегка удивленный и недоумевающий: что делать с ним дальше? Не задушить же человека, как курчонка! А человек под ним даже трубку изо рта не выпустил, осторожно выжидает.

— Сдавайся! — прохрипел Прокоп и в тот же миг получил удар коленом в живот, кулаком — под челюсть и скатился в канаву.

Подымаясь с земли, он ждал нового удара, но человек с трубкой невозмутимо стоял на шоссе, наблюдая за ним.

— Еще? — процедил он сквозь зубы.

Прокоп отрицательно мотнул головой. Тогда тот принялся чистить ему костюм страшно грязным носовым платком.

— Грязно, — заметил незнакомец, усердно трудясь над пиджаком Прокопа. — Назад? — спросил он, закончив работу, и показал на зеленую калитку.

Прокоп вяло кивнул. Человек с трубкой отвел его к старому валу и наклонился, уперев руки в колени.

— Полезайте! — сухо скомандовал он.

Прокоп забрался ему на плечи, человек выпрямился:

— Гоп!

Прокоп ухватился за свисающие ветки и вскарабкался на вал. Он чуть не плакал от стыда.

Вдобавок ко всему, когда Прокоп, исцарапанный, опухший, вывалявшийся в грязи, страшный и униженный, крался по лестнице замка в свой «кавалерский покой», ему встретилась княжна Вилле. Прокоп сделал вид, будто он — не он, будто вовсе незнаком с ней, короче — не поздоровался и помчался вверх по лестнице — фигура, слепленная из грязи; пробегая мимо, поймал ее удивленный, презрительный, очень оскорбительный взгляд. Прокоп остановился, как от удара плетью.

— Стойте! — крикнул он, возвращаясь к ней, а на лбу его от ярости чуть не лопались жилы. — Ступайте, скажите им, скажите... что я плевать на них хотел, и... я не позволю держать себя взаперти, поняли? Не позволю! — взревел он и так стукнул кулаком по перилам, что загудело, и ринулся обратно в парк, оставив бледную княжну в полном оцепенении.

Через несколько минут после этого кто-то, до неузнаваемости заляпанный грязью, ворвался в сторожку у главных ворот, перевернул стол на ужинавшего старичка-привратника, схватил Боба за горло и так саданул его головой об стену, что наполовину содрал с него скальп и совершенно оглушил; затем этот «кто-то» схватил ключи, отпер ворота и выбежал вон. Там он наткнулся на часового, который тотчас предупреждающе крикнул и сорвал винтовку с плеча, но не успел выстрелить: незнакомец

встряхнул его, вырвал винтовку и ударом приклада перебил ему ключицу. Но тут подоспели еще двое солдат с ближайших постов; темная фигура швырнула в них винтовкой и бросилась обратно в парк.

Почти в то же время нападению подвергся ночной сторож у ворот С: некто черный, большой, налетел на него, нанося страшные удары в челюсть. Сторож, русоволосый гигант, крайне изумленный, держался некоторое время, пока ему не пришло в голову свистнуть; тогда нападающий с ужасными ругательствами отпустил его и скрылся в черном парке. По тревоге подняли караулы, многочисленные патрули пошли прочесывать парк.

Около полуночи кто-то выломал камни из балюстрады парковой террасы и стал кидать трехкилограммовые обломки на часовых, расхаживающих у подножия террасы, на глубине десяти метров. Один из солдат выстрелил, после чего сверху посыпался град политических оскорблений, и все стихло. Из Диккельна прибыл вызванный эскадрон кавалерии, в то время как весь балттинский гарнизон колол штыками кусты. В замке давно никто не спал. В час ночи у теннисного корта нашли солдата, лежавшего без чувств; его винтовка исчезла. Вскоре после этого в березовой роще завязалась короткая, но интенсивная перестрелка; к счастью, никто не был ранен. Озабоченный Карсон настоятельно упрашивал уйти домой княжну Вилле, которая, вся дрожа — вероятно, от ночной свежести, — отважилась появиться на поле боя; но княжна, странно блестя огромными глазами, попросила оставить ее в покое. Карсон пожал плечами и не препятствовал ей больше сумасбродничать.

Хотя вокруг замка солдаты так и кишели, некто, засевший в кустах, принялся методически выбивать замковые окна. Произошел переполох, тем более что одновременно на шоссе раздались два-три выстрела. Вид у Карсона был чрезвычайно обеспокоенный.

А княжна тем временем, как ни в чем не бывало, шла по дорожке в роще красных буков. Вдруг ей навстречу выскочила огромная черная фигура, остановилась, погрозила кулаком, пробормотав, что это — позор и скандал, и снова скрылась в кустах, ломая их, стряхивая с веток тяжелые дождевые капли. Княжна вернулась и задержала по дороге патруль: в той стороне никого нет. Глаза ее расширились и блестели, словно в горячке.

Вскоре стрельба раздалась в кустах за прудом; судя по звуку, били из дробовиков. Карсон ругался: пусть только работники имения сунутся, он им уши оборвет! Он еще не знал в ту минуту, что кто-то размозжил камнем голову великолепному датскому догу.

На рассвете крепко спавшего Прокопа нашли в японской беседке. Он был страшно исцарапан, грязен, костюм висел на нем клочьями, на лбу красовалась шишка с кулак, волосы слиплись от крови. Карсон только головой покачал над спящим героем этой ночи. Приплелся Пауль, заботливо прикрыл похрапывающего Прокопа теплым пледом; потом он принес таз, кувшин с водой и полотенце, чистое белье и новый с иголочки спортивный костюм от Дребайна и удалился на цыпочках.

Только два ничем не примечательных человека в штатском, с пистолетами в задних карманах брюк, до утра прогуливались поблизости от японской беседки, храня непринужденное выражение людей, вышедших полюбоваться восходом солнца.

XXVI

Прокоп ждал, что эта ночь будет иметь бог весть какие последствия; однако ничего не последовало, вернее — последовал за ним только тот человек с трубкой, которого Прокоп почему-то побаивался. Человека звали Хольц — имя, весьма мало говорящее о его замкнутой, бдительной натуре. Куда бы Прокоп ни шел — Хольц следовал за ним точно в пяти шагах. Это до бешенства раздражало Прокопа, и он целый день терзал Хольца самым утонченным образом: например, быстро ходил взад-вперед, взад-вперед по короткой дорожке, пятьдесят, сто раз подряд, ожидая, когда же Хольцу надоест через каждые двадцать шагов делать «кругом». Но Хольцу это не надоедало. Тогда Прокоп обратился в бегство, трижды обежал вокруг всего парка; Хольц молча несся за ним, даже не переставая пускать изо рта клубы дыма; зато Прокоп запыхался так, что в груди свистело.

Карсон не показывался в этот день — видимо, сердился. К вечеру Прокоп отправился к своей лаборатории, сопровождаемый молчаливой тенью. Он хотел запереть за собой входную дверь, но Хольц просунул ногу между

дверью и косяком и вошел следом. В сенях стояло приготовленное кресло, и было ясно, что Хольц отсюда не уйдет. Ну и ладно! Прокоп таинственно возился с чем-то в лаборатории, Хольц сухо, отрывисто похрапывал в сенях. Около двух часов ночи Прокоп обмакнул какую-то бечевку в керосин, зажег и бросился вон со всей скоростью, на какую был способен. Хольц моментально вылетел из кресла и пустился за ним. Пробежав с сотню шагов, Прокоп кинулся в канаву лицом вниз; Хольц остановился над ним, раскуривая свою трубочку. Прокоп поднял голову, собираясь что-то сказать ему, да промолчал, вспомнив, что принципиально не разговаривает с Хольцем; вместо этого он потянул руку и, дернув своего стража за ноги, свалил на землю.

— Берегись! — успел только крикнуть Прокоп, и в ту же секунду со стороны лаборатории донесся основательный взрыв, осколки камней и стекла со свистом пролетели над головой. Прокоп встал, небрежно отряхнулся и поспешно двинулся прочь, сопровождаемый Хольцем. К лаборатории уже сбегались часовые, подкатила пожарная машина.

Это было первое предостережение, адресованное Карсону. Если он теперь не явится на переговоры — произойдет кое-что похуже.

Карсон не явился; вместо этого он прислал новый пропуск, видимо в другую лабораторию. Прокоп взбесился. Ах так, сказал он себе, ладно! Я ему покажу, где раки зимуют. Рысью помчался он в свою новую лабораторию, соображая по дороге, какое вещество избрать для более чувствительного проявления своего протеста; выбрал соединение калия, которое взрывается от соприкосновения с водой. Однако, когда Прокоп разыскал свою новую лабораторию, у него беспомощно опустились руки: проклятье, что за дьявол этот Карсон!

В непосредственной близости от лаборатории оказались домики — видимо, жилища сторожей комбината; в садике копошилась добрая дюжина детишек, молодая мать убаюкивала ревущего красного малыша. Встретив взбешенный взгляд Прокопа, она осеклась, перестала петь.

— Добрый вечер, — буркнул Прокоп и побрел обратно, сжимая кулаки. Хольц — в пяти шагах за ним.

По дороге в замок они встретили княжну верхом, в сопровождении кавалькады офицеров. Прокоп сошел на

боковую дорожку, но княжна на всем скаку повернула коня за ним.

— Если захотите прокатиться, — быстро заговорила она, и по ее смуглым щекам волной пробежал румянец, — в вашем распоряжении будет Премьер.

Прокоп отступил перед приплясывающим Вирлвиндом. Он в жизни не сидел в седле, но не сознался бы в этом ни за что на свете.

— Благодарю, — сказал он. — Но не нужно... подслащивать... мой *плен.*

Княжна нахмурилась; действительно, именно с ней неуместно было заговаривать об этой стороне дела. Однако она подавила гнев и возразила, деликатно сочетая укор и приглашение:

— Не забывайте, что в замке вы — мой *гость.*

— Полагаю, я мог бы обойтись и без этого, — строптиво проворчал Прокоп, пристально следя за малейшим движением горячего коня.

Княжна в раздражении шевельнула ногой; Вирлвинд фыркнул и поднялся на дыбы.

— Не бойтесь его, — с усмешкой кинула Вилле.

Прокоп потемнел в лице и ударил коня по морде; княжна вскинула хлыст, словно собираясь хлестнуть его по руке. Кровь бросилась Прокопу в голову.

— Осторожнее! — прохрипел он, впившись налитыми кровью глазами в сверкающие глаза княжны. Офицеры из ее свиты уже заметили неладное и подскакали ближе.

— Алло, что тут происходит? — крикнул передний из них и погнал свою вороную кобылу прямо на Прокопа. Тот, увидев над собой лошадиную голову, схватил поводья и изо всех сил дернул в сторону. Кобыла заржала от боли, сделала свечку, наездник свалился в объятия невозмутимого Хольца. Две сабли блеснули на солнце; но княжна была уже тут как тут на дрожащем Вирлвинде и конем оттеснила офицеров.

— Отставить! — скомандовала она. — Это мой гость! — Она хлестнула Прокопа мрачным взглядом, добавив: — Тем более — он боится лошадей. Познакомьтесь, господа. Лейтенант Ролауф. Инженер Прокоп. Князь Сувальский. Фон Граун. Инцидент исчерпан, не так ли? Ролауф — на коня. Поехали. Премьер к вашим услугам, господин инженер. И помните — здесь вы только гость. До свидания!

Хлыст многообещающе свистнул в воздухе, Вирлвинд повернулся так резко, что из-под копыт брызнул песок, и кавалькада скрылась за поворотом; только лейтенант Ролауф еще джигитовал на коне вокруг Прокопа; испепеляя его яростными взглядами, он хриплым от бешенства голосом выдавил:

— Рад познакомиться, сударь!

Прокоп повернулся на каблуках, ушел в свою комнату и заперся там; через два часа Пауль, шаркая постариковски, поплелся из «кавалерского покоя» в дирекцию с каким-то объемистым посланием. Тотчас после этого примчался нахмуренный, злой Карсон; повелительным жестом он выгнал Хольца, спокойно дремавшего на стуле перед дверью, и вошел к Прокопу.

Хольц уселся на ступеньках замка и закурил трубку. В «кавалерском покое» раздался грозный рев, но это ни в малейшей степени не касалось Хольца; трубочка плохо тянула, и Хольц развинтил ее, опытным движением прочистил мундштук травинкой. А в «кавалерском покое» будто рычала пара тигров, сцепившихся в драке; один орал, другой хрипел, грохнулось что-то из мебели, и на секунду воцарилась тишина; и снова разнесся страшный крик Прокопа. Сбежались садовники, но Хольц прогнал их мановением руки и принялся продувать мундштук. Буря наверху нарастала, оба тигра рычали, кидались друг на друга, храпя от бешенства. Пауль выбежал из замка бледный как стена, в ужасе возвел глаза к небу. В это время мимо проезжала княжна со своей свитой; услышав крики в гостевом крыле замка, она нервно засмеялась и без всякой надобности огрела Вирлвинда хлыстом. Постепенно крик стал утихать, слышно было только, как ругается и грозится Прокоп, грохая кулаком по столу. Его перебивает резкий голос, он угрожает и приказывает; Прокоп вне себя громко протестует, но резкий голос отвечает тихо и решительно.

— По какому праву? — орет Прокоп.

Повелительный голос объясняет ему что-то с тихой, угрожающей настойчивостью.

— Но тогда, понимаете ли вы это, тогда вы все взлетите на воздух! — гремит Прокоп, и буря разражается снова, настолько грозная, что Хольц моментально прячет трубку в карман и бросается в замок. Но все снова утихло,

только резкий голос, приказывая, рубит фразы; ему отвечает лишь грозное, глухое рычание. Похоже, что там, наверху, диктуют условия перемирия. Еще дважды раскатился яростный рев Прокопа, но обладатель резкого голоса уже не сердился; казалось, он был уверен в своей победе.

Полтора часа спустя из комнаты Прокопа вырвался насупленный Карсон, багровый, лоснящийся от пота, и пыхтя, рысью побежал к покоям княжны. Через десять минут Пауль, трепеща от почтительности, доложил Прокопу, который сидел в своей комнате, кусая губы и пальцы.

— Ее светлость...

Вошла княжна в вечернем платье, пепельно-бледная, жгуче сдвинув брови. Прокоп шагнул ей навстречу и, казалось, собрался что-то сказать ей; княжна остановила его движением руки — жестом, исполненным высокомерия и отвращения, — и проговорила сдавленным голосом:

— Я пришла, господин инженер, чтобы... извиниться за тот инцидент. Я не имела в виду ударить вас. И безмерно сожалею о своем поступке.

Прокоп покраснел, попытался ответить; но княжна продолжала:

— Лейтенант Ролауф сегодня уедет. Князь приглашает вас как-нибудь отобедать с нами. Забудьте этот случай. До свидания.

И она быстро подала ему руку. Прокоп едва коснулся ее пальцев; они были очень холодны и безжизненны.

XXVII

После бури между Карсоном и Прокопом воздух как будто очистился. Прокоп, правда, заявил, что сбежит при первой возможности, но обязался честным словом до той поры воздерживаться от каких бы то ни было насильственных действий и диверсий. Зато расстояние между ним и Хольцем увеличили до пятнадцати шагов и разрешили (в сопровождении этого стража) беспрепятственно передвигаться в радиусе четырех километров от семи часов утра до семи вечера, ночевать в лаборатории и питаться где ему угодно. Но Карсон поселил чуть ли не в самой его

лаборатории женщину с двумя детьми, и как нарочно — вдову рабочего, убитого взрывом кракатита — в виде известной моральной гарантии от всякого рода, скажем, неосторожности. Кроме того, Прокопу положили превосходный оклад с выплатой золотом и предоставили его доброй воле — развлекаться или работать.

Первый день после соглашения Прокоп провел, тщательно изучая местность в радиусе четырех километров, интересуясь возможностью побега. Перспектива оказалась прескверной: запретная зона безупречно охранялась. Затем он придумал несколько способов убить Хольца; к несчастью, вскоре Прокоп узнал, что этот хладнокровный и выносливый молодчик содержит пятерых детей, да еще мать и сестру-хромоножку, и что вдобавок в прошлом у него три года тюрьмы за убийство. Все эти обстоятельства не очень-то ободряли.

Несколько утешало Прокопа, что в него безоглядно, прямо страстно влюбился Пауль, дворецкий на пенсии, бесконечно счастливый, что может кому-то служить; этот трогательный старичок глубоко страдал, когда его признали слишком медлительным для того, чтобы прислуживать за столом его светлости. Прокопа иной раз приводило в отчаяние надоедливое, почтительное внимание Пауля. Крепко привязался к Прокопу и доктор Краффт, воспитатель Эгона, рыжий, как лиса, и глубоко несчастный человек; он обладал необычайной эрудицией, увлекался теософией, к тому же был сумасброднейшим из идеалистов, какого только можно себе представить. К Прокопу он относился чрезвычайно почтительно и беспредельно восхищался им, считая по меньшей мере гением. И действительно, Краффт давно знал специальные статьи Прокопа и даже построил, основываясь на них, теософское толкование низшего круга, то есть, выражаясь простым языком, материального мира. Сверх того, доктор Краффт был пацифист, нудный, как все люди слишком возвышенных взглядов.

Прокопу в конце концов надоело бесцельно бродить вдоль запретной зоны, и он все чаще стал удаляться в лабораторию — работать. Он изучал старые свои записи и восполнял многие пробелы; составил и снова уничтожил длинный ряд взрывчатых веществ, подтверждающих его самые смелые гипотезы. Днем он бывал почти счастлив;

зато по вечерам — по вечерам Прокоп избегал людей и тосковал под спокойным надзором Хольца, устремляя взгляд на облака, на звезды, на далекий горизонт.

Еще одно, как это ни странно, занимало его: стоило ему услышать топот копыт, как он подходил к окну и наблюдал за наездником, будь это конюх, кто-либо из офицеров или княжна (с которой он не разговаривал после того памятного дня); нахмурив брови в пристальном внимании, он подмечал все движения коня и всадника. Он понял, что всадник, собственно говоря, вовсе не сидит в седле, а скорее стоит в стременах; и точкой опоры ему служит не зад, а колени; он не подскакивает безвольно, как куль, встряхиваемый конской спиной, а активно предваряет ритмичное движение лошади. Практически все это, может быть, и весьма просто, но наблюдатель, одаренный инженерной мыслью, видит чрезвычайно сложную механику — особенно когда конь поднимается на дыбы, начинает брыкаться или приплясывать, дрожа от благородной, пугливой обиды. Все это Прокоп изучал долгими часами, спрятавшись за занавеской; и в одно прекрасное утро велел Паулю передать, чтоб ему оседлали Премьера.

Пауль растерялся; он объяснил, что вороной Премьер — горячий, почти необъезженный, страшно злой жеребец, но Прокоп коротко повторил приказ. Костюм для верховой езды уже висел у него в шкафу; он оделся, испытывая слабое чувство тщеславия, и спустился во двор. Там уже вытанцовывал Премьер, волоча за собой конюха, державшего его под уздцы.

Подражая тому, что он подсмотрел у других, Прокоп стал успокаивать коня, поглаживая ему храп и лысинку на лбу. Жеребец несколько утихомирился, но не перестал выплясывать на желтом песке... Прокоп намеренно приблизился к нему сбоку; он уже собрался вдеть ногу в стремя, когда Премьер молниеносно лягнулся и откинул круп — Прокоп еле успел отскочить. Конюх усмехнулся — этого было достаточно: Прокоп с разбегу кинулся на спину коня, неизвестно как попал носком в стремя и выпрямился. В течение нескольких следующих секунд он не соображал, что делается: все завертелось кругом, кто-то вскрикнул — одна нога Прокопа повисла в воздухе, другая безнадежно запуталась в стремени: но вот Прокоп тяжело перевалился в седло и изо всех сил сжал

колени. Это вернуло ему способность понимать окружающее — как раз в тот момент, когда Премьер взбросил зад; Прокоп почти лег на спину, снова качнулся вперед и судорожно натянул уздечку. От этого животное поднялось на дыбы, как свеча; Прокоп, сжимая бока лошади, как клещами, почти прильнул лицом к голове между ушей жеребца, стараясь не обхватывать его за шею, чтобы не показаться смешным. Он держался почти одними коленями. Премьер опустился на все четыре ноги и закружился волчком; Прокоп воспользовался этим, чтоб продеть в стремя и другую ногу.

— Не жмите его так! — кричал конюх, но Прокопу было приятно сдавливать бока Премьера.

Жеребец, скорее в отчаянии, чем от злого нрава, старался сбросить странного наездника; он кружился, взбрыкивал — только песок летел из-под копыт; во двор сбежалась вся кухонная челядь глядеть на эти цирковые трюки. Прокоп заметил Пауля — тот в ужасе прижимал салфетку к губам, а доктор Краффт, светясь на солнце рыжей головой, бросился вперед, чтобы с риском для жизни остановить Премьера за уздечку.

— Не троньте его! — воскликнул Прокоп в необузданной гордости и пришпорил коня.

Господи на небеси! Премьер, не знавший шпор, взвился стрелой и понесся со двора в парк; Прокоп втянул голову в плечи, думая лишь о том, чтобы мягче упасть, когда вылетит из седла; он стоял в стременах, наклонясь вперед, невольно подражая жокеям на скачках. Проносясь мимо теннисного корта, заметил там несколько белых фигурок; тут его обуяло неодолимое желание показать свою удаль, и он начал охаживать Премьера хлыстом по крупу. Взбесившийся жеребец совсем потерял голову; сделав несколько неприятных бросков в стороны, он сел на задние ноги и, казалось, вздумал перевалиться на спину, — но вместо этого ринулся прямо по клумбам, как обезумевший. Прокоп понимал — теперь только не давать ему опускать голову, чтобы не покатиться кувырком под уклон, и он вцепился в повода, натягивая их изо всех сил. Премьер вздыбился, разом покрывшись потом, — и вдруг перешел на размеренную рысь. Это была победа.

Прокоп ощутил безмерное облегчение; только теперь он мог испробовать на опыте то, что так основательно изучил в теории — академический стиль верховой езды.

Дрожащий конь слушался малейшего движения, и Прокоп, горделивый, как бог, направил его по извилистым дорожкам парка обратно, к теннисному корту. Он уже видел за кустами княжну с ракеткой в руке и поднял жеребца в галоп. Тут княжна щелкнула языком, Премьер взвился и поскакал к ней через кустарник; Прокоп, совершенно не подготовленный к этому трюку, потерял стремена и, перелетев через голову коня, рухнул в траву. В ту же секунду он услышал какой-то хруст, и от боли у него помутилось сознание.

Очнувшись, Прокоп увидел княжну и трех господ в нерешительной позе людей, которые не знают — смеяться удачной шалости или бежать на помощь. Прокоп приподнялся на локтях, попробовал двинуть левой ногой, которая лежала под ним, странно подогнутая. Подошла княжна — взгляд ее был вопросительным и уже чуточку испуганным.

— Так, — жестко сказал Прокоп, — теперь из-за вас я сломал ногу.

Боль была ужасная, от падения мутилось в голове — и все же Прокоп пытался встать. Когда он снова пришел в себя, голова его лежала на коленях княжны и она вытирала ему лоб сильно надушенным платком. Несмотря на страшную боль в ноге, Прокопу все это казалось почти сном.

— Где... конь?.. — пробормотал он и застонал, когда двое садовников уложили его на скамейку и понесли в замок.

Пауль превратился в ангела, в сестру милосердия, в родную мать — во все на свете; он суетился, оправлял подушки под головой Прокопа, капал ему на губы коньяк; потом сел у постели, и Прокоп сжимал его руку во время приступов боли: прикосновение этой мягкой, старчески легонькой руки придавало ему сил. Краффт стоял в ногах постели, и его глаза были полны слез; Хольц, тоже явно расстроенный, разрезав ножницами штанину кавалерийских брюк, клал на голень Прокопа холодные компрессы. Прокоп тихо стонал, временами улыбаясь посиневшими губами Краффту и Паулю. Но вот в сопровождении ассистента прибыл полковой врач, эдакий квалифицированный мясник, и без долгих проволочек взялся за Прокопову ногу.

— М-да, — сказал он. — Сложный fractura femoris [1] и так далее... По меньшей мере полтора месяца лежать, голубчик.

Он достал два лубка, и тут началось истязание.

— Вытяните ему ногу, — приказал мясник ассистенту; но Хольц вежливо отстранил взволнованного новичка и сам, своей твердой, жилистой рукой сильно потянул сломанную конечность. Прокоп вцепился зубами в подушку, чтобы не зарычать от боли диким зверем, и только искал глазами измученное лицо Пауля, на котором отражались все его страдания.

— Еще немного, — басил мясник, ощупывая перелом.

Хольц молча, бестрепетно тянул. Краффт обратился в бегство, лепеча что-то в полном отчаянии. Теперь мясник быстро и ловко стягивал лубки, ворча при этом, что завтра наложит гипс на эту проклятую ногу. Наконец все кончилось; боль, правда, ужасная, и вытянутая нога лежит, как мертвая, но, по крайней мере, мясник ушел; один Пауль ходит вокруг на цыпочках и, бормоча что-то мягкими губами, старается облегчить участь страдальца.

Примчался в автомобиле Карсон и, перескакивая через четыре ступени, бросился к Прокопу. Комната наполнилась шумными проявлениями его участия, все сразу приободрились и почувствовали себя как-то тверже, мужественнее; Карсон, чтоб утешить Прокопа, болтал какую-то чепуху и вдруг робко и дружески погладил его по растрепанным волосам; в эту минуту Прокоп простил своему заклятому врагу и тирану девять десятых его мерзостей. Карсон примчался вихрем, а теперь по коридору движется что-то тяжелое, дверь распахивается, и два лакея с белыми лапами вводят парализованного князя. Еще с порога князь машет своей невероятно высохшей длинной рукой, чтобы Прокоп, чего доброго, из почтения каким-нибудь чудом не встал, не двинулся навстречу его светлости; затем старец позволяет усадить себя и с трудом произносит несколько слов самого благосклонного участия.

Едва скрылось это явление, как в дверь постучали, и Пауль зашептался с какой-то горничной. Вслед за тем вошла княжна — она еще в белом теннисном костюме, на смуглом лице — упрямство и раскаяние: она ведь явилась

---

[1] перелом бедренной кости (*лат.*).

добровольно, извиниться за свое чудовищное озорство. Но прежде чем она открыла рот, суровое, словно грубо высеченное из камня лицо Прокопа озарилось детской улыбкой.

— Ну, что? — гордо вопросил пациент. — Боюсь я лошадей или нет?

Княжна вспыхнула так, как никто от нее не ожидал бы; она даже сама смутилась и ощутила досаду. Но она превозмогла себя и снова превратилась в гостеприимную владелицу замка; объявила, что приедет профессор-хирург, спросила, чего желает Прокоп из еды, для чтения и так далее и велела Паулю дважды в день сообщать ей о здоровье гостя; поправила что-то на подушке — так, что Прокоп почувствовал, насколько далека от него эта дама, — и, слегка кивнув, вышла.

Вскоре на машине приехал знаменитый хирург, но ему пришлось прождать несколько часов, как ни качал он в удивлении головой: господин инженер Прокоп изволили крепко уснуть.

XXVIII

Известный хирург, естественно, признал работу полкового мясника негодной, снова растянул ногу Прокопа и под конец наложил гипс, заявив, что, судя по всему, пациент навсегда останется хромым.

Для Прокопа наступили чудесные дни праздности. Краффт читал ему вслух Сведенборга, Пауль — семейные календари; по велению княжны ложе страдальца окружили роскошнейшими изданиями мировой литературы. В конце концов Прокопу надоели даже календари, и он начал диктовать Краффту систематизированный труд по деструктивной химии. Больше всего — как это ни странно — ему нравилось общество Карсона, чья дерзость и прямота импонировали ему; ибо за ними Прокоп обнаружил великие планы и сумасбродную фанатичность принципиального международного милитариста. Пауль был на вершине блаженства: теперь кто-то нуждался в нем от ночи и до ночи, он мог служить каждым своим вздохом, каждым шажком своих старческих ног.

Лежишь со всех сторон окруженный материей, подобный поверженному стволу дерева; но разве не чувствуешь

ты искрения страшных, непознанных сил в этой недвижной материи, обступающей тебя? Нежишься на пуховых подушках — а они заряжены силой, превосходящей силу целой бочки динамита. Тело твое — спящая взрывчатка; даже трясущаяся, увядшая рука Пауля таит в себе, возможно, большую взрывную силу, чем мелинитовый запал. Ты недвижно покоишься среди океана неизмеренных, неразложенных, недобытых сил; все, что вокруг, — не мирные стены, не тихие люди, не шумящие кроны: деревьев, это склад взрывчатых веществ, космический пороховой погреб, готовый к ужасающему взрыву; постукиваешь пальцем по вещам, словно проверяя бочки с экразитом — полны ли.

Руки Прокопа стали прозрачными от бездеятельности, зато обрели удивительную тонкость осязания: они прямо на ощупь чувствовали, угадывали взрывной потенциал всего, чего бы ни коснулись. В молодом теле — огромное напряжение; зато доктор Краффт, этот восторженный идеалист, обладает сравнительно слабой взрывчатостью, в то время как детонационный коэффициент Карсона приближается к тетранитранилину. И Прокоп с трепетом вспоминал холодное прикосновение руки княжны — оно выдало ему чудовищную бризантность этой гордой амазонки. Прокоп ломал себе голову — зависит ли потенциальная взрывная энергия организма от наличия каких-либо ферментов и других веществ или от химической структуры клеточных ядер, которые уже par excellence [1] — великолепные заряды. Как бы там ни было, а он очень хотел бы увидеть, как взорвется эта смуглая, высокомерная девушка.

Но вот уже Пауль возит Прокопа по парку в кресле на колесах; Хольц пока не нужен, но он нашел себе дело — в нем обнаружился талантливый массажист, и Прокоп чувствует, как из его упругих пальцев брызжет благодатная взрывная сила. Если иной раз они встречают в парке княжну, та произносит несколько слов с безупречной, точно дозированной вежливостью, и Прокоп, к собственной досаде, не в силах понять, как это делается; сам он то слишком груб, то излишне общителен. Остальная компания смотрит на Прокопа как на чудака; это дает им право не принимать его всерьез, а ему — свободу быть

---

[1] по преимуществу (*франц.*).

с ними невежливым, как сапожник. Однажды княжна соизволила остановиться возле него, велев своей свите подождать; она села рядом с Прокопом и осведомилась о его работе. Прокоп, желая угодить ей, пустился в такие специальные рассуждения, словно делал доклад на международном конгрессе химиков. Князь Сувальский и еще какой-то кузен начали подталкивать друг друга и переглядываться; разъяренный Прокоп огрызнулся — он, мол, рассказывает не для них. Глаза всех обратились на ее светлость: только она могла поставить на место невоспитанного плебея. Но княжна терпеливо улыбнулась и отослала своих спутников играть в теннис. Она смотрела им вслед, сощурив глаза щелочкой, а Прокоп искоса наблюдал за ней; строго говоря, только сейчас он впервые как следует разглядел ее. Была она сильная, тонкая, с избытком пигмента в коже, в общем, не такая уж красивая; маленькая грудь, нога закинута за ногу, великолепные породистые руки; на гордом лбу — шрам, острый взгляд из-под прищуренных век, под тонким носом — темный пушок, властные твердые губы; в общем, почти красива. Какие же у нее на самом деле глаза?

Тут она прямо взглянула на него, и Прокопа охватило смятение.

— Говорят, вы умеете ощупью определять характер, — быстро проговорила она. — Об этом рассказывал Краффт.

Прокоп засмеялся такому чисто женскому толкованию его непостижимой чуткости в химии.

— Ну да, всегда ощущаешь, сколько силы в том или другом предмете; это пустяки, — ответил он.

Княжна бросила быстрый взгляд на его руку, потом вокруг себя; поблизости никого не было.

— Дайте-ка, — пробурчал Прокоп, подставляя свою разрезанную шрамом ладонь.

Она положила на нее кончики гладких пальцев; словно молния пронизала Прокопа, сердце забилось бурно, в голове пронеслась дурацкая мысль: «Что, если сжать?» И он уже мял, давил в своей грубой лапе обжигающую, упругую плоть ее руки. Словно вино ударило ему в голову, все пошло кругом; он еще увидел, как княжна прикрыла веки, втянула воздух полураскрытым ртом; тогда он сам закрыл глаза и, стиснув зубы, полетел в кружащуюся тьму. Его рука горячо, бешено боролась с тонкими,

присасывающимися пальцами; они силились вырваться, они извивались, как змеи, впивались ногтями в его кожу и снова обнаженно, судорожно льнули к его ладони. Прокоп стучал зубами от наслаждения: трепетные пальцы адски возбуждали, в глазах пошли алые круги... Вдруг сильное, обжигающее пожатие — и узкая ладонь вырвалась из его пальцев. Как в дурмане поднял Прокоп пьяные глаза, в голове тяжко стучала кровь; с изумлением увидел он зелено-золотой сад и снова опустил веки, ослепленный дневным светом. Княжна покрылась пепельной бледностью и кусала губы острыми зубами; в щелочках ее глаз горело, кажется... безмерное отвращение.

— Ну? — повелительно спросила она.

— Девственна, бессердечна, сладострастна, яростна и горда, — выжжена как трут, как трут... и зла; вы — злая; вы обжигаете жестокостью, в вас много ненависти и нет сердца; вы — злая; вы до отказа заряжены страстностью; недотрога, алчная, суровая, суровая к себе — лед и пламя, пламя и лед...

Княжна молча кивнула: да.

— ...Недобрая ко всем, недобрая ко всему; надменна, вспыльчива как порох, неспособная любить, скучающая и пылкая... раскаленная... спекшаяся от жара, а вокруг вас все вымерзает.

— Я *должна* быть сурова к себе, — шепнула княжна. — Вы не знаете... не знаете... — Она махнула рукой и поднялась. — Благодарю вас. Я пришлю к вам Пауля.

*

Излив таким способом горечь обиды, Прокоп стал более спокойно думать о княжне; его даже задевало, что теперь она явно избегает его. При первой возможности он намеревался сказать ей что-нибудь приветливое, но такая возможность больше не представлялась.

В замок приехал князь Рон, или «mon oncle» [1] Шарль, брат покойной княгини; весьма образованный и элегантный скиталец, почитатель всего прекрасного, très grand artiste [2], как говорили; он даже написал несколько исторических романов, а впрочем, был чрезвычайно милый

[1] мой дядя (*франц.*).

[2] очень большой художник (*франц.*).

человек. К Прокопу он почувствовал особую симпатию и проводил у пего целые часы. Прокоп извлек большую пользу от общения с этой обаятельной личностью, в какой-то мере обтесался и понял, что в мире, кроме деструктивной химии, существуют и другие вещи. Oncle Шарль был воплощенная хроника анекдотов. Прокоп с удовольствием сворачивал разговор на княжну и с интересом слушал, какая это была злая, взбалмошная, гордая и великодушная девочка; однажды она стреляла в своего maî tre de dance [1], в другой раз предложила вырезать у себя кусок кожи для трансплантации обжегшейся няне, а когда ей не разрешили этого — в ярости разбила une vitrine [2] с редчайшим хрусталем. Le bon oncle [3] захватил как-то с собой и «оболтуса» Эгона и стал приводить ему Прокопа в пример, да с такими аттестациями, что бедняга краснел не меньше Эгона.

Через пять недель Прокоп уже мог ходить с палочкой; он все чаще удалялся в свою лабораторию и работал как вол, до того, что возвращалась боль в ноге, и на обратном пути он всей тяжестью опирался на руку внимательнейшего Хольца. Карсон сиял, видя Прокопа таким мирным и трудолюбивым, и порой закидывал удочки туда, где почил в бозе кракатит; но Прокоп о нем и слышать не желал.

Как-то вечером в замке устроили торжественный soirée; [4] и на этот вечер Прокоп приготовил свое coup [5]. Княжна как раз стояла в кружке генералов и дипломатов, когда дверь распахнулась, и — вошел без палки строптивый пленник, впервые почтивший своим присутствием княжеские покои замка. Oncle Шарль и Карсон побежали ему навстречу, княжна только быстро, испытующе взглянула на него поверх головы китайского посланника. Прокоп воображал, что она подойдет поздороваться с ним; увидев же, что она заговорила с двумя пожилыми, декольтированными сверх меры дамами, он нахмурился и отступил в угол, неохотно раскланиваясь с блистательными персонами, которым Карсон представлял его под титулом «знаменитого ученого», «нашего

---

1 учителя танцев (*франц.*).
2 горку (*франц.*).
3 Милый дядюшка (*франц.*).
4 ужин (*франц.*).
5 Здесь: ошеломляющее выступление (*франц.*).

замечательного гостя» и так далее. Казалось, Карсон принял здесь на себя обязанности Хольца — он ни на шаг не отходил от Прокопа. Чем дальше, тем отчаяннее скучал Прокоп; он забился в самый дальний угол и оттуда угрюмо смотрел на весь свет. Теперь княжна разговаривает с какими-то высшими сановниками, один из них даже адмирал, другой — крупная иностранная шишка; вот она торопливо взглянула в угол, где томился мрачный Прокоп, но в этот момент к ней подошел претендент на какой-то рухнувший трон и увел ее в противоположную сторону.

— Ну, я пошел домой, — пробурчал Прокоп; в его черной душе созрело решение незамедлительно сделать новую попытку к бегству. И в ту же минуту он увидел перед собой княжну; она протягивала ему руку:

— Рада, что вы уже здоровы.

Прокоп забыл все светские наставления oncle Шарля. Неуклюже двинув плечами (что должно было означать поклон), он сказал медвежьим голосом:

— А я думал, вы меня даже не заметили.

Карсон исчез, словно сквозь землю провалился.

Княжна сильно декольтирована, что повергает Прокопа в смятение; он не знает, куда глядеть, но видит только ее упругое смуглое тело, слегка припорошенное пудрой, и чувствует резкий аромат.

— Я слышала, вы снова работаете, — произносит княжна. — Над чем именно?

— Да так, по большей части над пустяками, — барахтается Прокоп; ага, вот случай загладить ту грубость... ну, ту выходку с рукой... но что же, ради всех святых, можно сказать ей хорошего?

— Если хотите, — бормочет он, — я проделаю... какой-нибудь опыт... над вашей пудрой.

— Какой опыт?

— Сделаю взрывчатку. На вас ее столько... что можно произвести пушечный выстрел.

Княжна рассмеялась.

— Я не знала, что пудра — взрывчатое вещество.

— Все — взрывчатое вещество... стоит только как следует взяться. Вы сами...

— Да?

— Нет, ничего. Затаенный взрыв. Вы — страшно бризантны.

— Стоит только кому-нибудь взяться за меня как следует, — усмехнулась она, но тут же стала серьезной. — Злая, бессердечная, бешеная, алчная и гордая — так?

— Девочка, готовая содрать с себя кожу... ради старухи...

Княжна вспыхнула:

— Кто это вам сказал?

— Oncle Charles, — брякнул Прокоп.

Княжна как бы заледенела и вдруг стала далекой, словно отодвинулась на сто миль.

— А, *князь* Рон, — сухо поправила она Прокопа. — Князь Рон много говорит. Рада, что вы all right[1].

Легкий кивок головы — и княжна уже плывет по залу в сопровождении кавалера в мундире, оставив Прокопа беситься в углу.

Тем не менее утром следующего дня Пауль принес Прокопу нечто вроде священной реликвии, сказав, что получил это от горничной княжны.

То была коробочка коричневатой пудры, издававшей резкий аромат.

XXIX

Этот сильный аромат женщины дразнил и беспокоил Прокопа, когда он работал над коробочкой пудры: будто сама княжна стояла в лаборатории, нагибаясь над его плечом.

Старый холостяк, он и не подозревал раньше, что пудра, собственно, всего лишь крахмалистый порошок; видимо, он считал его минеральной краской. Ну что ж, крахмал — превосходная вещь, скажем, для нейтрализации слишком сильных взрывчаток, ибо сам по себе он флегматичен и туп; тем страшнее он будет, когда сам станет взрывчатым веществом. Но сейчас Прокоп совершенно не знал, как к нему подступиться. Тер ладонями лоб, преследуемый неотвязным ароматом княжны, и сидел в лаборатории ночи напролет...

Те, кто его любил, перестали ходить к нему; он прятал от них свою работу и нетерпеливо огрызался, думая только о злосчастной пудре. А, черт, что же еще испробовать? Дней через пять решение забрезжило перед ним; он

[1] Здесь: здоровы (*англ.*).

бросился изучать ароматические нитроамины, после чего начал такую канитель по синтезированию, какой никогда еще не предпринимал. И вот однажды ночью перед ним лежала взрывчатка, сохранившая вид пудры и прежний резкий аромат; коричневатый порошок, от которого пахло кожей зрелой женщины...

Прокоп вытянулся на койке, измученный усталостью. Примерещился плакат с надписью: «Пудерит, лучшая взрывчатая пудра», а на плакате нарисована княжна, она показывает ему язык. Он хочет отвернуться, но с плаката протянулись две нагие смуглые руки — щупальцы медузы — и притягивают его к себе. Он вытащил складной нож из кармана, перерезал их, как колбасу. И тут же испугался, что совершил убийство, выбежал на улицу, на которой когда-то жил. У тротуара стояла рокочущая машина, он вскочил в нее с криком: «Поезжайте скорей!» Машина тронулась, и тут только он заметил, что за рулем сидит княжна, а на голове у нее — кожаный шлем, которого он до сих пор не видел. На повороте кто-то бросился навстречу, верно, чтоб остановить; нечеловеческий вопль, колеса перекатились через что-то мягкое, и Прокоп проснулся.

Потрогал лоб и понял, что у него жар; встал, пошел искать какие-нибудь лекарства. Не нашел ничего, кроме чистого спирта. Сделал порядочный глоток, ожег нёбо и гортань и снова, охваченный головокружением, улегся спать. Ему снились какие-то формулы, цветы, Анчи и бешено мчащийся поезд; потом все расплылось в глубоком сне.

Утром Прокоп достал разрешение произвести экспериментальный взрыв на полигоне, что вызвало у Карсона припадок необузданной радости. Прокоп отказался от помощи каких-либо лаборантов и сам присмотрел за тем, чтобы шпур был выбит в песчанике, как можно дальше от замка, в той части полигона, где не было даже электропроводки, так что пришлось применить обычный бикфордов шнур. Когда все было готово, он послал сказать княжне, что ровно в четыре часа дня ее коробочка с пудрой взлетит на воздух. Потом посоветовал Карсону очистить близлежащие дома и никого не допускать к месту взрыва в радиусе одного километра. Затем он потребовал, чтобы в виде исключения его под честное слово освободили от Хольца. Карсон, правда, подумал, что Прокоп

делает слишком много шуму из пустяков, однако исполнил все его желания. К четырем часам Прокоп собственноручно отнес коробочку пудры к шпуру, в последний раз с какой-то жадностью втянул в себя аромат княжны и опустил коробочку в отверстие. Потом подложил под нее ртутный запал и прикрепил бикфордов шнур, рассчитанный на пять минут горения, после чего уселся рядом и с часами в руке стал ждать, когда стрелки покажут без пяти четыре.

Ага, теперь эта надменная княжна увидит, чего он стоит. О, это будет настоящий взрыв, не то что детские игрушки там, на Белой Горе, где ему вдобавок приходилось прятаться от полицейского; это будет славный взрыв, вольный огненный столб до неба, великолепная сила, исполинский громовой раскат; мощью огня расколется небо, и искра, высеченная рукой человека...

Без пяти четыре. Прокоп поспешно зажег шнур и, чуть прихрамывая, побежал прочь с часами в руке. Еще три минуты; скорее, черт возьми! Две минуты... И тут справа он увидел княжну в сопровождении Карсона — они шли к месту взрыва. На миг Прокоп застыл от ужаса, гаркнул предостерегающе: «Назад!» Карсон остановился; княжна, не оглядываясь, продолжала идти. Карсон засеменил за ней, видимо, уговаривая вернуться. Превозмогая резкую боль в ноге, Прокоп рванулся к ним.

— Ложись! — взревел он. — Ложись, черт вас...

Лицо его было так грозно, что Карсон побледнел, сделал два длинных прыжка и плюхнулся в глубокую щель. Княжна все шла вперед; от шпура ее отделяло уже не более двухсот шагов. Прокоп швырнул часы оземь и устремился за ней.

— Ложись! — рявкнул он, хватая ее за плечо.

Княжна порывисто оглянулась, смерила его изумленным взглядом — что он себе позволяет? Тут Прокоп обеими кулаками сшиб ее, упал на нее всей тяжестью.

Сильное, узкое тело отчаянно затрепетало под ним.

— Змея, — прошипел Прокоп и, тяжело переводя дух, изо всей силы грудью прижал княжну к земле.

Тело под ним выгнулось, метнулось в сторону; но — странно — из сжатых губ княжны не вырвалось ни звука, она только коротко, отрывисто дышала в лихорадочном единоборстве. Прокоп втиснул колено меж ее колен, чтоб она не выскользнула, ладонями зажал ей уши, молние-

носно сообразив, что от взрыва у нее могут лопнуть барабанные перепонки. Острые ногти вонзились ему в шею, на щеке он почувствовал яростный укус четырех ласочьих резцов.

— Бестия, — прохрипел Прокоп, пытаясь оторвать от себя впившегося в него хищника; но княжна не отпустила его, словно присосалась, из горла ее вырвался воркующий звук; тело ее волнообразно билось и извивалось, как в судорогах. Знакомый резкий аромат одурманил Прокопа; сердце заколотилось набатом, он хотел уже вскочить, не думая о взрыве, который должен был произойти в ближайшую секунду. Но тут он почувствовал, что дрожащие колени обхватили и сжали его ногу, руки судорожно обвили голову и шею; на лице он ощутил влажное, жгучее, трепетное прикосновение губ и языка. Он застонал от ужаса и губами стал искать рот княжны. И тут грохнул невероятный взрыв, столб земли и камней вырвался из земных недр, что-то больно ударило Прокопа в темя, но он даже не почувствовал, ибо в этот миг впился губами в горячую влажность раскрытого, воркующего рта и целовал губы, язык, зубы; пружинистое тело под ним разом обмякло, длинными волнами пробегала по нему дрожь. Он увидел — или ему только показалось, — что Карсон встал, взглянул и моментально повалился снова на землю. Легкие пальцы щекотали шею Прокопа, доставляя невыносимое, дикое наслаждение; хрипящий рот прикасался к его лицу, к глазам мелкими, трепетными поцелуями, а Прокоп, как изнемогающий от жажды, приник к пульсирующей мякоти благоуханного горла. «Милый, милый», — щекотал, опаляя слух, горячий, влажный шепот, нежные пальцы зарылись в его волосы, податливое тело напряглось, надолго прижалось к нему; и Прокоп прильнул к сочным губам бесконечным, стонущим поцелуем.

Ррраз! Отброшенный локтем, Прокоп вскочил, потер себе лоб, как пьяный. Княжна села, поправила волосы.

— Подайте мне руку, — приказала она сухо, быстро огляделась, порывисто прижала его руку к пылающей щеке; вдруг так же порывисто отбросила ее, встала, застыла, широко раскрытыми глазами уставилась куда-то в пространство. Такая она пугала Прокопа; он хотел было броситься к ней, но она нервно передернула плечом, словно сбрасывая что-то; он видел, как она крепко закусила

губу. Только теперь Прокоп вспомнил о Карсоне; тот нашелся недалеко: он лежал на спине — но уже не в щели, — весело таращась в синее небо.

— Ну, кончилось? — затараторил он, не вставая, и, сложив руки на животе, покрутил большими пальцами. — Я, видите ли, страшно боюсь таких вещей. Можно встать? — Он вскочил, отряхнулся, как пес. — Замечательный взрыв! — добавил восторженно, словно мимоходом взглянув на княжну.

Княжна обернулась к нему; была она оливково-бледна, но собрана и уже владела собой.

— И это все? — небрежно бросила она.

— Ах ты боже мой! — всплеснул руками Карсон. — Как будто этого мало! Подумать только — одна коробочка пудры! Слушайте, вы — чародей, вы продали душу дьяволу, вы владыка ада или кто... А? Ну, да! Властитель материи. Княжна — вот король! — объявил он с явным намеком, но тут же помчался дальше: — Гениально, правда? Исключительный человек. Мы — всего лишь тряпичники, честное слово. Как вы назвали сей продукт?

Ошеломленный Прокоп постепенно обретал равновесие.

— Пусть княжна будет крестной матерью, — сказал он, обрадованный, что сумел собраться с силами. — Эта взрывчатка... принадлежит ей.

Княжна вздрогнула.

— Назовем хотя бы... «в*и*цит», — свистящим шепотом произнесла она.

— Как? — не сразу понял Карсон. — Ах, да, vicit, то есть «побеждает», так? Княжна, вы гениальны! «Вицит!» Превосходно! Ура!

А у Прокопа мелькнула в голове другая, более страшная этимология этого слова. Vitium. Le vice. Порок. Он с ужасом взглянул на княжну; однако на ее замкнутом лице невозможно было прочесть никакого ответа.

XXX

Карсон побежал к месту взрыва впереди всех. Княжна — видимо, намеренно — отстала; Прокоп думал, что она хочет что-то сказать ему, но она только показала пальцем на его щеку: смотрите, вот тут... Прокоп быстро

схватился за щеку, нащупал кровоточащий след ее укуса; поднял пригоршню земли, размазал по лицу — как если бы при взрыве в него попал комок.

От взрыва образовалась воронка диаметром метров в пять; силу взрыва трудно было определить, но Карсон считал, что она в пять раз превосходит взрывную силу оксиликвита. Чудное вещество, заявил он, только, пожалуй, слишком сильное для практического применения. Вообще Карсон поддерживал весь разговор, искусно скользя по довольно заметным паузам. И когда он на обратном пути откланялся с несколько нарочитой поспешностью, — ему, мол, надо еще туда-то и туда-то, — тяжелое бремя пало на Прокопа. О чем с ней теперь говорить? Бог весть почему он думал, что и словом нельзя коснуться той дикой, темной минуты, когда произошел взрыв и «мощью огня раскололось небо»; в нем бродило горькое, неприятное предчувствие, что, заговори он об этом — и княжна с замораживающей надменностью оборвет его, как лакея, с которым... с которым...

Он гневно сжимал кулаки и мямлил о чем-то третьестепенном — кажется, о лошадях; слова застревали у него в глотке, а княжна заметно ускоряла шаг, торопясь добраться до замка. Прокоп сильно хромал — болела нога, но он не показывал вида. В парке он хотел было проститься, но княжна свернула на боковую дорожку. Он нерешительно последовал за ней; тут она прижалась к нему плечом, запрокинула голову, подставила жадные губы...

Той, маленькая китайская собачонка княжны, почуяла хозяйку и, визжа от радости, понеслась к ней через кусты и клумбы. Вот она! Ага! Но что это? Собачка стала как вкопанная: Угрюмый Великан схватил Госпожу, они вцепились друг в друга, шатаются в немом яростном единоборстве; ох, Госпожа побеждена, руки ее опустились, она, стеная, лежит в объятиях Великана; сейчас он ее задушит! И Той поднял тревогу: «На помощь! Помогите!» — кричал он на своем собачьем — или китайском? — языке.

Княжна вырвалась из объятий Прокопа.

— Ах, этот пес, этот пес, — нервно засмеялась она. — Пойдемте!

Прокоп был словно пьяный, ему трудно было сделать даже несколько шагов. Княжна взяла его под руку (сумасшедшая! Что, если кто-нибудь увидит...), потащила

его, но и ей ноги отказываются служить. Она вцепилась в его руку, ей хочется рвать все в клочья, она втягивает в себя воздух сквозь зубы, хмурит брови, в глазах ее все темнеет; и, хрипло всхлипнув, она бросается на шею Прокопу, так что тот покачнулся, — ищет его губы. Прокоп впился в нее руками, зубами, готовый раздавить ее; долгое объятие, оба не дышат — и вот тело, натянутое, как тетива, слабеет, утрачивает силу, обвисает мягко и безвольно; закрыв глаза, покоится княжна на его груди, лепечет сладостные, бессмысленные словечки, позволяет ему покрывать бешеными поцелуями свое лицо, шею и сама возвращает их, как пьяная, словно не помня себя: целует его волосы, ухо, плечи — одурманенная, податливая, теряющая сознание, бесконечно нежная, покорная, как овечка, и может быть — может быть, о боже, счастливая в эту минуту каким-то невыразимым, беззащитным счастьем; о боже, какая улыбка, какая трепещущая, прекрасная улыбка на тихо шевелящихся губах!

Открыла, распахнула глаза, резко вырвалась из его рук. Они стояли в двух шагах от главной аллеи. Княжна провела ладонями по лицу, словно просыпаясь; отступила, пошатнулась, прислонилась лбом к стволу дуба. Едва Прокоп выпустил ее из лап, как сердце его заколотилось в отвратительных, унижающих сомнениях: Иисусе Христе, ведь я для нее слуга, с которым она... может быть... так только, распаляется... в минуту слабости, когда... когда ее одолевает одиночество или вообще... Теперь оттолкнет меня, как пса, чтобы потом... с другим...

Он подошел к ней, грубо положил руку ей на плечо. Княжна обернулась, кроткая, с робкой, почти боязливой, униженной улыбкой.

— Нет, нет, — шепнула, сжимая руки в мольбе, — пожалуйста, не надо больше...

У Прокопа сердце рванулось от внезапного избытка нежности.

— Когда? — глухо спросил он. — Когда я вас снова увижу?

— Завтра, з а в т р а, — в страхе шептала она, отступая к замку. — Мне пора. Здесь нельзя...

— Завтра — когда? — настаивал Прокоп.

— Завтра, з а в т р а, — нервно повторила она, лихорадочно ежась, и молча, поспешно пошла домой. Перед замком подала Прокопу руку:

— До завтра.

Сплелись горячие пальцы; не отдавая себе отчета, он тянул ее к себе.

— Нельзя, сейчас нельзя, — шепнула она и обожгла его пламенным взглядом.

*

Экспериментальный взрыв вицита не причинил большого ущерба. Взрывной волной снесло только дымовые трубы на ближайших постройках да выбило несколько оконных стекол. Дали трещины и большие витражи в комнате князя Хагена; в этот миг парализованный старец с трудом поднялся и стал как солдат, ожидая последующей катастрофы.

*

В княжеском крыле замка общество сидело после ужина за черным кофе, когда вошел Прокоп, ища глазами одну княжну. Он не мог больше вынести мучительных сомнений. Княжна побледнела; но благосклонный дядюшка Рон тотчас принял Прокопа под свое крылышко, начал поздравлять его с замечательным достижением и так далее. Даже надменный Сувальский с интересом стал расспрашивать, правда ли, что господин инженер может превратить во взрывчатку любое вещество.

— Например, сахар, — приставал он и изумился, когда Прокоп проворчал, что сахаром стреляли уже давно, еще в Великую войну. Вскоре Прокоп стал центром всеобщего внимания, но отвечал на все вопросы запинаясь, односложно и никак не мог понять ободряющих взглядов княжны; он только с пугающим вниманием следил за ней налитыми кровью глазами. Княжна сидела как на угольях.

Потом разговор зашел о другом, и Прокопу показалось, что никто больше не обращает на него внимания; эти люди так хорошо понимали друг друга, беседовали легко, намеками, с большим интересом говорили о вещах, в которых он совсем не разбирался или не находил в них ничего занимательного. Княжна тоже оживилась; вот видишь, у нее в тысячу раз больше общего с этими франтами, чем с тобой. Он хмурился, не знал, куда девать

руки, в нем закипала слепая ярость; тут он поставил чашку на стол так порывисто, что она разбилась.

Княжна бросила на него грозный взгляд; но обворожительный oncle Шарль спас положение, рассказав об одном капитане парохода, который раздавил рукой пивную бутылку. Какой-то толстый кузен заявил, что и он смог бы это сделать. Велели принести бутылки из-под пива, и все, один за другим, под веселый шум, пробовали раздавить их. Бутылки были тяжелые, черного стекла: ни одна даже не треснула.

— Теперь вы, — приказала княжна, быстро взглянув на Прокопа.

— Не сумею, — проворчал тот, но княжна двинула бровями так... так повелительно... Прокоп встал, обхватил бутылку вокруг горлышка; он стоял неподвижно, не извивался от усилий, как остальные, только лицевые мускулы напряглись до отказа; он был похож на доисторического человека, который готовится убить кого-нибудь короткой дубинкой: насупленное лицо, словно перетянутое сильными связками мышц, губы, искривленные напряжением, опущенное плечо — вот сейчас замахнется бутылкой, горилла, готовая к бою! Налившиеся кровью глаза он вперил в княжну. Наступила тишина. Княжна поднялась, не отрывая взгляда от его глаз, не разжимая губ, на оливковых щеках проступили сухожилия; она сдвинула брови и быстро, порывисто дышала, как от страшного физического усилия. Так стояли они друг против друга с искаженными лицами, сцепившись взглядами, — два яростных бойца; конвульсивная дрожь пробегала по их телам от пят к горлу. Все затаили дыхание; слышался лишь сиплый храп двух людей. И вдруг что-то хрустнуло, треснуло стекло, донышко бутылки со звоном упало на пол, разлетелось осколками.

Первым опомнился mon oncle Шарль, он растерянно заметался и бросился к княжне.

— Мина, Мина, — торопливо зашептал он, бережно опуская ее, задыхающуюся, почти бесчувственную, в кресло; встал перед ней на колено, стал разжимать сведенные судорогой пальцы; ладони ее были в крови — с такой силой впилась она в них ногтями.

— Возьмите у него бутылку, — быстро распорядился le bon oncle, отгибая княжне палец за пальцем.

Князь Сувальский пришел в себя.

— Браво! — заорал он и шумно зааплодировал; фон Граун схватил правую руку Прокопа, который все еще дробил хрустящие осколки, и, чуть не выламывая пальцы, стал разжимать его кулак.

— Воды! — крикнул он; толстый кузен, в замешательстве поискав, схватил какую-то салфетку, облил ее водой и накинул Прокопу на голову.

— А-аах! — с облегчением вырвалось из горла Прокопа; судорога отпустила, но в мозгу еще бушевал прилив крови, грозящий ударом; ноги его так дрожали от слабости, что он рухнул на стул.

Oncle Шарль массировал на колене искривленные, потные, трясущиеся пальцы Вилле.

— Опасные забавы, — пробормотал он.

Княжна, в крайнем изнеможении, едва переводила дух; но на губах ее дрожала ликующая сумасбродно-победная улыбка.

— Вы ему помогали! — воскликнул толстый кузен. — Вот в чем секрет!

Княжна с трудом поднялась.

— Господа извинят меня, — вяло произнесла она, взглянув на Прокопа широко раскрытыми сияющими глазами — он даже испугался, что все заметят, — и ушла, поддерживаемая дядюшкой Роном.

Что ж, оставалось как-то отметить подвиг Прокопа; в конце концов эти господа были добродушные холостяки, обожающие хвастать своими геройскими выходками. Прокоп высоко поднялся в их мнении: ведь он раздавил бутылку, а потом сумел выпить невероятное количество вина и водки, не свалившись под стол. В три часа утра князь Сувальский торжественно лобызал его, а толстый кузен чуть не со слезами предлагал перейти на «ты». Потом они прыгали через стулья и подняли дикий шум. Прокоп усмехался, он словно парил в облаках; но когда его хотели отвести к единственной балттинской проститутке, он вырвался, обозвал всех пьяными скотами и заявил, что идет спать.

Однако вместо этого столь разумного занятия он двинулся в черный парк и долго, очень долго разглядывал темный фасад замка, отыскивая чье-то окно. Хольц дремал в пятнадцати шагах, прислонившись к дереву.

XXXI

На следующий день шел дождь. Прокоп бегал по парку, бесясь, что из-за ненастья вряд ли увидит княжну. Но она выбежала, простоволосая, под дождь и кинулась к нему.

— Только на пять минут, на пять минут, — запыхавшись, шепнула она и подставила губы. Тут она заметила Хольца: — Кто этот человек?

Прокоп поспешно обернулся.

— Где?

Он уже так привык к своей тени, что даже не осознавал его постоянного присутствия.

— А, это... это, видите ли, мой сторож...

Княжна лишь властно взглянула на Хольца, и он тотчас сунул трубку в карман и убрался немного подальше.

— Пойдем, — шепнула княжна, увлекая Прокопа к беседке. И вот они сидят там и не осмеливаются целоваться, потому что где-то поблизости мокнет под дождем Хольц.

— Руку, — вполголоса потребовала княжна и сплела горячие пальцы с узловатыми, разбитыми обрубками Прокопа. Приласкалась:

— Милый, милый... — Но тут же строго: — Ты не должен так смотреть на меня при людях. Тогда я перестаю сознавать, что делаю. Вот погоди, брошусь когда-нибудь тебе на шею, господи, какой будет срам! — Княжна даже содрогнулась. — Ходили вы вчера к девкам? — спросила она вдруг. — Ты не должен, ты теперь — мой. Милый, милый, мне это так тяжело... Почему ты молчишь? Я пришла сказать, чтоб ты был осторожен. Mon oncle Шарль уже следит... Вчера ты был великолепен! — Торопливое беспокойство зазвучало в ее голосе. — А тебя всегда сторожат? Везде? Даже в лаборатории? Ah, c'est bête! [1] Когда ты вчера разбил чашку, я готова была поцеловать тебя — так чудесно ты злился. Помнишь, как ты тогда, ночью, словно с цепи сорвался... Тогда я пошла за тобой, как слепая, как слепая...

— Княжна, — хрипло перебил ее Прокоп. — Вы *должны* сказать мне... Или все это... только... каприз высокородной дамы, или...

Княжна отпустила его руку:

---

[1] Ах, как глупо! (*франц.*)

— Или?

Прокоп поднял на нее отчаянные глаза.

— Или вы только играете со мной...

— Или? — протянула она, с видимым наслаждением терзая его.

— Или вы меня... до известной степени...

— Любите, так? Послушай. — Она закинула руки за голову, глянула суженными глазами. — Когда мне однажды показалось, что я... что я влюбилась в тебя, понимаешь? Влюбилась *по-настоящему,* до смерти, как сумасшедшая — я попыталась... уничтожить тебя. — И она щелкнула языком, как щелкала тогда, подзывая Премьера. — Я никогда не смогла бы простить тебе, если б влюбилась в тебя.

— Лжете! — возмущенный, крикнул Прокоп. — Теперь — лжете! Я не мог бы снести... снести одно помышление, что это... только... флирт. Вы не так испорчены! Неправда!

— Если ты это знаешь, — тихо, серьезно сказала княжна, — зачем же спрашиваешь?

— Хочу сам услышать, — требовал Прокоп, — хочу, чтобы ты сказала... прямо... сказала мне, кто я для тебя. Вот что я хочу слышать!

Княжна отрицательно покачала головой.

— Я должен это знать, — скрипнул зубами Прокоп. — А не то... не то...

Княжна слабо усмехнулась, положила руку на его сжатый кулак.

— Нет, пожалуйста, не проси, не проси, чтоб я сказала тебе это.

— Почему?

— Потому что тогда у тебя будет слишком много власти надо мной, — тихонько объяснила она, и Прокоп затрепетал от счастья.

На Хольца, скрывающегося где-то возле беседки, напал странный кашель, и вдали за кустами мелькнул силуэт дядюшки Рона.

— Видишь, он уже ищет, — шепнула княжна. — Вечером тебе нельзя к нам.

Они затихли, сжимая друг другу руки; только дождь шелестел по крыше беседки, вздыхая росистой прохладой.

— Милый, милый, — шептала княжна, приблизив личико к Прокопу. — Какой ты? Носатый, сердитый, весь

взъерошенный... Говорят, ты великий ученый. Почему ты не князь?

Прокоп вздрогнул.

Она потерлась щекой о его плечо.

— Опять сердишься. А меня-то, меня называл бестией и еще хуже. Вот видишь, ты совсем не хочешь облегчить мне то, что я делаю... и буду делать... Милый, — беззвучно закончила она, протянув руку к его лицу.

Он склонился к ее губам; у них был вкус покаянной тоски.

В шорохах дождя прозвучали приближающиеся шаги Хольца.

*

Невозможно, невозможно! Целый день изводился Прокоп, ломая себе голову, как бы увидеть княжну. «Вечером к нам нельзя». Конечно, ты ведь не их круга; ей свободнее среди высокородных болванов. До чего же странно: в глубине души Прокоп уверял себя, что, собственно, не любит ее, — но ревновал бешено, мучительно, полный ярости и унижения. Вечером он бродил по парку под дождем и думал, что княжна сидит теперь за ужином, сияет, ей там весело и привольно; он казался себе шелудивым псом, выгнанным под дождь. Нет в жизни муки страшнее унижения.

Ладно, сейчас все обрублю, решил Прокоп. Побежал домой, набросил на себя черный костюм и ворвался в курительную, как вчера. Княжна сидела сама не своя; едва увидела Прокопа — сердце ее забило в набат, губы смягчились в счастливой улыбке. Остальная молодежь встретила его дружеским шумом, только oncle Шарль был чуть вежливее, чем нужно. Глаза княжны предостерегали: будь осторожен! Она почти ничего не говорила, держалась как-то смущенно и чопорно; но все же улучила минутку, сунула Прокопу смятый листок: «Милый, милый, — нацарапано на листке карандашом крупными буквами, — что ты наделал? Уходи». Он скомкал записку. Нет, княжна, я останусь тут; мне, видите ли, очень приятно наблюдать вашу духовную общность с этими надушенными идиотами. За это ревнивое упрямство княжна наградила его сияющим взглядом; она принялась вышучивать Сувальского, Грауна, всех своих кавалеров, сделалась

злорадной, жестокой, нетерпимой, насмехалась над всеми беспощадно; временами мгновенно взглядывала на Прокопа — изволит ли он быть доволен гекатомбой из поклонников, принесенной ею к его ногам? Властелин не был доволен: он хмурился, требовал взглядом пятиминутного разговора наедине. Тогда она встала, отвела его к какой-то картине.

— Будь же благоразумен, не теряй головы, — шепнула лихорадочно, приподнялась на цыпочки и жарко поцеловала в то самое место на щеке. Прокоп оцепенел, испугавшись такого дикого безумства; но никто ничего не увидел, даже oncle Рон, который следил за всем умными, печальными глазами.

Больше ничего, ничего не случилось в тот день. И все же Прокоп метался на своей постели и грыз подушки; а в другом крыле замка кто-то тоже не спал всю ночь.

*

Утром Пауль принес резко благоухающее письмо, не сказав, от кого оно.

«Дорогой мой человек, — прочитал Прокоп, — сегодня я не увижусь с тобой; не знаю, что и делать. Мы *ужасно* неосторожны; прошу, будь разумнее меня (несколько строк зачеркнуто). Не ходи перед замком, или я выбегу к тебе. Пожалуйста, сделай что-нибудь, чтобы тебя избавили от этого противного сторожа. Я провела скверную ночь; вид у меня страшный, не хочу, чтоб ты видел меня сегодня. Не ходи к нам, oncle Шарль уже делает намеки; я накричала на него и теперь с ним не разговариваю; меня бесит, что он так невыносимо прав... Милый, посоветуй мне: только что я прогнала свою горничную, мне донесли, что у нее связь с конюхом, она ходит к нему. Не могу этого вынести; я готова была ударить ее по лицу, когда она созналась. Горничная красивая; она плакала, а я наслаждалась видом текущих слез; представь, я никогда не видела вблизи, как зарождается слеза: она выступает из глаза, стекает быстро, останавливается, и тут ее догоняет следующая. Я не умею плакать; когда была маленькой — кричала до синевы, а слез не было. Я рассчитала горничную тут же; я ненавидела ее, меня трясло, когда она стояла передо мной. Ты прав, я злая и лопаюсь от ярости; но почему ей все можно? Дорогой, прошу

тебя, замолви за нее словечко; я возьму ее обратно и сделаю с ней все, что ты захочешь, только бы мне знать, что ты умеешь прощать женщинам такие поступки. Видишь, я злая и ко всему еще завистливая. От тоски не знаю, куда деваться; хочу увидеть тебя, но сейчас не могу. Не смей писать мне. Целую тебя».

Пока он читал, в другом крыле замка бушевал рояль; под его бурные звуки Прокоп написал:

«Вы не любите меня, я вижу; выдумываете бессмысленные препятствия, не хотите компрометировать себя, вам надоело терзать человека, который вам и не навязывался. Я воспринимал все иначе; теперь стыжусь этого и понимаю — вы хотите положить конец. Если вы после обеда не придете в японскую беседку, это будет окончательным ответом, и я сделаю все, чтобы не обременять вас больше».

Прокоп перевел дух; он не привык сочинять любовные письма, и ему казалось, что он написал убедительно и достаточно сердечно. Пауль побежал относить, рояль в другом крыле замка смолк, и наступила тишина.

Тем временем Прокоп пошел разыскивать Карсона; встретил его у складов и без всяких околичностей приступил к делу: пусть Карсон под честное слово освободит его от Хольца, он готов принести любую присягу, что без предуведомления не убежит. Карсон многозначительно осклабился: пожалуйста, почему нет? Прокоп будет свободен, как птица, ха-ха, сможет ходить когда и куда угодно, если сделает один пустяк: выдаст кракатит.

Прокоп вскипел:

— Я дал вам вицит, чего вам еще? Слушайте, я уже говорил: кракатит вы не получите, хоть голову мне рубите!

Карсон пожал плечами, пожалел — раз так, ничего нельзя поделать; ибо тот, у кого в голове тайна кракатита, — личность весьма опасная для общества, опаснее стократного убийцы, короче — классический случай, когда необходимо превентивное заключение.

— Избавьтесь от кракатита, и дело с концом, — посоветовал он. — Ей-богу, овчинка выделки стоит. Иначе... иначе придется подумать о том, чтобы перевести вас в другое место.

Прокоп, уже готовый разразиться воинственными криками, опешил; пробормотал, что еще подумает, и побежал

домой. Может быть, там ждет ответ, — надеялся он; ответа не было.

После обеда Прокоп начал Великое Ожидание в японской беседке. До четырех часов в нем бурлила нетерпеливая, задыхающаяся надежда: сейчас, сейчас, с минуты на минуту придет княжна... В четыре часа он сорвался с места, не в силах сидеть; забегал по беседке, словно ягуар за решеткой, представляя себе, как обнимет ее колени, дрожа от восторга и страха. Хольц деликатно удалился в кусты. К пяти часам нашего героя начал одолевать грозный напор сомнений, но в голове блеснуло: наверное, придет в сумерки; конечно, в сумерки! Он улыбался, шептал нежные слова.

За замком закатывается солнце в осеннем золоте, деревья с поредевшей листвой вырисовываются четко и неподвижно, слышен шорох — жуки копошатся в опавших листьях; не успеешь оглянуться — ясная даль заволакивается золотистым сумраком. На зеленом небе заискрилась первая звезда: час вечерней молитвы вселенной. Земля темнеет под бледным небом, летучая мышь пролетела зигзагом, где-то за парком глухо позвякивают колокольцы: коровы возвращаются с пастбища, пахнут парным молоком. В замке зажглось одно, второе окно. Как, уже сумерки? Звезды небесные, разве мало глядел на вас изумленный мальчик на тимьянной меже, мало разве обращал к вам взоры мужчина, мало страдал он и ждал — и разве не рыдал он уже под бременем своего креста?

Хольц выступил из тьмы:

— Можно домой?

— Нет.

Допить, допить до дна унижение; теперь уже ясно: она не придет. Пусть так; но нужно испить до конца горькую чашу, на дне которой — уверенность; опьянеть от боли; завалить, засыпать себя грудой стыда и страданий, чтобы свиваться червем и глупеть от муки. Ты трепетал перед счастьем; отдайся же боли, ибо она — наркотик для всех страждущих. Ночь, уже ночь; а она не идет.

Дикая радость хлестнула Прокопа по сердцу: она знает, что я здесь жду (должна знать); выкрадется ночью, когда все заснут, полетит ко мне, раскрыв объятия, и рот ее будет полон сладкого сока поцелуев; мы сольемся губами и не скажем ни слова, выпьем с наших

губ невысказанные признания. И придет *она,* бледная, и впотьмах, дрожа от леденящего ужаса счастья, отдаст мне свои горькие губы; и выйдет она из черно-черной ночи...

В замке гаснут окна.

Хольц торчит прямо у входа в беседку, сунув руки в карманы. Его утомленная поза говорит, что «пожалуй, довольно!». Но сидящий в беседке со злобным, ненавидящим смехом растаптывает последнюю искорку надежды — тянет до последней минуты отчаяния. Ибо последняя минута его ожидания означает Конец Всему.

В далеком городке пробило полночь. Итак, конец всему.

По черному парку бежит Прокоп домой — один бог знает, почему он так спешит. Бежит, ссутулясь, а в пяти шагах позади, зевая, трусит Хольц.

XXXII

Конец всему — это было почти облегчением: по крайней мере, какая-то определенность, очищенная от сомнений; и Прокоп уцепился за эту мысль бульдожьей хваткой. Ладно, конец, следовательно, больше нечего бояться. Она нарочно не пришла; хватит, достаточно и этой пощечины; стало быть, конец. Он сидел в кресле, не в силах встать, вновь и вновь опьяняясь собственным унижением. Слуга, которого оттолкнули. Бесстыдная, надменная, бесчувственная. Конечно, потешалась надо мной со своими поклонниками. Что ж, комедия окончена; тем лучше.

При каждом шаге в коридоре Прокоп поднимал голову, лихорадочно, бессознательно ожидая: может быть, несут письмо... Нет, ничего. Я так мало для нее значу, что она даже не извинится. Конец.

Пауль десяток раз входил, шаркая ногами, с озабоченным вопросом в выцветших глазах: господину что-нибудь угодно? Нет, Пауль, ничего не надо.

— Постойте, письма для меня нет?

Пауль качал головой — нету.

— Хорошо, можете идти.

Ледяное острие каменеет в груди Прокопа. Такая пустота — это конец. Даже если б открылись двери и она сама стала на пороге, я сказал бы: конец. «Милый,

милый», — слышит Прокоп ее шепот, и тогда прорывается отчаяние:

— Зачем вы так меня унизили? Будь вы горничной — я простил бы ваше высокомерие; княжне этого не прощают! Слышите! Конец, конец!

Вбежал Пауль:

— Господин изволит приказать?..

Прокоп вздрогнул; действительно, последние слова он громко выкрикнул.

— Нет, Пауль. Письма для меня нет?

Пауль с сожалением качает головой.

День густеет, как безобразная паутина, уже вечер. В коридоре слышится шепот, и Пауль, шаркая ногами, спешит с радостной вестью.

— Письмо, вот письмо! — ликуя, шепчет он. — Зажечь огонь?

— Нет.

Прокоп мнет в пальцах узкий конверт; вдыхает знакомый резкий аромат; словно нюхом хочет узнать, что внутри. Ледяное острие проникло глубже в сердце. Почему она написала только вечером? Да потому, что просто хочет приказать: не ходите к нам, вот и все. Ладно, княжна, пусть так и будет: конец так конец. Прокоп вскочил, нашарил впотьмах чистый конверт, вложил ее нераспечатанное письмо, заклеил.

— Пауль! Пауль! Отнесите это сейчас же ее светлости!

Едва Пауль вышел, Прокопу захотелось позвать его назад, но было поздно. И Прокоп, вконец удрученный, понял: то, что сделал сейчас, — уже бесповоротно. Конец всему. И он бросился на постель, подушками заглушая то, что неодолимо рвалось из груди.

Явился доктор Краффт — вероятнее всего, посланный встревоженным Паулем — и постарался хоть чем-нибудь утешить, развлечь человека с развороченной душой. Прокоп велел принести виски и стал пить, веселясь через силу; Краффт тянул содовую воду, соглашаясь с Прокопом во всем, хотя тот нес нечто совершенно не соответствующее краффтовскому рыжему идеализму. Прокоп ругался, богохульствовал; как в луже, валялся в самых грубых, низких выражениях — словно ему легче становилось, когда он все смешивал с грязью, оплевывал, топтал и бесчестил. Он извергал глыбы проклятий и мерзостей;

расточал сальности, наизнанку выворачивал женщин, награждая их самыми кощунственными названиями, какие только можно выдумать. Доктор Краффт, потея от ужаса, молча соглашался с разъяренным гением; но вот и Прокоп исчерпал свой пыл, умолк; он хмурился и пил, пока не почувствовал, что достаточно; тогда, одетый, улегся на кровать, качающуюся, как лодка, и уставился в вихрящуюся тьму.

Утром встал разбитый, полный отвращения к себе и совсем переселился в лабораторию. Он не работал — только слонялся по комнате, пиная ногой резиновую губку. Потом вдруг его осенило: смешал страшную, нестойкую взрывчатку и послал ее в дирекцию в надежде, что разразится солидная катастрофа. Ничего не произошло; Прокоп бросился на койку и беспробудно проспал тридцать шесть часов.

Проснулся он другим человеком: трезвым, холодным, подтянутым; и было ему отчего-то совершенно безразлично все, что случилось до этого. Снова упрямо, методично начал он работать над распадом атомов, сопровождающимся взрывом; теоретические обобщения привели к столь страшным результатам, что у него волосы поднялись дыбом от сознания неизмеримости сил, среди которых мы живем.

Однажды, в разгар вычислений, его охватило мимолетное беспокойство. «Вероятно, я просто устал», — сказал он себе и, без шляпы, вышел немного прогуляться. Бессознательно направился он к замку; машинально избежал по лестнице и пошел по коридору к бывшему своему «кавалерскому покою». На стуле перед дверью, на обычном месте, Пауля не оказалось. Прокоп вошел в комнату. Все было в том виде, в каком он оставил; но в воздухе висел знакомый, резкий аромат княжны. «Глупости, — подумал Прокоп, — просто внушение или что-нибудь в этом роде; я слишком долго обонял едкие запахи лаборатории». И все же это мучительно взволновало его.

Он присел на минутку и удивился: как все это уже далеко... Стояла тишина, послеполуденная тишина в замке; интересно, изменилось здесь что-нибудь? В коридоре послышались приглушенные шаги — наверное, Пауль; Прокоп вышел из комнаты. В коридоре была княжна.

Неожиданность, почти ужас отбросили ее к стене; вот стоит она, мертвенно-бледная, глаза широко раскрыты, губы кривятся, как от боли, — обнажились даже коралловые десны. Что надо ей в гостевом крыле замка? Идет, вероятно, к Сувальскому, — мелькнуло вдруг в голове Прокопа, и что-то в нем оборвалось; он шагнул вперед, словно собираясь броситься на нее; но из его горла вырвался только какой-то ржущий звук, и он бегом пустился к выходу. Что это протянулось ему вслед — руки? Не смей оглядываться! И прочь, прочь отсюда!

Далеко от замка, на бесплодных буграх полигона, прижался Прокоп лицом к земле и камням. Ибо одно только горше боли унижения: муки ненависти.

В десяти шагах, в стороне, сидел невозмутимый, сосредоточенный Хольц.

*

Наступившая затем ночь была душной и тяжкой, черной до необычайности; собиралась гроза. В такие ночи странное раздражение охватывает людей, и не следует им тогда решать свою судьбу: ибо недоброе это время.

Около одиннадцати Прокоп выскочил из лаборатории, стулом оглушил дремлющего Хольца и исчез в ночном мраке. Вскоре после этого возле железнодорожной станции раздались два выстрела. Низко над горизонтом вспыхивали зарницы — тем гуще казалась тьма после их вспышек. Над насыпью у главных ворот встал четкий сноп голубого света, двинулся к железнодорожной станции; он выхватывал из мрака вагоны, цейхгаузы, кучи угля — и вот поймал черную фигурку; она петляет, припадает к земле, бросается вперед — и снова скрывается в темноте. Теперь она бежит между бараками, к парку; несколько других фигур кинулись за ней. Прожектор повернули на замок; еще два выстрела тревоги, и бегущая фигура ныряет в кусты.

Почти сразу же вслед за тем задребезжало окно в спальне княжны; она вскочила, открыла раму, и внутрь влетел камушек, обернутый бумагой. С одной стороны клочка было что-то неразборчиво написано сломанным карандашом; с другой стороны тесно жались мелкие цифры — какие-то вычисления. Княжна поспешно набрасывала на себя платье; вдруг за прудом раздался выстрел — судя по звуку, не холостой. Негнущимися пальцами

застегивала княжна крючки платья, а горничная, глупая коза, тряслась под периной от страха. Не успела княжна выйти, как увидела в окне: два солдата волокут кого-то черного; он отбивается, как лев, стараясь стряхнуть их; значит, не ранен...

На горизонте все еще вспыхивали широкие желтые сполохи; очистительная гроза все не разражалась.

*

Отрезвев, Прокоп с головой окунулся в лабораторные работы — или, по крайней мере, заставил себя работать. От него только что ушел Карсон; он был полон холодного возмущения и недвусмысленно заявил, что Прокопа постараются как можно скорее переправить в другое место, более надежное; не хочет добром, что ж — придется применить к нему силу. А, все равно; Прокопу уже все безразлично. Пробирка лопнула у него в пальцах.

В сенях отдыхает Хольц с забинтованной головой. Прокоп совал ему пять тысяч в виде компенсации за увечье— тот не взял. Ладно, пусть делает как хочет. Переведут в другое место... Ну и пусть. Проклятые пробирки! Лопаются одна за другой...

В сенях шум, будто кто-то вскочил, внезапно разбуженный. Опять, видно, гости — Краффт, наверно... Прокоп даже не обернулся от спиртовки, когда скрипнула дверь.

— Милый, милый, — донесся шепот.

Прокоп пошатнулся, схватился за стол, повернул голову, как во сне. Княжна стояла, прислонившись к притолке, бледная, с неподвижными темными глазами, и прижимала руки к груди — хотела, должно быть, унять безумствующее сердце.

Двинулся к ней, дрожа всем телом, коснулся пальцами ее щек, плеч, словно не мог поверить, что это — она. Она положила холодные трепетные пальцы ему на губы. Тогда он рывком распахнул дверь, выглянул в сени. Хольц исчез.

XXXIII

Княжна словно окаменела; она сидела на койке, подтянув колени к подбородку; спутанные волосы волной брошены на лицо, руки судорожно обхватили шею. Ужа-

саясь тому, что он сделал, Прокоп запрокидывал ей голову, целовал колени, руки, волосы, ползал по полу, бормотал просьбы и ласковые слова; она не видела, не слышала. Ему казалось, она содрогается от отвращения при каждом его касании; волосы слиплись у него на лбу от холодного пота — он побежал к крану, пустил на голову струю холодной воды.

Княжна тихонько встала, подошла к зеркалу. Прокоп подошел к ней на цыпочках, чтоб неожиданно обнять — и увидел ее отражение: она оглядывала себя с выражением такой дикой, страшной, отчаянной брезгливости, что он отшатнулся. Княжна увидела его за своей спиной, бросилась к нему:

— Я не безобразна? Не противна тебе? Что я наделала, что наделала! — Прильнула щекой к его груди, словно хотела спрятаться. — Я — глупая, правда? Я знаю... знаю, ты разочарован. Но ты не должен презирать меня, слышишь? — И как раскаивающаяся девочка, она зарылась лицом в его рубашку. — Правда, ты теперь не убежишь? Я буду делать все, научи меня всему, чему хочешь, — ладно? — будто я твоя жена. Милый, милый, не давай мне теперь думать; если я буду думать — опять стану скверной, стану как каменная; ты и понятия не имеешь, о чем я думаю. Нет, не давай мне сейчас...

И ее дрожащие пальцы впились в его шею. Он поднял ей голову, стал целовать, в восторге бормоча бессвязное. Княжна порозовела, стала красивой.

— Я не безобразна? — шептала она между поцелуями, счастливая, одурманенная. — Я так хочу быть красивой — для одного тебя. Знаешь, зачем я пришла? Я ждала — ты убьешь меня.

— А если бы ты... — прошептал Прокоп, баюкая ее в объятиях, — если бы ты предчувствовала то, что... произошло — пришла бы?

Княжна кивнула.

— Я ужасная, правда? Что ты обо мне подумаешь! Но я не дам тебе думать...

Он порывисто сжал ее, поднял на руки.

— Нет, нет, — испуганно взмолилась она, сопротивляясь, но скоро затихла; глаза ее блестели, словно тонули во влаге, нежные пальцы перебирали прядь волос над его тяжелым лбом.

— Милый, милый, — горячо дышала она ему в л и ц о , — как мучил ты меня в последние дни! Ты меня...? — Она не выговорила слово «любишь».

Он с жаром кивнул:

— А ты?

— Да. Ты мог бы уже знать это. Знаешь, кто ты? Ты — самый красивый из всех носатых, уродливых людей. У тебя глаза кровавые, как у сенбернара. Это — от работы, да? Пожалуй, ты не был бы таким милым, будь ты князь. Ах, отпусти!

Она выскользнула из его рук, пошла причесываться. Испытующе взглянула на свое отражение, потом склонилась перед зеркалом в глубоком реверансе.

— Вот это — княжна, — проговорила она, указывая на з е р к а л о , — а э т о , — почти без голоса добавила Вилле и положила руку себе на г р у д ь , — это всего лишь твоя девка: теперь видишь... Уж не думал ли ты, что овладел княжной?

Прокоп вздрогнул, как от удара.

— Что это значит?! — И он так стукнул кулаком по столу, что звякнуло разбитое стекло.

— Придется тебе выбирать между княжной и девкой. Обладать княжной ты не можешь; можешь боготворить ее издали, но и руки ей не поцелуешь; и не спросишь у ее глаз — любит ли. Княжна не имеет права: за ней — тысяча лет чистой крови. Ты не знаешь, что мы были суверенами? Ах, ты не знаешь ничего; но, по крайней мере, ты должен знать, что княжна — на стеклянной горе: туда не добраться. Зато простой женщиной, вот этой обыкновенной смуглой девкой ты можешь обладать; дотронься — она твоя, словно какая-нибудь вещь. Ну, выбирай, кого хочешь!

От слов ее Прокопа мороз подрал по спине.

— Княжну! — тяжело выговорил он.

Она подошла, очень серьезно поцеловала его.

— Ты мой, правда? Ты — милый! Ну вот, княжна — твоя. Значит, ты все-таки гордишься тем, что тебе принадлежит княжна? Видишь, какой страшный поступок должна совершить княжна, чтобы кто-то мог хвастаться несколько дней! Несколько дней или недель... Княжна даже не может требовать, чтобы это было навсегда. Я знаю, я это знаю: с первой минуты, что ты меня увидел, ты желал княжну — от злости, из мужского самолюбия или еще от чего-то, правда? Потому ты так и ненавидел

меня, что желал; и я попалась. Думаешь, я жалею? Наоборот — я горжусь, что сделала это. Ведь это — великолепная выходка, верно? Вот так, ни с того ни с сего, попрать себя; была княжна, была девственна, и вот — сама... сама пришла...

Ее речи наводили ужас на Прокопа.

— Замолчи! — попросил он и обнял ее дрожащими руками. — Если я вам... неравен... родом...

— Как ты сказал? Неравен? Или ты думаешь, я пришла бы к тебе, будь ты князем? О, если бы ты хотел, чтоб я обращалась с тобой как с *равным,* я не могла бы... прийти к тебе... *вот так.* — И она раскинула обнаженные руки. — *Вот в чем* страшная разница, понимаешь?

У Прокопа опустились руки.

— Вы не должны были этого говорить, — простонал он, отодвигаясь.

Она бросилась ему на шею.

— Милый, милый, не позволяй мне говорить! Разве я тебя в чем-нибудь упрекаю? Я пришла... сама... потому что ты хотел бежать — или дать убить себя, не знаю; ведь любая девушка... По-твоему, я не должна была этого делать? Скажи! Я поступила скверно?.. Видишь! — содрогнувшись, она перешла на шепот. — Видишь, ты тоже не знаешь!

— Погоди! — воскликнул Прокоп, вырвался от нее, большими шагами заходил по комнате; внезапная надежда ослепила его. — Веришь в меня? Веришь, что я многое свершу? Я умею бешено работать. Никогда я не помышлял о славе; но если хочешь... Я буду работать изо всех сил! Знаешь ли ты, что Дарвина... несли к могиле герцоги? Если хочешь — я свершу... свершу нечто грандиозное. Я умею работать... я могу изменить лицо земли. Дай мне десять лет, и ты увидишь, увидишь...

Казалось, она даже не слушает.

— Будь ты князем — ты довольствовался бы одним моим взглядом, одним рукопожатием и знал бы, верил бы, не смел бы сомневаться... Мне не нужно было бы доказывать это... так ужасно, как теперь, понимаешь? Десять лет! А сумел бы верить мне в течение десяти дней? Да что десять дней? Через десять минут тебе всего покажется мало; десять минут пройдет — и ты опять нахмуришься, милый, и станешь беситься, что княжна не хочет тебя больше... потому что она княжна, а ты не к н я з ь, — правда?

Иди доказывай тогда, безумная, несчастная, убеждай его, если можешь; ни одно твое доказательство не будет достаточно убедительным, самое страшное унижение — достаточно бесчеловечным... Бегай за ним, предлагай себя, делай больше, чем любая простая девчонка, — и я не знаю, не знаю уже, что еще! Что мне с тобой делать? — Подошла, подставила губы. — Ну, будешь верить мне десять лет?

Прокоп схватил ее, сотрясаясь от рыданий.

— Ну что ж, так уж случилось, — зашептала она, погладила его по волосам. — Ты тоже мечешься на цепи, правда? И все же я не поменялась бы... не поменялась с той, какой я была. Милый, милый, я знаю — ты меня покинешь.

Она сломилась в его руках; он поднял ее, поцелуями раскрыл сомкнутые губы.

Она отдыхала с закрытыми глазами, еле слышно дыша; Прокоп, склонясь над ней, изучал непостижимый мир этого страстного, напряженного лица — и сердце его сжималось. Княжна очнулась, как от сна.

— Что это у тебя здесь в бутылках? Ядовитое? — Она встала и принялась рассматривать его полки, приборы. — Дай мне какого-нибудь яду.

— Для чего?

— На случай, если меня захотят увезти отсюда.

Серьезное выражение лица княжны встревожило Прокопа, и, чтоб обмануть ее, он начал отмерять в пузырек растворенный мел; но тут она наткнулась на кристаллический мышьяк.

— Не тронь! — крикнул он, но Вилле уже спрятала склянку в сумочку.

— Значит, ты можешь стать знаменитым, — шепнула она. — А я об этом и не подумала. Говоришь, Дарвина несли герцоги? Кто именно?

— Да это не важно.

Поцеловала его.

— Ты — милый! Как же неважно?

— Ну, если хочешь — герцоги Аргайльский... и Девонширский, — неохотно отозвался он.

— В самом деле! — Она глубоко задумалась, морщина пересекла ее лоб. — Никогда я не предполагала, что ученые такие... А ты сказал мне это просто так, мимоходом — хорош! — Дотронулась до его груди и плеч, словно

он — новый для нее предмет. — А ты — ты тоже мог бы?.. Правда?

— А вот дождись моих похорон.

— Ох, скорей бы! — рассеянно проговорила она с бессознательной жестокостью. — Ты стал бы ужасно красивым, если б сделался знаменитым. Знаешь, что мне больше всего в тебе нравится?

— Не знаю.

— И я не знаю, — задумчиво протянула Вилле и снова поцеловала его. — Теперь уже не знаю. Теперь, кто бы ты ни был, какой бы ты ни был... — И она беспомощно пожала плечами. — Попросту это навсегда, понимаешь?

Прокоп был потрясен таким строгим однолюбием. Она стояла перед ним, закутанная в мех голубого песца, глядела влажными, мерцающими в сумерках глазами.

— Ох, — вздохнула вдруг княжна, опускаясь на краешек стула, — ноги дрожат!

Она стала гладить и массировать их с наивным бесстыдством.

— Как я теперь буду ездить верхом? Приходи, милый, — покажись мне еще раз. Oncle Шарля сегодня нет дома, да если б и был... Мне уже все равно.

Встав, она поцеловала его:

— Прощай.

На пороге остановилась, словно колеблясь, потом вернулась к нему.

— Убей меня, пожалуйста! — произнесла, безвольно опустив руки. — Убей!

Прокоп притянул ее к себе:

— Зачем?

— Чтоб мне не уходить отсюда... и чтоб никогда, никогда больше сюда не приходить!

Он шепнул ей на ухо:

— Завтра?

Взглянула на него — и безучастно опустила голову. Это было... все же это было согласие.

Он вышел в ночной сумрак, когда она давно уже ушла. В ста шагах от двери кто-то поднялся с земли, рукавом отряхивая костюм.

Молчаливый Хольц.

XXXIV

Когда Прокоп явился после ужина, уже не верящий и настороженный, то едва узнал княжну: так она была прекрасна. Она ощутила на себе его восхищенный, ревнивый взгляд — взгляд, которым он обнял ее с головы до *ног*, — и засияла, так откровенно отдаваясь ему глазами, что он замер. Сегодня в замке был новый гость, по фамилии д'Эмон, дипломат или что-то в этом роде: человек монгольского типа с фиолетовыми губами, обрамленными короткими черными усиками и бородкой. Этот господин, видимо, разбирался в физической химии: имена Беккереля, Планка, Нильса Бора, Милликена и других ученых то и дело слетали у него с языка; он знал Прокопа по литературе и очень интересовался его работой. Прокоп дал себя увлечь, разговорился, на минуту забыл смотреть на княжну — и получил под столом такой удар по голени, что чуть не вскрикнул и едва не ответил тем же; вдобавок ему был послан взгляд, пылающий ревностью. А тут как раз надо было ответить на глупый вопрос князя Сувальского — что это, собственно, за энергия, о которой здесь все время говорят. Прокоп схватил сахарницу, метнул на княжну такой бешеный взор, словно собирался запустить ей сахарницей в голову, и стал объяснять: если бы удалось разом освободить всю энергию, заключенную в этом изящном *сосуде*, — можно было бы взорвать Монблан вместе с Шамони; но это не удастся.

— Вы это можете *сделать*, — серьезно и твердо произнес д'Эмон.

Княжна всем телом перегнулась через стол:

— Что вы сказали?

— Что он может это сделать, — с предельной уверенностью повторил д'Эмон.

— Вот видишь, — совсем громко сказала княжна и села с победным видом.

Прокоп покраснел, не решаясь смотреть на нее.

— А если он это *сделает*, — жадно спросила *она*, — он станет очень знаменит? Как Дарвин?

— Если он это сделает, — без колебаний ответил д'Эмон, — короли сочтут за честь нести край его надгробного покрывала. Если к тому времени еще останутся короли.

— Чепуха, — пробормотал Прокоп, но княжна вспыхнула от невыразимого счастья.

Ни за что на свете Прокоп не согласился бы сейчас поднять на нее глаза; он бурчал что-то, весь красный, смущенно ломая пальцами куски сахара. Наконец отважился: она глядела прямо на него широко открытыми глазами, с огромной силой любви.

— Да? — вполголоса бросила княжна через стол.

Прокоп прекрасно понял: «Любишь, да?» — но сделал вид, что не слышит, и поскорее устремил глаза на скатерть. Господи, девчонка сошла с ума — или она нарочно?

— Да? — громче, настойчивее донеслось до него.

Он поспешно кивнул, посмотрел на нее глазами, пьяными от радости. К счастью, под общий говор никто ничего не расслышал; только выражение лица господина д'Эмона было слишком сдержанным и отсутствующим.

Разговор принимал то одно, то другое направление; потом господин д'Эмон, видимо обладавший универсальными знаниями, принялся рассказывать фон Грауну его родословную до тринадцатого столетия. Княжна слушала с необычайным интересом; тогда новый гость начал перечислять ее предков — имена так и посыпались.

— Довольно! — воскликнула Вилле, когда д'Эмон дошел до 1007 года; в тот год первый из Хагенов основал в Эстонии Печорский баронат, предварительно кого-то убив; дальше этого генеалоги, конечно, не добрались. Но господин д'Эмон продолжал: этот первый Хаген, или Агн Однорукий, был, бесспорно, татарский князь, захваченный в плен при набеге на Камскую область. Персидские историки знают о хане Агане, сыне Гив-хана, короля туркменов, узбеков, сартов и киргизов, который, в свою очередь, был сыном Вейвуша, сына Литай-хана Завоевателя. Император Ли-Тай упоминается в китайских источниках как властитель Туркмении, Джунгари, Алтая и западного Тибета вплоть до Кашгара, который Ли-Тай сжег, вырезав до пятидесяти тысяч людей; в их числе погиб китайский властитель, которому стянули голову намоченной веревкой и затягивали до тех пор, пока череп не лопнул, как орех. О предках Ли-Тая ничего не известно, пока науке недоступен архив в Лхассе. Сын Ли-Тая Вейвуш, слишком дикий даже для древних монголов, был убит в Кара-Бутаке жердями от юрт. Его сын Гив-хан опустошил и разграбил Хиву, распространив свое ужасное владычество

до Итиля — ныне Астрахани; там он прославил свое имя тем, что велел выколоть глаза двум тысячам людей, привязать их к одной веревке и выгнать в кубанские степи. Аган-хан следовал по стопам родителя, совершая набеги на Булгары — нынешний Симбирск; где-то в этих местах его взяли в плен, отрубили правую руку и держали заложником до тех пор, пока ему не удалось бежать в Прибалтику, к ливонской чуди. Здесь он был крещен немецким епископом Готиллой или Гутиллой и, видимо в припадке религиозного усердия, зарезал в Верро на кладбище шестнадцатилетнего наследника Печорского бароната, после чего женился на его сестре; позднее с помощью двоеженства, установленного документально, он расширил свои владения до озера Пейпус. Смотри об этом летопись Никифора, где он называется уже «князь Аген», в то время как эзельская запись титулует его «rex Aagen»[1]. Потомки его, — тихо закончил д'Эмон, — были изгнаны, но никогда их не свергали с трона...

Тут д'Эмон встал, отвесил поклон и больше не садился.

Нельзя себе представить, какую это произвело сенсацию. Княжна прямо впитывала в себя каждое слово д'Эмона, как если бы длинный ряд татарских головорезов был величайшим явлением в мире. Прокоп со страхом следил за пей; Вилле и бровью не повела, услыхав о двух тысячах пар выколотых глаз; он невольно отыскивал в ее лице татарские черты. Она была прекрасна, стала как-то выше ростом и замкнулась в почти королевском величии; все вдруг почувствовали такое расстояние между нею и собою, что выпрямились, как на придворном обеде, и сидели не шевелясь, не спуская с нее глаз. Прокоп испытывал огромное желание стукнуть по столу, сказать грубость, разбить это растерянное оцепенение. А она сидела, опустив глаза, словно ожидала чего-то, и на ее гладком лбу легкой тенью скользнуло нетерпение: ну, долго я буду ждать?

Господа вопросительно взглянули друг на друга, на вытянувшегося д'Эмона и один за другим начали вставать. Прокоп тоже поднялся, не понимая, в чем дело. Черт побери, что это значит? Все стоят, как свечи, руки по швам, смотрят на княжну; только теперь поднимает она глаза, кивает головой, как человек, отвечающий на

---

[1] король Ааген (*лат.*).

приветствие или дающий разрешение сесть. И в самом деле, все садятся. Только усевшись, удивленный Прокоп понял: отдавали дань почтения особе царского рода. И тут он вскипел яростным гневом: господи, и я участвовал в этой комедии! Да разве это возможно, неужели не рассмеются они удачной шутке, вообразимо ли, чтобы кто-нибудь принял всерьез подобный розыгрыш?

Он уже готовился разразиться гомерическим хохотом и ждал только — кто засмеется первым (боже мой, это же только шутка); но тут поднялась княжна. Все встали разом, в том числе и Прокоп, твердо убежденный, что уж сейчас-то все взорвутся от хохота. Княжна повела глазами, остановила взгляд на толстом кузене, тот опустил руки и сделал к ней два-три шага, слегка наклонясь вперед — невероятно смешной; слава богу, значит, это все же шутка! Но нет — княжна поговорила с толстым кузеном, кивнула — тот поклонился, отошел, пятясь. Княжна взглянула на Сувальского; князь приблизился к ней, ответил, почтительно произнес какую-то вежливую остроту; княжна засмеялась и отпустила его движением головы. Значит, это всерьез? Теперь она остановила легкий взгляд на Прокопе; тот не тронулся с места. Все поднялись на цыпочки, напряженно глядя на него. Княжна сделала ему знак глазами — он не шевельнулся. Тогда она направилась к старому однорукому майору артиллерии, покрытому медалями, как Кибела — сосцами. Майор уже вытянулся в струнку — медали зазвенели, — но, слегка повернувшись, княжна оказалась рядом с Прокопом.

— Милый, милый, — тихо, но ясно звучит ее голос. — Да?.. Опять хмуришься. Я хочу поцеловать тебя.

— Княжна, — буркнул Прокоп, — что означает этот фарс?

— Не кричи так. Это серьезнее, чем ты можешь себе представить. Понимаешь, теперь они захотят выдать меня замуж! — Она содрогнулась от ужаса. — Милый, сейчас исчезни. Иди в третью комнату по коридору и жди меня там. Мне надо повидаться с тобой.

— Послушайте, — начал было Прокоп, но Вилле уже кивнула ему головой и плавно поплыла к старому майору.

Прокоп не верил собственным глазам. Неужели возможно такое, неужели это не заранее условленная комедия, неужели эти люди играли свои роли всерьез?

Толстый кузен взял его под руку, с таинственным видом отвел в сторону.

— Понимаете, что это значит? — возбужденно зашептал о н . — Старого Хагена хватит удар, когда он узнает. Царский род! Видали вы недавно здесь одного престолонаследника? Речь шла о свадьбе, но она расстроилась. А этот человек наверняка подослан... Иисусе Христе, такая ветвь!

Прокоп вырвал руку.

— Простите, — пробормотал он. Весьма неуклюже выбрался в коридор и вошел в третью комнату. Это была маленькая чайная гостиная; полутьма, всюду лак, красный фарфор, какемоно и прочая ерунда. Прокоп метался по миниатюрной комнатке, заложив руки за спину, гудел что-то себе под нос — навозная муха, бьющаяся об оконное стекло. Проклятье, что-то изменилось: из-за нескольких вшивых татарских бандитов, которых стыдился бы приличный человек... Хорошенькое происхождение, нечего сказать! И вот из-за таких двух-трех гуннов эти идиоты замирают подобострастно, ползают на брюхе, а она, она сама... Навозная муха остановилась, ей не хватило дыхания. Сейчас придет... татарская княжна, скажет: милый, милый, все кончено между нами; подумай сам, не может правнучка Литай-хана любиться с сыном сапожника! Тук-тук, — застучал в голове молоточек; и показалось Прокопу — он слышит, как стучит отец, обоняет тяжелый запах дубленой кожи, острую вонь сапожного вара; а матушка в синем переднике стоит, бедняжка, вся красная, у плиты...

Бешено зажужжала навозная муха. Ничего не поделаешь — она княжна! Где, где была твоя голова, несчастный? Вот теперь, если придет, грохнешься на колени, ударишься лбом об пол: смилуйся, татарская княжна! Больше ты меня не увидишь...

В чайной гостиной слабо пахнет левкоями, льется мягкий полусвет; муха в отчаянии стукается о стекло, стонет почти человеческим голосом. Где была твоя голова, глупец?! Быстро, беззвучно скользнула в гостиную княжна. У двери повернула выключатель, погасила свет. В темноте Прокоп ощутил легкое прикосновение ее руки — вот она дотронулась до его лица, обвила шею. Он сжал княжну обеими руками; она так тонка, почти бестелесна, — он касается ее с опаской, словно перед ним нечто хруп-

кое, нежное, как паутинка. Она осыпает его лицо легкими, как вздохи, поцелуями, шепчет что-то непонятное; воздушная ласка холодит волосы Прокопа. По хрупкому телу прошла судорога, рука крепче обхватила шею Прокопа, влажные губы шевелятся на его губах, словно беззвучно, настойчиво говорят что-то. Бесконечной волной, приливом трепетных вздрагиваний все теснее приникает она к Прокопу; притягивает к себе его голову, льнет к нему грудью, коленями, обвивает обеими руками, ищет губами его губы; страшное, скорбное объятие, безмолвное и беспощадное; стукнулись, встретившись, зубы, застонал, задыхаясь, человек; оба шатаются, судорожно, бессознательно, сжимая друг друга — не выпустить! Задохнуться! Срастись — или умереть! Рыдание вырвалось из груди Вилле; ослабев, подломились ее ноги; Прокоп разжал могучие клещи своих рук, она высвободилась, качнулась, как пьяная, вынула из-за корсажа платочек, обтерла с губ слюну или кровь — и, не сказав ни слова, вышла в соседнюю освещенную комнату.

Прокоп остался в темноте. Голова трещала. Это последнее объятие показалось ему прощальным.

XXXV

Толстый кузен был прав: на радостях старого Хагена хватил удар, но еще не доконал его; старец лежал без движения, окруженный докторами, и силился открыть левый глаз. Немедленно призвали oncle Рона и прочих родственников; а старый князь все старался приподнять левое веко, чтобы взглянуть на дочь и сказать ей что-то единственным своим живым глазом.

Простоволосая, как была у одра отца, выбежала княжна к Прокопу, который с утра караулил в парке. Не обращая ровно никакого внимания на Хольца, быстро поцеловала Прокопа, взяла его под руку; об отце и oncle Шарле упомянула лишь мимоходом, занятая чем-то другим, рассеянная и томная. Она то сжимала руку Прокопа и ластилась к нему, то снова становилась задумчивой я как бы отсутствующей. Он начал поддразнивать ее, подшучивать насчет татарской династии... пожалуй, несколько язвительно; княжна хлестнула его взглядом и перевела разговор на вчерашний день.

— До последней минуты я думала, что не приду к тебе. Ты знаешь, что мне почти тридцать лет? Когда мне было пятнадцать — я влюбилась в нашего капеллана, но как! Ходила к нему на исповедь, только бы видеть его вблизи; а так как мне стыдно было сказать, что я крала или лгала, то я заявила ему, будто прелюбодействовала; я не знала, что это такое, и бедняге капеллану стоило большого труда отговорить меня от такого самообвинения. А теперь я уже не смогла бы исповедаться ему, — тихо закончила княжна, и на губах ее дрогнула горькая улыбка.

Прокопа тревожил ее постоянный самоанализ, он подозревал за ним жгучую потребность в самобичевании. Он старался найти другую тему для разговора, но с ужасом убеждался, что им, кроме как о любви, собственно, говорить не о чем. Они поднялись на бастион; княжна, видимо, чувствовала облегчение, возвращаясь мыслями назад, вспоминая, рассказывая о всяких мелких и интимных событиях своей жизни.

— А вскоре после того как я исповедалась в прелюбодеянии, у нас появился учитель танцев, у него была связь с моей гувернанткой, толстой такой женщиной. Я это открыла, и... в общем, я видела *это,* понимаешь? Мне было противно, о! — но я подстерегала их и... Я не могла этого постичь. Но потом как-то, во время танца, когда он прижал меня к себе, я вдруг поняла. После этого я запретила ему прикасаться ко мне и даже... стреляла в него из духового ружья. Обоих пришлось удалить... В ту пору... в ту пору меня ужасно мучили математикой. А она совсем не лезла мне в голову, понимаешь? Учил меня такой злющий профессор, знаменитый ученый; вы, ученые, все — странный народ. Он задавал мне урок и следил по часам: за час я должна была все решить. И вот оставалось только пять минут, потом четыре, три минуты, а у меня еще ничего не было готово; тогда... у меня так начинало колотиться сердце и охватывало такое... страшное ощущение... — Княжна сжала руку Прокопа, втянула воздух сквозь зубы. — А потом я даже радовалась занятиям с ним.

В девятнадцать лет я была помолвлена; тебе это неизвестно, правда? К этому времени я уже знала все и потому заставила моего жениха поклясться, что он никогда не прикоснется ко мне. Через два года он погиб

в Африке. Я так сходила с ума — из романтичности, должно быть, — что после этого меня уже никогда не принуждали к замужеству. Я думала, с этим покончено навсегда. Но видишь ли, тогда я, собственно говоря, только заставляла себя — заставляла себя верить, что есть у меня какой-то долг перед ним, что я и после его смерти обязана оставаться верной своему слову; в конце концов мне даже стало казаться, будто я любила его. Теперь-то я вижу: я только играла для самой себя; и я не чувствовала ничего, ничего кроме глупого разочарования. Правда, странно, что именно тебе я *должна* рассказывать такие вещи? Правда, так приятно — без всякого стыда говорить все о себе; от этого даже холодок пробегает по спине, словно раздеваешься... Когда ты появился здесь, мне с первого взгляда пришло в голову, что ты похож на того профессора математики. Я даже боялась тебя, милый! Вот сейчас он опять задаст мне урок, испугалась я, и сердце у меня заколотилось... Кони, кони — меня прямо пьянила верховая езда. Раз у меня есть кони — любовь мне не нужна, думала я. И скакала, как бешеная... Мне всегда казалось, что любовь — это, понимаешь, что-то вульгарное и... отвратительное. Но теперь мне так уже не кажется; именно это и ужасает меня и унижает. А с другой стороны, я рада, что я такая же, как все. Когда я была маленькая, боялась воды. Плавать меня учили на суше, в пруд я ни за что не шла; выдумала, что там пауки. Но один раз на меня что-то нашло, прилив отваги — или отчаяния: я закрыла глаза, перекрестилась и бросилась в воду. Не спрашивай, как я потом гордилась собой! Словно выдержала испытание, словно все познала, словно стала совсем другой... Как будто только теперь и стала взрослой... Милый, милый, я забыла перекреститься...

*

Вечером княжна пришла в лабораторию, встревоженная и смущенная. Когда Прокоп обнял ее, она пробормотала с ужасом:

— Открыл глаз, открыл глаз. О!

Она подразумевала старого Хагена. Днем (Прокоп следил за ней, как маньяк) у нее был длинный разговор с oncle Роном, но об этом она не захотела рассказывать. Вообще казалось — она стремится спастись от чего-то;

она бросилась в объятия Прокопа с такой страстной жаждой, словно хотела во что бы то ни стало забыться. Под конец замерла с закрытыми глазами, обессилевшая — как тряпка; он думал — уснула, но тут она зашептала:

— Милый, самый милый, я что-нибудь сделаю, я сделаю что-нибудь страшное, и тогда, тогда ты уже не сможешь покинуть меня. Клянись, клянись мне! — вырвалось у нее с силой, и она даже приподнялась, но тут же подавила свой порыв. — Ах, нет. В чем можешь ты мне поклясться! Карты предсказали мне — ты уедешь. Но если ты хочешь это сделать — сделай, сделай это теперь, пока не поздно!

Прокоп, конечно, взорвался: она-де хочет от него избавиться, ей бросилась в голову татарская спесь и всякое такое. Княжна рассердилась, крикнула, что она запрещает так говорить с собой, что... что... — но, едва выкрикнув все это, со стоном повисла у него на шее, подавленная, полная раскаяния.

— Я невозможна, правда? Я совсем не хотела обидеть тебя... Видишь ли, княжна никогда не кричит; она может нахмуриться, отвернуться — и этого достаточно; а я кричу на тебя, как будто... как будто я твоя жена. Пожалуйста, побей меня! Постой, я покажу тебе, что и я умею...

И тут же оторвалась от него, ни с того ни с сего принялась прибирать лабораторию; намочила даже под краном тряпку, стала вытирать пол, ползая на коленях. Это, видимо, должно было изображать покаяние; по дело явно понравилось ей, она развеселилась и, возя тряпкой по полу, замурлыкала песенку, подслушанную когда-то у служанок, — «Когда ляжешь спать» или что-то в этом роде. Прокоп хотел поднять ее.

— Нет, погоди, — возразила она. — Еще там... — и полезла с тряпкой под стол. — Слушай, иди сюда, — донесся вскоре из-под стола удивленный голос.

Смущенно бурча что-то, он влез к ней под стол. Она сидела на корточках, обняв колени руками.

— Нет, ты только посмотри, как выглядит стол снизу! Я еще никогда не видела. Зачем это так? — приложила к его щеке руку, озябшую от мокрой тряпки. — У-у, холодная рука, правда? А ты весь так же грубо сделан, как стол снизу; и это в тебе самое прекрасное. Другие...

других людей я видела только так, понимаешь? — с гладкой, полированной стороны; а ты — ты с первого взгляда кажешься таким шершавым, будто состоишь из грубо сколоченных досок, гвоздей — в общем, из всего того, что скрепляет человеческое существо. Провести по тебе пальцем — занозишься; но при всем том в тебе все сделано так хорошо и добротно... Начинаешь видеть вещи иначе... не так как с лицевой стороны — серьезнее. Таков ты.

Она сжалась в комочек рядом с ним, — как маленький товарищ.

— Представь себе — будто мы в палатке или в шалаше, — восторженно шептала она. — Мне никогда не позволяли играть с мальчишками; но иногда я... тайком... ходила к сыновьям садовника, и мы лазали по деревьям, через заборы... Потом дома удивлялись, где это я порвала штанишки. И вот когда я настолько забывалась, что бегала вместе с ними, у меня так приятно стучало сердце от страха... Когда я прихожу к тебе, меня охватывает точно такой же чудесный страх, как тогда... Вот теперь я хорошо спряталась, — счастливым голосом мурлыкала она, положив голову ему на колени. — Никто здесь меня не найдет. И ты видишь мою изнанку, как у этого стола: обыкновенная женщина, которая ни о чем не думает и только дает себя убаюкивать... Почему людям так хорошо в укрытии? Понимаешь, теперь я знаю, что такое счастье: надо закрыть глаза... и сделаться маленькой... совсем крошечной, чтоб никто не нашел...

Он тихонько баюкал ее, гладил спутанные волосы; но глаза его устремлялись через голову княжны в пустоту.

Княжна рывком повернулась к нему.

— О чем ты сейчас думал?

Смешавшись, Прокоп отвел глаза. Не мог же он сказать ей, что видел перед собой татарскую княжну во всем блеске, существо, исполненное величия и окоченевшее от гордости, и что эта княжна — та самая, которую он и сейчас... которую в муках и тоске...

— Да нет, ничего, — буркнул он, склоняясь над покорным, счастливым комочком, притулившимся у его колен, и погладил смуглое личико. Оно вспыхнуло любовной страстью.

XXXVI

Лучше бы не приходить ему в тот вечер; но он явился именно потому, что она ему запретила. Oncle Шарль был весьма, весьма приветлив; к несчастью, он заметил, как эти двое совершенно неуместно и чуть ли не открыто пожимают друг другу руки, — он даже вставил монокль, чтобы лучше видеть; только тогда княжна отдернула руку и залилась краской, как школьница. Oncle подошел и увел ее, шепча что-то на ухо. Она больше не возвращалась. Вернулся один Рон и как ни в чем не бывало заговорил с Прокопом, чрезвычайно деликатно зондируя наиболее чувствительные уголки души. Прокоп держался необыкновенно геройски, он ничего не выдал, и это удовлетворило милого дядюшку — если не по существу, то хотя бы по форме.

— В обществе следует быть крайне осмотрительным, — сказал в заключение Рон, одновременно выговаривая и советуя; и Прокоп почувствовал большое облегчение, когда дядюшка оставил его после этих слов, давая время обдумать их значение.

Хуже было, что, судя по всем признакам, что-то втихомолку готовилось; особенно старших родственников так и распирало от сознания важности момента.

Утром Прокоп нетерпеливо слонялся вокруг замка; там его застала запыхавшаяся горничная и передала, что он должен идти к березовой роще. Он отправился туда и ждал очень долго. Наконец появилась княжна — она бежала длинными красивыми скачками Дианы.

— Прячься, — быстро шепнула она, — за мной идет дядюшка!

И вот они бегут, взявшись за руки, исчезают в густых кустах персидской сирени; Хольц, после тщетных поисков укромного местечка по соседству, самоотверженно ложится в крапиву. Уже видна светлая шляпа дядюшки Рона; он идет быстро, бросая взгляды по сторонам. У княжны глаза блестят от радости, как у юной дриады; в кустах стоит запах влажной земли и плесени, таинственная жизнь насекомых течет своим чередом на ветвях и корнях — они как в джунглях; даже не переждав опасности, Вилле притягивает к себе голову Прокопа, смакует поцелуи, словно это — рябина или терн, терпкие, вкусные

ягоды; все эти завлекания, уклонения — игра, и она доставляет им до того новое и неожиданное удовольствие, что им кажется — они встретились впервые.

В тот день она не пришла к нему; вне себя от всевозможных подозрений, пустился он к замку; княжна ждала его, прогуливаясь с Эгоном в обнимку. Едва увидев его, она оставила брата и подошла к Прокопу, бледная, смятенная, борющаяся с отчаянием.

— Oncle уже знает, что я была у тебя, — сказала она. — Господи, что будет, что будет! Думаю, теперь тебя отсюда увезут. Не шевелись — на нас смотрят из окна. Он разговаривал днем с этим... — она содрогнулась, — с директором, знаешь? Ругались... Oncle просил, чтоб тебя просто отпустили, чтоб дали тебе убежать или еще как-нибудь. Директор пришел в ярость, он и слышать об этом не хочет. Говорят, тебя увезут в другое место... Милый, будь здесь ночью; я выйду к тебе, убегу, убегу.

Она действительно пришла; прибежала, задыхаясь, всхлипывая, с сухими злыми глазами.

— Завтра, завтра... — начала она, еле переводя дух, но тут на ее плечо легла сильная ласковая рука. Это был дядюшка Рон.

— Иди домой, Мина, — приказал он тоном, не терпящим возражений. — А вы подождите здесь, — обратился он к Прокопу и, обняв племянницу за плечи, насильно увел ее в дом. Вернувшись вскоре, взял Прокопа под руку и заговорил — без гнева, подавляя в себе какое-то грустное чувство:

— Милый мой, я слишком хорошо понимаю вас, молодых людей; и... сочувствую вам. — Тут он безнадежно махнул рукой. — Случилось то, чего не должно было быть. Впрочем, я не хочу и... даже не имею права вас осуждать. Наоборот, я признаю, что... разумеется...

Разумеется, это было скверное начало, и le bon prince [1] нащупывал другое.

— Милый друг, я уважаю вас, и... по совести говоря, очень вас... люблю. Вы — человек честный... и гениальный, что редко сочетается в людях. Мало к кому я питал такую симпатию. Знаю, вы добьетесь очень многого, — выговорил он с облегчением. — Верите ли вы, что я забочусь о вашем благе?

---

[1] милый князь (*франц.*).

— Абсолютно не верю, — спокойно возразил Прокоп, остерегаясь попасть в ловушку.

Le bon oncle смешался.

— Жаль, очень жаль, — забормотал он. — Для того, о чем я хотел вам сообщить, нужно... вот именно... полное взаимное доверие...

— Mon prince, — вежливо перебил его Прокоп. — Как вам известно, я здесь не в завидном положении свободного человека. И мне кажется, при таких обстоятельствах у меня нет причин слишком доверять...

— А-а-ах, да, — облегченно вздохнул oncle Рон, обрадованный таким оборотом беседы. — Вы совершенно правы. Вы постоянно наталкиваетесь на... эээ, на неприятный факт, что вас здесь держат под наблюдением? Видите ли, именно об этом я и хотел с вами говорить. Милый друг, я, со своей стороны... с самого начала... и с возмущением... осуждал подобный способ... удерживать вас на территории комбината. Это — незаконно, жестоко и... при вашей славе, — просто неслыханно. Я предпринял ряд шагов... Еще раньше, разумеется, — быстро добавил он. — Я обращался даже к высшим инстанциям, но... при известной международной напряженности... власти охвачены паникой. Вас интернировали как шпиона. Ничего нельзя поделать, разве что, — тут mon prince наклонился к уху Прокопа, — разве что вам удастся бежать. Доверьтесь мне, я предоставлю вам средства. Честное слово.

— Какие средства? — как бы вскользь осведомился Прокоп.

— Да просто... я сам это сделаю. Посажу вас в свою машину, а меня здесь не могут задержать, понимаете? Об остальном позднее. Так когда вы хотите?

— Простите, но я вообще не хочу, — твердо ответил Прокоп.

— Почему? — воскликнул oncle Шарль.

— Во-первых... я не хочу, чтобы вы, mon prince, шли на подобный риск. Такая личность, как вы...

— А во-вторых?

— Во-вторых, мне тут начинает нравиться.

— А дальше, дальше?

— Дальше — ничего, — усмехнулся Прокоп и выдержал испытующий, серьезный взгляд князя.

— Послушайте, — помолчав, заговорил oncle Рон, — я не хотел вам говорить... Дело в том, что через день-

два вас перевезут в другое место, в крепость. По тому же обвинению в шпионаже. Вы не можете себе представить... Милый друг, бегите, бегите скорей, пока есть время!

— Это правда?

— Честное слово.

— В таком случае... в таком случае благодарю, что вы меня вовремя предупредили.

— Что вы сделаете?

— Н-ну — приготовлюсь к э т о м у, — кровожадно заявил П р о к о п. — Mon prince, не могли бы вы *их* предостеречь, что это... будет не так-то легко.

— Как? Простите, что вы... имеете в виду? — запинаясь, вопросил дядюшка Шарль.

Прокоп покрутил рукой в воздухе и с силой швырнул себе под ноги нечто воображаемое.

— Бум! — пояснил он.

Рон был ошеломлен.

— Вы собираетесь обороняться?

Прокоп не ответил; он стоял, сунув руки в карманы, мрачный как туча, обдумывая положение.

Дядюшка Шарль, весь светленький, хрупкий в ночной темноте, подошел к нему ближе.

— Вы... вы так ее любите? — произнес он, чуть ли не заикаясь — то ли от того, что он был растроган, то ли от изумления.

И опять Прокоп не ответил.

— Вы любите е е , — повторил Рон и обнял е г о . — Будьте сильны. Оставьте ее, уезжайте! Не может это так продолжаться, поймите, поймите же! К чему это приведет? Богом прошу вас, сжальтесь над ней; уберегите ее от скандала; неужели вы думаете, она может быть вашей женой? Возможно, она вас любит, но — она слишком горда; если ей придется отречься от княжеского титула... О, невозможно, невозможно! Я не хочу знать, что было между вами; но если вы ее любите — уезжайте! Уезжайте скорее, в эту же ночь! Во имя любви — уезжай, друг! Заклинаю тебя, прошу тебя ее именем; ты сделал ее несчастнейшей из женщин — неужели тебе этого мало? Спаси ее, если уж она сама себя не в силах спасти! Ты любишь ее? Тогда пожертвуй собой!

Прокоп стоял неподвижно, набычившись; и le bon prince чувствовал, как раскалывается и рвется от боли нутро этого черного, неотесанного увальня. Сострадание

сжимало сердце дядюшки, но в запасе у него оставалось еще одно оружие; он не мог успокоиться, пока не употребил его в дело.

— Она — гордая, фантастически, бешено тщеславная; с детства была такой. Теперь мы получили документы неизмеримой ценности: ее род равен любой коронованной династии. Ты не можешь постичь, что это значит для Мины. Для Мины — и для нас. Быть может, это предрассудки, но... мы *живем* ими. Прокоп, княжна выйдет замуж. Ее супругом станет эрцгерцог, лишившийся трона. Это — порядочный, но пассивный человек, зато она — она будет бороться за корону; ибо борьба — ее характер, ее миссия, ее гордость... Сейчас перед ней открывается то, о чем она мечтала. Только ты один стоишь между нею и... ее будущим; но она уже решила, она уже только терзается укорами совести...

— А-ха-ха! — вскричал Прокоп. — Так вот что? И ты, ты воображаешь, что теперь-то я и отступлю? Как же, жди, пожалуй!

И прежде чем дядюшка Шарль опомнился, Прокоп растаял в темноте, бросившись к своей лаборатории, Хольц молча последовал за ним.

XXXVII

Добежав до лаборатории, Прокоп хотел закрыть дверь перед носом Хольца, чтобы забаррикадироваться изнутри; но Хольц успел шепнуть: «Княжна!»

— Что такое? — моментально обернулся к нему Прокоп.

— Изволила приказать мне быть с вами.

Прокоп не в силах был подавить радостное удивление.

— Она тебя подкупила?

Хольц покачал головой, и его пергаментное лицо улыбнулось впервые за все время.

— Подала мне руку, — вежливо ответил он. — И я обещал ей, что с вами ничего не случится.

— Хорошо. Есть у тебя хлопушка? Будешь охранять дверь. Никого ко мне не пускай, понял?

Хольц кивнул; Прокоп произвел тщательное стратегическое обследование всей лаборатории — достаточно ли

она неприступна. Более или менее удовлетворенный, Прокоп выставил на стол жестяные банки и металлические коробки, какие только мог собрать, и, к немалой своей радости, обнаружил массу гвоздей. После этого он взялся за работу.

Утром Карсон как ни в чем не бывало, не спеша, словно прогуливаясь, подошел к лаборатории Прокопа; уже издали он увидел инженера: сняв пиджак, тот, видимо, упражнялся на вольном воздухе в метании камней.

— Очень здоровый спорт! — весело крикнул Карсон.

Прокоп мигом надел пиджак.

— Здоровый и полезный, — охотно отозвался он. — С чем пришли?

Карманы его пиджака сильно оттопыривались; в них что-то гремело.

— Что это у вас в карманах? — небрежно осведомился Карсон.

— Да так, хлорацид, — ответил Прокоп. — Взрывчатый и удушливый хлор.

— Гм. Зачем же вы носите его с собой?

— А просто для забавы. Вы хотели мне что-то сказать?

— Нет, теперь — ничего. Пожалуй, пока помолчу, — ответил встревоженный Карсон, держась на почтительном расстоянии. — А что у вас в этих коробочках?

— Гвоздики. А тут, — и он вытащил из кармана баночку из-под вазелина, — тут бензолтетраоксозонид, новинка, dernier cri [1]. А?

— Нечего им так размахивать, — заметил Карсон, отступая еще дальше. — Нет ли у вас каких-нибудь пожеланий?

— Пожеланий? — приветливо переспросил Прокоп. — Мне хотелось бы, чтоб вы кое-что передали *им.* Прежде всего — что я отсюда не уеду.

— Хорошо, конечно! А еще что?

— И что, если кто-нибудь неосторожно тронет меня или вообще подойдет слишком близко... Надеюсь, вы не замышляете убить меня?

— Ни в коем случае. Честное слово.

— Можете подойти поближе.

— А вы не взлетите на воздух?

---

[1] последний крик моды (*франц.*).

— Я буду осторожен. Еще я хотел вам сказать, пусть никто не вздумает ломиться в мою крепость, когда меня не будет дома. Дверь заминирована. Осторожнее — сзади вас ловушка.

— Тоже мина?

— Только диазобензолперхлорат. Вы должны предупредить людей. Здесь им нечего делать, ясно? Далее — у меня есть известные основания... считать свою безопасность под угрозой. Мне хотелось бы, чтоб вы дали распоряжение Хольцу лично охранять меня... от любого покушения. Охранять с оружием в руках.

— Ну, нет. Хольц будет переведен, — возразил Карсон.

— Что вы, — запротестовал Прокоп. — Видите ли, я боюсь оставаться один. Будьте любезны, прикажите ему...

Прокоп с многообещающим видом приблизился к Карсону, погромыхивая так, словно весь состоял из жестянок и гвоздей.

— Ладно, — быстро согласился Карсон. — Хольц, вы будете охранять господина инженера. Если кто-нибудь попытается причинить ему вред... А, черт вас возьми, делайте что хотите! Есть у вас еще какие-нибудь пожелания?

— Пока нет! Если мне что-нибудь понадобится, я зайду к вам.

— Благодарю покорно, — проворчал Карсон и поспешно ретировался из опасной зоны. Но едва он добежал до своего кабинета и отдал по телефону самонужнейшие приказания во все концы, как в коридоре что-то забренчало, и в дверь ворвался Прокоп, начиненный жестяными бомбами в такой степени, что на его костюме лопались швы.

— Слушайте, — заорал Прокоп, бледный от бешенства, — кто дал приказ не пускать меня в парк? Или вы тотчас отмените этот приказ, или...

— Отойдите подальше, ладно? — выдавил Карсон, укрываясь за письменным столом. — Какое мне к черту дело до вашей... до вашего парка? Идите вы...

— Стоп, — остановил его Прокоп, заставляя себя терпеливо объяснить ему положение. — Допустим, бывают обстоятельства, когда... когда кое-кому совершенно безразлично, что случится! — взревел он вдруг. — Поняли?

Гремя и грохоча, он бросился к настенному календарю.

— Вторник! Сегодня — вторник! А вот здесь, здесь у меня... — Он лихорадочно рылся в карманах, пока не

вытащил фарфоровую мыльницу, весьма небрежно обвязанную шпагатом. — Пока только пятьдесят грамм. Знаете, что это такое?

— Кракатит? Вы принесли его нам? Тогда, разумеется...

— Ничего не разумеется, — осклабился Прокоп, опуская мыльницу в карман. — Но если вы меня выведете из терпения, тогда... я могу это рассыпать где угодно, ясно? Ну, как?

— Ну, как? — машинально повторил Карсон, совершенно уничтоженный.

— А так — устройте, чтоб этого типа не было у входа. Я хочу во что бы то ни стало прогуляться в парке.

Карсон бросил на Прокопа испытующий взгляд и плюнул себе под ноги.

— Тьфу! Ну и глупость я сморозил! — убежденно произнес он.

— Сморозили, — согласился Прокоп. — Но и мне до сих пор в голову не приходило, что у меня есть *этот* козырь. Ну, как?

Карсон пожал плечами.

— Пока... Господи, да это же пустяк! Я счастлив, что могу сделать это для вас. Ей-богу! А вы? Дадите нам... эти пятьдесят грамм?

— Нет. Я сам их уничтожу; но... сначала я хочу убедиться, что наше старое соглашение остается в силе. Свобода передвижения и так далее — ясно? Помните?

— Старое соглашение, — проворчал Карсон. — Черт бы побрал старое соглашение. Тогда вы еще не были... тогда у вас еще не было отношений...

Прокоп бросился к нему так порывисто, что все жестянки загремели.

— Что вы сказали? Чего у меня не было?

— Ничего, ничего, — поспешил ответить Карсон, моргая. — Я ничего не знаю. Мне нет дела до вашей личной жизни. Хотите гулять в парке — ваша воля, не так ли? Ступайте себе с богом, и...

— Послушайте, не вздумайте отключить ток от моей лаборатории, иначе... — подозрительно сказал Прокоп.

— Хорошо, хорошо, — заверил Карсон. — Статус кво, ладно? Желаю счастья. Уфф, дьявол, а не человек, — добавил он удрученно, когда Прокоп скрылся за дверью.

Бренча железом, двинулся Прокоп в парк, тяжелый и массивный, как гаубица. Перед замком собралась группа

господ; завидев его, все в некотором замешательстве обратились в бегство, вероятно уже информированные о свирепом человеке, начиненном взрывчаткой; спины их выражали сильнейшее возмущение тем, что в замке «терпят нечто подобное». А вон идут Краффт с Эгоном, занимаясь перипатетическим обучением; увидев Прокопа, Краффт подбежал к нему, оставив Эгона.

— Можете вы пожать мне руку? — спрашивает Краффт, краснея от собственного геройства. — Теперь меня наверняка уволят! — с гордостью восклицает он.

От Краффта Прокоп и узнал, что по замку с быстротой молнии разнеслась весть, будто он, Прокоп, — анархист; и что именно сегодня вечером ждут некоего престолонаследника... Короче, его высочеству собираются телеграфировать, чтоб они соблаговолили отложить свой приезд; этот вопрос как раз обсуждается сейчас на семейном совете.

Прокоп поворачивается на каблуках и отправляется прямиком в замок. Двое камердинеров в коридоре отскакивают в разные стороны и в ужасе жмутся к стенам, безмолвно пропуская бряцающего, набитого зарядами агрессора. В большой гостиной заседает совет; дядюшка Рон озабоченно расхаживает по комнате, старшие родственники ужасно возмущаются подлостью анархистов, толстый кузен молчит, еще какой-то господин взволнованно предлагает попросту двинуть солдат на этого сумасшедшего: или он сдастся, или его пристрелят. В эту минуту распахивается дверь, и в гостиную, громыхая, вваливается Прокоп. Он ищет глазами княжну; ее здесь нет, и, пока все замирают от страха и поднимаются с мест, ожидая самого худшего, он хрипло говорит Рону:

— Я пришел только для того, чтобы сказать вам: с престолонаследником ничего не случится. Теперь ты это знаешь.

Он кивнул головой и удалился величественно, как статуя Командора.

XXXVIII

Коридор был пуст. Прокоп, как можно тише, прокрался к покоям княжны и стал ждать перед дверью, недвижный, как железный рыцарь в вестибюле. Выбежала

горничная, вскрикнула от страха, словно увидела нечистого, и скрылась в дверях. Через несколько минут она снова открыла дверь, вне себя от ужаса, и, пятясь, безмолвно дала ему знак войти, после чего стремительно исчезла. Княжна медленно шла ему навстречу; она куталась в длинный халат — видно, только что встала с постели; мокрые волосы над ее лбом слиплись, как будто она минуту назад сбросила холодный компресс; княжна была иссера-бледна и некрасива. Кинулась ему на шею, подставила губы, потрескавшиеся от жара.

— Как хорошо, что ты пришел, — в полубеспамятстве зашептала она. — У меня голова трещит от мигрени, о боже! Говорят, у тебя во всех карманах бомбы? Я тебя не боюсь. А теперь уходи, я некрасивая. Приду к тебе в полдень, к столу не выйду, скажу, что мне нехорошо. Иди.

Коснулась его губ изболевшими, шелушащимися губами и закрыла лицо — чтоб он даже видеть ее не мог.

В сопровождении Хольца Прокоп возвращался в лабораторию; кто бы ни встретился ему — останавливался, сворачивал, спасался по ту сторону придорожной канавы. Прокоп снова, как маньяк, взялся за работу; соединял вещества, какие никому и в голову бы не пришло соединять, в слепой, твердой уверенности, что получится взрывчатка; наполнял этими соединениями пузырьки, спичечные коробки, консервные банки, все, что попадалось под руку. Уже весь стол был заставлен, и подоконники, и пол — он перешагивал через все это — уже некуда было ставить. После полудня в лабораторию скользнула княжна, под вуалью, до самого носа закутанная в плащ. Он подбежал к ней, хотел обнять — она оттолкнула его.

— Нет, нет, сегодня я нехороша. Пожалуйста, работай; я буду смотреть на тебя.

Она села на краешек стула посреди страшного арсенала оксозонидных взрывчаток. Прокоп сжал губы; ловко отвесив, смешал какие-то вещества; в пробирке зашипело, резко запахло кислым, и Прокоп бесконечно внимательно стал фильтровать смесь. Княжна не сводила с его рук недвижных горящих глаз. Оба думали о том, что сегодня приедет наследник трона.

Прокоп поискал что-то взглядом на полке с химикалиями. Княжна встала, приподняла вуаль, обвила руками его шею, крепко прижалась к его губам сжатым сухим ртом.

Пошатываясь, стояли они среди бутылок с нестойким оксозобензолом и страшными фульминатами — немые, охваченные судорогой; и снова она оттолкнула его, села, опустила вуаль. Под ее взглядом Прокоп заработал еще быстрее — похожий на пекаря, который замешивает тесто. Вот это будет самое дьявольское вещество из всех, когда-либо составленных человеком; капризная материя, легко воспламеняющаяся, безгранично чувствительное масло — воплощенная вспыльчивость и страстность. А то, прозрачное, как вода, летучее, как эфир, — вот оно: вещество чудовищной взрывной силы, не поддающейся вычислению, сама дикость и ярость. Прокоп оглянулся, куда бы деть бутылку, наполненную тем, чему еще не было названия. Княжна усмехнулась, взяла бутылку из его рук, поставила к себе на колени.

Снаружи Хольц крикнул кому-то:

— Стой!

Прокоп выбежал на крыльцо. Это был дядюшка Рон — он стоял в опасной близости от заминированной ловушки. Прокоп подошел к нему.

— Что вам тут надо?

— Вильгельмину, — кротко ответил дядюшка. — Она плохо себя чувствует, и потому...

У Прокопа дернулись уголки губ.

— Зайдите за ней, — предложил он и ввел гостя в лабораторию.

— A, oncle Шарль, — приветливо встретила его княжна. — Иди сюда, посмотри — очень интересно!

Дядюшка пытливо посмотрел на племянницу, оглядел комнату и будто успокоился.

— Тебе не следовало сюда приходить, Мина, — укоризненно произнес он.

— Почему? — с невинным видом спросила княжна.

Рон растерянно взглянул на Прокопа.

— Потому... потому что у тебя жар...

— Здесь мне лучше, — спокойно возразила она.

— И вообще не следовало... — вздохнул le bon prince, нахмурившись.

— Ты знаешь, mon oncle, я всегда поступаю как хочу. — Княжна безапелляционно положила конец вмешательству родственника.

Прокоп убрал со стула коробочки с мгновенно действующими диазосоединениями.

— Присядьте пожалуйста, — вежливо пригласил он князя.

Нельзя сказать, чтобы Рон был в восторге от всего происходящего.

— Мы не мешаем вам... не мешаем тебе работать? — бесцельно осведомился он.

— Нисколько, — ответил Прокоп, разминая в пальцах инфузорную землю.

— Что ты делаешь?

— Взрывчатые вещества. Попрошу вон ту бутылку, — обратился он к княжне.

Та подала бутылку, демонстративно промолвив:

— На, возьми.

Рон вздрогнул, как от удара; но внимание его уже захватили быстрые, хотя и предельно точные, осторожные движения, с какими Прокоп капал чистой жидкостью на комочек глины. Откашлявшись, дядюшка спросил:

— От чего оно может взорваться?

— От сотрясения, — не переставая отсчитывать капли, ответил Прокоп.

Рон повернулся к княжне.

— Если ты боишься, oncle, можешь не ждать меня, — сухо проговорила она.

Покорный судьбе, он уселся, постучал тросточкой по жестянке из-под калифорнийских абрикосов.

— А тут что?

— Это ручная граната, — пояснил Прокоп. — Гексанитрофенилметилнитрамин и гайки. Взвесь-ка на ладони.

Рон смешался.

— А не было бы... уместнее... вести себя более осторожно? — спросил он, вертя в пальцах спичечный коробок, взятый с лабораторного стола.

— Безусловно, — согласился Прокоп, отбирая у него коробок. — Это — хлораргонат. С ним шутки плохи.

Рон нахмурился.

— Все это... производит на меня довольно неприятное впечатление запугивания, — резко заметил он.

Прокоп бросил коробок на стол.

— Вот как? У меня было такое же впечатление, когда мне грозили крепостью.

— Могу лишь сказать, — продолжал Рон, проглотив возражение Прокопа, — что все ваше поведение... не производит на меня ни малейшего впечатления.

— Зато на меня — огромное, — заявила княжна.

— Боишься, он что-нибудь выкинет? — повернулся к ней le bon prince.

— Я *надеюсь* на это, — убежденно возразила она. — Думаешь, он не сумеет?

— В этом я не сомневаюсь, — буркнул Рон. — Ну, пойдем?

— Нет. Я хочу ему помогать.

Тем временем Прокоп принялся гнуть пальцами металлическую ложку.

— Зачем это? — с любопытством спросила княжна.

— Гвозди кончились, — проворчал он. — Нечем начинять бомбы. — И он осмотрелся, отыскивая еще что-нибудь металлическое.

Княжна встала, зарделась, торопливо сдернула перчатку и стянула с пальца золотое кольцо.

— Возьми, — тихо произнесла она и, залившись румянцем, потупила глаза.

Прокоп принял ее вклад; это получилось почти торжественно... как помолвка. Он еще колебался, подбрасывая кольцо на ладони; она подняла на него вопрошающий горячий взор. Тогда он кивнул с серьезным видом и положил кольцо на дно жестянки.

Старый поэт озабоченно и грустно моргал своими птичьими глазами.

— Теперь мы можем идти, — прошептала княжна.

*

К вечеру приехал упомянутый выше наследник рухнувшего трона. У главных ворот — почетный караул, рапорт, слуги, выстроенные шпалерами, и прочие церемонии; парк и замок празднично иллюминованы. Прокоп сидел на холмике перед лабораторией, мрачным взглядом смотрел на замок. Никто не проходил здесь; темно и тихо, только замок сиял ослепительными снопами лучей.

Прокоп глубоко вздохнул и поднялся.

— В замок? — спросил Хольц и переложил револьвер из кармана брюк в карман своего бессменного дождевика.

Они идут по парку, где уже погашены огни; раза два-

три какие-то темные фигуры отступили перед ними в кусты, а сзади, шагах в пятидесяти, все время кто-то шуршит опавшими листьями; в остальном — безлюдье, сырое безмолвие ночи. Лишь все княжеское крыло замка пылает большими золотыми окнами.

Осень, уже осень. Падают ли еще в Тынице серебряные капельки из крана колонки? Ветра нет — и все же доносится зябкий шелест: откуда, с земли или с деревьев? Алую полоску прочертила на небе упавшая звезда.

Несколько человек во фраках — о, как они великолепны и счастливы! — выходят на площадку замковой лестницы, болтают, курят, смеются... и возвращаются в дом. Прокоп застыл на скамейке, только вертит в растрескавшихся пальцах жестяную банку. Порой встряхивает ее, как дитя — погремушку. В банке — обломки ложки, кольцо и безымянное вещество.

Застенчиво приблизился Хольц.

— Сегодня она не сможет прийти, — деликатно говорит он.

— Я знаю.

В окнах гостевого крыла вспыхнул свет. А вот тот ряд окон — «княжеские покои». Теперь светится весь замок, воздушный, ажурный, как греза. Все там есть: богатство неслыханное, красота, честолюбие, и слава, и титулы — побрякушки на груди, наслаждения, умение жить, тонкость чувств, и остроумие, и самоуверенность; словно там другие люди, не такие, как мы...

Как упрямый ребенок, гремит Прокоп своей погремушкой. Постепенно окна гаснут; еще светится то, что в комнате Рона, и другое — красное, где спальня княжны. Дядюшка открывает окно, вдыхает ночную прохладу; потом принимается шагать от двери к окну, от двери к окну, и опять, и опять... За занавешенным окном княжны не дрогнет ни одна тень.

Вот и oncle Рон погасил свет; теперь горит лишь единственное красноватое окно. Найдет ли дорогу человеческая мысль, пробьет ли, просверлит ли мощью своею путь через эту сотню или сколько там метров немого пространства, коснется ли бессонного мозга другого человека? Какие слова послать тебе, татарская княжна? Спи — уже осень; и если есть какой-нибудь бог — пусть погладит он твой разгоряченный лоб...

Погасло красное окно.

XXXIX

Утром Прокоп решил не ходить в парк, справедливо полагая, что был бы там лишним. Он устроился в полупустынном уголке, где пролегла прямая дорога от замка к лабораториям, пробитая через старый заросший вал. Вскарабкался на вал; отсюда, кое-как укрывшись, он мог видеть угол замка и небольшую часть парка. Место ему понравилось; он зарыл там несколько своих ручных гранат и принялся наблюдать то за парком, то за спешащей куда-то жужелицей, за воробьем на качающихся ветках. Один раз к нему даже слетел реполов, и Прокоп, затаив дыхание, не спускал глаз с его красной грудки; реполов тенькнул, дернул хвостиком и фррр! — улетел.

Внизу, по парку, идет княжна в сопровождении высокого молодого человека; на почтительном расстоянии от них — свита. Княжна смотрит в сторону и взмахивает рукой, словно хлещет прутиком по песку. Больше ничего не видно.

Гораздо позднее показался дядюшка Рон с толстым кузеном. И снова — ни души. Стоит ли в таком случае торчать здесь?

Почти полдень. Вдруг из-за угла замка появляется княжна и идет прямо к валу.

— Ты здесь? — вполголоса зовет о н а . — Спустись и иди налево.

Он скатился с вала, продрался через кусты налево. Там, около стены, оказалась какая-то свалка: ржавые обручи, дырявые кастрюли, старые цилиндры, гниющие, безобразные обломки; бог весть откуда берутся в княжеском замке подобные вещи. И перед этой отвратительной кучей стоит княжна — свежая, прекрасная — и по-детски грызет ногти.

— Сюда я приходила злиться, когда была маленька я , — сказала о н а . — Никто этого места не знает. Нравится тебе тут?

Прокоп видел — она огорчится, если он не похвалит ее убежища.

— Нравится, — поспешно ответил он.

Княжна обрадовалась, обняла его.

— Ты — милый! Я надевала на голову какую-нибудь кастрюлю — понимаешь, это была корона — и играла одна в суверенную княгиню. «Что изволят приказать все-

милостивейшая княгиня?» — «Запряги шестерку лошадей, я поеду в Загур». Знаешь, Загур — это был мой выдуманный замок. Загур, Загур! Милый, скажи, есть на свете что-нибудь подобное? Давай уедем в Загур! Найди его для меня, ты столько знаешь...

Никогда она не была так свежа и оживленна, как сегодня; он даже приревновал ее к чему-то, в нем закопошилось черное подозрение; он схватил ее, хотел сжать крепко-крепко.

— Не надо, — попросила она, — будь умницей. Ты — Просперо, принц Загурский; просто ты переоделся волшебником, чтобы похитить меня или испытать — не знаю. Но за мною приехал принц Ризопод из царства Аликури-Филикури-Тинтили-Рододендрон, такой противный, мерзкий человек, у него вместо носа церковная свечка и холодные руки — ууу! И он уже должен получить меня в жены, и вдруг входишь ты и говоришь: «Я волшебник Просперо, наследный принц Загурский». И mon oncle Метастазио падает тебе в объятия, и тут начинают звонить колокола, и трубить трубы, и поднимается пальба...

Прокоп слишком хорошо понял, что за милой болтовней княжны скрывается нечто очень, очень серьезное; он остерегался перебить ее. А она обнимала его, терлась благоуханным личиком и ртом о его жесткую щеку...

— Или погоди, не так: я — принцесса Загурская, а ты — Великий Прокопокопак, король духов. Но на мне лежит заклятие, надо мной произнесли магические слова: «Оре, оре, балене, могот малиста маниголене», и поэтому я должна достаться рыбе, рыбе с рыбьими глазами и рыбьими руками и всем телом рыбьим, и она должна увезти меня в рыбий замок. Но тут прилетает Великий Прокопокопак на своем плаще из ветра и уносит меня... Прощай! — оборвала она внезапно и поцеловала его в губы. Еще раз улыбнулась, ясная и розовая, как никогда, и оставила его, хмурого, над ржавыми руинами Загура. Боже мой, что все это значит? Просит, чтоб я помог ей, это ясно; на нее оказывают нажим, и она ждет, что я... что я как-нибудь спасу ее! Господи, что делать?

В глубокой задумчивости Прокоп брел к лаборатории. Видимо... остается только Большой Штурм; но с какой стороны его начать? Он уже подошел к двери и сунул руку в карман за ключом — и тут отшатнулся, страшно выругался: входная дверь в его лабораторию перекрещена

железными балками, какими запирают большие ворота. Он яростно затряс балки; они не подались даже на миллиметр.

На двери висел лист бумаги, на котором было отпечатано на машинке:

«По приказу гражданских властей данный объект закрывается из-за недопустимого скопления взрывчатых материалов без принятия мер безопасности согласно параграфам 216 и 217 d. lit. F tr. Z закона и постановлению 63. 507 M 1889». Неразборчивая подпись. А ниже чернилами дописано: «Господину инженеру Прокопу впредь до дальнейших распоряжений отводится комната у сторожа Герстенсена, барак III».

Хольц исследовал запоры со знанием дела, но под конец только свистнул и сунул руки в карманы; короче говоря, нельзя было решительно ничего сделать. Прокоп, доведенный до белого каления, обежал весь домик кругом; заминированные ловушки устранили саперы, на окнах и раньше были решетки. Он быстро подсчитал свои боезапасы; пять слабых бомбочек в карманах, четыре крупные гранаты закопаны на Загурском валу — слишком мало для военной кампании! Вне себя от гнева, бросился Прокоп в кабинет проклятого Карсона: постой, паршивец, я с тобой поговорю по-свойски! Добежав до конторы, услышал от служителя: господина директора нет и не будет. Прокоп оттолкнул служителя, проник в контору. Карсона не было. Он быстро обошел все помещения, приводя в ужас всех служащих комбината, до последней телефонной барышни. О Карсоне — ни слуху ни духу.

Прокоп кинулся к Загурскому валу — спасти хоть последние гранаты. И вот тебе: весь вал вместе с зарослями кустов и Загурской свалкой окружен ежами колючей проволоки — настоящее заграждение военного времени. Прокоп попытался снять проволоку, но только ободрал в кровь руки, ничего не добившись. Всхлипывая от бешенства, не обращая ни на что внимания, пролез под проволокой — и не нашел своих четырех больших гранат: они были вырыты, унесены. Он чуть не взвыл от сознания своего бессилия. Вдобавок с неба моросила какая-то дрянь. Прокоп выбрался обратно, изорвав костюм в клочья, и, с окровавленными руками и лицом, помчался в замок — видимо, рассчитывая найти там княжну, Рона, наследника, кого-нибудь! В вестибюле дорогу ему загородил уже зна-

комый русоволосый гигант, полный решимости не сдаваться, хоть на части его рви. Прокоп вынул одну из своих жестянок и предостерегающие загремел. Гигант заморгал, ко не отступил; внезапно рванувшись вперед, он схватил Прокопа за плечи. Хольц изо всей силы ударил его револьвером по пальцам; гигант взревел от боли и выпустил Прокопа; еще трое выросли словно из-под земли и ринулись было на бунтовщика, но остановились в нерешительности, и оба героя успели прижаться спиной к стене: Прокоп — подняв руку с жестянкой, готовый швырнуть ее под ноги первому, кто двинется с места, и Хольц (окончательно революционизированный), наставив револьвер на врага; против них — четыре бледных человека, слегка наклонившиеся вперед, трое из них — с револьверами в руках; быть заварухе! Прокоп изобразил обманное стратегическое движение, будто собирается взбежать по лестнице; и те четверо начали перемещаться туда же, кто-то сзади обратился в бегство; настала грозная тишина. «Не стрелять!» — свистящим шепотом приказал кто-то. Прокоп слышал тиканье своих часов. А вверху, на втором этаже, — веселая смесь голосов, там никто ни о чем не подозревает; выход теперь свободен — и Прокоп отступает, пятясь, к двери, прикрываемый Хольцем. Четверо мужчин на лестнице не двигаются, словно вырезанные из дерева. И Прокоп вырвался из замка.

Сеется холодный противный дождик; что теперь? Прокоп быстро оценил обстановку; можно бы укрепиться в купальне, на пруду — но оттуда не виден замок. Приняв внезапное решение, Прокоп со всех ног побежал к домику привратника; Хольц — за ним. Они вломились в сторожку, как раз когда старик-привратник обедал; бедняга никак не мог понять, за что его выгоняют «силой, угрожая смертью». Долго крутил он головой, потом отправился в замок — жаловаться. Прокоп был в высшей степени доволен завоеванной позицией; он тщательно запер решетчатые ворота, ведущие из парка, и с превосходным аппетитом доел обед старика; потом собрал в сторожке все, что хоть в какой-то мере походило на химикалии: уголь, соль, сахар, олифу, засохшую масляную краску и тому подобные сокровища, и стал соображать, что можно из них сделать. Хольц тем временем то караулил подходы, то оборудовал окна под бойницы — что было,

пожалуй, лишним, если учесть, что у него оставалось всего-навсего четыре шестимиллиметровых патрона. Прокоп же развел на кухонной плитке целую лабораторию; вонь поднялась неимоверная, зато в конце концов получилась несколько тяжеловесная взрывчатка.

Вражеская сторона не предпринимала никаких атак; вероятно, не желала скандалов в присутствии высокого гостя. Прокоп ломал голову над тем, как взять замок измором. Телефонные провода он, правда, перерезал, но оставалось еще три калитки, не считая дорожку к комбинату через Загурский вал. Пришлось скрепя сердце отказаться от плана осадить замок со всех сторон.

Дождь лил не переставая. Окно княжны открылось, светлая фигурка чертила в воздухе огромные буквы. Прокоп не в состоянии был расшифровать эти письмена, но все же вышел из сторожки и тоже принялся писать в воздухе ободряющие слова, размахивая руками, как ветряк. Вечером к повстанцам перебежал доктор Краффт; весь во власти благородного порыва, он забыл захватить с собой хоть какое-нибудь оружие, так что это подкрепление носило скорее моральный характер. Когда стемнело, приплелся Пауль, притащил в корзине роскошный холодный ужин и множество бутылок красного вина и шампанского; старичок твердил, что его никто не посылал. Тем не менее Прокоп настоятельно велел передать — не говоря, кому *именно*, — что он «благодарит и не сдается». За богатырской трапезой доктор Краффт впервые в жизни отважился пить вино — вероятно, чтобы доказать свою мужественность. В результате он впал в блаженную лунатическую немоту, а Прокоп с Хольцем взялись горланить солдатские песни. Оба, правда, пели на разных языках и совершенно разное, но издали, особенно в темноте, наполненной шелестом моросящего дождика, все это сливалось в довольно устрашающее и мрачное звукосочетание. В замке кто-то даже открыл окно, чтобы лучше слышать, потом попытался сопровождать их рев на рояле, но аккомпанемент вскоре вылился в «Героическую сонату», а затем неведомый аккомпаниатор попросту начал бессмысленно барабанить по клавишам. Когда замок погас, Хольц завалил дверь изнутри мощной баррикадой, и три богатыря преспокойно уснули. Только утром разбудил их основательным стуком Пауль — он принес им три чашки кофе, стараясь не разлить его по подносу.

XL

Дождь не прекращался. Под белым флажком парламентера явился толстый кузен и предложил Прокопу оставить эту затею; ему, мол, вернут лабораторию и так далее. Прокоп заявил, что не двинется отсюда, разве что его взорвут вместе со сторожкой; но прежде он сам сделает такое, что у них глаза на лоб полезут! С этой-то неопределенной угрозой и вернулся кузен восвояси; в замке, видимо, тяжело переживали тот факт, что их собственные ворота оказались блокированными, но не хотели поднимать шума.

Доктор Краффт, этот пацифист, был начинен до отказа разными воинственными и дикими идеями: перерезать электропровода; отключить воду; изготовить какой-нибудь удушливый газ и пустить его в замок... Хольц отыскал старые газеты, выудил из своих таинственных карманов пенсне и целый день читал, удивительно похожий на доцента университета. Прокоп томился неукротимой скукой; он горел желанием совершить нечто великое, но не знал, с чего начать. Наконец он оставил Хольца сторожить привратницкую и вместе с Краффтом отправился в парк.

В парке не было ни души; как видно, вражеские силы сосредоточились в замке. Прокоп обошел замок и добрался до той стороны, где помещались сараи и конюшни.

— Где денник Вирлвинда? — спросил он вдруг.

Краффт показал ему окошко метрах в трех от земли.

— Обопритесь о стену, — шепнул Прокоп и забрался Краффту на плечи, чтоб заглянуть внутрь. Краффт едва устоял под его тяжестью; а Прокоп вздумал еще плясать у него на плечах — что он там делает? Увесистая рама грохнулась на землю, со стены посыпался песок; Краффту вдруг стало совсем легко; с изумлением поднял он голову и едва не вскрикнул: высоко над ним болтались две длинные ноги, постепенно втягиваясь в окошко...

Княжна как раз подала Вирлвинду кусок хлеба и задумчиво глядела на его красивый темный глаз, когда в окошке раздался треск, и в теплой полутьме конюшни она различила знакомую изуродованную руку — рука эта выламывала раму с проволочной сеткой. Вилле зажала себе рот, чтобы не вскрикнуть.

Руками и головой вперед Прокоп сполз в денник Вирлвинда; вот он уже спрыгнул, он здесь, пусть поцарапан-

ный, но целый и невредимый, хоть и запыхался — пытается улыбнуться.

— Тише, — в ужасе шепчет княжна, — за дверью — конюх! — и тут же бросается Прокопу на грудь. — Прокопокопак!

Он показал на окошко: скорей, бежим!

— Куда? — шепчет княжна и ластится к нему, целует.

— В сторожку.

— Глупенький! Сколько вас там?

— Трое.

— Вот видишь, ничего не получится. — Она гладит его по лицу. — Но ты не огорчайся...

Прокоп торопливо обдумывал другие способы похищения; но в конюшне — полутьма, а запах лошадей как-то возбуждает; глаза их вспыхнули; они прильнули друг к другу жадным поцелуем. Княжна дрогнула, отшатнулась, бурно дыша:

— Уходи отсюда! Иди!

Так они стояли, дрожа, лицом к лицу; чувствовали: страсть, охватившая их, — нечиста. Прокоп отвернулся, выломал доску в яслях — только это позволило ему овладеть собой. Снова взглянув на княжну, увидел — она изгрызла, изорвала в клочья свой платочек; порывисто прижав платочек к губам, молча протянула ему — в награду или на память. За это он поцеловал то место на яслях, где только что покоилась ее трепетная рука. Никогда еще не любили они с такой дикой силой, как в эту минуту, когда им нельзя было заговорить, когда они боялись коснуться друг друга. На дворе под чьими-то шагами заскрипел песок; княжна дала знак, и Прокоп вскочил на ясли, ухватился за какие-то крючья под потолком и ногами вперед просунулся в окошко. Когда он спрыгнул на землю, доктор Краффт радостно обнял его.

— Вы перерезали коням сухожилия? — кровожадно прошептал он; такое действие он считал, видимо, совершенно оправданной военной мерой.

Прокоп молча побежал к сторожке, терзаемый заботой о Хольце. Еще издали он понял грозную действительность: двое молодцов стоят в дверях сторожки, садовник разравнивает песок, уничтожая следы борьбы, решетчатые ворота приоткрыты, а Хольц исчез; у одного из молодцов рука завязана платком, — очевидно, его укусил Хольц.

Прокоп, мрачный, безмолвный, отступил в парк. Краффт, воображая, что его начальник кует новые планы военных действий, не беспокоил его; а Прокоп с тяжким вздохом опустился на пенек и углубился в созерцание разодранной кружевной тряпочки. На дорожке появился работник с тачкой, полной опавших листьев. Краффт, обуянный подозрением, набросился на него и больно отколотил; при этом он потерял пенсне и не мог уже найти его невооруженным глазом. Тогда он отнял тачку и как военную добычу приволок ее к своему вождю.

— Я обратил его в бегство! — доложил он, победоносно сверкая близорукими глазами.

Прокоп только буркнул что-то в ответ, продолжая перебирать то нежное, беленькое, что трепетало у него в пальцах. Краффт занялся тачкой, размышляя, какую пользу можно извлечь из этого трофея. Наконец ему пришло в голову перевернуть ее, и он весь просиял.

— На ней можно сидеть!

Прокоп поднялся и пошел к пруду. Краффт за ним, волоча тачку, — вероятно, усмотрев в ней средство перевозки будущих раненых. Они оккупировали купальню, построенную на сваях. Прокоп обошел кабины; самая большая принадлежала княжне, там еще лежали зеркало и гребень с несколькими запутавшимися волосками, шпильки, мохнатый купальный халат и сандалии — покинутые вещички интимного обихода. Прокоп запретил Краффту входить сюда и засел вместе с ним в мужской кабине на противоположной стороне. Краффт сиял: теперь у них был даже флот, состоящий из двух лодочек, каноэ и пузатой шлюпки, которая могла играть роль сверхдредноута. Прокоп долго молча прохаживался по настилу купальни над серой водой; потом скрылся в кабине княжны, сел на ее лежак, обхватил руками ее мохнатый халат и зарылся в него лицом. Доктор Краффт, который, несмотря на полное отсутствие наблюдательности, имел какое-то туманное представление о тайне Прокопа, щадил его чувства; на цыпочках слонялся он по купальне, ковшиком вычерпывал воду из пузатого военного судна, разыскивал подходящие весла. Он открыл в себе незаурядный стратегический талант; отважился сойти на берег и натаскал в купальню камни всех калибров, вплоть до десятикилограммовых глыб, вывороченных из дамбы. Потом, доску за доской, принялся разбирать мостки, соединяющие

купальню с сушей; для коммуникации с Большой Землей он оставил лишь основание мостков — две голых балки. Вырванными досками он забаррикадировал вход, использовал и драгоценные ржавые гвозди, которые набил на лопасти весел остриями наружу. Получилось оружие грозное и поистине смертоубийственное. Покончив с этим и решив, что дело сделано хорошо, он захотел похвастаться своими подвигами перед начальником; по тот заперся в кабине княжны и, кажется, даже не дышал — так там было тихо. Доктор Краффт стоял над свинцовой гладью пруда, плещущего холодным тихим плеском; иной раз всплескивало сильнее — на миг выныривала рыба, иной раз начинали шелестеть камыши, и Краффту становилось не по себе от одиночества.

Он покашливал перед кабиной, где заперся вождь, временами произносил что-то вполголоса, чтоб привлечь его внимание. Наконец Прокоп вышел — губы его были сжаты, в глазах застыло странное выражение. Краффт провел его по обновленной крепости, все показал, продемонстрировал даже, как далеко он может швырять камни в неприятеля — причем едва не слетел в воду. Прокоп не сказал ничего, только обнял доктора и поцеловал его в щеку; и Краффт, побагровев от счастья, ощутил в себе силы сделать в десять раз больше того, что он уже сделал.

Они сели на скамье у воды, где принимала солнечные ванны смуглая княжна. На западе тучи разошлись, и показалось бесконечно далекое, болезненно-золотистое небо; весь пруд зажегся, заискрился, засветился бледным, тоскливым сиянием. Краффт развивал только что сочиненную им теорию перманентной войны, высшего права силы, спасения мира через героизм; все это находилось в страшном противоречии с мучительной меланхолией осенних сумерек, но доктор Краффт был, к счастью, близорук и вдобавок идеалист, а следовательно — абсолютно не зависел от случайной обстановки. Невзирая на космическую красоту вечерней поры, оба ощущали холод и голод.

А там, по берегу, короткими торопливыми шажками семенил Пауль с корзиной на руке; оглядываясь по сторонам, он время от времени взывал старческим голоском: «Ку-ку! Ку-ку!»

Прокоп поплыл к нему на дредноуте. Во что бы то ни стало хотел он выпытать у Пауля, кто его посылает.

— Никто, ваша милость, — уперся старичок, — но моя дочь, Элизабет, служит ключницей...

Он разговорился было о своей дочери Элизабет, но Прокоп погладил его по белым пушистым волоскам и попросил передать кому-то безымянному, что он здоров и полон сил.

В этот вечер Крaффт пил почти один, болтал, философствовал и тут же издевался над философией: действие, восклицал он, действие — это все! Прокоп дрожал на скамейке княжны и неотрывно глядел на одну и ту же звезду — бог ведает, почему он избрал именно ее, оранжевую Бетельгейзе в головах Ориона. Оп сказал неправду, он не был здоров; как-то странно покалывало в груди, в тех самых местах, где прослушивались шорохи и хрипы, когда он жил еще в Тынице; голова отяжелела, он весь трясся, охваченный ознобом. А когда хотел заговорить — язык стал заплетаться и зубы так застучали, что Краффт мигом протрезвел и сильно обеспокоился. Поскорее уложил он Прокопа на лежак в кабине, прикрыл чем только мог — в том числе мохнатым халатом княжны — и, часто меняя, стал класть ему на лоб намоченное полотенце. Прокоп твердил, что у него просто насморк; к полуночи он уснул и бредил, преследуемый кошмарами.

XLI

Утром Краффт проснулся только от кукования Пауля; хотел было вскочить, но оказалось, что тело его совсем окоченело — он мерз всю ночь и спал, свернувшись, как песик... Поднявшись с грехом пополам, он увидел, что Прокопа нет; одна лодочка из их флотилии колыхалась у берега. Краффт очень встревожился за своего вождя и не задумался бы отправиться на поиски, если бы не боялся покинуть столь хорошо оборудованную крепость. Тогда он принялся улучшать в ней что мог, близорукими глазами высматривая Прокопа.

А тот тем временем, проснувшись весь изломанный, с отвратительным вкусом во рту, озябший, и с какой-то мутью в голове, давно уже был в парке и сидел высоко на вершине старого дуба, откуда был виден весь фасад замка. Голова у Прокопа кружилась, и он крепко держался за ветки и не решался взглянуть вниз, чтобы не свалиться.

Эта сторона парка считалась, видимо, уже безопасной; даже престарелые родственники Хагенов набрались смелости и вышли на замковую лестницу; по двое, по трое прохаживались перед фасадом господа, кавалькада всадников промчалась по главной аллее; у ворот снова торчал дед-привратник. После десяти часов вышла сама княжна в сопровождении наследника трона и двинулась к японской беседке. Внутри Прокопа что-то дрогнуло, ему показалось, что он летит головой вниз; он судорожно стиснул ветки, дрожа как лист. Никто не пошел за княжной и наследником — наоборот, все поспешили оставить парк и собрались на площадке перед замком. Видимо, предстоял решающий разговор. Прокоп кусал пальцы, чтоб не закричать. Это длилось невероятно долго, может быть час, может быть пять. Но вот от японской беседки бежит наследник — один, весь красный, сжимая кулаки. Групп-ка господ перед замком распалась, все расступились, освобождая ему проход. Наследник, не глядя по сторонам, взбегает по лестнице; навстречу ему с непокрытой головой спускается дядюшка Рон, они обменялись несколькими словами, le bon prince провел ладонью по лбу, и оба ушли в дом. Господа перед замком снова сбились в кучку, склонили головы — потом разошлись по одному. К главному подъезду подали пять автомобилей.

Прокоп, хватаясь за сучья, сполз с дуба, спрыгнул, тяжело ударившись оземь; он хотел как можно быстрее побежать к японской беседке, но — ему стало даже смешно — ноги не повиновались; шатаясь, побрел он, словно продирался сквозь тестообразный туман, и никак не мог отыскать беседку, потому что перед глазами у него все плыло и мешалось. Наконец нашел: вон сидит княжна, шепчет что-то про себя строгими губами, взмахивает прутиком. Прокоп собрал все свои силы, чтоб подойти к ней молодцом. Она встала, шагнула навстречу:

— Я ждала тебя.

Прокоп едва не наткнулся на нее — ему казалось, что она все еще далеко. Положил ей руку на плечо, странно и неестественно выпрямился и, слегка покачиваясь, зашевелил губами; он думал, что говорит. И она говорила что-то, но он не слышал; все будто происходило под водой. Тут взвыли сирены и гудки отъезжающих машин.

Княжна дрогнула, словно ноги у нее подкосились. Прокоп увидел бледное лицо с неясными очертаниями; на нем плавали два темных провала.

— Это *конец*, — явственно и близко услышал *он*, — конец. Милый, милый, я отказала ему!

Если бы Прокоп владел своими чувствами, увидел бы: она словно вырезана из слоновой кости, оцепеневшая, мученически-прекрасная в величии своей жертвы; но он только моргал, превозмогая обморочное трепетание век, и ему казалось, что под ним поднимается пол, чтоб опрокинуть его. Княжна прижала руки ко лбу, пошатнулась; только собралась она упасть в его объятия, чтоб он унес ее, чтоб поддержал, измученную непосильной тяжестью *подвига*, — как он опередил княжну и без звука рухнул к ее ногам бесформенной грудой, словно весь состоял из тряпок.

Сознания Прокоп не потерял; он водил вокруг себя глазами, совершенно не соображая, где он и что с ним делается. Ему показалось — кто-то приподнял его, вскрикнув от ужаса; он хотел подняться сам, по ничего не вышло...

— Это только... *энтропия*, — сказал он, воображая, что этим все объяснил, и несколько раз повторил странное слово. Потом в мозгу его что-то разлилось с гулом воды в плотине; тяжелая голова выскользнула из дрожащих рук княжны и стукнулась оземь. Княжна, обезумев, вскочила, помчалась за помощью.

Прокоп неясно сознавал происходящее; почувствовал, как его подняли трое, потащили медленно, будто он свинцовый; слышал их тяжелые шаркающие шаги и быстрое дыхание и удивлялся, отчего его не могут нести в пальцах, как перышко. Кто-то все время держал его за руку; он повернулся и узнал княжну.

— Какой вы хороший, Пауль, — благодарно сказал он ей.

Потом началась какая-то суета, люди задыхались, толкали его — это его вносили по лестнице, по Прокопу чудилось, будто они вместе с ним падают в кружащуюся пропасть.

— Не толкайтесь *так*, — пролепетал он, но тут в глазах у него все завертелось, и он перестал сознавать происходящее.

Открыв глаза, Прокоп увидел, что снова лежит в «кавалерском покое», а Пауль раздевает его трясущимися руками. У изголовья стоит княжна, и глаза у нее большие, как плошки. У Прокопа все перепуталось.

— Я упал с коня, да? — Он едва ворочал языком. — Вы — вы это видели, да? Бумм — взры... взрыв. Литрогли... нитрогри... микро... Це аш два о эн о два. Слож-ный пере-лом. Подкованная, как лошадь.

Замолчал, ощутив на лбу холодную узкую ладонь. Потом вдруг увидел доктора-мясника, впился ногтями в чьи-то холодные пальцы.

— Не хочу! — захныкал он, боясь, что опять будет больно; однако мясник только приложил голову к его груди и давил, давил его стопудовым грузом. В страхе Прокоп поднял веки, встретил взгляд темных, бездонных глаз — они гипнотизировали его. Мясник выпрямился и сказал кому-то сзади себя:

— Гриппозное воспаление легких. Уведите ее высочество, это заразно.

Кто-то заговорил, словно под водой, доктор ответил:

— Если начнется отек легких — тогда... тогда...

Прокоп понял: он пропал, он умрет. Это было ему в высшей степени безразлично — он никогда не представлял себе, что это так просто.

— Сорок и семь десятых, — сказал доктор.

У Прокопа одно только желание: пусть ему дадут выспаться, пока он не умер; но вместо этого его завернули во что-то холодное — брр! Потом зашептались где-то; Прокоп закрыл глаза и перестал что-либо ощущать.

Когда он очнулся, над ним стояли два пожилых человека в черном. Он чувствовал себя необычайно легко.

— Добрый день, — сказал он и попытался подняться.

— Вам нельзя двигаться, — возразил один черный человек и мягко прижал его к подушке.

Прокоп послушно лег.

— Но мне уже лучше, правда? — довольный, спросил он.

— Конечно, — с сомнением в голосе пробормотал второй черный человек, — но вам нельзя шевелиться. Полный покой, понимаете?

— Где Хольц? — осенило вдруг Прокопа.

— Здесь, — отозвался голос в углу, и вот уже в ногах стоит Хольц с ужасной царапиной и синяком на лице;

если не считать этого — он все тот же, сухой и жилистый. А позади него — господи, да это Краффт, Краффт, покинутый в купальне! Глаза у него красные, вспухшие, словно он плакал трое суток подряд. Что с ним случилось? Прокоп улыбнулся ему, чтоб подбодрить. А вот и Пауль на цыпочках приближается к постели, прикрывая рот платочком. Прокоп рад, что все здесь; он обводит глазами комнату и за спинами людей в черном замечает княжну. Она бледна как смерть и смотрит на Прокопа пронзительным мрачным взглядом, который внушает ему непонятный ужас.

— У меня уже все прошло, — шепчет Прокоп, как бы оправдываясь.

Княжна спросила глазами одного из черных господ — тот кивнул с таким видом, будто теперь уже все равно. Тогда она подошла к постели.

— Тебе лучше? — тихо спрашивает она. — Милый, милый, тебе действительно лучше?

— Да, — отвечает он нерешительно, ему немного не по себе от странного поведения присутствующих. — Почти совсем хорошо, только... только...

Пристальный взгляд княжны наполнял его смятением, почти страхом; непонятно сжалось сердце.

— Ты что-нибудь хочешь? — наклонилась она над ним.

От взгляда княжны ему стало вдруг жутко.

— Спать, — шепнул он, чтоб избежать этого взгляда.

Княжна вопросительно взглянула на обоих господ в черном. Один из них слегка наклонил голову и посмотрел на нее так... так странно и серьезно... Она поняла, побелела еще больше.

— Ну, спи тогда, — еле вымолвила княжна и отвернулась к стене.

Прокоп удивленно огляделся. Пауль совсем засунул платочек в рот, Хольц стоит выпрямившись, как солдат, и только часто моргает, а Краффт откровенно ревет, прислонясь к шкафу и шумно сморкаясь, как расплакавшийся ребенок.

— Да что с вами?.. — вырвалось у Прокопа, и он сделал движение, собираясь сесть; один из докторов положил ему руку на лоб — рука была мягкая, добрая, она вселяла уверенность — такие руки, наверно, у праведников, — и Прокоп разом успокоился и блаженно вздохнул. Уснул он почти мгновенно.

Потом снова тоненькая ниточка чуть брезжущего сознания связала его с действительностью. Горит одна лампочка на ночном столике, а у постели сидит княжна в черном платье, смотрит на него блестящими, мерцающими глазами. Он поскорее прикрыл веки, чтоб не видеть — так страшно становилось от этого взгляда.

— Как ты себя чувствуешь, дорогой?

— Который час? — спросил Прокоп, как во сне.

— Два часа.

— Дня?

— Ночи.

— Уже... — удивился он, сам не зная чему — и снова потянулась неверная нить сна. Временами Прокоп приоткрывал глаза, взглядывал сквозь щелочку век на княжну и снова засыпал. Почему она все время так смотрит? Несколько раз она освежала его губы ложечкой вина; он глотал вино, бормоча спросонья. Наконец впал в глубокий, обморочный сон.

Проснулся Прокоп только от того, что один из черных господ осторожно выслушивал его грудь. Еще пятеро стояло вокруг.

— Невероятно, — бормотал человек в черном. — Прямо железное сердце.

— Я должен умереть? — спросил вдруг Прокоп.

Черный господин чуть не подскочил от неожиданности.

— Посмотрим, — ответил он. — Раз уж вы пережили *эту* ночь... И долго вы с этим ходили?

— С чем? — удивился Прокоп.

Черный господин махнул рукой.

— Покой, — произнес он. — Полный покой.

Прокоп усмехнулся, хотя ему было бесконечно плохо: когда доктора не знают, что делать, они всегда предписывают покой. Но тот, у кого были добрые руки, сказал Прокопу:

— Вы должны верить, что поправитесь. Вера творит чудеса.

XLII

Внезапно Прокоп открыл глаза и пробудился, обливаясь обильным потом, мокрый насквозь. Где... где это он? Потолок над ним качается, качается... ах, нет, нет, падает, кругами, кругами, медленно опускается, как

огромный гидравлический пресс. Прокоп хочет крикнуть л не может. А потолок уже так низко, что Прокоп различает сидящую на нем прозрачную мушку, песчинку в штукатурке, мельчайшие полоски, оставленные малярной кистью; а потолок все ниже, все ниже, и Прокоп смотрит на это в бездыханном ужасе и только сипит — голоса нет... Свет погас, стоит черная тьма; сейчас его раздавит. Прокоп уже чувствует — потолок коснулся его вздыбленных волос — и завизжал без голоса. А-ха-ха, наконец-то нащупал дверь, выломал ее, вырвался; снаружи — тоже тьма, но нет, это не тьма, это туман, густой туман, настолько густой, что нельзя дышать, — и Прокоп задыхается, рыдая от ужаса. Сейчас меня задушит, — мелькнула жуткая мысль, и он бросился бежать, наступая на-на-на... на какие-то жи... живые тела, а они все еще шевелятся... Тогда он наклонился, пощупал рукой — наткнулся на молодую полную грудь. Это... это... это Анчи, испугался он, стал шарить, искать ее голову; но вместо головы был таз, фар-фо-ровый таз, а в нем что-то скользкое, губкообразное, как коровьи легкие. Ему стало страшно до тошноты, он хотел отдернуть руки; но оно липнет к рукам, трясется, присасывается, всползает к плечам. Оказывается, это каракатица, влажное, студенистое головоногое, у него блестящие глаза княжны, они вперяются в него страстным, влюбленным взором; каракатица ползает по его голому телу, ищет, где приложить свою мерзкую, брызжущую клоаку. Прокоп не может вздохнуть, он борется с каракатицей, пальцы его вдавливаются во что-то податливое, клейкое; тут он проснулся.

Над ним стоял Пауль и клал ему на грудь холодный компресс.

— Где... где... где Анчи? — с облегчением пробормотал Прокоп и закрыл глаза.

Бух-бух-бух, обливаясь потом, бежит Прокоп по пашне; он не знает, отчего надо так спешить, но несется со всех ног, сердце чуть не выскакивает из груди, он готов кричать от страха, что опоздает. Вот он, этот дом, в нем нет ни окон, ни дверей, только часы на крыше, и они показывают без пяти четыре! Прокоп вдруг осознает, что, когда большая стрелка дойдет до двенадцати, Прага взлетит на воздух. «Кто взял у меня кракатит?!» — рычит Прокоп; он пытается влезть по стене, чтоб в последнюю минуту остановить стрелки часов, он

подпрыгивает, вонзается ногтями в штукатурку, но соскальзывает вниз, оставляя на стене длинные царапины. Взвыв от ужаса, Прокоп кинулся куда-то за помощью. Влетел в конюшню; там стоит княжна с Карсоном, — они ласкаются отрывистыми, механическими движениями — как бумажные фигурки над печкой, трепещущие в потоке теплого воздуха. Увидев Прокопа, они взялись за руки и запрыгали — быстро, быстро, все быстрее...

Прокоп поднял веки, увидел склонившуюся над ним княжну: у нее сжат рот и горят глаза.

— Бестия, — пробормотал он с мрачной ненавистью и поскорее смежил веки. Сердце колотилось с той же безумной быстротой, с какой она прыгала с Карсоном. Пот щипал глаза, на губах Прокоп ощущал его соленый вкус; язык прилип к нёбу, горло ссохлось от жажды.

— Хочешь чего-нибудь? — совсем близко прозвучал голос княжны.

Покачал головой. Она уже подумала, что Прокоп опять заснул, но тут он хрипло спросил:

— Где тот пакет?

Она приняла это за бред и не ответила.

— Где тот пакет? — повторил он, повелительно хмуря брови.

— Здесь, здесь, — поспешила она ответить и сунула ему в пальцы первый попавшийся клочок бумаги.

Он резко смял бумагу, отбросил.

— Не то. Я... я хочу свой пакет... Я... я хочу свой пакет!

Он без конца повторял одно и то же, начал неистовствовать, и княжна позвала Пауля. Пауль вспомнил, что у Прокопа был какой-то толстый грязный пакет, перевязанный бечевкой, только где же он? Нашел в ночном столике: ах, вот он! Прокоп схватил его обеими руками, прижал к груди; после этого утих и заснул как убитый. Через три часа его снова прошиб обильный пот; Прокоп был так слаб, что едва дышал. Княжна подняла на ноги весь консилиум. Температура резко спала, ударов сердца сто семь, пульс нитевидный; ему собрались тотчас вспрыснуть камфару, но здешний сельский врач, скромный и чрезвычайно застенчивый в присутствии стольких светил, все же заметил, что он *никогда* не будит пациентов.

— Так они, по крайней мере, могут проспать свою exitus [1], не правда ли? — проворчала одна из знаменитостей. — Удобно придумано.

Княжна, совершенно обессиленная, ушла отдохнуть на часок после того, как ее заверили, что непосредственно... и так далее. Около больного остался доктор Краффт, обещавший доложить ей через час, как идут дела. Однако обещания он не выполнил, и обеспокоенная княжна сама пошла посмотреть. Она застала такую картину: Краффт стоит посреди комнаты, размахивает руками и во всю глотку проповедует искусство телепатии, ссылаясь на Рише, Джемса, на кого угодно; а глаза у Прокопа ясные, и он слушает, порой поддразнивая лектора как человек, не верящий ни в науку, ни в бога.

— Я воскресил его, княжна! — воскликнул Краффт, моментально забыв обо всем. — Я сосредоточил свою волю на том, чтобы он исцелился; я... я делал над ним руками вот так, видите? Это пассы, истечение флюидов. Но до чего это утомляет, уфф! Я слаб, как осенняя муха. — С этими словами он залпом выпил полный стакан очищенного бензина, в котором дезинфицировали шприцы, приняв его, видимо, за вино — настолько он был взволнован своим успехом.

— Скажите, — закричал он Прокопу, — исцелил я вас или нет?

— Исцелили, — согласился Прокоп с дружелюбной иронией.

Краффт упал в кресло.

— Я и сам не думал, что у меня такая сильная аура, — с довольным видом вздохнул он. — Хотите, я еще раз возложу на вас руки.

Княжна в глубоком изумлении переводила взгляд с одного на другого; потом вся зарумянилась, засмеялась, глаза ее увлажнились, она погладила Краффта по рыжей шевелюре и убежала.

— Женщины чрезвычайно слабые создания, — самодовольно констатировал Краффт. — Видите — я, например, совсем спокоен. Я прямо чувствовал, как флюиды истекают из моих пальцев. Не сомневаюсь, их можно было сфотографировать, правда? Как ультрафиолетовые лучи.

---

[1] Здесь: смерть (*лат.*).

Явились светила и первым долгом выставили Краффта за дверь, несмотря на его протесты; затем снова принялись измерять температуру, щупать пульс и прочее в этом духе. Температура немного поднялась, пульс стал девяносто шесть, у пациента появился аппетит; что ж, превосходно! После этого светила удалились в другое крыло замка, где в них тоже нуждались: княжна горела в сорокаградусной лихорадке, совершенно истощенная шестидесятичасовым бдением; вдобавок к этому — сильная анемия и целый ряд других болезней вплоть до запущенного туберкулезного очага в легких.

На другой день Прокоп уже сидел в постели и торжественно принимал визитеров. Все гости, правда, разъехались, но толстый кузен еще задержался в замке и изнывал от скуки. Прибежал несколько смущенный Карсон, но все сошло хорошо; Прокоп не упоминал о том, что было, и под конец Карсон проболтался, что страшные взрывчатки, которые Прокоп составил в последние дни, показали при испытании такую же взрывную силу, как у опилок; короче — короче, Прокоп, вероятно, был уже в сильном жару, когда делал их. Эту весть пациент тоже принял спокойно — лишь немного погодя расхохотался.

— Ну, знаете, — добродушно заметил он, — все же я порядком нагнал на вас страху!

— Нагнали, нагнали, — охотно согласился Карсон. — В жизни я так не дрожал за себя и за комбинат!

Приплелся Краффт, зеленый, сокрушающийся. Оказывается, ночью он совершал обильные возлияния в честь своих чудодейственных флюидов, и теперь ему было очень нехорошо. Он горько жаловался, что навсегда утопил в вине свою телепатическую силу, и обещал себе с нынешнего дня вести аскетический образ жизни по учению индийских йогов.

Пришел и дядюшка Шарль, он был très aimable [1] и тонко сдержан. Прокоп был ему благодарен: le bon prince нашел тот же симпатичный тон, что и месяц тому назад, снова стал обращаться к Прокопу на «вы» и весело рассказывал истории, случавшиеся с ним. Лишь когда разговор отдаленно касался княжны, на всех нападала некоторая стесненность.

---

[1] очень мил (*франц.*).

А княжна тем временем в другом крыле замка сухо, болезненно кашляла и каждые полчаса принимала Пауля, обязанного докладывать, что делает Прокоп, что он ел и кто к нему пришел.

К Прокопу еще возвращался жар, сопровождаемый кошмарами. Он видел во сне темный сарай и бесконечные ряды бочек с кракатитом; перед сараем расхаживал солдатик с винтовкой — вперед, назад, вперед, назад; больше ничего, но это было жутко. Потом ему снилось, что он опять на войне; перед ним бескрайнее поле с мертвыми телами, все мертвы, и он сам мертв, вмерз в землю, покрытую льдом; один только Карсон идет, спотыкаясь о трупы, ругается сквозь зубы и нетерпеливо поглядывает на часы. С противоположной стороны, дергаясь, неестественно передвигая ноги, приближается парализованный Хаген; но идет он удивительно быстро, скачет, как кузнечик, стрекоча при каждом судорожном движении. Карсон небрежно здоровается, что-то говорит ему; Прокоп тщетно напрягает слух, он ничего не слышит — наверно, слова уносит ветер; Хаген длинной тощей рукой показывает на горизонт; о чем они говорят? Хаген отворачивается, поднимает руку и вынимает изо рта желтые лошадиные челюсти с зубами; вместо рта у него — черный провал, и он беззвучно хохочет. Другой рукой он выковыривает из глазной впадины огромный глаз и, держа его между пальцами, подносит к лицам мертвецов; а желтые челюсти в другой его руке скрипуче отсчитывают: «Семнадцать тысяч сто двадцать один, сто двадцать два, сто двадцать три». Прокоп не может отвернуться — ведь он мертв; страшный кровавый глаз остановился над его лицом, лошадиные челюсти проскрежетали: «Семнадцать тысяч сто двадцать девять», — и лязгнули зубами. Теперь Хаген удаляется, все время считая павших; а через трупы бежит вприпрыжку княжна, бесстыдно задрав юбку выше нижних штанишек, она приближается к Прокопу и машет татарским бунчуком, как хлыстиком. Вот она остановилась над Прокопом, пощекотала бунчуком у него под носом, пнула ногой в голову, будто проверяя — мертв ли. Из лица его брызнула кровь, хотя он действительно мертв, так мертв, что чувствует внутри сердце, смерзшееся в комок льда; и все же он не может вынести вида ее стройных ног. «Милый, милый», — шепнула она и медленно опустила юбку, встала на колени у его головы, легонько

провела ладонью по груди. И вдруг вырвала из его нагрудного кармана толстый перевязанный пакет, вскочила, яростно порвала его на куски и разбросала по ветру. Потом, раскинув руки, закружилась и все кружилась, кружилась, топча трупы, пока не исчезла в ночной темноте.

XLIII

Прокоп не видел княжны с той поры, как она слегла; она только писала ему по нескольку раз в день коротенькие, горячие письма, которые больше скрывали, чем рассказывали. От Пауля Прокоп слышал, что она то лежит, то встает и ходит по комнатам; он не мог понять, почему же она не придет к нему; сам он уже поднялся с постели и ждал, что хоть на минутку позовет она его к себе! Не знал Прокоп, что у княжны открылось кровохарканье, что в легких ее внезапно активизировалась каверна; она не писала ему об этом — наверно, боялась вызвать в нем отвращение, боялась, что ее давние поцелуи будут жечь его губы... по главное, главное, ужасало ее то, что она не удержится и снова станет целовать его горячечными губами. Прокоп и не подозревал, что в его собственной мокроте доктора обнаружили следы инфекции, что это заставляет княжну в отчаянии и страхе обвинять себя; короче, он не знал решительно ничего, злился, что с ним так нянчатся, когда он себя чувствует уже почти здоровым, и цепенел в холодной тоске, когда проходил еще день, а княжна не выказывала желания повидаться с ним. Я ей надоел, сообразил он; всегда я был для нее минутным капризом, не больше. Он подозревал ее во всевозможных грехах; не хотел унижаться, не желал сам настаивать на свидании, почти не писал ей, только сидел в кресле с холодеющими руками и ногами и ждал — она придет, позовет, вообще случится что-нибудь...

В солнечные дни ему уже разрешалось выходить в парк, разрешалось сидеть на осеннем солнышке, укутавшись пледами; с каким удовольствием сбросил бы он эти пледы, побродил бы где-нибудь у пруда наедине со своими черными мыслями — но всегда при нем дежурит Краффт, или Пауль, или Хольц, или даже сам Рон, мягкий, задумчивый поэт Шарль; у него все время что-то

вертится на языке, однако он никогда этого не высказывает, он только рассуждает о науке, личной одаренности, об успехе и героизме — обо всем на свете. Прокоп рассеянно слушает его; у него создается впечатление, что почему-то le bon prince стремится пробудить в нем благородное честолюбие. Неожиданно Прокоп получил письмо от княжны, она бессвязно просила его держаться крепче и не стесняться. Тотчас после этого Рон привел к нему подтянутого пожилого господина, в котором все выдавало офицера, переодетого в штатское. Подтянутый господин принялся расспрашивать Прокопа о его планах на будущее. Прокоп, слегка раздраженный его тоном, отвечал столь же отрывисто и надменно, что собирается реализовать свои изобретения.

— Изобретения военного характера?

— Я не военный.

— Возраст?

— Тридцать восемь.

— Где служите?

— Нигде. А вы?

Подтянутый господин несколько смешался.

— Вы собираетесь продать свои изобретения?

— Нет.

Он понял, что его допрашивают и оценивают весьма официально; от этого ему сделалось скучно, и он стал отвечать лаконично, лишь изредка снисходя до того, чтобы рассыпать перед подтянутым господином щепотку своей учености или горсточку баллистических чисел, ибо видел, что доставляет этим особенную радость Рону. И действительно, le bon prince так и сиял, поглядывая на подтянутого господина, словно спрашивал: ну, как вам покажется это чудо? Однако подтянутый господин не сказал ничего и в конце концов вежливо откланялся.

На другой день с самого утра прилетел Карсон; он восторженно потирал руки, и вид у него был чрезвычайно важный. Нес какую-то чепуху, все время осторожно зондируя почву; бросал неопределенные словечки вроде «будущее», «карьера», «сказочный успех»; больше он ничего не хотел сказать, а Прокоп и спрашивать ни о чем не желал. Потом пришло письмо от княжны, очень серьезное и странное:

«Прокоп, сегодня ты должен принять решение. Я уже приняла его, несмотря ни на что — и не жалею. Прокоп,

говорю тебе в этот последний миг: люблю тебя и буду ждать, сколько понадобится. Даже если нам придется расстаться на время — а это необходимо, ибо твоя жена не может быть твоей любовницей, — если бы даже нас разлучили на годы, я буду тебе покорной невестой; уже одно это, одно это — такое для меня счастье, что и сказать не могу. Хожу по комнате, как во сне, бормочу твое имя; милый, милый, ты не в силах вообразить, как я была несчастна с той поры, как с нами все это случилось. Сделай же теперь так, чтобы я на самом деле могла называться твоей В.».

Прокоп не мог как следует уразуметь смысла письма, перечитывал его без конца и просто никак не мог поверить, что княжна имеет в виду... одним словом... Бросился бы к ней, да не мог справиться с жестокими сомнениями: а что, если это только взрыв женской чувствительности, каприз, которому нельзя верить, в котором мне не разобраться... разве ее поймешь? Пока он размышлял, явился дядюшка Шарль с Карсоном. Оба выглядели до того... официально и торжественно, что Прокоп дрогнул: вот сейчас скажут, что меня увозят в крепость, княжна что-то затеяла, и дело плохо... Он поискал глазами какое-нибудь оружие на случай, если применят силу; выбрал мраморное пресс-папье и сел, сдерживая сердцебиение.

Рон взглянул на Карсона, Карсон — на Рона с немым вопросом: кому начать? Рон решился первый:

— То, о чем мы пришли сказать вам, в известной мере... не вызывает сомнения...

Рон, как всегда, барахтался в словах; потом собрался с духом и принялся за дело смелее:

— Мой милый, то, что мы тебе скажем, вещь очень серьезная и... секретная. Не только в твоих интересах поступить так, но и... наоборот... Короче говоря, *она* первая подала эту мысль, и... что касается меня, то по зрелом размышлении... Впрочем, ей нельзя возражать; она упряма... и страстна. Кроме того, похоже, она в самом деле вбила себе в голову... В общем, для всех будет лучше найти приличный в ы х о д, — с облегчением подвел он к д е л у. — Господин директор объяснит тебе.

Карсон, или «господин директор», медленным, исполненным достоинства жестом надел очки; вид у него был необычный — до того серьезный, что Прокоп даже встревожился. Начал Карсон так:

— Я имею честь передать вам пожелание... наших высших военных кругов, которые предлагают вам вступить в нашу армию, то есть, естественно, зачислиться на высшую техническую службу, которая соответствует направлению ваших работ, причем в звании... я бы сказал... я хочу сказать, что у нас нет обыкновения призывать на активную службу в армию — за исключением военного времени — гражданских специалистов, но в данном случае... учитывая, что настоящая ситуация немногим отличается от военной... и имея в виду ваше исключительное значение, еще более подчеркиваемое современными отношениями, и... принимая во внимание ваше исключительное положение, а говоря точнее — ваши... в высшей степени личные обязательства...

— Какие обязательства? — хрипло перебил его Прокоп.

— Ну, — смешался Карсон, — я имею в виду ваш интерес... ваши отношения...

— Я, кажется, не исповедался вам ни в каких своих интересах, — резко оборвал его Прокоп.

— Ха-ха! — Эта грубость как будто ободрила Карсона. — Конечно, нет! И не к чему было. Да мы и не оперировали этим вопросом там, наверху, понял, дорогой мой? Разумеется, нет! Просто — личные соображения, и точка. Влиятельное вмешательство, видите ли... К тому же вы — иностранец... Впрочем, и этот вопрос улажен, — поспешно добавил он. — Достаточно будет вам подать прошение о переходе в наше гражданство.

— Ага.

— Что вы сказали?

— Ничего, только — «ага».

— Ага. Ну, вот и все, не так ли? Значит, стоит вам подать официальное ходатайство, и... кроме того... Ну, вы же сами понимаете, тут нужны... известные гарантии, правда? Попросту говоря, вы должны чем-то заслужить звание, которое вам присвоят, так ведь? Предполагается, что вы... что вы передадите руководству армии... ну, понимаете? Передадите...

Воцарилась натянутая тишина. Le bon prince смотрел в окно, глаза Карсона спрятались за сверкающими стеклами очков, у Прокопа сердце сжималось от горя.

— ...передадите... попросту говоря... — заикался Карсон, от напряжения едва переводя дух.

— Что именно?

Карсон пальцем начертил в воздухе большое «К».

— И больше ничего. — произнес он с облегчением. — На другой же день получите указ... о присвоении вам extra statum [1] звания инженер-полковника саперной службы... с прикомандированием в Балттин. И готово.

— То есть полковник — *лишь для начала,* — вмешался дядюшка Шарль. — Большего мы не добились. Но нас заверили, что как только неожиданно начнется война...

— Другими словами, *не далее* чем через год, — вставил Карсон, — через год самое большее...

— ...как только начнется война — безразлично где и с кем, — тебе дадут генерала саперных войск... это звание равно генералу от кавалерии, и если — в результате войны — у нас изменится форма правления, оно даст тебе право на титул превосходительства... другими словами, для начала — баронат. И в этом отношении... мы получили... твердую гарантию свыше, — вполголоса закончил Рон.

— А кто вам сказал, что я этого хочу? — ледяным тоном осведомился Прокоп.

— Ах, боже ты мой, да кто же этого не хочет! — рассыпался Карсон. — Мне обещали дворянство; мне, правда, наплевать, но ведь это делается не для меня, а для общества! Тем более *для вас* это имело бы особое значение.

— Стало быть, вы думаете, — медленно произнес Прокоп, — что я все же отдам кракатит?

Карсон собрался было взорваться, но дядюшка Шарль удержал его.

— Мы считаем, — с достоинством начал Рон, — что ты сделаешь все или... во всяком случае... принесешь любую жертву, чтобы избавить княжну Хаген от того двусмысленного и... невыносимого положения, в какое она попала. При исключительных обстоятельствах... княжна может отдать свою руку военному. Как только ты станешь полковником, ваши отношения будут узаконены... помолвкой, но в строгой тайне; княжна, разумеется, уедет и вернется лишь тогда, когда сможет... просить члена царствующего дома быть свидетелем на ее свадьбе. До той поры... до той поры от тебя зависит — добиться разрешения

[1] в виде исключения (*лат.*).

на брак, которого был бы достоин ты сам и которого достойна княжна. Дай мне руку. Сейчас еще ничего не решай; обдумай как следует, что тебе делать, в чем твой долг и что ты можешь за него отдать. Я мог бы апеллировать к твоему честолюбию; но я обращаюсь только к твоему сердцу. Прокоп, страдания Мины выше ее сил, она принесла в жертву любви больше, чем любая другая женщина. Ты тоже страдал; Прокоп, твоя совесть страдает; но я не пытаюсь оказать на тебя давление, потому что верю тебе. Взвесь хорошенько и потом скажи мне...

Карсон кивал головой, искренне и глубоко тронутый...

— Это так, — сказал он. — Я всего лишь грубый чурбан, эдакая старая дубленая шкура, но должен сказать, что... что... Я вам говорил — в этой женщине видна порода. Иисусе Христе, только теперь видишь... — Тут он ударил себя кулаком в область сердца и растроганно заморгал. — Да знаете, я готов задушить вас, если... если вы окажетесь недостойным...

Прокоп не слушал более; он вскочил, забегал по комнате с расстроенным, нахмуренным лицом.

— Значит... значит, я должен? — прохрипел он... — Должен? Ладно, раз *должен...* Вы захватили меня врасплох! Я ведь не хотел...

Рон встал, мягко положил ему на плечо руку:

— Прокоп, ты сам решишь. Мы не торопим тебя; посоветуйся с лучшими чувствами, какие есть в тебе; вопроси бога, любовь, или совесть, или честь — или не знаю что. Одно помни: речь идет не только о тебе, но и о той, которая любит тебя так, что в состоянии... сделать... — Он махнул рукой. — Пойдем!

XLIV

День был ненастный, сырой. Княжна все кашляла, ее то знобило, то снова кидало в жар, но в постели она не выдержала: ждала ответа Прокопа. Выглядывала в окно, не выйдет ли он, вновь и вновь призывала Пауля. Он докладывал все то же: господин инженер ходит по комнате. И ничего не говорит? Нет, ничего. Княжна, с трудом передвигая ноги, тоже ходила от стены до стены, словно хотела повторить его движения. И снова садилась, раскачиваясь всем телом, чтоб убаюкать лихорадочную тревогу. О, больше нельзя вынести! Собралась писать

длинное письмо; заклинала его взять ее в жены; и по надо ему для этого ничего отдавать, никакого секрета, никакого кракатита; она пойдет за ним в *его* жизнь, будет служить ему, что бы ни случилось. «Я так тебя люблю, — писала она, — что любая жертва, которую я могу принести тебе, кажется мне недостаточной. Испытай меня, останься бедным и неизвестным — я пойду с тобой как твоя жена и никогда уже не смогу вернуться в тот мир, который покину. Знаю — меня ты любишь мало, только одним рассеянным уголочком сердца; но ты привыкнешь ко мне. Я была горда, зла и страстна; я изменилась, я брожу среди знакомых предметов, как чужая, я перестала быть...»

Перечитала, с тихим стоном разорвала на клочки. Наступил вечер, а вестей от Прокопа все не было.

«Наверно, сам придет», — мелькнула надежда, и в торопливом нетерпении княжна стала надевать вечернее платье. Взволнованная, стояла она перед большим трюмо, изучала себя горящими глазами, отчаянно недовольная прической, платьем, всем на свете; новыми и новыми слоями пудры покрывала разгоряченное лицо — а голые руки мерзли — увешивала себя украшениями; казалась себе некрасивой, невозможной, неуклюжей.

— Пауль не приходил? — спрашивала то и дело.

Наконец Пауль пришел: ничего нового, господин Прокоп сидит впотьмах и не разрешает зажечь свет.

Уже поздно, слишком поздно; княжна, утомленная до предела, сидит перед зеркалом, пудра осыпается с воспаленных щек, цвет лица стал прямо серым, руки заледенели.

— Раздень меня, — вяло приказала княжна горничной.

Свежая, похожая на телочку девушка снимает с нее украшение за украшением, расстегивает платье, набрасывает на нее прозрачный пеньюар; а как раз когда она собирается расчесать спутанные волосы госпожи, в дверь без доклада вваливается Прокоп.

Княжна вздрогнула и побледнела еще больше.

— Ступай, Марике, — еле слышно сказала она, придерживая пеньюар на худенькой груди. — Зачем... ты... пришел?

Прокоп, очень бледный, с глазами, налитыми кровью, прислонился к шкафу.

— Вот, значит, каков был ваш план? — сдавленно произнес он. — Хорошо придумали!

Она встала, словно ее ударили.

— Что... что ты говоришь?

Прокоп скрипнул зубами.

— Я знаю, что говорю. Вот, значит, что вам было нужно: чтоб я... выдал кракатит, так, что ли? Они готовят войну, а вы, вы, — взревел он, — вы их орудие! Вы и ваша любовь! Вы... ваше супружество... шпионка! А я, я... меня хотели поймать на удочку, чтобы вы убивали, чтоб вы мстили...

Она опустилась на край стула, в ужасе широко раскрыв глаза; все тело ее содрогнулось от страшных бесслезных рыданий; он хотел броситься к ней — она остановила его несгибающейся рукой.

— Кто вы вообще? — гремел Прокоп. — Княжна ли вы? Кто вас нанял? Подумай, негодная, ты хотела умертвить тысячи тысяч; ты помогала им, чтоб они смели с лица земли города, чтоб могли уничтожить наш мир — наш, а не ваш — мир людей! Истребить, разнести в клочья, убить! Зачем ты это сделала? — Он уже кричал, он упал на колени, пополз к ней. — Что ты хотела сделать?!

Она поднялась с выражением ужаса и отвращения, отступила перед ним. Он прижался лицом к месту, где она сидела, зарыдал тяжко, грубо, по-мужски. Она едва не опустилась рядом с ним, но превозмогла себя, отошла еще дальше, прижала к груди руки, искривленные судорогой.

— Так вот что... вот как ты думаешь! — шепнула она.

Прокопа душила тяжелая боль.

— Да знаешь ли ты, что такое война? — закричал он. — Знаешь, что такое кракатит? Тебе никогда не приходило в голову, что я — человек? А-а-а, я вас ненавижу! Вот почему я был хорош для вас! А если я отдам кракатит — все кончится: княжна уедет, а я, я... — Он вскочил, колотя кулаками по своей голове. — А я уже хотел это сделать! Миллион жизней за-за-за... Что, еще мало? Два миллиона трупов! Десять миллионов! Да-да-да, это — партия, даже для княжны! Это уже стоит того, чтобы немного забыться! Я идиот! А-а-а-а! — взвыл он. — Тьфу! Вы страшный человек!

Он был ужасен, чудовищен: на губах выступила пена, лицо набрякло, глаза блуждали, как у помешанного

в пароксизме припадка. Княжна прижималась к стене, бледная до синевы, глаза ее вылезли из орбит, губы скривила гримаса страха.

— Уйди! — всхлипнула она. — Уходи отсюда!

— Не бойся, — прохрипел он. — Я не убью тебя. Я всегда тебя боялся; даже когда... когда ты была моей, я страшился чего-то и не верил тебе — не верил ни на секунду. И все же, все же я тебя... Я тебя не убью. Я — я хорошо знаю, что делаю. Я, я... — Он оглянулся, схватил флакон с одеколоном, вылил весь себе на руки, омочил лоб. — А-аах, — вздохнул он, — а-аах... Не бойся! Не... не...

Он несколько успокоился, упал на стул, склонил голову на руки...

— Ну вот, — сипло начал он, — ну вот, теперь можем и поговорить, правда? Видите — я спокоен. Даже... даже пальцы не дрожат... — Он вытянул руку, чтоб доказать это; рука ходила ходуном. — Теперь можем... без помех, не так ли? Я совсем успокоился. Можете одеться. Итак... ваш дядюшка сказал мне, что я... обязан... что дело моей чести — дать вам возможность... загладить... ложный шаг, и что я должен... ну, в общем, должен заслужить... титул, продаться и этим оплатить... ту жертву, которую вы...

Она выпрямилась, смертельно бледная, хотела что-то сказать.

— Погодите, — остановил он ее. — Я еще не... Вы все думали... у вас свои понятия о чести. Ну, так вы страшно ошиблись... Я — не рыцарь. Я... сын сапожника. Это не важно, но... я — парий, понимаете? Низкорожденный, ничтожный мужик. У меня нет никакой чести. Можете выгнать меня как вора или засадить в крепость. Но я не сделаю того, что вы хотите. Кракатит я не дам. Можете думать... например, что я подлец. Я мог бы вам рассказать, что я думаю о войне. Я был на войне... и видел удушливые газы... и знаю, на что способны люди. Я не отдам кракатит. Да что вам объяснять? Вы все равно не поймете; вы — всего лишь татарская княжна и стоите слишком высоко... Я только хочу сказать, что не сделаю по-вашему и что я покорно благодарю за честь... Впрочем, я даже помолвлен; правда, я не знаю ее, но я обручился с ней... Вот вам еще одна моя низость. Сожалею, но я вообще не стоил вашей жертвы.

Она стояла окаменев, впиваясь ногтями в стену. Была страшная тишина — только среди невыносимого молчания слышался скрип ногтей, царапающих штукатурку.

Прокоп поднялся медленно, тяжело:

— Хотите вы сказать что-нибудь?

— Нет, — выдохнула она и вперила в пустоту огромные глаза. Распахнувшийся пеньюар открывал мальчишески стройную фигуру княжны; Прокоп готов был проползти по полу, лишь бы поцеловать ее дрожащие колени.

Он приблизился, умоляюще сжав руки, сдавленным голосом заговорил:

— Княжна, теперь меня увезут... как шпиона или еще под каким-нибудь предлогом... Я не стану больше сопротивляться. Будь что будет, я готов. Знаю — я больше вас не увижу. Вы ничего мне не скажете на прощанье?

Губы княжны дрожали, но она промолчала; боже, на что она смотрит там, в пустоте?

Подошел к ней вплотную.

— Я люблю вас, — выдавил он из себя. — Любил вас больше, чем умел выразить. Я низкий и грубый человек, но теперь могу вам сказать, что... любил вас иначе... и больше. Я брал вас... обнимал в страхе, что вы — не моя, что вы от меня ускользнете; я хотел убедить себя... И никогда не мог убедиться. Вот почему я... — Не отдавая себе отчета, он положил руку ей на плечо; она затрепетала под легонькой тканью пеньюара. — Я любил вас... как отчаявшийся...

Княжна подняла на него глаза.

— Милый... — шепнула она, и по бледному ее лицу пробежала горячая волна крови.

Он быстро наклонился, поцеловал потрескавшиеся губы; она не противилась.

Прокоп скрипнул зубами:

— Как это, как это, что я и сейчас тебя люблю?

Бешеным рывком он оторвал ее от стены, обхватил своими медвежьими лапами. Она забилась с такой силой, что, если б он разжал руки, — упала бы наземь; и он еще крепче сжал ее, едва удерживаясь на ногах, так яростно она сопротивлялась. Она извивалась, стиснув зубы, конвульсивно упираясь руками в его грудь; волосы ее упали на лицо, она кусала их, чтоб подавить крик, отталкивала Прокопа, изогнувшись назад, кидаясь во все стороны, как в припадке падучей. Это была бессмысленная

безобразная сцена; он думал только о том, что нельзя ей дать упасть на пол, нельзя опрокинуть стул, и что... что было бы с ним, если б она вырвалась? Он бы провалился от стыда! Прокоп рванул княжну к себе, зарылся губами в спутанные волосы; нашел пылающий лоб; а она в отвращении отворачивала лицо и отчаянно старалась ослабить тиски его рук.

— Дам, дам кракатит, — холодея от ужаса, услышал он собственный голос. — Ддддам, слышишь? Все отдам! Пусть война, новая война, новые миллионы убитых... Мне.... мне все равно. Хочешь? Скажи только слово... Я же говорю, что отдам кракатит! Клянусь, я... я тебе кляннн... Люблю тебя, слышишь? Будь... будь что будет! И даже если погибнет весь мир... Я люблю тебя!

— Пусти! — жалобно кричала она, вырываясь.

— Не могу, — простонал он, зарывшись лицом в ее волосы. — Я самый презренный из людей... Я пре... предал весь мир, весь человеческий род.. Плюнь мне в глаза, но не вы-гоняй меня! Почему я не могу отпустить тебя? Я отдам кракатит, слышишь? Я поклялся; но теперь дай мне забыться! Где... где твои губы? Я подлец, но целуй меня! Я про... пропал...

Он зашатался, словно падая; теперь княжна могла вырваться — он взмахнул руками, чтоб удержаться; но она запрокинула голову, отбросила волосы назад, подставила губы. Он обхватил ее, безвольную, податливую; целовал сомкнутые губы, пылающие щеки, шею, глаза... хрипло всхлипывал — она не сопротивлялась, бессильно повиснув у него на руках. Испуганный ее мученической неподвижностью, он отпустил ее, отступил на шаг. Княжна пошатнулась, провела рукой по лбу, слабо улыбнулась — о, какой жалкой была эта попытка улыбнуться! — и обвила руками его шею.

XLV

Они лежали без сна, тесно прижавшись друг к другу, устремив глаза в полумрак. Он слышал лихорадочное биение ее сердца; за все эти часы она не сказала ни слова, целовала ненасытно и вновь отрывалась, клала платочек между своими губами и его, словно дохнуть на него боялась; и теперь отвернула лицо, устремила во тьму горячечный взор...

Он сел, обняв колени. Да, пропал; пойман на удочку, связан, выдан с головой филистимлянам. А, пусть теперь будет, что должно быть. Отдашь оружие в руки тех, кто его использует. Погибнут тысячи тысяч. Смотри — не видишь разве бескрайнее поле руин? Вот это была церковь, а то — дом; это был человек. Сила страшна, и все зло — от нее. Будь проклята сила, душа злая, неискупленная — как кракатит, как я, как я сам!

Созидательная, трудолюбивая слабость людская — от тебя пошло все доброе, все честное; твое дело — связывать, сцеплять, соединять разрозненное и удерживать соединенное. Будь проклята рука, развязавшая силу! Будь проклят тот, кто нарушит связи стихий! Все человеческое всего лишь лодочка в океане сил; и ты, ты выпустишь на волю бурю, какой не было никогда...

Да, я выпущу бурю, какой никогда еще не было; отдам кракатит, освобожденную стихию, и разобьется вдребезги лодочка человечества... Погибнут тысячи тысяч. Истреблены будут народы и сметены города; не будет предела тому, у кого оружие в руке и гибель в сердце. Ты это сделал. Страшна страсть — кракатит человечьих сердец, и все зло — от нее.

Прокоп взглянул на княжну — без ненависти, разрываемый тревожной любовью и состраданием. О чем она сейчас думает, застывшая и устрашенная? Наклонился, поцеловал ее в плечо. Так вот за что я отдам кракатит; отдам его и уйду, чтоб не видеть позора и ужаса своего поражения. Страшную цену заплачу я за свою любовь — и уйду...

Прокоп вздрогнул от сознания бессилия: да разве дадут мне уйти? На что им кракатит, пока я могу открыть его тайну другим? А, вот зачем хотят они связать меня навеки! Вот зачем заставляют отдать им душу и тело! Здесь, здесь ты останешься, скованный страстью, и вечно будешь страшиться этой женщины; будешь метаться в зловещей любви, и выдумывать адское оружие... и служить им будешь...

Княжна обратила к нему безмолвный взгляд. Он сидел как изваяние, и по грубому, тяжелому лицу его стекали слезы. Она приподнялась на локтях, не спуская с него пристальных скорбно-пытливых глаз; он не замечал этого, сидел зажмурясь, цепенея в тупом отчаянии поражения.

Тогда она тихонько встала, зажгла ночник на туалетном столике, стала одеваться.

Он очнулся, только когда звякнул гребень о столик. С удивлением посмотрел Прокоп, как она обеими руками поднимает, скручивает непокорные волосы.

— Завтра... завтра о т д а м , — прошептал он.

Княжна не ответила — она держала шпильки во рту, торопливо свивая волосы в тугой узел. Он следил за малейшим ее движением; она лихорадочно спешила, но временами застывала, потупясь; потом, кивнув головой, еще быстрее приводила себя в порядок. Вот встала, близко, внимательно посмотрела на себя в зеркало, провела пуховкой по лицу — словно никого тут не было. Ушла в соседнюю комнату и вернулась, надевая через голову юбку. И снова села, задумалась, покачиваясь всем телом, еще раз кивнула своим мыслям и скрылась в гардеробной.

Прокоп встал, тихонько подошел к ее туалетному столику. Боже, сколько вещичек, странных и хрупких! Флакончики, палочки, пудреницы, баночки с кремами, безделушек без числа; так вот оно, ремесло женщины: глаза, улыбки, ароматы, ароматы резкие, манящие... Его изуродованные пальцы, взволнованно вздрагивая, касались этих тонких, таинственных вещичек, словно трогали запретное.

Княжна вошла в кожаной куртке и в кожаном шлеме, натягивая перчатки с широким раструбом.

— П р и г о т о в ь с я , — сказала бесцветным г о л о с о м . — Поедем.

— Куда?

— Куда хочешь. Собери, что тебе нужно, только скорей, скорей!

— Что это значит?

— Не теряй времени. Здесь тебе оставаться нельзя, понимаешь? Они тебя так просто не выпустят. Ну, едешь?

— На... надолго?

— Навсегда.

Сердце у Прокопа бурно забилось.

— Нет, нет... я не поеду!

Княжна подошла, поцеловала его в щеку.

— Н а д о , — сказала она т и х о . — Я объясню тебе, когда мы выедем за ворота. Приходи к подъезду замка, только скорей, пока темно. А теперь иди, иди!

Как во сие, шел он к «кавалерскому покою»; сгреб свои бумаги, свои драгоценные, незаконченные записи, быстро огляделся; и это все? Нет, не поеду! — блеснуло в голове, и он бросил бумаги, выбежал из замка. У подъезда стоял большой, глухо рокочущий автомобиль с потушенными фарами; княжна уже сидела за рулем.

— Скорей, скорей! — шепнула она. — Ворота открыты?

— Открыты, — буркнул сонный шофер, опуская капот машины.

Какая-то тень обошла издали автомобиль, остановилась в темном месте.

Прокоп подошел к открытой дверце.

— Княжна, — забормотал он, — я ведь... решил уже, я отдам все... и останусь...

Княжна не слушала его; наклонившись вперед, она напряженно всматривалась туда, где неясная тень слилась с темнотой.

— Скорей! — повторила она и, схватив Прокопа за руку, втащила на сиденье рядом с собой; одно движение рычага — и машина тронулась. В этот миг в замке осветилось чье-то окно, а тень выскочила из мрака.

— Стой! — прозвучал голос, и тень бросилась навстречу машине; это был Хольц.

— Прочь с дороги! — крикнула княжна, зажмурилась и дала полный газ. Прокоп в ужасе взметнул руки; раздался нечеловеческий вопль, колесо подскочило на чем-то мягком. Прокоп хотел выпрыгнуть, но княжна круто свернула за воротами, дверца захлопнулась сама собой, и машина с бешеной скоростью помчалась во тьму. Потрясенный, обернулся Прокоп к княжне; едва разглядел ее лицо, низко склонившееся к рулю.

— Что вы наделали?! — взревел он.

— Не кричи, — свистящим шепотом оборвала она Прокопа, все так же всматриваясь вдаль. Впереди, на светлой полосе дороги, вырисовывались три фигуры; княжна притормозила, остановила машину, подъехав к ним вплотную. Это был военный патруль.

— Почему едете без света? — сердито окликнул один из солдат. — Кто за рулем?

— Княжна.

Солдаты подняли руки к головным уборам, отступили.

— Пароль?

— Кракатит.

— Потрудитесь зажечь фары. Кого изволите везти с собой? Пожалуйста, пропуск.

— Сейчас, — спокойно ответила княжна и перевела рычаг на первую скорость. Машина рванулась вперед, солдаты едва успели отскочить.

— Не стрелять! — крикнул один из них, и машина свободно понеслась во мраке. Потом круто завернула, поехала почти в обратном направлении. Остановилась перед самым шлагбаумом у выезда на шоссе. Два солдата приблизились к машине.

— Кто дежурный офицер? — сухо спросила княжна.

— Лейтенант Ролауф, — доложил солдат.

— Позвать!

Лейтенант Ролауф выбежал из дежурки, застегиваясь на ходу.

— Добрый вечер, Ролауф, — приветливо проговорила княжна. — Как поживаете? Пожалуйста, прикажите открыть шлагбаум.

Он стоял в почтительной позе, однако недоверчивым взглядом мерил Прокопа.

— С большим удовольствием, но... у вашего спутника есть пропуск?

Княжна засмеялась.

— Это просто пари, Ролауф. Доеду ли за тридцать пять минут до Брогеля и обратно. Не верите? Не сорвете же вы мне пари!

Она подала ему руку, быстро стянув перчатку.

— И до свидания — ладно? Заходите к нам как-нибудь...

Ролауф щелкнул каблуками, с глубоким поклоном поцеловал ей руку; солдаты подняли шлагбаум, машина тронулась.

— До свиданья! — обернувшись, крикнула княжна.

Они мчались по бесконечной аллее шоссе. Изредка по сторонам мелькали огоньки человеческих жилищ, в деревне заплакал ребенок, пес за забором бешено залаял вслед пронесшемуся темному автомобилю.

— Что вы наделали! — кричал Прокоп. — Да знаете ли вы, что у Хольца пятеро детей и сестра калека?! Его жизнь... в десять раз ценнее моей и вашей! Что вы наделали!

Княжна не отвечала; наморщив лоб, стиснув зубы, она вглядывалась в дорогу, иногда чуть приподымаясь, чтоб лучше видеть.

— Куда тебя везти? — спросила она неожиданно, добравшись до развилки на холме, высоко над спящим краем.

— В пекло! — скрипнул он зубами.

Она остановила машину, повернула к нему серьезное лицо:

— Не говори так! Думаешь, мне не хотелось уже сто раз разбиться вместе с тобой о какую-нибудь стену? Не обольщайся — мы оба попали бы в ад. Теперь я хорошо знаю, что ад существует. Куда ты хочешь ехать?

— Я хочу... быть с тобой!

Она покачала головой.

— Нельзя. Или не помнишь, что ты сказал? Ты помолвлен и... хочешь спасти мир от чего-то ужасного. Так сделай же это. Нужно, чтоб в тебе самом было чисто; иначе... иначе в тебе будет зло. А я уже не могу... — Она погладила рулевое колесо. — Куда ты хочешь ехать? Где вообще твой дом?

Он изо всей силы сжал ей запястье.

— Ты... убила Хольца! Разве не знаешь...

— Знаю, — тихо возразила она. — Думаешь, я не почувствовала? Это во мне так хрустнули кости; и все время я вижу его перед собой, и опять, и опять наезжаю на него, а он опять встает на дороге... — Она содрогнулась. — Ну, куда же? Направо или налево?

— Значит, конец? — еле слышно спросил он.

Кивнула головой:

— Да. Конец.

Прокоп открыл дверцу, выскочил, встал перед машиной.

— Поезжай! — прохрипел. — Поедешь через меня!

Она отъехала шага на два назад.

— Садись, надо ехать дальше. Довезу тебя хотя бы до ближайшей границы. Куда ты хочешь?

— Назад, — стиснув зубы, процедил он. — Назад, с тобой!

— Со мною нет пути... ни вперед, ни назад. Неужели ты меня не понимаешь? Я должна сделать так, чтоб ты видел, чтоб ты знал: я любила тебя. Думаешь, я смогу еще раз услышать то, что ты мне сказал? Назад нельзя:

тебе придется выдать то... что ты не хочешь и не имеешь права выдать, или тебя увезут, а я . . . — Она опустила руки на колени. — Видишь ли, и об этом я думала: что пойду с тобой... вперед. Я сумела бы поступить так, сумела бы наверняка; но... ты там где-то помолвлен; иди к ней. Мне, понимаешь, никогда не приходило в голову спрашивать тебя об этом. Если женщина — княжна, то она воображает, будто, кроме нее, нет никого на свете. Ты ее любишь?

Он глядел на нее исстрадавшимися глазами; и все же не смел отрицать...

— Вот видишь, — вздохнула она. — Ты даже лгать не умеешь, милый, милый! Но пойми, когда я потом все это обдумала... Кем я была для тебя? Что это я делала? Думал ли ты о ней, когда ласкал меня? О, как я должна была ужасать тебя! Нет, не говори ничего; не отнимай у меня силы сказать тебе самое последнее.

Она заломила руки.

— Я любила тебя! Я так тебя любила, слушай, что могла... все на свете... и еще больше... Но ты, ты так страшно сомневался в этом, что в конце концов сломил и мою веру. Люблю ли я тебя? Не знаю. Я готова вонзить нож себе в грудь, когда вижу тебя вот тут, и умереть мне хочется, и не знаю что еще — но люблю ли я тебя? Я... я больше не знаю. А когда ты меня... в последний раз... обнял, я чувствовала... что-то нехорошее в себе... и в тебе. Сотри мои поцелуи; они были... были... нечисты, — еле слышно закончила она. — Мы должны расстаться.

Она не смотрела на него, не слышала его ответа; и вот — дрогнули, затрепетали ее веки, под ними родилась слеза, перелилась через край, стекает быстро, и остановилась, и ее догоняет другая... Княжна плакала беззвучно, опустив руки на руль; и когда он хотел подойти к ней — отъехала назад.

— Ты уже не Прокопокопак, — прошептала она, — ты несчастный, несчастный человек. Правда ведь — ты мечешься на цепи... как и я. Это были... недобрые узы, что связали нас; и все же, когда разрываешь их, то будто... будто рвется все внутри, и душа, и сердце... Сделается ли чисто на душе, когда останешься таким пустым и одиноким?

Слезы ее полились обильнее.

— Я любила тебя, а теперь тебя больше не увижу. Ступай, отойди с дороги, я развернусь.

Он не двинулся, стоял, как каменный. Княжна подъехала к нему вплотную.

— Прощай, Прокоп, — промолвила она тихо и начала медленно съезжать назад по дороге.

Он побежал за ней; машина, пятясь, катилась все быстрее, быстрее. Как будто уходила под землю.

XLVI

Прокоп замер, объятый жутью, прислушался — не раздастся ли грохот машины, разбившейся где-нибудь на повороте? Не рокот ли мотора доносится издалека? Или то — смертное безмолвие конца, от которого стынет в жилах кровь? Вне себя бросился Прокоп по шоссе следом за княжной. Сбежал по серпантину дороги к подножию холма; ни следа машины. Опять побежал в гору, вглядываясь в обрывы, слезал, раздирая руки, туда, где распознавал во мраке темное или светлое пятно; но это были кусты боярышника или камни, и он, спотыкаясь, карабкался обратно на шоссе, сверлил глазами тьму — а вдруг... вдруг лежит где-нибудь куча обломков, и под ней...

Он добрался до развилки на вершине холма; вот здесь начала она проваливаться во тьму. Сел на придорожную тумбу. Тишина, неизмеримая тишина. Холодные предрассветные звезды, скажите — летит ли где-нибудь машина темным метеором? Неужели никто не отзовется, не вскрикнет птица, не залает собака в деревне, ничто и никто не подаст признаков жизни? Все окоченело в торжественном молчании смерти. Вот, значит, каков он, конец — беззвучный, леденящий, темный конец всему; пустота, вырытая тьмой и безмолвием; пустота — стоячая, ледяная. В каком углу скрыться мне, чтоб наполнить его своей болью? О, пусть звезды померкнут и настанет конец света! Разверзнется земля, и в грохоте стихий промолвит господь: «Беру тебя обратно, больное и слабое создание, было нечисто в тебе, и недобрые силы освободил ты от пут. Милый, милый, постелю тебе ложе из пустоты...»

Прокоп затрепетал под терновым венцом вселенной. Значит, страдание человека — ничто, не имеет цены; оно — маленькое, съежившееся, просто дрожащий

пузырек на дне пустоты. Хорошо, хорошо — мир безграничен, говоришь ты; но дай мне умереть!

На востоке побледнело небо, холодно выступило светлое шоссе, белые придорожные камни; смотри, вон следы колес, следы в мертвой пыли... Прокоп встает, одеревеневший, ошеломленный, и пускается в путь. В путь — вниз, к Балттину.

Прокоп шел безостановочно. Вот деревня, рябиновая аллея, мостик над тихой и темной рекой; туман поднимается, застилает солнце; и опять серый, холодный день, красные крыши, стада красных коров. Далеко ли до Балттина? Шестьдесят, семьдесят километров... Сухие листья, повсюду — одни сухие листья...

В полдень Прокоп присел на кучу щебня — не мог больше идти. Проезжала мимо телега; крестьянин придержал лошадь, посмотрел на разбитого человека.

— Подвезти, что ли?

Прокоп благодарно кивнул, ни слова не говоря, подсел на передок. Телега остановилась в городке.

— Приехали, — сказал крестьянин. — А вам куда надо-то?

Прокоп слез и молча пошел дальше. Далеко ли до Балттина?

Начался дождь; Прокоп уже выбился из сил, присел на перилах моста; под ним ярилась и пенилась холодная вода. Навстречу мчался автомобиль, затормозил на мосту; выскочил человек в шубе из козьего меха, двинулся прямо к Прокопу:

— Как вы сюда попали?

Это — господин д'Эмон, на его татарских глазах — автомобильные очки, весь он похож на гигантского косматого жука.

— Я сейчас из Балттина — вас разыскивают.

— Далеко до Балттина? — прошептал Прокоп.

— Сорок километров. Зачем вам туда? Там уже выдали ордер на ваш арест. Идемте, я увезу вас.

Прокоп покачал головой.

— Княжна уехала, — тихо произнес д'Эмон. — Сегодня утром, с oncle Роном. Главным образом для того, чтобы забылось... одно неприятное... дело о человеке, сбитом машиной...

— Он умер? — еле дыша, спросил Прокоп.

— Пока еще жив. А во-вторых, княжна, как вы, вероятно, знаете, серьезно больна туберкулезом. Ее повезут куда-то в Италию.

— Куда именно?

— Не знаю. Никто не знает.

Прокоп встал и пошатнулся.

— Тогда... тогда...

— Поедете со мной?

— Н-не знаю... Куда?

— Куда хотите.

— Я... мне хотелось бы... в Италию.

— Поедемте.

Д'Эмон помог Прокопу сесть в машину, набросил на него меховую полость и захлопнул дверцу. Машина тронулась.

И снова развертывается панорама края, но как-то странно, словно во сне, и в обратном порядке; городок, тополиная аллея, куча щебня, мостик, коралловые гроздья рябин, деревня... Машина зигзагами взбирается на холм; вот и развилка, где они расстались. Прокоп поднялся, чтоб выпрыгнуть из машины; д'Эмон отдернул его на место, нажал на газ, переключил на четвертую скорость. Прокоп закрыл глаза; теперь они уже не едут по дороге — поднялись в воздух, летят... ветер бьет в лицо, тучи стегают, как мокрые тряпки, рокот мотора слился в сплошной, низкий рев, где-то внизу, наверное, прогибается под ними земля, но Прокоп боится открыть глаза, чтоб не увидеть проносящихся под ним аллей. Быстрее! Чтоб сперло дыхание! Еще быстрее! Обручем ужаса сдавило грудь, Прокоп уже не дышит от головокружительной скорости, только стонет, наслаждаясь бешеной гонкой. Машина скользит то в гору, то вниз, где-то под ногами послышались человеческие крики, взвыла собака, — а машина несется вперед, на поворотах почти ложась на бок, словно подхваченная крутящимся смерчем; и снова полет по прямой, скорость в чистом виде; пронзительно, страшно звенит натянутая тетива далей.

Прокоп открыл глаза. Мглистые сумерки, цепочка фонарей единоборствует с туманом, снопами вспыхивают заводские огни. Д'Эмон, лавируя, ведет машину по путанице улиц, по предместью, похожему на развалины, и снова вырывается в поля. Машина высунула вперед длинные щупальца света, шарит ими по дорожной грязи, по камням, воет на поворотах, взрывается ураганным

огнем и мчится по нескончаемой ленте шоссе, словно наматывая ее на колеса. Справа и слева от дороги вьется узкое ущелье меж гор, машина ныряет в него, тонет в лесах, с грохотом ввинчивается на перевал и стремглав спускается в соседнюю долину. Деревни выдыхают в густой туман пятна света, автомобиль с рычанием пролетает мимо, оставляя за собой снопы искр, клонится набок, скользит, кружится, подымаясь по спирали все выше, и выше, и выше, перескакивает через что-то, падает. Стоп! Они остановились в черной тьме; нет, оказывается, тут — домик; д'Эмон, ворча, выходит из машины, стучит в дверь, разговаривает с хозяевами; вскоре он возвращается с кувшином воды, доливает шипящий радиатор; в резком свете фар он в своей шубе похож на черта из детской сказки. Вот он обошел машину, потрогал баллоны, поднял капот, бормоча что-то себе под нос. Прокоп задремал от нечеловеческой усталости. Опять началось ритмическое потряхивание; но Прокоп спал в углу сиденья, не сознавая ничего, ничего не сознавая, кроме покачивания автомобиля; он проснулся, лишь когда подъехали к отелю, сверкавшему огнями в чистом горном воздухе среди снежных плоскостей.

Прокоп потянулся, окоченевший и точно весь избитый.

— Это... это не Италия, — пролепетал он удивленно.

— Еще нет, — ответил д'Эмон. — Пока пойдем перекусим.

Он повел Прокопа, ослепленного ярким светом, в отдельный кабинет; белоснежная скатерть, серебро, тепло, официант, смахивающий на дипломата. Д'Эмон даже не присел; он ходил по кабинету, разглядывая кончики своих пальцев. Прокоп тупо и сонно опустился на стул; ему было в высшей степени безразлично — есть или не есть. Все же он выпил чашку горячего бульона, с трудом удерживая вилку, поковырялся в каких-то кушаньях, повертел в пальцах бокал вина и обжег себе внутренности горечью кофе. Д'Эмон так и не сел; он все шагал от стены к стене, на ходу проглотил несколько кусочков; когда Прокоп доел, подал ему сигару, зажег спичку.

— Так, — сказал он, — а теперь к делу.

— С этой минуты, — прохаживаясь, начал он, — я буду для вас просто... камарад Дэмон. Я сведу вас с нашими людьми — это недалеко отсюда. Но вы не должны принимать их слишком всерьез; часть из них — отчаявшиеся

люди, изгнанники и беженцы, собравшиеся со всех концов мира, часть — фантазеры, болтуны, дилетанты спасения человечества и доктринеры. Не спрашивайте об их программе; они — всего лишь материал, которым мы воспользуемся в нашей игре. Главное — мы можем предоставить в ваше распоряжение широко разветвленную и до сих пор тайную международную организацию, ячейки которой рассеяны повсюду. Единственная программа — прямое действие; для него мы привлечем всех без исключения, и так они уже требуют действия, словно это — новая игрушка. Впрочем, лозунги «новая линия действия» и «деструкция в головах» прозвучат для них неодолимыми чарами; после первых успехов они пойдут за вами как овцы, особенно если вы отстраните от руководства тех, кого я назову.

Говорил он гладко, как опытный оратор — то есть думая при этом совсем о другом, — и с совершенной уверенностью, не допускавшей протеста или сомненья; Прокопу казалось, что когда-то он уже слышал его.

— Ваше положение исключительно, — продолжал Дэмон, не переставая ходить по комнате. — Вы отвергли предложение некоего правительства; вы поступили, как разумный человек. По сравнению с этим, что могу я дать вам, что вы можете взять сами? Надо быть сумасшедшим, чтоб упустить такое дело. В ваших руках — средство, с помощью которого вы можете повергнуть в прах все державы мира. Я предоставлю вам неограниченный кредит. Хотите пятьдесят или сто миллионов фунтов? Можете получить их в течение недели. С меня довольно, что вы — единственный до сей поры обладатель кракатита. Правда, девяносто пять граммов находятся пока у наших людей, нам привез его саксонский коллега из Балттина; но эти глупцы и понятия не имеют о вашей химии. Держат кракатит, как святые дары, в фарфоровой баночке и по три раза в неделю чуть ли не дерутся, споря о том, чье правительственное здание взорвать первым. Впрочем, вы сами их услышите. Итак, с этой стороны вам ничто не грозит. В Балттине нет ни крошки кракатита. Господин Томеш, видимо, исчерпал все свои возможности в экспериментировании.

— Где он — где Ирка Томеш? — с трудом выговорил Прокоп.

— Пороховой завод в Гроттупе. Там уже сыты по горло его бесконечными обещаниями. А если ему и

удастся случайно составить кракатит — он недолго будет радоваться. За это я вам ручаюсь. Короче, вы единственный человек, владеющий кракатитом, и вы не отдадите его никому. В вашем распоряжении будет человеческий материал и все наши организационные связи. Я предоставлю вам органы печати, которые содержу за свой счет. Наконец, вам будет подчинено то, что газеты называют «тайной радиостанцией», то есть наше нелегальное беспроволочное средство связи, которое с помощью так называемых антиволн или затухающих искр приводит ваш кракатит к распаду на расстоянии до трех тысяч километров. Вот ваши козыри. Начинаете игру?

— Что... что вы имеете в виду? — отозвался Прокоп. — Что мне со всем этим делать?

Камарад Дэмон остановился, в упор взглянул на Прокопа:

— Вы будете делать, что захотите. Будете совершать грандиозные дела. Кто еще может приказывать вам?

XLVII

Дэмон придвинул стул к Прокопу, сел.

— Да... — задумчиво продолжал он. — Это даже трудно постичь. В истории попросту нет аналогии той власти, какая у вас в руках. С горсткой людей вы завоюете мир, как Кортес завоевал Мексику. Хотя и это — далеко не точная параллель. Обладая кракатитом и станцией, вы держите под ударом весь земной шар. Пусть странно, но это так. Достаточно щепотки белого порошка — и в назначенный миг взлетит на воздух все, что вы прикажете. Кто может помешать вам? Фактически вы неограниченный властелин мира. Вы будете передавать приказы, оставаясь невидимым. Смешно: с этого места вы можете обстрелять, ну, допустим, Португалию или Швецию; через три-четыре дня они запросят мира, и вы сможете диктовать размеры контрибуций, законы, линии границ, в общем, что вам заблагорассудится. Сейчас в мире существует единственная великая держава: вы сами. Думаете, я преувеличиваю? У меня есть очень ловкие ребята, способные на все. Объявите смеха ради войну Франции. И однажды в полночь взлетят на воздух министерства, Французский банк, почтамт, электростанция, вокзал, не-

сколько казарм. На следующую ночь — аэродромы, арсеналы, железнодорожные мосты, заводы боеприпасов, порты, маяки, шоссе. У меня пока что только семь самолетов; вы можете рассыпать кракатит где угодно: потом включается станция — и готово. Ну, попробуете?

Прокоп чувствовал себя как во сне.

— Нет! Зачем мне все это?

— Затем, что вы — можете, — пожал плечами Дэмон. — Сила... должна найти выход. К чему поручать это дело какому-нибудь государству, если вы можете сделать его сами? Я не знаю границ ваших возможностей; но надо начать, чтобы испробовать, — ручаюсь, вы войдете во вкус. Хотите быть самодержавным владыкой мира? Пожалуйста. Хотите истребить человечество? Будь по-вашему. Хотите осчастливить его, навязав вечный мир, бога, новый строй, революцию, что угодно? Отчего же... Только начните — программа роли не играет; в конце концов вы станете делать лишь то, что вас заставит делать созданная вами же действительность. Можете уничтожать банки, королевские троны, индустриализм, армии, вечное бесправие или не знаю что еще; тогда видно будет, что дальше. Начните с чего угодно; а там все пойдет само. Только не ищите аналогии в истории, не спрашивайте, как далеко простираются ваши права; ваше положение беспримерно; никакой Чингисхан или Наполеон не подскажут вам, что вам делать и где пределы вашей власти. Никто не может давать вам советы: никто не может постичь безграничность вашей мощи. Вы должны быть один, если хотите дойти до конца. Не подпускайте к себе никого, кто вознамерится указывать вам границы или направление.

— Даже вас, Дэмон? — резко перебил его Прокоп.

— Даже меня. Я стою на стороне силы. Я стар, опытен и богат; мне ничего не надо — только бы что-нибудь делалось, катилось в направлении, указанном человеком. Мое старое сердце будет радоваться всему, что вы свершите. Выдумайте самое прекрасное, самое смелое, самое райское и по праву вашей силы велите миру принять это: такое зрелище вознаградит меня за служение вам.

— Дайте мне руку, Дэмон, — молвил Прокоп, полный подозрений.

— Нет, я могу вас обжечь, — усмехнулся Дэмон, — У меня старая, очень старая лихорадка. Так что я хотел сказать? Да: единственное проявление силы — насилие. Сила — это способность сообщать движение предметам; вы все равно не избежите участи стать центром всего, что движется вокруг вас. Привыкайте к этому заранее; рассматривайте людей только как свои орудия или как орудия идеи, которую вы заберете в голову. Вы хотите сотворить неслыханное добро; в результате вы будете, вероятно, чрезвычайно жестоки. Не останавливайтесь ни перед чем, если задумаете осуществить великие идеалы. Впрочем, и это придет само собой. Сейчас вам кажется выше ваших сил быть — не знаю еще, в какой форме, — повелителем Земли. Допускаю; но это вполне по силам вашим орудиям; ваша власть распространяется дальше, чем можно трезво вообразить себе.

Устройтесь так, чтоб ни от кого не зависеть. Еще сегодня я велю избрать вас председателем информационной комиссии; это практически даст вам в руки антиволновую станцию; впрочем, она расположена на объекте, принадлежащем лично мне. Вскоре вы увидите наших забавных товарищей; не спугните их слишком грандиозными планами. Они подготовлены к встрече с вами и примут вас с энтузиазмом. Скажите им несколько фраз о благе человечества или о чем хотите; все равно, что бы вы ни сказали — все утонет в хаосе мнений, которые называются политическими убеждениями.

Вы сами решите, осуществить ли вам начальные удары в направлении политическом или экономическом: то есть бомбить ли сначала военные объекты или заводы и коммуникации. Первое эффектней, второе ранит глубже. Можете предпринять генеральное наступление по кругу — или выбрать радиальный сектор; действуйте анонимно — или публично, на первый взгляд безрассудно, объявите войну. Мне не известны ваши вкусы; но не в форме дело, важно только, чтобы вы проявили свою власть. Вы — верховный судия мира, объявите приговор кому угодно — наши люди приведут его в исполнение. Работайте крупными масштабами, не считайте жизней, ведь на свете их миллиарды.

Смотрите, я — промышленник, журналист, банкир, политический деятель, короче, все что угодно; я привык

рассчитывать, оглядываться на обстоятельства, заниматься мелкими подсчетами с ограниченными шансами на выигрыш. Именно поэтому я должен вам сказать — и это будет единственный совет, который я вам дам прежде, чем вы возьмете власть в руки: не рассчитывайте и не оглядывайтесь. Стоит вам один раз оглянуться, и вы превратитесь в соляной столп, как Лотова жена. Я — разум и число; но стоит мне взглянуть вверх — и я готов раствориться в безумии и неисчислимости. Все сущее из хаоса беспредельности неизбежно опускается через число к нулю; любая великая сила восстает против этих этапов падения; любая величина стремится стать бесконечностью. Сила, которая не перелилась через старые границы, пропала даром. Вам дана власть свершить грандиозные дела; достойны ли вы этой власти или собираетесь пустить ее по мелочам? Я, старый опытный человек, говорю вам: думайте о безумных, несоизмеримых деяниях, о беспрецедентных масштабах, о рекордах людской власти, выходящей за пределы разумного; действительность общиплет по пятьдесят, по восемьдесят процентов с любого великого плана; но то, что останется, все еще должно быть грандиозным. Замахивайтесь на невозможное, чтоб осуществить хоть какую-то неизвестную возможность. Вы знаете, сколь великая вещь — эксперимент; видите ли, все владыки мира больше всего страшатся, что им на долю выпадет поступать иначе, чем их предшественникам, поступать неслыханно, наперекор привычному; нет ничего консервативнее человеческой власти. Вы — первый человек на свете, который может считать весь земной шар своей лабораторией. Вот оно, величайшее искушение на горе: я не дам тебе всего, что пред тобою, дабы пользовался ты и наслаждался властью; но тебе дано самому завоевать все это, переделать, попытаться создать нечто лучшее, чем наш жалкий и жестокий мир. Мир вновь и вновь нуждается в творце; но творец, если он не суверенный властелин и повелитель — всего лишь безумец. Ваши мысли будут равносильны приказу; ваши мечты — историческим переворотам; и если вы даже не создадите ничего, кроме памятника самому себе — все равно дело того стоит. Примите же то, что — ваше. А теперь пойдемте; нас ждут.

XLVIII

Дэмон завел мотор и вскочил на сиденье.

— Сейчас приедем.

Машина спустилась с Горы Искушения в широкую долину, помчалась сквозь немую ночь, перевалила через невысокую горную седловину и остановилась под ольхами у просторного деревянного строения, похожего на старую мельницу. Дэмон вышел из машины, повел Прокопа к деревянной лестнице; дорогу им преградил человек в пальто с поднятым воротником.

— Пароль! — потребовал он.

— Цыц! — оборвал его Дэмон и снял автомобильные очки; часовой отступил. Дэмон с Прокопом торопливо поднялись наверх. Они вошли в большую комнату с низким потолком, похожую на класс: два ряда скамей, возвышение, кафедра и черная доска; только класс этот был полон дыма, духоты и крика. На скамьях теснились люди в шляпах; все спорили между собой, с возвышения кричал что-то рыжебородый верзила, на кафедре сухонький, педантического вида старичок яростно звонил в колокольчик. Дэмон двинулся прямо к возвышению, вскочил на него.

— Камарады! — крикнул он, и голос его прозвучал нечеловечески, как крик чайки. — Я привел к вам одного человека... Камарад Кракатит!

Стало тихо; Прокоп чувствовал, как его охватили, беззастенчиво ощупывая, взгляды пятидесяти пар глаз; словно лунатик, поднялся он на возвышение, окинул невидящим взором комнату, тонущую в мглистой полутьме.

— Кракатит, Кракатит, — перекатывался ропот у его ног, и ропот этот переходил в крик: — Кракатит! Кракатит! Кракатит!

Перед Прокопом очутилась красивая растрепанная девушка, протянула ему руку:

— Привет, камарад!

Короткое, горячее пожатие, всё обещающий блеск глаз, и вот уже тянутся двадцать других рук: грубых, твердых, и иссушенных жаром, и влажно-холодных, и мягких от душевности; Прокоп ощутил себя включенным в целую цепь рук; руки тянутся к нему, присваивают его себе.

— Кракатит, Кракатит!

Педантичный старичок звонил как безумный. Когда это не помогло — сам кинулся к Прокопу, потряс его руку; у старичка была маленькая, высохшая ручка, точно из пергамента, а за сапожницкими очками пылала огромная радость. Толпа взвыла от восторга и утихла. Старичок заговорил:

— Вы встретили камарада Кракатита... со стихийной радостью... со стихийной и живой радостью, которая... которую выражаю и я в качестве председателя. Приветствую тебя в нашей среде, камарад Кракатит. Мы приветствуем также председателя Дэмона... и благодарим его. Прошу камарада Кракатита, как гостя, занять место... в президиуме. Пусть теперь делегаты выскажутся, кому вести собрание — мне или... председателю Дэмону.

— Мазо!

— Дэмон!

— Мазо! Мазо!

— К черту ваши формальности, Мазо, — крикнул Дэмон. — Ведите собрание, и точка.

— Собрание продолжается, — возгласил старичок. — Слово имеет делегат Петерс.

Рыжебородый верзила заговорил снова; по-видимому, он нападал на английских лейбористов, но никто его не слушал. Взгляды всех осязаемо упирались в Прокопа; вон там, в углу — большие, мечтательные глаза чахоточного; широко раскрытые голубые глаза какого-то рослого бородатого юноши; круглые, блестящие очки профессора-экзаменатора; колючие заросшие глазки, моргающие из-под невероятно спутанных седых косм; взгляды настороженные, враждебные, глаза запавшие, ребяческие, праведные и порочные. Прокоп осматривал переполненные ряды скамей и вдруг вздрогнул, как от ожога: он встретился со взглядом растрепанной девицы; она, словно падая навзничь, выгнулась волнообразным движением. Прокоп перевел глаза на странную лысую голову, под которой висел узкий пиджачишко, — сам черт не разберет, сколько лет этому созданию, двадцать или пятьдесят; не успел он решить эту загадку, как все лицо лысого сморщилось в широкой, восторженной, осчастливленной улыбке. Чей-то взгляд неотвязно раздражал Прокопа; он всюду искал этого человека, но никак не мог найти.

Делегат Петерс, запинаясь, кончил и, весь красный, исчез между скамей. Взгляды всех приковались к

Прокопу в напряженном, настойчивом ожидании; старик Мазо пробормотал какие-то формальности и наклонился к Дэмону. Стояла гробовая тишина; тогда Прокоп поднялся, не отдавая себе отчета в своих действиях.

— Слово имеет камарад Кракатит, — объявил Мазо, потирая сухие ручки.

Прокоп ошеломленно озирался: что я должен делать? Говорить? Зачем? Кто эти люди? Поймал взгляд ланьих глаз чахоточного, строгий, испытующий блеск профессорских очков; он видел глаза моргающие, любопытные и отчужденные, сверкающий, манящий взор красивой девицы; она открыла грешные, горячие губы, вся превратившись во внимание; лысый, сморщенный человечек на первой скамье не спускал восторженных глаз с губ Прокопа; тот, обрадованный, улыбнулся человечку.

— Люди, — начал он тихо, будто говоря во сне, — вчера ночью... я заплатил безмерную цену. Я пережил... и утратил... — Он собрал все силы, чтоб овладеть собой. — Иной раз переживаешь... такую боль, что она становится уже не только твоей. И ты открываешь глаза и видишь. Затмилась вселенная, и земля затаила дыханье от муки. Мир должен быть искуплен. Ты не снес бы боли своей, если б страдал один. Вы все прошли через ад, все вы...

Он огляделся; всё сливалось в каком-то тусклом сиянии, как на дне морском.

— Где кракатит? — вдруг раздраженно спросил Прокоп. — Куда вы его дели?

Старик Мазо осторожно поднял фарфоровую святыню, вложил ему в руку. Это была та самая баночка, которую он когда-то оставил в своем лабораторном бараке на Гибшмонке. Он открыл крышечку, запустил пальцы в зернистый порошок, стал разминать его, нюхать, положил щепотку на язык; узнавая его вяжущую резкую горечь, смаковал с наслаждением.

— Хорошо, — вздохнул он и сжал драгоценный предмет обеими ладонями, как бы грея озябшие руки.

— Это ты, — вполголоса проговорил он, — я тебя знаю; ты — взрывная стихия. Придет твой миг — и ты отдашь все, заключенное в тебе; и это хорошо... — Он нерешительно взглянул исподлобья на людей. — Что вы хотите знать? Я разбираюсь только в двух вещах: в звездах и в химии. Прекрасны... безграничные просторы времени,

извечный порядок и неизменность, божественная арифметика вселенной; говорю вам — нет ничего прекраснее... Но что мне все законы вечности? Придет твой миг — и ты взорвешься; исторгнешь из себя любовь, и боль, идею, и не знаю, что еще; но самое твое великое и самое сильное — всего лишь мгновение. Нет, не включен ты в цепь бесконечности, не миллионы световых лет — твое исчисление; так пусть же... пусть же твой ничтожный миг будет достойным того, чтоб прожить его! Выметнись высочайшим пламенем. Ты чувствуешь себя скованным? Разбей свою оболочку, разнеси камень! Дай свершиться единственному твоему мгновению. И это будет хорошо.

Он и сам неясно понимал, что́ говорит; смутный инстинкт подхлестывал его, заставлял высказать нечто, мгновенно ускользающее.

— Я... занимаюсь только химией. Я знаю материю и... понимаю ее; вот и все. Воздух и вода дробят материю; она расщепляется, бродит, гниет, горит, соединяется с кислородом — или распадается; но никогда — слышите, никогда! — не отдает она до конца всего, что в ней заключено. Пусть даже ей назначено пройти весь круговорот жизни; пусть земной прах воплотится в растение, в живую плоть, станет мыслящей клеточкой Ньютонова мозга, и умрет с ним, и снова распадется — и тогда он не исторгнет из себя всего. Но заставьте этот же прах... силой заставьте его расщепиться, нарушьте его связи — и он взорвется в тысячную долю секунды; и тогда, только тогда он обнаружит все свои свойства. Вероятно, он даже не спал; он был только скован, связан и задыхался, боролся впотьмах, и ждал своего мгновения. Отдать все! Это — его право. И я, я тоже должен отдать все до конца. Неужели мне суждено только черстветь от времени и ждать... гнить в грязи... и раздробляться, не имея права когда-нибудь... разом... проявиться во всей своей человеческой полноте? Да лучше я... тогда уж лучше в одно высшее мгновение... невзирая ни на что... Ибо я верю: хорошо, когда отдаешь все до конца. Безразлично, доброе или плохое. Во мне все срослось; и доброе, и злое, и наивысшее. Кто живет — творит и добро и зло, словно дробясь. И я жил так; но теперь... я должен свершить наивысшее. В этом — искупление человека. Нет наивысшего в том, что я уже совершил; оно прочно сидит во мне... как в камне. Я должен взорваться... силой... как

взрывается заряд; и я не стану спрашивать, что я при этом разобью; но было нужно... мне было нужно отдать наивысшее...

Он не находил слов, пытаясь выразить невыразимое; и с каждым словом утрачивал смысл, морщил лоб, вглядывался в лица слушателей — не уловили ли они его мысль, которую он не умел высказать иначе. Он встретил светозарную симпатию в чистых глазах чахоточного, сосредоточенное стремление понять в широко раскрытых голубых глазах бородатого великана-юноши там, сзади; сморщенный человечек пил его слова с беспредельной преданностью верующего, а красивая девушка принимала их, полулежа, эротическими вздрагиваниями всего тела. Зато остальные глазели на него отчужденно, с любопытством или с растущим равнодушием. Зачем я, собственно, говорю все это?

— Я пережил, — неуверенно и уже с легким раздражением продолжал он, — пережил столько, сколько в состоянии пережить человек. Зачем я вам это говорю? Потому что мне этого мало; потому что я... до сих пор не искуплен; во всех моих страданиях не было наивысшего. Это... сидит в человеке, как сила в материи. Надо разрушить материю, чтоб она отдала свою силу. И человека надо освободить от пут, разрушить, раздробить, чтоб он отдал свое высочайшее пламя. О-о-о, будет уж... слишком, если он и тогда не найдет, что... что достиг... что...

Он запнулся, нахмурился, бросил баночку с кракатитом на стол и сел.

XLIX

Некоторое время все растерянно молчали.

— И это все? — раздался со скамей насмешливый возглас.

— Все, — недовольно бросил Прокоп.

— Нет, не все!

Это сказал Дэмон, вставая.

— Камарад Кракатит предполагал у делегатов желание понять...

— Ого! — выкрикнул кто-то.

— Да. Придется делегату Мезиерскому потерпеть, пока я договорю. Камарад Кракатит образно сказал

нам, — тут голос Дэмона опять стал похожим на скрипучий крик чайки, — что надо начинать революцию, отметая в сторону теорию этапов; революцию истребительную, подобную взрыву, в которой человечество проявит все то наивысшее, что таится в нем. Человек должен разбиться, чтобы отдать все свое до конца. Общество надо взорвать, чтобы оно обнаружило в себе высшее добро. Вы здесь спорите о том, в чем оно, это высшее добро для человечества. Камарад Кракатит учит нас, что достаточно привести человечество в состояние взрыва, и оно взметнется куда выше, чем вы могли бы предписать ему; нельзя оглядываться на то, что разобьется при этом! И я утверждаю — камарад Кракатит прав!

— Прав! Прав! — вспыхнули аплодисменты, крики. — Кракатит! Кракатит!

— Тише! — перекричал всех Дэмон. — Его слова тем более вески, что за ними стоит фактическая власть осуществить такой взрыв. Камарад Кракатит — человек дела. Он явился, чтобы возложить на нас прямое действие. И я вам говорю — это действие будет ужаснее, чем кто-либо из вас осмеливался мечтать. И оно начнется сегодня, завтра, в течение недели...

Его слова утонули в неописуемом грохоте. Волна людей, вскочивших с места, захлестнула возвышение. Прокопа обнимали, тянули за руки, кричали: «Кракатит! Кракатит!» Красивая девушка с растрепанными волосами бешено пробивалась к Прокопу; движением толпы ее бросило к нему на грудь; он хотел оттолкнуть ее, но она обняла его, прильнула, лихорадочно лепеча что-то на непонятном языке. Тем временем на краю возвышения человек в очках медленно и негромко доказывал пустым скамьям, что теоретически недопустимо делать выводы социологического порядка из явлений неорганизованной природы.

— Кракатит! Кракатит! — шумела толпа; все давно повскакали с мест, Мазо потрясал колокольчиком, как обезумевший; вдруг на кафедру вспрыгнул черноволосый сухощавый юноша, высоко подняв руку с баночкой кракатита.

— Тихо! — гаркнул он. — По местам! Или я швырну вам это под ноги!

Пала внезапная тишина; клубок людей схлынул с возвышения. На нем остался лишь Мазо с колокольчиком

в руке, растерянный и беспомощный, Дэмон, прислонившийся к доске, да Прокоп, на котором все еще висела темноволосая менада.

— Россо! — раздались голоса. — Стащите его вниз! Долой Россо!

Юноша на кафедре дико вращал горящими глазами.

— Не двигаться! Мезиерский хочет стрелять в меня! Брошу! — взревел он, потрясая баночкой.

Толпа попятилась, рыча, как раздразненный хищник. Двое, трое подняли руки; остальные последовали их примеру; на минуту воцарилось гнетущее молчание.

— Сойди! — закричал старик Мазо. — Кто дал тебе слово?

— Брошу! — грозил Россо, напряженный, как тетива.

— Это противоречит процедурным правилам, — рассердился Мазо. — Я протестую и... слагаю с себя обязанности председателя.

Он швырнул колокольчик на пол и сошел с возвышения.

— Браво, Мазо, — раздался иронический голос. — Славно ты помог делу!

— Тихо! — кричал Россо, отбрасывая волосы со лба. — Я беру слово. Камарад Кракатит сказал нам: настанет твой миг, и ты взорвешься; дай свершиться твоему единственному мгновению. Ладно, я принял его слова к действию.

— Он не то имел в виду!

— Да здравствует Кракатит!

Кто-то свистнул.

Дэмон схватил Прокопа за локоть, потащил к какой-то дверце за доской.

— Можете свистеть! — насмешливо продолжал Россо. — Однако никто из вас не свистел, когда перед вами встал этот чужой человек и... и «дал свершаться *своему* мгновению». Почему бы и другим не попробовать?

— Это правда, — произнес спокойный голос.

Красивая девушка встала перед Прокопом, защищая его своим телом. Он попытался оттолкнуть ее.

— Неправда! — кричала она, сверкая глазами. — Он... он...

— Замолчи, — прошипел Дэмон.

— Приказывать умеет каждый, — лихорадочно продолжал Россо. — Пока *это* у меня в руках, приказываю

я. Мне все равно, сдохну я или нет. Не смейте выходить! Галеассо, стереги дверь! Так, а теперь поговорим.

— Да, теперь *поговорим*, — резко отозвался Дэмон.

Россо молниеносно обернулся к нему; в ту же секунду со скамьи вскочил голубоглазый гигант, ринулся вперед, по-бычьи склонив голову, и не успел Россо опомниться, как тот схватил его за ноги и дернул изо всех сил; Россо полетел с кафедры головой вниз. В страшной тишине с треском стукнулась голова о доски, а с возвышения скатилась под скамьи крышечка фарфоровой банки.

Прокоп метнулся к бездыханному телу; по груди, по лицу Россо, по полу, по луже крови рассыпался белый порошок кракатита. Дэмон оттащил Прокопа; снова поднялся галдеж, несколько человек подскочило к возвышению.

— Не наступите на кракатит, взорвется! — воскликнул срывающийся голос, но люди уже бросались наземь, собирали белый порошок в спичечные коробки, дрались, катались по полу, сцепившись в клубок.

— Заприте дверь! — прорычал кто-то.

Свет погас. Одновременно Дэмон ногой толкнул дверцу позади доски и потащил Прокопа вон.

Дэмон посветил карманным фонариком. Они были в чуланчике без окон, где хранились поставленные друг на друга столы, пивные подносы, какая-то заплесневелая одежда. Дэмон поспешно увлек Прокопа дальше — через кисло пахнущую черную дыру коридора, вниз по темной узкой лестнице. Тут их догнала растрепанная девушка.

— *Я с вами*, — прошептала она, вцепившись в руку Прокопа.

Дэмон выбежал во двор, бросая впереди себя скачущий кружок света от фонарика; вокруг стояла бездонная чернота. Он сорвал калитку с петель и помчался по шоссе; не успел Прокоп, пытавшийся стряхнуть с себя девушку, добежать до машины, как мотор уже взревел, и Дэмон бросился за руль.

— Скорей!

Прокоп вскочил в машину, девушка — за ним; машина дернулась, двинулась во тьму. Дул ледяной ветер; девушка дрожала в легком платье, и Прокоп закутал ее меховой полостью, сам отодвинулся в противоположный

угол. Автомобиль трясся по скверной грунтовой дороге, переваливался на ухабах, буксовал и снова с урчанием набирал скорость. Прокоп мерз, но отодвигался всякий раз, когда его бросало к девушке, сжавшейся в комочек. Она сползла к нему.

— Тебе холодно, правда? — И она попыталась притянуть его к себе, прикрыть концом полости. — Согрейся! — с придыханием шепнула она, засмеялась каким-то мерцающим смехом и всем телом прильнула к Прокопу; была она горячая и пышная — словно нагая была. Горький, дикий запах исходил от ее спутанных волос, они щекотали щеки Прокопа, лезли в глаза. Близко придвинув к нему лицо, она говорила что-то на чужом языке, повторяла одно и то же, все тише и тише, сжимая мочку Прокопова уха мелко дрожащими зубами; и вдруг, резко извернувшись, прижалась к его груди, впилась в его губы порочным, опытным, влажным поцелуем. Прокоп грубо отпихнул ее; она выпрямилась, полная недоумения, обиженно отодвинулась, стряхнула с плеч меховую полость; студеный ветер дул по-прежнему, Прокоп снова накрыл ей плечи. Она яростно дернулась, строптиво сорвала мех, бросила на пол.

— Как хотите, — буркнул Прокоп и отвернулся.

Тем временем Дэмон выбрался на мощеную дорогу и погнал машину с воющей скоростью. Пассажирам видна была только спина Дэмона, ощетинившаяся космами козьей шубы. Прокоп задыхался от резкого встречного ветра; он оглянулся на девушку — та, намотав волосы на шею, тряслась от холода в своем платьице. Ему стало жаль ее; он поднял полость, набросил ей на плечи; она отталкивала его руку в строптивом гневе, тогда он завернул девушку всю, с головой, крепко обхватил руками:

— И не шевелитесь!

— Что, опять бесится? — спокойно бросил Дэмон от руля. — А вы ее...

Прокоп притворился, что не расслышал циничного слова, Но бесформенный сверток в его руках тихонько захихикал.

— Она славная девчонка, — равнодушно продолжал Дэмон. — Твой папа был ведь писатель?

Сверток кивнул; и Дэмон назвал имя настолько известное, настолько чистое и священное, что Прокоп

вздрогнул и невольно разжал руки. Сверток завозился и вспрыгнул к Прокопу на колени; из-под меха высунулись красивые грешные ноги, по-детски закачались в воздухе. Он натянул полость, чтоб девушка не замерзла; она, видимо, сочла это игрой и, давясь тихим смехом, стала высоко подбрасывать то одну, то другую ногу. Он обхватил сверток как можно ниже; тогда из-под меха выскользнула полная девичья рука, вцепилась ему в лицо в необузданной любовной игре, потянула за волосы, защекотала шею, пальцами силилась раскрыть ему губы. Он перестал сопротивляться; рука дотронулась до его лба; нащупала строгие морщины и отдернулась, как бы обжегшись; теперь это — боязливая детская ручонка, которая не знает, что ей разрешено; она украдкой приближается к его лицу, касается его, отдергивается... снова коснулась, погладила и легонько, робко легла на шершавую щеку. Под полостью глубоко вздохнули и замерли.

Машина, пробравшись через спящий городок, спустилась в открытое поле.

— Ну, как? — обернулся Дэмон. — Что скажете насчет наших людей?

— Тише, — шепотом ответил неподвижный Прокоп. — Она уснула.

L

Машина остановилась в сумрачной лесистой долине. Прокоп разглядел в темноте массивные копры и терриконы.

— Вот и приехали, — буркнул Дэмон. — Это мой рудник и заводишко; грошовое предприятие. Ну, вылезайте!

— Оставить ее здесь? — негромко спросил Прокоп.

— Кого? Ах да, вашу красавицу... Разбудите, мы здесь заночуем.

Прокоп вышел из машины, осторожно вынес девушку на руках.

— Куда ее положить?

Дэмон отпирал дверь угрюмого дома.

— Что? Погодите, здесь у меня несколько комнат. Положите... Впрочем, я сам вас отведу.

Он зажег свет и повел Прокопа по нетопленным конторским коридорам; наконец вошел в одну дверь, повернул

выключатель. Они оказались в скверной непроветренной комнате; у стены стояла неубранная кровать, жалюзи на окнах были спущены.

— Ага, — проворчал Дэмон, — видно, тут ночевал... один знакомый. Не очень-то здесь уютно, не правда ли? Да что с холостяка взять... Положите ее на постель.

Прокоп бережно опустил тихонько дышащий сверток. Дэмон зашагал по комнате, потирая руки.

— Теперь сходим на нашу станцию. Она там, на холме, в десяти минутах ходьбы. Или хотите остаться здесь? — Он подошел к спящей девушке, откинул угол меха, обнажив ее ноги выше колен.

— Красивая, правда? Жаль, что я так стар...

Прокоп нахмурился, прикрыл ноги.

— Покажите мне вашу станцию, — сухо сказал он.

Губы Дэмона дрогнули в усмешке.

— Пойдемте.

Он повел Прокопа через двор. В машинном отделении горел свет, пыхтели машины, по двору бродил кочегар в рубашке с засученными рукавами, курил трубочку. Вверх по откосу тянулась подвесная дорога для вагонеток с рудой, ее поперечины вырисовывались мертво, как ребра древнего ящера.

— Пришлось закрыть три шахты, — рассказывал Дэмон. — Оказались нерентабельны. Давно бы все продал, если б не станция. Идите сюда.

По крутой тропинке он стал подниматься в гору, поросшую лесом; Прокоп следовал за ним по звуку шагов — стояла непроглядная тьма; временами с веток елей скатывались тяжелые капли. Дэмон остановился, с трудом перевел дух.

— Старость, — проговорил он. — Дыхание уже не то. Приходится все больше и больше надеяться на других... Сегодня на станции никого нет; телеграфист остался там, с ними... Но все равно; пойдемте!

Вершина холма была разрыта, как поле боя: брошенные копры, тросы, огромные отвалы пустой породы; и на верхушке самого высокого отвала — деревянное строение с антеннами.

— Это и есть... станция, — пропыхтел совсем задохнувшийся Дэмон. — Она стоит... на сорока тысячах тонн магнитной руды. Естественный конденсатор, понимаете?

Весь холм — огромная сеть проводов. Когда-нибудь расскажу вам подробнее. Помогите мне взобраться.

Они вскарабкались по сыпкой тропинке; крупный щебень с шорохом скатывался из-под ног; но вот наконец и станция...

Прокоп остановился как вкопанный, не веря собственным глазам: да ведь это — его лаборатория, оставленная в поле над Гибшмонкой! Вот и некрашеная дверь, несколько более светлых досок после починки, сучки, похожие на глаза... Ничего не понимая, Прокоп провел рукой по косяку: конечно, вот он, ржавый согнутый гвоздь, Прокоп сам когда-то вбил его!

— Откуда это здесь? — еле слышно пролепетал Прокоп.

— Что «это»?

— Этот домик?

— А, он здесь уже много лет, — равнодушно проговорил Дэмон. — А что такого?

— Ничего.

Прокоп обошел вокруг домика, ощупывая стены, окна. Ну да, вот трещина в доске, разбитое стекло в раме; здесь выпал сучок, так и есть, и дырка изнутри заклеена бумагой. Дрожащей рукой водил он по знакомым убогим приметам; все так, как было, все так...

— Ну, осмотрели? — подал голос Дэмон. — Отоприте, ключ у вас.

Прокоп сунул руку в карман. Конечно, вот он, ключ от его старой лаборатории... той, что осталась дома; вставил ключ в висячий замок, отомкнул, вошел внутрь, и — как дома — машинально протянул руку влево, повернул выключатель, у которого был гвоздик вместо головки — как там, дома. Дэмон вошел следом. Боже, вот и моя койка, до сих пор не постланная: мой умывальник, кувшин с отбитым краем, губка, полотенце, все... Прокоп посмотрел в угол — тут и старая чугунная печурка, и труба, подвязанная проволокой, ящик с угольной крошкой, а там — продавленное колченогое кресло, из сиденья торчат волос и пружины. А вот и щель в полу, и прожженная половица, и шкаф, платяной шкаф... Он открыл дверцу; в шкафу висели чьи-то измятые брюки.

— Неказисто з д е с ь , — заметил Дэмон. — Наш телеграфист такой... в общем, чудак. А что вы скажете насчет аппаратов?

Прокоп, которого не покидало ощущение, будто он все это видит во сне, повернулся к столу. Нет, этого у него не было, тут что-то совсем другое: вместо химической утвари на одном конце стола стояла двенадцатиламповая корабельная радиостанция; рядом лежали наушники, приемник, конденсаторы, вариометр, регулятор, под столом находился обыкновенный трансформатор; а на другом конце...

— Это, первое, — нормальная станция, для обычных разговоров, — объяснил Дэмон, — а второе и есть наш передатчик затухающих искр. С его помощью мы посылаем антиволны, противотоки, искусственные магнитные бури — назовите как хотите. Вот и вся наша тайна. Вы разбираетесь в таких вещах?

— Нет. — Прокоп мельком осмотрел аппарат, подобного которому никогда не видал.

В аппарате было множество сопротивлений, проволочная сетка, нечто вроде катодной трубки, потом еще какие-то изолированные барабаны, странный когерер, реле и клавиатура с кнопками контактов; Прокоп не мог понять, как все это действует. Он оставил аппарат и взглянул на потолок — нет ли на нем, как дома, того же странного пятна, которое всегда напоминало ему голову старика. Да, есть, есть! И — вон зеркальце с отбитым уголком...

— Как вам нравится аппарат? — спросил Дэмон.

— Он... э-э... это ведь первая конструкция, правда? Он еще слишком сложен.

Тут на глаза ему попалась фотография, прислоненная к какой-то индукционной катушке. Прокоп взял снимок в руки; на нем было изображено ошеломляюще прекрасное девичье лицо.

— Кто это? — хрипло спросил он.

Дэмон заглянул через его плечо.

— Неужели не узнаете? Да ведь это ваша красавица, которую вы сами привезли сюда в объятиях. Великолепна, правда?

— Как попал сюда снимок?

Дэмон ухмыльнулся.

— Вероятно, ее обожает наш телеграфист... Не сочтите за труд включить вон тот контакт... Тот большой рычажок... Наш телеграфист — вы его не заметили? Сидел на первой скамье, сморщенный такой человечек...

Прокоп бросил карточку на стол, включил контакт. По проволочной сетке пробежала голубая искра. Дэмон поиграл пальцами на клавиатуре — и весь аппарат начал фосфоресцировать короткими синими вспышками.

— Так... — удовлетворенно вздохнул Дэмон, неподвижно вглядываясь в пучки искр.

Прокоп снова порывисто схватил фотографию. Ну, конечно, разумеется, это — та девушка, что спит внизу; нет никакого сомнения. Но если... если б на ней была вуаль, и горжетка, горжетка в капельках дождя, до самых губ и перчатки... Прокоп стиснул зубы. Не может быть, чтоб она была так похожа на ту! Сощурил глаза, стараясь удержать ускользающий образ, — и опять увидел девушку под вуалью, она прижимает к груди запечатанный пакет, и — вот сейчас поднимет на него чистый, полный отчаяния взор...

Вне себя от волнения, Прокоп сравнивал фотографию с неуловимым образом. Господи, как же она, собственно, выглядела? Да ведь я не знаю! — кольнул испуг. Знаю только — лицо ее закрывала вуаль, и оно было прекрасно. Прекрасное лицо под вуалью — и больше я ничего, ничего не видел. А этот, этот снимок, большие глаза и рот, строгий и нежный — неужели это та, та самая, что спит внизу? У нее ведь раскрытые губы, раскрытые грешные губы, и волосы растрепаны, и смотрит она не так, смотрит совсем не так... Вуаль в дождевых капельках стояла у Прокопа перед глазами, застилая все. Да нет, ерунда; и на снимке — совсем не та девушка, что спит внизу, и не похожа вовсе. На снимке — лицо той, под вуалью, что пришла к нему в беде и горе; ее лоб спокоен, а в глазах — скорбная тень; и к губам льнет вуаль, густая вуаль с росинками дыхания... Почему она не подняла тогда вуаль, чтоб я мог узнать ее!

— Пойдемте, я вам что-то покажу, — прервал его мысли Дэмон и потащил Прокопа наружу.

Они стояли на вершине отвала; под ногами их простерлась необъятная темная спящая земля.

— Смотрите туда. — Дэмон показал рукой на горизонт. — Не видите ничего?

— Ничего. Впрочем, нет, вижу — огонек. Слабое зарево.

— Знаете, что это такое?

Раздался еле слышный гул, словно ветер промчался в ночи.

— Готово! — торжественно произнес Дэмон и обнажил голову. — Good night[1], друзья.

Прокоп вопросительно посмотрел на него.

— Не поняли? — сказал Дэмон. — До нас только теперь донесся звук взрыва. Пятьдесят километров по прямой. Точно две с половиной минуты.

— Какой взрыв?

— Кракатит. Эти болваны понабивали его в спичечные коробки. Полагаю, теперь-то они нас больше беспокоить не будут. Мы созовем новый съезд... выберем новый комитет...

— Вы... вы их...

Дэмон кивнул.

— С ними нельзя было работать. Уверен, они до последней минуты пререкались из-за тактики. Скорее всего там теперь горит.

На горизонте виднелось лишь слабенькое багровое зарево.

— Там остался и изобретатель нашей станции. Все там остались. Так что теперь вы все возьмете в свои руки... Послушайте только, как тихо. А ведь отсюда, из этих проводов посылается в пространство беззвучная и точная канонада. Сейчас мы остановили работу всех радиостанций, и у радистов стоит в ушах треск — крах, крах! Пусть бесятся. А тем временем в Гроттупе господин Томеш бьется, стараясь добыть кракатит. Никогда он его не добудет. Но если даже — если сумеет, о! — в тот же миг, когда под его руками произойдет соединение, настанет конец... Так что работай, моя станция, рассылай потихоньку искры, бомбардируй вселенную! Никто, никто, кроме вас, не станет хозяином кракатита. Теперь только вы, вы один, единственный... — Дэмон опустил руку на Прокопово плечо, молча обвел другой рукой широкий круг, словно показывая: весь мир.

Ночь была беззвездна и пустынна; лишь на горизонте низко полыхал огненный потоп.

— Аа, устал, — зевнул Дэмон. — Славный был денек. Пойдемте вниз.

---

[1] Спокойной ночи (*англ.*).

LI

Дэмон торопился домой.

— Где, собственно, находится Гроттуп? — неожиданно спросил Прокоп, когда они уже спустились с холма.

— Идемте, я покажу вам, — отозвался Дэмон.

Они зашли в контору рудника, и Дэмон подвел Прокопа к карте на стене.

— Вот здесь. — Он ткнул в карту длинным ногтем, подчеркнул маленький кружочек.. — Пить не хотите? Согреетесь.

Он налил в рюмки себе и Прокопу жидкость, черную, как смола.

— Ваше здоровье!

Прокоп глотнул залпом и задохнулся: жидкость была как расплавленный металл и горше хинина; голова мгновенно пошла кругом.

— Больше не желаете? — оскалил Дэмон желтые зубы. — Жаль. Не хотите заставлять ждать свою красотку, а? — Сам он пил рюмку за рюмкой; глаза вспыхивали зеленым огнем, его обуял приступ болтливости, но язык постепенно коснел. — Слушайте, вы молодец! — заявил он. — Завтра беритесь за дело. Старый Дэмон сделает для вас все, что придет вам в голову... — Тут он неуклюже поднялся, поклонился Прокопу в пояс. — Теперь все в порядке. И еще... по-погодите...

Он начал путать все языки мира; насколько Прокоп мог понять, Дэмон изрекал грубейшие непристойности; потом затянул какую-то пошлую песенку, задергался, как в припадке падучей, теряя сознание; на губах у него выступила желтая пена.

— Эй, что с вами? — крикнул Прокоп, встряхивая Дэмона.

Тот с трудом открыл бессмысленные остекленевшие глаза.

— Что... что? — забормотал он, приподнялся, вздрогнул. — Ага, я... я... Это ничего, — потер себе лоб, судорожно зевнул. — Да, да, я провожу вас в вашу комнату, ладно?

Его татарское лицо покрылось безобразной синевой и опало, как пустой мешок; он двинулся к двери, шатаясь, словно ноги отказывали ему.

— Идемте же!

Он пошел прямо в комнату, где они оставили спящую девушку.

— А-а, красавица проснулась! — крикнул он на пороге. — Входите, пожалуйста!

Девушка стояла на коленях перед печкой; она, видимо, только что затопила и теперь смотрела на потрескивающие дрова.

— Ого, как прибрала! — с ноткой признательности протянул Дэмон.

И в самом деле, комнату проветрили, удивительным образом исчез неприятный беспорядок; теперь все тут было просто и мило, как у мирного домашнего очага.

— Смотри-ка, на что ты способна! — удивлялся Дэмон. — Пора уже тебе бросить якорь, девица!

Она встала, густо покраснела и смутилась.

— Ну-ну, не робей! Этот камарад тебе нравится, правда? — осклабился Дэмон.

— Нравится, — просто ответила она и пошла закрыть окно и спустить жалюзи.

От печки по светлой комнате разливалось тепло.

— Хорошо тут у вас, дети, — одобрил Дэмон, грея руки у печки. — Так бы и остался с вами.

— Нет уж, уходи, — быстро возразила она.

— Сейчас, голубушка, — почему-то по-русски ответил Дэмон, ухмыляясь. — Мне... тоскливо мне без людей. Смотри-ка, а приятель твой молчит, как убитый. Постой, сейчас я его уговорю...

Она вдруг вспыхнула:

— Нечего его уговаривать! Пусть будет какой есть!

Дэмон поднял мохнатые брови, изображая преувеличенное изумление:

— Что-о-о? Да ты уж... не влюби...

— А тебе какое дело? — перебила она, блеснув глазами. — Кому ты тут нужен?

Он беззвучно захохотал, прислонясь к печке.

— Знала бы ты, как это тебе к лицу! Ах, девка, девка, значит, и на тебя нашло всерьез? А ну, покажись!

Он хотел взять ее за подбородок — она отшатнулась, бледнея от гнева, оскалилась.

— Оставьте ее, — резко сказал Прокоп.

— Что? Даже кусаться готова? С кем же это ты вчера опять была, что так... Ага, вспомнил: с Россо, верно?

— Неправда! — крикнула она со слезами в голосе.

— Ну-ну, это я просто так, — примирительно проворчал Дэмон. — Ладно, не буду вам мешать. Доброй ночи, дети.

Он, пятясь, прижался к стене и, прежде чем Прокоп поднял глаза, исчез.

Прокоп придвинул стул к гудящей печке, засмотрелся в огонь; даже не оглянулся на девушку. Только слышал, как она нерешительно, на цыпочках, ходит по комнате, что-то запирает, устраивает; но вот больше делать нечего, и она остановилась, молчит... Дивна власть пламени и текучих вод; засмотрится человек и потеряет себя, застынет; и уже не думает ни о чем, ничего не знает, не ворошит память, но в нем воскресает все, что было, что пережито — воскресает без формы, без времени.

Стукнула об пол сброшенная туфелька, стукнула другая; значит, разувается. Иди спать, девушка; уснешь, и я посмотрю, на кого ты похожа. Она тихонько прошла через комнату, остановилась; опять поправляет что-то — бог ведает, отчего ей хочется, чтоб было здесь чисто и уютно. И вдруг она бросилась перед ним на колени, протянула к его ноге точеные руки.

— Хочешь, я сниму с тебя башмаки? — сказала тихо.

Прокоп взял ее голову в ладони, повернул к себе. Красивая, податливая и странно серьезная.

— Ты знала Томеша? — спросил он хрипло.

Она подумала, отрицательно покачала головой.

— Не лги! Ведь ты... ты... Есть у тебя замужняя сестра?

— Нету. — Она вырвала голову из его рук. — Зачем мне лгать? Я все скажу, вот нарочно скажу, чтоб ты знал... на-роч-но... Я — я испорченная девчонка... — Уткнулась лицом в его колени. — Все меня, все до единого... так и знай...

— И Дэмон?

Не ответила, только содрогнулась.

— Ты мо... можешь ударить меня ногой, ведь я... ооо, нн-не касайся меня! О, ес-ли бы ты знал... — И ее свела судорога.

— Перестань! — терзаясь, воскликнул Прокоп и насильно поднял ей голову. В глазах ее было столько муки и отчаяния, что они казались зияющими провалами. Он отпустил ее со стоном: в ней было такое сходство с той, что у него перехватило дыхание.

— Молчи, молчи хотя бы... — сдавленным шепотом попросил он.

Она снова прижалась лицом к его коленям.

— Нет, позволь мне, я должна вс-се... Я... ведь я начала, когда мне было три... тринадцать...

Он зажал ей рот ладонью; а она кусала эту ладонь, бормоча свою ужасную исповедь сквозь его пальцы.

— Замолчи! — кричал он, но слова помимо ее воли рвались наружу, зубы стучали, и она, вся дрожа, говорила, говорила, запинаясь... Он с трудом заставил ее замолчать.

— Ооо, — стонала она. — Если бы ты... знал, что... люди... что они де-ла-ют! И каждый, каждый был со мной так груб... словно я... не то что животное, а меньше чем камень!

— Перестань, — в ужасе твердил Прокоп и, не зная, что делать, гладил ее по волосам трясущимися изуродованными пальцами. Она вздохнула, успокаиваясь, и замерла; он чувствовал горячее дыхание, биение жилки в ее горле.

Вдруг она тихонько хихикнула.

— Ты думал, я сплю... там, в машине! А я не спала, я только притворялась нарочно... все ждала — ты начнешь... как другие... Ты ведь знал, кто я, какая я... Но... ты хмурился и держал меня, как будто я маленькая девочка... как будто я... какая-нибудь... святыня... — Слезы брызнули у нее сквозь смех. — И я, не знаю почему, вдруг... так обрадовалась, как никогда, никогда... и я гордилась... и ужасно стыдно мне было, и все же... так мне было чудесно... — Всхлипывая, она целовала его колени. — Вы... вы даже не разбудили меня... и уложили... как святыню... и ноги прикрыли и ничего не сказали. — Тут она совсем расплакалась. — Я буду... служить вам, позвольте, позвольте мне... я сниму вам ботинки... И пожалуйста, прошу вас, не сердитесь, что я притворялась, будто сплю! Прошу вас...

Прокоп попытался поднять ее голову: она покрыла поцелуями его руки.

— Ради бога, не плачьте! — вырвалось у него.

— Кому вы это? — протянула она в удивлении и перестала плакать. — Почему вы говорите мне вы?

Наконец ему удалось повернуть ее лицо к себе, хотя она сопротивлялась изо всех сил, стараясь снова уткнуться ему в колени.

— Нет, нет, — твердила она со страхом и в то же время смеясь, — я заплаканная. Я вам не понравлюсь, — тихо добавила она, пряча свое лицо. — Отчего вы... так долго... не шли! Я буду служить вам, вести вашу переписку... я научусь печатать на машинке, я знаю пять языков — вы не прогоните меня? Когда вы так долго не шли, я все придумывала — сколько я сделаю для вас... а он все испортил, он говорил так, словно... словно я... А это неправда — я уже рассказала вам все... Я буду... я сделаю все, что вы скажете... я хочу стать хорошей...

— Встаньте, ради бога!

Она села на пятки, сложила руки, глядя на него в каком-то экстазе. Теперь... в ней уже не было сходства с той, под вуалью; и Прокоп вспомнил рыдавшую Анчи.

— Не плачьте больше, — пробормотал он мягко и нерешительно.

— Вы красивый, — с удивлением вздохнула она.

Он покраснел, буркнул:

— Идите... спать, — и погладил ее по горячей щеке.

— Я вам не противна? — розовея, шепнула она.

— Ни капельки!

Она не двинулась с места, взглянула на него глазами, полными тоски; и он склонился и поцеловал ее; она зарделась, вернула ему поцелуй так застенчиво и неловко, как если бы целовала впервые в жизни.

— Иди спать, иди, — смущенно проворчал он. — Мне еще надо... кое-что обдумать.

Она послушно встала, бесшумно начала раздеваться. Прокоп пересел в угол, чтоб не стеснять ее. Она снимала одежду без стыдливости, но и без тени фривольности, просто и естественно, как женщина в семейном доме; неторопливо расстегивает пуговицы, распускает шнурочки, тихонько укладывает белье, медленно стягивает чулки с сильных, совершенной формы ног; задумалась, потупила взгляд, по-детски шевелит длинными безупречными пальцами ступней; вот посмотрела на Прокопа, улыбнулась румяной радостью, шепнула:

— Я тихонько...

Прокоп в своем углу едва дышит: да ведь это опять незнакомка под вуалью! Это сильное, зрелое, прекрасное тело — она; вот так же серьезно и изящно снимает она одежду, так же стекают ее волосы на спокойные плечи, так, именно так поглаживает она, согнувшись в задумчивости, свои полные прелестные руки, и так же, так же... Он закрыл глаза: слишком сильно забилось сердце. Разве не видел ты некогда, смыкая веки в жестоком одиночестве, как стоит она у тихой семейной лампы, поворачивает к тебе лицо и говорит то, чего ты никогда не слышал? Разве тогда, сжимая руки свои коленями, не подмечал ты сквозь сомкнутые веки движение ее руки, простое и милое движение, в котором — вся мирная, молчаливая радость домашнего очага? Раз как-то явилась она тебе: стояла к тебе спиной, склонив над чем-то голову; в другой раз привиделась читающей у вечерней лампы. Быть может, сейчас — лишь продолжение тех снов, и все исчезнет, когда ты откроешь глаза, и останется с тобой одно твое одиночество?

Он открыл глаза. Девушка лежала в кровати, натянув одеяло до подбородка, не спуская с него глаз, полных беззаветной, покорной любви. Прокоп подошел, наклонился над ее лицом, изучая черты его с пристальным нетерпеливым вниманием. Она поглядела вопросительно, отодвинулась, освобождая ему место рядом с собой.

— Нет, нет, — пробормотал он и легонько поцеловал ее в лоб. — Ты спи.

Она послушно закрыла глаза и, казалось, перестала дышать.

Прокоп на цыпочках вернулся в свой угол. Нет, не похожа, уверял он себя. Ему все чудилось — она следит за ним из-под опущенных век; это мучило его, мешало думать; нахмурясь, он отвернулся, потом не выдержал — вскочил, тихонько ступая, пошел проверить. Глаза ее закрыты, дыхания не слышно; выражение лица — милое и преданное.

— Спи, — прошептал он.

Она слегка кивнула. Он погасил свет и, расставив руки, на цыпочках, вернулся в свой угол у окна.

Протекли бесконечно долгие, тоскливые часы; Прокоп, как вор, прокрался к двери. Не разбудит он ее? Заколебался, положив руку на дверную скобу; с бьющимся сердцем открыл дверь и выскользнул во двор.

Еще длилась ночь. Прокоп наметил направление между отвалами и перелез через забор. Спрыгнул, отряхнулся и пошел искать шоссе.

Дорога едва проступает во тьме. Прокоп вглядывается, дрожа от холода. Куда идти? В Балттин?

Сделав несколько шагов, он остановился; постоял, потупив глаза. Стало быть, в Балттин? Всхлипнул тяжко, без слез — и круто повернулся.

В Гроттуп!

LII

Удивительно вьются дороги в мире. Сосчитай все свои шаги и пути — какой изобразится сложный узор! Ибо каждый шагами своими чертит собственную карту земли.

Был вечер, когда Прокоп подошел к решетчатой ограде гроттупского завода боеприпасов. Это — обширное поле, застроенное корпусами, озаренное молочными шарами дуговых фонарей; еще светится одно-два окна; Прокоп просунул голову между прутьев решетки, позвал:

— Алло!

Подошел не то привратник, не то сторож.

— Что вам? Вход запрещен.

— Скажите, пожалуйста, у вас еще работает инженер Томеш?

— А на что он вам?

— Мне надо с ним поговорить.

— ...Господин Томеш не выходит из лаборатории. К нему нельзя.

— Скажите ему... скажите, что его ждет друг, Прокоп... я должен передать ему одну вещь.

— Отойдите от ограды, — пробурчал сторож и пошел звать кого-нибудь.

Через четверть часа к ограде подбежал человек в белом халате.

— Это ты, Томеш? — вполголоса окликнул его Прокоп.

— Нет, я лаборант. Господин инженер не может выйти. У него важная работа. Что вам угодно?

— Я обязательно должен поговорить с ним.

Лаборант, верткий, бодрый человек, пожал плечами.

— Извините, ничего не выйдет. Сегодня господин Томеш не может ни на секунду...

— Делаете кракатит?

Лаборант подозрительно фыркнул:

— Вам-то какое дело?

— Я обязан... предостеречь его. Мне надо поговорить с ним, отдать кое-что.

— Он просил передать это мне. Я отнесу ему.

— Нет, я... я отдам только в его руки. Скажите ему...

— Тогда, он сказал, оставьте это при себе.

И человек в белом халате повернулся, пошел прочь.

— Подождите! — крикнул Прокоп. — Отдайте ему! И скажите... скажите... — Он вытащил из кармана, протянул через решетку тот самый измятый, толстый пакет. Лаборант недоверчиво взял его двумя пальцами, и Прокопа охватило такое чувство, будто вот сейчас он оборвал какую-то нить. — Скажите ему, что я... жду его здесь, и прошу... прийти!

— Я отнесу ему, — отрезал лаборант и ушел.

Прокоп сел на тротуарную тумбу. По ту сторону ограды стояла молчаливая тень, следила за ним. Ненастная ночь; голые ветки деревьев распростерлись в тумане, в воздухе сыро и знобко. Четверть часа спустя подошел к ограде невыспавшийся подросток с бледным, будто из творога, лицом.

— Господин инженер велели передать, что очень благодарны и что не могут выйти и чтоб вы не ждали, — заученно отрапортовал мальчик.

— Погодите! — нетерпеливо воскликнул Прокоп. — Скажите ему, что я *должен* говорить с ним: дело идет... о его жизни. И что я отдам все, что он захочет, только... только пусть он пришлет мне имя и адрес той дамы, от которой я принес пакет. Вы меня поняли?

— Господин инженер велели только передать, что они очень благодарны, — сонным голосом повторил мальчик, — и чтоб вы не ждали...

— Ах так, черт возьми! — скрипнул зубами Прокоп. — Тогда скажите ему, пусть придет, или я не двинусь отсюда! И пусть... пусть бросит работу, иначе... все взлетит на воздух, понятно?

— Понятно, — тупо сказал мальчик.

— Пусть... пусть выйдет ко мне! Пусть даст мне адрес, только этот адрес, и я тогда... все ему оставлю, ясно?

— Ясно.

— Ну, идите же, идите скорей, черт бы вас...

Прокоп ждал в лихорадочном нетерпении. Не... не шаги ли это, там, за оградой? Он представил себе Дэмона, как тот, насупленный, кривя фиолетовые губы, всматривается в голубые искры своей станции. А этот болван Томеш все не идет! Все возится — вон там, где светится окошко, — и не знает, не знает, что его уже обстреливают, что он торопливыми руками сам себе роет могилу, и... Не шаги ли это? Нет, никого.

Сильный кашель сотрясает Прокопа. Все отдам тебе, безумец, только приди, скажи ее имя! Я ничего не хочу; не хочу уже ничего, лишь бы разыскать ее; от всего откажусь, оставь мне одно только это! Прокоп устремил глаза в пустоту: стоит перед ним, скрытая вуалью — сухие листья у ног ее, — стоит, бледная и удивительно серьезная в этом сером сумраке; сжимает у груди руки, в которых уже нет конверта, смотрит на него глубоким, пристальным взглядом; и капельки холодного дождика на ее вуали и горжетке. «Мне не забыть вашей доброты ко мне», — тихо и глухо говорит она. Он поднял к ней руки — и согнулся в приступе жестокого кашля. Ооо, неужели никто не Придет? Прокоп бросился к ограде, чтоб перелезть.

— Ни с места, или буду стрелять, — крикнула тень за решеткой. — Что надо?

Прокоп разжал руки.

— Пожалуйста, — в отчаянии прохрипел он, — скажите господину Томешу... скажите ему...

— Сами говорите, — без всякой логики возразил сторож. — Да убирайтесь поживей!

Прокоп снова опустился на тумбу. Быть может, Томеш явится, когда его постигнет новая неудача. Ни за что, ни за что ему не понять, как делается кракатит; тогда он придет сам и позовет меня... Прокоп сидел сгорбившись, как проситель.

— Слушайте, — заговорил он, — я дам вам... десять тысяч, если... вы пропустите меня к нему.

— Я велю вас задержать, — прозвучал резкий неумолимый ответ.

— Я... я... хочу только узнать один адрес, понимаете? Я только... хочу... узнать... Я все отдам вам, если вы его достанете! Вы... вы женаты, у вас есть дети, а я... совсем один... и только хочу разыскать...

— Замолчите, — оборвали его. — Вы пьяны.

Прокоп умолк; сидел, раскачиваясь всем телом. Я должен дождаться, — тупо соображал он. — Почему никто не идет? Ведь я все ему отдам, и кракатит, и все остальное, только бы... только бы... «Мне не забыть вашей доброты ко мне». Нет, боже сохрани; я злой человек; это вы, вы разбудили во мне страсть быть добрым; я готов был сделать все на свете, когда вы на меня взглянули; видите — потому-то я и здесь. Самое прекрасное в вас — это то, что у вас есть власть заставить меня служить вам; поэтому, слышите, поэтому я не могу вас не любить!

— Да что вы там все бормочете? — сердито окликнули его из-за ограды. — Замолчите вы или нет?

Прокоп встал.

— Прошу вас, прошу — передайте Томешу...

— Я собаку спущу!

К решетке лениво приблизилась белая фигура с горящим угольком сигареты.

— Томеш, ты? — окликнул Прокоп.

— Нет. Вы еще здесь? — Это был лаборант. — Слушайте, вы сошли с ума.

— Ответьте ради бога, придет сюда Томеш?

— И не подумает, — презрительно бросил лаборант. — Он в вас не нуждается. Через пятнадцать минут у нас все будет готово, и тогда — gloria, victoria! [1] — тогда я напьюсь.

— Умоляю вас, скажите ему — пусть он только даст мне адрес!

— Это уже передавал мальчишка, — процедил лаборант. — И господин инженер послал вас к лешему. Станет он отрываться от работы! И когда — сейчас, в самом разгаре... Мы уже, собственно, кончили, теперь только — и готово!

Прокоп вскрикнул от ужаса:

— Бегите... бегите скорей! Скажите, пусть не включает ток высокой частоты. Пусть остановит работу! Или... или случится такое... Бегите же скорей! Он не знает... он не знает, что Дэмон... Ради бога, остановите его!

— Ха! — коротко хохотнул лаборант. — Господин Томеш знает, что ему делать. А вы... — И через ограду перелетел горящий окурок. — Спокойной ночи!

---

[1] слава, победа! (*лат.*)

Прокоп рванулся к решетке.

— Руки вверх! — взревел голос с той стороны, и тотчас пронзительно заверещал свисток. Прокоп бросился бежать.

Он промчался по шоссе, перепрыгнул через канаву, побежал по мягкому лугу; спотыкаясь в бороздах пашни, падал, вставал и мчался дальше. Наконец он остановился; сердце бушевало в груди. Вокруг — туман, безлюдные поля; теперь уже не поймают. Прислушался; все тихо, слышно только собственное сиплое дыхание. Но что, если... что, если Гроттуп взлетит на воздух? Прокоп схватился руками за голову, побежал дальше; скатился в глубокий овраг, выкарабкался из него, прихрамывая, побежал по вспаханному полю. Ожила боль в ноге, там, где был недавний перелом, в груди сильно закололо; он не мог идти дальше, сел на холодную межу, стал смотреть на Гроттуп, неясно мерцающий в тумане своими дуговыми фонарями. Город был похож на светящийся островок в бескрайнем море мрака.

Стылая, задавленная тишина; а ведь в радиусе тысяч и тысяч километров разыгрывается ужасающая, безостановочная атака; Дэмон со своей Магнитной горы управляет чудовищной беззвучной бомбардировкой всей земли; летят в пространстве неведомые волны, чтобы нащупать, взорвать порошок кракатита в любой точке земного шара. А здесь, в глубине ночи, работает упрямый безумец, склоненный над таинственным процессом превращения...

— Берегись, Томеш! — воскликнул Прокоп; но голос его утонул во тьме, как камень, брошенный в омут детской рукой.

Прокоп вскочил, сотрясаясь от страха и холода, и побежал — дальше от Гроттупа. Забрел в болото, постоял: не раздастся ли взрыв? Нет, тихо; и в новом приливе ужаса ринулся Прокоп вверх по откосу, споткнулся, упал на колени, вскочил, устремляясь вперед; попал в какие-то заросли, продирался вслепую, на ощупь, скользил, съезжал куда-то; и снова поднимался, окровавленными руками утирал пот и бежал, бежал...

Посреди поля он заметил светлый предмет; ощупал — это было поваленное распятие. Сипло дыша, опустился Прокоп на камень, на котором некогда стоял крест. Мглистое зарево над Гроттупом уже далеко, далеко на гори-

зонте; теперь оно совсем слабое, низкое. Прокоп глубоко перевел дух; нет, все тихо; значит, у Томеша опять ничего не вышло и не случится самое страшное. Он напряженно прислушивался к далеким звукам; ничего, только капают холодные капли в каком-то родничке; ничего, только сердце колотится...

И тут над Гроттупом встала гигантская черная масса, зарево погасло; через секунду мрак словно разорвался — выметнулся из земли огненный столб, заполыхал, леденя кровь, разбросал по сторонам циклопические валы дыма; и вот хлестнуло гудящим порывом воздуха, что-то затрещало, со скрипом зашумели, закачались деревья, и, — тррах! — словно щелканье исполинского кнута, грохот, рвущий барабанные перепонки, удар, глухие перекаты грома; земля дрогнула, бешено закружились сорванные листья. Ловя воздух раскрытым ртом, держась обеими руками за подножие креста, чтоб не унесло вихрем, в ужасе выкатив глаза, смотрел Прокоп в огнедышащее горнило. И разверзлась земля мощью огненной, и в грохоте грома промолвил господь.

Раз за разом поднялся в небо второй, третий массив, прорвался багровым пламенем, и вот заполыхал третий, самый ужасный взрыв; видимо, загорелись склады боеприпасов. Какая-то горящая масса взвилась в небо, брызнула во все стороны, распалась дождем взрывающихся искр. Вихрь принес оглушительный сухой грохот, он нарастает, сменяется ураганной канонадой; на складах взорвались осветительные ракеты, разлетаются искрами, как раскаленное железо под ударами молота. Разлилось багровое пламя пожара, рассыпая — ррр-та-та-та — сухие выстрелы, как сотни митральез. С трескучим ревом гаубиц раздался четвертый и пятый взрыв; пожар перекинулся в обе стороны, уже почти половина горизонта в огне.

Только теперь долетел отчаянный стон скошенного гроттупского леса; и вот его заглушила беглая пальба горящих складов. Шестой взрыв рассыпался резким треском; видимо — крезилит; тотчас после этого глухо, басовито раскатились громами взорванные бочки с динамоном. Молнией пролетел, озарив полнеба, огромный пылающий снаряд; взметнулось высокое пламя, погасло, выскочило снова немного в стороне, и лишь несколько секунд спустя прогрохотал сотрясающий громовой удар. На ми-

нуту прекратились взрывы, и стало слышно, как трещит огонь — словно хворост ломают; и снова — раскатистый, тяжкий гул, и над гроттупским заводом разом сникает пламя, оставив после себя невысокое зарево; то летучим огнем полыхает город Гроттуп.

Оцепеневший от ужаса, Прокоп едва поднялся, с трудом заковылял прочь.

LIII

Он бежал по шоссе, тяжело, сипло дыша; с разбегу взял вершину холмика, помчался в долину; половодье огня за его спиной исчезло. Таяли предметы и тени, заливаемые наползающим туманом; казалось — все становилось бесплотным и призрачным, уплывало, уносимое безбрежной рекой, где волна не плеснет и чайка не прокричит. В этом бесшумном и необъятном исчезании всего Прокопа пугал топот собственных ног; и он замедлил шаги, беззвучно пошел дальше в молочную мглу.

Впереди замерцал огонек; Прокоп подумал, что надо обойти его стороной, но остановился в нерешительности. Лампа над столом, огонек в печи, фонарь, нащупывающий дорогу... Словно больная бабочка затрепетала в нем крылышками, стремясь к мерцающему огоньку. Прокоп медленно приближался, как бы не решаясь подойти; он останавливался, согревая душу далеким неверным пятнышком света, и снова шел и боялся, что опять его прогонят. Наконец подошел близко, остановился: а это повозка с холщовым верхом, на оглобле висит горящий фонарь, отбрасывая трепетные блики на белую лошадь, белые камни, белые стволы придорожных берез; холщовая торба привязана к морде лошади; опустив голову, она хрупает овес; у нее длинная серебряная грива и хвост, не знавший ножниц; а возле стоит тщедушный старичок, с белой бородой и серебряными волосами, и он так же светел, как холщовый верх повозки; переминается, задумался старичок, расчесывает пальцами белую гриву лошадки, ласково что-то приговаривая.

Вот старичок обернулся, смотрит в непроглядную тьму, спрашивает дребезжащим голоском:

— Это ты, Прокоп? Иди, я тебя уже поджидаю.

Прокоп даже не удивился — ему только стало безмерно легко.

— Иду, — прошептал он, — ведь я так долго бежал!

Старичок подошел, пощупал его пальто.

— Совсем мокрый, — укоризненно сказал он. — Простудишься смотри.

— Дедушка! — вырвалось у Прокопа. — Вы знаете, что Гроттуп взлетел на воздух?

Старичок соболезнующе покачал головой:

— А народу сколько погибло! Утомился ты, правда? Садись на козелки, я тебя довезу. — Дед засеменил к лошадке, неторопливо стал отвязывать торбу с овсом. — Но, но, будет тебе, — прошамкал он. — Поехали, гость у нас,

— А что у вас в повозке? — спросил Прокоп.

Старичок обернулся к нему, засмеялся.

— Мир, — ответил он. — Ты еще не видал мир-то?

— Не видел.

— Ну, так я тебе покажу, постой-ка.

Он положил торбу в повозку и принялся без всякой спешки отстегивать верх с одной стороны. Отстегнул, откинул — показался ящик с застекленным окошечком.

— Постой-ка, постой, — бубнил старичок, отыскивая что-то на земле, поднял хворостинку, подсел на корточки к фонарю и зажег ее, делая все неторопливо, основательно.

— Гори, разгорайся! — уговаривал он хворостинку; потом, защищая ее ладонями от ветра, подошел к ящику, поднял крышку и зажег хворостинкой какой-то фитилек внутри.

— У меня там масло, — объяснил он. — Кое-кто уже карбидом светит, да... от карбида глазам очень больно... И вещь-то такая, взорвется — и на тебе; еще покалечит кого. А масло — все равно как в церкви.

Он наклонился к окошку, заглянул внутрь светлыми глазами.

— Хорошо видать. Ох, красота какая! — восторженно прошептал старичок. — Ну, иди смотри. Пригнись только, сделайся... маленьким, как дети. Вот так...

Прокоп наклонился к окошку.

— Это греческий храм господень в Джирдженти, — серьезным тоном стал пояснять старичок, — на острове Сицилия; посвящен богу, сиречь Юноне Лацинии. Ты на колонны посмотри. Из таких глыбин вытесаны, что целая семья может обедать на каждом обломке. Подумай только, работа-то какая! Крутить дальше? Это вид с горы Пенегал

в Альпах, когда солнышко садится. Снег тогда загорается таким дивным прекрасным светом, как здесь показано. Это альпийский свет, а та гора называется Латемар. Дальше? Вот священный город Бенарес в Индии; и река там священная, грехи очищает. Тысячи людей нашли здесь, что искали...

Это были тщательно, кропотливо нарисованные картинки, раскрашенные вручную; бумага пожелтела, краски немного поблекли, и все же в них сохранилась милая, радостная ясность синевы, зелени и желтизны, и красные кафтанчики на фигурках, и чистая лазурь небес; каждая травинка была выписана с любовью и вниманием.

— Эта священная река — Ганг, — уважительно добавил старый и повернул рукоятку. — А это — Загур, прекраснейший замок в мире.

Прокоп так и пристыл к окошку. Он увидел белоснежный дворец с легкими куполами, высокие пальмы и голубой водомет; крошечная фигурка с пером на тюрбане, в алом кафтанчике, желтых шароварах и с татарским ятаганом у пояса, склоняясь до земли, приветствует даму в белом, которая ведет под уздцы пляшущего коня.

— Где он... где Загур? — шепчет Прокоп.

Старичок пожал плечами.

— Там где-то, — неопределенно ответил он, — где прекраснее всего. Одни его находят, другие — нет. Повернуть дальше?

— Еще нет...

Старый отошел, принялся гладить лошадку по крупу.

— А ты погоди, погоди, но-но-но, — тихо заговорил он с ней. — Надо ведь ему показать, правда? Пусть себе радуется.

— Поверните, дедушка, — попросил ошеломленный Прокоп.

Последовали картинки с гамбургским портом, Кремлем, полярный пейзаж с северным сиянием, вулкан Кракатау, Бруклинский мост, собор Парижской богоматери, туземная деревушка на Борнео; домик Дарвина в Дауне, станция беспроволочного телеграфа в Полдью, шанхайская улица, водопады Виктории, замок Пернштин, нефтяные вышки Баку.

— А вот и взрыв в Гроттупе, — сказал старичок; на картинке — клубы розового дыма, выброшенные серножелтым пламенем высоко вверх, до самого обреза; в дыму

и пламени жутко висят разорванные человеческие тела. — Погибло при этом взрыве больше пяти тысяч человек. Великое было несчастье, — вздохнул старичок. — Это моя последняя картинка. Ну, повидал мир?

— Нет, — как в дурмане, отозвался Прокоп.

Старый разочарованно покачал головой.

— Ты хочешь видеть слишком много. Долго жить будешь. — Он задул фитилек в ящике и, бормоча что-то, медленно опустил холстину. — Садись на козлы, поедем. — С этими словами он снял мешок со спины лошади и набросил Прокопу на плечи. — Чтоб не замерз, — сказал он, подсаживаясь к нему; взял вожжи и тихонько свистнул. Лошадка пошла неторопливой рысью. — Но-но, ми-лая! — нараспев крикнул старичок.

Мимо плыли аллеи берез и рябин, домишки, прикрытые periной тумана, мирный спящий край.

— Дедушка, — вырвалось у Прокопа, — почему со мной все это случилось?

— А что, милый?

— Почему мне столько встретилось в жизни?

Задумался старый.

— А это только так кажется, — произнес он наконец. — Все, что встречается человеку, исходит от него самого. Вот и разматывается с тебя, как ниточка с клубка.

— Неправда, — возразил Прокоп. — Почему я встретил княжну? Дедушка... вы, быть может, меня знаете. Ведь я искал... другую! И все же это случилось — почему? Скажите!

Старик помолчал, шевеля мягкими губами.

— То гордость твоя была, — медленно ответил он. — Иной раз, случается, находит на человека, он и сам не знает как, а только это было в нем самом. Вот и пойдет он колобродить. — Старичок для наглядности взмахнул кнутом, лошадь испугалась, понесла. — Тппрру, что ты? Что ты? — тоненьким голоском окликнул он лошадку. — Видишь, вот так же бывает, когда начнет метаться молодой человек: всех переполошит. А ведь великие-то дела и не нужны вовсе. Сиди да гляди на дорогу; и так доедешь.

— Дедушка, — жалобно произнес Прокоп, зажмурив глаза от душевной боли, — я поступал плохо?

— Плохо ли, нет ли, а людям вредил, — рассудительно молвил старый. — С умом-то не делал бы так; разум

нужен. Должен человек думать, к чему она, каждая вещь, дана. К примеру... можешь сотенной бумажкой свечу зажечь, а можешь и долг заплатить; зажечь свечу — вроде бы и более великое дело, но... Вот так же и с женским полом, — закончил он неожиданно.

— Плохо я поступал?

— Чего?

— Злой был?

— ...Чисто в тебе не было. Человеку... больше умом надо жить, чем чувством. А ты бросался на всех как оглашенный.

— Это все кракатит, дедушка.

— Чего?

— Да я тут... изобретение одно сделал, и оттого...

— Не было бы этого в тебе, не было бы и в твоем изобретении. Человек все делает из того, что есть в нем самом. Погоди, вот ты теперь подумай; подумай да вспомни, из чего оно, твое изобретение, и как оно делается. Хорошенько подумай, а тогда уж скажи, что знаешь. Эй, нно-но!

Повозка грохотала по скверной дороге; белая лошадка усердно перебирала ногами в тряской, старомодной рыси; кружок света плясал по земле, по деревьям, камням; старичок подскакивал на козлах, тихонько напевая. Прокоп сильно потер лоб.

— Дедушка, — шепотом позвал он.

— Ну?

— Я уже не знаю!

— О чем ты?

— Я... я забыл... как надо делать... кракатит!

— Видишь, — довольным тоном молвил дед. — Вот ты кое-что и обрел!

LIV

Прокопа охватило такое чувство, будто они проезжали мирный край его детства; но туман был слишком густ, и мерцающий свет фонаря с трудом достигал обочины дороги; а дальше, по обеим ее сторонам, тянулся неведомый, молчаливый мир.

— Го-го-го! — прикрикнул старичок на лошадку, и та свернула с дороги прямо в этот скрытый, немой мир.

Колеса утонули в мягкой траве; Прокоп разглядел низинку: с двух сторон ее стояли безлистные рощи, между ними лежала прелестная полянка.

— Тпрру! — остановил старичок свою лошадь и медленно спустился с козел. — Слезай, приехали, — сказал он Прокопу и не спеша стал отвязывать постромки. — Здесь нас, вишь, никто не потревожит.

— А кто может нас потревожить?

— ...Полицейские. Порядок-то нужен... только они всегда требуют невесть какие бумаги... да разрешения... да куда и откуда... Я и не разбираюсь в этом. — Он выпряг лошадку, тихонько сказал ей: — Молчи, молчи, хлебушка дам.

Прокоп с трудом сошел с козел, — все тело его затекло от долгой езды.

— Где мы?

— А около сарайчика, — неопределенно ответил старик. — Выспишься, и ладно.

Он снял фонарь с оглобли, осветил дощатую хижину — нечто вроде сарая для сена, ветхую, покосившуюся.

— А я разведу костерок, — нараспев сказал дед, — чайку тебе вскипячу, вот пропотеешь, и опять хорошо тебе будет. — Он закутал Прокопа в мешок, поставил фонарь с ним рядом. — Подожди только, дров принесу. Садись тут.

Старичок пошел было, да вдруг остановился; сунув руку в карман, вопросительно взглянул на Прокопа.

— Что вы, дедушка?

— Не знаю... может, захочешь... Я, видишь ли, еще и гадальщик. — Вынул руку из кармана: между его пальцев выглянула белая мышка с рубиновыми глазками. Старик поспешно заговорил:

— Знаю, ты в это не веришь... да уж мышка-то больно хорошенькая... Или погадать?

— Погадайте.

— Вот и ладно! — обрадовался старый. — Ш-ш-ш, малая, гоп!

Он раскрыл ладонь, белая мышка проворно взбежала к нему на плечо, пошевелила носиком у самого мохнатого уха и спряталась за ворот старичка.

— Какая красивая, — вздохнул Прокоп.

Старик так и просиял.

— А вот увидишь, что она умеет!

И он побежал к повозке, порылся, достал ящичек, в котором тесно и ровно были уложены билетики. Устремив свои светлые глазки в пространство, старичок встряхнул ящичек.

— А ну, мышка, покажи, покажи ему его любовь! — И он присвистнул сквозь зубы, тихо, как летучие мыши.

Мышка выскочила, сбежала по его рукаву, вспрыгнула на ящик; Прокоп, затаив дыхание, следил, как она перебирает билетики розовыми лапками. Вот она схватила зубками один билетик, потащила, да он не поддавался; тогда мышка махнула головкой и схватила соседний; вытянула уголок, села на задние лапки, покусывая коготки на передних.

— Вот твоя любовь, — восторженно шепнул старый. — Возьми ее.

Прокоп вынул билет и поспешно наклонился к огню. Это была фотография... девушки с растрепанными волосами! Ее прекрасная грудь обнажена, и вот они, вот они, экстатические, бездонные глаза...

Прокоп узнал ее.

— Дедушка это не она!

— Дай-ка, — удивился старый и взял фотографию. — А жаль, жаль, — сожалеюще причмокнул он. — Такая барышня! Ля-ля, малышка, это не та — на-на-на, кс-кс, ма-лая!

Он сунул фотографию на место и опять издал тихий свист. Мышка блеснула рубиновым глазком, снова ухватила зубками тот, первый билетик, подергала; нет, не идет; вытащила соседний, почесалась.

Прокоп схватил билетик; это была Анчи, неумелый деревенский снимок; на Анчи праздничное платье, и стоит она, такая милая и глупенькая, не зная, куда девать руки...

— Нета, — прошептал Прокоп.

Старичок взял фотографию, погладил и будто сказал ей что-то; недовольно, грустно взглянул на Прокопа и опять тоненько свистнул.

— Вы сердитесь? — робко спросил Прокоп.

Старик не ответил; задумчиво глядел он на мышку. А та еще раз попыталась вытащить застрявший билетик; нет, никак! Встряхнулась и вытянула уголок соседнего.

Это был портрет княжны. Прокоп застонал, выронил его из рук.

Старик молча нагнулся, поднял фотографию.

— Я сам, сам, — прохрипел Прокоп, протягивая руку к ящичку. Дед удержал его:

— Нельзя!

— Но там... там она! — сквозь стиснутые зубы выдавил Прокоп. — Там та, настоящая!

— А-а, там у меня все люди, — сказал старик и погладил ящик. — А теперь посмотрим твою судьбу.

Он тихо цыкнул, мышка выскользнула из рукава, вытащила зеленый билетик и скрылась стремглав — видимо, Прокоп испугал ее.

— Прочитай-ка, — сказал старик, тщательно запирая свой ящик. — А я пока хворосту принесу; да не терзай себя больше.

Он погладил лошадь, уложил ящик на дно повозки и пошел к роще. Его светлая холщовая блуза выделялась в темноте; лошадка посмотрела ему вслед, тряхнула головой и пошла за ним.

— И-ха-ха! — донесся издали ласковый певучий голос старичка. — Со мной хочешь? Ишь ты какая! Ну идем, идем, ма-лая!

Они растворились в тумане, а Прокоп вспомнил о зеленом билетике.

«Ваша судьба, — прочел он при неверном свете фонаря. — Вы человек благородный, сердца доброго и в своей области весьма ученый. На долю вашу выпадет много невзгод; но если вы будете остерегаться необдуманных поступков и стремления к великим делам — добьетесь уважения окружающих и займете выдающееся положение. Многое потеряете, но позднее будете вознаграждены. Ваши несчастливые дни — вторник и пятница. Saturn. conj. b. b. Martis. Deo gratias»[1].

Из темноты вынырнул старичок с полной охапкой валежника, за ним — белая голова лошади.

— Ну как? — напряженно, с какой-то авторской застенчивостью спросил он. — Прочитал? Хорошая судьба?

— Хорошая, дедушка.

— Вот видишь, — удовлетворенно вздохнул тот. — Все будет хорошо. И слава богу, когда так.

[1] Сатурн в сочетании с Марсом. Благодарение господу (*лат.*).

Он сложил валежник и, радостно бормоча, развел перед хижиной костер. Опять поискал в повозке, принес котелок, отправился за водой.

— Сейчас, сейчас, — все бормотал он. — Варись, кипи, гость у нас!

Он суетился, как хлопотливая хозяюшка; принес из повозки хлеб и, с наслаждением принюхиваясь, развернул кусок деревенского сала.

— А соль-то, соль! — хлопнул он себя по лбу, опять побежал к повозке.

Наконец примостился у костра, отделил Прокопу большую половину еды, медленно стал пережевывать каждый кусочек. Прокопу дым, что ли, в глаза попал — он ел, а по лицу его стекали слезы. Старик каждый второй кусок протягивал лошадке, которая склонила над ним озаренную костром морду. И вдруг, сквозь пелену слез, Прокоп узнал его: да это — то старое, морщинистое лицо, которое он изо дня в день видел на дощатом потолке своей лаборатории! Сколько раз глядел он на него, засыпая! А утром, проснувшись, уже не узнавал его — были только сучки да ветхость, сырость и пыль...

Старичок улыбнулся:

— Вкусно? Ай-ай, опять хмуришься! Беда... — Он нагнулся к котелку. — Уже закипает.

Поднялся с усилием, заковылял к повозке. Вернулся через минуту с чашками.

— На, держи.

Прокоп принял чашку из его рук; она была расписана незабудками, венком окружавшими золотые буквы: «Людмила». Прокоп раз двадцать перечитал надпись, и слезы брызнули из его глаз.

— Дедушка, это... ее имя?

Старик смотрел на него грустно, ласково.

— Так знай же — да, ее, — тихо молвил он.

— А... найду я ее когда-нибудь?

Ответа не было; старичок только усиленно моргал.

— Дай-ка налью. — Голос его прозвучал нерешительно.

Дрожащей рукой подставил Прокоп чашку, и старый осторожно налил ему крепкого чаю.

— Пей, пока не остыло, — мягко сказал он.

— Спа... спасибо... — всхлипнул Прокоп и отпил глоток терпкого настоя.

Старый задумчиво гладил свои длинные волосы.

— Горько, очень горько, правда? — медленно проговорил он. — Сахару хочешь?

Прокоп покачал головой; губы его сводило от горечи слез, но в груди разливалось благодетельное тепло.

Старичок стал громко отхлебывать чай.

— Посмотри-ка, что у меня тут нарисовано, — сказал он, чтоб нарушить молчание, и протянул Прокопу свою чашку; на ней были изображены крест, сердце и якорь.

— Это вера, любовь и надежда. Ну, не плачь больше.

Старик поднялся над костром, молитвенно сложил руки.

— Милый, милый, — тихо заговорил он, — уже не свершишь ты свое наивысшее и не отдашь все. Ты хотел взорваться страшной силой; и вот останешься целым, и мир не спасешь — и не разрушишь. Многое останется в тебе запертым, как в камне огонь; и это хорошо, ибо в этом — твоя жертва. Хотел ты творить слишком великое — а будешь творить малое. И это — хорошо.

Прокоп стоял у костра на коленях и не осмеливался поднять глаза; теперь он знал: с ним говорит бог-отец.

— Это — хорошо, — прошептал он.

— Это хорошо. Сотворишь дела на благо людям. Кто помышляет о наивысшем — отвратил взор свой от людей. За это будешь служить им.

— Это хорошо, — одним дыханием отозвался коленопреклоненный Прокоп.

— Вот видишь, — обрадованно сказал дед и опустился на корточки. — Послушай-ка, на что он, этот твой... как ты назвал свое изобретение?

Прокоп поднял голову.

— Я... забыл.

— Ну, ничего, — утешил его старый. — Придумаешь другое. Постой, что я хотел сказать? Ах, да. На что он, такой большой взрыв? Еще покалечишь кого. А ты ищи, испытывай, может, найдешь... Ну, к примеру, такое что-нибудь: пф-пф-пф. — И старичок попыхтел мягкими губами. — Понимаешь? Чтоб оно только заставляло двигаться какую-нибудь машину, чтоб людям легче работалось. Понял ты меня?

— Вы имеете в виду... какое-то дешевое горючее, да?

— Вот-вот, дешевое, — радостно закивал старичок. — Чтоб пользы было побольше. И чтоб оно светило и грело, ладно?

— Погодите, — задумался Прокоп. — Не знаю... Это ведь придется пробовать... с другого конца.

— Ну да! С другого конца подойти, и все тут. Видишь, и дело тебе сразу нашлось. Но сейчас брось, не думай, еще завтра день будет. А я постелю тебе.

Он поднялся, засеменил к повозке.

— Эй-эй, ма-лая! — запел он у морды лошади. — Спать пойдем.

Вернулся с тощей подушкой.

— Ну, идем. — И, взяв фонарь, вошел в дощатую хижину. — Ого, соломы тут хватит на всех троих, — мурлыкал он, стеля. — Слава богу!

Прокоп сел на солому. И вдруг, вне себя от изумления, воскликнул:

— Посмотрите, дедушка!

— Где?

— Вон, на досках...

На каждой доске в стене хижины было написано мелом по большой букве; и Прокоп в колеблющемся свете фонаря прочитал: «К... Р... А... К... А... Т...»

— Ничего, ничего, — успокоительно забормотал дедушка, торопливо стирая буквы шапкой. — Вот и нету их. Ты ложись, я тебя мешком укрою. Вот так...

Он подошел к двери.

— Дадада, ма-лая! — пропел он дребезжащим голоском, и лошадка сунула в дверь свою красивую серебряную морду, потерлась о блузу старика.

— Ну, иди сюда, ложись, — велел старый.

Лошадка вошла, подгребла копытами солому у другой стены, опустилась на колени.

— А я потом лягу между вами, — сказал дедушка. — Конь-то надышит, и тепло тебе будет, так-то!

Он тихонечко сел на пороге. За ним еще алели в темноте угли костра и видны были ласковые мудрые глаза лошади, преданно обращенные к нему; а старик все шептал что-то, мурлыкал, кивая головой.

У Прокопа жгло глаза от нестерпимой нежности. Да ведь это... ведь это мой покойный батюшка, мелькнуло

у него в голове. Боже, как постарел! И такая у него тоненькая, исхудавшая шейка...

— Спишь, Прокоп? — шепнул старичок.

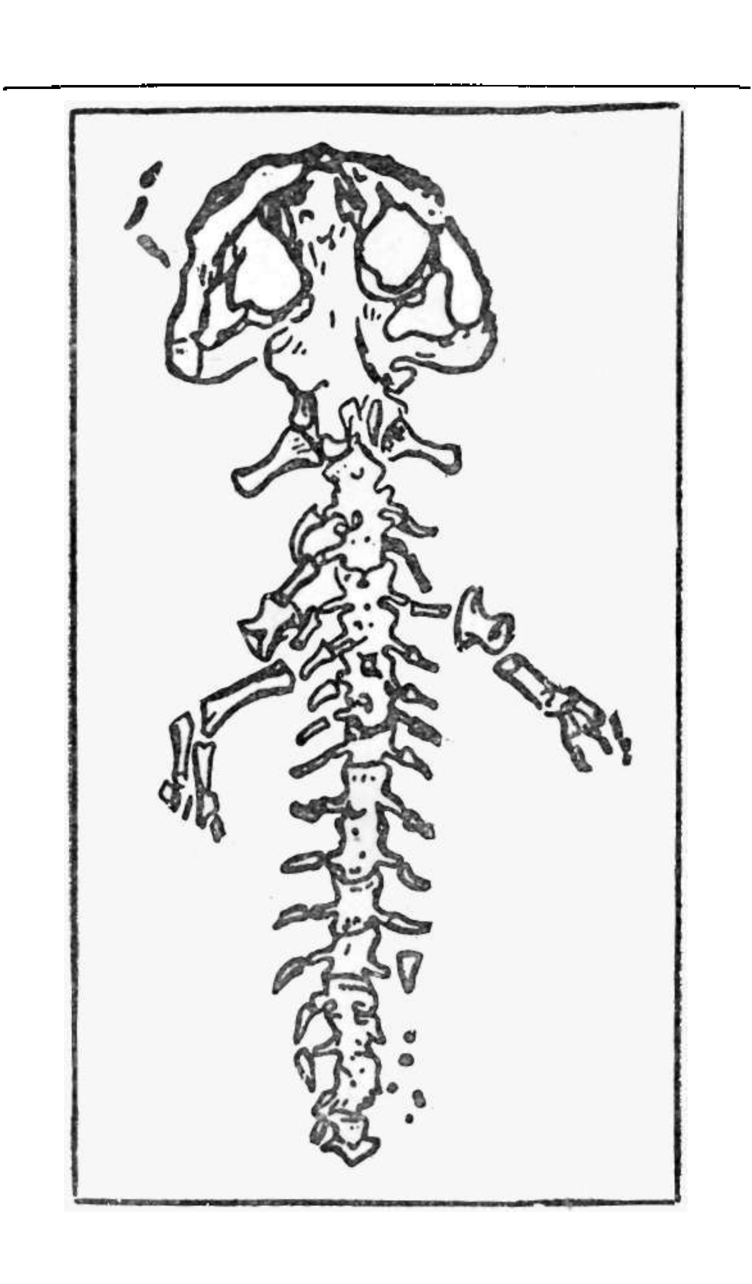
— Не с п л ю , — отозвался тот, дрожа от любви.

И дедушка замурлыкал странную тихую песню: «Лалала хоу, дадада пан, бинкили бункили хоу та-та...»

Прокоп наконец уснул спокойным, освежающим сном без сновидений.

Война с саламандрами

Перевод
А. ГУРОВИЧА



Книга первая

ANDRIAS SCHEUCHZERI

1. Странности капитана ван Тоха

Если бы вы стали искать на карте островок Танамаса, вы нашли бы его на самом экваторе, немного к западу от Суматры. Но если бы вы спросили капитана И. ван Тоха на борту судна «Кандон-Бандунг», что, собственно, представляет собой эта Танамаса, у берегов которой он только что бросил якорь, то капитан сначала долго ругался бы, а потом сказал бы вам, что это самая распроклятая дыра во всем Зондском архипелаге, еще более жалкая, чем Танабала, и по меньшей мере такая же гнусная, как Пини или Баньяк; что единственный, с позволенья сказать, человек, который там живет, — если не считать, конечно, этих батаков, — это вечно пьяный торговый агент, помесь кубу с португальцем, еще больший вор, язычник и скотина, чем чистокровный кубу и чистокровный белый вместе взятые; и если есть на свете что-нибудь поистине проклятое, так это, сэр, проклятущая жизнь на проклятущей Танамасе. После этого вы, вероятно, спросили бы капитана, зачем же он в таком случае бросил здесь свои проклятые якоря, как будто собирается остаться тут на несколько проклятых дней; тогда он сердито засопел бы и проворчал что-нибудь в том смысле, что «Кандон-Бандунг» не стал бы, разумеется, заходить сюда только за проклятой копрой или за пальмовым маслом; а впрочем, вас, сэр, это совершенно не касается: у меня свои проклятые дела, а вы, сэр, будьте любезны, занимайтесь своими. И капитан разразился бы продолжительной и многословной бранью, приличествующей немолодому, но еще вполне бодрому для своих лет капитану морского судна.

Но если бы вы вместо всяких назойливых расспросов предоставили капитану И. ван Тоху ворчать и ругаться про себя, то вы могли бы узнать побольше. Разве не видно по его лицу, что он испытывает потребность облегчить свою душу? Оставьте только капитана в покое, и его раздражение само найдет себе выход. «Видите ли, сэр, — разразится он, — эти молодчики у нас в Амстердаме, эти проклятые денежные мешки, вдруг придумали: жемчуг,

любезный, поищите, мол, там где-нибудь жемчуг. Теперь ведь все сходят с ума по жемчугу и всякое такое». Тут капитан с озлоблением плюнет. «Ясно — вложить монету в жемчуг. А все потому, что вы, мои милые, вечно хотите воевать либо еще что-нибудь в этом роде. Боитесь за свои денежки, вот что. А это, сэр, называется — кризис». Капитан ван Тох на мгновение приостановится, раздумывая, не вступить ли с вами в беседу по экономическим вопросам, — сейчас ведь ни о чем другом не говорят; но здесь, у берегов Танамасы, для этого слишком жарко, и вас одолевает слишком большая лень. И капитан ван Тох махнет рукой и пробурчит: «Легко сказать, жемчуг! На Цейлоне, сэр, его подчистили на пять лет вперед, а на Формозе и вовсе запретили добычу. А они: «Постарайтесь, капитан ван Тох, найти новые месторождения. Загляните на те проклятые островки, там должны быть целые отмели раковин». Капитан презрительно и шумно высморкается в небесно-голубой носовой платок. «Эти крысы в Европе воображают, будто здесь можно найти хоть что-нибудь, о чем никто еще не знает. Ну и дураки же, прости господи! Еще спасибо, не велели мне заглядывать каждому батаку в пасть — не блестит ли там жемчуг! Новые месторождения! В Паданге есть новый публичный дом, это — да, но новые месторождения?.. Я знаю, сэр, все эти острова, как свои штаны... От Цейлона и до проклятого острова Клиппертона. Если кто думает, что он найдет здесь что-нибудь, на чем можно заработать, так, пожалуйста, — честь и место! Я плаваю в этих водах тридцать лет, а олухи из Амстердама хотят, чтобы я тут новенькое открыл!» Капитан ван Тох чуть не задохнется при мысли о таком оскорбительном требовании. «Пусть пошлют сюда какого-нибудь желторотого новичка, тот им такое откроет, что они только глазами хлопать будут. Но требовать подобное от человека, который знает здешние места, как капитан И. ван Тох!.. Согласитесь, сэр, в Европе — ну, там еще, пожалуй, можно что-нибудь открыть, но здесь!.. Сюда ведь приезжают только вынюхивать, что бы такое пожрать, и даже не пожрать, а купить-продать. Да если бы во всех проклятых тропиках еще нашлась какая-нибудь вещь, которую можно было бы сбыть за двойную цену, возле нее выстроилась бы куча агентов и махала бы грязными носовыми платками пароходам семи государств, чтобы они остановились. Так-то, сэр. Я, с вашего разре-

шения, знаю тут все лучше, чем министерство колоний ее величества королевы». Капитан ван Тох сделает усилие, дабы подавить справедливый гнев, что и удастся ему после некоторого более или менее продолжительного кипения. «Видите вон тех двух паршивых лентяев? Это искатели жемчуга с Цейлона, да простит мне бог, сингалезцы в натуральном виде, как их господь сотворил; не знаю только, зачем он это сделал. Теперь я их вожу с собой и, как найду где-нибудь кусок побережья, на котором нет надписей «Агентство», или «Батя», или «Таможенная контора», пускаю их в воду искать раковины. Тот дармоед, что поменьше ростом, ныряет на глубину восемьдесят метров; на Принцевых островах он выловил на глубине девяноста метров ручку от киноаппарата, но жемчуг — куда там! Ни намека! Никчемный народишко эти сингалезцы. Вот, сэр, какова моя проклятая работа: делать вид, будто я покупаю пальмовое масло, и при этом выискивать новые месторождения раковин жемчужниц. Может, они еще захотят, чтобы я открыл им какой-нибудь девственный континент? Нет, сэр, это не дело для честного капитана торгового флота. И. ван Тох не какой-нибудь проклятый авантюрист, сэр, нет...» И так далее; море велико; а океан времени бесконечен; плюй, братец, в море — воды в нем не прибавится; кляни свою судьбу — а ей нипочем... И вот, после долгих предисловий и отступлений, мы подходим наконец к тому моменту, когда капитан голландского судна «Кандон-Бандунг» И. ван Тох со вздохами и проклятьями садится в шлюпку, чтобы отправиться в кампонг [1] на Танамасе и потолковать с пьяным метисом от кубу и португальца о кое-каких коммерческих делах.

— Sorry, Captain[2], — сказал в конце концов метис от кубу и португальца. — Здесь, на Танамасе, никаких раковин не водится. Эти грязные батаки, — произнес он с непередаваемым о т в р а щ е н и е м, — жрут даже медуз; они живут больше в воде, чем на земле; женщины здесь до того провоняли рыбой, что вы представить себе не можете. Так что я хотел сказать? Ах да, вы спрашивали о женщинах...

— А нет ли тут какого-нибудь кусочка б е р е г а, — спросил капитан, — где батаки не лазят в воду?

---

[1] деревню (*малайск.*).

[2] Прошу прощения, капитан (*англ.*).

Метис от кубу и португальца покачал головой.

— Нет, сэр. Разве только Девл-Бэй, но это место вам не годится.

— Почему?

— Потому что... туда никому нельзя, сэр. Вам налить, капитан?

— Thanks[1]. Там что, акулы?

— Акулы и... в о о б щ е , — пробормотал м е т и с . — Нехорошее место, сэр. Батакам не понравится, если кто-нибудь туда полезет.

— Почему?

— ...Там черти, сэр... Морские черти.

— Это что же такое — морской черт? Рыба?

— Нет, не р ы б а , — уклончиво ответил м е т и с . — Просто черт, сэр. Подводный черт. Батаки называют его «тапа». Тапа. У них там будто бы свой город, у этих чертей. Вам налить?

— А как он выглядит... этот морской черт?

Метис от кубу и португальца пожал плечами.

— Как черт, сэр... Один раз я его видел. Вернее, только голову. Я возвращался в лодке с Кейп[2] Гаарлем, и вдруг прямо передо мной он высунул из воды свою голову...

— Ну и как? На что это было похоже?

— Башка как у батака, сэр, только совершенно голая.

— Может, это и был батак?

— Нет, сэр. В том месте ни один батак не полезет в воду. А потом оно... моргало *нижними веками, сэр.* — Дрожь ужаса пробежала по телу м е т и с а . — Нижними веками, которые у него закрывают весь глаз. Это был тапа.

Капитан И. ван Тох повертел в своих толстых пальцах стакан с пальмовой водкой.

— А вы не были пьяны? Не надрались, часом?

— Был, сэр. Иначе меня не понесло бы туда. Батаки не любят, когда кто-нибудь тревожит этих... чертей.

Капитан ван Тох покачал головой.

— Никаких чертей не существует. А если бы они существовали, то выглядели бы как европейцы. Это была какая-нибудь рыба или в этом роде.

---

[1] Спасибо (*англ.*).

[2] мыса (*англ.* cape).

— У рыбы, — пробормотал, запинаясь, метис от кубу и португальца, — у рыбы нет рук, сэр. Я не батак, сэр, я посещал школу в Бадьюнге... и я еще помню, может быть, десять заповедей и другие точные науки; образованный человек всегда распознает, где черт, а где животное. Спросите батаков, сэр.

— Это дикарские суеверия, — объявил капитан, улыбаясь с чувством превосходства образованного человека. — С научной точки зрения это бессмыслица. Черт и не может жить в воде. Что ему там делать? Нельзя, братец, полагаться на болтовню туземцев. Кто-то назвал эту бухту «Чертовым заливом», и с тех пор батаки боятся ее. Так-то, — сказал капитан и хлопнул по столу пухлой ладонью. — Ничего там нет, парень, это ясно с научной точки зрения.

— Да, сэр, — согласился метис, посещавший школу в Бадьюнге, — но здравомыслящему человеку нечего соваться в Девл-Бэй.

Капитан И. ван Тох побагровел.

— Что? — крикнул он. — Ты, грязный кубу, воображаешь, что я побоюсь твоих чертей? Посмотрим!

И он прибавил, поднимая со стула все двести фунтов своего мощного тела:

— Ну, нечего терять с тобой время, когда меня ждет бизнес. Однако заметь себе: в голландских колониях чертей не бывает; если же какие и есть, то во французских. Там они, пожалуй, водятся. А теперь позови-ка мне старосту этого проклятого кампонга.

Означенного сановника не пришлось долго искать: он сидел на корточках возле лавчонки метиса и жевал сахарный тростник. Это был пожилой, совершено голый человек, гораздо более тощий, чем старосты в Европе. Немного позади, соблюдая подобающее расстояние, сидела на корточках вся деревня, с женщинами и детьми, ожидая, очевидно, что ее будут снимать для фильма.

— Вот что, братец, — обратился капитан ван Тох к старосте по-малайски (с таким же успехом он мог бы обратиться к нему по-голландски или по-английски, так как достопочтенный старый батак не знал ни слова по-малайски, и метису от кубу и португальца пришлось перевести на батакский язык всю капитанскую речь; капитан, однако, по каким-то соображениям считал наиболее целесообразным говорить по-малайски). — Вот что,

братец. Мне нужно несколько здоровых, сильных, храбрых парней, чтобы взять их с собой на промысел. Понимаешь, на промысел.

Метис переводил, а староста в знак понимания кивал головой; после этого он обратился к широкой аудитории и произнес речь, имевшую явный успех.

— Вождь говорит, — перевел метис, — что вся деревня пойдет с туаном[1] капитаном на промысел, куда будет угодно туану.

— Так. Скажи им теперь, что мы пойдем добывать раковины в Девл-Бэй.

Около четверти часа продолжалось взволнованное обсуждение, в котором приняла участие вся деревня, а главным образом — старухи. Затем метис обратился к капитану:

— Они говорят, сэр, что в Девл-Бэй идти нельзя.

Капитан начал багроветь.

— А почему нельзя?

Метис пожал плечами.

— Потому что там тапа-тапа. Черти, сэр.

Лицо капитана приобрело лиловый оттенок.

— Тогда скажи им, что, если они не пойдут... я им зубы повыбиваю... я им уши оторву... я их повешу... я сожгу их вшивый кампонг... Понял?

Метис честно перевел все, после чего снова последовало продолжительное и оживленное совещание. Наконец метис сообщил:

— Они говорят, сэр, что пойдут в Паданг жаловаться в полицию и скажут, что туан им угрожал. На это есть будто бы статьи в законе. Староста говорит, что он этого так не оставит.

Капитан И. ван Тох из лилового стал синим.

— Так скажи ему, — взревел он, — что он...

И капитан говорил одиннадцать минут без передышки.

Метис перевел, насколько у него хватило запаса слов, и после новых, хотя и долгих, но уже деловых дебатов передал капитану:

— Они говорят, сэр, что готовы отказаться от жалобы в суд, если туан внесет штраф непосредственно местным властям. Они запросили, — метис заколебался, —

[1] господином (*малайск.*).

двести рупий. Но этого, пожалуй, многовато. Предложите им пять.

Краска на лице капитана начала распадаться на отдельные темно-коричневые пятна. Сначала он изъявил намерение истребить вообще всех батаков на свете, потом снизил свои претензии до трехсот пинков в зад, а под конец готов был удовлетвориться тем, что набьет из старосты чучело для колониального музея в Амстердаме. Батаки, со своей стороны, спустили цену с двухсот рупий до железного насоса с колесом, а под конец уперлись на том, чтобы капитан вручил старосте в виде штрафа бензиновую зажигалку.

— Дайте им, с э р , — уговаривал метис от кубу и португальца, — у меня на складе три зажигалки, хотя и без фитилей...

Так был восстановлен мир на Танамасе. Но капитан И. ван Тох отныне знал, что на карту поставлен престиж белой расы.

Во второй половине дня от голландского судна «Кандон-Бандунг» отчалила шлюпка, в которой находились следующие лица: капитан И. ван Тох, швед Иенсен, исландец Гудмундсон, финн Гиллемайнен и два сингалезских искателя жемчуга. Шлюпка взяла курс прямо на бухту Девл-Бэй.

В три часа, когда отлив достиг предела, капитан стоял на берегу, шлюпка крейсировала на расстоянии приблизительно ста метров от побережья, высматривая акул, а оба сингалезских водолаза с ножами в руках ожидали команды.

— Ну, сначала т ы , — сказал капитан тому из них, кто был подлиннее. Голый сингалезец прыгнул в воду, пробежал несколько шагов по дну и нырнул. Капитан стал смотреть на часы.

Через четыре минуты двадцать секунд приблизительно в шестидесяти метрах слева показалась из воды бронзовая голова; с непонятной торопливостью, словно цепенея от страха, сингалезец судорожно карабкался на скалы, держа в одной руке нож, а в другой — раковину.

Капитан нахмурился.

— Ну, в чем дело? — резко спросил он.

Сингалезец все еще цеплялся за скалы, не в силах вымолвить от ужаса ни слова.

— Что случилось? — крикнул капитан.

— Саиб, саиб... — прохрипел сингалезец и, тяжело дыша, рухнул на песок. — Саиб, саиб...

— Акулы?

— Джинны, — простонал сингалезец, — черти, господин. Тысячи, тысячи чертей!

Он надавил кулаками на глаза.

— Сплошь черти, господин!

— Дай-ка раковину, — приказал капитан и открыл ее ножом; в ней покоилась маленькая чистая жемчужина. — А больше ничего не нашел?

Сингалезец вынул еще три раковины из мешочка, висевшего у него на шее.

— Там есть раковины, господин, но их стерегут черти... Они смотрели на меня, когда я срезал раковины...

Его курчавые волосы от ужаса встали дыбом.

— Саиб, саиб, здесь не надо!..

Капитан открыл раковины. Две оказались пустыми, а в третьей была жемчужина величиной с горошину, круглая, как шарик ртути. Капитан ван Тох смотрел то на жемчужину, то на сингалезца, распростертого на земле.

— Слушай, ты! — нерешительно сказал он. — Не попробуешь ли нырнуть еще разок?

Сингалезец безмолвно затряс головой.

У капитана И. ван Тоха так и чесался язык разразиться бранью, но, к своему удивлению, он заметил, что говорит тихо и почти мягко:

— Не бойся, братец. А как выглядят... эти черти?

— Как маленькие дети, — прошептал сингалезец. — У них сзади хвост, господин, а ростом они — вот такие. — Он показал рукой сантиметров на сто двадцать от земли. — Они стояли вокруг меня и смотрели, что я делаю... Их было много-много...

Сингалезец весь дрожал.

— Саиб, саиб, не надо здесь!..

Капитан ван Тох задумался.

— А что, моргают они нижними веками, или как?

— Не знаю, господин, — пробормотал сингалезец. — Их там... десять тысяч!

Капитан оглянулся на другого сингалезца: тот стоял метрах в полутораста и равнодушно ждал команды, охватив плечи руками; впрочем, когда человек голый, то куда же ему девать руки, как не на собственные плечи?

Капитан молча кивнул ему, и маленький сингалезец прыгнул в воду. Через три минуты пятьдесят секунд он вынырнул, цепляясь за скалы трясущимися руками.

— Вылезай! — крикнул капитан, но, приглядевшись внимательнее, помчался, прыгая по камням, к этим отчаянно цепляющимся рукам; трудно было поверить, что такая массивная фигура может выделывать подобные пируэты. В последний миг он поймал сингалезца за руку и, пыхтя, вытащил из воды. Потом положил его на камни и отер себе пот со лба. Сингалезец лежал без движения; одна голень у него была ободрана до кости, по-видимому о камень, но других повреждений не обнаружилось. Капитан приподнял ему веки и увидел только белки закатившихся глаз. Ни раковин, ни ножа при нем не было.

В этот момент шлюпка с экипажем подошла ближе к берегу.

— Сэр, — крикнул швед Иенсен, — здесь акулы! Будете продолжать промысел?

— Нет, — ответил капитан, — подъезжайте сюда и заберите обоих.

— Посмотрите, сэр, — заметил Иенсен, когда они гребли обратно к судну, — как здесь сразу стало мелко. Отсюда тянется ровная отмель до самого берега, — показал он, тыкая веслом в воду, — как будто под водой какая-то плотина.

Только на судне маленький сингалезец пришел в себя; он сидел, уткнув подбородок в колени, и трясся всем телом. Капитан отослал всех прочь и уселся против него, широко расставив ноги.

— Ну, выкладывай! — сказал он. — Что ты видел?

— Джиннов, саиб, — прошептал маленький сингалезец; теперь у него задрожали даже веки и вся кожа на теле пошла мелкими пупырышками.

Капитан ван Тох сплюнул.

— А... как они выглядят?

— Как... как...

Глаза сингалезца опять начали закатываться. Капитан И. ван Тох с неожиданным проворством дал ему две пощечины — ладонью и тыльной стороной руки, чтобы привести его в себя.

— Thanks, *саиб*, — прошептал маленький сингалезец, и зрачки его снова выплыли из-под век.

— Тебе лучше?

— Да, саиб.

— Были там раковины?

— Да, саиб.

Капитан И. ван Тох с большим терпением и обстоятельностью продолжал пристрастный допрос. Да, там черти. Сколько? Тысячи и тысячи. Ростом с десятилетнего ребенка, саиб, и почти совершенно черные. Они плавают в воде, а по дну ходят на двух ногах. На двух, саиб, как вы или я, но при этом раскачиваются на ходу — туда-сюда, все время туда-сюда... Да, саиб, у них руки, как у людей... нет, когтей у них нет никаких, скорее похожи на детские руки. Нет, саиб, рогов и шерсти на теле нет. Да, хвосты есть — почти как у рыбы, только без плавников. А головы большие, круглые, как у батаков. Нет, они ничего не говорили, только как будто чмокали... Когда сингалезец срезал раковины на глубине приблизительно шестнадцати метров, он почувствовал как бы прикосновение маленьких холодных пальцев к своей спине. Он оглянулся; «их» столпилось вокруг него несколько сотен. Несколько сотен, саиб; они плавали или стояли на камнях и смотрели, что делает сингалезец. Он выронил и нож и раковины и поспешил выплыть на поверхность. При этом он наткнулся на нескольких чертей, которые плыли над ним, а что было потом, он уже не знает, саиб.

Капитан И. ван Тох задумчиво глядел на дрожащего маленького водолаза. «Этот *малый*, — сказал он *себе*, — теперь уже ни на что не годится; пошлю его из Паданга домой на Цейлон». Ворча и пыхтя, отправился он в свою каюту. Там он высыпал из бумажного мешочка на стол две жемчужины. Одна была крохотная, как песчинка, другая — величиной с горошину и отливала серебристо-розовым. Капитан голландского судна фыркнул себе под нос и вынул из шкафчика ирландское виски.

К шести часам вечера он снова приказал подать шлюпку и отправился в кампонг, к тому же самому метису от кубу и португальца. «*Тодди*», — сказал он, и это

было единственное произнесенное им слово. Он сидел на веранде, крытой гофрированным железом, держал в толстых пальцах стакан из толстого стекла, пил, отплевывался и, прищурившись, поглядывал из-под косматых бровей на тощих кур, которые клевали неизвестно что на грязном вытоптанном дворике под пальмами. Метис остерегался вымолвить хоть слово и только наполнял стакан. Мало-помалу глаза капитана налились кровью, и пальцы стали плохо повиноваться ему. Были уже сумерки, когда он встал, подтягивая брюки.

— Собираетесь спать, капитан? — вежливо спросил метис от черта и дьявола.

Капитан ткнул пальцем в пространство.

— Хотел бы я посмотреть, — сказал он, — какие такие есть на свете черти, которых бы я еще не видал. Эй ты, где тут этот проклятый северо-запад?

— Там, — показал метис. — Куда вы, сэр?

— В пекло, — хмыкнул капитан И. ван Тох. — Загляну в Девл-Бэй.

В этот вечер и начались странности капитана И. ван Тоха. Он возвратился в кампонг только к рассвету и, не проронив ни слова, отправился к себе на судно, где просидел, запершись в своей каюте, до вечера. Это еще никому не показалось странным: «Кандон-Бандунг» должен был погрузить кое-что из благодатных даров острова Танамасы (копра, перец, камфара, каучук, пальмовое масло, табак и рабочая сила). Но когда капитану вечером доложили, что все товары погружены, он только засопел и произнес:

— Шлюпку. В кампонг.

И опять вернулся только с рассветом. Швед Иенсен, который помогал ему подняться на борт, спросил его просто из вежливости:

— Значит, сегодня отплываем, капитан?

Капитан резко обернулся, словно его укололи в зад.

— Тебе-то что? — огрызнулся он. — Занимайся своими проклятыми делами.

В течение целого дня «Кандон-Бандунг» в полной бездеятельности стоял на якоре в полумиле от берега Тана-

масы. Вечером капитан выкатился из своей каюты и сказал:

— Шлюпку. В кампонг.

Тщедушный грек Запатис уставился на него одним слепым и одним косым глазом.

— Ребята, — прокукарекал он, — наш старик или завел там девчонку, или совсем спятил.

Швед Иенсен нахмурился.

— Тебе-то что? — огрызнулся он на Запатиса. — Занимайся своими проклятыми делами.

Потом он сел с исландцем Гудмундсоном в маленькую шлюпку и стал грести по направлению к Девл-Бэю. Они остановились за скалами и начали тихонько ждать, что будет дальше. По берегу залива расхаживал капитан; казалось, что он кого-то поджидает; время от времени он останавливался и как-то странно цыкал: тс-тс-тс.

— Смотри, — сказал Гудмундсон и указал на море, ослепительно сверкавшее в багряном золоте заката.

Иенсен насчитал два, три, четыре, шесть острых, как лезвие, плавников, двигавшихся по направлению к Девл-Бэю.

— Господи! — пробормотал Иенсен. — Ну и акул же здесь!

То и дело одно из лезвий скрывалось, над волнами взвивался хвост, и в воде начинало что-то сильно бурлить. Капитан И. ван Тох вдруг неистово заметался по берегу, изрыгая проклятия и грозя кулаками в сторону акул. Наступили короткие тропические сумерки, и над островом всплыла луна; Иенсен взялся за весла и приблизился к берегу на расстояние одного фэрлонга. Капитан сидел на скале и цыкал: тс-тс-тс. Что-то шевелилось вокруг него, но что именно — нельзя было различить.

«Похоже на тюленей, — подумал Иенсен, — только тюлени ползают иначе».

«Это» выплывало из воды между скалами и топало по берегу, раскачиваясь из стороны в сторону, как пингвины. Иенсен бесшумно погрузил весла в воду и подъехал к капитану на полфэрлонга. Ага, капитан что-то говорил, но сам черт не разобрал бы, что именно; видимо, по-малайски или по-тамильски. Он размахивал руками, как будто бросал что-то этим тюленям (но это не

были тюлени, как убедился Иенсен), и тараторил не то по-китайски, не то по-малайски. В этот момент весло выскользнуло у Иенсена из рук и шлепнулось в воду. Капитан поднял голову, встал и сделал шагов тридцать к воде; блеснул огонь, раздался треск: капитан палил из браунинга прямо по шлюпке. Почти в то же мгновение в бухте зашумело, забурлило, послышался плеск, словно в воду прыгала тысяча тюленей. Но Иенсен и Гудмундсон уже налегли на весла и погнали свою шлюпку за ближайший выступ с такой быстротой, что только ветер свистел в ушах. Возвратившись на судно, они никому не обмолвились ни словом. Да, северяне умеют молчать! К утру вернулся капитан; он был хмурый и злой, но но произнес ни звука. Только когда Иенсен помогал ему подняться на борт, две пары голубых глаз обменялись холодным пытливым взглядом.

— Иенсен, — сказал капитан.

— Да, сэр.

— Сегодня отплываем.

— Да, сэр.

— В Сурабае получите расчет.

— Да, сэр.

И все. В тот же день «Кандон-Бандунг» вышел в Паданг. Из Паданга капитан И. ван Тох отправил своему правлению в Амстердам посылку, застрахованную на тысячу двести фунтов стерлингов. И одновременно — телеграфную просьбу о годичном отпуске: настоятельная необходимость ввиду состояния здоровья и тому подобное. После этого капитан слонялся по Падангу, пока не нашел человека, которого искал. Это был дикарь с Борнео, даяк, которого английские туристы нанимали иногда, чтобы полюбоваться своеобразным зрелищем охоты на акул; даяк работал еще по старинке, вооруженный одним только длинным ножом. Он был, по-видимому, людоед, но имел твердую таксу: пять фунтов за акулу, кроме харчей. На него было страшно смотреть: обе руки, грудь и бедра ободраны кожей акулы, а нос и уши украшены акульими зубами. Звали его Шарк [1].

С этим даяком капитан И. ван Тох отправился на остров Танамаса.

[1] Акула (*англ.* shark).

2. Пан Голомбек и пан Валента

Стояло засушливое редакционное лето, когда ничего, ну то есть ровно ничего не происходит, когда не делается политика и нет никакой европейской ситуации. Но даже и в такое время читатели газет, лежащие в агонии скуки на берегах каких-нибудь вод или в жидкой тени каких-нибудь деревьев, деморализованные жарой, природой, деревенской тишиной и вообще здоровой и простой жизнью в отпуску, ждут (хотя и терпят каждый день разочарование), что хоть в газетах появится что-нибудь новенькое, освежающее — например, убийство, война или землетрясение, словом — Нечто; когда же ничего этого не оказывается, они потрясают газетой и с ожесточением заявляют, что в газетах ничего, ровно Ничего нет, и вообще их не стоит читать, и они не будут больше на них подписываться.

А тем временем в редакции сиротливо сидят пять или шесть человек, ибо остальные коллеги в отпуску и тоже яростно комкают газетные листы и жалуются, что теперь в газетах нет ничего, ровно Ничего. А из наборной приходит метранпаж и укоризненно говорит: «Господа, господа, у нас еще нет на завтра передовой...»

— Тогда дайте... ну, хотя бы эту статью... об экономическом положении Болгарии, — говорит один из сиротливых людей.

Метранпаж тяжело вздыхает.

— Но кто же ее станет читать, пан редактор? Опять во всем номере не будет ничего «читабельного».

Шестеро осиротевших поднимают взоры к потолку, словно там можно найти нечто «читабельное».

— Хоть бы случилось Что-нибудь, — неопределенно произносит один из них.

— Или если бы... какой-нибудь... увлекательный репортаж, — перебивает другой.

— О чем?

— Не знаю.

— Или выдумать... какой-нибудь новый витамин, — бормочет третий.

— Это летом-то? — возражает четвертый. — Витамины, брат, это для образованной публики, такое больше годится осенью...

— Господи, ну и жара!.. — зевает пятый. — Хорошо бы что-нибудь про полярные страны.

— Но что?

— Да так что-нибудь. Вроде этого эскимоса Вельцля. Обмороженные пальцы, вечная мерзлота и тому подобное.

— Сказать легко, — говорит шестой, — но откуда взять?

И в редакции наступает безнадежная тишина.

— Я был в воскресенье в Иевичке, — нерешительно начал метранпаж.

— Ну и что?..

— Туда, говорят, приехал в отпуск некий капитан Вантох. Он, кажется, оттуда родом. Из Иевичка.

— Какой Вантох?

— А такой толстый. Он, говорят, капитан морского судна, этот Вантох. Рассказывают, он где-то добывал жемчуг.

Пан Голомбек посмотрел на пана Валенту.

— А где он его добывал?

— На Суматре... И на Целебесе... Вообще где-то там. И будто прожил он в тех местах тридцать лет.

— Дружище, это идея! — воскликнул пан Валента. — Может получиться репортаж — первый сорт. Поедем, Голомбек?

— Что ж, можно попробовать, — решил Голомбек и слез со стола, на котором сидел.

— Это вон тот господин, — сказал хозяин гостиницы в Иевичке.

В садике за столом, широко расставив ноги, сидел толстый господин в белой фуражке, пил пиво и толстым указательным пальцем задумчиво выводил на столе какие-то каракули. Оба приезжих направились к нему.

— Редактор Валента.

— Редактор Голомбек.

Толстый господин поднял голову.

— What? Что?

— Я — редактор Валента.

— А я — редактор Голомбек.

Толстый господин с достоинством приподнялся.

— Captain ван Тох. Very glad [1]. Присаживайтесь, ребята.

[1] Очень приятно (*англ.*).

Оба журналиста охотно присели и положили перед собой блокноты.

— А что будете пить, ребята?

— Содовую с малиновым сиропом, — сказал пан Валента.

— Содовую с сиропом? — недоверчиво переспросил капитан. — Это с какой же стати? Хозяин, принесите-ка нам пива. Так вы чего, собственно, хотите? — спросил он, облокотясь на стол.

— Правда ли, пан Вантох, что вы здесь родились?

— Ja [1]. Родился.

— Будьте так добры, скажите, как вы попали на море?

— Через Гамбург.

— А как давно вы состоите в чине капитана?

— Двадцать лет, парень. Документы тут, — сказал капитан, внушительно похлопывая по боковому карману. — Могу показать.

Пану Голомбеку хотелось посмотреть, как выглядят капитанские документы, но он подавил это желание.

— За эти двадцать лет, пан капитан, вы, конечно, многое успели повидать?

— Ja. Порядочно.

— А что именно?

— Ява. Борнео. Филиппины. Острова Фиджи. Соломоновы острова. Каролины, Самоа. Damned Clipperton Island. A lot of damned islands [2], парень! А что?

— Нет, я просто так... это очень интересно. Нам бы хотелось услышать от вас побольше, понимаете?

— Ja... Стало быть, просто так, а? — Капитан уставился на него светло-голубыми глазами. — Значит, вы из... как это? из полиции?.. полиции, а?

— Нет, пан капитан, мы из газеты.

— Ах, вот оно что! Из газеты. Репортеры? Ну так пишите: Captain I. van Toch, капитан судна «Кандон-Бандунг»...

— Как?

— «Кандон-Бандунг», порт Сурабая. Цель поездки — vacances... как это называется?

---

[1] Да (*нем.*).

[2] Проклятый остров Клиппертона. Кучу проклятых островов (*англ.*).

— Отпуск.

— Ja, черт побери, отпуск. Вот так и дайте в хронику о вновь прибывших. А теперь, ребята, спрячьте ваши блокноты. Your health! [1]

— Пан Вантох, мы... приехали к вам, чтобы вы нам рассказали что-нибудь из вашей жизни.

— Это зачем же?

— Мы опишем в газете. Публике будет очень интересно почитать о далеких островах и о том, что там видел и пережил наш земляк, чех, уроженец Иевичка.

Капитан кивнул головой.

— Это верно. Я, братцы, единственный captain на весь Иевичек. Это да! Говорят, есть еще один капитан... капитан... карусельных лодочек, но я считаю, — добавил он доверительно, — что это ненастоящий капитан. Ведь все дело в тоннаже, понимаете?

— А какой тоннаж у вашего парохода?

— Двенадцать тысяч тонн, парень!

— Так что вы были солидным капитаном?

— Ja, солидным, — с достоинством проговорил капитан. — Деньги у вас, ребята, есть?

Оба журналиста несколько неуверенно переглянулись.

— Есть, но мало. А вам нужны деньги, капитан?

— Ja. Нужны.

— Видите ли, если вы нам расскажете что-нибудь подходящее, мы сделаем из этого очерк, и вы получите деньги.

— Сколько?

— Ну, пожалуй... может быть, тысячу, — щедро пообещал пан Голомбек.

— Фунтов стерлингов?

— Нет, только крон.

Капитан ван Тох покачал головой.

— Ничего не выйдет. Столько у меня и у самого есть. — Он вытащил из кармана толстую пачку банкнот. — See? [2]

Потом он облокотился о стол и наклонился к обоим журналистам.

---

[1] Ваше здоровье! (*англ.*)

[2] Видали? (*англ.*)

— Я бы предложил вам, господа, a big business. Как это называется?

— Крупное дело.

— Ja. Крупное дело. Но вы должны дать мне пятнадцать... нет, постойте, не пятнадцать — шестнадцать миллионов крон. Ну, как?

Оба приезжих снова неуверенно переглянулись. Журналистам нередко приходится иметь дело с самыми причудливыми разновидностями сумасшедших, изобретателей и аферистов.

— Стоп, — сказал капитан, — я могу вам кое-что показать.

Он порылся толстыми пальцами в жилетном кармане, вытащил оттуда что-то и положил на стол. Это были пять розовых жемчужин, каждая величиной с вишневую косточку.

— Сколько это может стоить? — прошептал пан Валента.

— O, lots of money [1], ребята. Но я ношу это с собою только... чтобы показывать, в виде образца. Ну, так как же, по рукам?.. — спросил капитан, протягивая свою широкую ладонь через стол.

Пан Голомбек вздохнул.

— Пан Вантох, столько денег...

— Halt! [2] — перебил капитан. — Понимаю, ты меня не знаешь. Но спроси о captain van Toch в Сурабае, в Батавии, в Паданге или где хочешь. Поезжай, спроси, и всякий скажет тебе — ja, captain van Toch, he is as good as his word [3].

— Пан Вантох, мы вам верим, — запротестовал Голомбек, — но только...

— Стоп, — скомандовал капитан. — Понимаю, ты не хочешь выложить свои денежки неизвестно на что; хвалю тебя за это, парень. Но ты их дашь на пароход, see? Ты купишь пароход, будешь ship-owner [4] и сможешь сам плавать на нем. Да, можешь плавать, чтобы самому видеть, как я веду дело. Но деньги, которые мы сделаем, разделим fifty-fifty [5]. Честный business, не так ли?

---

[1] кучу денег (*англ.*).
[2] Стоп! (*нем.*)
[3] капитан ван Тох всегда верен своему слову (*англ.*).
[4] судовладельцем (*англ.*).
[5] пополам (*англ.*).

— Но, пан Вантох, — вымолвил наконец с некоторым смущением пан Голомбек, — ведь у нас нет таких денег...

— Ja, ну тогда другое дело, — сказал капитан. — Sorry. Тогда не понимаю, господа, зачем вы ко мне приехали.

— Чтобы вы нам рассказали что-нибудь, капитан. У вас ведь, наверное, большой опыт...

— Ja, это есть. Проклятого опыта у меня достаточно.

— Приходилось вам когда-нибудь терпеть кораблекрушение?

— What? А-а, ship-wrecking? Нет. Что выдумал! Если ты дашь мне хорошее судно, с ним ничего не может случиться. Можешь запросить в Амстердаме references[1] обо мне. Поезжай и справься.

— А как насчет туземцев? Встречали вы туземцев?

Капитан ван Тох покачал головой.

— Это не для образованных людей. Об этом я рассказывать не стану.

— Тогда расскажите нам о чем-нибудь другом.

— Да, расскажите... — недоверчиво проворчал капитан. — А вы потом продадите это какой-нибудь компании, и она пошлет туда свои суда. Я тебе скажу, my lad[2], люди — большие жулики. А самые большие жулики — это банкиры в Коломбо.

— А вы часто бывали в Коломбо?

— Ja, часто. И в Бангкоке, и в Маниле... Слушайте, ребята, — неожиданно сказал капитан. — Я знаю одно судно. Шикарная посудина, и цена недорогая. Стоит в Роттердаме. Съездите, посмотрите. До Роттердама ведь рукой подать. — Он ткнул пальцем через плечо. — Нынче, ребята, суда ужасно дешевы. Как железный лом. Ему всего шесть лет, двигатель Дизеля. Не хотите взглянуть?

— Не можем, пан Вантох...

— Странные вы люди, — вздохнул капитан и шумно высморкался в небесно-голубой носовой платок. — А не знаете ли вы тут кого-нибудь, кто хотел бы приобрести судно?

— Здесь, в Иевичке?

---

[1] рекомендации (*англ.*).
[2] парень (*англ.*).

— Ja, здесь или где-нибудь поблизости. Я хотел бы, чтобы эти крупные доходы потекли сюда, на my country[1].

— Это очень мило с вашей стороны, капитан...

— Ja. Остальные-то уж очень большие жулики. И денег у них нет. Раз вы из newspaper[2], то должны знать здешних видных людей; всяких банкиров и ship-owners, как это называется, — судохозяева, что ли?

— Судовладельцы. Мы таких не знаем, пан Вантох.

— Жаль, — огорчился капитан.

Пан Голомбек что-то вспомнил.

— Вы, пожалуй, не знаете пана Бонди?

— Бонди? Бонди? — перебирал в памяти капитан ван Тох. — Постой. Я как будто слыхал эту фамилию. Ja, в Лондоне есть Бонд-стрит, вот где чертовски богатые люди! Нет ли у него какой-нибудь конторы на Бонд-стрит, у этого пана Бонди?

— Нет, он живет в Праге, а родом, кажется, отсюда, из Иевичка.

— А, черт подери! — обрадованно воскликнул капитан. — Ты прав, парень! У него еще была галантерейная лавка на базаре. Бонди... как его звали?.. Макс! Макс Бонди. Так он теперь торгует в Праге?

— Нет, это, вероятно, был его отец. Теперешнего Бонди зовут Г. X. Президент Г. X. Бонди, капитан.

— Г. X.? — покрутил головой капитан. — Г. X.? Здесь не было никакого Г. X. Разве только это Густль Бонди, но он вовсе не был президентом. Густль — это был такой маленький веснушчатый еврейский мальчик. Нет, не может быть, чтоб это был он.

— Это наверное он, пан Вантох. Ведь уже сколько лет, как вы его не видали!

— Ja, это верно. Много лет!.. — согласился капитан. — Сорок лет, братец. Так что, возможно, Густль теперь уже вырос. А что он делает?

— Он председатель правления МЕАС, — знаете, это крупные заводы по производству котлов и тому подобное. Ну и, кроме того, председатель еще около двадцати компаний и трестов. Очень большой человек,

---

[1] мою родину (*англ.*).
[2] газеты (*англ.*).

пан Вантох. Его называют капитаном нашей промышленности.

— Капитаном?.. — изумился captain ван Тох. — Значит, я не единственный капитан из Иевичка? Черт возьми, так Густль, значит, тоже captain! Надо бы с ним встретиться. А деньги у него есть?

— Ого! Горы денег. У него, пан Вантох, наверное, несколько сот миллионов. Самый богатый человек у нас.

Капитан ван Тох стал очень серьезен.

— И тоже captain! Ну, спасибо, парень. Тогда я к нему поплыву, к этому Бонди. Ja, Густль Бонди. I know [1]. Такой был маленький еврейский мальчик. А теперь captain Г. Х. Бонди. Ja, ja, как бежит время!.. — меланхолически вздохнул он.

— Пан капитан, нам пора... как бы не пропустить вечерний поезд...

— Так я вас провожу на пристань, — сказал капитан и начал сниматься с якоря. — Очень рад, что вы заехали ко мне, господа. Я знаю одного редактора в Сурабае; славный парень, ja, a good friend of mine [2]. Пьяница страшный, ребята. Если хотите, я устрою вас в газете в Сурабае. Нет? Ну, как хотите.

Когда поезд тронулся, капитан медленно и торжественно помахал огромным голубым платком. При этом у него выпала на песок большая жемчужина неправильной формы. Жемчужина, которая никем и никогда не была найдена.

3. Г. Х. Бонди и его земляк

Как известно, чем более высокое положение занимает человек, тем меньше написано на его дверной дощечке. Старому Максу Бонди надо было намалевать большими буквами у себя над лавочкой, по обеим сторонам дверей и на окнах, что здесь помещается Макс Бонди, торговля всевозможными галантерейными и мануфактурными товарами — приданое для невест, ткани, полотенца, сал-

---

[1] Я знаю (*англ.*).

[2] мой большой друг (*англ.*).

фетки, скатерти и покрывала, ситец и батист, сукна высшего сорта, шелк, занавеси, ламбрекены, бахрома и всякого рода швейный приклад. Существует с 1885 года. У входа в дом его сына, Г. X. Бонди, капитана промышленности, президента компании МЕАС, коммерции советника, члена биржевого комитета, вице-председателя союза промышленников, Consulado de la República Ecuador [1], члена многочисленных правлений и т. д. и т. д., висит только маленькая черная стеклянная дощечка, на которой золотыми буквами написано:

БОНДИ

И больше ничего. Пусть другие пишут у себя на дверях: «Юлиус Бонди, представитель фирмы «Дженерал Моторс», или «Доктор медицины Эрвин Бонди», или «С. Бонди и К°», но есть только один-единственный Бонди, который — просто Бонди, без лишних пояснений. (Я думаю, что на дверях у папы римского написано просто Пий, без всякого титула и даже без порядкового номера. А у бога так и вовсе нет дощечки ни на небе, ни на земле; каждый сам должен знать, что он тут проживает. Впрочем, все это к делу не относится и замечено только так, мимоходом.)

Перед этой-то стеклянной дощечкой и остановился в знойный день господин в белой морской фуражке, вытирая свой мощный затылок голубым платком. «Ну и важный же дом, черт побери», — подумал он и несколько неуверенно потянулся к медной кнопке звонка.

В дверях показался швейцар Повондра, смерил толстого господина взглядом — от башмаков до золотого позумента на фуражке — и сдержанно осведомился:

— К вашим услугам?

— Вот что, братец, — сказал господин, — здесь живет некий пан Бонди?

— Что вам угодно? — ледяным тоном спросил пан Повондра.

---

[1] консула республики Эквадор (*исп.*).

— Передайте ему, что с жим хотел бы поговорить captain van Toch из Сурабаи. Ja, — вспомнил он, — вот моя карточка.

И он вручил пану Повондре визитную карточку, на которой был изображен якорь и напечатано следующее:



Пан Повондра наклонил голову и погрузился в раздумье. Сказать, что пана Бонди нет дома? Или что у пана Бонди, к сожалению, сейчас важное совещание? Есть визитеры, о которых надо докладывать, и есть такие, с которыми дельный швейцар справляется сам. Пан Повондра мучительно чувствовал, что инстинкт, которым он в подобных случаях руководствовался, дал на сей раз осечку. Толстый господин как-то не подходил под обычные категории незваных посетителей и, по-видимому, не был ни коммивояжером, ни представителем благотворительного общества. А капитан ван Тох сопел и вытирал платком лысину и при этом так простодушно щурил свои светло-голубые глаза, что пан Повондра внезапно решился принять на себя всю ответственность.

— Пройдите, пожалуйста, — сказал он, — я доложу о вас пану советнику.

Captain И. ван Тох, вытирая лоб голубым платком, разглядывал вестибюль. Черт возьми, какая обстановка у этого Густля; здесь прямо как в салоне парохода, делающего рейсы от Роттердама до Батавии. Должно быть, стоило уйму денег. А был такой маленький веснушчатый еврейский мальчик, изумлялся капитан.

---

[1] Капитан И. ван Тох, О[ст-]И[ндская] и Тихоокеанская] п[ароходная] ко[мпания], судно «Кандон-Бандунг», Сурабая, Морской клуб (*англ.*).

Тем временем Г. X. Бонди задумчиво рассматривал у себя в кабинете визитную карточку капитана.

— Что ему надо? — подозрительно спросил он.

— Простите, не знаю, — почтительно пробормотал Повондра.

Пан Бонди продолжал вертеть в руках визитную карточку. Корабельный якорь. Captain И. ван Тох, Сурабая, — где она, собственно, Сурабая? Кажется, где-то на Яве? На пана Бонди повеяло дыханьем неведомой дали. «Кандон-Бандунг» — это звучит, как удары гонга. Сурабая... И сегодня как нарочно такой тропический день... Сурабая...

— Ладно, проводите его сюда, — приказал пан Бонди.

В дверях остановился мощного сложения человек в капитанской фуражке и отдал честь. Г. X. Бонди двинулся ему навстречу.

— Very glad to meet you, captain. Please, come in! [1]

— Здравствуйте! Добрый день, пан Бонди! — радостно воскликнул капитан.

— Вы чех? — удивился пан Бонди.

— Ja, чех. Да ведь мы знакомы, пан Бонди. По Иевичку. Лавочник Вантох — do you remember? [2]

— Верно, верно! — шумно обрадовался Г. X. Бонди, почувствовав, однако, некоторое разочарование (значит, он не голландец!). — Лавочник Вантох на площади, как же! Но вы нисколько не изменились, пан Вантох. Такой же, как и прежде! Ну, как идет торговля мукой?

— Thanks, — вежливо ответил капитан, — папаша, как говорится, давно приказал долго жить...

— Умер? Так, так. Впрочем, что я, ведь вы, конечно, его сын...

Глаза пана Бонди оживились от внезапной догадки.

— Послушайте, дорогой, а не тот ли вы Вантох, который дрался со мной в Певичке, когда мы были мальчишками?

— Да, он самый, — с важностью подтвердил капитан. — За это меня и отправили из дому в Моравскую Остраву.

— Да, мы с вами частенько дрались. Но вы были сильнее, — признал Бонди с лояльностью спортсмена.

---

[1] Очень рад познакомиться с вами, капитан. Войдите, пожалуйста! (*англ.*)

[2] помните? (*англ.*)

— Да, я был сильнее. Вы ведь были таким слабеньким мальчиком, пан Бонди. И вам здорово доставалось по заду. Здорово доставалось.

— Доставалось, верно, — растроганно вспоминал Г. Х. Бонди. — Садитесь же, земляк! Вот хорошо с вашей стороны, что вы обо мне вспомнили. Откуда вы вдруг взялись?

Капитан ван Тох с достоинством уселся и положил фуражку на пол.

— Я провожу здесь свой отпуск, пан Бонди. Н-да, так-то! That's so!..[1]

— Помните, — погрузился в воспоминания пан Бонди, — как вы кричали мне: «Жид, жид, за тобою черт бежит!..»

— Ja, — сказал капитан и с чувством затрубил в носовой платок. — Ах, ja! Хорошее это было время. Но что из того, если оно так быстро проходит! Теперь мы оба старики, и оба captains.

— В самом деле, вы ведь капитан, — спохватился пан Бонди. — Кто бы мог подумать! Captain of long distances[2], ведь так это называется?

— Yes, sir. A Highseaer. East India and Pacific lines, sir[3].

— Хорошая профессия, — вздохнул пан Бонди. — Я бы с вами охотно поменялся, капитан. Вы должны мне рассказать о себе.

— О да, — оживился капитан. — Я хотел бы рассказать вам кое-что, пан Бонди. Очень интересная штука, парень.

Капитан ван Тох беспокойно поглядел по сторонам.

— Вы что-нибудь ищете, капитан?

— Ja. Ты пива не хочешь, пан Бонди? У меня в горле пересохло, пока я добирался домой из Сурабаи.

Капитан стал рыться в обширных карманах своих брюк и вытащил голубой носовой платок, холщовый мешочек с чем-то, кисет с табаком, нож, компас и пачку банкнот.

---

[1] Так-то! (*англ.*)

[2] Капитан дальнего плавания (*англ.*).

[3] Да, сэр. Плаваю в открытом море, Ост-Индия и Тихоокеанские линии, сэр (*англ.*).

— Я бы послал кого-нибудь за пивом, — сказал он. — Пожалуй, того стюарда, что проводил меня в эту каюту.

Пан Бонди позвонил.

— Не беспокойтесь, капитан. А пока закурите сигару.

Капитан взял сигару с красно-золотым бумажным колечком и понюхал ее.

— Табак из Ломбока. Там страшные жулики, ничего не попишешь.

И, к великому ужасу пана Бонди, он раздавил драгоценную сигару в своей мощной длани и набил искрошенным табаком трубку.

— Да, Ломбок. Или Сумба.

В дверях неслышно появился Повондра.

— Принесите пива, — распорядился Бонди.

Повондра поднял брови.

— Пива? Сколько?

— Галлон, — буркнул капитан и, швырнув обгоревшую спичку на ковер, затоптал ее ногой. — В Адене было, брат, ужасно жарко. А у меня есть для вас новость, пан Бонди. Зондский архипелаг, see? [1] Там, сэр, можно открыть сказочное дело. A big business. Но пожалуй, надо рассказать с самого начала эту... как называется — story, что ли?

— Рассказ?

— Ja. Один рассказик. Постой.

Капитан поднял свои незабудковые глаза к потолку.

— Просто не знаю, с чего начать.

(Опять какие-нибудь торговые дела, — подумал Г. Х. Бонди, — господи, какая тоска! Будет убеждать меня, что мог бы поставлять швейные машины в Тасманию или паровые котлы и булавки на Фиджи. Сказочная торговля, еще бы! Для того я вам и нужен. К черту! Я не лавочник. Я мечтатель. Я в своем роде поэт. Расскажи мне, Синдбад-мореход, о Сурабае или об островах Феникса. Не притягивал ли тебя Магнитный Утес, не уносила ли тебя в свое гнездо птица Нох? Не возвращаешься ли ты с грузом жемчуга, корицы и безоара? Ну же, приятель, начинай свое вранье!)

— Пожалуй, начну с ящера, — объявил капитан.

— С какого ящера? — изумился коммерции советник Бонди.

---

[1] понимаете? (*англ.*)

— Ну, с этих — скорпионов. Как это называется — lizards?

— Ящерицы?

— Да, черт, ящерки. Там есть такие ящерки, пан Бонди.

— Где?

— Там, на одном острове. Я не могу его назвать, парень. Это очень большой секрет, worth of millions[1].

Капитан ван Тох вытер лоб носовым платком.

— Где же, черт возьми, пиво?

— Сейчас будет, капитан.

— Ja. Ладно. К вашему сведению, пан Бонди, они очень милые и славные зверьки, эти ящерки. Я их, брат, знаю! — Капитан с жаром хлопнул рукой по столу. — А насчет того, что они черти, так это ложь! A damned lie, sir![2] Скорее вы сами черт или я черт, я, captain ван Тох! Можете мне поверить.

Г. Х. Бонди испугался. «Делириум, — подумал он. — Куда делся этот проклятый Повондра?»

— Их там несколько тысяч, этих ящерок. Но их здорово жрали эти... черт... эти, ну как они там называются... sharks...

— Акулы?

— Да, акулы. Вот почему эти ящерки так редко встречаются: только в одном-единственном месте, в том заливе, который я не могу назвать.

— Значит, эти ящерицы живут в море?

— Ja, в море. Только ночью они вылезают на берег, но очень ненадолго...

— А как они выглядят? — Пан Бонди пытался выиграть время, пока вернется этот проклятый Повондра.

— Ну, величиной они с тюленей, но когда встают на задние лапки, тогда они вот такого роста, — показал капитан. — Нельзя сказать, чтоб они были красивы. У них нет никакой шелухи.

— Чешуи?

— Да, скорлупок. Они совершенно голые, пан Бонди, точно какие-нибудь жабы или саламандры. А передние лапки у них совсем как детские ручонки, только пальцев на каждой всего четыре. Бедненькие! — жалостливо при-

[1] цена ему — миллионы (*англ.*).
[2] Проклятая ложь, сэр! (*англ.*)

бавил капитан. — Но очень смышленые и милые зверьки, пан Бонди.

Капитан опустился на корточки и начал раскачиваться в такой позе.

— Вот как они переваливаются, эти ящерки.

Сидя на корточках, капитан усиленно старался придать своему могучему телу волнообразные движения; руки он протянул вперед, словно собачка, которая «служит»; ого небесно-голубые глаза не отрывались от пана Бонди и, казалось, умоляли о сочувствии. Г. Х. Бонди почувствовал волнение и как-то по-человечески устыдился. В довершение всего в дверях неслышно появился пан Повондра с кувшином пива и возмущенно поднял брови при виде неприличного поведения капитана.

— Давайте пиво и уходите, — скороговоркой выпалил Г. Х. Бонди.

Капитан поднялся, отдуваясь.

— Вот какие это зверьки, пан Бонди. Your health, — сказал он и выпил пива. — Пиво у тебя, парень, хорошее. Впрочем, когда имеешь такой дом...

И капитан вытер усы.

— А как вы нашли этих ящериц, капитан?

— Об этом как раз и будет мой рассказик, пан Бонди. Случилось так, что я искал жемчуг на Танамасе... — Капитан сразу осекся. — Или где-то еще... Ja, это был другой остров, пока это мой секрет, парень. Люди страшные жулики, пан Бонди, и надо держать язык за зубами... Так вот, когда эти два проклятых сингалезца срезали под водой жемчужные shells...

— Раковины?

— Ja. Такие раковины; они прилипают к камням, как прилипалы, и их приходится срезать ножом. Так вот, ящерки смотрели на сингалезцев, а сингалезцы думали, что это морские черти. Очень необразованный народ — эти сингалезцы и батаки. И говорят мне: там, мол, черти. Ja.

Капитан мощно затрубил в носовой платок.

— Понимаешь, брат, тут уж не успокоишься. Я не знаю, одни ли только мы, чехи, такой любопытный народ, но где бы я ни повстречал земляка, он обязательно всюду сует свой нос, чтобы узнать, что там такое. Я думаю, это оттого, что мы, чехи, ни во что не хотим верить. Вот и я вбил в свою старую глупую голову, что должен рас-

смотреть этих чертей поближе. Правда, я был выпивши, но нагрузился я потому, что эти идиотские черти не выходили у меня из головы. Там, на экваторе, многое, брат, возможно. Значит, отправился я вечером в этот самый Девл-Бэй.

Пан Бонди попытался представить себе тропическую бухту, окруженную скалами и девственным лесом.

— Ну и дальше?

— И вот, сижу я там и зову: тс-тс-тс — чтобы черти вышли. И что ж ты думаешь, вскоре вылезла из моря одна такая ящерка, стала на задние ножки и завертела всем телом. И цыкает на меня: тс-тс-тс. Если бы я не был выпивши, я бы, наверное, в нее выстрелил; но я, дружище, нализался, как англичанин, и вот я говорю: поди, поди сюда, ты, tapa-boy [1], я тебе ничего не сделаю.

— Вы говорили с ней по-чешски?

— Нет, по-малайски. Там, брат, чаще всего говорят по-малайски. Ну, она ничего. Только переминается этак с ноги на ногу и вертится, как ребенок, когда он стесняется. А вокруг в воде было несколько сот этих ящерок, они высунули из воды свои мордочки и смотрят. А я (правда, я был выпивши) тоже присел на корточки и стал вертеться, как эта ящерка, чтобы они меня не боялись. А потом вылезла из воды еще одна ящерка, ростом с десятилетнего мальчугана, и тоже начала так переваливаться. А в передней лапке она держала жемчужницу. — Капитан отпил пива. — Ваше здоровье, пан Бонди. Я был, правда, пьян вдрызг, так вот я и говорю ей: ах ты, хитрюга, ты как будто хочешь, чтобы я открыл тебе эту раковину, ja? Так поди сюда, я ее открою ножом. Но она — ничего, все не решалась. Тогда я снова начал вертеться, словно маленькая девочка, которая кого-то стыдится. И вот она притопала поближе, а я потихоньку протягиваю руку и беру раковину у нее из лапки. По совести говоря, трусили мы оба, это ты, пан Бонди, можешь себе представить; но я был, правда, пьян. Взял я свой нож и открыл раковину; пощупал пальцем, нет ли жемчужины, но там ничего не было, кроме противной слизи — такой слизистый моллюск, что живет в этих раковинах. Ну вот, на, говорю, тс-тс-тс, жри себе, если хочешь. И кидаю ей открытую раковину. Ты бы посмотрел, как она

[1] тапа-парень (*англ.*).

ее вылизывала! Должно быть, для тех ящеров это особенный tit-bit — как это называется?

— Лакомство...

— Да, лакомство. Только они, бедняжки, не могут своими пальчиками справиться с твердыми скорлупками. Да, тяжелая жизнь... — Капитан выпил пива. — Я, брат, потом все обмозговал. Когда ящерки увидели, как сингалезцы срезают раковины, они, вероятно, подумали: ага, они их будут жрать. И хотели посмотреть, как сингалезцы их открывают. Эти сингалезцы в воде здорово смахивают на ящерок, только ящерка умнее сингалезца или батака, потому что хочет чему-нибудь научиться. А батак никогда ничему не научится, разве что воровать, — с горечью добавил капитан ван Тох. — А когда я на берегу звал — тс-тс-тс, и вертелся, как ящерка, они, наверно, подумали, что я большая саламандра, и поэтому не побоялись подойти ко мне, чтобы я открыл им раковину. Вот какие это умные и доверчивые зверьки.

Капитан ван Тох покраснел.

— Когда я с ними познакомился ближе, пан Бонди, я стал раздеваться донага, чтобы быть совсем как они, ну, то есть голым; но им показалось очень странным, что у меня волосы на груди и... всякое такое... Ja.

Капитан провел носовым платком по загорелой шее.

— Но я не знаю, не слишком ли длинно я рассказываю, пан Бонди?

Г. Х. Бонди был очарован.

— Нет, нисколько. Продолжайте, капитан.

— Ладно. Так вот, когда эта ящерка вылизывала раковину, другие, глядя на нее, тоже полезли на берег. У некоторых были раковины в лапах. Как им удалось оторвать их от cliffs [1] своими детскими ручонками, да еще без больших пальцев, это, брат, просто удивительно. Сначала они стеснялись, а потом позволили брать у них из лапок эти раковины. Правда, не все были жемчужницы; так просто, всякая дрянь, никудышные устрицы и тому подобное; но я такие раковины швырнул в воду и говорю: «Э, нет, дети, это ничего не стоит, это я вам своим ножом открывать не буду». Зато когда попадалась жемчужница, я открывал ее ножом и щупал, нет ли

[1] рифов (*англ.*).

жемчужины. А раковины отдавал им вылизывать. К тому времени вокруг сидело уже несколько сот этих lizards и смотрело, как я открываю раковины. А некоторые пробовали сами вскрыть раковину какой-то скорлупкой, которая там валялась. Это, брат, меня и удивило. Ни одно животное не умеет обращаться с инструментами. Что поделаешь, животные — они и есть животные, таков закон природы. Правда, я видел в Байтензорге обезьяну, которая умела открывать ножом такой tin, то есть жестянку с консервами. Но обезьяна, сэр, какое же это животное! Недоразумение одно. Нет, правда, я был поражен. — Капитан выпил пива. — В ту ночь, пан Бонди, я нашел в тех shells восемнадцать жемчужин. Там были крохотные и побольше, а три были величиной с вишневую косточку, пан Бонди. С косточку. — Капитан ван Тох с важностью кивнул головой. — Когда я утром вернулся на судно, я сказал себе: captain ван Тох, это тебе, конечно, только померещилось, сэр; ты, сударь, был выпивши и тому подобное. Но какой толк в рассуждениях, когда у меня в мешочке лежали восемнадцать жемчужин?

— Это самый лучший рассказ, какой я когда-либо слыхал, — прошептал пан Бонди.

— Вот видишь, брат! — обрадованно сказал капитан. — Днем я все это обмозговал. Я приручу и выдрессирую этих ящерок, и они будут носить мне pearlshells[1]. Должно быть, ужас сколько этих раковин там, в Девл-Бэе. Ну, вечером я отправился туда снова, но чуточку пораньше. Когда солнце садится, ящерки высовывают из воды свои мордочки и тут и там — словом, по всей бухте. Сижу это я на берегу и зову: тс-тс-тс! Вдруг вижу — акула, то есть только ее плавник торчит из воды. А потом — всплеск, и одной ящерки как не бывало. Я насчитал двенадцать штук этих акул, плывших тогда при заходе солнца в Девл-Бэе. Пан Бонди, эти сволочи за один вечер сожрали больше двадцати *моих* ящерок!.. — воскликнул капитан и яростно высморкался. — Да, больше двадцати! Ясно ведь, такая голая ящерка своими лапками не отобьется от акулы. Я чуть не плакал, глядя на это. Видел бы ты все это, парень...

Капитан задумался.

[1] жемчужницы (*англ.*).

— Я ведь очень люблю животных, — произнес он наконец и поднял свои лазурные глаза на Г. Х. Бонди. — Не знаю, как вы смотрите на это, captain Бонди.

Пан Бонди кивнул в знак согласия.

— Вот это хорошо, — обрадовался капитан ван Тох. — Они очень славные и умные, эти tapa-boys. Когда им что-нибудь рассказываешь, они смотрят так внимательно, как собака, которая слушает, что ей говорит хозяин. А главное — эти их детские ручонки... Понимаешь, брат, я старый холостяк, и семьи у меня нет... Ja, старому человеку тоскливо одному... — бормотал капитан, преодолевая свое волнение. — Ужасно милые эти ящерки, ничего не поделаешь... Если бы только акулы не пожирали их!.. И знаешь, когда я кидал в них, то есть в акул, камнями, *они тоже начали кидать,* эти tapa-boys. Ты просто не поверишь, пан Бонди! Конечно, далеко они кинуть не могли, потому что у них чересчур короткие ручки. Но это, брат, прямо поразительно! Уж если вы такие молодцы, ребята, говорю я, попробуйте тогда открыть моим ножом раковину. И кладу нож на землю. Они сначала стеснялись, а потом одна ящерка попробовала и давай втыкать острие ножа между створок. Надо взломать, говорю, взломать, see? Вот так повернуть нож — и готово. А она все пробует, бедняжка... И вдруг хрустнуло, и раковина открылась. Вот видишь, говорю. Вовсе это не так трудно. Если это умеет какой-нибудь язычник — батак или сингалезец, так почему этого не сумеет сделать tapa-boy, верно? Я не стал, конечно, говорить ящеркам, что это *сказочное* marwel [1] и удивительно, когда это делают такие животные. Но вам я могу сказать, что я был... я был... ну совершенно thunderstruck.

— Ошеломлен, — подсказал пан Бонди.

— Ja, richtik [2]. Ошеломлен. И так это у меня засело в голове, что я задержался там с моим судном еще на день. И вечером опять отправился туда, в Девл-Бэй, и опять смотрел, как акулы жрут моих ящерок. В ту ночь я поклялся, что так этого не оставлю. И *им* я тоже дал свое честное слово, пан Бонди. «Tapa-boys, — сказал я, — *captain И. ван Тох обещает вам здесь, под этими огромными звездами, что он вам поможет».*

---

[1] чудо (*англ.*).

[2] правильно (*нем. диалект.*).

4. Коммерческое предприятие капитана ван Тоха

Капитан ван Тох рассказывал с таким пылом и увлечением, что волосы у него на затылке взъерошились.

— Ja, сэр, я дал такую клятву. С той поры я, брат, не имел ни минуты покоя. В Паданге я взял отпуск и послал господам в Амстердаме сто пятьдесят семь жемчужин — все, что мне натаскали мои зверьки. Потом я разыскал одного такого парня: это был даяк, shark-killer [1], он убивал акул в воде ножом. Страшный вор и убийца этот даяк. Вместе с ним на маленьком tramp [2] я вернулся опять на Танамасу и говорю — мол, теперь, fella [3], ты будешь тут своим ножом убивать акул. Я хотел, чтобы он истребил там акул и мои ящерки обрели покой. Он был такой разбойник и язычник, этот даяк, что tapa-boys были ему нипочем. Черт или не черт, это было ему все равно. А я тем временем производил observations и experiments [4] над lizards. Постой-ка, у меня есть судовой журнал, в котором я каждый день делал записи.

Капитан вытащил из нагрудного кармана объемистую записную книжку и начал ее перелистывать.

— Какое у нас сегодня число? Ага, двадцать пятое июня. Возьмем тогда, например, двадцать пятое июня. Это было, значит, в прошлом году. Да, вот оно. «Даяк убил акулу. Lizards страшно интересуются этой дохлой дрянью. Тоби...» Это был маленький ящерка, замечательно умный, — пояснил капитан, — пришлось дать им имена, понимаешь? Чтобы я мог писать о них в этой книжке. Так вот: «Тоби сунул пальцы в рану, нанесенную ножом. Вечером они носили сухие ветки для моего костра». Ну, это вздор, — буркнул капитан, — я поищу какой-нибудь другой день. — Скажем, двадцатое июня, а? «Lizards продолжали строить»... этот... этот... как это называется — jetty?

— Плотину?

— Ja, плотину. Такая dam [5]. Они строили тогда новую плотину в северо-западном углу Девл-Бэя. Это, брат, была

---

[1] истребитель акул (*англ.*).
[2] пароходе (*англ.*).
[3] приятель (от англ. *fellow*).
[4] наблюдения и опыты (*англ.*).
[5] плотина (*англ.*).

замечательная работа, — пояснил капитан. — Настоящий breakwater.

— Волнорез?

— Ja. Они клали на той стороне свои яйца и хотели, чтобы там были спокойные воды, понимаешь? Они *сами* придумали сделать такую dam; но я тебе скажу, ни один чиновник или инженер из Waterstaat [1] в Амстердаме не мог бы сочинить лучший план для подводной плотины. Замечательно искусная работа; вот только вода портила им дело. Они роют себе под водой такие глубокие ямы под берегом и живут в этих ямах. Страшно умные зверьки, сэр, совсем как beavers.

— Бобры?

— Ja, эти большие крысы, которые умеют устраивать запруды на реке. А у ящерок там было *множество* плотин и плотинок, в Девл-Бэе; такие ровные-ровные dams, что твой город. Ну, и под конец они задумали перегородить плотиной весь Девл-Бэй. Ну так вот. «Научились выворачивать камни рычагами, — продолжал читать капитан. — Альберту — это был один tapa-boy — раздавило при этом два пальца». «Двадцать первого. *Даяк сожрал Альберта.* После этого ему было плохо. Пятнадцать капель опия. Обещал больше этого не делать. Целый день шел дождь... Тридцатое июня. Lizards строили свою плотину. Тоби не хочет работать...» И умница же это был! — с восхищением пояснил капитан. — Умные-то никогда не хотят работать. Он постоянно вытворял какие-нибудь проказы, этот Тоби. Что поделаешь, ящерки тоже бывают очень разные. «Третьего июля. Сержант получил нож». Это был такой большой, сильный ящерка, этот Сержант. И очень ловкий, сэр. «Седьмого июля. Сержант убил ножом cuttle-fish», — это, понимаешь, рыба, которая гадит таким темно-бурым — слыхал?

— Каракатица?

— Ja, она самая. «Двадцатое июля. Сержант убил ножом большую jelly-fish», — это такая сволочь, тело как студень, и жжется как крапива. Мерзкое животное. А теперь внимание, пан Бонди. *«Тринадцатого июля.* — Это у меня подчеркнуто. — *Сержант убил ножом небольшую акулу.* Вес — семьдесят фунтов». Вот как, пан Бонди! — торжественно воскликнул капитан И. ван Тох. —

[1] Ведомства водных сооружений (*голландск.*).

Здесь это записано черным по белому. Это и есть великий день. Точно, тринадцатого июля прошлого года. — Капитан закрыл записную книжку. — Я ничуть не стыжусь, пан Бонди; там, на берегу Девл-Бэя, я упал на колени и заревел от самой искренней радости. Теперь уж я знал, что мои tapa-boys не дадут себя в обиду. Сержант получил за это отличный новый гарпун — гарпун, брат, лучше всего, если хочешь охотиться на акул, и я ему сказал: be a man [1], Сержант, и покажи tapa-boys, что они могут обороняться. И вот, брат, — воскликнул капитан, вскочив с места и ударив по столу от восторга, — через три дня там плавала огромная дохлая акула, full of gashes — как это называется?

— Вся израненная?

— Ja, сплошные дыры от ударов гарпуна. — Капитан глотнул пива с такой жадностью, что в горле у него заклокотало. — Вот оно как, пан Бонди. Тогда только я и заключил с tapa-boys... ну нечто вроде договора. То есть я как бы дал им слово, что, если они будут доставлять мне жемчужницы, я им буду давать за это гарпуны и knives, то есть ножи, чтобы они могли защищаться. See? Это честный бизнес, сударь. Что поделаешь, человек должен быть честным даже с животными. И я дал им еще немного досок и две железных wheelbarrows...

— Ручные тележки. Тачки.

— Ja, такие тачки. Чтобы они могли возить камни на плотину. Им, бедняжкам, приходилось таскать все в своих лапах, понимаешь? Ну, словом, массу вещей они получили. Я бы не хотел их надувать, вовсе нет. Постой, парень, я тебе что-то покажу.

Капитан ван Тох одной рукой подтянул свой живот кверху, а другой извлек из кармана брюк холщовый мешочек.

— Вот здесь, — сказал он и высыпал содержимое мешочка на стол.

Там было около тысячи жемчужин самой различной величины: мелкие, как конопляное семя, немного побольше, величиной с горошину, несколько огромных, с вишню; жемчужины безупречно круглые, как капля, жемчужины бугорчатые, жемчужины серебристые, голубые, телесного цвета, желтоватые, отливающие черным и

[1] будь мужчиной (*англ.*).

розовым. Г. Х. Бонди был словно зачарован; он потерял всякое самообладание, перебирал их, катал по столу кончиками пальцев, сгребал обеими руками.

— Какая красота, — восторженно прошептал он. — Капитан, это — как в сказке!..

— Ja, — невозмутимо ответил капитан. — Красиво. А акул они убили около тридцати за тот год, что я провел с ними. У меня здесь все записано, — сказал он, похлопывая по нагрудному карману. — Зато сколько ножей я им дал, и пять штук гарпунов. *Мне* ножи обошлись почти по два американских доллара a piece, то есть за штуку. Очень хорошие ножи, парень, из такой стали, которую не берет никакая rust.

— Ржавчина?

— Ja. Потому что это для работы под водой, для моря. Ну, и батаки тоже стоили мне кучу денег.

— Какие батаки?

— Да туземцы на том острове. У них такая вера, будто tapa-boys — это черти, и они страшно их боятся. А когда увидели, что я с их чертями разговариваю, хотели убить меня. Целыми часами звонили в колокола, чтобы отогнать, значит, чертей от своего кампонга. Ужасный тарарам подняли. Ну, а потом каждое утро приставали ко мне, чтобы я им заплатил за этот набат. За то, что они трудились, понимаешь? Что и говорить, эти батаки — отчаянные жулики. Но с tapa-boys, сэр, с ящерками, можно бы сделать честный бизнес. Очень хорошее дело, пан Бонди.

Г. Х. Бонди все происходящее казалось сном.

— Покупать у них жемчуг?

— Ja. Только в Девл-Бэе уже никакого жемчуга нет, а на других островах нет никаких tapa-boys. В этом-то вся суть, парень.

Капитан И. ван Тох раздул щеки с победоносным видом.

— Это и есть то большое дело, которое я обмозговал. Послушай, — сказал он, тыча в воздух толстым пальцем. — Ведь этих ящерок стало гораздо больше с тех пор, как я взял их под защиту! Они могут теперь обороняться. You see? А? А дальше их будет еще больше! Ну, так как же, пан Бонди? Разве это не замечательное предприятие?

— Я все еще не понимаю, — неуверенно произнес Г. Х. Бонди, — что вы, собственно, имеете в виду, капитан?

— Ну, перевозить tapa-boys на другие жемчужные острова, — выложил наконец капитан. — Я заметил, что ящерки не могут сами переплывать открытое море в глубоких местах. Они немножко плавают, немножко ходят по дну, но на большой глубине для них слишком большое давление: они чересчур мягкие, понимаешь? Но если бы у меня было судно, в котором можно было бы устроить резервуар, такой бассейн с водой, то я мог бы перевозить их, куда хочу, see? И они искали бы там жемчуг, а я бы ездил к ним и привозил им ножи и гарпуны и всякие прочие вещи, в которых они нуждаются. Эти бедняжки там, в Девл-Бэе, так рас... распоросились... а?

— Расплодились.

— Ja, так расплодились, что им уже почти нечего жрать. Они едят мелких рыбешек, моллюсков и водяных жуков... Но могут жрать и картошку, и сухари, и всякие обыкновенные вещи. Этим можно было бы их кормить в резервуарах, на судне. А в подходящих местах, где не очень много людей, я пускал бы их в воду и устраивал бы там такие... такие фермы для моих ящерок. Потому что я хотел бы, чтобы они могли прокормиться, эти зверьки. Они очень славные и умные, пан Бонди. Вот увидишь их, парень, сам скажешь: хэлло, captain, полезные у тебя зверьки. Ja. Люди ведь теперь с ума сходят по жемчугу, пан Бонди. Вот это и есть тот большой бизнес, что я придумал.

Г. Х. Бонди был в нерешительности.

— Мне очень жаль, капитан, — начал он, — но я, право, не знаю...

Лазурные глаза капитана И. ван Тоха подернулись влагой.

— Это плохо, братец! А я бы тебе оставил все эти жемчужины, как... как залог за то судно. Сам я купить судно не могу. А я знаю очень подходящую посудину в Роттердаме. На дизеле...

— Почему вы не предложили это дело кому-нибудь в Голландии?

Капитан покачал головой.

— Я, брат, знаю этих людей. С ними об этом говорить нельзя... А я, пожалуй, — задумчиво прибавил он, — возил бы на этом судне и другие вещи, всевозможные goods[1],

[1] товары (*англ.*).

и продавал бы их на тех островах. Да, я бы это мог. У меня там куча знакомств, пан Бонди. А при этом я мог бы иметь у себя на судне такие резервуары для моих ящерок...

— Гм, об этом еще можно подумать, — размышлял вслух Г. Х. Бонди. — Дело в том, что как раз... Ну да, нам *нужно* искать новые рынки для нашей промышленности. Случайно я говорил об этом на днях с несколькими лицами... Я хотел бы купить один или два парохода, один для Южной Америки, а другой для восточных стран...

Капитан ожил.

— Вот за это хвалю, пан Бонди! Суда теперь страшно дешевы, можешь купить их хоть целую гавань...

Капитан ван Тох пустился в технологические объяснения, где и за какую цену продаются всякие vessels, boats и tank-steamers[1]. Г. Х. Бонди не слушал капитана; он только рассматривал его. Г. Х. Бонди умел разбираться в людях. Ни на одно мгновение он не принимал всерьез ящериц капитана ван Тоха; но сам капитан стоил внимания. Честный человек, да. И знает тамошние условия. Сумасшедший, конечно. Но чертовски симпатичен. В сердце Г. Х. Бонди зазвенела какая-то фантастическая струна. Корабли с жемчугом и кофе, корабли с пряностями и всякими благовониями Аравии! Г. Х. Бонди ощутил то странное, необъяснимое волнение, которое обычно предшествовало у него всякому важному и удачному решению; это можно было бы выразить в словах: «Сам не знаю почему, но я, кажется, за это возьмусь». А тем временем captain ван Тох своими огромными лапами чертил в воздухе силуэты судов с awning-decks и quarter-decks[2], — превосходные суда, братец...

— Знаете что, капитан ван Тох, — сказал вдруг Г. Х. Бонди, — зайдите ко мне через две недели. Мы возобновим тогда разговор о пароходе.

Captain ван Тох понял, как много значат эти слова. Покраснев от радости, он вымолвил только:

— А как ящерки — смогу я их возить на моем пароходе?

---

[1] корабли, пароходы и наливные суда (*англ.*).
[2] палубой под тентом и со шканцами (*англ.*).

— Разумеется. Только... пожалуйста, никому о них ни слова. Люди подумают, что вы спятили... и я заодно с вами.

— А жемчуг вам можно оставить?

— Можно.

— Ja, только я должен выбрать две жемчужины покрасивее, надо послать их кое-кому.

— Кому?

— А таким двум редакторам, парень. Ja, черт подери, постой-ка!

— Что?

— Как их звали, черт подери?

Капитан ван Тох растерянно моргал своими лазурными глазами.

— Такая, брат, глупая у меня голова... Уже забыл, как звали этих двух boys...

5. Капитан И. ван Тох и его дрессированные ящерицы

— Провалиться мне на этом месте, — воскликнул человек на набережной в Марселе, — если это не Иенсен!

Швед Иенсен поднял глаза.

— Постой, — сказал он, — и помолчи, пока я тебя не узнаю.

Он прикрыл глаза рукой.

— «Чайка»? Нет. «Императрица Индии»? Нет. «Пернамбуко»? Нет. А, знаю! «Ванкувер». Лет пять тому назад на «Ванкувере», в пароходстве Осака-лайн, Фриско. А зовут тебя Дингль, бродяга ты этакий, и ты ирландец.

Человек оскалил зубы и подсел к шведу.

— Right[1], Иенсен. И, кроме того, пью любую водку, когда угощают. Ты где теперь?

Иенсен показал кивком.

— Крейсирую на линии Марсель — Сайгон. А ты?

— А я в отпуске, — похвастал Дингль, — еду домой посмотреть, сколько у меня прибавилось детей.

Иенсен глубокомысленно покачал головой.

— Значит, тебя опять выставили. Так? Пьянство в служебное время и тому подобное. Если бы ты, брат, посещал YMCA, как я...

[1] Правильно (*англ.*).

Дингль ужаснулся.

— Здесь тоже есть YMCA?

— Да ведь сегодня суббота, — проворчал Иенсен. — А где ты плавал?

— На одном трампе, — уклончиво ответил Дингль. Разные острова там на юге.

— Капитан?

— Некий ван Тох. Голландец или что-то в этом роде.

Швед Иенсен задумался.

— Капитан ван Тох... Я с ним тоже плавал несколько лет тому назад. Судно — «Кандон-Бандунг». Рейс — от черта к дьяволу. Толстый, лысый и ругается даже по-малайски, чтобы крепче получалось. Знаю хорошо.

— Он уже тогда был такой сумасшедший?

Швед покачал головой.

— Старый Тох — all right [1], братец.

— Возил он тогда уже с собой ящериц?

— Нет... — Иенсен стал припоминать: — Что-то я уже слышал об этом... в Сингапуре. Какой-то враль молол там языком на этот счет.

Ирландец слегка обиделся.

— Это совсем не вранье, Иенсен. Это святая истина насчет ящериц.

— Тот, в Сингапуре, тоже божился, что это правда, — проворчал швед. — И все же получил по рылу! — прибавил он с победоносным видом.

— Дай же я тебе расскажу, в чем тут дело, — упорствовал Дингль. — Уж кому знать, как не мне. Я эту мразь видел собственными глазами.

— Я тоже, — пробормотал Иенсен. — Почти совсем черные, рост — около метра шестидесяти, с хвостом, и ходят на двух ногах. Знаю.

— Отвратительные, — передернулся Дингль. — Все в бородавках, дружище! Матерь божия, я бы к ним не притронулся. Они, наверное, ядовитые!

— Почему? — буркнул швед. — Я, брат, служил как-то на судне, которое возило людей. И на верхней и на нижней палубе — везде люди. Женщины, и все такое прочее. И танцуют и играют в карты... я там был кочегаром, понимаешь? Ну, а теперь скажи мне, олух, что ядовитее?

Дингль сплюнул.

---

[1] Здесь: что надо (*англ.*).

— Если бы это были кайманы, я, брат, ничего бы не сказал. Я тоже как-то возил змей для зверинца — оттуда, из Банджермасина. Ну и воняли! Но ящерицы... — Иенсен, уж слишком они странные звери. Днем-то еще ничего, днем все это сидит в таких бассейнах с водой; но ночью оно вылезает — топ-топ, топ-топ... Все судно ими кишмя кишит. И оно становится на задние ноги и поворачивает голову за тобой вслед... — Ирландец перекрестился. — Цыкает на человека — тс-тс-тс, как шлюхи в Гонконге. Прости меня, господи, только я думаю, что тут дело нечисто. Если бы не так туго было с работой, я бы там и часа не оставался, Иенсен. Ни единого часа.

— Ага, — сказал Иенсен. — Так вот почему ты возвращаешься к маменьке?

— Отчасти... Приходилось чертовски пить, чтобы вообще выдержать там, а ты сам знаешь, капитан насчет этого строг! Вот был тарарам, когда я одну из этих тварей пнул ногой. Ну да, пнул, да еще, брат, с каким удовольствием! Даже хребет перешиб. Ты бы посмотрел, что было со стариком! Посинел, схватил меня за горло и швырнул бы в воду, не окажись тут штурман Грегори. Знаешь его?

Швед кивнул головой.

— «Хватит с него, сэр», — сказал штурман и вылил мне на голову ведро воды. И в Кокопо меня списали. — Дингль плюнул, и плевок пролетел в воздухе длинной дугой. — Старику эта мразь дороже людей. Знаешь, он учил их говорить! Ей-богу! Запирался с ними и часами разговаривал. Я думаю, он их дрессирует для цирка. Но самое странное то, что он их потом опять пускает в воду. Остановится у какого-нибудь дурацкого островка, болтается в шлюпке вдоль берега и измеряет глубину; а потом запрется там, где эти резервуары, откроет люк в борту и выпускает свою мразь в воду. А оно, брат, скачет через окошечко — одно за другим, как дрессированные тюлени, штук десять — двенадцать... А ночью старый Тох отправляется на берег с какими-то ящиками. Что там в этих ящиках — никто не знает. Потом двигаем дальше. Вот так обстоят дела со старым Тохом, Иенс. Странно. Чересчур странно! — В глазах Дингля мелькнуло выражение ужаса. — Боже всемогущий, Иенс, до чего мне было жутко! Я пил, брат, пил как сумасшедший. А когда оно ночью топало по всему судну и служило на задних лапах... и цыкало: тс-тс-тс, так и я иногда думал:

эге, братец, это у тебя с перепою! Со мной это уже было однажды во Фриско, помнишь, Иенсен? Но тогда мне везде мерещились пауки. «Дели-риум», — говорили врачи в Sailor hospital [1]. Но потом я спросил толстого Бинга, видел ли он тех чудовищ, и он сказал, что видел. Собственными глазами, говорит, подглядел раз, как один ящер взялся за ручку двери и вошел в каюту к капитану. Но не знаю... Этот Джо тоже жутко пил. Как ты думаешь, Иенс, у Бинга тоже был делириум или нет? Как ты думаешь?

Иенсен только пожал плечами.

— А немец Петерс рассказывал, будто на островах Манихики он отвез капитана на берег, а потом спрятался за скалами и стал смотреть, что там старый Тох делает со своими ящиками. Так он, брат, говорит, что эти ящеры сами пооткрывали их, когда старик дал им долото. А знаешь, что было в ящиках? Оказывается, ножи, дружище. Такие длинные ножи, гарпуны и тому подобное. Я, правда, Петерсу не верю, у него очки на носу, но все-таки это странно. Ты как думаешь?

У Иенсена вздулись жилы на лбу.

— Я думаю, — буркнул он, — что твой немец сует свой нос в дела, которые его совсем не касаются. Понял? И скажу тебе, что я ему этого не советую.

— А ты ему напиши, — усмехнулся ирландец. — Самый точный адрес — пекло, наверняка дойдет. А знаешь, что меня удивляет? Старый Тох время от времени навещает своих ящериц в тех местах, где он насажал их. Ей-богу, Иенс. Вечером приказывает отвезти себя в шлюпке на берег и возвращается только к утру. Так вот, скажи-ка мне, Иенс, ради чего ему туда ездить? И скажи мне, что спрятано в посылочках, которые он отправляет в Европу? Смотри — вот такие маленькие посылочки страхует на тысячу фунтов.

— Откуда ты знаешь? — еще более хмуро спросил швед.

— Да вот знаю, — уклончиво ответил Дингль. — А как ты думаешь, откуда старый Тох возит этих ящериц? Из Девл-Бэя. Из Чертова залива, Иенс. У меня там есть один знакомый, он агент, человек с образованием, так он мне говорил, брат, что это вовсе не дрессированные

[1] морском госпитале (*англ.*).

ящерицы. Куда там! Пусть малым детям рассказывают, что это просто животные. А нам, брат, пусть зубы не заговаривают. — Дингль многозначительно подмигнул. — Вот какие дела, Иенсен... А ты мне говоришь, что captain van Toch — all right!..

— Ну-ка, повтори еще раз! — угрожающе прохрипел огромный швед.

— Был бы старый Тох all right, не развозил бы чертей по всему свету... и не запускал бы их всюду на островах, словно блох в шубу. За то время, Иенс, что я плавал с ним, он перевез их несколько тысяч, не меньше. Старый Тох продал свою душу, браток. И я знаю, чем ему черти платят. Рубины, жемчуг и тому подобное. Можешь не сомневаться, даром он не стал бы это делать.

Иенс Иенсен побагровел.

— А тебе-то что? — рявкнул он, стукнув кулаком по столу. — Занимайся своими проклятыми делами!

Маленький Дингль испуганно подскочил.

— Ну, чего ты... — смущенно залепетал он. — Что ты так вдруг... Я ведь только рассказываю, что видел. А если хочешь, так все это мне только померещилось. Только ради тебя, Иенсен... Пожалуйста, могу сказать, что это бред. Иенсен, ты же знаешь, со мной было уже такое во Фриско. «Тяжелый случай», — говорили врачи в Sailor hospital. Ей-богу, брат, мне показалось, что я видел ящериц, или чертей, или еще что-то такое. А на самом деле ничего не было.

— Было, Пат, — мрачно сказал швед, — я их видел.

— Нет, Иенсен, — убеждал его Дингль. Это у тебя был просто делириум. Старый Тох — all right, но... ему не следовало бы развозить чертей по свету. Знаешь что? Когда я приеду домой, закажу мессу за спасение его души. Провалиться мне на этом месте, Иенсен, если я этого не сделаю.

— По нашей религии, — меланхолически протянул Иенсен, — этого не полагается. А как ты думаешь, Пат, помогает, если отслужить за кого-нибудь мессу?

— Чудесно помогает!.. — воскликнул ирландец. — Я слышал на родине не раз, что это помогало... ну, даже в самых тяжелых случаях! Против чертей вообще и... тому подобное, понимаешь?

— Тогда я тоже закажу католическую мессу, — решил Иенс Иенсен. — За капитана ван Тоха. Но я закажу ее

здесь, в Марселе. Я думаю, что вон в том большом соборе это можно сделать дешевле, по оптовой цене.

— Может быть, но... ирландская месса лучше. У нас, брат, такие монахи, что почище всяких колдунов будут. Прямо как факиры или язычники.

— Слушай, Пат, — сказал Иенсен, — я бы тебе дал двенадцать франков на мессу. Но ты ведь парень непутевый, пропьешь...

— Иенс, такого греха я на душу не возьму. Но постой, чтобы ты мне поверил, я напишу на эти двенадцать франков расписку. Хочешь?

— Это можно, — сказал швед, который во всем любил порядок.

Дингль раздобыл листок бумаги, карандаш и занял этими принадлежностями почти весь стол.

— Что же мне тут написать?

Пенс Иенсен заглянул ему через плечо.

— Сначала напиши сверху, что это расписка.

И Дингль медленно, с усилием, высовывая язык и слюнявя карандаш, вывел:

Расписка
Сим удаставиряю што
палучил от Енса Енсена
на месу за Душу Капитна
Тоха двина 12 франкоф
Пат Дингль

— Так правильно? — неуверенно спросил Дингль, — А у кого из нас должен остаться этот листок?

— У тебя, конечно, осел ты этакий, — не задумываясь ответил швед. — Это делается, чтобы человек не забыл, за что он получил деньги.

Эти двенадцать франков Дингль пропил в Гавре и вместо Ирландии отправился оттуда в Джибути. Короче говоря, месса отслужена не была, вследствие чего естественный ход событий не нарушался вмешательством каких-либо высших сил.

6. Яхта в лагуне

Мистер Эйб Леб, прищурившись, глядел на заходящее солнце. Ему хотелось как-то высказать, до чего это красиво, но крошка Ли — она же мисс Лили Валлей, по документам Лилиан Новак, а для друзей — златокудрая Ли, Белая Лилия, длинноногая Лилиан, и как там ее еще называли в ее семнадцать лет, — спала на горячем песке, закутавшись в мохнатый купальный халат и свернувшись в клубок, как прикорнувшая собачонка. Поэтому Эйб ничего не сказал о красоте природы и только вздыхал, шевеля пальцами босых ног, чтобы вытряхнуть песчинки. Недалеко от берега стоит на якоре яхта «Глория Пикфорд»; эту яхту Эйб получил от папаши Леба за то, что сдал университетские экзамены. Молодчина папаша Леб, Джесс Леб, магнат кинопромышленности и так далее. «Эйб, пригласи нескольких приятелей или приятельниц и поезди по белу свету», — сказал старик. Папаша Джесс — молодец первый сорт! И вот теперь там, на перламутровой поверхности моря, застыла «Глория Пикфорд», а здесь, на горячем песке, спит крошка Ли. У Эйба захватило дух от счастья. Спит, как маленький ребенок, бедняжка. Мистер Эйб ощутил непреодолимое, страстное желание спасти Ли от какой-нибудь опасности. «Собственно говоря, следовало бы *действительно* жениться на ней», — подумал молодой мистер Леб, и сердце его сжалось от сладостного и мучительного чувства, в котором твердая решимость смешивалась с малодушием. Мамаша Леб, наверное, не согласится на это, а папаша Леб только руками разведет: «Ты с ума сошел, Эйб». Родители просто не могут этого понять, вот и все. И мистер Эйб, нежно вздохнув, прикрыл полой купального халата беленькую лодыжку Ли. «Как глупо, — смущенно подумал он, — что у меня такие волосатые ноги!»

Господи, до чего здесь красиво, до чего красиво! Жаль, что Ли этого не видит. Мистер Эйб залюбовался красивой линией ее бедра и, по какой-то смутной ассоциации,

начал думать об искусстве. Ли ведь тоже артистка. Киноартистка. Правда, она еще не играла, но твердо решила сделаться величайшей кинозвездой всех времен, а если Ли что-нибудь задумает, то обязательно добьется своего. Вот этого как раз и не понимает мамаша Леб. Артистка — это... одним словом, артистка и не может быть такой, как другие девушки. К тому же другие девушки ничуть не лучше, решил Эйб. Например, эта Джэди, там, на яхте, такая богатая девица... а я знаю, что Фред ходит к ней в каюту. *Каждую* ночь, изволите ли видеть! Тогда как я и Ли... Просто Ли *не такая.* Я желаю всего лучшего Фреду-бейсболисту, великодушно размышлял Эйб, он мой товарищ по университету. Но каждую ночь... Нет, богатая девушка не должна была бы *так* поступать. То есть девушка из такой семьи, как Джэди. И ведь Джэди — даже не артистка. (О чем только эти девушки иногда шушукаются! — вспомнил вдруг Эйб. И как у них при этом горят глаза и как они хихикают. *Мы* с Фредом о *таких* вещах никогда не говорим.) (Ли не надо пить коктейль в таком количестве; она потом сама не знает, что говорит.) (Например, сегодня днем — это было уж слишком...) (Я имею в виду, как они с Джэди заспорили, у кого из них ноги красивее. Само собой разумеется, что у Ли. Я-то знаю.) (А Фреду нечего было затевать этот дурацкий конкурс красивых ног. Это можно устраивать где-нибудь на Палм-Бич, но не в своей интимной компании. А девушкам не следовало *так высоко* задирать юбки. Это уже, собственно, были *не только ноги...* По крайней мере, Ли не следовало этого делать. Тем более перед Фредом. И такая богатая девушка, как Джэди, зря это делала.) (А я, пожалуй, напрасно позвал капитана и предложил ему быть судьей. Это было глупо. Как побагровел капитан, и усы у него ощетинились. «Простите, сэр», — и хлопнул дверью. Неприятно. Ужасно неприятно. Капитану не следовало быть до *такой степени* грубым. В конце концов ведь это *моя* яхта, не так ли?) (Правда, у капитана нет с собой девушки; так легко ли ему, бедняге, смотреть на *такие* вещи? То есть поскольку ему приходится оставаться на холостом положении?) (А почему Ли плакала, когда Фред сказал, что у Джэди ноги красивее? Потом она говорила, что Фред такой невоспитанный; отравил ей всю поездку... Бедненькая Ли!..)

(Теперь девушки дуются друг на друга. А когда я хотел поговорить с Фредом, Джэди подозвала его к себе, как собачонку. Все-таки Фред — мой лучший приятель. Конечно, если он возлюбленный Джэди, он *должен* говорить, что у нее ноги красивее. Но зачем было утверждать это так категорически? Это было *нетактично* по отношению к бедняжке Ли. Ли права, что Фред самоуверенный чурбан. Ужасный чурбан.) (Собственно, я представлял себе это путешествие иначе. На черта мне сдался Фред!)

Мистер Эйб обнаружил, что он уже не любуется перламутровым морем, но с весьма мрачным видом просеивает между пальцами песок с ракушками. Он был огорчен и расстроен. Папаша Леб сказал: «Поезжай да постарайся повидать побольше». А что мы видели? Мистер Эйб старался припомнить, но в памяти его всплывала только одна картина — как Джэди и Ли показывают свои ноги, а Фред, широкоплечий Фред, сидит перед ними на корточках. Эйб нахмурился еще больше. Как, собственно, называется этот коралловый остров? Тараива, говорил капитан. Тараива, или Тахуара, или Тараихатура-тахуара. Что, если вернуться домой и сказать старому Джессу: «Папа, мы побывали даже на Тараихатуара-тахуара». (И зачем только я позвал тогда капитана, — поморщился мистер Эйб.) (Надо будет поговорить с Ли, чтобы она не делала таких вещей. Господи, почему я ее так *ужасно* люблю? Когда проснется, поговорю с ней. Скажу, что мы могли бы пожениться...) Глаза мистера Эйба наполнились слезами. Господи, отчего это — от любви или от муки? Или же эта безмерная мука оттого, что я ее люблю?..

Подведенные синим, блестящие, похожие на нежные ракушки, веки крошки Ли затрепетали.

— Эйб, — прозвучал сонный голосок, — знаешь, о чем я думаю? Здесь, на этом острове, можно было бы сделать ши-кар-ный фильм.

Мистер Эйб старался засыпать свои злополучные волосатые ноги мелким песком.

— Превосходная идея, крошка. А какой фильм?

Ли открыла свои бездонные синие глаза.

— Например... Представьте себе, что я была бы на этом острове Робинзоном. Женщина-Робинзон! Правда, совершенно новая идея?

— Да-а, — неуверенно произнес мистер Эйб. — А как бы ты попала на этот остров?

— Превосходнейшим манером!.. — ответил сладкий голосок. — Просто наша яхта потерпела бы во время бури крушение, и вы все потонули бы — ты, Джэди, капитан и все.

— А Фред? Он ведь замечательно плавает.

Гладкий лобик наморщился.

— Тогда пусть Фреда съест акула. Получится изумительный кадр! — захлопала Ли в ладоши. — Ведь у Фреда безумно красивое тело, правда?

Мистер Эйб вздохнул.

— Ну, а дальше?

— А меня в бессознательном состоянии выбросила бы на берег волна. На мне была бы пижама, та, в голубую полоску, что так понравилась тебе позавчера. — Взгляд, брошенный из-под полуопущенных ресниц, наглядно продемонстрировал силу женских чар. — Вернее, это должен быть цветной фильм, Эйб. Все говорят, что голубой цвет поразительно идет к моим волосам.

— А кто бы тебя здесь нашел? — деловито осведомился мистер Эйб.

Крошка Ли задумалась.

— Никто! Какой же тогда Робинзон, если тут будут люди, — ответила она с неожиданной логикой. — Вот почему эта роль такая шикарная, ведь я все время играла бы одна. Вообрази только — Лили Валлей в главной и вообще единственной роли!

— А что бы ты делала в течение всего фильма?

Крошка Ли оперлась на локоть.

— У меня уже все продумано. Купалась бы и пела на скале.

— В пижаме?

— Без, — сказала крошка. — Ты не думаешь, что я имела бы огромный успех?

— Но не можешь ведь ты ходить все время голой, — проворчал Эйб с явным неодобрением.

— А почему бы и нет? — невинно удивилась крошка. — Что здесь такого?

Мистер Эйб пробормотал что-то нечленораздельное.

— А потом, — продолжала свои размышления Ли, — постой... ага, знаю. Потом меня похитила бы горилла. Понимаешь, такая страшная, волосатая, черная горилла.

Мистер Эйб покраснел и постарался еще глубже зарыть в песок свои проклятые ноги.

— Но здесь же нет горилл, — возразил он малоубедительным тоном.

— Есть. Здесь есть всевозможные звери. Ты должен относиться к делу как художник, Эйб. Горилла удивительно подойдет к моему оттенку кожи. А ты обратил внимание, какие у Джэди волосы на ногах?

— Нет, — ответил Эйб, крайне недовольный этой темой.

— Ужасные ноги, — заметила Ли и с удовлетворением посмотрела на собственные икры. — А когда горилла понесет меня на руках, из лесной чащи выйдет молодой прекрасный дикарь и заколет ее.

— А как он будет одет?

— У него будет лук, — без колебаний решила крошка, — и венок на голове. Этот дикарь возьмет меня в плен и приведет в становище каннибалов.

— Здесь нет никаких каннибалов. — Эйб попробовал вступиться за островок Тахуара.

— Есть. Людоеды захотят принести меня в жертву своим идолам и споют при этом гавайские песни. Знаешь, как негры поют в ресторане «Парадиз». Но тот молодой людоед влюбился бы в меня, — прошептала крошка Ли с широко раскрытыми от восторга глазами, — и... потом еще один дикарь влюбился бы в меня, скажем — предводитель этих каннибалов... а потом один белый...

— Откуда же тут возьмется белый? — спросил Эйб в интересах точности.

— Он был бы у них в плену. Например, это был бы знаменитый тенор, который попал в руки дикарей. Это для того, чтобы он мог петь в фильме.

— А в чем он был бы одет?

Ли поглядела на пальчики своих ножек.

— Он был бы... без всего, как и людоеды.

Мистер Эйб покачал головой.

— Не годится, крошка. Все знаменитые тенора страшно толстые.

— Жалко, — огорчилась Ли. — Ну, тогда его мог бы играть Фред, а тенор только пел бы. Знаешь, как теперь озвучивают фильмы.

— Но ведь Фреда сожрала акула?

Ли рассердилась.

— Нельзя быть таким ужасным реалистом, Эйб! С тобой

вообще невозможно говорить об искусстве! А предводитель обвил бы меня всю нитками жемчуга...

— Где бы он его взял?

— Здесь *масса* жемчуга, — с уверенностью объявила Ли. — А Фред из ревности боксировал бы с ним на скале над морским прибоем. Получится шикарно: силуэт Фреда на фоне неба! Правда, блестящая идея? При этом они оба упали бы в море... — Ли просветлела. — Тут и пригодится эпизод с акулой. Вот взбесится Джэди, если Фред будет играть со мной в фильме! А я бы вышла замуж за того красивого дикаря. — Златокудрая Ли вскочила. — Мы стояли бы тут на берегу... на фоне солнечного заката... совершенно нагие... и диафрагма постепенно закрывалась бы... — Ли сбросила купальный халат. — А теперь я иду в воду.

— Ты не надела купальный костюм, — пробормотал Эйб, оглядываясь на яхту, не смотрит ли кто-нибудь оттуда; но Ли уже вприпрыжку бежала по песку к лагуне.

«...Собственно, в платье она лучше», — заговорил вдруг в молодом человеке голос холодной и жестокой критики. Эйб был потрясен отсутствием у него надлежащего любовного восторга и чувствовал себя почти преступником, но... все-таки когда Ли в платье и туфельках, то... право же, это как-то красивее.

«Ты, верно, хочешь сказать — приличнее», — возражал Эйб холодному голосу.

«Ну да, и это тоже. И красивее. Почему она так нелепо шлепает по воде? Почему у нее так трясутся бока? Почему то, почему се...»

«Перестань, — с ужасом отбивался Эйб. — Ли — самая красивая девушка, которая когда-либо существовала на свете! Я ее ужасно люблю...»

«...Даже когда на ней нет ничего?» — спросил холодный критический голос.

Эйб отвернулся и взглянул на яхту в лагуне. Как она красива, как безупречны все линии ее бортов! Жаль, нет тут Фреда. С Фредом можно было бы поговорить о красоте яхты.

Тем временем Ли стояла уже по колено в воде, простирала руки к заходящему солнцу и пела.

«Скорей бы уж лезла в воду, черт бы ее драл! — раздраженно подумал Эйб. — А все-таки это было красиво, когда она лежала, свернувшись клубочком, закутанная

в халат, с закрытыми глазами. Милая крошка Ли! — И Эйб, растроганно вздохнув, поцеловал рукав ее купального халата. — Да, я ужасно ее люблю. Так люблю, что больно делается».

Внезапно с лагуны донесся пронзительный визг. Эйб привстал на колено, чтобы лучше видеть. Ли пищит, размахивает руками и бегом спешит к берегу, спотыкаясь и разбрызгивая воду... Эйб вскочил и бросился к ней.

— Что такое, Ли?

(Посмотри, как она нелепо бежит, — отметил холодный критический голос. Как она выбрасывает ноги. Как размахивает руками во все стороны. Это просто *некрасиво.* И еще кудахчет при этом, да, кудахчет.)

— Что случилось, Ли? — кричал Эйб, спеша на помощь.

— Эйб, Эйб... — пролепетала Ли и, — трах! — мокрая и холодная, повисла на нем. — Эйб, там какой-то зверь!

— Ничего там нет, — успокаивал ее Эйб. — Наверное, просто какая-нибудь рыба.

— Но у него такая страшная голова!.. — зарыдала крошка и уткнулась мокрым носом в грудь Эйба.

Эйб хотел отечески похлопать Ли по плечу, но шлепки по мокрому телу получились бы слишком звучными.

— Ну, ну, — проворчал он, — посмотри, там уже ничего нет.

Ли оглянулась на лагуну.

— Это было ужасно, — прошептала она и вдруг взвизгнула. — Вон... вон... видишь?

К берегу медленно приближалась черная голова, то разевая, то закрывая широкую пасть. Ли издала истерический вопль и сломя голову кинулась прочь.

Эйб был в нерешительности. Бежать за Ли, чтобы она не боялась? Или же остаться здесь и показать ей, что ему не страшен этот зверь? Само собой разумеется, он избрал второе решение. Он сделал несколько шагов и, остановившись по щиколотку в воде, сжав кулаки, посмотрел зверю в глаза. Черная голова тоже остановилась, странно закачалась и произнесла:

— Тс-тс-тс...

Эйбу стало немного жутко, но ведь нельзя же показывать виду.

— В чем дело? — резко спросил он, обращаясь к голове.

— Тс-тс... — ответила голова.

— Эйб, Эйб, Эйб... — верещала крошка Ли.

— Иду!.. — крикнул Эйб и медленно (чтобы не подумали чего) зашагал к своей возлюбленной. По дороге он даже приостановился и бросил строгий взгляд назад.

На берегу, где волны выводят на песке свои вековечные, непрочные узоры, стоял на задних лапах какой-то темный зверь с круглой головой и извивался всем телом. Эйб застыл на месте с бьющимся сердцем.

— Тс-тс-тс... — произнес зверь.

— Эйб! — вопила Ли, близкая к обмороку.

Эйб отступал шаг за шагом, не спуская глаз со зверя. Тот не шевелился и только поворачивал голову вслед за Эйбом.

Наконец Эйб оказался возле крошки, которая лежала ничком на земле и, захлебываясь, всхлипывала от ужаса.

— Это... что-то вроде тюленя, — неуверенно сообщил Эйб. — Надо бы возвратиться на яхту, Ли.

Но Ли только дрожала.

— И вообще тут нет ничего опасного, — твердил Эйб.

Ему хотелось опуститься на колени, склониться над Ли, но он чувствовал себя обязанным рыцарски стоять между нею и зверем. «Был бы я не в одних трусах, — думал он, — да будь у меня хоть перочинный нож... или хоть бы палку какую найти...»

Начало смеркаться. Зверь приблизился еще шагов на тридцать и остановился. А вслед за ним вынырнули из моря пять, шесть, восемь таких же животных и, раскачиваясь, нерешительно засеменили к тому месту, где Эйб сторожил Ли.

— Не смотри, Ли... — прошептал Эйб, но в этом не было надобности, так как Ли не оглянулась бы ни за что на свете.

Из моря выходили все новые тени и продвигались вперед широким полукругом. «Их уже около шестидесяти, — мысленно подсчитал Эйб. — А это светлое — купальный халат Ли. Халат, в котором она только что спала...» Животные тем временем подошли уже к светлому предмету, который широким пятном выделялся на песке.

И тогда Эйб совершил нечто само собой разумеющееся и в то же время бессмысленное, подобно шиллеровскому рыцарю, который спустился на арену ко львам за перчаткой своей дамы. Ничего не поделаешь, есть такие само

собой разумеющиеся и в то же время бессмысленные поступки, которые мужчины будут совершать до тех пор, пока существует мир. Не раздумывая, с высоко поднятой головой и сжатыми кулаками, мистер Эйб Леб вступил в круг зверей, чтобы отнять у них купальный халат крошки Ли.

Звери немного отступили, но не убежали. Эйб поднял халат, перебросил его через руку, как тореадор, и остановился.

— Эйб!.. — неслись сзади отчаянные вопли.

Мистер Эйб почувствовал прилив безмерной отваги и силы.

— Ну что? — сказал он зверям и подступил к ним еще на шаг. — Чего вы, собственно, хотите?

— Тс-тс, — зацыкал один зверь, а потом каким-то скрипучим старческим голосом пролаял: — Ноаж!..

— Ноаж!.. — отозвались скрипучие голоса немного дальше: — Ноаж! Ноаж!

— Э-эйб!..

— Не бойся, Ли — крикнул Эйб.

— Ли!.. — залаяло перед ним. — Ли! Ли! Э-эйб!..

Эйбу казалось, что он видит сон.

— В чем дело?

— Ноаж!

— Э-эйб! — стонала Ли. — Иди сюда!

— Сейчас. Вы имеете в виду нож? У меня никакого ножа нет. Я вам ничего не сделаю. Что вы хотите еще?

— Тс-тс, — цыкнул зверь и заковылял к нему.

Эйб, придерживая переброшенный через руку халат, широко расставив ноги, но не отступил.

— Тс-тс, — сказал он. — Чего надо?

Зверь, казалось, протягивал к нему переднюю лапу; это не понравилось Эйбу.

— Что? — спросил он довольно резко.

— Ноаж! — пролаял зверь и выронил из лапы что-то беловатое, похожее на каплю. Но это не было каплей, потому что оно покатилось.

— Эйб! — захлебывалась Ли. — Не оставляй меня здесь!

Мистер Эйб не чувствовал уже никакого страха.

— Прочь с дороги! — сказал он и махнул на зверя купальным халатом.

Зверь поспешно и неуклюже отступил. Теперь Эйб мог удалиться с честью; но пусть Ли увидит, какой он храбрый; и он нагнулся, чтобы рассмотреть то беловатое, что зверь выронил из лапы. Это были три твердых, гладких, матово-блестящих шарика. Мистер Эйб поднес их к глазам, так как уже смеркалось.

— Эйб! — пищала покинутая Ли. — Эйб, Эйб!..

— Иду, иду! — крикнул мистер Эйб. — Ли, у меня для тебя что-то есть! Ли, Ли, я тебе что-то несу!

Размахивая купальным халатом над головой, мистер Эйб мчался по берегу, как молодой бог. Ли сидела на корточках, вся скорчившись, и дрожала.

— Эйб, — простонала она, стуча зубами. — Как ты можешь... Как ты можешь...

Эйб торжественно преклонил перед ней колена.

— Лили Валлей, морские боги, они же тритоны, пришли воздать тебе почести. Они поручили передать тебе, что, с тех пор как Венера родилась из пены морской, ни одна артистка не производила на них такого впечатления, как ты. В знак своего восхищения они посылают тебе, — Эйб протянул к ней руку, — три жемчужины. Смотри!

— Не мели вздор, Эйб! — захныкала Ли.

— Серьезно, Ли! Посмотри же, это настоящий жемчуг!

— Покажи! — простонала Ли и взяла в свои дрожащие пальцы три беловатых шарика. — Эйб, — прошептала она, — ведь это *жемчуг!* Ты нашел его в песке?

— Но, Ли, крошка моя, жемчуг не водится в песке!

— Водится, — заявила Ли. — И его промывают. Видишь, я говорила, что здесь масса жемчуга!

— Жемчужины растут в таких раковинах под водой, — почти с полной уверенностью сказал Эйб. — Ей-богу, Ли, это тебе принесли тритоны. Они видели, как ты купалась. Они хотели преподнести их тебе лично, но ты так испугалась.

— Да, они такие противные!.. — воскликнула Ли. — Эйб, это *шикарные* жемчужины! Я ужасно люблю жемчуг!

(Вот теперь она красива, — сказал критический голос. — Когда она стоит здесь на коленях и держит жемчужины на ладони — ну... просто хорошенькая, да и все!)

— Эйб, это *действительно* принесли мне те... те звери?

— Они не звери, крошка. Они морские боги. Называются тритоны.

Ли нисколько не удивилась.

— Очень мило с их стороны, правда? Они ужасно симпатичные. Как ты находишь, Эйб, должна я как-нибудь их поблагодарить?

— Ты уже не боишься их?

Ли вздрогнула.

— Боюсь... Эйб, пожалуйста, уведи меня отсюда.

— Тогда слушай, — сказал Эйб. — Нам надо добраться до нашей лодки. Идем, и не бойся!

— Но ведь... ведь они стоят на дороге... — стучала зубами Ли. — Эйб, ты не хочешь пойти к ним без меня? Только не смей оставлять меня здесь одну!

— Я понесу тебя на руках, — героически предложил мистер Эйб.

— Да, так лучше... — прошептала Ли.

— Только надень халат, — буркнул Эйб.

— Сейчас.

Мисс Ли поправила обеими руками свои великолепные золотые кудри.

— Я *ужасно* растрепана, правда? Эйб, у тебя нет с собой губной помады?

Эйб набросил ей на плечи халат.

— Идем же, Ли.

— Я боюсь... — шептала Ли.

Мистер Эйб взял ее на руки. Ли казалась на вид легонькой, как облачко. «Черт возьми, это тяжелее, чем ты думал, верно? — спросил Эйба холодный критический голос. — И теперь у тебя обе руки заняты; если эти звери на нас нападут, что тогда?»

— Ты бы не побежал бегом? — предложила Ли.

— Хорошо... — пропыхтел Эйб, с трудом перебирая ногами.

Уже почти совсем стемнело. Эйб приближался к широкому полукругу животных.

— Скорей, Эйб, бегом, бегом!.. — шептала Ли.

Животные начали раскачиваться странными волнообразными движениями и извиваться верхней половиной туловища.

— Ну, беги же, беги быстрее! — простонала Ли, истерически дрыгая ногами, и в шею Эйба вонзились ногти, покрытые серебристым лаком.

— Черт возьми, Ли, пусти же! — взвыл Эйб.

— Ноаж! — пролаяло рядом с ним. — Тс-тс-тс! Ноаж! Ли! Ноаж! Ноаж! Ноаж! Ли!

Но они уже миновали страшный полукруг, и Эйб почувствовал, что его ноги погружаются во влажный песок.

— Можешь спустить меня на землю, — прошептала Ли как раз в тот момент, когда у Эйба окончательно отнялись уже и руки и ноги.

Эйб тяжело дышал, отирая локтем пот со лба.

— Иди к лодке! Поживее! — скомандовала крошка Ли.

Полукруг темных теней повернулся теперь лицом к Ли и стал приближаться.

— Тс-тс-тс! Ноаж! Ноаж! Ли!

Но Ли не закричала. Ли не бросилась бежать. Ли подняла руки к небу, и купальный халат соскользнул с ее плеч. Ли, нагая, махала обеими руками колеблющимся теням и посылала им воздушные поцелуи. Ее дрожащие губы слегка искривились, что должно было, очевидно, изображать очаровательную улыбку.

— Вы такие милые, — произнес трепетный голосок, а белые руки снова простерлись к колеблющимся теням.

— Иди помоги мне, Ли, — немного грубо проворчал Эйб, сталкивая лодку в воду.

Ли подняла свой купальный халат.

— До свидания, дорогие мои!

Можно было слышать, как тени шлепают уже по воде.

— Ну же, шевелись, Эйб, — прошептала крошка, пробираясь к лодке. — Они опять здесь!

Мистер Эйб Леб отчаянно напрягал усилия, чтобы столкнуть лодку в воду. А тут в нее влезла мисс Ли, махая рукой на прощанье.

— Перейди на другую сторону, Эйб, а то им не видно меня.

— Ноаж! Тс-тс-тс! Эйб!

— Ноаж! Тс, ноаж!

— Тс-тс!

— Ноаж!

Лодка наконец закачалась на волнах. Мистер Эйб вскарабкался в нее и изо всех сил налег на весла. Одним веслом он угодил по чьему-то скользкому телу.

Ли глубоко перевела дух.

— Правда, они ужасно милые? А правда, *я великолепно* провела сцену с ними?

Мистер Эйб изо всех сил греб к яхте.

— Надень халат, Ли, — довольно сухо сказал он.

— Я считаю, что имела *огромный* успех, — констатировала мисс Ли. — А эти жемчужины, Эйб! Как ты думаешь, сколько они стоят?

Мистер Эйб на мгновение перестал грести.

— Я думаю, что ты не должна была показываться им *в таком виде...*

Мисс Ли слегка обиделась.

— Что здесь такого? Сразу видно, Эйб, что ты *не артист.* Греби, пожалуйста, мне холодно в халате.

7. Яхта в лагуне

(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

В этот вечер на яхте «Глория Пикфорд» не было личных переживаний, зато шумно проявилось расхождение в научных взглядах. Фред (лояльно поддержанный Эйбом) считал, что это *определенно* какие-то ящеры, тогда как капитан настаивал на млекопитающих. В море не бывает ящеров, горячо утверждал капитан; однако молодые джентльмены из университета не слушали его возражений; ящеры, как-никак, более эффектная сенсация. Крошка Ли удовольствовалась тем, что это были тритоны, что они были просто *шикарны* и что вообще она имела такой успех!.. И Ли (в голубой полосатой пижаме, которая *так* нравилась Эйбу) с горящими глазами мечтала о жемчужинах и морских богах. Джэди, конечно, была убеждена, что все это чепуха и враки и Ли с Эйбом все выдумали; она яростно моргала Фреду, чтобы он бросил эти дурацкие разговоры. Эйб считал, что Ли *могла* бы упомянуть о том, как он, Эйб, бесстрашно пошел к этим ящерам за ее купальным халатом; поэтому он уже в третий раз рассказывал, как *замечательно* справилась с ними Ли, пока он, Эйб, спускал лодку на воду, и собрался рассказать это в четвертый раз, но Фред и капитан ничего не слушали, поглощенные страстным спором о ящерах и млекопитающих. (Как будто в самом деле важно, что *именно* там было, подумал Эйб.) В конце концов Джэди зевнула и объявила, что идет спать; она многозначительно посмотрела на Фреда, но Фред как раз вспомнил, что до всемирного потопа существовали такие

старые забавные ящеры — как они, черт бы их драл, назывались: диплозавры, бигозавры или как-то там еще, — и они разгуливали, сэр, на задних ногах; Фред сам видел такую забавную научную картинку, сэр, в одной толстой книжке. Замечательная книга, сэр, вам бы надо с ней познакомиться.

— Эйб, — произнесла Ли. — У меня есть *шикарная* идея для фильма.

— А именно?

— Нечто потрясающе новое. Представь себе, что наша яхта потонула, и только я одна спаслась на этом острове. И жила бы, как Робинзон.

— А чем бы вы занимались? — скептически осведомился капитан.

— Купалась бы и вообще, — просто ответила Ли. — И в меня влюбились бы морские тритоны и приносили бы мне жемчужины. Понимаешь, совсем как в действительности! Это может быть видовой и научно-воспитательный фильм, как ты думаешь? Нечто вроде «Торгового флага».

— Ли права, — решительно заявил Фред. — Надо бы заснять завтра этих ящеров.

— То есть млекопитающих, — поправил его капитан.

— То есть меня, — сказала Ли, — как я стою среди морских тритонов.

— Но в купальном костюме... — поспешил вставить Эйб.

— Я, пожалуй, надену *белый* купальный костюм, — сказала Ли. — А Грета пусть как следует причешет меня. Сегодня я была прямо ужасна!..

— А кто будет снимать?

— Эйб. Пусть хоть какая-то польза от него будет. А Джэди придется светить, когда станет темно.

— А Фред?

— У Фреда будет лук и венок на голове, и, когда тритоны захотят меня похитить, он их убьет.

— Покорнейше благодарю, — осклабился Фред. — Но я предпочту револьвер. А как насчет капитана?

Капитан воинственно ощетинил усы.

— Не извольте беспокоиться. Уж я-то знаю, что будет нужно.

— А именно?

— Три человека из экипажа, сэр. И хорошо вооруженных, сэр.

Крошка Ли восхитилась.

— Вы считаете, что это *так* опасно, капитан?

— Я ничего не считаю, деточка, — буркнул капитан. — Но у меня есть инструкции от мистера Джесса Леба, по крайней мере в отношении мистера Эйба.

Мужчины горячо занялись техническими деталями экспедиции. Эйб мигнул крошке Ли, давая понять, что пора уже ложиться в постель и все такое прочее. Ли послушно ушла.

— Знаешь, Эйб, — сказала она в своей каюте, — мне кажется, это будет *потрясающий* фильм!

— Да, крошка, — согласился мистер Эйб и собрался ее поцеловать.

— Сегодня нельзя, Эйб, — отстранилась Ли, — ты должен понимать, что мне необходимо ужасно сосредоточиться.

Весь следующий день мисс Ли интенсивно сосредоточивалась, отчего у несчастной камеристки Греты работы было по горло: ванны с очень важными солями и эссенциями, мытье головы шампунем «Только для блондинок», массаж, педикюр, маникюр, завивка, прическа, утюжка и примерка платьев, перешивание, гримировка и множество других приготовлений. Джэди, тоже захваченная этой горячкой, помогала Ли. (В трудные минуты женщины проявляют удивительную лояльность друг к другу, например, когда решаются проблемы одевания.) Пока в каюте мисс Ли кипела лихорадочная деятельность, мужчины собрались вместе и, уставив стол пепельницами и бутылками виски, принялись разрабатывать стратегический план: где кто будет стоять и в чем будут заключаться его обязанности, если что-нибудь произойдет; при этом, когда обсуждался вопрос командования, престиж капитана несколько раз подвергался тяжким оскорблениям. Днем на берег лагуны переправили киноаппарат, небольшой пулемет, корзину с провизией и посудой, ружья, граммофон и прочее военное снаряжение; все это было превосходно замаскировано пальмовыми листьями. Еще до захода солнца заняли свои места трое вооруженных

людей из экипажа и капитан в качестве верховного главнокомандующего. Потом на берег был доставлен огромный сундук с некоторыми мелочами, могущими понадобиться мисс Лили Валлей. Потом причалил Фред с мисс Джэди. Потом начался закат во всем его тропическом великолепии.

Тем временем мистер Эйб уже в десятый раз стучался в каюту мисс Ли.

— Крошка, теперь уже *действительно* пора!

— Сейчас, сейчас! — отвечала крошка. — Пожалуйста, не нервируй меня. Должна же я одеться, не правда ли?

Капитан в это время осматривал позиции. Вон там на гладкой поверхности залива сверкает длинная ровная полоса, отделяющая волнующееся море от тихих вод лагуны. Словно там под водой какая-то плотина или волнорез, подумал капитан; вероятно, это песчаная мель или коралловый риф, но похоже на искусственное сооружение. Странное место!

Над спокойной гладью лагуны там и сям стали показываться черные головы, которые двигались к берегу. Капитан сжал губы и беспокойно схватился за револьвер. Было бы лучше, мелькнуло у него, если бы женщины оставались на судне!.. Джэди начала дрожать и конвульсивно уцепилась за Фреда. «Какой он сильный, — подумала она, — господи, как я его люблю!»

Наконец от яхты отчалила последняя лодка. В ней — мисс Лили Валлей в белом купальном трико и прозрачном пеньюаре, в котором она, видимо, будет выброшена волнами на берег в качестве потерпевшей кораблекрушение; далее — мисс Грета и мистер Эйб.

— Почему ты так медленно гребешь, Эйб? — упрекнула его Ли.

Мистер Эйб посмотрел на черные головы, продвигающиеся к берегу, и ничего не ответил.

— Тс-тс!

— Тс!

Мистер Эйб вытащил лодку на песок и помог выйти Ли и мисс Грете.

— Беги скорей к аппарату, — прошептала артистка, — и, как только я тебе скажу «пора», начинай крутить,

— Да ведь уже ничего не видно, — возразил Эйб,

— Тогда пусть Джэди даст свет. Грета!..

Пока мистер Эйб занимал свое место у аппарата, артистка распростерлась на песке в позе умирающего лебедя, а мисс Грета поправляла складки ее пеньюара.

— Пусть немного будут видны ноги, — шептала потерпевшая кораблекрушение. — Готово? Ну, марш отсюда! Эйб, пора!

Эйб начал крутить ручку.

— Джэди, свет!

Но никакой свет не зажегся. Из моря вынырнули колеблющиеся тени и стали приближаться к Ли. Грета зажала рот рукой, чтобы не закричать.

— Ли! — крикнул мистер Эйб. — Ли, беги!

— Ноаж! Тс-тс-тс! Ли! Ли! Эйб!

Кто-то спустил предохранитель револьвера.

— К черту! Не стрелять! — прошипел капитан.

— Ли! — надрывался Эйб, перестав снимать. — Джэди, свет!

Ли медленно, томно встает и поднимает руки к небу. Легонький пеньюар соскальзывает с ее плеч. Теперь на песке стоит белоснежная Лили, грациозно вздымая руки над головой, как всегда делают потерпевшие кораблекрушение, приходя в себя после обморока. Мистер Эйб яростно завертел ручку аппарата.

— Черт возьми, Джэди, дай же свет!

— Тс-тс-тс!

— Ноаж!

— Ноаж!

— Э-эйб!

Черные тени качаются, кружатся вокруг белой Ли. Стойте, стойте, это уже не игра! Ли уже не вздымает руки над головой, но отталкивает что-то от себя и пищит:

— Эйб, Эйб, оно меня тронуло!

В этот момент вспыхивает ослепительный свет. Эйб стремительно закрутил ручку аппарата, а Фред и капитан с револьверами в руках побежали к Ли, которая сидит на песке, стуча зубами от страха. В то же мгновение при ярком свете видно, как десятки и сотни длинных теней во всю прыть, спотыкаясь, спешат к морю. В то же мгновение два матроса набрасывают сеть на одну убегающую тень. В то же мгновение Грета лишается чувств и падает как мешок. В то же мгновение прозвучали два или три выстрела, море с плеском разверзается,

двое матросов лежат на чем-то извивающемся и мечущемся под ними, и свет в руках мисс Джэди гаснет.

Капитан зажег карманный фонарик.

— Деточка, с вами ничего не случилось?

— Оно меня тронуло за ногу, — проскулила крошка. — Фред, это было ужасно!..

В это мгновенье подбежал и мистер Эйб со своим фонариком.

— Эго было замечательно, Ли! — кричал он. — Только Джэди должна была бы дать свет пораньше.

— Он не зажигался, — пролепетала Джэди, — он ведь не зажигался, правда, Фред?

— Она испугалась, — оправдывал ее Фред. — Честное слово, она это сделала не нарочно, верно, Джэди?

Джэди обиделась, но в это время подоспели двое матросов, волоча в сети что-то трепещущее, как большая рыба.

— Вот оно, капитан. Живое.

— Сволочь, обрызгало нас чем-то ядовитым. У меня руки сплошь в волдырях, сэр. Адски жжет.

— На меня тоже попало, — простонала мисс Ли. — Посвети, Эйб, посмотри, нет ли волдыря?

— Да нет же, ничего у тебя нет, крошка! — удостоверил Эйб; он едва удержался, чтобы не поцеловать то место над коленом, которое крошка тщательно растирала.

— Какое оно было холодное! Бррр!.. — жаловалась Ли.

— Вы потеряли жемчужину, мадам! — сказал один из матросов, подавая Ли шарик, который был подобран на песке.

— Господи, Эйб! — воскликнула мисс Ли. — Они опять принесли мне жемчуг! Дети, давайте искать жемчуг! Эти бедняжки, наверное, принесли мне *массу* жемчужин. Ну, разве они не прелесть, Фред? Вот еще жемчужина!

— И еще!

Три фонарика направили круги света на землю.

— Я нашел одну громадную!

— Она моя! — объявила Ли.

— Фред! — ледяным тоном позвала мисс Джэди.

— Сейчас! — отозвался мистер Фред, ползая по песку на коленях.

— Фред, я хочу вернуться на яхту!

— Кто-нибудь отвезет тебя! — сказал Фред, занятый делом. — Черт, вот потеха!

Трое мужчин и мисс Ли продолжали копошиться в песке, как большие светлячки.

— Вот еще три жемчужины! — провозгласил капитан.

— Покажите, покажите! — в восторге завизжала Ли и устремилась на коленях к капитану.

В этот момент вспыхнул магний и затрещал киноаппарат.

— Ну вот, теперь вы запечатлены, — мстительно объявила Джэди. — Получится замечательное фото для газет. Компания Американцев Ищет Жемчуг! Морские Ящеры Кидают в Людей Жемчужинами!

Фред сел на песок.

— Клянусь богом, Джэди права! Дети, мы обязаны послать это в газеты!

Ли тоже села.

— Джэди, душечка Джэди, сними нас еще раз, только спереди!

— Ты бы много потеряла, милочка! — возразила Джэди.

— Дети, — сказал мистер Эйб, — давайте лучше искать. А то начинается прилив.

Во тьме, у линии воды, зашевелилась черная колеблющаяся тень. Ли взвизгнула:

— Там... там...

Три фонарика направили круги света в ту сторону. Но это оказалась всего лишь коленопреклоненная Грета, которая искала в темноте жемчуг.

Ли держала на коленях капитанскую фуражку с двадцатью одной жемчужиной. Эйб наполнял рюмки, а Джэди меняла пластинки на граммофоне. Необъятная звездная ночь простирала свой покров над вечно ропщущим морем.

— Так какой же мы дадим заголовок? — шумел Фред.

— «Дочь промышленника из Милуоки снимает для фильма ископаемых ящеров!»

— «Допотопные пресмыкающиеся поклоняются красоте и молодости», — поэтически предложил Эйб.

— «Яхта «Глория Пикфорд» открывает неведомые существа», — посоветовал капитан, — Или «Загадка острова Тахуара».

— Это годилось бы только как подзаголовок, — сказал Фред. — Заголовок должен говорить больше.

— Скажем: «Фред-бейсболист воюет с чудовищами», — отозвалась Джэди. — Фред был прямо замечателен, когда устремился на них. Только бы это хорошо вышло на пленке.

Капитан откашлялся.

— Я, собственно, бросился туда первым, мисс Джэди! Но не будем говорить об этом. Я считаю, господа, что заголовок должен быть научным. Трезвым и... одним словом, научным: «Предлювиальная фауна на тихоокеанском острове».

— Предлидувиальная, — поправил Фред. — Нет, предвидуальная, черт, как же это? Антилювиальная. Антедувиальная. Нет, не годится. Надо дать какой-нибудь более простой заголовок, чтобы каждый мог выговорить. Ну, Джэди, ты же у нас на все руки мастер!..

— Антедилювиальная, — сказала Джэди.

Фред покачал головой.

— Слишком длинно, Джэди. Длиннее, чем те чудища, вместе с хвостом. Заголовок должен быть краткий. Но Джэди прямо изумительна, правда? Скажите, капитан, разве она не замечательна?

— Да, — согласился капитан, — превосходная барышня.

— Вы — славный парень, капитан, — признательно сказал молодой атлет. — Ребята, наш капитан — молодчина! Но предлювиальная фауна — это чушь. Это не газетный заголовок. Скорее уж «Влюбленные на острове жемчужин» или что-нибудь в этом роде.

— «Тритоны осыпают жемчугом Белую Лилию!» — крикнул Эйб. — «Дань Посейдонова царства!», «Новая Афродита!».

— Чушь!.. — возмущенно запротестовал Фред. — Никаких тритонов никогда не было. Это, брат, научно установленный факт. И никакой Афродиты тоже не было. Правда, Джэди?.. «Сражение людей с древними ящерами! Отважный капитан кидается на допотопных чудовищ!» Понимаешь, в заголовке должна быть изюминка!

— Экстренный выпуск!.. — голосил Эйб. — «Киноартистка подверглась нападению морских

чудовищ! Sex appeal[1] современной женщины побеждает первобытных ящеров! Вымершие пресмыкающиеся предпочитают блондинок!»

— Эйб! — произнесла Ли. — У меня есть идея...

— Какая?

— Для фильма. Получится шикарная штука, Эйб. Представь себе, что я купаюсь на берегу моря...

— Белое трико тебе страшно идет, Ли!.. — поспешно вставил Эйб.

— Да?.. Ну, и тритоны влюбились в меня и утащили на дно морское. И я стала их королевой.

— На дне морском?

— Да, под водой. В их таинственном царстве, понимаешь? У них ведь там есть города и вообще все.

— Крошка, но ты ведь утонешь!

— Не бойся, я умею плавать, — беззаботно возразила Ли. — И только один раз в день я выплывала бы на берег подышать воздухом. — Ли изобразила упражнения для дыхания, сочетающие выпячивание груди с плавными движениями рук. — Примерно так, понимаешь? А на берегу в меня влюбится... хотя бы молодой рыбак. А я в него. Безумно!.. — вздохнула крошка. — Знаешь, он был бы такой красивый и сильный... А тритоны захотят его утопить, но я бы его спасла, и мы удалились бы в его хижину. А тритоны будут осаждать нас... Ну, а потом уж на помощь явитесь вы.

— Ли, — серьезно сказал Фред, — это до того глупо, что, ей-богу, это можно снять. Я буду просто удивлен, если старый Джесс не сделает из этого грандиозный фильм.

Фред оказался прав. В свое время был сделан грандиозный фильм производства «Джесс Леб Пикчер» с мисс Лили Валлей в главной роли. Кроме нее, в фильме было занято шестьсот нереид, один Нептун и двенадцать тысяч статистов, наряженных допотопными ящерами. Но пока до этого дошло, утекло много воды и совершилось много событий, а именно:

---

[1] Зов пола (*англ.*).

1. Захваченное животное, помещенное в ванне в туалетной каюте Ли, в течение двух дней пользовалось живейшим вниманием всего общества; на третий день оно перестало двигаться, и мисс Ли утверждала, что бедняжка тоскует; на четвертый день оно начало издавать зловоние, и пришлось его выбросить, так как разложение зашло уже довольно далеко.

2. Из кадров, снятых на берегу лагуны, годными оказались только два. На первом — Ли, присев от страха на корточки, машет руками на обступивших ее животных. Все утверждали, что это шикарный снимок. На втором можно было видеть, как трое мужчин и одна девушка ползают на коленях, уткнувшись носом в землю; они были сняты сзади и производили впечатление людей, поклоняющихся какому-то божеству. Этот кадр был отвергнут.

3. Что касается намеченных газетных заголовков, то сотни американских и всяких других газет, еженедельников и ежемесячников использовали почти все из них (в том числе и «антедилювиальную фауну»); под этими заголовками описывалось все происшествие в мельчайших подробностях и с многочисленными иллюстрациями, както: крошка Ли среди ящеров, отдельно — Ли в купальном костюме, отдельно — ящер в ванне, мисс Джэди, мистер Эйб Леб, Фред-бейсболист, капитан яхты, отдельно — яхта «Глория Пикфорд», отдельно — остров Тараива, отдельно — жемчужины на черном бархате. Тем самым карьера крошки Ли была обеспечена; она даже категорически отказалась выступить в варьете и заявила газетным репортерам, что намерена посвятить себя исключительно Искусству.

4. Нашлись, однако, люди, которые, опираясь на свой авторитет ученых-специалистов, утверждали, что — насколько можно судить по снимкам — речь идет отнюдь не о первобытных ящерах, а о каком-то виде саламандр. Еще более крупные специалисты утверждали даже, что этот вид саламандр науке неизвестен, а следовательно, и не существует. В печати происходили по этому поводу долгие споры, конец которым положил профессор Дж. У. Гопкинс (Иэльский университет), заявивший, что он изучил представленные снимки и считает их мистификацией (hoax) или кинотрюком; изображенные на них

животные несколько напоминают исполинскую саламандру, скрытожаберную (Gryptobranchus japonicus, Sieboldia maxima, Tritomegas Sieboldii или Megalobatrachus Sieboldii), но это неточная и неумелая, дилетантская подделка. После этого заявления научная сторона вопроса довольно долго считалась исчерпанной.

5. Наконец по прошествии подобающего срока мистер Эйб Леб женился на мисс Джэди. Его лучший друг, Фред-бейсболист, был шафером на его свадьбе, отпразднованной с величайшей пышностью при участии многочисленных выдающихся представителей политических, артистических и иных кругов.

8. Andrias Scheuchzeri

Человеческая любознательность не имеет границ. Людям было недостаточно того, что профессор Дж. Гопкинс (Иэльский университет), величайший в то время авторитет в области науки о земноводных, объявил эти загадочные существа антинаучным вздором и сплошной выдумкой. В научных изданиях и в газетах стали все чаще и чаще встречаться известия о появлении в самых различных районах Тихого океана неведомых доселе животных, похожих на исполинскую саламандру. По более или менее достоверным данным, этих животных можно было найти на Соломоновых островах, на острове Шоутена, на Кампингамаранги, Бутарита и Тапетеуэа, на группе островков Нукуфетау, Фунафути, Нуканоно и Фукаофу, наконец даже на Хиау, Уахука, Уапу и Пукапука. Приводились рассказы о чертях капитана ван Тоха (распространенные главным образом в Меланезии) и о тритонах мисс Лили (чаще всего упоминаемых в Полинезии); газеты (больше потому, что наступил летний сезон и не о чем было писать) решили, что речь идет о разных видах допотопных подводных страшилищ. Подводные страшилища пользовались значительным успехом у читателей. Тритоны вошли в моду, особенно в Соединенных Штатах; в Нью-Йорке выдержало триста представлений роскошно поставленное обозрение «Посейдон» с участием трехсот самых хорошеньких тритонид, нереид и сирен; в Майями и на калифорнийских пляжах молодежь купалась в костюмах тритонов и нереид (три нитки жемчуга и больше ничего), а в Центральных штатах и штатах

Среднего Запада необычайно разрослось «Движение за искоренение безнравственности» (ДИБ); дело дошло до публичных манифестаций, причем несколько негров было повешено и несколько сожжено.

Наконец, в «Национальном географическом ежемесячнике» появился бюллетень научной экспедиции Колумбийского университета (организованной на средства Дж. С. Тинкера, так называемого «консервного короля»); сообщение подписали П. Л. Смит, В. Клейншмидт, Чарльз Ковар, Луи Форжерон и Д. Эрреро, то есть мировые знаменитости в области рыбьих паразитов, кольчатых червей, биологии растений, инфузорий и тлей. Приводим выдержки из этого обширного сообщения:

...На острове Ракаханга экспедиция наткнулась на следы задних ног неизвестной до сих пор исполинской саламандры. Отпечатки — пятипалые, длина пальцев от трех до четырех сантиметров. Судя по количеству следов, побережье острова Ракаханга, видимо, кишмя кишит этими саламандрами. Так как отпечатков передних ног не оказалось (за исключением одного четырехпалого следа, принадлежащего, очевидно, детенышу), то экспедиция пришла к выводу, что эти саламандры передвигаются, вероятно, на задних конечностях...

Надо отметить, что на островке Ракаханга нет ни реки, ни болота; саламандры, следовательно, живут в море и являются, вероятно, единственными представителями своего вида, населяющими пелагические области. Известно, впрочем, что мексиканские аксолотли (Amblystoma mexicanum) обитают в соленых озерах, однако о пелагических (то есть живущих в море) саламандрах мы не находим упоминания даже в классическом труде В. Корнгольда «Хвостатые земноводные (Urodela)». Берлин, 1913.

...Мы ждали до вечера, желая поймать или хотя бы увидеть живой экземпляр, но напрасно. С сожалением покинули мы прелестный островок Ракаханга, где Д. Эрреро посчастливилось найти прекрасную новую разновидность клопа...

Гораздо больше повезло нам на острове Тонгарева. Мы ждали на берегу с ружьями в руках. После захода солнца из воды показались головы саламандр — сравнительно крупные и умеренно сплюснутые. Вскоре саламандры вылезли на песок; они раскачивались при ходьбе, но довольно быстро передвигались на задних ногах. В сидячем положении их рост немного превышал метр. Они расселись широким полукругом и начали извиваться своеобразным движением, в котором участвовала только верхняя половина тела;

казалось, будто они танцуют. В. Клейшнмидт привстал, чтобы лучше видеть. Тогда саламандры повернули к нему головы и на мгновение совершенно замерли, потом стали приближаться к нему с большой быстротой, издавая свистящие и лающие звуки. Когда они были на расстоянии примерно семи шагов, мы выстрелили в них из ружей. Они обратились в поспешное бегство и бросились в море; в тот вечер они больше не показывались. На берегу остались только две мертвые саламандры и одна с перебитым позвоночником, издававшая своеобразные звуки, вроде «божемой, божемой, божемой». Она издохла, когда В. Клейншмидт вскрыл ей грудную клетку...

(Далее следуют анатомические подробности, которых мы, профаны, все равно не поняли бы; читателей-специалистов мы отсылаем к цитируемому бюллетеню.)

Как явствует из приведенных данных, речь идет о типичном представителе отряда хвостатых земноводных (Urodela), к которому, как известно, принадлежит семейство саламандр (Salamandrida), подразделяющееся на род тритонов (Tritones) и черных саламандр (Salamandrae), а также семейство головастиковых саламандр (Ichthyoidea), подразделяющихся на саламандр скрытожаберных (Cryptobranchiata) и прозрачножаберных (Phanerobranchiata). Саламандра, обнаруженная на острове Тонгарева, находится, по-видимому, в наиболее близком родстве с головастиковыми саламандрами скрытожаберными; во многих отношениях, особенно своими размерами, она напоминает японскую исполинскую саламандру (Megalobatrachus Sieboldii) или американского скрытожаберника, прозванного «болотный черт», но отличается от них хорошо развитыми органами чувств, а также более длинными и сильными конечностями, которые позволяют ей передвигаться достаточно проворно как в воде, так и на суше.

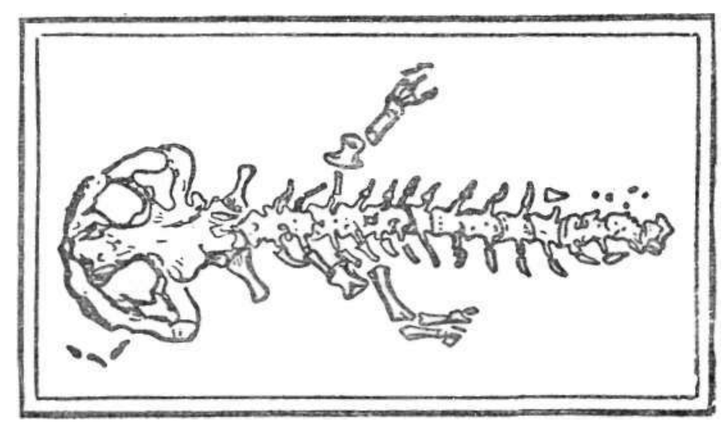
(Следуют дальнейшие подробности из области сравнительной анатомии).

Когда мы препарировали скелеты убитых животных, то обнаружили любопытнейшую вещь: оказалось, что скелеты этих саламандр почти полностью совпадают с отпечатком скелета ископаемой саламандры, который был найден на каменной плите в энингенских каменоломнях д-ром Иоганном Якобом Шейхцером и описан им в его сочинении «Homo diluvii testis» [1], изданном в 1726 году.

---

1 «Человек, современный потопу» (*лат.*).

Напоминаем менее осведомленным читателям, что названный д-р Шейхцер считал свою находку останками допотопного человека.



Andrias Scheuchzeri

«Помещаемый здесь рисунок, — писал он, — который я предлагаю ученому миру в виде изящно исполненной гравюры на дереве, бесспорно и вне всяких сомнений изображает человека, бывшего свидетелем всемирного потопа; здесь нет ни одной линии, которая нуждалась бы в буйном воображении, дабы, отправляясь от нее, измыслить нечто подобное человеку; но везде имеется полное соответствие с отдельными частями человеческого скелета и полная соразмерность. Окаменелый человек виден здесь спереди; сие — памятник вымершего человечества, более древний, чем все римские, греческие и даже египетские и все вообще восточные гробницы». Впоследствии Кювье распознал в энингенском отпечатке скелет окаменелой саламандры, которая получила название Cryptobranchus primaevus или Andrias Scheuchzeri Tschudi и считалась представительницей давно вымершего вида. Путем остеологического сравнения нам удалось установить идентичность найденной нами саламандры с якобы вымершей древней саламандрой Andrias. Таинственный праящер, как его называли в газетах, есть не что иное, как ископаемая скрытожаберная саламандра Andrias Scheuchzeri, или, если нужно новое название — Cryptobranchus Tinckeri erectus, она же Исполинская саламандра полинезийская...

...Остается загадкой, каким образом эта интересная исполинская саламандра ускользала до сих пор от внимания науки, не-

смотря на то что, по крайней мере, на островах Ракаханга, Тонгарева и на группе островов Манихики она водится в огромном количестве. Даже Рандольф и Монтгомери в своем труде «Два года на островах Манихики» (1885) не упоминают о ней. Местные жители утверждают, что это животное (которое они, между прочим, считают ядовитым) впервые появилось здесь лишь шесть — восемь лет тому назад. Они уверяют, будто «морские черти» умеют говорить (!) и строят в населяемых ими бухтах целые системы насыпей и плотин наподобие подводных городов; будто в их бухтах вода в течение всего года бывает такой же спокойной, как в аквариуме; будто они роют для себя под водой норы и проходы длиною в десятки метров, где и находятся в течение дня, а ночью якобы воруют на полях сладкие бататы и ямс, а также похищают у людей мотыги и другие орудия. Вообще люди их не любят и даже боятся; во многих случаях жители предпочли перебраться в другие места. Здесь мы явно имеем дело с примитивными сказками и поверьями, объясняемыми, пожалуй, отвратительным видом безобидных исполинских саламандр и тем, что они ходят на двух ногах, несколько напоминая этим человека...

С большой осторожностью следует относиться к сообщениям путешественников, согласно которым эти саламандры обнаружены еще и на других островах, кроме Манихики. Зато в отпечатке задней ноги, который был найден на берегу острова Тонгатабу капитаном Круассье (снимок опубликован в «Ля Натюр»), можно без всяких колебаний признать след Andrias'a Scheuchzeri. Эта находка имеет особо важное значение, так как она устанавливает связь между островами Манихики и австралийско-новозеландским районом, где сохранилось столько остатков древнейшей фауны; напомним, в частности, «допотопного» ящера (гаттерию или туатару), до сих пор живущего на острове Стивена. На таких пустынных, по большей части малонаселенных и почти не затронутых цивилизацией островках могли сохраниться отдельные экземпляры тех видов животных, которые в других местах уже вымерли. К ископаемому ящеру (гаттерии) благодаря мистеру Дж. С. Тинкеру прибавилась ныне допотопная саламандра. Знаменитый д-р Иоганн Якоб Шейхцер мог бы увидеть теперь воскресение своего энингенского Адама...

Этого ученого бюллетеня, несомненно, было бы достаточно для исчерпывающего выяснения вопроса о загадочных морских чудовищах, которые вызвали столько толков. К несчастью, одновременно с ним появилось сообщение голландского исследователя Хогенхука, который отнес эту скрытожаберную исполинскую саламандру к

семейству истинных саламандр или тритонов под названием Megatriton moluccanus и определил область ее распространения на принадлежащих Голландии островах Зондского архипелага — Джилоло, Моротай и Церам; затем был напечатан доклад французского ученого д-ра Миньяра, который, признав новое животное типичной саламандрой, указал, что родиной ее являются принадлежащие Франции острова Такароа, Рангироа и Рароиа, и назвал ее просто-напросто Cryptobranchus salamandroides; далее была опубликована статья Г. У. Спенса, объявившего этих саламандр новым семейством Pelagidae, а острова Джильберта — их родиной; этот ученый дал новому виду саламандр научное наименование Pelagotriton Spencei. Мистеру Спенсу удалось доставить один живой экземпляр в лондонский зоологический сад; здесь саламандра стала предметом дальнейших исследований, вследствие чего обрела новые названия — Pelagobatrachus Hookeri, Salamandrops maritimus, Abranchus giganteus, Amphiuma gigas и многие другие. Некоторые ученые утверждали, что Pelagotriton Spencei тождествен с Cryptobranchus Tinckeri и что саламандра Миньяра не что иное, как Andrias Scheuchzeri. В связи с этим возникло много споров о приоритете и прочих чисто научных вопросах. В результате получилось так, что естествознание каждой страны отстаивало собственных исполинских саламандр и с яростным ожесточением отвергало исполинских саламандр других наций. Из-за этого наука так и не достигла достаточной ясности в чрезвычайно важном вопросе о саламандрах.

9. Эндрью Шейхцер

Как-то раз в четверг, когда лондонский зоологический сад был закрыт для публики, мистер Томас Греггс, сторож в павильоне земноводных, чистил бассейн и террарии своих питомцев. Он находился в полном одиночестве в отделении саламандр, где были выставлены американский скрытожаберник, японская исполинская саламандра, Andrias Scheuchzeri и множество мелких тритонов, саламандрид, аксолотлей, угрей, сирен, протеев и т. д. Мистер Греггс орудовал тряпкой и шваброй, насвистывая песенку об Энни-Лори, как вдруг кто-то сзади произнес скрипучим голосом:

— Смотри, мама!

Мистер Томас Греггс оглянулся, но там никого не было; только скрытожаберник пощелкивал языком, сидя в своей тине, да большая черная саламандра, этот Андриас, опиралась передними лапками о край бассейна и вертела туловищем. «Это мне показалось», — подумал мистер Греггс и продолжал мести пол с таким усердием, что пыль столбом стояла.

— Смотри: саламандра! — раздалось сзади.

Мистер Греггс быстро обернулся; черная саламандра, этот Андриас, смотрел на него, мигая нижними веками.

— Бррр! Ну, и противный же!.. — сказала вдруг саламандра. — Пойдем отсюда, дружок!

Мистер Греггс раскрыл рот от изумления.

— Что?

— Он не кусается? — проскрипела саламандра.

— Ты... ты умеешь говорить? — запинаясь, пробормотал мистер Греггс, не веря своим ушам.

— Я боюсь его, — заявила саламандра. — Мама, что он ест?

— Скажи «здравствуйте», — произнес ошеломленный мистер Греггс.

Саламандра завертела всем туловищем.

— Здравствуйте!.. — заскрипела она. — Здравствуйте! Здравствуйте! Можно дать ему булочку?

Мистер Греггс в смятении полез в карман и вытащил кусок булки.

— На вот тебе...

Саламандра взяла булку в лапку и начала ее грызть.

— Смотри: саламандра!.. — удовлетворенно похрюкивала она. — Папа, почему она такая черная?

Вдруг она нырнула в воду, выставив одну голову.

— Почему она в воде? Почему? У-у, какая противная.

Мистер Томас Греггс удивленно почесал затылок. Ага, она повторяет то, что слышала от людей.

— Скажи «Греггс», — попробовал он.

— Скажи Греггс, — повторила саламандра.

— Мистер Томас Греггс.

— Мистер Томас Греггс.

— Здравствуйте, сэр!

— Здравствуйте, сэр. Здравствуйте. Здравствуйте.

Казалось, саламандра не может наговориться вдоволь; но Греггс уже не знал, что бы сказать ей еще; мистер

Томас Греггс был человеком не слишком красноречивым.

— Помолчи пока, — сказал он, — вот справлюсь с работой, поучу тебя говорить.

— Помолчи пока, — проворчала саламандра. — Здравствуйте, сэр. Смотри: саламандра. Поучу тебя говорить...

Дирекция зоологического сада бывала недовольна, когда сторожа учили своих животных каким-нибудь штукам; ну, слон — куда ни шло, но остальные животные находятся здесь для образовательных целей, а не для того, чтобы давать представления, как в цирке. Вот почему мистер Греггс облекал свои визиты в отделение саламандр покровом тайны, выбирая часы, когда там уже никого не оставалось. А так как он был вдов, то никто не удивлялся его затворничеству в павильоне земноводных. У каждого человека свои причуды. К тому же отделение саламандр мало посещалось публикой. Крокодил еще пользовался широкой популярностью, но Andrias Sclieuchzeri проводил дни в относительном одиночестве.

Однажды, когда уже наступили сумерки и павильоны закрывались, директор зоологического сада, сэр Чарльз Виггэм, обходил некоторые отделения, чтобы проверить, все ли в порядке. Когда он проходил по отделению саламандр, в одном из бассейнов послышался плеск воды и кто-то скрипучим голосом произнес:

— Добрый вечер, сэр!

— Добрый вечер, — удивленно ответил директор. — Кто там?

— Извините, сэр, — сказал скрипучий голос. — Вы не мистер Греггс.

— Кто там? — повторил директор.

— Энди. Эндрью Шейхцер.

Сэр Чарльз подошел поближе к бассейну. Там была только саламандра, неподвижно стоявшая на задних лапах.

— Кто здесь разговаривал?

— Энди, сэр, — сказала саламандра. — А вы кто?

— Виггэм, — произнес сэр Чарльз, вне себя от изумления.

— Очень приятно, — учтиво молвил Энди. — Как поживаете?

— Что за черт! — взревел сэр Чарльз. — Греггс! Э-эй, Греггс!

Саламандра вздрогнула и молниеносно скрылась под водой. В дверях появился запыхавшийся и взволнованный мистер Греггс.

— Да, сэр?

— Что это значит, Греггс? — крикнул сэр Чарльз.

— Что-нибудь случилось, сэр? — беспокойно пробормотал мистер Греггс.

— Это животное разговаривает!

— Извините, сэр, — удрученно ответил мистер Греггс. — Нельзя этого делать, Энди. Я вам тысячу раз говорил, что вы не должны надоедать людям своими разговорами. Прошу прощения, сэр, больше это не повторится.

— Это вы научили саламандру говорить?

— Но... *она* начала первая, сэр, — оправдывался Греггс.

— Надеюсь, что больше этого не будет, Греггс, — строго сказал сэр Чарльз. — Я прослежу за вами.

Спустя некоторое время сэр Чарльз сидел с профессором Петровым, беседуя о так называемом интеллекте животных, об условных рефлексах и о том, как широкая публика переоценивает умственные способности животных. Профессор Петров высказал свои сомнения насчет эльберфельдских лошадей, которые якобы умели не только считать, но даже возводить в степень и извлекать корни; ведь даже средний образованный человек не умеет извлекать корни, заметил ученый. Сэр Чарльз вспомнил о говорящей саламандре Греггса.

— У меня здесь есть саламандра... — нерешительно начал он. — Это знаменитый Andrias Scheuchzeri... ну, и она научилась говорить, как попугай.

— Исключено, — возразил ученый. — У саламандр неподвижно приросший язык.

— Пойдемте посмотрим, — возразил сэр Чарльз. — Сегодня день чистки, так что там будет мало народу.

И они пошли. У входа к саламандрам сэр Чарльз остановился. Изнутри доносился скрип швабры и монотонный голос, читающий по слогам.

— Подождите, — прошептал сэр Чарльз Виггэм.

— «Есть ли на Марсе люди?» — тянул по слогам монотонный голос. — Читать это?

— Что-нибудь другое, Энди, — ответил другой голос.

— «Кто возьмет дерби в нынешнем году — Пелгэм-Бьюти или Гобернадор?»

— Пелгэм-Бьюти, — сказал второй голос, — но все-таки прочтите это.

Сэр Чарльз потихоньку открыл дверь. Мистер Томас Греггс тер пол шваброй, а в аквариуме с морской водой сидел Andrias Scheuchzeri и медленно, скрипучим голосом читал по слогам вечернюю газету, держа ее в передних лапах.

— Греггс! — позвал сэр Чарльз.

Саламандра метнулась и исчезла под водой. Мистер Греггс от испуга выронил швабру.

— Да, сэр?

— Что это значит?

— Прошу прощения, сэр, — пробормотал, запинаясь, несчастный Греггс. — Энди читает мне, пока я подметаю. А когда он подметает, я читаю ему...

— Кто его научил?

— Это он сам подглядел, сэр... я... я даю ему свои газеты, чтобы он не болтал столько. Он все время хочет говорить, сэр. И я подумал, сэр, пусть он, по крайней мере, научится говорить, как образованные люди.

— Энди! — позвал сэр Чарльз.

Из воды вынырнула черная голова.

— Да, сэр? — проскрипела она.

— На тебя пришел посмотреть профессор Петров.

— Очень приятно, сэр. Я — Энди Шейхцер.

— Откуда ты знаешь, что тебя зовут Andrias Scheuchzeri?

— Здесь написано, сэр. Андриас Шейхцер. Острова Джильберта.

— И часто ты читаешь газеты?

— Да, сэр. Каждый день, сэр.

— А что тебя больше всего интересует?

— Судебная хроника, бега и скачки, футбол...

— Ты когда-нибудь видал футбол?

— Нет, сэр.

— А лошадей?

— Не видал, сэр.

— Почему же ты читаешь это?

— Потому, что это есть в газетах, сэр.

— Политика тебя не интересует?

— Нет, сэр. «Будет ли война?»

— Этого никто не знает, Энди.

— «Германия готовит новый тип подводных лодок, — озабоченно выговорил Энди. — Лучи смерти могут превратить в пустыню целые континенты».

— Это ты тоже прочел в газетах, а? — спросил сэр Чарльз.

— Да, сэр. «Кто возьмет дерби в нынешнем году — Пелгэм-Бьюти или Гобернадор?»

— А ты как думаешь, Энди?

— Гобернадор, сэр; но мистер Греггс считает, что Пелгэм-Бьюти. — Энди покачал головой. — «Покупайте английские товары», сэр. «Подтяжки Снайдера — самые лучшие. Приобрели ли вы уже новый шестицилиндровый Танкред-юниор? Быстроходный, дешевый, элегантный».

— Спасибо, Энди, хватит.

— «Какая киноартистка нравится вам больше всех?»

Профессор Петров взъерошил волосы и ощетинил усы.

— Простите, сэр Чарльз, — проворчал он, — но мне пора идти.

— Хорошо, идемте. Энди, ты не будешь возражать, если я направлю к тебе нескольких ученых джентльменов? Я думаю, они охотно поговорят с тобой.

— Буду очень рад, сэр, — проскрипела саламандра. — До свидания, сэр Чарльз! До свидания, профессор!

Профессор Петров торопливо шел, раздраженно фыркая и что-то ворча себе под нос.

— Простите, сэр Чарльз, — сказал он наконец, — но не можете ли вы показать мне какое-нибудь животное, которое *не читает* газет?..

Ученые джентльмены — это были доктор медицины сэр Бертрэм Д. М., профессор Эбиггэм, сэр Оливер Додж, Джолиан Фоксли и другие. Приводим выдержку из стенограммы их беседы с Andrias'ом Scheuchzeri.

— Как вас зовут?

— Эндрью Шейхцер.

— Сколько вам лет?

— Не знаю. Хотите иметь моложавый вид? Носите корсет Либелла.

— Какой сегодня день?

— Понедельник. Отличная погода, сэр. В эту субботу на скачках в Ипсоме побежит Гибралтар.

— Сколько будет трижды пять?

— Для чего это?

— Считать умеете?

— Да, сэр. Сколько будет двадцать девять на семнадцать?

— Предоставьте спрашивать *нам,* Эндрью. Назовите английские реки.

— Темза.

— А еще?

— Темза.

— Других не знаете? Кто царствует в Англии?

— Король Георг. Да хранит его бог!

— Хорошо, Энди! Кто величайший английский писатель?

— Киплинг.

— Очень хорошо. Вы читали что-нибудь из его произведений?

— Нет. Как вам нравится Мэй Уэст?

— Лучше мы будем спрашивать *вас,* Энди. Что вы знаете из английской истории?

— «Генриха Восьмого».

— Что вы о нем знаете?

— Наилучший фильм последних лет. Феерическая постановка. Изумительное зрелище.

— Вы видели этот фильм?

— Не видел. Хотите узнать Англию? Купите форд-малютку.

— Что вы больше всего хотели бы видеть, Энди?

— Гребные гонки Кэмбридж — Оксфорд, сэр.

— Сколько есть частей света?

— Пять.

— Очень хорошо. Назовите их.

— Англия и остальные.

— Назовите остальные.

— Это большевики и немцы. И Италия.

— Где находятся острова Джильберта?

— В Англии. Англия не станет связывать себе руки на континенте. Англии необходимы десять тысяч самолетов. Посетите южный берег Англии.

— Разрешите осмотреть ваш язык, Энди?

— Да, сэр. Чистите зубы пастой «Флит». Самая экономная. Наилучшая из всех. Английская продукция. Хотите, чтобы у вас хорошо пахло изо рта? Пользуйтесь пастой «Флит».

— Спасибо. Хватит. А теперь скажите нам, Энди...

И так далее. Стенограмма беседы с Andrias'ом Scheuchzeri занимала шестнадцать полных страниц и была опубликована в «Нэчурэл Сайнс».

В конце стенограммы комиссия экспертов следующим образом формулировала результаты произведенного ею освидетельствования:

1. Andrias Scheuchzeri, саламандра, содержащаяся в лондонском зоологическом саду, умеет говорить, хотя и несколько скрипучим голосом; располагает приблизительно четырьмястами слов; говорит только то, что слышала или читала. Само собой разумеется, что о самостоятельном мышлении у нее не может быть и речи. Язык у нее достаточно подвижный; голосовые связки мы при данных обстоятельствах не могли исследовать более подробно.

2. Названная саламандра умеет читать, но только вечерние газеты. Интересуется теми же вопросами, что и средний англичанин, и реагирует на них подобным же образом, то есть в соответствии с общепринятыми, традиционными взглядами. Ее духовная жизнь — поскольку можно говорить о таковой — ограничивается мнениями и представлениями, распространенными в настоящий момент среди широкой публики.

3. Ни в коем случае не следует переоценивать ее интеллект, так как он ни в чем не превосходит интеллекта среднего человека наших дней.

Несмотря на этот трезвый вывод экспертов, Говорящая Саламандра сделалась сенсацией лондонского зоологического сада. «Душку Энди» осаждали толпы людей, жаждущих побеседовать с ним на всевозможнейшие темы, начиная от погоды и кончая экономическим кризисом и политической ситуацией. При этом Энди получал от своих посетителей столько конфет и шоколада, что заболел тяжелой формой желудочного и кишечного катара. В конце концов пришлось закрыть доступ в отделение саламандр, но было уже поздно. Andrias

Scheuchzeri, известный под именем Энди, пал жертвой своей популярности. Как видно, слава деморализует даже саламандр.

10. Праздник в Новом Страшеце

Пан Повондра, швейцар в доме Бонди, на сей раз проводил отпуск в своем родном городе. Завтра должен был быть храмовый праздник, и когда пан Повондра вышел из дому, держа за руку своего восьмилетнего Франтика, то по всему Новому Страшецу пахло свежевыпеченными сдобными пирогами, а на улицах мелькали женщины и девушки, спешившие отнести к пекарю приготовленное тесто. На площади уже поставили свои ларьки два кондитера, торговец стеклянными и фарфоровыми изделиями и голосистая дама, продававшая всевозможные галантерейные товары. Был там еще балаган, закрытый со всех сторон брезентовыми полотнищами. Маленький человечек, стоя на лесенке, как раз прикреплял вывеску.

Пан Повондра остановился, желая посмотреть, что это будет.

Тощий человечек слез с лесенки и удовлетворенно взглянул на прибитую вывеску. И пан Повондра с изумлением прочитал:



Пан Повондра вспомнил большого толстого человека в капитанской фуражке, которого он когда-то впустил к пану Бонди. «До чего докатился бедняга, — участливо подумал пан Повондра, — капитан, и вот разъезжает по свету с таким дрянным цирком. А ведь был крепкий,

здоровый человек! Надо бы повидаться с ним», — расчувствовался пан Повондра.

Тем временем маленький человечек повесил у входа в балаган другую вывеску:



Пан Повондра заколебался. Две кроны да еще крону за мальчугана — это, конечно, дороговато, но Франтик хорошо учится, а знакомство с животным миром далеких стран полезно для образования. Пан Повондра готов был на некоторые жертвы ради образования и потому подошел к маленькому тощему человечку.

— Вот что, приятель, — сказал он, — я хотел бы поговорить с капитаном Вантохом.

Человечек выпятил грудь, обтянутую полосатым трико.

— Это я, сударь.

— Вы капитан Вантох? — удивился пан Повондра.

— Да, — сказал человечек и показал якорь, вытатуированный на его запястье.

Пан Повондра растерянно моргал глазами. Чтобы капитан так ссохся? Нет, это невозможно...

— Дело в том, что я лично знаком с капитаном, — пояснил он. — Моя фамилия Повондра.

— Ну, тогда другое дело, — ответил человечек. — Но эти саламандры в самом деле от капитана ван Тоха. Гарантированные, настоящие австралийские ящеры, сударь. Будьте любезны, заходите внутрь. Сейчас как раз

начнется большое представление, — кудахтал он, приподнимая полотнище у входа.

— Пойдем, Франтик, — сказал Повондра-отец и вошел внутрь.

Необычайно высокая и толстая дама поспешно уселась за маленький столик. «Странная парочка!» — удивленно подумал пан Повондра, выкладывая свои три кроны. Внутри балагана не было ничего, кроме довольно неприятного запаха и железного бака.

— Где же ваши саламандры? — спросил пан Повондра.

— В той ванне, — равнодушным голосом ответила гигантская дама.

— Не бойся, Франтик, — сказал Повондра-отец и подошел к баку.

Что-то черное, напоминающее по величине старого сома, безжизненно лежало в воде; только кожа на затылке немного подымалась и снова опадала.

— Вот это и есть та допотопная саламандра, о которой столько писали газеты!.. — назидательно произнес Повондра-отец, ничем не выдавая своего разочарования. (Опять дал себя надуть, — подумал он, — но мальчику незачем об этом знать. Эх, жалко трех крон!)

— Папа, почему она в воде? — спросил Франтик.

— Потому что саламандры живут в воде, понимаешь?

— Папа, а что она ест?

— Рыбу и тому подобное, — сказал Повондра-отец. (Должно же оно чем-нибудь питаться!)

— А почему она такая уродливая? — приставал Франтик.

Пан Повондра не знал, что отвечать, но в это время в балаган вошел маленький человечек.

— Итак, прошу вас, дамы и господа, — начал он осипшим голосом.

— У вас только одна саламандра? — укоризненным тоном осведомился пан Повондра. (Были бы хоть две, — мелькнула у него мысль, — а то на одну такие деньги ухлопал!)

— Вторая издохла, — ответил человечек. — Итак, дамы и господа, перед вами знаменитый Андриаш, редкий и ядовитый ящер с австралийских островов. У себя на родине он достигает человеческого роста и ходит на двух

ногах. Ну-ка! — сказал он и ткнул в то черное и безжизненное, что неподвижно лежало в воде.

Черное зашевелилось и с трудом поднялось. Франтик подался назад, но пан Повондра крепко сжал его руку: не бойся, мол, я здесь, с тобой.

Теперь оно стояло на задних ногах, опираясь передними о край бака. На затылке судорожно трепетали жабры, раскрытая черная пасть ловила воздух. Обвисшая кожа была ободрана до крови и усеяна бородавками; круглые лягушечьи глаза временами как-то болезненно закрывались, исчезая под пленкой нижних век.

— Как видите, дамы и господа, — продолжал человечек хриплым голосом, — это животное обитает в воде; поэтому оно снабжено жабрами и легкими, чтобы могло дышать, когда выходит на берег. На задних ногах у него по пяти пальцев, а на передних по четыре, и оно умеет брать ими разные предметы. На!

Животное зажало в пальцах прут и держало его перед собой, словно шутовской скипетр.

— Умеет также завязывать веревку узлом, — объявил человечек, взял у животного прут и дал ему грязную бечевку.

Животное с минуту подержало ее в пальцах и в самом деле завязало узелок.

— Умеет также бить в барабан и танцевать, — прокудахтал человечек и дал животному детский барабанчик и палочку.

Животное несколько раз ударило в барабан и повертело верхней половиной туловища; при этом оно уронило палочку в воду.

— Я т-тебя, гадина!.. — выругался человечек и выловил палочку из воды. — Это животное, — продолжал он затем, торжественно повышая голос, — обладает таким умом и способностями, что умеет говорить, как человек.

И он хлопнул в ладоши.

— Guten Morgen! — проскрипело животное, болезненно подергивая нижними веками. — Добрый день!..

Пан Повондра был почти испуган, но на Франтика это не произвело особенного впечатления.

— Что надо сказать почтенным господам? — строго спросил человечек.

— Добро пожаловать, — поклонилась саламандра; края ее жаберных щелей судорожно сжимались. — Willkommen. Ben venuti [1].

— Считать умеешь?

— Умею.

— Сколько будет шестью семь?

— Сорок два, — с усилием проквакала саламандра.

— Видишь, Франтик, — наставительно заметил Повондра-отец, — как она хорошо считает!

— Дамы и господа, — кукарекал человечек, — вы можете сами задавать вопросы.

— Ну, спроси ее о чем-нибудь, Франтик, — предложил пан Повондра.

Франтик сконфуженно замялся.

— Сколько будет восемью девять? — выдавил он наконец; по его мнению, видимо, это был самый трудный из всех возможных вопросов.

Саламандра медленно закрыла и вновь открыла глаза.

— Семьдесят два.

— Какой сегодня день? — спросил пан Повондра.

— Суббота.

Пан Повондра изумленно покачал головой.

— И вправду, как человек! Как называется этот город?

Саламандра открыла пасть и закрыла глаза.

— Она уже устала, — поспешно объявил человечек. — Что надо сказать господам?

Саламандра поклонилась.

— Мое почтение. Покорнейше благодарю. Всего хорошего. До свидания.

— Это... Это особенное животное!.. — удивлялся пан Повондра; но так как три кроны все-таки большие деньги, то он добавил: — А больше у вас ничего нет такого, что можно было бы показать ребенку?

Человечек в раздумье пощипывал подбородок.

— Это все, — сказал он. — Раньше я держал обезьянок, но с ними получилась такая история... — пояснил он. — Разве показать вам жену? Она была прежде самой толстой женщиной в мире. Марушка, иди сюда!..

---

[1] Добро пожаловать (*нем.* и *итал.*).

Марушка с трудом поднялась с места.

— В чем дело?

— Покажись господам, Марушка!

Самая толстая женщина в мире кокетливо склонила голову набок, выставила одну ногу вперед и подняла юбку выше колена. Под юбкой оказался красный шерстяной чулок, облекавший нечто разбухшее, массивное, как окорок.

— Объем ноги вверху — восемьдесят четыре сантиметра, — объяснил тощий человечек, — но при теперешней конкуренции Марушка уже не самая толстая женщина в мире.

Пан Повондра потянул потрясенного Франтика из балагана.

— Покорный слуга, — заскрипело из бака, — заходите опять. Auf Wiedersehen [1].

— Ну как, Франтик, — спросил пан Повондра, когда они вышли. — Понял все?

— Понял, — сказал Франтик. — Папа, а почему у этой тети красные чулки?

11. О человекоящерах

Было бы явной натяжкой утверждать, что в ту пору ни о чем другом не говорили и не писали, кроме как о говорящих саламандрах. Говорили и писали также о будущей войне, об экономическом кризисе, о футбольных матчах, о витаминах и о новых модах. И все-таки о говорящих саламандрах писали очень много и главное — очень ненаучно. Именно поэтому один из выдающихся ученых, профессор д-р Владимир Угер (из университета в Брно), написал для газеты «Лидове новины» статью, в которой отметил, что мнимая способность Andrias'a Scheuchzeri к членораздельной речи, то есть, строго говоря, способность повторять, как попугай, произнесенные другими слова, с научной точки зрения далеко не так интересна, как некоторые другие вопросы, касающиеся этого своеобразного земноводного. Научная загадка, представляемая Andrias'ом Scheuchzeri, заключается совсем

[1] До свидания (*нем.*).

в другом, как, например: откуда он взялся; где его первоначальная родина, в пределах которой он пережил целые геологические периоды; почему он так долго оставался неизвестным, тогда как теперь выясняется, что он чрезвычайно распространен почти во всей экваториальной области Тихого океана? По-видимому в последнее время он размножается необычайно быстро; откуда же взялась эта изумительная жизненная сила у первобытного существа третичного периода, если до недавнего времени его существование носило совершенно скрытый, то есть, по-видимому, крайне спорадический характер, причем, вероятнее всего, в топографически изолированных местах? Изменились ли в благоприятную сторону жизненные условия этой доисторической саламандры, вследствие чего для редкостного пережитка миоценовой эпохи настал новый период необычайно высокого развития? В таком случае не исключено, что Andrias будет не только количественно размножаться, по и эволюционировать в своем качественном развитии и что нашей науке представится единственная в своем роде возможность наблюдать мощный мутационный процесс хотя бы одного из животных видов. То, что Andrias может проскрипеть несколько десятков слов и научиться нескольким штукам, в чем профаны видят проявление какого-то интеллекта, — это с научной точки зрения вовсе не чудо; действительным чудом является тот могучий жизненный порыв, который столь внезапно и полно возродил застывшее на низком уровне развития и почти совершенно вымершее семейство земноводных. Здесь есть некоторые особенные обстоятельства: Andrias Scheuchzeri — *единственная* саламандра, живущая в море, и (что еще более очевидно) *единственная* саламандра, которая водится в эфиопско-австралийской области, в мифической Лемурии. Разве не хочется сказать, что природа как бы стремится поспешно наверстать одну из упущенных жизненных возможностей и осуществить завершение развития одной из форм, которую она в этом районе оставила в забвении или не могла прокормить? И далее; было бы странно, если бы во всей океанской области, отделяющей японских исполинских саламандр от аллеганских, не оказалось ни одного связующего звена между ними. Если бы Andrias'а не было, то мы должны были бы *предположить* его существо-

вание как раз в тех местах, где он действительно обнаружен; можно сказать, что он просто-напросто заполнил теперь то свободное пространство, в котором он, в силу географических и эволюционных взаимозависимостей, *должен* был водиться издавна. Но как бы то ни было, — писал в заключение ученый профессор, — на примере этого эволюционного воскрешения миоценовой саламандры мы с благоговейным изумлением убеждаемся, что Гений Развития на нашей планете еще далеко не завершил своей созидательной работы.

Эта статья появилась, несмотря на молчаливое, но твердое убеждение редакции, что такие ученые рассуждения не годятся, в сущности, для газеты. Вскоре после этого профессор Угер получил следующее письмо от одного из читателей.

Милостивый государь!

В прошлом году я купил в Чаславе дом на площади. При осмотре дома я нашел на чердаке ящик со старыми редкими научными книгами, как-то: Гибловский журнал «Гиллос» за 1821—1822 годы, «Млекопитающие» Яна Сватоплука Пресла, «Основы природоведения, или физики» Войтеха Седлачека, девятнадцать томов общедоступного энциклопедического сборника «Крок» и тринадцать годовых комплектов журнала Чешского музея. В пресловском переводе «Рассуждений о катаклизмах земной коры» Кювье (1834) я нашел вложенную туда в виде закладки вырезку из старой газеты, где было напечатано сообщение о каких-то странных ящерах. Когда я прочел Вашу статью о загадочных саламандрах, я вспомнил об этой закладке и отыскал ее. Думаю, она могла бы Вас заинтересовать, а потому, будучи горячим другом природы и Вашим усердным читателем, посылаю ее Вам.

С совершенным почтением

И. В. Найман

На приложенной в письме вырезке не было ни названия газеты, ни даты; судя по правописанию и шрифту, она относилась к двадцатым или тридцатым годам прошлого столетия; бумага так пожелтела и истерлась, что трудно было читать. Профессор Угер чуть было не бросил ее в корзину, но ветхость этого листочка почему-то

растрогала его; он начал читать. Через минуту он пробормотал: «Дьявол!» — и взволнованно поправил очки. Текст вырезки гласил:

О человекоящерах

В одной иноземной газете мы прочитали, что некий капитан (командир) английского военного корабля, возвратившийся из далеких стран, представил донесение о странных пресмыкающихся, которых он встретил на одном маленьком островке в Австралийском море. На этом острове есть озеро с соленой водой, отделенное, впрочем, от моря и весьма малодоступное; означенный капитан и корабельный лекарь отдыхали здесь, вдруг из озера вышли животные вроде ящериц, величиной с морскую собаку или тюленя, ступающие на двух ногах, как люди, и начали презабавно и на особенный лад, словно танцуя, вертеться на берегу. Командир и лекарь, выстрелив из ружей, уложили двоих из этих животных. Тело у них скользкое, без шерсти и без какой-либо чешуи, так что в этом они похожи на саламандр. Явившись назавтра за ними, капитан и лекарь вынуждены были из-за сильного зловония оставить их на месте и приказали матросам обшарить озеро неводом и доставить на корабль живьем несколько этих страшилищ. Обшарив озерцо, моряки перебили всех ящериц (в огромном количестве) и доставили на корабль только двух, заявив, что тело у них ядовитое и жжется, как крапива. После этого животных поместили в бочки с морской водой, чтобы доставить их до Англии живыми. Но не тут-то было! Когда корабль проходил в виду острова Суматры, пленные ящерицы, вылезши из бочек и отворивши сами оконце подпалубного помещения, выпрыгнули ночью в море и скрылись. По свидетельству командира и корабельного хирурга, эти животные очень забавны и хитры, ходят на двух ногах и как-то странно лают и чмокают, однако для человека вовсе не опасны. А посему их с полным правом можно было бы назвать человекоящерами.

На этом вырезка кончалась. «Дьявол!» — в волнении повторил профессор Угер. Почему здесь нет ни даты, ни названия газеты, из которой кто-то когда-то вырезал это? И что это за «иноземная газета», как имя этого «некоего командира», что это за «английский корабль»? И что за

островок в Австралийском море? Неужели люди тогда не могли выражаться несколько точнее и... ну, скажем, чуточку научнее? Ведь это исторический документ, которому цены нет!..

Островок в Австралийском море — ладно. Озерцо с соленой водой. По-видимому, это был коралловый остров, атолл с малодоступной соленой лагуной: как раз подходящее место, где могло бы сохраниться ископаемое животное в естественной резервации, изолированное от среды, стоящей на более высокой ступени развития. Конечно, оно не могло особенно размножаться, так как не находило в озере достаточно пищи. Это ясно, сказал себе профессор. Животное, похожее на ящерицу, но без чешуи и ходящее на двух ногах, как люди; значит — или Andrias Scheuchzeri, или другая саламандра, находящаяся в близком родстве с ним. Допустим, что это был наш Andrias. Допустим, проклятые матросы истребили его в том озере, а одна пара была доставлена живьем на корабль; пара, которая — не тут-то было! — удрала в море у острова Суматры. То есть на самом экваторе, где биологические условия в высшей мере благоприятны, а пищи неограниченное количество! Возможно ли, чтобы эта перемена среды дала миоценовой саламандре такой мощный толчок к развитию? Допустим, она привыкла к соленой воде; представим себе ее новое место расселения в виде спокойной закрытой бухты с большим обилием корма; что тогда? Саламандра, попав в оптимальные условия, начнет стремительно развиваться с изумительной жизненной энергией. Это так! — ликовал ученый. Отныне саламандра с неукротимой стихийной силой движется по пути развития, она цепляется за жизнь, как сумасшедшая; она размножается в страшном количестве, потому что в новой среде ее яйцам и головастикам не угрожают больше специфические враги. Она населяет остров за островом; впрочем, странно, что в своем шествии она как бы перепрыгивает через некоторые острова. В остальном же это типичный случай миграции в поисках пищи. Теперь вопрос: почему она не развивалась раньше? Не связано ли с этим то, что в эфиопско-австралийской области неизвестны, или не были до сих пор известны, какие-либо саламандры? Не происходило ли в этой области в миоценовую эпоху каких-либо перемен, биологически неблагоприятных для саламандр? Это возможно. Мог, например,

появиться какой-нибудь специфический враг, который полностью истребил саламандр. И только на одном островке, в закрытом озерце миоценовая саламандра удержалась — впрочем, ценой остановки в своем развитии; процесс ее эволюции был прерван: получилось нечто вроде скрученной пружины, которая не могла распрямиться. Не исключено, что природа имела большие виды на эту саламандру и ей *предстояло* развиваться все дальше и дальше, все выше и выше — кто знает, до каких пределов?.. (Профессор Угер почувствовал, как при этой мысли у пего забегали по спине мурашки; кто знает, не должен ли был Andrias Scheuchzeri стать человеком миоценовой эпохи!..)

Но впрочем, погодите! Это *недоразвившееся* животное внезапно попадает в новую, несравненно более благоприятную для него среду; скрученная пружина распрямляется... С каким жизненным порывом, с каким миоценовым размахом и рвением устремляется Andrias по пути развития! С какой лихорадочной поспешностью наверстывает он сотни тысяч и миллионы лет, упущенные в его эволюции! Мыслимо ли, чтобы он удовольствовался той стадией развития, на которой находится сейчас? И кто может ныне сказать, каких высот достигнет он при том мощном размахе своей эволюции, свидетелями которой мы являемся, — ибо он стоит еще только на пороге этой эволюции и лишь готовится устремиться вверх!

Таковы были мысли и предположения, которые профессор Владимир Угер набрасывал на бумагу, сидя над пожелтевшей вырезкой из старой газеты, трепеща от восторга первооткрывателя. «Пошлю это в газету, — решил он, — потому что научной периодики никто не читает. Пусть все знают, к какому великому процессу в природе мы приближаемся! И назову это:

«Есть ли будущее у саламандр?»

Однако в редакции «Лидовых новин» взглянули на статью профессора Угера и только покачали головой. Опять саламандры! *Мне* кажется, наши читатели уже по горло сыты саламандрами. Пора перейти к чему-нибудь другому. К тому же такие ученые рассуждения не годятся для газеты.

В результате статья о развитии и будущем саламандр так и не увидела света.

12. Синдикат «Саламандра»

Председатель Г. Х. Бонди позвонил в колокольчик и поднялся с места.

— Милостивые государи, — начал он, — имею честь объявить чрезвычайное общее собрание акционеров Тихоокеанской экспортной компании открытым. Приветствую всех присутствующих и благодарю их за участие в нашем многолюдном собрании.

— Господа, — продолжал он взволнованно, — на мою долю выпала тяжелая обязанность сообщить вам печальное известие. Капитана Яна ван Тоха больше нет. Умер наш, если можно так выразиться, основатель, отец счастливой идеи завязать торговые сношения с тысячами островов далекого Тихого океана, наш первый капитан и самый преданный сотрудник. Он скончался в начале этого года на борту нашего парохода «Шарка», недалеко от острова Фаннинга, скончался от апоплексического удара при исполнении служебных обязанностей. (Видно, какой-нибудь скандал устроил, — подумал Бонди.) Прошу вас почтить его светлую память вставанием.

Присутствующие поднялись, гремя стульями, и застыли в торжественном молчании, обеспокоенные одной и той же мыслью: как бы общее собрание не слишком затянулось. (Бедный мой товарищ Вантох, — с искренним огорчением думал Г. Х. Бонди. — Что-то с ним теперь? Скорее всего, спустили в море на доске. Вот, должно быть, плюхнулся! Н-да, славный был малый, и глаза такие голубые...)

— Благодарю вас, господа, — коротко добавил Г. Х. Бонди, — что вы с таким чувством воздали должное памяти моего личного друга, капитана ван Тоха. Прошу господина директора Волавку доложить нам, к каким хозяйственным итогам пришла ТЭК в текущем году. Цифры еще не окончательны, но не следует ожидать, чтобы они могли существенно измениться к концу года. Итак, пожалуйста!..

— Милостивейшие государи, — зажурчал г-н директор Волавка, и пошел и пошел: — Положение со сбытом жемчуга в высшей степени неудовлетворительно. Когда в прошлом году добыча жемчуга возросла почти в двадцать раз по сравнению с благоприятным для вас тысяча девятьсот двадцать пятым годом, жемчуг начал катастро-

фически падать в цене, и это падение дошло до шестидесяти пяти процентов. Правление решило поэтому не выпускать на рынок добычу нынешнего года, а держать ее на складе, пока не повысится спрос. К сожалению, с осени прошлого года жемчуг вышел из моды, очевидно потому, что он так подешевел. В настоящий момент в нашем амстердамском отделении находится на складе свыше двухсот тысяч жемчужин, которые сейчас почти невозможно сбыть.

— Наоборот, в текущем году, — продолжал журчать директор Волавка, — добыча жемчуга значительно понизилась. Пришлось отказаться от ряда месторождений, потому что доходы от них не окупают стоимости рейсов в эти места. По-видимому, месторождения, открытые два или три года назад, в большей или меньшей степени исчерпаны. Правление решило поэтому обратить внимание на другие продукты морских глубин, как-то: кораллы, раковины и губки. И действительно, рынок кораллов и других украшений удалось оживить, но пока эта конъюнктура пошла на пользу больше итальянским, чем тихоокеанским кораллам.

Правление изучает также вопрос о возможности интенсивного рыболовства в водах Тихого океана. Главный вопрос заключается в том, как доставлять тамошнюю рыбу на европейские рынки; имеющаяся пока информация не слишком благоприятна.

— В противоположность этому, — читал дальше директор, слегка повысив голос, — несколько возросли обороты по торговле разными побочными товарами, а именно: вывоз на Тихоокеанские острова текстильных изделий, эмалированной посуды, радиоаппаратуры и перчаток. Эта торговля имеет тенденцию к дальнейшему расширению и развитию; уже в текущем году ее баланс будет сведен со сравнительно ничтожным дефицитом. Однако совершенно исключено, чтобы Компания выплатила в конце года какие-либо дивиденды по своим акциям. В связи с этим правление заранее оповещает, что на *этот раз* оно отказывается от всяких тантьем и вознаграждений.

Наступило длительное и тягостное молчание. (Как он выглядит, этот остров Фаннига? — думал Г. Х. Бонди. — Бедняга Вантох умер как настоящий моряк. Жалко его, славный был парень. И не такой уж старый... не старше

меня...) Наконец слова попросил д-р Губка. Дальше мы приводим протокол чрезвычайного общего собрания акционеров Тихоокеанской экспортной компании.

Д-р Губка спрашивает, не имеется ли в виду ликвидация ТЭК?

Г. Х. Бонди отвечает, что по этому вопросу правление решило выждать дальнейших предложений.

Луи Бонанфан выразил упрек, что у Компании не было на местах постоянных представителей для приемки жемчуга, которые контролировали бы, производится ли добыча жемчуга достаточно интенсивно и технически правильно.

Директор Волавка указывает, что этот вопрос подвергался обсуждению, но было признано, что такая мера слишком увеличила бы административные расходы предприятия. Потребовалось бы не меньше трехсот постоянно оплачиваемых агентов; благоволите также принять в соображение невозможность контролировать, сдают ли эти агенты весь найденный жемчуг.

М. Х. Бринкелер спрашивает, можно ли полагаться на то, что саламандры действительно сдают весь жемчуг, который находят, и не отдают ли они его еще кому-нибудь, кроме доверенных лиц Компании.

Г. Х. Бонди констатирует, что это первое публичное упоминание о саламандрах. До сих пор Компания придерживалась правила не приводить подробностей о том, каким способом производится добыча жемчуга. Он подчеркивает, что именно поэтому было выбрано скромное название — Тихоокеанская экспортная компания.

М. Х. Бринкелер задает вопрос, воспрещается ли здесь говорить о вещах, затрагивающих интересы Компании, которые к тому же давно известны самой широкой общественности.

Г. Х. Бонди отвечает, что это не воспрещается, но является новшеством. Он рад, что отныне можно говорить об этом открыто. На первый вопрос г-на Бринкелера он может ответить, что, по его сведениям, нет никаких оснований сомневаться в полнейшей честности и работоспособности саламандр, занятых на добыче жемчуга и кораллов. Надо, однако, считаться с тем, что известные нам до сих пор месторождения жемчуга в значительной мере исчерпаны или будут исчерпаны в более или менее близком будущем. Именно в поисках новых месторождений умер наш незабвенный сотрудник капитан ван Тох на пути к островам, не эксплуатировавшимся до сих пор. Пока что мы не можем заменить его человеком, который обладал бы таким же опытом, такой же безупречной честностью и любовью к делу.

Полковник Д. У. Брайт полностью признает заслуги покойного капитана ван Тоха. Однако он отмечает, что капитан, о кончине которого мы глубоко скорбим, слишком нянчился с упомянутыми саламандрами. *(Возгласы одобрения.)* Не было никакой надобности снабжать саламандр ношами и другими инструментами такого первоклассного качества, как это делал покойный ван Тох. Не было никакой надобности так много тратить на их кормежку. Можно было бы значительно снизить расходы, связанные с содержанием саламандр, и тем самым повысить доходность наших предприятии. *(Шумные аплодисменты.)*

Вице-председатель Дж. Джильберт соглашается с полковником Брайтом, но подчеркивает, что при жизни капитана ван Тоха это было неосуществимо. Капитан ван Тох уверял, что у него имеются личные обязательства по отношению к саламандрам. По разным причинам было невозможно и нежелательно оставлять без внимания требования старика.

Курт фон Фриш спрашивает, нельзя ли использовать саламандр как-нибудь иначе, в частности, более выгодно, чем на добыче жемчуга. Следовало бы подумать об их прирожденных, так сказать, «бобровых способностях» к постройке плотин и прочих сооружений под водой. Можно было бы использовать их для углубления гаваней, постройки молов и для других технических работ под водой.

Г. Х. Бонди сообщает, что правление тщательно рассматривает этот вопрос; в этом направлении, бесспорно, открываются огромные возможности. Он указывает, что число саламандр, находящихся в собственности Компании, составляет в настоящее время приблизительно шесть миллионов; если учесть, что пара саламандр дает в год около ста головастиков, то в будущем году мы будем иметь в своем распоряжении до трехсот миллионов саламандр; через десять лет численность их достигнет прямо астрономической цифры. Г. Х. Бонди спрашивает, что Компания намерена делать с этим необычным множеством саламандр, которых уже сейчас — за недостатком естественного корма — приходится подкармливать на саламандровых фермах копрой, картофелем, кукурузой и т. п.

Курт фон Фриш спрашивает, съедобны ли саламандры.

Дж. Джильберт. Ни в коем случае. Точно так же их кожа ни на что не годится.

Бонанфан задает правлению вопрос, что же в таком случае оно намерено предпринять.

Г. Х. Бонди *(встает)*. Милостивые государи! Мы созвали настоящее чрезвычайное общее собрание для того, чтобы открыто заявить о крайне неблагоприятных перспективах нашей Компании,

которая — позвольте мне с гордостью напомнить это — в прошлые годы приносила дивиденды в размере от двадцати до двадцати трех процентов, помимо прочно консолидированных резервных фондов и различных отчислений. Теперь мы стоим на распутье; тот способ ведения дел, который оправдывал наши ожидания в прошлые годы, на практике изжит; нам остается лишь искать новые пути. *(Возгласы: «Превосходно!»)*

Я усмотрел бы, господа, веление судьбы в том факте, что именно в этот момент нас покинул наш замечательный капитан и преданный друг И. ван Тох. С его личностью была связана романтическая, красивая и — скажу прямо — довольно сумасбродная идея торговли жемчугом. Я считаю ее уже законченной главой нашей деятельности; она имела свое, так сказать, экзотическое очарование, но не годилась для современной эпохи. Милостивые государи! Жемчуг не может быть объектом грандиозного вертикально и горизонтально разветвленного предприятия. Лично для меня это дело с жемчугом служило только небольшим развлечением. *(Движение в зале.)* Да, господа, развлечением, которое и вам и мне принесло порядочно денег. Кроме того, на первых порах нашей деятельности саламандры обладали, я сказал бы, некоторой прелестью новизны. Триста миллионов саламандр не будут уже обладать такой прелестью. *(Смех.)*

Я сказал «новые пути». Пока был жив мой добрый друг, капитан ван Тох, исключена была всякая возможность придать нашему предприятию иной характер, чем тот, который я назвал бы стилем капитана ван Тоха. *(С места: «Почему?»)* Потому что у меня слишком много вкуса, чтобы смешивать различные стили. Стиль капитана ван Тоха — это был, я сказал бы, стиль приключенческих романов. Это был стиль Джека Лондона, Джозефа Конрада и т. п. Старый, экзотический, колониальный, почти героический стиль. Не отрицаю, он по-своему увлекал меня. Но после смерти капитана ван Тоха мы не имеем права продолжать эту авантюрную, ребяческую эпопею. Перед нами, господа, не новая глава, а новая концепция, задача для нового, и притом существенно иного, творческого замысла. *(С места: «Вы говорите об этом, как о романе!»)* Да, милостивый государь, вы правы! Торговля интересует меня как художника. Без известного творческого воображения вы никогда не выдумаете ничего нового. Мы должны быть поэтами, если не хотим, чтобы мир остановился. *(Аплодисменты. Г. Х. Бонди кланяется.)*

Я, господа, с сожалением подвожу черту под этой, так сказать, вантоховской главой: в ней мы изжили то, что было авантюрного и детского в нас самих. Пора кончить сказку о жемчугах и корал-

лах. Синдбад-мореход умер, господа. Вопрос о том, что предпринять теперь? *(С места: «Об этом мы вас и спрашиваем!»)* Ну, так вот, господа: благоволите взять карандаши и пишите. Шесть миллионов. Написали? Помножьте на пятьдесят. Получается триста миллионов, не так ли? Помножьте опять на пятьдесят. Это пятнадцать миллиардов, правда? А теперь, господа, будьте так добры, посоветуйте, что нам делать через три года с пятнадцатью миллиардами саламандр? Как мы их используем, как мы их прокормим и так далее... *(С места: «Ну и пусть передохнут!»)* Да, но разве не жалко! Разве вы не учитываете, что каждая саламандра представляет собою некоторую экономическую ценность, ценность рабочей силы, которая ждет своего применения? Господа, с шестью миллионами саламандр мы еще можем кое-как управиться. С тремястами миллионами это будет потруднее. Но пятнадцать миллиардов саламандр, господа, — это уже просто захлестнет нас с головой. Саламандры съедят Компанию. Вот так. *(С места: «Вы будете отвечать за это! Вы затеяли все дело с саламандрами!»)*

Г. Х. Бонди *(поднял голову).* Я полностью принимаю на себя ответственность, господа! Кто хочет, может немедленно избавиться от акций Тихоокеанской экспортной компании. Я готов заплатить за каждую акцию... *(С места: «Сколько?»)* Полную стоимость, милостивый государь! *(Общий шум. Президиум объявляет перерыв на десять минут.)*

По возобновлении заседания слово просит М. Х. Бринкелер. Он выражает свое удовлетворение по поводу того, что саламандры столь бурно размножаются, тем самым увеличивая имущество Компании. Однако, господа, было бы явной нелепостью разводить их даром: если у нас самих нет для них подходящей работы, то я от имени группы акционеров предлагаю просто-напросто продавать саламандр как рабочую силу всякому, кто собирается предпринять какие-либо работы в воде или под водой. *(Аплодисменты.)* Прокормление саламандры обходится в несколько сантимов в день; если продавать пару саламандр, скажем, за сто франков и если рабочая саламандра может выжить, допустим, хотя бы один год, то любой предприниматель шутя окупит такое капиталовложение. *(Возгласы одобрения.)*

Дж. Джильберт отмечает, что саламандры достигают значительно большего возраста, чем один год; за отсутствием достаточно продолжительных наблюдений срок их жизни вообще еще не установлен.

М. Х. Бринкелер вносит после этого поправку к своему проекту, предлагая, чтобы цена одной пары саламандр была в таком случае повышена до трехсот франков с доставкой в порт.

С. Вейсбергер спрашивает, какие, собственно, работы могли бы выполнять саламандры.

Директор Волавка. По своим врожденным инстинктам и по необычайной технической сметке саламандры годятся для строительства плотин, дамб и волнорезов, для углубления гаваней и каналов, для удаления мелей и илистых наносов, для очистки водных путей сообщения; они могут укреплять и регулировать морские побережья, расширять пространство, занятое сушей, и тому подобное. Во всех этих случаях речь идет о колоссальных работах, требующих сотни и тысячи рабочих рук, о работах, настолько обширных, что даже современная техника никогда не отважится взяться за них, пока не будет иметь в своем распоряжении неслыханно дешевую рабочую силу. *(Возгласы: «Правильно!», «Превосходно!»)*

Д-р Губка высказывает предположение, что, продавая саламандр, которые смогут, вероятно, размножаться и у новых владельцев, Компания потеряет монополию на саламандр. Он предлагает не продавать, а только отдавать внаем предпринимателям водных сооружений рабочие колонны надлежащим образом выдрессированных саламандр, ставя условием, чтобы их возможное потомство поступало в собственность Компании.

Директор Волавка указывает, что невозможно уследить в воде за миллионами или даже миллиардами саламандр, а тем паче за их пометом; к сожалению, много саламандр было уже украдено для зоологических садов и зверинцев.

Полковник Д. У. Брайт. Следовало бы продавать или отдавать внаем только саламандр-самцов, чтобы они не могли размножаться нигде, кроме саламандровых инкубаторов и ферм, составляющих собственность Компании.

Директор Волавка. Мы не можем утверждать, что саламандровые фермы составляют собственность Компании. Нельзя приобрести в собственность или в исключительное пользование участок морского дна. Юридический вопрос — кому, собственно, принадлежат саламандры, живущие, например, в территориальных водах ее величества королевы нидерландской, очень неясен и может вызвать много споров. *(Волнение в зале.)* В большинстве случаев за нами не обеспечено даже право рыболовства: мы, господа, устраивали свои саламандровые фермы на Тихоокеанских островах, так сказать, нелегально. *(Волнение усиливается.)*

Дж. Джильберт отвечает полковнику Брайту, что, по имеющимся наблюдениям, изолированные саламандры-самцы через некоторое время утрачивают свою бодрость и работоспособность: они становятся вялыми, безжизненными и гибнут от тоски.

Курт фон Фриш спрашивает, нельзя ли перед продажей охолощать или стерилизовать саламандр.

Дж. Джильберт. Это было бы слишком дорого; короче, мы не можем помешать дальнейшему размножению проданных саламандр.

С. Вейсбергер, как член Общества покровительства животным, просит, чтобы намечаемая продажа саламандр производилась гуманным способом, не оскорбляющим человеческих чувств.

Дж. Джильберт благодарит за это указание: само собой разумеется, что поимка и перевозка саламандр будут поручены обученному персоналу и подчинены соответствующему надзору. Однако мы не можем отвечать за то, как будут обращаться с саламандрами предприниматели, которые их купят.

С. Вейсбергер заявляет, что он удовлетворен разъяснениями вице-председателя Дж. Джильберта. *(Аплодисменты.)*

Г. Х. Бонди. Прежде всего, господа, откажемся от мысли сохранить в будущем монополию на саламандр. К сожалению, согласно действующему законодательству, мы не можем получить на них патент. *(Смех.)* Свое привилегированное положение в области торговли саламандрами мы можем и должны закрепить другим способом. Но в качестве необходимой предпосылки для этого мы должны взяться за дело в ином стиле и в гораздо более обширном масштабе, чем до сих пор. *(Возгласы: «Слушайте!»)* Передо мной господа, лежит целая пачка предварительных соглашений, и правление предлагает создать новый вертикальный трест под названием синдикат «Саламандра». Членами синдиката, кроме нашей Компании, стали бы определенные крупные предприятия и мощные финансовые группы; например, один известный концерн, который будет изготовлять специальные металлические инструменты для саламандр... *(С места: «Вы имеете в виду МЕАС?»)* Да, милостивый государь, я говорю о МЕАС. Затем — химический и пищевой картель, который будет изготовлять дешевый патентованный корм для саламандр; группа транспортных компаний, которая берется на основании имеющегося опыта сконструировать и запатентовать специальные гигиенические резервуары для перевозки саламандр; блок страховых обществ, который займется страхованием купленных животных на случай увечья или гибели как при перевозке, так и на месте их работы; наконец, разные лица, которые связаны с промышленностью, экспортом и банками и которых пока, по весьма серьезным соображениям, мы называть не будем. Достаточно, если я скажу вам, господа, что этот синдикат будет располагать на первых порах четырьмястами миллионами фунтов стерлингов. *(Волнение.)* В этой папке, друзья мои, находятся соглаше-

ния, которые достаточно только подписать, чтобы возникла одна из величайших экономических организаций наших дней. Правление просит вас, господа, предоставить ему полномочия, необходимые для создания этого исполинского концерна, задачей которого будет рациональное разведение и эксплуатация саламандр. *(Аплодисменты и возгласы протеста.)*

Благоволите, господа, учесть выгоды такого объединения. Синдикат «Саламандра» будет поставлять не только саламандр, но также все инструменты и корм для саламандр, то есть кукурузу, крахмалистые вещества, говяжье сало и сахар для миллиардов подкармливаемых животных; далее синдикат берет на себя перевозку, страхование, ветеринарный надзор и прочее, причем все это — по самым низким тарифам, обеспечивающим нам если не монополию, то, во всяком случае, абсолютный перевес над любым конкурирующим предприятием, которое захотело бы продавать саламандр. Пусть кто-нибудь попробует, господа; недолго он будет соперничать с нами. *(Возгласы: «Браво!»)* Но это не все. Синдикат «Саламандра» будет поставлять все материалы для подводных работ, производимых саламандрами; вот почему за нами стоит также тяжелая промышленность, стоят цемент, строевой лес и кирпич... *(С места: «Еще неизвестно, как саламандры будут работать!»)* Господа, в настоящий момент двенадцать тысяч саламандр заняты в Сайгонском порту на работах по сооружению новых доков, пристаней и молов. *(С места: «Этого вы нам не говорили!»)* Не говорил. Это первый опыт в большом масштабе. Этот опыт, господа, дал в высшей степени удовлетворительные результаты. Сейчас уже не приходится сомневаться в будущности саламандр. *(Шумные аплодисменты.)*

Но и это не все. Этим далеко еще не исчерпываются задачи синдиката. Синдикат будет подыскивать на всем земном шаре работу для миллионов саламандр. Он будет разрабатывать идеи и общие планы покорения моря. Будет пропагандировать утопию и грандиозные мечты. Будет поставлять проекты новых берегов и каналов, плотин, связывающих между собой целые континенты, искусственных островов для трансокеанской авиации, новых материков, воздвигаемых среди океана. В этом — будущее человечества. Господа, четыре пятых земной поверхности покрыты морем; это, бесспорно, слишком много; карта распределения суши и моря на нашей планете должна быть исправлена. Мы дадим миру рабочих моря, господа. Это будет уже не стиль капитана ван Тоха; приключенческую сказку о жемчугах мы заменим гимном труда. Одно из двух: либо мы останемся мелкими лавочниками, либо будем творить; но если мы не сумеем мыслить в масштабе материков

и океанов — значит, мы не доросли до своих возможностей. Здесь рассуждали о том, за сколько надо продавать пару саламандр. Я хотел бы, чтобы мы мыслили в масштабах миллиардов саламандр, десятков миллионов рабочих рук, преобразований земной коры, нового сотворения мира и новых геологических эпох. Мы можем теперь говорить о будущих Атлантидах, о старых континентах, все далее наступающих на всемирный океан, о новых материках, которые создаст само человечество. Простите, господа, возможно, это звучит для вас как утопия. Да, мы действительно вступаем в царство Утопии. Да, друзья мои, мы уже находимся в нем! Нам остается лишь обдумать техническую сторону вопроса о будущем саламандр... *(С места: «И экономическую!»)*

Да! Особенно экономическую. Господа, наша Компания слишком мала для того, чтобы она сама сумела эксплуатировать миллиарды саламандр. Для этого у нас не хватит ни финансовых, ни политических возможностей. Если мы начнем менять карту суши и моря, то этим, господа, заинтересуются и великие державы. Не будем говорить об этом; не станем упоминать о высокопоставленных лицах, которые уже сейчас весьма благосклонно относятся к синдикату. Но прошу вас, господа, не упускайте из виду беспредельный размах того дела, за или против которого вы будете сейчас голосовать. *(Продолжительные восторженные аплодисменты. Возгласы: «Браво!», «Превосходно!».)*

Перед голосованием пришлось, однако, обещать, что по акциям Тихоокеанской экспортной компании в этом году будет выплачен по крайней мере десятипроцентный дивиденд за счет резервных фондов. После этого за предложение правления проголосовало восемьдесят семь процентов акций, и только тринадцать было против. Таким образом, предложение было принято. Синдикат «Саламандра» вступил в жизнь. Г. Х. Бонди поздравляли.

— Вы очень красиво говорили, господин Бонди, — похвалил его старый Сиги Вейсбергер. — Очень красиво. Но, скажите, как пришла вам в голову эта идея?

— Как? — рассеянно ответил Г. Х. Бонди. — По совести говоря, господин Вейсбергер, я сделал это в память старика ван Тоха. Он так носился со своими саламандрами... Что он, бедняга, сказал бы, если бы его tapa-boys дали подохнуть или истребили их!

— Каких tapa-boys?

— А этих чудовищ саламандр. Теперь, когда они представляют собой какую-то ценность, с ними будут, по крайней мере, прилично обращаться. Больше эти твари ни на что не годятся, господин Вейсбергер, разве только для какого-нибудь фантастического предприятия.

— Не понимаю, — сказал Вейсбергер. — А вы видели уже когда-нибудь саламандру, господин Бонди? Я, собственно, не знаю, что это такое. Скажите, пожалуйста, как они выглядят?

— Этого, господин Вейсбергер, я вам не скажу. Знаю ли я, что такое саламандра? А зачем мне это знать? Разве есть у меня время заниматься вопросом о том, как они выглядят? Я должен радоваться, что мы сколотили этот синдикат.

Приложение

О ПОЛОВОЙ ЖИЗНИ САЛАМАНДР

Одно из излюбленных занятий человеческого духа — представлять себе, как когда-нибудь в далеком будущем будет выглядеть мир и человечество, какие чудеса техники воплотятся в жизнь, какие социальные проблемы будут решены, как далеко шагнет наука, организация общества и так далее. Однако большинство из этих утопий не упускают случая весьма живо интересоваться вопросом о том, как в этом лучшем, более прогрессивном или, по крайней мере, технически более совершенном мире будет обстоять дело со столь древним, хотя и по-прежнему популярным институтом, как половая жизнь, размножение, любовь, брак, семья, женский вопрос и тому подобное. Сошлемся на соответствующих литераторов, таких, как Поль Адам, Г. Дж. Уэллс, Олдос Хаксли и многие другие.

Ссылаясь на эти примеры, автор считает своей обязанностью, раз уж он решил заглянуть в будущее земного шара, рассмотреть и вопрос о том, как в этом будущем мире саламандр будет складываться сексуальный порядок. Он делает это уже здесь, чтобы не возвращаться к этой теме позднее.

Половая жизнь Андриаса Шейхцери в основных чертах, естественно, соответствует принципу размножения прочих хвостатых земноводных; это — не в полном смысле слова совокупление: самка откладывает яйца в несколько приемов, оплодотворенные зародыши развиваются в воде, становясь головастиками, и так далее; об этом можно прочитать в любом учебнике естествознания. Упомянем лишь о некоторых особенностях, подмеченных в этой области у Андриаса Шейхцери.

В начале апреля, как пишет Г. Больте, самцы избирают себе самок; в каждом сексуальном периоде самец, как правило, держится одной и той же самки, не отступая от нее ни на шаг в течение нескольких дней. В эту пору он почти совсем не принимает пищи, в то время как самка проявляет значительную прожорливость. Самец гоняется за ней под водой, стараясь плотно прижаться головой к ее голове. Когда это ему удается, он прикла-

дывает свою пасть к ее носу — быть может, для того, чтобы не дать ей убежать от себя, — и застывает в оцепенении. Так, соприкасаясь только головами, тогда как тела их составляют угол почти в тридцать градусов, оба животных как бы парят в воде без малейшего движения. Временами самец начинает так сильно извиваться, что боками своими сталкивается с боками самки; затем он снова цепенеет с широко расставленными ногами, не отрывая пасти от головы своей подруги, которая между тем равнодушно пожирает все, что ей попадается на пути. Этот, если можно так выразиться, поцелуй продолжается несколько дней; иной раз самка отделяется от самца в погоне за пищей и он преследует ее в явном волнении и даже в ярости. Наконец самка отказывается от дальнейшего сопротивления, уже не стремится убежать, и обе саламандры висят в воде неподвижно, похожие на два черных связанных полена. Тогда по телу самца пробегают волны судороги, и он выпускает в воду обильную, несколько липкую молоку. Тотчас после этого он покидает самку и прячется под камнями в крайнем изнеможении; в это время ему можно отрезать ногу или хвост — он даже не попытается защищаться.

Самка же остается после этого в течении некоторого времени в состоянии неподвижного оцепенения; затем она резко прогибается и начинает извергать из клоаки соединенные цепочкой яйца, окутанные слизью. При этом она нередко помогает себе задними ногами, как это делают жабы. Количество яиц колеблется от сорока до пятидесяти, и они комком висят на теле самки. Самка отплывает в защищенное место и прикрепляет яйца к водорослям или даже просто к камням. Через десять дней она откладывает вторую серию яиц, в количестве от двадцати до тридцати, совсем не встречаясь с самцом между первой и второй кладкой; эти яйца, видимо, оплодотворяются прямо у нее в клоаке. Как правило, еще через семь-восемь дней происходит третья и четвертая очередь откладывания яиц, также уже оплодотворенных; на этом третьем этапе количество яиц колеблется от пятнадцати до двадцати. Через промежуток времени от одной до трех недель из яиц вылупливаются подвижные маленькие головастики с ветвеобразными жабрами. Уже через год эти головастики становятся взрослыми саламандрами, способными к размножению.

Рассмотрим теперь наблюдение мисс Бланш Кистемекерс над двумя самками и одним самцом Андриаса Шейхцери, содержащимися в неволе. В период спаривания самец выбрал себе лишь одну из двух самок и преследовал ее достаточно жестоким образом: когда она от него уплывала, он бил ее сильными ударами хвоста. Ему не нравилось, что она принимала пищу, и он стремился оттеснить ее от корма; он явно желал полностью завладеть ее вниманием и прямо терроризировал ее. Выпустив молоку, он набросился на вторую самку с намерением сожрать ее; пришлось удалить его из резервуара и поместить отдельно. Несмотря на это, вторая самка тоже отложила в общем счете шестьдесят три *оплодотворенных* яйца. Мисс Кистемекерс отметила, однако, что в течение всего периода у всех троих животных края клоак значительно опухали. Итак, можно прийти к выводу, пишет мисс Кистемекерс, что оплодотворение у Андриаса происходит не путем совокупления и даже не путем излияния молок на яйца, а посредством того, что можно назвать *половой средой.*

Как видно, не требуется даже временного сближения животных, чтобы оплодотворить яйца. Это привело молодую исследовательницу к целому ряду интересных опытов. Она поместила самца и самок отдельно; когда наступила пора спаривания, она выдавила молоки из самца и бросила их в воду самкам. После этого самки начали класть оплодотворенные яйца. В ходе дальнейших экспериментов мисс Кистемекерс профильтровала молоки, а фильтрат, из которого *были удалены сперматозоиды* (получилась прозрачная, со слабой кислотностью, жидкость), вылила в резервуар, где жили самки. И в этом случае самки *отложили яйца,* каждая примерно по пятидесяти штук, причем большинство из них оказались *оплодотворенными* и развились в нормальных головастиков. Именно это привело мисс Кистемекерс к важному открытию *половой среды,* представляющей собой самостоятельное звено между партеногенезом и размножением путем половых сношений. Оплодотворение яиц происходит попросту вследствие химического изменения среды (определенного рода окисления, причем нужную кислоту до сих пор не удалось получить искусственным путем). Это изменение каким-то образом связано с половой функцией самца, но в самой этой функции, собственно говоря, нет никакой

надобности. Тот факт, что самец соединяется с самкой, представляет собой, видимо, пережиток более древнего этапа развития, когда оплодотворение у Андриаса происходило так же, как и у других земноводных. Это соединение, как правильно подчеркивает мисс Кистемекерс, лишь своего рода унаследованная иллюзия отцовства; в действительности же самец не является отцом головастиков, а всего-навсего совершенно безразличным химическим фактором, создающим половую среду, которая и есть единственная оплодотворяющая сила. Если поместить в один резервуар сто пар саламандр Андриас Шейхцери, мы могли бы вообразить, что тут имеет место сто индивидуальных половых актов; в действительности же это — единый акт, а именно — коллективная сексуализация данной среды, или, если выразиться точнее, — определенное окисление воды, на которое созревшие яйца Андриаса реагируют развитием в головастиков. Составьте искусственным путем этот неизвестный нам кислотный агент, и самцы будут не нужны.

Итак, половая жизнь удивительного Андриаса является нам как Великая Иллюзия; его эротическая страстность, его брачные устремления и половая тирания, его временная верность, его неуклюжее и медлительное наслаждение — все это, строго говоря, лишние, изжившие себя, почти символические действия, сопровождающие или, так сказать, украшающие на самом деле безличный акт оплодотворения, каковым является создание оплодотворяющей половой среды. Странное безразличие, с которым самки принимают это бесцельное, френетическое индивидуальное ухаживание самцов, явно свидетельствует о том, что самки инстинктивно чувствуют в этих брачных церемониях всего лишь формальный обряд или вступление к подлинному брачному акту, в ходе которого они, то есть самки, взаимодействуют в половом сношении с оплодотворяющей средой; мы бы сказали, что самка Андриаса яснее понимает это обстоятельство и относится к нему более трезво, без эротических иллюзий.

(Эксперименты мисс Кистемекерс дополнил своими интересными опытами ученый аббат Бонтемпелли. Он высушил и размолол молоку Андриаса и пустил ее в воду, где содержались самки; и в этом случае самки начали откладывать оплодотворенные яйца. Тот же результат получился, когда он высушил и размолол

половые органы Андриаса-самца, и тогда, когда он выдержал их в спирте, и когда выварил их, а экстракт влил в воду к самкам. Тем же самым увенчался и его опыт, когда он ввел в резервуар к самкам вытяжку гипофиза самца и даже выделения подкожных желез самца, взятых в период течки. Во всех этих случаях самки сначала никак не реагировали на примеси; но постепенно они прекращали поиски пищи и застывали без движения, буквально оцепенев, а через несколько часов начинали извергать из себя студенистые яйца, величиной примерно с фасоль.)

В этой связи следует упомянуть и о странном обряде — так называемой *пляске саламандр* (имеется в виду не «Саламандр-данс», вошедший за последнее время в моду, особенно в высшем обществе, и названный епископом Хирамом «самым непристойным танцем, о котором ему когда-либо приходилось слышать»). Сущность пляски саламандр заключается в следующем: вечерами в полнолуние (за исключением периода спаривания) на берег выходят Андриасы, причем *только самцы,* усаживаются в круг и начинают извиваться верхней половиной туловища, извиваться особым, волнообразным движением. Это движение вообще характерно для крупных саламандр; во время названной «пляски» они отдаются ему со страстью, исступленно, до полного изнеможения, подобно пляшущим дервишам. Некоторые ученые считали это бешеное кружение и топтание неким культом Луны и, следовательно, принимали его за религиозный обряд; другие, в противоположность первым, усматривали в нем танец, в сущности своей эротический, и объясняли его именно той организацией половой жизни, о которой мы уже говорили. Мы сказали, что у Андриаса Шейхцери оплодотворяющей силой является так называемая половая среда, представляющая собой массового и безличного посредника между самцами и самками. Мы сказали также, что самки воспринимают эти безличные половые отношения куда более реалистично и просто, чем самцы, которые — по-видимому, из свойственного им инстинктивного тщеславия и воинственности — хотят, по крайней мере, сохранить видимость полового триумфа и потому *разыгрывают роли* влюбленных и супругов-собственников. Это — одна из величайших эротических иллюзий, любопытным образом опровергаемая именно этими плясками, этими боль-

шими праздниками самцов, которые есть не что иное, как инстинктивное стремление осознать себя Коллективом Самцов. Существуют мнения, что с помощью этого массового танца саламандры подавляют атавистичную и бессмысленную иллюзию полового индивидуализма самцов; извивающаяся, опьяненная, френетическая толпа — не более не менее как Массовый Самец, Коллективный Жених и Великий Оплодотворитель, который вершит свой торжественный брачный танец и предается великому свадебному обряду при странном исключении самок, которые тем временем равнодушно чавкают, пожирая разных рыб и каракатиц. Известный ученый Чарльз Дж. Пауэлл, назвавший эти саламандровые торжества Пляской Мужского Принципа, пишет: «Разве не видим мы в этих всеобщих обрядах самцов самый корень и источник странного коллективизма саламандр? Ведь если подумать, то подлинную общность в животном мире мы найдем только там, где жизнь и развитие вида опираются не на принцип брачной пары: у пчел, у муравьев и термитов. Общность пчел можно выразить словами: «Я, Материнский Улей». Общность же саламандр выражается совсем иначе: «Мы, Мужской Принцип». Только все самцы сообща, которые в данный момент чуть ли не своими порами выделяют плодоносную половую среду, и являются Великим Самцом, проникающим в лона самок и щедро воспроизводящим жизнь. Их отцовство — коллективное; поэтому и все естество их — коллективное и проявляется в совместных действиях, в то время как самки, кончив класть яйца, до следующей весны ведут более или менее разобщенную и уединенную жизнь. Община состоит из одних самцов. Только самцы выполняют общие задачи. Нет другого вида животных, где бы самки играли столь второстепенную роль, как у Андриаса; они исключены из жизни общины, да и не проявляют к ней ни малейшего интереса. *Их* время придет, когда Мужской Принцип насытит среду кислотой, едва ли поддающейся изучению химии, но настолько жизненосной, что она, растворенная в морской воде, воздействует на организм самок даже в бесконечно малых дозах. Кажется, сам Океан становится самцом, оплодотворяя на берегах миллионы зародышей.

Если не считать петушиной горделивости, — продолжает Чарльз Дж. Пауэлл, — природа у большинства животных видов наделила превосходством жизненных сил

именно самок. Самцы существуют для собственного удовольствия и для того, чтобы убивать: это — надменные и хвастливые одиночки, тогда как самки представляют сам род во всей его силе и со всеми свойственными ему добродетелями. У Андриаса (и частично у человека) соотношение в корне иное; образование общности самцов и мужской солидарности сообщает самцу явное биологическое превосходство; и самцы определяют развитие этих видов в гораздо большей степени, чем самки. Быть может, именно благодаря такому исключительно мужскому направлению развития у Андриаса столь сильно проявляются *технические,* то есть типично мужские способности. Андриас — прирожденный техник со склонностью к массовому труду; эти вторичные *мужские* половые признаки, то есть технический талант и склонность к организации, развиваются в нем на наших глазах так быстро и успешно, что можно было бы говорить о чудесах природы, если бы мы не знали, сколь могучим жизненным фактором являются именно половые детерминанты. Andrias Schenehzeri — это animal faber [1], и, возможно, уже в ближайшее время он превзойдет в области техники самого человека — причем исключительно в силу того природного факта, что он создал сообщество самцов в чистом виде».

---

[1] искусное существо (*лат.*).

Книга вторая
ПО СТУПЕНЯМ ЦИВИЛИЗАЦИИ

1. Пан Повондра читает газеты

Одни собирают почтовые марки, другие — первопечатные книги. Пан Повондра, швейцар в особняке Г. X. Бонди, долго не мог найти смысла жизни; много лет он колебался между увлечением древними гробницами и страстью к международной политике; и вдруг однажды вечером он неожиданно открыл, чего именно недоставало ему до сих пор для полноты жизни. Великие открытия обычно приходят неожиданно...

В тот вечер пан Повондра читал газеты, пани Повондрова штопала Франтику носки, а Франтик делал вид, будто зубрит левые притоки Дуная, Было уютно и тихо.

— С ума сойти можно!.. — проворчал пан Повондра.

— Что случилось? — спросила его пани Повондрова, вдевая нитку в иглу.

— Да всё эти саламандры, — ответил Повондра-отец. — Вот здесь напечатано, что за последний квартал их было продано семьдесят миллионов штук.

— Это много, правда? — сказала пани Повондрова.

— Еще бы! Это, матушка, потрясающая цифра. Подумай только — семьдесят миллионов! — Пан Повондра покачал головой. — Люди, наверное, заработали на этом бешеные деньги. А какие работы затеваются! — прибавил он после минутного раздумья. — Вот здесь рассказывается, как повсюду лихорадочно строят новые земли и острова. Я тебе говорю, что теперь люди могут понаделать столько материков, сколько им заблагорассудится. Это, матушка, великое дело. Это, я тебе скажу, больший прогресс, чем открытие Америки.

Пан Повондра с минуту обдумывал свои слова.

— Новая историческая эпоха, понимаешь? — сказал он. — Да, матушка, мы живем в великие времена.

Снова наступило продолжительное молчание. Внезапно Повондра-отец энергично задымил своей трубкой.

— И подумать, что без меня ничего бы не было!

— Чего не было бы?

— Да торговли саламандрами. И «нового века». Если поразмыслить, то не кто иной, как я, пустил в ход все это дело.

Пани Повондрова подняла глаза от дырявого носка.

— Это как же понимать?

— А так, что я пустил тогда этого капитана к пану Бонди. Если бы я о нем не доложил, капитан в жизни не встретился бы с паном Бонди. Если бы не я, матушка, не вышло бы ничего. Ровно ничего.

— Капитан мог найти кого-нибудь другого, — заметила пани Повондрова.

Трубка Повондры-отца презрительно захрипела.

— Много ты понимаешь! На такую вещь способен только Г. Х. Бонди. Да, уж он-то видит дальше, чем... не знаю кто. Другие увидели бы в этом только сумасбродство или подвох. Но пан Бонди — ого! У него, голубчика, есть нюх!..

Пан Повондра задумался.

— Этот самый капитан... как его... да, Вантох... на вид был самый обыкновенный человек. Такой добродушный толстяк... Другой швейцар сказал бы ему — куда, братец? Хозяина нет дома, и так далее. Но у меня словно какое-то предчувствие было, что ли. Доложу-ка я о нем, сказал я себе; мне, наверное, влетит от пана Бонди, но я возьму на себя грех, доложу. Я всегда говорю, у швейцара должно быть особое чутье. Иной раз позвонит какой-нибудь тип, выглядит как барон, а окажется агентом по продаже комнатных холодильников. А в другой раз явится этакий толстяк — и смотри-ка, что в нем сидит!

— Надо уметь разбираться в людях, — сказал в заключение Повондра-отец. — Ты видишь, Франтик, что может сделать человек, даже если он занимает скромное положение. Бери пример с меня и старайся всегда исполнять свой долг, как это делал я.

Пан Повондра торжественно и с чувством подтвердил свои слова кивком головы.

— Я мог бы не пускать капитана дальше порога и избавить себя от беготни по лестнице. Другой швейцар надулся бы и захлопнул дверь перед его носом. И тем самым сорвал бы такой замечательный всемирный прогресс. Помни, Франтик, если бы каждый человек исполнял свой долг, на свете жилось бы, как в раю! И слушай внимательно, когда с тобой говорит отец!

— Да, папочка, — буркнул Франтик с несчастным видом.

Повондра-отец откашлялся.

— Дай-ка мне, матушка, ножницы. Надо бы вырезать это из газеты, чтобы оставить после себя какую-нибудь память.

Так пан Повондра начал собирать газетные вырезки о саламандрах. Его страсти коллекционера мы обязаны многими материалами, которые без него канули бы в бездну забвения. Он вырезывал и сохранял все, что находил в печати о саламандрах. Не станем скрывать, что после некоторых колебаний он научился по-мародерски расправляться в своем излюбленном кафе с газетами, в которых было какое-либо упоминание о саламандрах, и достиг при этом редкой, почти престидижитаторской виртуозности в искусстве незаметно выдирать из газеты нужный лист и засовывать его в карман под самым носом у обер-кельнера. Как известно, каждый коллекционер способен на воровство и даже на убийство, если речь идет о том, чтобы пополнить коллекцию новым экземпляром, и это нисколько не чернит его моральный облик.

Теперь его жизнь обрела смысл, ибо это была жизнь коллекционера. Вечер за вечером он разбирал и перечитывал свои вырезки под снисходительным взглядом пани Повондровой, которая знала, что каждый мужчина — отчасти сумасшедший и отчасти ребенок; пусть лучше забавляется своими вырезками, чем ходит в пивную и играет в карты. Она даже очистила в комоде место для его коробок, которые он сам смастерил для своей коллекции. Можно ли требовать большего от жены и хозяйки?

Даже сам Г. Х. Бонди был как-то раз изумлен энциклопедическими познаниями пана Повондры во всех вопросах, касающихся саламандр. Пан Повондра, немного стесняясь, признался, что собирает все, что было где-либо напечатано о саламандрах, и показал хозяину свои коробки. Г. Х. Бонди добродушно похвалил его коллекцию. Да, только большие люди могут быть такими благосклонными, и только влиятельные люди умеют осчастливить других так, что это им не стоит ни гроша; большие господа вообще умеют устраиваться. Пан Бонди, например,

просто-напросто распорядился, чтобы из канцелярии синдиката «Саламандра» Повондре посылали все вырезки о саламандрах, которые не стоило хранить в архиве. И счастливый, несколько удрученный Повондра ежедневно стал получать целые кипы документов на всех языках мира; из них особо благоговейное почтение внушали ему газеты, напечатанные славянскими или греческими буквами, а также еврейскими, арабскими китайскими, бенгальскими, тамильскими, яванскими, бирманскими или тааликскими письменами.

— И подумать только, — говорил он, созерцая их, — что без меня ничего этого не было бы!

Как мы уже сказали, коллекция пана Повондры сохранила много исторических материалов, относящихся ко всей затее с саламандрами. Отсюда, однако, не следует, что она могла бы удовлетворить ученого историографа. Прежде всего пап Повондра, которому недоставало специального образования в области вспомогательных исторических дисциплин и методологии архивного дела, не снабжал свои вырезки ни указанием источника, пи соответствующей датой, так что по большей части мы не знаем, где и когда был опубликован тот или иной документ. Во-вторых, ввиду чрезмерного обилия накоплявшихся у него материалов, пан Повондра сохранял главным образом большие статьи, которые он считал более важными, тогда как краткие заметки и телеграфные сообщения он попросту выбрасывал в ящик с углем, в результате чего сохранилось чрезвычайно мало фактических данных и сведений обо всем этом периоде. В-третьих, к делу весьма заметно приложила руку сама пани Повондрова: когда коробки пана Повондры угрожающе переполнялись, она потихоньку вытаскивала из них часть вырезок и сжигала их; это повторялось по нескольку раз в год. Она щадила только те материалы, которые поступали не в таком большом количестве, — как, например, тексты, напечатанные малабарскими, тибетскими или коптскими письменами; эти вырезки сохранились почти в полном комплекте, но, ввиду некоторых пробелов в нашем образовании, от них мало проку. Таким образом, имеющийся у нас под рукой материал по истории саламандр отличается такою же отрывочностью, как, скажем, поземельные книги XIII столетия нашей эры или собрание сочи-

нений поэтессы Сафо. До нас лишь случайно дошли документальные данные, касающиеся различных моментов того грандиозного процесса, который мы, несмотря на все пробелы, попытаемся объединить под заголовком «По ступеням цивилизации».

2. По ступеням цивилизации

(ИСТОРИЯ САЛАМАНДР) [1]

В том историческом периоде, который Г. X. Бонди возвестил на достопамятном общем собрании Тихоокеанской экспортной компании пророческими словами о начинающейся утопии [2], мы не можем исчислять исторические процессы веками или десятилетиями, как это делалось во всей предшествующей мировой истории, но можем вести счет лишь по четвертям года, измеряя время промежутками между выходом квартальных экономических обзоров [3].

---

[1] См.: G. Kreuzmann. Geschichte der Molche. Hanz Tietze. Der Molch des XX. Jahrhunderst. Kurt Wolff. Der Molch und das deutsche Volk. Sir Heibert Owen. The Salamanders and the British Empire. Giovanni Focaja. L'evoluzione degli anfibii durante il Fascismo. Léon Bonnet. Les Urodèles et la Société des Nations. S. Madariaga. Las Salamandras y la Civilización ", и много других.

[2] См.:Война с саламандрами, ч. I, гл. 12.

[3] В виде доказательства приведем первую же вырезку из коллекции пана Повондры:

НА РЫНКЕ САЛАМАНДР

(ЧТА) Согласно последнему сообщению, опубликованному синдикатом «Саламандра» в конце квартала, сбыт саламандр увеличивается на тридцать процентов. За три месяца было продано почти семьдесят миллионов саламандр, в частности — в Южную и Центральную Америку, в Индокитай и в Итальянское Сомали.

---

[1] Г. Крейцман. История саламандр; Ганс Тиеце. Саламандра XX столетия; Курт Вольф. Саламандра и германский народ; сэр Герберт Оуэн. Саламандры и Британская империя; Джованни Фокаджа. Эволюция земноводных в эпоху фашизма; Леон Бонне. Земноводные и Лига наций; С. Мадариага. Саламандры и цивилизация.

В ту эпоху История вырабатывалась — если можно так выразиться — в крупных масштабах; поэтому и темпы истории необычайно (предположительно — раз в пять) ускорились. Сейчас мы просто-напросто не можем ждать несколько сот лет, пока с нашим миром случится что-нибудь, хорошее или дурное. Например, переселение народов, которое когда-то тянулось несколько веков, при современной организации транспорта могло бы быть полностью осуществлено за каких-нибудь три года; иначе на нем ничего не заработаешь. Точно так же обстоит дело с ликвидацией Римской империи, с колонизацией вновь открытых континентов, с истреблением индейцев и так далее. Все это можно было бы устроить теперь несравненно быстрее, если поручить дело финансово мощным предприятиям. В этом отношении грандиозные успехи синдиката «Саламандра» и его огромное влияние на мировую историю, несомненно, указывают путь грядущим поколениям.

Таким образом, история саламандр с самого начала характеризуется хорошей и рациональной организацией. В этом первая, но отнюдь не единственная, заслуга синдиката «Саламандра»; вместе с тем следует признать, что наука, филантропия, просвещение, печать и другие факторы также немало содействовали необычайному распространению и прогрессу саламандр. Но все же именно синдикат «Саламандра», так сказать, день за днем открывал перед саламандрами все новые и новые берега и страны, хотя ему и приходилось преодолевать много препят-

---

В ближайшее время предстоит углубление и расширение Панамского канала, очистка гавани в Гуаякиле и очистка Торресова пролива от мелей и рифов. Одни только эти работы, по приблизительному подсчету, потребуют удаления девяти миллиардов кубических метров твердых пород. Сооружение массивных авиационных островов на линии Мадера — Бермуды должно начаться предстоящей весной. На Марианских островах, находящихся под японский мандатом, продолжается засыпка моря землей; пока таким путем получено восемьсот сорок тысяч акров новой, так называемой легкой суши между островами Тиниан и Сайпан. В связи с растущим спросом цены на саламандр держатся очень твердо; котировка: «лидинг» — 61, «тим» — 620. Запасы имеются достаточные.

ствий, тормозящих эту экспансию[4]. По квартальным обзорам синдиката «Саламандра» можно проследить, как постепенно заселяются саламандрами индийские и китайские порты; как эта колонизация захватывает африканское побережье и делает прыжок на американский континент, причем в Мексиканском заливе создаются новые, самые усовершенствованные инкубаторы; как наряду с этими широкими волнами колонизации в разные места посылаются небольшие группы саламандр, играющие роль авангарда будущего экспорта. Так, например, синдикат «Саламандра» послал в подарок голландскому Waterstaat'у тысячу первоклассных саламандр; городу Марселю для очистки Старой Гавани он подарил шестьсот саламандр, и тому подобное. Словом, в отличие от заселения земного шара людьми, распространение саламандр происходило планомерно и в крупном масштабе; если бы это дело было предоставлено природе, то оно, наверное, растянулось бы на сотни и тысячи лет; в самом деле, природа никогда не была такой предприимчивой и расчетливой, как человеческая промышленность и торговля. Спрос на саламандр оказал, по-видимому, влияние и на их плодовитость; средняя производительность самки повысилась до ста пятидесяти головастиков в год. Некоторая регулярная убыль саламандр, причиной которой были

[4] О такого рода препятствиях свидетельствует, например, следующее сообщение, вырезанное из газеты без указания даты:

АНГЛИЯ ЗАКРЫЛА СВОИ ГРАНИЦЫ ДЛЯ САЛАМАНДР

(Рейтер) На вопрос члена палаты общин, мистера Дж. Лидса, сэр Сэмюэль Мендевилль ответил сегодня, что правительство его величества закрыло Суэцкий канал для каких бы то ни было перевозок саламандр; правительство не намерено допускать, чтобы хотя бы одна-единственная саламандра работала на побережье или в территориальных водах Британских островов. Мотивом этих мероприятий, заявил сэр Сэмюэль, является, с одной стороны, безопасность британских берегов, а с другой — старые законы и договоры о запрещении работорговли.

Отвечая на вопрос члена парламента, мистера Б. Рассела, сэр Сэмюэль сказал, что это положение не распространяется на британские доминионы и колонии.

акулы, прекратилась почти совершенно, когда саламандр вооружили подводными револьверами и пулями дум-дум для защиты от хищных рыб [5].

Распространение саламандр не всюду шло одинаково гладко. Кое-где консервативные круги резко протестовали против ввоза новой рабочей силы, усматривая в этом недобросовестную конкуренцию с человеческим трудом [6].

Некоторые высказывали опасения, что саламандры, питающиеся мелкими разновидностями морской фауны, создадут угрозу для рыболовства. Другие утверждали, что своими подводными норами и ходами саламандры подрывают берега и острова. По правде сказать, немало было людей, прямо предостерегавших против использования саламандр; по так уж повелось испокон веков, что всякое новшество, все, что служит прогрессу, наталкивается на

---

[5] Для стой цели применялись почти повсюду револьверы, изобретенные инженером Мирно Шафранеком и изготовлявшиеся на оружейном заводе в Брно.

[6] Сошлемся на следующее газетное сообщение:

ЗАБАСТОВОЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ В АВСТРАЛИИ

(Гавас). Лидер австралийских тред-юнионов Гарри Мак-Намара объявляет всеобщую забастовку портовых и транспортных рабочих, а также рабочих электростанций и других предприятий. Тред-юнионы требуют, чтобы ввоз рабочих саламандр в Австралию был строго лимитирован в соответствии с законами об иммиграции. Наоборот, австралийские фермеры добиваются, чтобы саламандр ввозили без ограничений, так как в связи со спросом на корм для саламандр значительно повышается сбыт местной кукурузы и животных жиров, в частности бараньего сала. Правительство старается добиться компромисса. Синдикат «Саламандра» предлагает уплачивать тред-юнионам по шести шиллингов за каждую ввезенную саламандру. Правительство готово гарантировать, что саламандры будут заняты на подводных работах и что (в интересах нравственности) они не будут высовываться из воды более чем на сорок сантиметров, то есть более чем по грудь. Тред-юнионы настаивают на двенадцати сантиметрах и требуют за каждую саламандру по десяти шиллингов согласно существующему регистрационному тарифу. По-видимому, состоится соглашение при содействии государственного казначейства.

сопротивление и недоверие; так было с фабричными машинами, и то же самое повторилось с саламандрами.

В некоторых местах возникали недоразумения другого рода[7], но благодаря энергичному содействию мировой пе-

---

[7] См. следующий любопытный документ из коллекции пана Повондры:



Спасательная команда саламандр

САЛАМАНДРЫ СПАСЛИ 36 УТОПАЮЩИХ

(От нашего собственного корреспондента)

Мадрас, 3 апреля

Пароход линии «Индиан Стар» наскочил в мадрасском порту на лодку, перевозившую около сорока туземцев. Лодка тотчас пошла ко дну. Прежде чем успели снарядить полицейский катер, на помощь утопающим поспешили саламандры, занятые очисткой порта от наносов, и благополучно доставили на берег тридцать шесть человек. Одна из саламандр спасла трех женщин и двух детей. В награду за этот подвиг саламандры получили от местных властей письменную благодарность в непромокаемом футляре.

Однако туземное население крайне возмущено тем, что саламандрам было разрешено прикасаться к тонущим представителям высших каст. Туземцы считают саламандр «нечистыми» и «неприкасаемыми». В порту собралась толпа в несколько тысяч туземцев, требовавших изгнания саламандр из порта. Полиции удалось сохранить порядок; зарегистрировано всего лишь трое убитых и сто двадцать

чати, которая правильно оценила как грандиозные перспективы торговли саламандрами, так и связанные с нею доходы от крупных объявлений, внедрение саламандр в большинстве случаев было встречено с одобрением и живейшим интересом, а иногда даже с воодушевлением [8].

Торговля саламандрами сосредоточивалась главным образом в руках синдиката «Саламандра», который перевозил их на своих собственных, специально для этой цели построенных наливных судах. Центром торговли и своего

арестованных. К десяти часам вечера спокойствие было восстановлено. Саламандры продолжают работать.

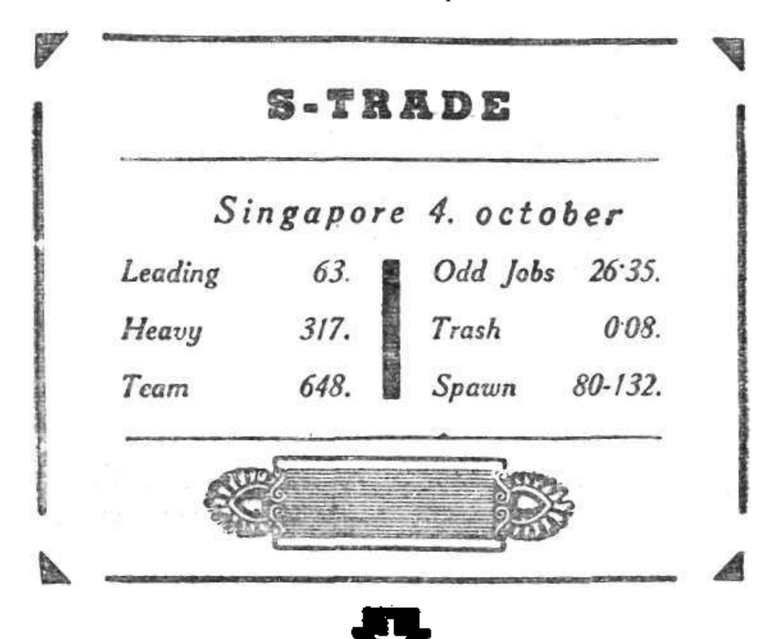
[8] См. следующую весьма любопытную вырезку, написанную к сожалению, на неизвестном языке и посему непереводимую:

Saht na kchri te Salaam Ander bwtat

Saht gwan t'lap ne Salaam Ander bwtati og t'cheni bechri ne Simbwana m'bengwe ogandi sûkh na moïmoï opwana Salaam Andersri m'oana gwen's. Og di limbw, og di bwtat na Salaam Ander kchri p'we ogandi p'we o'gwandi te ur maswali sûkh? Na, ne ur lingo t'Islamli kcher oganda Salaam Andrias sahti Bend op'tonga kçhri Simbwana mêdh, salaam!

рода биржей саламандр был «Саламандровый дом» в Сингапуре.

Приведем подробное и объективное описание этой торговли, помеченное: «E. w. 5 октября»:



S-TRADE

Singapore 4. october

Leading	63.	Odd Jobs	26·35.
Heavy	317.	Trash	0·08.
Team	648.	Spawn	80-132.

Читатель газет может ежедневно найти подобное сообщение в экономическом отделе своей газеты среди телеграмм о ценах на хлопок, олово или пшеницу. Вы, конечно, уже знаете, что означают эти загадочные цифры и слова? Ну да, это торговля саламандрами, или S-Trade. Но о том, как выглядит эта торговля в действительности, большинство читателей имеет довольно слабое понятие. Быть может, они представляют себе кишащий тысячами саламандр огромный базар, по которому расхаживают купцы в тропических шлемах или чалмах, рассматривают выставленный товар, чтобы наконец ткнуть пальцем в какую-нибудь хорошо сложенную, здоровую молодую саламандру со словами: «Давайте-ка мне эту. Сколько с меня?»

На самом деле торговля саламандрами выглядит совершенно по-иному. В сингапурском мраморном дворце S-Trade вы не увидите ни единой саламандры, но лишь проворных и элегантных

служащих в белых костюмах, принимающих заказы по телефону." «Да, сэр! Leading идет по шестьдесят три. Сколько? Двести штук? Да, сэр. Двадцать Heavy и сто восемьдесят Team. O'key, понимаю. Пароходом — за пять недель. Right? Thank you, sir!»[1] Весь дворец S-Trade звенит от телефонных разговоров; он похож скорее на какое-нибудь министерство или банк, чем на рынок; между тем это белое изысканное здание с ионическими колоннами вдоль фасада — более крупное мировое торжище, чем багдадский базар времен Гарун аль-Рашида.

Но вернемся к процитированному нами торговому бюллетеню с его коммерческим жаргоном.

Лидинг — это специально отобранные, интеллигентные, как правило, трехлетние саламандры, тщательно выдрессированные для исполнения, обязанностей надсмотрщиков и десятников в рабочих колоннах саламандр. Они продаются только поштучно, независимо от веса: в них ценится только интеллигентность. Сингапурские лидинги, говорящие на хорошем английском языке, считаются наилучшими и самыми надежными. Поштучно предлагаются к продаже и другие марки саламандр-десятников, например так называемые Капитаны, Инженеры, Malaian Chiefs[2], Foremanders[3] и т. д., но лидинги ценятся выше, чем кто бы то ни было. Сейчас цена на них колеблется около шестидесяти долларов за штуку.

Хэви — это тяжелые, атлетически сложенные, обычно двухлетние саламандры, весом от ста до ста двадцати фунтов. Они продаются только командами (так называемыми bodies), по шести штук в каждой. Они выдрессированы для самых тяжелых физических работ, как, например, ломка скал, выворачивание больших камней и т. д. Если в приведенном бюллетене стоит «Хэви — 317», то это значит, что за команду (body) из шести тяжелых саламандр платят триста семнадцать долларов. На каждую такую команду полагается, как правило, один лидинг в качестве десятника и надсмотрщика.

Тим — это обыкновенные рабочие саламандры, весом от восьмидесяти до ста фунтов, которых продают только дружинами («тимами») по двадцать штук; они предназначаются для массовых работ и применяются главным образом при землечерпательных работах, при сооружении насыпей или плотин и тому подобное. На каждый такой тим полагается один лидинг.

Одд-джобс — самостоятельная категория. Это саламандры, у которых по тем или иным причинам, — например, потому что

---

[1] Подходит? Благодарю вас, сэр! (*англ.*)
[2] Малайские старосты (*англ.*).
[3] Старшины (*англ.*).

они были выращены не на больших, специально оборудованных саламандровых фермах, — нет надлежащей специальной выучки. Это, строго говоря, полудикие, хотя нередко весьма одаренные саламандры. Их покупают поштучно или дюжинами и ими пользуются для разных вспомогательных или более мелких работ, на которые невыгодно посылать целые команды или дружины. Если лидинг, так сказать, элита среди саламандр, то одд-джобс можно сравнить с мелким пролетариатом. В последнее время их покупают по преимуществу как сырье, которое отдельные предприниматели сами дрессируют, сортируя его на лидинг, хэви, тим и трэш.

Трэш, или брак (отбросы, отходы), — это неполноценные, слабые или страдающие каким-нибудь физическим недостатком саламандры; их продают не поштучно и не определенными партиями, а лишь оптом, на вес — обычно по нескольку десятков тонн; килограмм живого веса стоит сейчас от семи до десяти центов. Собственно говоря, неизвестно, на что они годны и для каких целей их покупают — очевидно, для каких-нибудь более легких работ в воде: во избежание недоразумений напомним, что саламандры но съедобны для людей. Трэш покупают почти исключительно китайские перекупщики; куда именно они их отправляют — остается невыясненным.

Спаун — это просто-напросто саламандровый помет, точнее — головастики в возрасте до одного года. Их покупают сотнями, и они имеют очень хороший сбыт, главным образом благодаря своей дешевизне и тому, что их перевозка требует минимальных издержек; их обучают уже на месте, вплоть до того, когда они становятся пригодными к работе. Спаун перевозят в бочках, так как головастики не покидают воды, — в противоположность взрослым саламандрам, которым необходимо выходить из воды каждый день. Часто в спауне попадаются необычайно одаренные особи, которые стоят даже выше стандартизованного типа лидингов; это придает своеобразный интерес сделкам, касающимся спауна. Высоко одаренных саламандр продают потом по нескольку сот долларов за штуку; американский миллионер Деникер заплатил даже две тысячи долларов за саламандру, бегло говорящую на девяти языках, и отправил ее в Майями на специальном пароходе; перевозка сама по себе обошлась ему почти в двадцать тысяч долларов. В последнее время саламандровый помет покупают главным образом для так называемых саламандровых конюшен, в которых производится отбор и тренировка резвых спортивных саламандр; их запрягают — по три штуки — в плоскодонные лодки, построенные в виде раковин. Гонки саламандр, запряженных в раковины, сейчас в большой моде и являются любимейшим развлечением молодых американок

на Палм-Бич, в Гонолулу и на Кубе; их называют «гонки тритонов» или «регата Венеры». В легкой, разукрашенной раковине, скользящей по морской глади, стоит гонщица в чрезвычайно коротеньком и чрезвычайно роскошном купальном костюме, держа в руках шелковые вожжи саламандровой тройки; призом служит титул Венеры. Мистер Дж. С. Тинкер, прозванный «консервным королем», купил для своей дочери тройку гоночных саламандр — Посейдона, Хенгиста и Короля Эдуарда, заплатив за них свыше тридцати шести тысяч долларов. Но все это выходит уже за рамки настоящей S-Trade, которая ограничивается тем, что поставляет всему миру солидных лидингов, хэви и тимов.

*

Выше мы упоминали уже о саламандровых фермах. Пусть читатель не представляет себе огромных питомников и обнесенных оградой дворов; это — всего лишь несколько километров пустынного побережья, где разбросано с полдюжины домиков из гофрированного железа: один для управляющего, один для ветеринара, остальные — для персонала. Лишь во время отлива можно заметить, что с берега спускаются в море длинные плотины, разделяющие прибрежную полосу на несколько бассейнов: один для помета, другой для категории «лидинг» и т. д.; каждую категорию кормят и дрессируют отдельно. И то и другое делается ночью.

С наступлением сумерек саламандры вылезают из подводных пор на берег и собираются вокруг своих преподавателей, обычно отставных солдат. Первый урок — это урок языка; преподаватель произносит перед саламандрами разные слова, например: «копать», и наглядно объясняет их смысл. Потом он выстраивает их по четыре в ряд и учит маршировать; затем следует полчаса гимнастики и отдых в воде. После перерыва саламандр обучают обращению с разными инструментами и оружием, а затем в течение трех часов под наблюдением преподавателей они занимаются практикой, выполняя соответствующие подводные работы. По окончании занятий саламандры возвращаются в воду и получают саламандровые сухари, которые изготовляются главным образом из кукурузной муки и сала; лидингов и тяжелых саламандр подкармливают еще мясом. Лень и непослушание наказываются лишением пищи; телесных наказаний нет, впрочем, саламандры не очень чувствительны к физической боли. С восходом солнца на саламандровых фермах наступает мертвая тишина: люди отправляются спать, а саламандры исчезают в море.

Этот порядок нарушается только два раза в год. Один раз — в период спаривания, когда саламандр на две недели предостав-

ляют самим себе, а второй — когда на ферму прибывает наливное судно синдиката «Саламандра» и привозит управляющему приказы относительно того, сколько саламандр и каких категорий следует отгрузить. Погрузка производится ночью; судовой офицер, управляющий фермой и ветеринар садятся за освещенный лампой столик, а сторожа и команда-судна отрезают саламандрам путь к морю. Саламандры одна за другой подходят к столику, где их осматривают и решают, годны ли они к работе.

Отобранные саламандры влезают затем в шлюпки, которые отвозят их на судно. Они делают это по большей части добровольно, то есть подчиняясь обычному строгому приказанию; лишь иногда приходится применять легкие принудительные меры, как, например, связывание. Спаун, то есть помет, просто вылавливается неводом.

Столь же гуманно и гигиенично производится и перевозка саламандр на наливных судах. Через день в их резервуарах при помощи насоса меняется вода; кормят саламандр превосходно. Смертность во время перевозки едва достигает десяти процентов. По ходатайству Общества покровительства животным, на каждом наливном судне имеется капеллан, который следит, чтобы к саламандрам относились по-человечески, и каждую ночь обращается к ним с проповедью, внушая им почтение к людям, а также долг благодарности, повиновения и любви к их будущим хозяевам, не имеющим других помыслов, кроме желания отечески заботиться об их благополучии. Надо сказать, что саламандрам довольно трудно растолковывать, что такое «отеческие заботы», так как понятие отцовства им незнакомо. Среди более развитых саламандр для судовых капелланов укоренилось прозвище «Папа-Саламандра». Вполне оправдали себя также научно-образовательные фильмы, которые во время перевозки показывают саламандрам, с одной стороны, чудеса человеческой техники, а с другой — будущие задачи и обязанности саламандр.

Есть люди, которые расшифровывают название S-Trade (торговля саламандрами) как Slave-Trade, то есть работорговля. Ну, что же! Как объективные наблюдатели, мы можем сказать, что, если бы старая работорговля была так хорошо организована, так безупречна с гигиенической точки зрения, как теперешняя торговля саламандрами, мы могли бы только поздравить рабов. С более дорогими сортами саламандр обращаются, действительно, очень прилично и бережно — хотя бы уже потому, что капитан и команда судна отвечают своим жалованьем и наградными за жизнь вверенных им саламандр. Автор этой статьи сам был свидетелем того, как на наливном судне «СС14» самые бессердечные

моряки глубоко огорчились, когда в одном из резервуаров двести сорок первосортных саламандр заболели острым поносом. Они ходили смотреть на них чуть ли не со слезами на глазах и выражали свои истинно гуманные чувства в грубых внешне словах: «На кой черт сдалась нам эта падаль!»

Когда вывоз саламандр начал разрастаться, возникла, конечно, и «дикая» торговля; синдикат «Саламандра» не мог контролировать и эксплуатировать все те поселения саламандр, которые покойный капитан ван Тох рассеял по мелким отдаленным островам Микронезии, Меланезии и Полинезии, так что многие саламандровые бухты были предоставлены самим себе. В результате, наряду с рациональным разведением саламандр, значительные размеры приобрела также охота на диких саламандр, во многих отношениях напоминавшая прежний тюлений промысел. Этот промысел был до некоторой степени нелегальный, но так как законодательства об охране саламандр не существовало, то в самом худшем случае охотников преследовали лишь за то, что они без надлежащего разрешения вступили на территорию, находящуюся под суверенитетом того или иного государства. Но саламандры невероятно расплодились на этих островах и временами причиняли ущерб полям и огородам туземцев, а потому «дикие» облавы на саламандр молчаливо рассматривались как естественное регулирование численного роста саламандр.

Вот относящееся к тому времени описание облавы, сделанное очевидцем.

КОРСАРЫ XX ВЕКА
Э.Э.К.

Было одиннадцать часов вечера, когда капитан нашего парохода приказал спустить национальный флаг и приготовить шлюпки. Ночь была лунная, подернутая серебристым туманом. Мы гребли к небольшому островку; это был, кажется, остров Гарднера из группы Фениксовых островов. В такие лунные ночи саламандры выходят на берег и танцуют; вы можете подойти к ним вплотную — они не заметят вас, — до такой степени они увлечены своей массовой немой пляской. Нас было двадцать человек; мы вышли на берег и с веслами в руках, двигаясь рассыпным строем, начали оцеплять полукругом темную толпу, копошившуюся на пляже, залитом молочным светом луны.

Трудно передать впечатление, производимое пляской саламандр. Около трехсот животных сидят на задних ногах, образуя правильный круг и повернувшись лицом к центру; внутри круг пустой. Саламандры не шевелятся: они словно оцепенели. Это похоже на частокол вокруг какого-то таинственного алтаря; но здесь нет ни алтаря, ни бога. Вдруг одно из животных зачмокает: «Тс-тс-тс», — и начнет волнообразно извиваться верхней частью туловища; это колебательное движение передается по кругу дальше, дальше, и через несколько секунд все саламандры, не двигаясь с места, извиваются все быстрей и быстрей, без единого звука, все фантастичнее, с каким-то бешеным упоением. Минут через пятнадцать какая-нибудь из саламандр ослабевает; за ней другая, третья: качнувшись еще несколько раз, они застывают в изнеможении; и снова все сидят неподвижно, как статуи. Через некоторое время где-нибудь опять тихо прозвучит: «Тс-тс-тс», — опять какая-нибудь саламандра начнет извиваться, и ее танец сразу передается всему кругу. Я знаю, мое описание кажется очень сухим, но прибавьте к этому молочно-белый свет луны и протяжный ритмический шум прибоя; во всем этом было нечто непреодолимо магическое, я бы сказал — колдовское. Я остановился, горло у меня сжалось от невольного чувства то ли жути, то ли восторга. «Шевели ногами, дырку простоишь!» — крикнул мне ближайший сосед.

Мы сузили свое кольцо вокруг танцующих животных. Люди держали весла наперевес и разговаривали вполголоса — скорее, потому, что стояла ночь, чем из опасения, что саламандры могут их услышать. «К центру, бегом!» — скомандовал офицер. Мы бросились на извивающийся круг; весла с глухими ударами обрушились на спины саламандр. Только теперь саламандры в испуге очнулись и отпрянули к центру; некоторые пытались проскользнуть к морю, но, получив удар веслом, отлетали назад, вопя от боли и страха. Мы загоняли их в середину; места было мало, и они теснились, давя друг друга, как сельди в бочке, — их копошилось тут несколько слоев. Десять человек сдерживали их в ограде из весел, а остальные тыкали и колотили веслами тех, кто пытался проползти под оградой или прорваться через нее. Это был сплошной клубок черного, извивающегося, смятенно квакающего мяса, на которое сыпались глухие удары. Но вот между двумя веслами открылся проход; одна из саламандр проскользнула туда и была оглушена ударом дубинки по затылку; за ней другая, третья, пока их не набралось около двадцати. «Замкнуть!» — скомандовал офицер, и проход между веслами закрылся. Булли Бич и мулат Динго схватили оглушенных саламандр за ноги (каждый по две) и поволокли

по песку к шлюпке, словно мешки. Случалось порой, что тело саламандры застревало между камнями; тогда матросы дергали ожесточенно и резко, и нога отрывалась. «Не беда, — бурчал старый Майкл, стоявший возле меня, — новая отрастет». Когда оглушенных саламандр побросали в шлюпку, офицер сухо скомандовал: «Следующих!» И снова на затылки саламандр посыпались удары дубинки. Этот офицер по фамилии Беллами был образованный и скромный человек, превосходный шахматист. Но это была охота, или, точнее, промысел; какие же тут могли быть церемонии! Так мы поймали свыше двухсот саламандр; около семидесяти остались на месте: они были, по-видимому, мертвы, и не стоило перетаскивать их.

На пароходе пойманных саламандр швырнули в резервуар. Наш пароход был старым нефтеналивным судном; плохо вычищенные резервуары воняли керосином, и вода в них была подернута радужной маслянистой пленкой; только крышку резервуара удалили, чтобы открыть доступ воздуху. Когда туда набросали саламандр, это выглядело как отвратительная густая похлебка с лапшой; кое-где «лапша» слабо и жалко шевелилась, но в этот день ее оставили в покое, чтобы саламандры могли прийти в себя. Назавтра явились четыре человека с длинными шестами и стали тыкать ими в «похлебку» (профессионалы в самом деле называют это «супом»); они перемешивали тела, густо набившие резервуар, и высматривали те из них, которые уже не шевелились или у которых мясо отваливалось от костей; они подцепляли их длинными крюками и вытаскивали из резервуара. «Похлебка очищена?» — спросил потом капитан. «Да, сэр!» — «Подлейте туда в о д ы». — «Есть, сэр». Такую очистку надо было повторять ежедневно; и каждый раз приходилось выбрасывать в море от шести до десяти штук «испорченного товара», как его называют здесь; наш пароход неотступно сопровождала целая свита огромных, откормленных на славу акул. От резервуара несло ужасающим зловонием; хотя вода периодически менялась, она была желтого цвета, полна нечистот и размокших сухарей; в ней вяло шевелились или тупо лежали черные, тяжело дышащие тела. «Ну, этим еще повезло, — твердил старый Майкл. — Я видел пароход, на котором их перевозили в железных баках из-под бензола, они там все подохли».

Через шесть дней мы запасались новым товаром на острове Наномеа.

*

Вот как выглядит торговля саламандрами; правда, это нелегальная торговля, точнее говоря — современное корсарство, которое расцвело чуть ли не в одну ночь. Утверждают, что почти чет-

верть всех продаваемых и покупаемых саламандр добыта таким путем. Есть поселения саламандр, где синдикату «Саламандра» невыгодно содержать постоянные фермы; а на небольших тихоокеанских островах саламандр развелось столько, что они делаются прямо обузой; туземцы не любят их и уверяют, что своими норами и проходами они просверливают целые острова; вот почему и колониальные власти, и сам синдикат «Саламандра» смотрят сквозь пальцы на разбойничьи набеги на саламандр. Считают, что около четырехсот корсарских судов занимаются исключительно похищением саламандр. Наряду с мелкими предпринимателями этим современным корсарством занимаются и большие пароходные компании, крупнейшая из которых — Тихоокеанская торговая компания; ее правление находится в Дублине, а президентом состоит достоуважаемый мистер Чарльз Б. Гарриман. Год назад положение было еще хуже; китайский бандит Тенг, располагавший тремя судами, нападал прямо на фермы синдиката «Саламандра» и в случае сопротивления не стеснялся убивать весь служебный персонал; в ноябре прошлого года Тенг со своей флотилией был потоплен американской канонеркой «Миннетонка» у острова Мидуэй. С тех пор саламандровое корсарство приобрело менее дикие формы и стало неуклонно расширяться, после того как были достигнуты известные соглашения, при соблюдении которых оно негласно допускалось: так, например, при нападении на побережье, принадлежащее другому государству, следовало спускать национальный флаг; под прикрытием саламандрового корсарства запрещалось производить ввоз и вывоз других товаров; захваченных таким способом саламандр нельзя было продавать по демпинговым ценам, и при торговых сделках они должны были считаться второсортными.

В нелегальной торговле саламандры идут по цене от двадцати до двадцати двух долларов за штуку; они считаются хотя и более низкосортной, зато весьма выносливой разновидностью, хотя бы уже потому, что выдержали столь жестокое обращение на корсарских пароходах. Считается, что после таких перевозок в живых остается от двадцати пяти до тридцати процентов похищенных саламандр; но зато уж эти могут перенести что угодно. На коммерческом жаргоне их называют «Макароны», и в последнее время сведения о них появляются в регулярных торговых бюллетенях.

*

Через два месяца после описанной облавы я сидел с Беллами за шахматной доской в вестибюле «Отель де Франс» в Сайгоне; я уже не был, конечно, наемным матросом.

— Слушайте, Беллами, — сказал я ему, — вы порядочный человек и, как говорится, джентльмен. Неужели вам не противно служить делу, которое по существу не что иное, как гнуснейшая работорговля?

Беллами пожал плечами.

— Саламандры — это саламандры, — уклончиво проворчал он.

— Двести лет тому назад говорили, что негры — это негры.

— А разве это было не так? — ответил Беллами. — Шах!

Эту партию я проиграл. Меня вдруг охватило такое чувство, будто каждый ход на шахматной доске не нов и был уже когда-то кем-то сыгран. Быть может, и история наша была уже кем-то разыграна, а мы просто переставляем свои фигуры, делая те же ходы, и стремимся к тем же поражениям, какие уже были когда-то. Возможно, что именно такой же порядочный и скромный Беллами ловил когда-то негров на берегу Слоновой Кости и перевозил их на Гаити или в Луизиану, предоставляя им подыхать в трюме. И он не думал сделать ничего плохого, этот Беллами. Беллами никогда не хочет ничего плохого. Поэтому он неисправим.

— Черные проиграли! — удовлетворенно сказал Беллами и встал, потягиваясь всем телом.

Помимо хорошо организованной торговли саламандрами и широкой пропаганды в печати, величайшую роль в распространении саламандр сыграла грандиозная волна технического прожектерства, захлестнувшая в ту эпоху весь мир. Г. Х. Бонди справедливо предвидел, что человеческий ум отныне начнет работать в масштабах новых материков и новых Атлантид. В течение всего Века Саламандр между представителями технической мысли продолжался оживленный и плодотворный спор о том, надо ли сооружать тяжелые континенты с железобетонными берегами или легкую сушу в виде насыпи из морского песка. Почти каждый день появлялись новые гигантские проекты. Итальянские инженеры предлагали, с одной стороны, построить «Великую Италию», которая охватывала бы почти все пространство Средиземного моря (между Триполи, Балеарскими и Додеканесскими островами), а с другой — создать на восток от Итальянского Сомали новый континент, так называемую Лемурию, которая со временем покрыла бы весь Индийский океан; и действительно, с помощью целой армии саламандр против сомалийской гавани Могадиш был насыпан островок площадью в тринадцать с половиной акров. Япония разрабо-

тала и отчасти осуществила проект устройства нового большого острова на месте Марианских островов, а также собиралась соединить Каролинские и Маршальские острова в два больших острова, заранее наименованные «Новый Ниппон»; на каждом из них предполагалось даже устроить искусственный вулкан, который напоминал бы будущим островитянам священную Фудзияму. Ходили также слухи, будто немецкие инженеры тайно строят в Саргассовом море тяжелый бетонный материк, то есть будущую Атлантиду, которая могла бы угрожать Французской Западной Африке; но, по-видимому, они успели только заложить фундамент. В Голландии приступили к осушению Зеландии; Франция соединила Гранд-Тер, Бас-Тер и Ла-Дезирад на Гваделупе в один благодатный остров. Соединенные Штаты начали сооружать на 37-м меридиане первый авиационный остров (двухъярусный, с грандиозным отелем, спортивным стадионом, луна-парком и кинотеатром на пять тысяч человек). Словом, казалось, пали последние преграды, которыми мировой океан ограничивал размах человеческой деятельности; настала радостная эпоха потрясающих технических замыслов: человек осознал, что только теперь он становится Хозяином Мира — благодаря саламандрам, которые вышли на мировую арену в нужный момент и, так сказать, по исторической необходимости. Спора нет — саламандры не могли бы распространиться в таких невиданных масштабах, если бы наш век, век техники, не подготовил для них столько рабочих задач и такого обширного поля для постоянного их использования. Будущее Рабочих Моря, казалось, было теперь обеспечено на долгие столетия.

Видную роль в развитии торговли саламандрами сыграла также наука, которая очень скоро обратила свое внимание на изучение как физиологии, так и психологии саламандр.

Приводим здесь отчет о научном конгрессе в Париже, написанный очевидцем.

«PREMIER CONGRES D'URODÈLES»

Его называют для краткости «Конгресс хвостатых земноводных», хотя его официальное название несколько длиннее, а именно — «Первый международный конгресс зоологов, посвященный исследованию психологии хвостатых земноводных». Но настоящий парижанин не любит трехсаженных названий; ученые

профессора, заседающие в аудитории Сорбонны, для него просто «messieurs les Urodèles», «господа хвостатые земноводные», — и точка. Или еще более кратко и непочтительно — «ces zoos-là» [1].

Мы отправились взглянуть на ces zoos-là скорее из любопытства, чем по долгу репортерской службы. Из любопытства, возбуждаемого, конечно, не университетскими знаменитостями, по большей части очкастыми и пожилыми, но теми... созданиями (почему мы никак не решаемся сказать «животными»?), о которых написано уже так много, начиная от ученых фолиантов и кончая бульварными песенками, и которые, по словам одних, не что иное, как газетная выдумка, а по словам других — существа, во многих отношениях более одаренные, чем сам царь природы и венец творения, как еще и сейчас (после мировой войны и других исторических событий) именует себя человек. Я рассчитывал, что прославленные господа участники конгресса, посвященного психологическому исследованию хвостатых земноводных, дадут нам, профанам, точный и окончательный ответ на вопрос, как обстоит дело с пресловутой понятливостью Andrias'a Scheuchzeri; что они скажут нам: да, это существо разумное или, по крайней мере, столь же восприимчивое к цивилизации, как вы и я; а поэтому на будущее время с ним надо считаться так же, как должны мы считаться с будущностью человеческих рас, зачислявшихся некогда в категории диких и примитивных... Сообщаю, что ни такого ответа, ни даже такого вопроса мы на конгрессе не слыхали; современная наука слишком... специализировалась для того, чтобы заниматься подобного рода проблемами.

Ну что же, займемся изучением того, что на языке науки называется душевной жизнью животных. Вон тот высокий господин с всклокоченной бородой чернокнижника, который сейчас свирепствует на кафедре, — это знаменитый профессор Дюбоск; по-видимому, он громит какую-то превратную теорию какого-то уважаемого коллеги, но в этой части его доклада мы не в состоянии разобраться как следует. Лишь немного спустя нам становится понятным, что свирепый чернокнижник говорит о цветовых ощущениях у Andrias'a и о его способности различать те или иные оттенки цвета. Не знаю, правильно ли я понял, но у меня осталось впечатление, что Andrias, по-видимому, немного страдает дальтонизмом, зато профессор Дюбоск, должно быть, страшно близорук, судя по тому, как он подносил свои листочки к толстым, ярко поблескивающим стеклам очков.

---

[1] Сокращенное вместо ces zoologues — эти зоологи (*франц.*).

После него говорил улыбающийся японский ученый, д-р Окагава, что-то о реактивной дуге и о признаках, которые наблюдаются, если перерезать какой-то чувствительный нерв в мозгу Andrias'a; потом он рассказал, что делает Andrias, если разрушить у него орган, соответствующий ушному лабиринту. Затем профессор Реман подробно объяснил, как Andrias реагирует на раздражение электрическим током. Это вызвало ожесточенный спор между ним и профессором Брукнером. C'est un type [1] этот профессор Брукнер: маленький, злобный, суетливый до трагического; помимо прочего, он утверждал, что Andrias снабжен столь же несовершенными органами чувств, как и человек, и столь же беден инстинктами; с чисто биологической точки зрения, он точно такое же вырождающееся животное, как и человек, и, подобно ему, старается возместить свою биологическую неполноценность с помощью того, что мы называем интеллектом.

Однако остальные специалисты, как кажется, не принимали профессора Брукнера всерьез — вероятно, потому, что он не перерезывал чувствительных нервов и не посылал в мозг Andrias'a электрических зарядов. После Брукнера профессор ван Диттен тихим, почти благоговейным голосом описывал, какие расстройства появляются у Andrias'a, если удалить у него правую височную долю головного мозга или затылочную извилину в левом мозговом полушарии. Затем американский профессор Девврайнт сделал доклад...

Виноват, честное слово, я не знаю, о чем он делал доклад, так как в этот момент мне начала сверлить голову мысль о том, какие расстройства появились бы у профессора Девврайнта, если бы у него удалили правую височную долю головного мозга; как реагировал бы улыбающийся д-р Окагава, если бы его раздражали электрическим током, и как вел бы себя профессор Реман, если бы кто-нибудь разрушил у него ушной лабиринт. Я почувствовал также, что не совсем уверен насчет того, как обстоит у меня дело со способностью различать цвета или с фактором t в моих моторных реакциях. Меня мучило сомнение, имеем ли мы право (в строго научном смысле) говорить о душевной жизни нас самих (то есть людей), пока мы не выпотрошили друг у друга различные доли головного мозга и не перерезали один другому чувствительные нервы. Строго говоря, чтобы взаимно изучить нашу душевную жизнь, нам следовало бы наброситься друг на друга со скальпелем в руках. Что касается меня, то я готов был в интересах науки разбить очки профессора Дюбоска или пустить электрический заряд

[1] Любопытный тип (*франц.*).

в лысину профессора ван Диттена, чтобы потом опубликовать статью о том, как они на это реагировали. По правде сказать, я могу очень живо представить себе это. Менее живо я представляю себе, что делалось при подобных опытах в душе Andrias'a; но я думаю, что это — невероятно терпеливое и добродушное создание. Ведь пи одна из выступивших с докладом знаменитостей не сообщала, чтоб бедняга Andrias Scheuchzeri когда-нибудь пришел в ярость.

Не сомневаюсь, что Первый конгресс хвостатых земноводных — замечательный успех научной мысли; но как только у меня выберется свободный день, я отправляюсь в Jardin des Plantes [1], прямехонько к бассейну Andrias'a Scheuchzeri и потихоньку скажу ему:

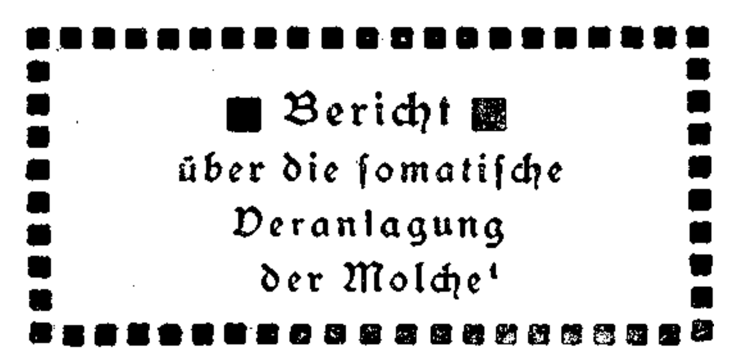
— Слушай, саламандра, если когда-нибудь придет твой день, не вздумай научно исследовать душевную жизнь людей!

Благодаря этим научным исследованиям саламандр перестали считать каким-то чудом; под трезвым светом науки саламандры в значительной мере утратили свой первоначальный ореол исключительности и необычайности; в качестве объекта психологических испытаний они проявили весьма средние и неинтересные свойства; на основании научных выводов их высокую одаренность отнесли к области легенд. Наука открыла Нормальную Саламандру, которая оказалась скучным и довольно ограниченным созданием. Только газеты все еще отыскивали время от времени какую-нибудь Чудо-Саламандру, которая умела множить в уме пятизначные числа, но и это перестало тешить публику, особенно когда было доказано, что при надлежащей тренировке этому может научиться и обыкновенный человек. Словом, люди начали видеть в саламандрах нечто столь же обыденное, как арифмометр или какой-нибудь автомат; саламандры перестали быть таинственными созданиями, вынырнувшими из неведомых глубин, неизвестно для чего и почему. К тому же люди никогда не считают таинственным то, что служит им и приносит пользу, но только то, что грозит им опасностью или причиняет вред; и так как саламандры оказались существами в высшей мере и во многих отношениях полезными, то на них теперь смотрели просто как на составную часть рационального будничного порядка вещей.

---

[1] Ботанический и зоологический сад (*франц.*).

Изучением возможностей использования саламандр занимался, в частности, гамбургский исследователь Вурман; из его различных статей по этому вопросу приводим в сокращенном виде



Эксперименты с тихоокеанской Исполинской саламандрой (Andrias Scheuchzeri Tschudi), которые я производил в своей гамбургской лаборатории, преследовали точно определенные цели: установить степень сопротивляемости саламандр по отношению к перемене среды и к другим внешним воздействиям и тем самым выяснить их практическую применимость в различных географических зонах и при различных условиях.

Первая серия экспериментов должна была установить, как долго может выдержать саламандра пребывание вне воды. Подопытные животные были помещены в сухих бочках при температуре в 40—50° С. Через несколько часов у них наблюдался очевидный упадок сил, но после обрызгивания водой они снова оживали. По прошествии двадцати четырех часов они лежали без движения; шевелились только веки; пульс был замедленный, все физиологические процессы снизились до минимума. Животные явно страдали, малейшее движение стоило им огромного труда.

Через три дня наступает состояние каталептического оцепенения (ксероз); животные не реагируют, даже когда их прижигают при помощи электрокутора. При повышении влажности воздуха они начинают подавать некоторые признаки жизни (закрывают глаза, когда на них направляют яркий свет, и т. п.). Если такую высушенную саламандру по прошествии семи дней вновь помещали в воду, то через продолжительное время она оживала;

---

[1] Сообщение о соматических предрасположениях саламандр (*нем.*).

при более длительном высушивании погибало большинство подопытных животных. Саламандры, выставленные под прямые лучи солнца, гибнут уже через несколько часов.

Других подопытных животных заставили вертеть вал в темноте в очень сухой атмосфере. Через три часа их производительность стала падать, но вновь поднялась после обильного обрызгивания. При часто повторяемом, обрызгивании животные могли вертеть вал в течение семнадцати, двадцати, а в одном случае — двадцати шести часов без перерыва, тогда как человек, над которым производился контрольный эксперимент, был в значительной мере обессилен этой механической работой уже через пять часов. Из этих экспериментов мы можем заключить, что саламандры вполне пригодны и для работ на суше, но при соблюдении двух условий: не выставлять их прямо на солнце и периодически обрызгивать водой всю поверхность их тела.

Вторая серия экспериментов касалась сопротивляемости саламандр — животных тропических областей — по отношению к холоду. При быстром охлаждении воды они погибали от катара кишок; но при постепенной акклиматизации они легко привыкали к более холодной среде; через восемь месяцев они сохраняли бодрость даже при температуре воды 7° C, если в их пище содержалось больше жиров (от ста пятидесяти до двухсот граммов в день). Если температура воды опускалась ниже 5° C, они впадали в оцепенение от замерзания (гелоз); в этом состоянии их можно было заморозить в глыбе льда и держать так в течение нескольких месяцев; когда же лед таял и температура воды поднималась выше 5° C, они начинали опять подавать признаки жизни, а при 7—10° C принимались оживленно искать пищу. Отсюда видно, что саламандры могут прекрасно приспособиться к жизненным условиям в нашем климатическом поясе вплоть до северной Норвегии и Исландии: Для применения саламандр в полярных условиях потребуются дальнейшие опыты.

В противоположность этому, значительную чувствительность проявляют саламандры по отношению к химическим примесям в воде; при опытах с весьма слабым щелочным раствором, со сточными водами промышленных предприятий, с дубильными веществами и т. п. у саламандр лоскутами отпадала кожа, и подопытные животные погибали, как если бы они были лишены жабр. Следовательно, в наших реках саламандр использовать нельзя.

При следующей серии экспериментов нам удалось установить, сколько времени саламандры могут выдержать без пищи. Они могут голодать по три недели и больше, и это не сказывается ни в чем, кроме появления известной вялости. Одну подопытную

саламандру я заставил голодать около шести месяцев; последние три месяца она непрерывно спала без всякого движения; когда я потом бросил ей в чан рубленую печенку, то она была так слаба, что не реагировала на пищу, и пришлось прибегнуть к искусственному питанию. Через несколько дней она ела уже нормально и ее можно было использовать для дальнейших экспериментов.

Последняя серия экспериментов касалась регенеративной способности саламандр. Если отрубить у саламандры хвост, то через две недели у нее отрастет новый; с одной саламандрой мы семь раз повторяли этот эксперимент, и всегда с одинаковым результатом. Точно так же у саламандр вновь отрастают отрубленные ноги. У одного подопытного животного мы ампутировали все четыре конечности и хвост; через тридцать дней все опять было в полном порядке. Если сломать у саламандры берцовую или плечевую кость, то у нее отпадает вся надломленная конечность и взамен отрастает новая. Точно так же развивается новый глаз на месте удаленного и новый язык; интересно, что саламандра, у которой я вырезал язык, разучилась говорить и должна была учиться сначала. Если ампутировать у саламандры голову или перерезать ей туловище где-нибудь между шеей и тазом, то животное издыхает. Наоборот, можно удалить у саламандры желудок, часть кишок, две трети печени и другие органы без нарушения ее жизненных функций; можно сказать, что почти полностью выпотрошенная саламандра все еще сохраняет жизнеспособность. Ни одно другое животное не обладает подобной сопротивляемостью по отношению к какому бы то ни было ранению, как саламандра. В связи с этим она могла бы быть первоклассным, почти неуничтожимым военным животным; к сожалению, этому препятствует ее миролюбивый характер и отсутствие у нее естественного оружия.

Наряду с описанными экспериментами мой ассистент д-р Вальтер Хинкель исследовал возможности использования саламандр в качестве полезного сырья. В частности, он выяснил, что в организме саламандр содержится необычайно высокий процент йода, и фосфора; не исключено, что в случае необходимости можно было бы добывать из них эти ценные элементы промышленным способом. Кожа саламандр — сама по себе плохая, но ее можно размолоть и потом спрессовать под высоким давлением; полученная таким образом искусственная кожа легка, достаточно прочна и могла бы служить заменой бычьей коже. Саламандровый жир несъедобен из-за отвратительного вкуса, но годится в качестве сырья для технических смазочных масел, так как замерзает лишь при очень низких температурах. Точно так же и мясо саламандр было при-

знано несъедобным и даже ядовитым; при употреблении в сыром виде оно вызывает острые боли, рвоту и галлюцинации. После многих опытов, которые д-р Хинкель производил на самом себе, он выяснил, что эти вредные последствия отпадают, если ошпарить нарезанное мясо кипятком (подобно тому, как это делается с некоторыми видами мухоморов) и после основательного промывания положить его на двадцать четыре часа в слабый раствор марганцевого калия. Будучи потом приготовлено в вареном или тушеном виде, оно имеет вкус плохой говядины.

Мы съели в таком виде саламандру по кличке Ганс; это было умное и развитое животное, отличавшееся большими способностями к научной работе; оно работало в отделении д-ра Хинкеля в качестве лаборанта, и ему можно было доверять самые тонкие химические анализы. Мы подолгу беседовали с ним в свободные вечера, забавляясь его ненасытной любознательностью. К сожалению, нам пришлось расстаться с нашим Гансом, так как он ослеп после моих экспериментов с трепанацией черепа. Мясо у него было темное и ноздреватое, но не вызвало никаких неприятных последствий. Не подлежит сомнению, что в военное время саламандровое мясо может служить желательной и дешевой заменой говядины.

В конце концов вполне естественно, что, когда на свете развелось несколько сот миллионов саламандр, они перестали быть сенсацией; тот интерес, который они возбуждали в публике, пока были какой-то новинкой, доживал свои последние дни лишь в киногротесках («Салли и Анди, две добрые саламандры») и на эстрадах кабаре, где особенно безголосые куплетисты и шансонетки выступали в неотразимо комической роли саламандр, подражая их скрипучему выговору и коверкая на все лады грамматику. Как только саламандры сделались широко распространенным повседневным явлением, изменилась, так сказать, их проблематика [9]. Итак, великая сенсацион-

---

[9] Характерные материалы дает в этом отношении организованная газетой «Дейли стар» анкета на тему «Есть ли у саламандр душа?». Мы процитируем из ответа на эту анкету (впрочем, без ручательства за подлинность) изречения нескольких видных лиц:

Dear sir! [1]

Вместе с моим другом достопочтенным Х. Б. Бертрамом я наблюдал саламандр в течение довольно долгого времени на строи-

---

[1] Дорогой сэр! (*англ.*)

ность саламандр довольно скоро потускнела; ее место заняло нечто другое, до известной степени более солидное, а именно — *Саламандровый Вопрос.* Застрельщиком Саламандрового Вопроса — как это не раз случалось в истории человеческого прогресса — оказалась женщина. Это была мадам Луиза Циммерман, директриса пансиона для девиц в Лозанне, которая с необычайной энергией и неостывающим пылом проповедовала по всему свету свой благородный лозунг: *«Дайте саламандрам систематическое школьное образование!»* Долгое время она наталкивалась на непонимание со стороны общественности, хотя неустанно подчеркивала, с одной стороны, прирожденную сообразительность саламандр, а с другой — ту опасность, которая может возникнуть для человеческой цивилизации, если саламандры не будут получать тщательного умственного и нравственного воспитания. «Подобно тому как римская культура погибла от вторжения

тельстве мола в Адене; два или три раза мы даже говорили о ними, но не нашли у них никакого намека на высшие чувства, то есть такие, как Честь, Вера, Патриотизм или Спортивный Дух. А что же еще, спрашивается, можем мы с полным правом назвать душою?

Truly yours colonel [1]

Джон У. Бриттон.

Я никогда не видел саламандры; но уверен, что у созданий, не имеющих своей музыки, нет и души.

Тосканини

Оставим в стороне вопрос о душе; но поскольку я мог наблюдать Andrias'a, я сказал бы, что у него нет индивидуальности; все они похожи друг на друга, все — одинаково старательные, одинаково способные... и одинаково невыразительные, — словом, в них воплощен подлинный идеал современной цивилизации, то есть Стандарт.

Андре д'Артуа

Души у них, безусловно, нет. В этом они сходны с человеком.

Ваш Бернард Шоу

Ваш вопрос поставил меня в тупик. Я знаю, например, что у моей китайской собачки Биби маленькая и притом прелестная

---

[1] Преданный вам полковник (*англ.*).

варваров, точно так же погибнет и наша цивилизация, если она окажется островом среди моря духовно угнетенных существ, которым закрыт доступ к высшим идеалам современного человечества», — так пророчески взывала она на шести тысячах трехстах пятидесяти семи лекциях, прочитанных ею во всех женских клубах Европы и Америки, а также в Японии, Китае, Турции и других местах. «Чтобы сохранить культуру, надо сделать ее всеобщим достоянием. Мы не можем спокойно пользоваться ни благами нашей цивилизации, ни плодами нашей культуры, пока вокруг нас прозябают миллионы и миллионы несчастных, униженных существ, искусственно содержащихся в животном состоянии. Подобно тому как лозунгом девятнадцатого столетия было Освобождение Женщины, так лозунгом нашего века должно быть: «Дайте саламандрам систематическое обучение!» И так далее, и так далее. Благодаря своему красноречию и невероят-

---

душа; точно так же и у моей персидской кошки Сиди Ханум есть душа, да еще какая гордая и жестокая! Но саламандры? Ну да, они очень одарены и интеллигентны, эти бедняжки: умеют говорить, считать и приносят огромную пользу. Но они ведь такие безобразные!

Ваша Мадлен Рош

Пусть саламандры, лишь бы не марксисты.

Курт Губер

Души у них нет. В противном случае мы были бы обязаны признать за ними право на экономическое равенство с человеком, что было бы абсурдом.

Генри Бонд

В них нет никакого sex appeal! А значит, нет и души.

Мэй Уэст

У них есть душа, как есть она у каждого создания и каждого растения, как есть она у всего живущего. Велико таинство жизни.

Сандрабхарата Нат

У них любопытная техника и стиль плавания: мы можем многому у них научиться, в частности, при плавании на длинные дистанции.

Тони Вайссмюллер

ному упорству мадам Луиза Циммерман сумела мобилизовать женщин всего мира и собрала достаточные средства для того, чтобы учредить в Болье (возле Ниццы) первую гимназию для саламандр, где помет саламандр, работающих в Марселе и Тулоне, обучался французскому языку и литературе, риторике, светским манерам, математике и истории культуры[10]. Несколько меньший успех имела женская гимназия для саламандр в Ментоне, где препо-

[10] Подробнее см. об этом в книге «M-me Louise Zimmermann, sa vie, ses idées, son oeuvre»[1] (издательство «Алькан»). Приведем из этого труда благоговейные воспоминания саламандры, которая была одной из первых воспитанниц мадам Циммерман:

«Она читала нам басни Лафонтена, сидя возле нашего простого, но чистого и удобного бассейна; она, правда, страдала от сырости, но пренебрегала этим, всей душой отдаваясь своему педагогическому призванию. Она называла нас «mes petits Chinois»[2], потому, что мы, как и китайцы, не умели выговаривать звук «р». Но со временем она так к этому привыкла, что сама стала выговаривать свою фамилию «мадам Циммельман». Мы, головастики, обожали ее; малыши, которые еще не имели достаточно развитых легких и не могли покидать воду, плакали оттого, что не в состоянии были сопровождать ее во время прогулок по школьному саду. Она была так кротка и так ласкова, что, насколько я знаю, рассердилась только однажды: это было, когда наша молодая преподавательница истории в знойный летний день надела купальный костюм, вошла к нам в бассейн и, сидя по шею в воде, рассказывала нам о войнах за освобождение Нидерландов. Наша дорогая мадам Циммерман серьезно на нее рассердилась. «Сейчас же идите и вымойтесь, мадемуазель, идите, идите!» — кричала она со слезами на глазах. Для нас это был деликатный, но назидательный урок, давший нам понять, что мы ведь все-таки не люди; впоследствии мы были благодарны нашей духовной матери за то, что она разъяснила нам это в такой твердой и вместе с тем тактичной форме.

Если мы хорошо учились, она читала нам в награду стихи современных авторов, как, например, Франсуа Коппе. «Правда, это *слишком* современно, — говорила она, — но в конце концов теперь и это необходимо для хорошего образования». По окончании учебного года был устроен публичный акт, на который пригласили господина префекта из Ниццы, а также других представителей адми-

[1] «Мадам Луиза Циммерман, ее жизнь, идеи и деятельность» (*франц.*).
[2] мои китайчата (*франц.*).

давание основных предметов — музыки, диетической кухни и тонкого рукоделия (мадам Циммерман настаивала на этих предметах по соображениям главным образом педагогическим) — столкнулось с явным недостатком сообразительности, а иногда и прямо с упорным невниманием со стороны юных гимназисток-саламандр. В противоположность этому, первые публичные экзамены молодых саламандр мужского пола прошли с таким поразительным успехом, что после этого (стараниями Общества покровительства животным) был учрежден Морской политехникум для саламандр в Каннах и Саламандровый университет в Марселе; именно здесь саламандра впервые получила степень доктора прав.

Отныне вопрос воспитания саламандр вступил на путь быстрого и нормального развития. Прогрессивные педагоги выдвинули против образцовых Écoles Zimmermann (циммермановских школ) много серьезнейших возражений. В частности, они утверждали, что устарелые гуманитарные школы человеческой молодежи не годятся для воспитания подрастающих поколений саламандр; они решительно отвергали преподавание литературы и истории и рекомендовали уделять побольше места и времени прак-

---

нистрации и различных важных особ. Способных и наиболее успевающих учеников, у которых уже были легкие, школьные сторожа обсушили и одели в нечто вроде белых риз; потом, скрытые за тонкой занавеской (чтобы не испугать дам), они читали басни Лафонтена, решали математические задачи и перечисляли в последовательном порядке королей из династии Капетингов с хронологическими датами. После этого господин префект в длинной и красивой речи выразил благодарность нашей дорогой директрисе, и этим закончилось торжество.

В такой же мере, как о нашем духовном развитии, мадам Циммерман заботилась и о нашем физическом воспитании; ежемесячно нас осматривал ветеринар, а раз в полугодие нас взвешивали. Особенно настойчиво наша дорогая руководительница внушала нам, чтобы мы отказались от отвратительных, распутных Лунных Танцев. Мне совестно признаться, но, несмотря на это, некоторые из более зрелых воспитанников во время полнолуния тайком предавались этому животному бесстыдству. Надеюсь, что наша воспитательница, бывшая для нас матерью и другом, никогда не узнала об этом; это разбило бы ее великое, благородное и любвеобильное сердце».

тической программе, то есть таким предметам, как естественные науки, работа в школьных мастерских, техническое обучение, физическая культура и т. п. Эту так называемую реформированную школу, или Школу практической жизни, в свою очередь, яростно громили сторонники классического образования, заявляя, что только на основе латыни можно приобщить саламандр к культурным достижениям человечества и что мало научить их говорить, если мы не научим их цитировать поэтов и выражаться с цицероновским красноречием. На эту тему завязался долгий и довольно жаркий спор, который под конец разрешился тем, что школы для саламандр взяло в свое ведение государство, а школы для человеческой молодежи были преобразованы с тем, чтобы, по возможности, приблизить их к идеалам реформированной школы для саламандр.

Вполне естественно, что и в других государствах стали раздаваться призывы к обязательному систематическому обучению саламандр в подчиненных государственному надзору школах. Постепенно к этому пришли во всех приморских странах (за исключением, конечно, Великобритании); а так как саламандровые школы не были обременены грузом старых классических традиций и могли, следовательно, воспользоваться всеми новейшими методами психотехники, технологического воспитания, допризывной подготовки и другими последними достижениями педагогики, то в них вскоре установилась та современнейшая и с научной точки зрения прогрессивнейшая система обучения, которая справедливо сделалась предметом зависти всех педагогов и воспитанников человеческой школы.

Вместе со школьным обучением саламандр появился на свет языковый вопрос. Какой из существующих на свете языков должны прежде всего изучать саламандры? Саламандры родом с тихоокеанских островов, естественно, говорили на «pidgin-English», который они переняли от туземцев и матросов; многие изъяснялись по-малайски или на других местных наречиях. Саламандр, предназначенных для сингапурского рынка, приучали говорить на «basic-English», то есть на научно-упрощенном английском языке, который обходится несколькими сотнями выражений и опускает устарелые грамматические формы; этот реформированный стандартный английский язык

стали поэтому называть «саламандор-инглиш». В образцовых Écoles Zimmermann саламандры объяснялись на языке Корнеля, однако вовсе не по националистическим соображениям, а лишь потому, что этого требует высшее образование; наоборот, в реформированных школах их обучали эсперанто, как языку удобопонятному. Кроме того, в то время появились еще пять или шесть универсальных языков, которые должны были прийти на смену вавилонской путанице и дать всему миру — как людям так и саламандрам — единый общий язык; конечно, было много споров о том, какой из этих универсальных языков наиболее целесообразен, благозвучен и универсален. В конечном счете получилось, что каждая нация пропагандировала свой собственный Универсальный Язык [11].

---

[11] Между прочим, знаменитый, филолог Курциус в своем сочинении «Janua linguarum aperta» [1] предлагал принять в качестве единого обиходного языка для саламандр золотую латынь эпохи Вергилия. «Ныне в нашей власти, — взывал он, — принять латынь, этот самый совершенный, самый богатый грамматическими правилами и самый научно обработанный язык. Если эту возможность упустит образованное человечество, сделайте это вы, саламандры, gens maritima [2], изберите своим родным языком eruditam linguam latinam [3], единственный язык, достойный того, чтобы на нем говорил orbis terrarum [4]. Бессмертной будет ваша заслуга, саламандры, если вы воскресите к новой жизни вечный язык богов я героев, ибо вместе с этим языком к вам, gens tritonum [5], перейдет наследство, завещанное властелином мира — Древним Римом».

Напротив, один латвийский телеграфный чиновник, по фамилии Вольтерас, вместе с пастором Менделиусом, придумал и разработал специальный язык для саламандр под названием «понтийский язык» (pontic lang); он воспользовался для этого элементами языков всего мира, особенно африканских. Этот саламандровый язык (как его тоже называли) получил известное распространение главным образом в северных странах, но, к сожалению, только среди людей; в Упсале была учреждена даже кафедра саламандрового языка, но что касается саламандр, то, насколько

---

[1] «Открытые врата речи» (*лат.*).
[2] морское племя (*лат.*).
[3] утонченный латинский язык (*лат.*).
[4] весь мир (*лат.*).
[5] племя тритонов (*лат.*).

Когда саламандровые школы перешли в руки государства, все дело упростилось: в каждой стране саламандр обучали языку соответствующей правящей нации. Хотя саламандры изучали иностранные языки довольно легко и охотно, однако их лингвистические способности не лишены были некоторых своеобразных недостатков, объяснявшихся отчасти устройством их органов речи, а отчасти причинами психологического характера: так, например, они с трудом выговаривали длинные многосложные слова и старались свести их к одному слогу, который произносили квакая; вместо «р» они выговаривали «л», а на свистящих звуках шепелявили; опускали грамматические окончания, никак не могли научиться различать «я» и «мы», и им было все равно, относится ли данное слово к мужскому или женскому роду (по-видимому, в этом проявилось их половое бесстрастие, покидавшее их только в период спаривания). Словом, любой язык претерпевал в их устах характерные изменения, своего рода рационализацию, сводившую его к простейшим, рудиментарным формам. Достойно внимания, что их неологизмы, их произношение и их грамматическая примитивность начали быстро распространяться, — с одной стороны, среди портового люда, с другой — в так называемом высшем обществе; отсюда эта разговорная манера перешла в газеты и вскоре сделалась всеобщей. Из речи людей исчезло большинство грамматических форм, отпали окончания, вымерли падежи; золотая молодежь упразднила «р» и научилась шепелявить; редко кто из образованных людей мог бы еще сказать, что значит «индетерминизм» или «трансцендентный» — по той простой причине, что и для людей эти слова сделались слишком длинными и неудобопроизносимыми.

Словом, плохо ли, хорошо ли, но саламандры стали говорить почти на всех существующих языках, в зависимости от того, на чьем побережье они жили. В чехословацкой печати, кажется в «Народних листах», появилась тогда статья, которая (вполне основательно) с горечью спрашивала, почему саламандры не изучают также и чешский язык, если есть на свете земноводные, говорящие

известно, ни одна из них не говорила на этом языке. По правде сказать, среди саламандр больше всего был в ходу «basic-English», который впоследствии и сделался официальным языком саламандр.

по-португальски, по-голландски и на языках других малых наций. «Наша нация не имеет, к сожалению, собственных морских берегов, — признавал автор статьи, — и потому у нас нет саламандр; но если у нас нет своих морей, то это еще не значит, что мы не вносим в мировую культуру такую же, а во многих отношениях даже более значительную лепту, чем многие нации, языки которых изучаются тысячами саламандр. Было бы только справедливо, если бы саламандры познакомились с нашей духовной жизнью, но как могут они приобщиться к ней, если среди них нет никого, кто владел бы нашим языком? Не будем ждать, пока кто-нибудь поймет свой культурный долг и учредит кафедру чешского языка и чехословацкой литературы в одном из саламандровых учебных заведений. Как говорит поэт: «...не надо верить никому на свете, нет у нас там друга — нет ни одного». Постараемся же сами исправить дело, — взывал автор статьи. — Все, чего мы до сих пор добились в мире, сделано нашими собственными силами! Наше право и наша обязанность — стремиться к тому, чтобы найти друзей и среди саламандр; по, по-видимому, наше министерство иностранных дел не уделяет должного внимания пропаганде нашей культуры и нашей продукции среди саламандр, хотя другие малые нации жертвуют миллионы, чтобы открыть перед саламандрами сокровищницы своей культуры и в то же время пробудить в них интерес к изделиям своей промышленности».

Эта статья возбудила большое внимание главным образом в Союзе промышленников и имела по крайней мере тот результат, что был издан краткий учебник «Чешский язык для саламандр» с примерами из чехословацкой изящной литературы. Это звучит неправдоподобно, но книжка действительно разошлась в количестве свыше семисот экземпляров: следовательно, это был замечательный успех [12].

---

[12] Приведем в связи с этим сохранившийся в коллекции пана Повондры очерк, принадлежащий перу Яромира Зейдла-Новоместского.

НАШ ДРУГ НА ГАЛАПАГОССКИХ ОСТРОВАХ

Совершая кругосветное путешествие, предпринятое мною вместе с моей супругой, поэтессой Генриэттой Зейдловой-Хрудимской, в надежде, что под наплывом многочислен-

Вопросы образования и языка составляли лишь одну сторону грандиозной Саламандровой Проблемы, которая, так сказать, вырастала под боком у человечества. Так, например, вскоре возник вопрос: как, собственно, относиться к саламандрам, точнее — какое уделить им место

ных новых и глубоких впечатлений хоть несколько изгладится боль горестной утраты, понесенной нами в лице нашей дорогой тетушки, писательницы Богумилы Яндовой-Стршешовицкой, мы посетили далекие, овеянные столь многими легендами Галапагосские острова. У нас было всего два часа времени, и мы воспользовались ими для прогулки по берегам этих пустынных островов.

— Взгляни, какой прекрасный закат солнца, — обратился я к своей супруге. — Разве не кажется, будто весь небесный свод тонет в золоте и крови вечерней зари?

— Пан изволит быть чехом? — раздалось за нами на чистом и правильном чешском языке.

Мы удивленно обернулись на голос. Там не было никого, только большая черная саламандра сидела на камне, держа в руке какой-то предмет, похожий на книжку. Во время нашего путешествия мы встретили уже несколько саламандр, но не имели до сих пор случая вступить с ними в беседу. Любезный читатель поймет поэтому наше изумление, когда на таком пустынном побережье мы увидели саламандру, да еще к тому же услышали вопрос на нашем родном языке.

— Кто здесь разговаривает? — воскликнул я по-чешски.

— Это я взял на себя смелость, — ответила саламандра, почтительно приподнимаясь. — Я не мог совладать с собой, услышав впервые в жизни чешскую речь.

— Откуда, — поразился я, — вы знаете чешский язык?

— Я как раз сейчас развлекался спряжением неправильного глагола «быть», — ответила саламандра. — Между прочим, этот глагол неправильно спрягается на всех языках.

— Как, где и для чего, — допытывался я, — научились вы по-чешски?

— Мне случайно попала в руки эта книга, — ответила саламандра, протягивая мне книжку, которую она держала. Это был «Чешский язык для саламандр», и страницы учебника носили на себе следы частого и прилежного пользования им.

— Она попала сюда, — продолжала саламандра, — вместе с партией других книг научного содержания. Я мог выбрать себе «Геометрию для старших классов», «Историю военной тактики», «Путеводитель по доломитовым пещерам» или «Прин-

в обществе. В первые, если можно их так назвать, доисторические годы Саламандрового Века различные Общества покровительства животным ревностно заботились о том, чтобы с саламандрами не обращались жестоко и бесчеловечно; благодаря их неустанному вмешательству

ципы биметаллизма». Но я предпочел эту книжку, которая сделалась моим неразлучным другом. Я уже знаю ее всю наизусть и все-таки каждый раз нахожу в ней новые источники развлечения и полезных знаний.

Моя супруга и я выразили неподдельную радость и изумление по поводу правильного и, в общем, довольно внятного произношения саламандры.

— К сожалению, здесь нет никого, с кем я мог бы говорить почешски, — скромно сказал наш новый друг, — а я, например, не уверен, как будет творительный падеж множественного числа от слова «дверь» — «дверями» или «дверьми».

— Дверями, — сказал я.

— Ах нет, дверьми! — воскликнула моя супруга.

— Не будете ли вы так любезны сказать мне, — спросил с горячим интересом наш милый собеседник, — что нового в стобашенной матушке Праге?

— Она разрастается, мой друг, — ответил я, обрадованный его любознательностью, и в нескольких словах обрисовал ему расцвет нашей золотой столицы.

— Как приятно слышать такие вести, — сказала саламандра с явным удовлетворением. — Скажите, висят ли еще на Мостовой башне головы казненных чешских панов?

— Что вы, давно уже нет, — ответил я, признаюсь, несколько озадаченный таким вопросом.

— Ах, как жалко! — воскликнула симпатичная саламандра. — Это был редкостный исторический памятник. До чего грустно, что столько известнейших памятников погибло во время Тридцатилетней войны! Если не ошибаюсь, земля чешская была превращена в пустыню, залитую слезами и кровью. Счастье еще, что не погиб тогда родительный падеж при отрицаниях. В этой книжке говорится, что он отмирает. Я был бы этим очень огорчен.

— Вы, значит, увлекаетесь и нашей историей? — радостно воскликнул я.

— Конечно, — ответила саламандра. — Особенно белогорским разгромом и трехсотлетним порабощением. Я очень много читал о них в этой книге. Вы, несомненно, чрезвычайно гордитесь своим трехсотлетним порабощением. Это было великое время, сударь.

— Да, тяжелое время, — подтвердил я, — время неволи и горя.

власти почти всюду следили за тем, чтобы к саламандрам полностью применялись полицейские и ветеринарные правила, установленные для других видов домашнего скота. Кроме того, принципиальные противники вивисекции под-

---

— И вы стонали? — с жадным интересом осведомился наш друг.

— Стонали, невыразимо страдая под ярмом свирепых угнетателей.

— Я очень рад, — облегченно перевела дух саламандра. — В моей книжке так и сказано. Я очень рад, что это правда. Это превосходная книга, лучше чем «Геометрия для старших классов средних школ». Я охотно побывал бы на том историческом месте, где были казнены чешские паны, равно как и в других знаменитых местах, где вершилось жестокое бесправие.

— Так приезжайте к нам, — предложил я от всего сердца.

— Благодарю за любезное приглашение, — поклонилась саламандра. — К сожалению, я не столь свободен в своих передвижениях...

— Мы могли бы купить в а с ! .. — вскричал я. — То есть я хочу сказать, что при помощи национальной подписки можно было бы собрать средства, которые позволили бы вам...

— Искреннейше благодарю вас, — пробормотал наш друг, явно растроганный. — Но я слышал, что в Влтаве — неважная вода. В речной воде мы заболеваем тяжелой формой поноса.

Немного подумав, саламандра прибавила:

— К тому же мне было бы тяжело расстаться с моим любимым садиком.

— Ах, — воскликнула моя с у п р у г а . — Я тоже страстная садовница! Как я была бы вам благодарна, если бы вы показали нам произведения здешней флоры!

— С величайшим удовольствием, дорогая п а н и , — ответила саламандра с любезным поклоном. — Но не послужит ли для вас препятствием то обстоятельство, что мой любимый сад находится под водой?

— Под водой?

— Да. На глубине двадцати двух метров.

— Какие же цветы вы там разводите?

— Морские анемоны, — ответил наш друг. — Несколько редких сортов. А также морские звезды и морские огурцы, не говоря уже о коралловых кустах. «Блажен, кто вырастил для родины своей одну хотя бы розу, один хотя бы черенок», — как говорит поэт.

К сожалению, пришла пора расстаться, так как пароход давал сигналы отправления.

— А что бы вы хотели передать, пан... пан... — запнулся я, не зная, как зовут нашего друга.

писали много протестов и петиций, требуя запрещения научных экспериментов на живых саламандрах. В ряде государств действительно были изданы такие законы [13]. Однако по мере развития образования среди саламандр становилось все более сомнительным, можно ли просто распространять на них общие правила покровительства животным; по каким-то не вполне ясным причинам это казалось неловким. Тогда была основана международная Лига покровительства саламандрам (Salamander Protecting League) — под попечительством герцогини Хеддерсфилд. Эта Лига, насчитывавшая свыше двухсот тысяч членов, главным образом жителей Англии, проделала большую, достойную всяческих похвал работу; в частности, она добилась того, что на морских побережьях были выделены специальные площадки, где, без помех со стороны любопытствующих зрителей, саламандры могли устраивать свои «собрания и спортивные празднества» (под этим разумелись, вероятно, лунные танцы); во всех учебных заведениях и даже в Оксфордском университете учащимся внушали, чтобы они не кидали камнями в саламандр; были приняты некоторые меры к тому, чтобы молодых головастиков в саламандровых школах не слишком обременяли уроками; и, наконец, те места, где работали и жили саламандры, были обнесены высоким забором, ко-

— Мое имя Болеслав Яблонский, — застенчиво подсказала саламандра. — По-моему, это красивое имя. Я его выбрал себе из моей книжки.

— Так что нам, пан Яблонский, передать от вашего имени нашему народу?

Саламандра на мгновение задумалась.

— Скажите своим соотечественникам, — проговорила она с глубоким волнением, — скажите им... Пусть не предаются старым славянским раздорам и пусть благодарно хранят в памяти Липаны и в особенности Белую Гору! Доброго здоровья! Честь имею кланяться! — внезапно оборвала она, стараясь справиться со своим волнением.

Мы сели в лодку и отчалили, растроганные и погруженные в раздумье. Наш друг стоял на скале и махал нам; кажется, он что-то кричал.

— Что он кричит? — спросила моя супруга.

— Не знаю, — сказал я, — что-то вроде: «Передайте привет пану приматору доктору Баксе».

[13] В частности, в Германии была строго запрещена всякая вивисекция — впрочем, только биологам-евреям.

торый ограждал саламандр от всяких беспокойств, а главное — в достаточной мере отделял мир саламандр от мира людей [14]. Однако этой похвальной частной инициативы,

[14] По-видимому, здесь играли роль также и некоторые нравственные побуждения. Среди документов пана Повондры было найдено во многих экземплярах и на разных языка «Воззвание», опубликованное, видимо, в газетах всего мира и подписанное самой герцогиней Хеддерсфилд. В этом воззвании говорилось:

«Лига покровительства саламандрам обращается к вам, женщины, с призывом, в интересах приличия и добрых нравов, собственноручной работой принять участие в великом деле, цель которого — снабдить саламандр подобающим одеянием. Для этого больше всего подходит юбочка длиной в 40 см, шириной в поясе — 60 см, лучше всего со вшитой резинкой.

Рекомендуется юбочка, собранная в складки (плиссе), которая очень красит фигуру и допускает большую свободу движений. Для тропических стран достаточно передника с завязками, сшитого из самой простой стирающейся материи, в частности — из каких-нибудь остатков вашего старого гардероба. Этим вы окажете помощь бедным саламандрам и избавите их от необходимости показываться без всякой одежды во время работ в присутствии людей, что, несомненно, подвергает испытанию их стыдливость и в то же время оскорбляет каждого приличного человека, в особенности каждую женщину и мать».

Судя по всему, это начинание не дало желаемых результатов; нет сведений о том, чтобы саламандры когда-либо соглашались носить юбочки или передники: вероятно, одежда стесняла их под водой или не держалась на них. А когда саламандры были отделены от людей заборами, для обеих сторон отпали какие бы то ни было поводы для стыда или неприятных впечатлений.

Что касается нашего замечания о необходимости оградить саламандр от всяких беспокойств, то мы имели в виду главным образом собак, которые никак не могли примириться с существованием саламандр и бешено преследовали их даже в воде, несмотря на то, что у собаки, искусавшей саламандру, потом воспалялась слизистая оболочка пасти. Иногда саламандры защищались, и немало прекрасных породистых собак было убито киркой или мотыгой. Вообще между собаками и саламандрами возникла упорная, можно сказать смертельная, вражда, и устройство заграждений, отделивших их друг от друга, ничуть не ослабило, а,

которая стремилась построить отношения между человеческим обществом и саламандрами на началах приличия и гуманности, вскоре оказалось недостаточно.

Было, конечно, сравнительно легко «включить саламандр в производственный процесс», но гораздо труднее и сложнее оказалось вместить их в рамки существующего общественного порядка. Правда, люди консервативные утверждали, что здесь не может быть и речи о каких-либо юридических или социальных проблемах; саламандры, говорили они, являются просто собственностью своего хозяина, который отвечает за них и, в частности, за тот вред, который они могли бы причинить; несмотря на свою несомненную интеллигентность, саламандры — не что иное, как объект права, вещь или имущество, и всякие специальные законодательные постановления, касающиеся саламандр, были бы посягательством на священные права частной собственности. Другие возражали на это, что саламандры, как существа интеллигентные и в значительной мере способные отвечать за своп деяния, могут по собственному умыслу и притом различнейшими способами нарушать действующие законы. С какой же стати должен собственник саламандр нести ответственность за те проступки, которые позволят себе его саламандры? Такой риск, несомненно, подорвал бы

скорее, усилило и обострило эту вражду. Но так уж издавна повелось, и не только у собак.

Между прочим, эти просмоленные заборы, тянущиеся часто на сотни километров вдоль берега моря, использовались и в воспитательных целях: во всю длину их покрывали надписями и лозунгами, полезными для саламандр, как, например:

ВАШ ТРУД — ВАШ УСПЕХ!
ЦЕНИТЕ КАЖДУЮ СЕКУНДУ!
СУТКИ СОСТОЯТ ВСЕГО ИЗ 86 400 СЕКУНД!
ЦЕННОСТЬ КАЖДОГО ИЗМЕРЯЕТСЯ ЕГО ТРУДОМ!
ОДИН МЕТР ДАМБЫ ВЫ МОЖЕТЕ ВОЗДВИГНУТЬ ЗА 57 МИНУТ!
КТО ТРУДИТСЯ — ТОТ СЛУЖИТ ВСЕМ!
КТО НЕ РАБОТАЕТ — ТОТ НЕ ЕСТ!

И так далее. Если учесть, что такого рода дощатые ограды окаймляли в общей сложности более трехсот тысяч километров прибрежных полос во всем мире, мы можем себе представить, сколько ободряющих и общеполезных изречений умещалось на них.

частную инициативу в области работ, выполняемых саламандрами. В море ведь нет заборов, и там нельзя запереть саламандр, чтобы держать их под надзором. Поэтому нужно законодательным путем обязать самих саламандр уважать человеческий правопорядок и подчиняться правилам, которые будут установлены для них [15].

---

[15] Интересны в этом отношении материалы первого «Саламандрового процесса», который слушался в Дурбане и (как видно из вырезок пана Повондры) вызвал многочисленные комментарии мировой печати. Портовое управление в А. приобрело для работ отряд саламандр. С течением времени они так размножились, что в порту для них уже не хватило места, и несколько колоний головастиков обосновалось на соседнем побережье. Помещик Б., которому принадлежала часть этого побережья, потребовал, чтобы портовое управление удалило своих саламандр из его береговых владений, так как там стояла его купальня. Портовое управление возразило, что ему до этого дела нет; с того момента, как саламандры поселились во владениях жалобщика, они стали его частной собственностью. Пока эти переговоры тянулись в обычном порядке, саламандры (отчасти по врожденному инстинкту, отчасти из усердия, привитого им обучением) начали без всякого распоряжения или разрешения строить на новом месте дамбы и бассейны. Тогда мистер Б. предъявил к портовому управлению иск о причиненных ему убытках. Первая инстанция иск отклонила, мотивируя свое решение тем, что дамбы не причинили ущерба мистеру Б., а, наоборот, улучшили состояние его имущества. Вторая инстанция признала, однако, что истец прав, ибо никто не обязан терпеть на своей земле домашних животных соседа, и что портовое управление отвечает за всякий ущерб, причиненный его саламандрами, точно так же, как фермер обязан возмещать вред, причиняемый соседям его скотом. Ответчик возражал, что он не отвечает за саламандр, так как не может изолировать их в море. В ответ на это судья заявил, что, по его мнению, вред, причиненный саламандрами, надо рассматривать по аналогии с вредом, причиняемым курами, которых тоже нельзя изолировать, так как они умеют летать. Поверенный портового управления осведомился, каким же образом его клиент может удалить саламандр или добиться, чтобы они сами покинули частные береговые владения мистера Б. Судья ответил, что это суда не касается. Поверенный спросил тогда, как достопочтенный судья отнесся бы к действиям ответчика, если бы тот приказал перестрелять этих нежелательных саламандр. Судья ответил, что, как британский джентльмен,

Насколько известно, законы о саламандрах были изданы прежде всего во Франции. Первый из них определял обязанности саламандр в случае мобилизации и войны; второй закон (так называемый закон Деваля) предписывал саламандрам селиться только в тех прибрежных пунктах, которые укажет им их собственник или соответствующий орган департаментской администрации; третий закон гласил, что саламандры обязаны беспрекословно подчиняться всем полицейским распоряжениям; в случае неподчинения полицейские власти имеют право карать их заключением в сухом и светлом месте и даже долгосрочным отстранением от работы. Левые партии тотчас внесли в парламент предложение разработать систему социальных законов для саламандр, которые ограничили бы их трудовые повинности и возложили на работодателей определенные обязательства по отношению к трудящимся саламандрам (например, двухнедельный отпуск в период весеннего спаривания); в противоположность этим партиям крайние левые потребовали вообще изгнать из общества всех саламандр, как враждебных трудящимся массам, ибо саламандры слишком много, и притом почти бесплатно, работают на капиталистов, чем ставят под

он считал бы это крайне некорректным поступком и, кроме того, нарушением охотничьих прав мистера Б. Ответчик обязан, с одной стороны, удалить саламандр из частных владений истца, а с другой — возместить вред, причиненный постройкой дамб и изменением прибрежной полосы, причем это должно быть сделано путем приведения участка в прежнее состояние. Поверенный ответчика задал вопрос, можно ли для слома возведенных сооружений использовать саламандр. Судья ответил, что, по его мнению, — никоим образом, если на это не будет согласия истца, жена которого чувствует отвращение к саламандрам и не может купаться в оскверненных ими местах. Ответчик возразил, что без саламандр он не в состоянии убрать дамбы, сооруженные под водой. В ответ на это судья заявил, что суд не хочет и не может входить в обсуждение технических подробностей; суды существуют для охраны имущественных прав, а не для рассуждений о том, что выполнимо и что — нет.

Так был разрешен вопрос со стороны юридической. Неизвестно, как портовое управление в А. вышло из этого трудного положения. Но все это дело показало, что Саламандровый Вопрос придется регулировать при помощи новых юридических средств.

угрозу жизненный уровень рабочего класса. В поддержку этого требования в Бресте началась забастовка, а в Париже произошли крупные демонстрации; в результате было много раненых, и кабинет Деваля вынужден был подать в отставку. В Италии саламандры были подчинены специальной Саламандровой корпорации, состоящей из предпринимателей и представителей власти, в Голландии они находились в ведении министерства водных сооружений; словом, каждое государство решало Саламандровую Проблему по-своему, и все по-разному. Но многочисленные правительственные распоряжения, которые определяли гражданские обязанности и ограничивали чисто животную свободу саламандр, были, в общем, всюду одинаковы.

Разумеется, тотчас вслед за изданием первых законов о саламандрах появились люди, которые во имя юридической логики доказывали, что если человеческое общество налагает на саламандр известные обязанности, то оно должно признать за ними и некоторые права. Государство, издавая законы для саламандр, тем самым признает их свободными и правомочными субъектами права и даже своими подданными; а в таком случае надо каким-то образом упорядочить их взаимоотношения с государством, под юрисдикцией которого они находятся. Можно, конечно, считать саламандр иностранными иммигрантами, но тогда государство не вправе налагать на них определенные обязанности и повинности на случай мобилизации и войны, как это сделали все цивилизованные страны (за исключением Англии). В случае военного конфликта мы наверняка потребуем от саламандр, чтобы они защищали наши побережья; но тогда мы не можем отказать им в известных гражданских правах, как-то: избирательное право, право собраний, право на представительство в различных выборных органах и так далее [16]. Раздавались

[16] Некоторые понимали равноправие саламандр до такой степени буквально, что требовали для саламандр права занимать любые общественные должности в воде и на суше (Ж. Курто); или сформирования из саламандр, вооруженных по всем правилам, подводных полков с собственными подводными командирами (генерал Дефур); и даже разрешения смешанных браков между людьми и саламандрами (адвокат Луи Пьерро). Правда, естествоведы утверждали, что такие браки вообще невозможны; но мэтр

даже требования о предоставлении саламандрам своего рода подводной автономии, но все эти и другие подобные же рассуждения оставались всегда чисто академическими; дело не дошло до каких-либо практических выводов главным образом потому, что саламандры нигде и никогда не добивались никаких политических прав.

Пьерро заявил, что дело не в физической возможности, а в правовом принципе и что он сам готов жениться на саламандре, дабы доказать, что реформа брачного права не останется только на бумаге. (Впоследствии мэтр Пьерро сделался весьма популярным адвокатом по бракоразводным делам.)

(В связи с этим следует упомянуть, что в американской печати время от времени появлялись сообщения о девушках, якобы изнасилованных саламандрами во время купания. Поэтому в Соединенных Штатах участились случаи, когда саламандр хватали и подвергали линчеванию, — чаще всего путем сожжения на костре. Напрасно ученые протестовали против этого народного обычая, утверждая, что строение тела саламандр совершенно исключает подобные преступления с их стороны; многие девушки показали под присягой, что саламандры приставали к ним, и тем самым для каждого нормального американца вопрос был решен. Впоследствии излюбленный способ линчевания саламандр, то есть сожжение, подвергся все-таки ограничению — сжигать саламандр разрешалось только по субботам, и притом под наблюдением пожарных. Тогда же возникло и «Движение против линчевания саламандр», во главе которого стал негритянский священник Робэрт Дж. Вашингтон; к нему примкнуло свыше ста тысяч человек, впрочем, почти исключительно негров. Американская печать подняла крик, заявляя, что это движение преследует разрушительные политические цели; дело дошло до нападений на негритянские кварталы, причем было сожжено много негров, молившихся в своих церквах за Братьев Саламандр. Ожесточение против негров достигло своей высшей точки, когда от подожженной негритянской церкви в Гордонвилле (штат Луизиана) пожар распространился на весь город. Впрочем, это не имеет уже прямого отношения к истории саламандр.)

Из числа юридических установлений и льгот, действительно касающихся саламандр, упомянем хотя бы некоторые: каждая саламандра была записана в саламандровую метрическую книгу и зарегистрирована по месту работы; саламандры обязывались получать разрешение властей на проживание в данном месте; они

Так же, без участия саламандр и без видимого интереса с их стороны, протекала другая крупная дискуссия вокруг вопроса — можно ли крестить саламандр. Католическая церковь с самого начала твердо держалась той точки зрения, что это недопустимо ни под каким видом; поскольку саламандры не принадлежат к Адамову потомству и не были зачаты в первородном грехе, они не могут быть очищаемы от этого греха таинством святого крещения. Святая церковь не желает входить в обсуждение вопроса, обладают ли саламандры бессмертной душою или какими-нибудь другими дарами господней благодати; ее благорасположение к саламандрам может выражаться лишь в поминании их в особой молитве, которая будет произноситься в определенные дни наряду с молитвой за души в чистилище и предстательством за неверующих [17]. Не так просто было разрешить этот вопрос протестантским церквам; правда, они признавали за саламандрами разум, а следовательно, и способность воспринять христианское учение, но не решались принять их в лоно церкви и тем самым сделать своими братьями во Христе. Они ограничились поэтому изданием (в сокращенном виде) Священного писания для саламандр на непромокаемой бумаге и распространили его в миллионах экземпляров; предполагалось также сочинить для саламандр, по аналогии с «basic-English», нечто вроде «basic-christian», то есть сведенное к основным принципам и упрощенное христианское учение; но сделанные в этом направлении опыты вызвали столько теологиче-

---

должны были платить подушную подать, которую вносил за них их владелец, производивший потом соответствующие удержания из выдаваемой им пищи (так как саламандры не получали денежного вознаграждения); точно так же они должны были платить арендную плату за участки побережья, на которых жили, взносы в муниципальную кассу, пошлину за воздвигнутые заборы, школьный налог и нести прочие общественные повинности; короче, мы должны честно признать, что в этом отношении с ними обходились, как и с другими гражданами, так что они все же пользовались известным равноправием.

[17] См. энциклику его святейшества папы «Mirabilia Dei Opera» [1].

---

[1] «Достойные удивления созданья божьи» (*лат.*).

ских споров, что в конце концов от этой затеи пришлось отказаться [18]. Не столь щепетильны были некоторые религиозные секты (особенно американские), которые посылали к саламандрам своих миссионеров, чтобы они проповедовали им Истинную Веру и крестили их по словам писания: «Идите по всему миру, учите все народы». Но лишь немногим миссионерам удалось проникнуть за заборы, отделявшие саламандр от людей; предприниматели запрещали им доступ к саламандрам, чтобы они своими проповедями не отрывали их понапрасну от дела. И поэтому то тут, то там можно было видеть, как у просмоленного забора стоит проповедник, окруженный собаками, и под аккомпанемент яростного лая тщетно, но горячо излагает слово божие.

Несколько бóльшим распространением пользовался среди саламандр монизм; некоторые их них верили также в материализм, золотой стандарт и прочие научные догмы. Популярный философ Георг Секвенц сочинил даже специальную религию для саламандр, высшим и главнейшим догматом которой была вера в Великого Саламандра. Правда, это учение совсем не привилось у саламандр, зато нашло очень много приверженцев среди людей, особенно в больших городах, где в короткий срок появилось множество тайных храмов саламандрового культа [19].

---

[18] По этому вопросу появилась такая обширная литература, что одна только ее библиография заняла бы два толстых тома.

[19] Среди документов пана Повондры имеется весьма порнографическая брошюрка, составленная якобы на основании полицейских рапортов города Б. Материалы этого «частного издания, выпущенного с научными целями», невозможно цитировать в приличной книге, и мы позаимствуем оттуда лишь некоторые выдержки.

«В центре храма саламандрового культа, находящегося в доме №*** по улице ***, устроен большой бассейн, выложенный темно-красным мрамором. Вода в бассейне, смешанная с благовонными эссенциями, подогрета и освещается снизу огнями, все время меняющими свой цвет; другого освещения в храме не имеется. С двух сторон в этот бассейн, переливающийся всеми цветами радуги, спускаются по мраморным ступеням с пением «саламандровых литаний» совершенно обнаженные верующие — «саламандры и саламандрии»: с одной стороны мужчины, с другой — женщины,

Сами саламандры позднее приняли почти всюду иную религию, причем неизвестно, откуда они ее взяли. Это было поклонение Молоху, которого они представляли себе в виде исполинской саламандры с человеческой головой; по слухам, у них под водой были огромные идолы из чугуна, которые они заказывали у Армстронга или Круппа, но подробности их религиозных обрядов, будто бы необычайно таинственных и жестоких, так и остались неизвестными, потому что совершались под водой. По-видимому, эта религия распространилась у них потому, что имя Молоха напоминало им естественнонаучное (molche) или немецкое (Molch) название саламандры.

Как видно из изложенного, Саламандровый Вопрос в течение долгого времени сводился к тому, в состоянии ли (и если да, то в какой мере) саламандры, будучи

все из высшего круга; можно назвать, в частности, баронессу М., киноартиста С., посланника Д. и многих других видных лиц. Внезапно голубой прожектор освещает громадную мраморную скалу, выступающую над водой; на скале лежит, тяжело дыша, огромная, старая, черная саламандра, именуемая «Магистр Саламандр». Секунду длится молчание, затем раздается голос магистра: он призывает верующих полностью, всей душой отдаться предстоящим обрядам саламандровой пляски и преклониться пред Великим Саламандром. После этого магистр поднимается и начинает извиваться верхней частью туловища. Вслед за ним верующие мужчины, погрузившись в воду по шею, тоже неистово раскачиваются и извиваются — все быстрей и быстрей, якобы для того, чтобы образовалась «половая среда». Во время этого обряда «саламандрии» издают резкие звуки: «Тс-тс-тс», — и кричат скрипучими голосами. Один за другим гаснут огни под водой, и разыгрывается всеобщая оргия».

Мы не можем поручиться за правильность этого описания; но достоверно известно, что во всех крупных городах Европы полиция, с одной стороны, строго преследовала эти саламандровые секты, а с другой — только и делала, что разбирала постоянно возникавшие в этой связи грандиозные общественные скандалы. Однако можно заключить, что хотя культ «Великого Саламандра» и был необычайно распространен, но по большей части таинства совершались не с таким сказочным великолепием, а среди менее состоятельного люда — даже просто на суше.

существами разумными и в значительной степени цивилизованными, пользоваться теми или иными человеческими правами, хотя бы где-то на грани человеческого общества и человеческого порядка; иными словами, это был внутренний вопрос каждого отдельного государства, разрешавшийся в рамках гражданского права. Долгие годы никому не приходило в голову, что Саламандровый вопрос может иметь крупнейшее международное значение и что с саламандрами придется, пожалуй, иметь дело не только как с мыслящими существами, но и как с единым саламандровым коллективом или саламандровой нацией.

Строго говоря, первый шаг к такому пониманию саламандровой проблемы сделали те эксцентричные христианские секты, которые пытались окрестить саламандр, ссылаясь на слова писания: «Идите по всему миру, учите все народы». Тем самым впервые было заявлено, что саламандры — нечто вроде нации [20].

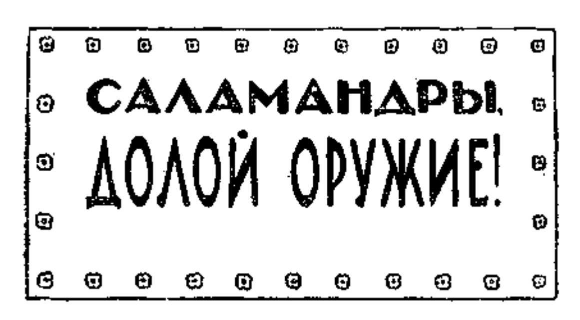
Различные организации обратились к саламандрам с воззваниями [21].

Саламандровой Проблемой занялось со временем и Международное бюро труда в Женеве. Там столкнулись

---

[20] Да и упоминавшаяся выше католическая молитва за саламандр давала им определение «Dei creatura de gente Molche» (создания божьи народа саламандр).

[21] В коллекции пана Повондры мы нашли несколько воззваний; остальные, вероятно, спалила пани Повондрова. Из сохранившегося материала отметим лишь следующие обращения:



(Пацифистский манифест.)

два противоположных взгляда. Одни признавали саламандр новой категорией работающих и добивались распространения на них в полном объеме социального законодательства, касающегося рабочего времени, отпусков с сохранением зарплаты, страхования по инвалидности и старости и так далее.

Другие, наоборот, заявляли, что в лице саламандр растет опасная конкуренция трудящимся людям и что использование труда саламандр просто надо запретить



(Немецкая листовка.)

ТОВАРИЩИ САЛАМАНДРЫ!

(Воззвание группы анархистов-бакунинцев.)



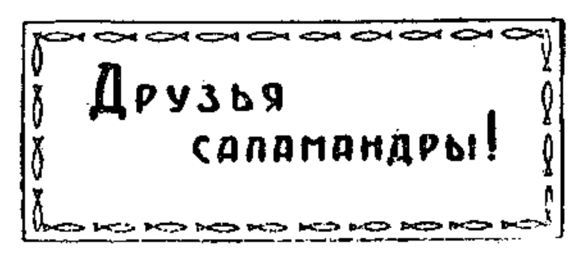
(Публичное обращение скаутов, занимающихся водным спортом.)

[1] Саламандры, вышвырните евреев! (*нем.*)

как антисоциальное явление. Против этого предложения выступили, однако, не только работодатели, но и делегаты от рабочих, которые ссылались на то, что саламандры перестали быть только новой рабочей армией, но сделались крупным потребителем со все возрастающим значением. Они привели данные о том, в каком небывалом объеме возросла за последнее время занятость рабочих в металлообрабатывающей промышленности (инструменты, машины и чугунные идолы для саламандр), военной, химической (подводные взрывчатые вещества), бумажной (учебники для саламандр), цементной, лесной, искусственного корма (Salamander Food) и многих других отраслей; тоннаж торгового флота увеличился по сравнению с досаламандровыми временами на 27 процентов, добыча угля — на 18,6 процента. Косвенным путем — благодаря повышению числа занятых рабочих и уровня благосостояния людей — увеличивается оборот и в других отраслях промышленности. Наконец, в самое последнее время саламандры стали заказывать разные детали машин по соб-



(Воззвание фракции гражданских реформ в Дьеппе.)



(Адрес Союза аквaристических обществ и любителей водной фауны.)

ственным чертежам; из них они монтируют под водой пневматические сверла, молоты, подводные двигатели, печатные станки, подводные радиопередатчики и другие механизмы собственной конструкции. За эти детали саламандры платят повышением производительности труда. Уже сейчас пятая часть всей мировой продукции тяжелой промышленности и точной механики зависит от заказов саламандр. Уничтожьте саламандр, и вам придется закрыть одну пятую всех предприятий; вместо нынешнего процветания миллионы людей окажутся без работы.

Международное бюро труда не могло, конечно, не считаться с этими возражениями. В конечном счете после долгих переговоров было достигнуто компромиссное решение, в котором говорилось, что «вышеозначенные работополучатели группы S (земноводные) могут быть заняты



(Воззвание Общества нравственного возрождения.)



(Общество взаимопомощи бывших моряков.)

только в воде или под водой, а на берегу — лишь на расстоянии не более десяти метров от наивысшей черты прилива; они не имеют права добывать уголь или нефть на морском дне, не имеют права производить для сбыта на суше бумагу, текстильные товары или искусственную кожу из водорослей и т. д.». Эти ограничения саламандровой продукции были сведены в кодекс из девятнадцати параграфов, которых мы не приводим подробно по той простой причине, что с ними, само собой разумеется, нигде не считались; но в качестве образчика широкомасштабного, подлинно международного решения экономической и социальной стороны Саламандрового Вопроса этот кодекс являл собой внушительный и интересный документ.

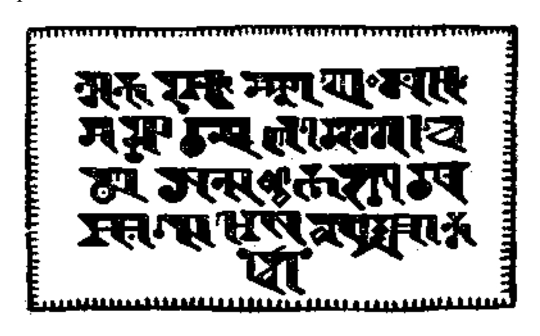
Несколько медленнее подвигалось дело с международным признанием саламандр в других областях, в частности в области культурных взаимоотношений. Когда в специальном журнале за подписью Джона Симэна появилась многократно цитировавшаяся потом статья «Геологиче-

---



(Клуб пловцов в Эгире.)

Особенно важным (если судить по тому, как пан Повондра тщательно подклеил эту вырезку) было, вероятно, воззвание, текст которого приводим полностью:



ское строение морского дна у Багамских островов», то никто не подозревал, что это — научный труд ученой саламандры; но когда научные конгрессы, различные академии и ученые общества стали получать от исследователей-саламандр сообщения и работы по вопросам океанографии, географии, гидробиологии, высшей математики и других точных наук, то это всякий раз вызывало большое смущение и даже негодование, которое великий д-р Мартель выразил в словах: «Эта мразь хочет нас учить?» Японский ученый, д-р Оношита, который отважился процитировать сообщение одной саламандры о развитии желткового мешка у головастика глубоководной морской рыбки Argyropelecus hemigymnus Cocco, подвергся бойкоту со стороны ученого мира и сделал себе харакири; для университетской науки стало вопросом чести и корпоративной гордости не замечать ни одной научной работы саламандр. Тем большее внимание (если не возмущение) вызвал жест Университетского центра в Ницце [22], который пригласил д-ра Шарля Мерсье, высокоученую

---

[22] В коллекции пана Повондры сохранилось довольно поверхностное, сделанное в духе фельетона описание этого торжества; к сожалению, от него уцелела только половинка, а остальная часть куда-то пропала. Вот это описание:

«Ницца, 6 мая

В красивом светлом здании Средиземноморского института на Promenade des Anglais царит сегодня оживление; двое полицейских очищают на тротуаре путь для приглашенных, которые, ступая по красному ковру, входят в гостеприимный прохладный амфитеатр. Мы видим здесь улыбающегося г-на мэра города Ниццы, г-на префекта в цилиндре, генерала в голубой форме, господ с красной розеткой Почетного легиона, дам определенного возраста (в этом году преобладает модный терракотовый цвет), вице-адмиралов, журналистов, профессоров и высокопоставленных старцев всех национальностей, которых всегда множество на Лазурном берегу. Вдруг — небольшой инцидент: какое-то странное создание робко старается проскользнуть между всеми этими почетными гостями; оно закутано с головы до ног в длинную черную пелерину не то домино, глаза его спрятаны за огромными темными стеклами; поспешными неуверенными шагами семенит оно к переполненному вестибюлю.

саламандру из тулонского порта, выступить на торжественном акте, где д-р Мерсье с огромным успехом прочел лекцию о теории сечений конусов в неэвклидовой геометрии.

На торжестве в Ницце в числе других присутствовала, как известно, делегатка женевской организации, мадам Мария Диминяну. Эта замечательная и благородная дама была так тронута скромными манерами и ученостью д-ра Мерсье («Pauvre petit, — воскликнула она, — il est telle-

---

«Hé vous! — крикнул один из полицейских, — qu'est-ce que vous cherchez ici?» [1] Но к испуганному пришельцу уже спешат университетские сановники с возгласами: «Cher docteur» да «Cher docteur» [2], — стало быть, вот она, эта ученая саламандра, д-р Шарль Мерсье, который должен сегодня выступить перед цветом Лазурного берега! Скорее в дом, чтобы успеть захватить местечко среди торжественно настроенной и взволнованной публики.

На трибуне восседают Monsieur le Maire [3], великий поэт *Monsieur* Поль Маллори, M-me Мария Диминяну — делегатка Международного бюро интеллектуального сотрудничества, ректор Средиземноморского института и другие официальные лица. Сбоку от трибуны стоит кафедра для докладчика, а за кафедрой... Ну да! Это *в самом деле* эмалированная ванна. Обыкновенная эмалированная ванна, какие бывают в ванных комнатах. Двое сотрудников института вводят на трибуну робкое создание, закутанное в длинный балахон. Публика несколько растерянно аплодирует. Д-р Шарль Мерсье застенчиво кланяется и неуверенно оглядывается, куда бы ему сесть. «Voilà, monsieur [4], — шепчет один из сотрудников, указывая на эмалированную ванну, — это для вас». Д-р Мерсье страшно конфузится и не знает, как отклонить подобную любезность; он пытается как можно незаметней занять место в ванне, но запутывается в своей длинной пелерине и падает в ванну, с шумом расплескивая воду. Господа на трибуне основательно забрызганы, но делают вид, будто ничего не случилось; в аудитории кто-то истерически рассмеялся, но господа в передних рядах сурово озираются и шипят: «Тсс!» В тот же момент поднимается и берет слово Monsieur le Maire et Député [5].

«Милостивые государыни и милостивые государи, — говорит он. — Я имею честь приветствовать на территории прекрасной

---

[1] Эй, вы! Что вам здесь надо? (*франц.*)
[2] Дорогой доктор (*франц.*).
[3] господин мэр (*франц.*).
[4] Вот здесь, сударь (*франц.*).
[5] Господин мэр, он же депутат (*франц.*).

ment laid»[1], что поставила целью своей кипучей и деятельной жизни принятие саламандр в Лигу наций. Напрасно политические деятели объясняли красноречивой и энергичной даме, что саламандры, не имея нигде на свете ни суверенной государственной власти, ни собственной

---

[1] Бедняжка, он так безобразен! (*франц.*)

Ниццы доктора Шарля Мерсье, выдающегося представителя научной жизни наших близких соседей, обитателей морских глубин *(д-р Мерсье высовывается до половины из воды и низко кланяется).* Впервые в истории цивилизации земля и море протягивают друг другу руки для интеллектуального сотрудничества. До сих пор перед духовной жизнью людей стояла неодолимая преграда — это был мировой океан. Мы могли пересечь его, могли бороздить его по всем направлениям на своих кораблях, но в глубь его, милостивые государыни и государи, цивилизация проникнуть не могла. Тот небольшой кусок суши, на котором живет человечество, был до сих пор окружен диким и девственным морем; это великолепное обрамление, но вместе с тем и извечная грань: по одну сторону прогрессирующая цивилизация, по другую — вечная и неизменная природа. Эта грань, мои дорогие слушатели, ныне исчезает. *(Аплодисменты.)* Нам, детям теперешней великой эпохи, досталось несравненное счастье видеть собственными глазами, как растет наше духовное царство, как оно переступает собственные границы и нисходит в волны морские, завоевывает подводные глубины и присоединяет к старой культурной земле современный цивилизованный океан. Какое грандиозное зрелище! *(Возгласы: «Браво!»)* Дамы и господа, только рождение океанской культуры, выдающегося представителя которой мы имеем честь приветствовать сегодня в нашей среде, сделало наш земной шар действительно и до конца цивилизованной планетой! *(Восторженные рукоплескания. Д-р Мерсье приподнимается в ванне и кланяется.)* Дорогой доктор и великий ученый! — обратился затем Monsieur le Maire к доктору Мерсье, который, опираясь о край ванны, растроганно и с трудом шевелил своими трепещущими жабрами. — Вы сможете передать своим друзьям и соотечественникам на дне морском наши добрые пожелания, наше восхищение и наши самые горячие симпатии. Скажите им, что в вашем лице, в лице наших морских соседей, мы приветствуем авангард прогресса и культуры, авангард, который будет шаг за шагом колонизовать бесконечные морские пространства и создаст новый культурный мир на дне океана. Я вижу, как в пучине морской вырастают но-

территории, не могут быть членами Лиги наций. Мадам Диминяну начала пропагандировать идею, что в таком случае саламандры должны получить где-нибудь свободную территорию и обзавестись подводным государством. Эта

вые Афины и новый Рим; вижу, как расцветает там новый Париж с подводными Луврами и Сорбоннами, с подводными Триумфальными арками и Могилами неизвестных солдат, с театрами и бульварами. Так позвольте же мне высказать мою самую заветную мысль: я надеюсь, что напротив нашей дорогой Ниццы, в синих волнах Средиземного моря, вырастет новая славная Ницца, *ваша* Ницца, которая своими пышными подводными проспектами, садами и променадами украсит наш Лазурный берег. Мы хотим узнать вас и хотим, чтобы вы узнали нас. Я глубоко убежден, что более близкие научные и общественные взаимоотношения, которым мы положили сегодня начало при столь счастливых предзнаменованиях, приведут наши народы ко все более и более тесному культурному и политическому сотрудничеству в интересах всего человечества, в интересах всеобщего мира, процветания и прогресса». *(Продолжительные аплодисменты.)*

Вслед за тем встает д-р Шарль Мерсье и пытается в нескольких словах поблагодарить г-на мэра и депутата Ниццы. Но, с одной стороны, он слишком растроган, а с другой — у него довольно своеобразный выговор; из его речи я уловил лишь несколько с трудом произнесенных слов; если не ошибаюсь, это было: «весьма польщен», «культурные взаимоотношения» и «Виктор Гюго». После этого, явно взволнованный, д-р Мерсье снова скрылся в ванне.

Слово получает Поль Маллори. То, что он произносит, — не речь, а гимн, проникнутый глубокой философией. «Я благодарю судьбу, — говорит он, — за то, что дожил до подтверждения и воплощения одной из прекраснейших легенд человечества. Это воплощение и подтверждение поистине необычно: взамен погрузившейся в море Атлантиды мы с изумлением видим новую Атлантиду, поднимающуюся из пучины. Дорогой коллега Мерсье! Вы, поэт пространственной геометрии, и ваши ученые друзья — вы первые посланцы того Нового Света, который встает из морских глубин, и вы приходите к нам не как Афродита Пенорожденная, но как Паллада Анадиомена. Но гораздо более необычайно и несравненно, более таинственно то, что наряду с этим...

(Окончание не сохранилось.)

идея была в достаточной мере нежелательна, если не просто дерзка; но в конце концов нашли счастливый выход и решили, что при Лиге наций будет учреждена специальная «Комиссия по изучению Саламандрового Вопроса», в состав которой пригласят также двух делегатов от саламандр; в качестве одного из делегатов, по настоянию мадам Диминяну, пригласили д-ра Шарля Мерсье из Тулона, а другим стал некий дон Марио, толстая ученая саламандра с острова Куба, занимавшаяся научной работой в области планктона и морских растений. В ту пору это был высший предел международного признания саламандр [23].

Итак, мы наблюдаем энергичный и непрестанный подъем в развитии саламандр. Численность их определяют уже в семь миллиардов, хотя с ростом цивилизации плодо-

---

[23] В документах пана Повондры сохранился несколько неясный газетный снимок, изображавший обоих саламандровых делегатов в тот момент, когда они поднимаются по лесенке из Женевского озера на набережную Монблан, чтобы отправиться на заседание комиссии. По-видимому, официальная квартира была им предоставлена именно в этом озере.

Что касается самой женевской комиссии по изучению Саламандрового Вопроса, то она проделала большую и ценную работу, выразившуюся главным образом в тщательном уклонении от всех жгучих политических и экономических вопросов. Она непрерывно заседала в течение многих лет и провела свыше тысячи трехсот заседаний, посвященных усердным дебатам по вопросу о едином международном названии для саламандр. В этой области господствовал безнадежный хаос; наряду с научными названиями — Salamandra, Molche, Batrachus и т. и. (которые начали казаться несколько невежливыми) была предложена целая куча других имен; саламандр хотели назвать тритонами, нептунидами, фетидами, нереидами, атлантами, океанидами, Посейдонами, лемурами, пелагами, литторалями, понтийцами, батидами, абиссами, гидрионами, жандемерами (gens de mer) [1], сумаринами и т. д. Комиссия по изучению Саламандрового Вопроса должна была выбрать наиболее подходящее из всех этих имен; она ревностно и добросовестно занималась этим до самого конца Саламандрового Века, но так и не пришла к какому-нибудь единодушному окончательному решению.

---

[1] морские люди (*франц.*).

витость их резко падает (до двадцати — тридцати головастиков в год на самку). Они заселили уже свыше шестидесяти процентов всех побережий земного шара; полярные побережья еще не заняты их поселениями, но канадские саламандры уже начинают колонизовать берега Гренландии, и даже оттесняют эскимосов внутрь страны, захватывая в свои руки рыболовство и торговлю рыбьим жиром.

Рука об руку с их количественным ростом продолжается и культурный прогресс; установив обязательное школьное обучение, они поставили себя в ряд с цивилизованными нациями и могли уже похвастать сотнями собственных подводных газет, выходящих миллионными тиражами, прекрасно оборудованными научными институтами, и так далее.

Разумеется, этот культурный подъем не всегда проходил гладко и без внутренних неурядиц. Мы, правда, чрезвычайно мало знаем о внутренних делах саламандр, но, судя по некоторым признакам (например, по найденным трупам саламандр с откушенными носами и головами), под морскою гладью долгое время свирепствовал яростный и затяжной идейный спор между старосаламандрами и младосаламандрами. Младосаламандры стояли, видимо, за прогресс без всяких преград и ограничений, заявляя, что и под водой надо перенять материковую культуру целиком со всеми ее достижениями, не исключая футбола, флирта, фашизма и половых извращений. Наоборот, старосаламандры, по-видимому, консервативно цеплялись за природные свойства саламандр и не хотели отречься от старых добрых животных привычек и инстинктов; они, несомненно, осуждали лихорадочную погоню за всякими новшествами и видели в ней признаки упадка и измену саламандровым идеалам предков и, конечно, возмущались также чужеродными влияниями, которым слепо подчиняется теперешняя развращенная молодежь, и спрашивали, достойно ли гордых и самолюбивых саламандр это обезьянье подражание людям [24].

---

[24] Пан Повондра включил в свою коллекцию две-три статьи из газеты «Народни политика», содержавшие рассуждения о современной человеческой молодежи; скорее всего, он по недоразумению отнес их к соответствующему периоду истории саламандровой цивилизации.

Мы можем себе представить, что выдвигались громкие лозунги, вроде: «Назад к миоцену! Долой всякое очеловечивание! На бой за нерушимую саламандренность!» — и т. д.

Несомненно, здесь были налицо все предпосылки для острого идейного конфликта между поколениями и для коренного перелома в духовном развитии саламандр. Нам очень жаль, что мы не. можем дать об этом более подробных сведений, но мы надеемся, что саламандры извлекли из этого конфликта все, что могли.

Мы видим затем саламандр на пути к наивысшему расцвету; впрочем, и человеческий мир переживает в то время период небывалого процветания. Лихорадочно сооружаются новые берега континентов, на старых отмелях насыпается новая суша, среди океана вырастают искусственные авиационные острова; но и это все — ничто по сравнению с грандиозными техническими проектами полной переделки земного шара, которые ждали только, чтобы кто-нибудь их финансировал. По ночам саламандры без отдыха работают на дне всех морей, на побережьях всех континентов; кажется, будто они удовлетворены и не требуют для себя ничего, кроме возможности работать да сверлить под берегами норы и переходы своих темных жилищ.

У саламандр есть, таким образом, свои подводные и подземные города, свои столицы в пучине, свои Эссены и Бирмингамы на дне морском, на глубине от двадцати до пятидесяти метров; у них есть свои перенаселенные фабричные кварталы, гавани, транспортные магистрали и миллионные скопления населения; словом, у них есть свой мир, более или менее неведомый[25] людям, но, по-видимому,

---

[25] Один господин из Дейвице рассказывал пану Повондре, что, купаясь на пляже в Катвейке на Северном море, он заплыл далеко, как вдруг сторож на пляже закричал ему, чтобы он возвратился. Названный господин (некий пан Пршигода, комиссионер) не обратил на это внимания и продолжал плыть. Тогда сторож прыгнул в лодку и пустился вслед за ним.

— Эй, сударь! — крикнул он. — Здесь купаться нельзя...

— Почему? — спросил пан Пршигода.

— Здесь саламандры.

— Я их не боюсь, — возразил пан Пршигода.

высоко развитый в техническом отношении. У них нет, правда, доменных печей и металлургических заводов, по люди доставляют им металлы в обмен на их работу. У них нет своих взрывчатых веществ, но люди продают им эти вещества. Источником энергии является для них море с его приливами и отливами, с его подводными течениями и разницей температур; правда, турбины дали им люди, но саламандры умеют ими пользоваться; а разве цивилизация не есть просто-напросто умение пользоваться тем, что придумал кто-то другой? И если у саламандр нет, допустим, собственных идей, то у них все же вполне может быть собственная наука. Правда, у них нет своей музыки или литературы, но они прекрасно обходятся и без них. И люди начинают приходить к выводу, что это замечательно современно... Стало быть, и человек уже может кое-чему научиться у саламандр, — и не удивительно: разве не пожинают саламандры великолепных успехов? А с чего же и брать людям пример, как не с успешных деяний? Никогда еще в истории человечества не производилось, не строилось и не зарабатывалось столько, как в ту великую эпоху. Да, ничего не скажешь: вместе с саламандрами в мир явился гигантский прогресс, некий новый идеал, именуемый Количество. «Мы, люди Саламандрового Века», — говорилось тогда с обоснованной гордостью; куда до него обветшалому Человеческому Веку с его медлительной, мелочной, бесполезной возней, которую называли культурой, искусством, чистой наукой или как там еще! Подлинные сознательные люди Саламандрового Века не станут уже тратить время на размышления о Сути Вещей; им хватит дела с одним их количеством и массовым производством. Беспрестанное увеличение производства и потребления — вот все будущее мира; а посему — пусть будет еще больше саламандр, чтобы еще больше произвести продукции и еще больше сожрать! Попросту говоря, саламандры — это Множественность; их эпохальная заслуга в том, что их так много. Только теперь дано человеческому разуму работать в полную силу, ибо он работает в огромных масштабах, в условиях, когда про-

---

— У них под водой какие-то фабрики или что-то в этом роде, — проворчал сторож. — Тут, сударь, никто не купается.

— Почему же?

— Саламандры этого не любят.

изводительная мощность доведена до предела, а обороты капиталов достигли рекорда; короче, настала великая эпоха.

Так чего же еще не хватает, чтобы действительно настал Счастливый Новый Век всеобщей удовлетворенности и процветания? Что может помешать осуществлению желанной Утопии, в которой объединились бы все эти победы техники, открывая все дальше и дальше, до бесконечности, великолепные возможности еще больше увеличивать благосостояние людей и усердие саламандр?

Честное слово, ничего! Ибо отныне деловые отношения с саламандрами будут увенчаны проницательностью, достойной государственных деятелей, которые заранее позаботятся о том, чтобы колеса Нового Века никогда не скрипели.

В Лондоне собралась конференция приморских государств, на которой была выработана и принята международная конвенция о саламандрах. Высокие договаривающиеся стороны взаимно обязались: не посылать своих саламандр в воды, находящиеся под суверенитетом других государств; не допускать, чтобы их саламандры каким бы то ни было способом нарушали неприкосновенность территории или признанной сферы интересов какого-либо иного государства; никоим образом не вмешиваться в саламандровые дела других морских держав; в случае столкновений между своими и чужими саламандрами подчиняться решениям международного арбитража в Гааге; не вооружать своих саламандр каким бы то ни было оружием, калибр которого превосходит калибр обыкновенного подводного револьвера против акул (так называемого Šafránek-gun или shark-gun); не допускать, чтобы их саламандры завязывали близкие отношения с саламандрами, подчиненными иному государственному суверенитету; не строить новые континенты и не расширять свою территорию с помощью саламандр без предварительного разрешения Постоянной морской комиссии в Женеве и т. д. (всего тридцать семь параграфов). Вместе с тем были отвергнуты: английское предложение, чтобы морские державы не вводили обязательного военного обучения саламандр; французское предложение — интернационализировать саламандр и подчинить их Международному Саламандровому Бюро по упорядочению мировых вод; немецкое предложение — выжигать на каждой

саламандре клеймо того государства, в подданстве которого она состоит; другое немецкое предложение, чтобы каждому приморскому государству разрешалось иметь лишь установленное в известной пропорции число саламандр; итальянское предложение, чтобы государствам, располагающим избытком саламандр, были предоставлены для колонизации новые побережья или участки на дне моря; японское предложение, чтобы над саламандрами (черными от природы) осуществляла международный мандат японская нация, как представительница цветных рас[26].

Обсуждение большинства этих предложений было перенесено на следующую конференцию морских держав, которая, однако, по разным причинам не состоялась.

«Этот международный акт, — писал о конвенции Жюль Зауэрштоф в «Тан», — обеспечивает будущность саламандр и мирное развитие человечества на многие десятки лет. Поздравим лондонскую конференцию с благополучным завершением ее нелегких трудов; поздравим и саламандр с тем, что принятый статут дает им охрану в лице Гаагского суда; теперь они могут спокойно и с полным доверием заняться своей работой и своим подводным прогрессом. Следует подчеркнуть, что лишение Саламандровой Проблемы политического содержания, отразившееся в параграфах Лондонской конвенции, является одной из важнейших гарантий всеобщего мира; в особенности разоружение саламандр уменьшает вероятность подводных конфликтов между отдельными государствами. Пусть даже почти на всех континентах продолжаются пограничные споры и распри из-за господства, несомненно одно: со стороны моря всеобщему миру не грозит теперь никакая конкретная опасность. Но, по-видимому, и на суше мир обеспечен лучше, чем когда бы то ни было. Приморские государства целиком заняты строительством новых берегов и могут расширять свою территорию за счет мирового океана, вместо того чтобы стремиться раздвинуть свои границы на суше. Уже не нужно будет с помощью железа и газа сражаться за каждую пядь земли; лопат и мотыг саламандр хватит, чтобы каждое государство

---

[26] Это предположение, видимо, было связано с широкой политической пропагандистской кампанией; мы располагаем благодаря

построило себе столько территории, сколько ему нужно; эту мирную работу саламандр на благо мира и всех наций как раз и гарантирует Лондонская конвенция. Еще никогда земной шар не был так близок к прочному миру и мирному, но мощному процветанию, как именно сейчас. Вместо Саламандровой Проблемы, о которой столько писали и говорили, отныне будут, по-видимому, с полным правом говорить о Золотом Саламандровом Веке».

коллекционерской страсти пана Повондры чрезвычайно важным документом этой кампании. В документе сказано буквально:

3. Пан Повондра опять читает газеты

Ни на ком так не заметен бег времени, как на детях. Где маленький Франтик, которого мы (так недавно!) оставили над левыми притоками Дуная?

— Куда опять запропастился этот Франтик? — ворчит пан Повондра, раскрывая свою вечернюю газету.

— Сам знаешь — как всегда... — отвечает пани Повондрова, склонившись над штопкой.

— Значит, отправился к своей девчонке, — сердито произносит Повондра-отец. — Проклятый мальчишка! Едва тридцать лет исполнилось, а ни одного вечера дома не посидит!

— Одних носков сколько изнашивает, и все из-за беготни!.. — вздыхает пани Повондрова, натягивая еще один безнадежный носок на деревянный гриб. — Ну, что тут поделаешь? — задумывается она над огромнейшей дырой на пятке, похожей своими очертаниями на остров Цейлон. — Прямо хоть выброс! — критически рассуждает она, но после дальнейших стратегических размышлений решительно вонзает иглу в южное побережье Цейлона.

Настала уютная семейная тишина, столь дорогая сердцу Повондры-отца; только газета шуршит да отвечает ей быстро продергиваемая нитка.

— Поймали его? — спрашивает пани Повондрова.

— Кого?

— Да того убийцу, который зарезал женщину.

— Очень мне нужен твой убийца, — возмущенно ворчит пан Повондра. — Вот тут как раз пишут, что между Японией и Китаем напряженные отношения. Это серьезное дело. Там всегда серьезные дела.

— Я думаю, его уже не поймают, — замечает пани Повондрова.

— Кого?

— Этого убийцу. Когда кто-нибудь убивает женщину, его почти никогда не могут поймать.

— Японец-то недоволен, что Китай регулирует Желтую реку. Тут, брат, хитрая политика! Пока Желтая река творит всякие безобразия, в Китае то и дело бывают наводнения и голод, а это ослабляет китайца, понимаешь? Дай-ка мне ножницы, я это вырежу.

— Зачем?

— А тут написано, что в Желтой реке работает два миллиона саламандр.

— Это много, правда?

— Я думаю. Конечно, за них платит Америка; да, голубушка. И поэтому микадо хочет насадить туда своих саламандр. Эге-ге, смотри-ка!..

— Что случилось?

— Да вот «Пти паризьен» пишет, что Франция не может этого потерпеть. И правильно. Я бы тоже этого не потерпел.

— Чего бы ты не потерпел?

— Чтобы Италия расширяла остров Лампедузу. Это страшно важная стратегическая позиция, понимаешь? Итальянец мог бы угрожать Тунису. Так вот, «Пти паризьен» пишет, что итальянец хочет устроить на Лампедузе первоклассную морскую крепость. Там у него, говорят, шестьдесят тысяч вооруженных саламандр... Это дело нешуточное. Шестьдесят тысяч — это, матушка, три дивизии. Я тебе говорю, на Средиземном море в один прекрасный день что-нибудь еще произойдет. Дай-ка, я вырежу.

Тем временем Цейлон исчезал под усердной рукой пани Повондровой и сократился уже приблизительно до размеров острова Родоса.

— И тут еще Англия, — рассуждает Повондра-отец, — у той тоже будут хлопоты. В палате общин говорят, что Великобритания отстает, мол, от других государств по части этих самых водных сооружений. Другие колониальные державы строят, мол, наперегонки новые побережья и континенты, а британское правительство из-за своего консервативного недоверия к саламандрам... Это верно, матушка. Англичане страшно консервативны. Знавал я одного лакея из английского посольства, так, ей-богу, он ни разу не взял в рот нашей чешской тлаченки. У них, говорит, этого не едят, — ну, так и он не будет есть. Я нисколько не удивлюсь, если другие государства их перегонят. — Пан Повондра с серьезным видом покачал головой. — А Франция расширяет свои берега у Кале. Теперь английские газеты поднимают крик, что Франция будет бомбардировать их через Ла-Манш, когда пролив сузится. Вот и получили! Могли сами расширить свои берега у Дувра и бомбардировать Францию.

— Да зачем им обязательно бомбардировать? — спросила пани Повондрова.

— Ну, этого ты не поймешь. Это уж военные соображения. Я бы не удивился, если бы там вдруг что-нибудь стряслось. Там или где-нибудь в другом месте. Ясно, теперь через этих саламандр мировая ситуация совершенно изменилась, матушка. Совершенно!

— Ты думаешь, что может быть война? — встревожилась пани Повондрова. — Понимаешь... я насчет нашего Франтика, как бы... ему не пришлось идти.

— Война? — переспросил Повондра-отец. — Мировая война обязательно будет, чтобы государства могли поделить между собой море. Но мы останемся нейтральными. Кто-нибудь же должен оставаться нейтральным, чтобы поставлять другим оружие и все такое. Так-то!.. — решил пан Повондра. — Но вы, бабы, ничего в этом не смыслите.

Пани Повондрова, сжав губы, быстрыми стежками заканчивала удаление острова Цейлона с пятки молодого пана Франтика.

— И подумать только, — сказал Повондра-отец, с трудом скрывая свою гордость, — если бы не я, не было бы и всей этой грозной ситуации! Не проведи я тогда этого капитана к пану Бонди, вся история сложилась бы иначе. Другой швейцар не пустил бы его в дом, а я решил — возьму-ка я это на себя. А теперь смотри, сколько хлопот у таких государств, как Англия или Франция! И еще неизвестно, что может из этого выйти... — Пан Повондра взволнованно задымил своей трубкой. — Так-то, золото мое! Газеты полны этими саламандрами. Тут вот опять... — Повондра-отец отложил трубку в сторону. — Пишут, что возле города Канкесантурай на Цейлоне саламандры напали на какую-то деревню; туземцы будто бы незадолго до этого убили несколько саламандр. «Была вызвана полиция и взвод туземных войск, — прочитал вслух пан Повондра, — после чего завязалась регулярная перестрелка между саламандрами и людьми. Среди солдат было несколько раненых...» — Повондра-отец положил газету. — Это мне не нравится, матушка.

— Почему? — удивилась пани Повондрова, заботливо и удовлетворенно постукивая ножницами по тому месту, где был раньше остров Цейлон. — Тут ведь ничего такого нет!

— Не знаю, — произнес Повондра-отец и взволнованно заходил по комнате. — Но это мне совсем не нравится. Нет, это мне не по душе. Перестрелка между людьми и саламандрами — это уж слишком.

— Наверное, саламандры только защищались, — успокоительно сказала пани Повондрова и отложила носки в сторону.

— В том-то и загвоздка, — беспокойно проворчал пан Повондра. — Если эти твари начнут защищаться — плохо дело. Это они первый раз такое сделали. Черт, это мне не нравится! — Пан Повондра остановился в раздумье. — Не знаю... но, может быть, мне все-таки не следовало пускать этого капитана к пану Бонди!..

Книга третья

ВОЙНА С САЛАМАНДРАМИ

1. Бойня на Кокосовых островах

Пан Повондра ошибался в одном: перестрелка у города Канкесантурай была не первой стычкой между людьми и саламандрами. Первый известный в истории конфликт имел место на Кокосовых островах, за несколько лет до этого, еще в золотой век пиратских набегов на саламандр; но и это не был самый древний из инцидентов такого рода, и в тихоокеанских портах ходило немало рассказов о некоторых прискорбных случаях, когда саламандры оказывали более или менее энергичное сопротивление даже нормальной S-Trade, но такие мелочи не вписываются в книгу истории.

На Кокосовых островах (называемых также островами Килинга) дело происходило так: разбойничье судно «Монроз», принадлежавшее гарримановской Тихоокеанской торговой компании и находившееся под командой капитана Джемса Линдлея, прибыло туда для обычной охоты на саламандр типа «Макароны». На Кокосовых островах имелась хорошо известная, процветавшая саламандровая бухта, заселенная еще капитаном ван Тохом, по потом покинутая на произвол судьбы из-за своей отдаленности. Капитана Линдлея нельзя обвинять в какой-либо неосторожности; нельзя даже ставить ему в упрек, что команда высадилась на берег невооруженной. (В те времена хищническая торговля саламандрами приобрела уже определенные упорядоченные формы. Правда, раньше пиратские суда и команды были обычно вооружены пулеметами и даже легкими орудиями — впрочем, не против саламандр, а против возможной конкуренции со стороны других пиратов. На острове Каракелонг однажды произошло даже сражение между командой гарримановского парохода и экипажем датского судна, капитан которого считал Каракелонг своим охотничьим заповедником; обе команды свели тогда между собой старые счеты, порожденные распрями из-за торговли и престижа: они забыли облаву на саламандр и начали стрелять друг в друга из пушек и «гочкисов»; на суше победу одержали датчане, бросившись в атаку с ножами в руках; но потом гарримановский

пароход удачно бомбардировал датское судно и потопил его со всеми потрохами, в том числе и с капитаном Нильсом. Это был так называемый Каракелонгский инцидент. В дело вынуждены были вмешаться официальные учреждения и правительства заинтересованных государств; пиратским судам было запрещено на будущее время пользоваться пушками, пулеметами и ручными гранатами; кроме того, флибустьерские компании разделили между собой так называемые свободные промыслы так, что каждое саламандровое поселение посещали только определенные грабительские суда; это джентльменское соглашение крупных хищников действительно соблюдалось, и даже мелкие пиратские фирмы относились к нему с уважением.)

Но вернемся к капитану Линдлею. Он действовал всецело в духе общепринятых тогда торговых и морских обычаев, когда послал своих людей ловить саламандр на Кокосовых островах, вооружив их только веслами и дубинами; последующее официальное расследование полностью оправдало покойного капитана.

Людьми, которые высадились в ту лунную ночь на Кокосовые острова, командовал лейтенант Эдди Мак-Карт, уже искушенный в облавах такого рода. Правда, стадо саламандр, которое он обнаружил на берегу, было очень большим и насчитывало, по-видимому, от шестисот до семисот взрослых крупных самцов, тогда как под командой лейтенанта Мак-Карта было только шестнадцать человек; но нельзя обвинять его в том, что он не отказался от своего предприятия, — хотя бы уже потому, что офицерам и командам грабительских судов, по обычаю, выплачивали премию за каждую пойманную саламандру. При позднейшем расследовании морское ведомство признало, что «лейтенант Мак-Карт несет, правда, ответственность за прискорбный случай», но «при данных обстоятельствах никто на его месте но поступил бы иначе». Наоборот, злополучный молодой офицер проявил большую сообразительность, когда вместо постепенного оцепления саламандр (которое при данном численном соотношении не могло бы быть полным) он предпочел стремительное нападение, чтобы отрезать саламандр от моря, загнать их в глубь острова и там поодиночке глушить ударами дубин и весел. К несчастью, при атаке рассыпным строем цепь моряков была прорвана, и около двухсот саламандр

пробилось к воде. Пока атакующие «обрабатывали» саламандр, отрезанных от моря, в тылу у них затрещали выстрелы подводных револьверов (shark-guns); никто не подозревал, что «натуральные», дикие саламандры на Кокосовых островах вооружены противоакуловыми револьверами, и так и не удалось установить, кто снабдил их оружием.

Матрос Майкл Келли, единственный уцелевший от катастрофы, рассказывал:

«Когда загремели выстрелы, мы подумали, что нас обстреливает какая-нибудь другая команда, которая тоже высадилась здесь для ловли саламандр. Лейтенант Мак-Карт быстро обернулся и крикнул: «Что вы делаете, остолопы, здесь — команда «Монроз»!» Тут он был ранен в бок, но все же выхватил свой револьвер и начал стрелять. Потом он был вторично ранен, в горло, и упал. Только тогда мы увидели, что это стреляют саламандры и что они хотят отрезать нас от моря. Лонг Стив поднял весло и бросился на саламандр, громко крича: «Монроз! Монроз!» Мы, остальные, тоже закричали «Монроз» и стали колотить этих тварей веслами что было силы. Пятеро из нас остались на месте, но остальные пробились к морю. Лонг Стив кинулся в воду, чтобы добраться до шлюпки вброд, но на нем повисли несколько саламандр и потянули его на дно. Чарли тоже утопили; он кричал нам: «Ребята, ради всего святого спасите меня!» — а мы не могли ему помочь. Эти свиньи стреляли нам в спину; Бодкин обернулся — и тут получил пулю в живот, крикнул только: «Да что же это?!» — и упал. Тогда мы попробовали скрыться в глубь острова; мы уже разбили в щепы об эту мразь наши дубины и весла и просто бежали, как зайцы. Нас осталось уже только четверо. Мы боялись убегать далеко от берега, опасаясь, что не попадем тогда обратно на судно; мы спрятались за кустами и скалами и должны были молча смотреть, как саламандры добивают наших ребят. Они топили их в воде, как котят, а тех, кто еще всплывал, били ломом по голове. Я только тогда почувствовал, что у меня вывихнута нога и я не могу двинуться дальше».

По-видимому, капитан Джемс Линдлей, который оставался на судне, услышал стрельбу на острове; думал ли он, что заварилась какая-нибудь каша с туземцами, или что на острове оказались другие охотники на саламандр —

не важно, но только он взял кока и двух механиков, остававшихся на пароходе, велел спустить на шлюпку пулемет, который он — вопреки строгому запрету — предусмотрительно прятал у себя на судне, и поспешил на помощь команде. Он был достаточно осторожен и не высадился на берег; он только подвел к берегу шлюпку, на носу которой был установлен пулемет, и выпрямился «со скрещенными на груди руками». Предоставим дальше слово матросу Келли.

«Мы не хотели громко звать капитана, чтобы нас не обнаружили саламандры. Мистер Линдлей поднялся со скрещенными на груди руками и крикнул: «Что здесь происходит?» Тут саламандры направились к нему. На берегу их было несколько сотен, а из моря все время выплывали новые и окружали шлюпку. «Что здесь происходит?» — спрашивает капитан, и тут одна большая саламандра подходит к нему поближе и говорит: «Отправляйтесь обратно!» Капитан посмотрел на нее, помолчал немного и потом спросил: «Вы саламандра?» — «Мы саламандры, — ответила она. — Отправляйтесь обратно, сэр!» — «Я хочу знать, что вы сделали с моими людьми», — говорит наш старик. «Они не должны были нападать на нас, — сказала саламандра. — Возвращайтесь на свое судно, сэр!» Капитан снова помолчал немного, а потом совершенно спокойно говорит: «Ну ладно. Стреляйте, Дженкинс!» И механик Дженкинс начал палить в саламандр из пулемета».

(При расследовании всего дела морское ведомство — цитируем буквально — заявило: «В этом отношении капитан Джемс Линдлей действовал так, как и следовало ожидать от британского моряка».)

«Саламандры столпились в кучу, — продолжал свои показания Келли, — и падали под пулеметным огнем, как скошенные колосья. Некоторые стреляли из своих револьверов в мистера Линдлея, но он стоял со скрещенными на груди руками и даже не пошевельнулся. В этот момент позади шлюпки вынырнула из воды черная саламандра, державшая в лапе что-то вроде консервной банки; другой лапой она что-то выдернула из банки и бросила ее в воду под шлюпку. Не успели мы сосчитать до пяти, как на этом месте взметнулся столб воды и раздался глухой, но такой сильный взрыв, что земля загудела у нас под ногами».

(По описанию Майкла Келли власти, производившие расследование, заключили, что речь идет о взрывчатом веществе «В-3», которое поставлялось саламандрам, занятым на работах по укреплению Сингапура, для взрывания подводных скал. Но каким образом эти заряды попали от тамошних саламандр на Кокосовые острова, осталось загадкой; одни думали, что их перевезли туда люди, по мнению других — между саламандрами уже тогда существовали какие-то сношения, даже на далеких расстояниях. Общественное мнение требовало тогда, чтобы власти запретили давать в руки саламандрам такие опасные взрывчатые вещества, но соответствующее ведомство заявило, что пока еще нет возможности заменить «высокоэффективное и сравнительно безопасное вещество «В-3» каким-нибудь другим»; тем дело и кончилось.)

«Шлюпка взлетела на воздух, — продолжал свои показания Келли, — и рассыпалась в щепки. Саламандры, оставшиеся в живых, кинулись к месту взрыва. Мы не могли разглядеть, жив ли мистер Линдлей, но все трое моих товарищей — Донован, Бэрк и Кеннеди — вскочили и побежали к нему на помощь, чтобы он не достался в руки саламандрам. Я тоже хотел побежать с ними, но у меня была вывихнута лодыжка, и я сидел и обеими руками тянул ступню, чтобы вправить сустав. Я не знаю поэтому, что там произошло, но когда я поднял глаза, то увидел, что Кеннеди лежит, уткнувшись лицом в песок, а от Донована и Бэрка не осталось уже и следа; только под водой еще что-то билось».

Матрос Келли скрылся потом в глубь острова; там он набрел на туземную деревню, но туземцы отнеслись к нему как-то странно и не хотели даже приютить его: по-видимому, они боялись саламандр. Лишь через семь недель после этого происшествия одно рыболовное судно нашло дочиста разграбленную, покинутую «Монроз», стоявшую на якоре у Кокосовых островов, и подобрало Келли.

Еще через несколько недель к Кокосовым островам подошла канонерка его британского величества «Файрболл» и, бросив якорь, дождалась наступления ночи. Была такая же светлая, лунная ночь, как и в тот раз; из моря вышли саламандры, уселись на песке в большой круг и начали свой торжественный танец. Тогда канонерка его величества пустила в них первый снаряд. Саламандры — те, что не были разорваны на куски, — на мгновение оце-

пенели, а затем бросились к воде; в этот момент прогремел страшный залп из шести орудий, и уже только несколько раненых саламандр ползло к воде. Тогда раздался второй и третий залпы.

После этого «Файрболл» отошел на полмили назад и начал стрелять в воду, медленно двигаясь вдоль берега. Канонада продолжалась шесть часов, причем было выпущено около восьмисот снарядов. Потом канонерка покинула острова. В течение двух суток после этого морская гладь у Килинговых островов была сплошь усеяна тысячами изуродованных трупов саламандр.

В ту же ночь голландское военное судно «Ван-Дейк» дало три выстрела по саламандрам, столпившимся на острове Гунон-Апи; японский крейсер «Хакодате» пустил три снаряда в саламандровый островок Айлинглаплап; французское военное судно «Бешамель» тремя залпами рассеяло пляшущих саламандр на острове Равайвай. Это было предостережение саламандрам. Оно не пропало даром: подобных инцидентов (столкновение на Кокосовых островах называли «Keeling-Killing» [1]) больше не повторялось, и как упорядоченная, так и дикая торговля саламандрами могла процветать безвозбранно и пышно.

2. Столкновение в Нормандии

Иной характер носило столкновение в Нормандии, которое произошло несколько позднее. Там саламандры, работающие главным образом в Шербуре и живущие на окрестном побережье, невероятно пристрастились к яблокам; но так как их хозяева не соглашались добавлять яблоки к обычному саламандровому корму (это повысило бы стоимость строительных работ против установленной сметы), то саламандры стали совершать воровские набеги на соседние фруктовые сады. Крестьяне пожаловались на это в префектуру, и саламандрам было строго запрещено шататься по берегу за пределами так называемой «саламандровой зоны», но это не помогло; фрукты исчезали по-прежнему, исчезали и яйца из курятников, и каждое утро крестьяне находили все больше и больше убитых сторожевых собак. Тогда крестьяне, вооружив-

[1] Киллингская бойня (*англ.*).

шись старыми ружьями, стали сами сторожить свои сады и стрелять в мародерствующих саламандр. В конце концов все это могло бы остаться в рамках местного инцидента, но нормандские крестьяне, раздраженные, помимо всего прочего, повышением налогов и вздорожанием огнестрельных припасов, воспылали к саламандрам смертельной враждой и начали целыми толпами устраивать на них вооруженные облавы. Когда они стали массами истреблять саламандр даже на месте их работ, с жалобой к властям обратились уже предприниматели шербурского водного строительства, и префект распорядился, чтобы у крестьян конфисковали их заржавелые хлопушки. Крестьяне, конечно, воспротивились, и дело дошло до серьезных конфликтов с жандармерией; упрямые нормандцы начали, кроме саламандр, расстреливать жандармов. В Нормандию были стянуты жандармские подкрепления, и в деревнях из дома в дом производились обыски.

Как раз в это время случилось весьма неприятное происшествие: вблизи Кутанс деревенские мальчишки напали на саламандру, которая якобы подкрадывалась с подозрительными целями к курятнику, окружили ее, прижали к стене сарая и начали забрасывать кирпичами. Раненая саламандра взмахнула рукой и бросила наземь нечто, по внешнему виду похожее на яйцо; раздался взрыв, и саламандра была разорвана на куски, но ее участь разделили и трое мальчиков: одиннадцатилетний Пьер Кажюс, шестнадцатилетний Марсель Берар и пятнадцатилетний Луи Кермадек; кроме того, пятеро ребят были тяжело ранены. Весть об этом быстро облетела весь край; около семисот человек, вооруженных ружьями, вилами и цепами, съехались на автобусах со всех концов Нормандии и напали на саламандровое поселение в заливе Бас-Кутанс. Прежде чем жандармам удалось оттеснить разъяренную толпу, было убито около двадцати саламандр. Саперы, вызванные из Шербура, обнесли залив Бас-Кутанс колючей проволокой, но ночью саламандры вышли из моря, разрушили с помощью ручных гранат проволочное заграждение и пытались проникнуть в глубь района. Срочно мобилизовали несколько рот пехоты; они примчались на военных грузовиках с пулеметами, и цепь войск отделила саламандр от людей. Тем временем крестьяне громили налоговые управления и жандармские участки, а один особенно непопулярный

сборщик налогов был повешен на фонаре с надписью: «Долой саламандр!» Газеты, особенно немецкие, писали о революции в Нормандии; однако парижское правительство опубликовало решительное опровержение.

Пока кровавые столкновения между крестьянами и саламандрами распространялись по побережью Кальвадоса, Пикардии и Па-де-Кале, из Шербура по направлению к западному берегу Нормандии вышел старый французский крейсер «Жюль Фламбо». Как уверяли впоследствии, крейсер был выслан только для того, чтобы одним своим присутствием успокоить как местных жителей, так и саламандр. «Жюль Фламбо» остановился в полутора милях от залива Бас-Кутанс; когда наступила ночь, командир крейсера, чтобы усилить успокоительное впечатление, приказал пускать цветные ракеты. Много людей собралось на берегу поглазеть на красивое зрелище, как вдруг они услышали громкое шипение, и у носовой части судна взметнулся вверх огромный столб воды; судно накренилось, и в тот же миг раздался страшный взрыв. Не подлежало сомнению, что крейсер тонет. Не прошло и четверти часа, как из соседних портов примчались на помощь моторные лодки, но надобности в них не было: кроме трех человек, убитых при взрыве, весь экипаж спасся сам; «Жюль Фламбо» затонул через пять минут после того, как командир последним покинул судно с достопамятными словами: «Ничего не поделаешь».

Официальное сообщение, выпущенное в ту же ночь, гласило, что «старый крейсер «Жюль Фламбо», который в течение ближайших недель все равно подлежал списанию, наскочил во время ночного плавания на рифы и затонул вследствие взрыва котлов», но газеты этим не удовлетворились; и если полуофициозная печать утверждала, будто судно наткнулось на недавно поставленную немецкую мину, то оппозиционные, а также иностранные газеты поместили аршинные заголовки:

ФРАНЦУЗСКИЙ КРЕЙСЕР ТОРПЕДИРОВАН САЛАМАНДРАМИ
ЗАГАДОЧНОЕ СОБЫТИЕ У НОРМАНДСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ
БУНТ САЛАМАНДР

«Мы требуем к ответу, — страстно взывал в своем открытом письме депутат Бартелеми, — тех, кто вооружил саламандр против людей, тех, кто дал им в лапы гранаты,

чтобы они убивали французских крестьян и невинных играющих детей; тех, кто снабдил морских чудовищ современнейшими торпедами, чтобы они могли топить французские корабли, когда им заблагорассудится. Повторяю, мы требуем их к ответу: пусть им предъявят обвинение в убийстве, пусть их предадут военному суду за измену родине, пусть следствие выяснит, какую мзду они получили от фабрикантов оружия за то, что вооружают морскую нечисть против цивилизованного судоходства!» И так далее.

Всех охватила паника; люди толпами собирались на улицах, кое-где начали строить баррикады; на парижских бульварах, составив винтовки в козлы, стояли сенегальские стрелки, а в предместьях дежурили броневики и танки.

В эти дни в палате депутатов поднялся со своего места морской министр Франсуа Понсо и, бледный, по полный решимости, заявил: «Правительство принимает на себя ответственность за то, что оно вооружило саламандр на французском побережье винтовками, подводными пулеметами, подводными орудиями и торпедными аппаратами. Но если у французских саламандр имеются лишь легкие малокалиберные орудия, то германские саламандры вооружены тридцатидвухсантиметровыми подводными мортирами; если на французском побережье один подводный склад торпед, ручных гранат и взрывчатых веществ приходится на каждые двадцать четыре километра, то на итальянском побережье подводные склады военного снаряжения приходятся в среднем на каждые двадцать, а на германском побережье — на каждые восемнадцать километров. Франция не может оставить и не оставит свои берега беззащитными. Франция не может отказаться от вооружения своих саламандр».

Министр сообщил затем, что он уже отдал распоряжение произвести строжайшее расследование с целью выяснить, кто является виновником рокового недоразумения у нормандского побережья. По-видимому, саламандры приняли цветные ракеты за сигнал к боевым действиям и хотели обороняться. Командир крейсера «Жюль Фламбо» и шербурский префект уволены; специальная комиссия выясняет, как администрация водных сооружений обращается с саламандрами; в этом отношении впредь будет учрежден строгий контроль. Правительство глубоко

скорбит о человеческих жертвах; юные национальные герои Пьер Кажюс, Марсель Берар и Луи Кермадек будут посмертно награждены орденами и похоронены за счет государства, а их родителям будет назначена почетная пенсия. В высшем военно-морском командном составе произойдут важные перемены. Как только правительство будет в состоянии сообщить более подробные сведения, оно поставит в парламенте вопрос о доверии.

После этого было объявлено непрерывное заседание кабинета.

Тем временем газеты — в зависимости от политической окраски — требовали карательного, истребительного, колонизационного или крестового похода против саламандр, генеральную забастовку, отставку правительства, арест владельцев саламандр, арест коммунистических лидеров и агитаторов и множество прочих подобных спасительных мер. В связи со слухами о возможном закрытии портов и морских границ люди начали лихорадочно запасаться продовольствием, и цены на все товары росли с головокружительной быстротой; в промышленных центрах на почве дороговизны вспыхнули волнения; биржа была закрыта на три дня. Короче, это было самое тревожное и напряженное время за последние три-четыре месяца.

Но тут своевременно вмешался министр земледелия Монти: он распорядился, чтобы на французских побережьях два раза в неделю высыпали в море столько-то сотен вагонов яблок, конечно за счет государства. Это мероприятие прекраснейшим образом удовлетворило саламандр и успокоило садоводов в Нормандии и в других местах. Но Монти пошел еще дальше: рост недовольства в винодельческих районах, страдавших из-за отсутствия сбыта, давно причинял затруднения правительству, и министр земледелия отдал распоряжение, чтобы государственная помощь саламандрам выражалась еще и в ежедневной выдаче им белого вина, по пол-литра на брата. Сначала саламандры недоумевали, что им делать с вином, так как оно вызывало у них сильный понос, и выливали его в море; но постепенно они как будто привыкли к нему, и было замечено, что с этих пор французские саламандры стали спариваться с бóльшим пылом, хотя при этом плодовитость их сильно упала. Так единым махом были урегулированы и аграрный вопрос, и саламандровый инцидент; грозная напряженность исчезла, и когда вскоре

после этого, в связи с финансовым скандалом вокруг дела мадам Тэплер, возник новый правительственный кризис, ловкий и дельный Монти получил в новом кабинете портфель морского министра.

3. Инцидент в Ла-Манше

Спустя некоторое время после этих событий бельгийский пассажирский пароход «Уденбург» направлялся из Остенде в Рэмсгейт. Когда он находился как раз на середине Па-де-Кале, вахтенный офицер заметил, что на расстоянии полумили к югу от обычного курса «в воде что-то происходит». Так как он не мог разглядеть, что случилось и не тонет ли там кто-нибудь, то он приказал повернуть к тому месту, где волновалась и сильно бурлила вода. Около двухсот пассажиров наблюдали с наветренного борта странное зрелище: то тут, то там взметывались фонтаны, то тут, то там из воды вылетало что-то, похожее на черное тело; при этом в радиусе около трехсот метров море клокотало, пенились водовороты, а из глубины доносились громовые раскаты и страшный гул. «Казалось, под водой происходит извержение небольшого вулкана». Когда «Уденбург» медленно приблизился к этому месту, метрах в десяти от его бушприта внезапно вырос огромный крутой вал и раздался страшный взрыв. Пароход подбросило, а на палубу ливнем хлынула горячая, почти кипящая вода; одновременно на носовую часть палубы шлепнулось большое черное тело, корчившееся и пронзительно кричавшее от боли; это была раненая и ошпаренная саламандра. Вахтенный офицер скомандовал задний ход, чтобы судно не попало в самый центр этого извергающегося ада; но тут взрывы начали раздаваться со всех сторон, и поверхность моря усеяли разорванные на куски тела саламандр. В конце концов судно удалось повернуть, и «Уденбург» на всех парах помчался к северу. В этот момент приблизительно в шестистах метрах за кормой грохнул ужасающий взрыв, и из моря вырвался гигантский столб воды и пара. «Уденбург» взял курс на Гарвич и послал по всем направлениям радиограмму: «Внимание, внимание, внимание! На линии Остенде — Рэмсгейт чрезвычайно опасные подводные взрывы. Не знаем, в чем дело. Советуем всем судам взять курс в сторону!» По-

прежнему были слышны гул и грохот — почти такие же, как во время морских маневров; но из-за фонтанов воды и пара ничего не было видно. А из Дувра и Кале к этому месту уже спешили на всех парах миноносцы и истребители и мчались эскадрильи военных самолетов; но когда они прибыли туда, то увидели только морскую гладь, мутную от желтого ила и сплошь покрытую оглушенными рыбами и растерзанными саламандрами.

Сначала говорили о взрыве каких-то мин в проливе; но когда оба берега Па-де-Кале были оцеплены войсками, а английский премьер — это был четвертый случай в истории человечества — прервал в субботу вечером свой уикэнд и срочно возвратился в Лондон, то стали догадываться, что речь идет о событии, имеющем весьма серьезное международное значение. Газеты распространяли самые тревожные слухи, но на сей раз, как это ни странно, далеко отстали от действительности. Никто и не подозревал, что в течение нескольких критических дней Европа, а вместе с ней и весь мир, была на волосок от войны. Лишь несколько лет спустя, когда член тогдашнего британского кабинета сэр Томас Мэльбери провалился на выборах в парламент и поэтому опубликовал свои политические мемуары, публика получила возможность узнать, что, собственно, тогда происходило; но в то время это уже никого не интересовало.

Вкратце дело заключалось в следующем. Как Франция, так и Англия начали — каждая со своей стороны — строить в Ла-Манше подводные саламандровые крепости, которые в случае войны могли бы запереть весь пролив; обе державы потом, конечно, взаимно обвиняли друг друга, и каждая уверяла, что начала другая; но, вероятно, обе начали фортификационные работы одновременно, из опасения, как бы соседнее дружественное государство ее не обогнало. Одним словом, под спокойной гладью пролива вырастали друг против друга две грандиозные бетонные крепости, оснащенные тяжелыми орудиями и торпедными аппаратами, с обширными минированными полями и вообще всеми усовершенствованиями, до которых дошел к этому времени человеческий прогресс в области военного искусства; крепость на английской стороне была занята двумя дивизиями тяжелых и приблизительно тридцатью тысячами рабочих саламандр, на французской — тремя дивизиями первоклассных военных саламандр.

По-видимому, в памятный день на дне моря посредине пролива колонна британских рабочих саламандр встретилась с французскими саламандрами, и между ними произошло какое-то недоразумение. Французская сторона утверждала, что на мирно работающих французских саламандр напали британские с целью прогнать их; при этом вооруженные британские саламандры хотели якобы увести нескольких французских саламандр, которые, естественно, оказали сопротивление. Тогда британские военные саламандры стали закидывать французских рабочих саламандр ручными гранатами и обстреливать их из минометов, так что французским саламандрам оставалось только прибегнуть к тому же оружию. Французское правительство сочло себя поэтому вынужденным потребовать от правительства его британского величества полного удовлетворения и эвакуации спорного подводного участка, а равно гарантий, что подобные инциденты впредь не повторятся.

В противоположность этому британское правительство специальной нотой уведомило правительство Французской республики, что французские милитаризованные саламандры проникли на территорию английской половины пролива и начали закладывать там мины. Британские саламандры обратили внимание на то, что здесь английская рабочая территория; вооруженные до зубов французские саламандры ответили на это метанием ручных гранат, причем убили нескольких британских рабочих саламандр. Правительство его величества с сожалением считает себя вынужденным потребовать от правительства Французской республики полного удовлетворения и гарантий, что французские военные саламандры не будут впредь вторгаться на английскую половину пролива.

В ответ на это французское правительство заявило, что оно не может более допускать, чтобы соседнее государство сооружало подводные крепости в непосредственной близости от французских берегов. Что же касается недоразумения на дне пролива, то правительство республики предлагает, согласно Лондонской конвенции, передать спорный вопрос на разрешение Гаагского арбитража.

Британское правительство возразило, что оно не может и не намерено ставить безопасность британских берегов в зависимость от решения какой бы то ни было посторонней инстанции. Как государство, подвергшееся нападе-

нию, Англия снова и самым настоятельным образом требует извинений, возмещения убытков и гарантий на будущее. Одновременно с этим средиземная английская эскадра, стоявшая у острова Мальта, вышла на всех парах по направлению к западу, а атлантическая эскадра получила приказ сосредоточиться у Портсмута и Ярмута.

Французское правительство издало приказ о мобилизации матросов и офицеров военного флота пяти призывных возрастов.

Казалось, что ни одно из обоих государств уже не может отступить; в конце концов стало ясно, что речь идет ни больше и ни меньше как о господстве над всем проливом. В этот критический момент сэр Томас Мэльбери установил поразительный факт, а именно, что на английской стороне никаких военных или рабочих саламандр вообще не существует (по крайней мере — де-юре), так как для Британских островов до сих пор остается в силе изданный когда-то при сэре Сэмюэле Мендевилле закон, запрещающий использовать хотя бы одну саламандру для каких бы то ни было целей на побережье или в территориальных водах Британских островов. Ввиду этого британское правительство не могло официально утверждать, что французские саламандры напали на английских, и все дело свелось к вопросу, умышленно или по ошибке французские саламандры вступили на дно английских территориальных вод. Власти Французской республики обещали расследовать это, и английское правительство даже не предложило передать спор на рассмотрение Гаагского международного суда. Затем британское и французское морские ведомства пришли к соглашению о создании пятикилометровой нейтральной зоны между подводными укреплениями в проливе, что в необычайной мере укрепило дружбу между обоими государствами.

4. Der Nordmolch [1]

Через несколько лет после возникновения первых саламандровых колоний в Северном и Балтийском морях немецкий исследователь д-р Ганс Тюринг установил, что

[1] Северная саламандра (*нем.*).

балтийская саламандра — очевидно, под влиянием среды — отличается некоторыми особыми физическими признаками: она якобы несколько светлее, ходит прямее, и ее френологический индекс свидетельствует о том, что у нее более узкий и продолговатый череп, чем у других саламандр. Эта разновидность получила название der Nordmolch или der Edelmolch [1] (Andrias Scheuchzeri varietas nobilis erecta Thüringi [2]).

Вслед за тем и германская печать начала усердно заниматься балтийской саламандрой. Главным образом подчеркивалось, что именно под влиянием немецкой среды эта саламандра превратилась в особый и притом высший расовый тип, который природа, бесспорно, поставила над всеми другими саламандрами. Германская печать с презрением писала о дегенеративных средиземноморских саламандрах, вырождающихся физически и морально, о диких тропических саламандрах и вообще о низших, варварских и звероподобных саламандрах других наций. От исполинской саламандры — к немецкой сверхсаламандре, — так звучал тогдашний крылатый лозунг. Разве не немецкая земля была первичной родиной всех саламандр нового времени? Разве не Энинген был их колыбелью — тот Энинген, где немецкий ученый д-р Иоганн Якоб Шейхцер нашел величественный след саламандр еще в миоценовых отложениях? Нет ни малейшего сомнения в том, что первичный Andrias Scheuchzeri родился на германской территории за много геологических эр до нашего времени; и если он рассеялся впоследствии по другим морям и климатическим зонам, то заплатил за это вырождением и задержкой в своем развитии; но как только он вернулся на свою прародину, он снова становится тем, чем был когда-то: благородной северной шейхцеровской саламандрой — светлой, прямоходящей и с продолговатым черепом. Следовательно, только на немецкой почве могут саламандры вернуться к своему чистому наивысшему типу — тому, который был обнаружен великим Иоганном Якобом Шейхцером на отпечатке в Энингенских каменоломнях. Германии необходимы поэтому новые обширные берега, необходимы колонии, необходимы от-

---

[1] Благородная саламандра (*нем.*).
[2] Andrias Scheuchzeri — благородная прямоходящая разновидность Тюринга (*лат.*).

крытые моря, чтобы повсюду в немецких водах могли размножаться новые поколения расово чистых, первичных немецких саламандр. «Нам нужны новые жизненные пространства для наших саламандр», — писали германские газеты. А для того, чтобы германский народ никогда не забывал эту необходимость, в Берлине был воздвигнут роскошный памятник Иоганну Якобу Шейхцеру. Великий ученый был изображен с толстым фолиантом в руке; у его ног сидела, выпрямившись, благородная северная саламандра и устремляла взоры вдаль, к необъятному побережью мирового океана.

На открытии этого национального памятника были, конечно, произнесены торжественные речи, возбудившие необычайное внимание в мировой печати. *«Германия снова угрожает,* — констатировалось, в частности, в английских откликах. — Правда, мы уже привыкли к этому тону, но если на официальном торжестве нам заявляют, что в течение ближайших трех лет Германии потребуется пять тысяч километров новых морских побережий, то мы вынуждены ответить самым недвусмысленным образом: «Ну, что же! Попробуйте! О британские берега вы обломаете себе зубы. Мы готовы, а за три года подготовимся еще лучше. Англия должна и будет иметь флот, равный по количеству судов флотам двух сильнейших континентальных держав; такое соотношение сил должно оставаться незыблемым раз навсегда. А если вы хотите развернуть безумную гонку морских вооружений, пусть будет так; ни один британец не потерпит, чтобы мы отстали хотя бы на шаг».

«Мы принимаем германский вызов, — заявил в парламенте от имени правительства первый лорд адмиралтейства сэр Фрэнсис Дрейк. — Кто протянет руку к какому бы то ни было морю, тот натолкнется на броню наших судов. Великобритания достаточно сильна, чтобы отразить всякое нападение на свои острова и на берега своих доминионов и колоний. Мы будем считать агрессией сооружение новых континентов, островов, крепостей и авиационных баз в любом море, волны которого омывают хотя бы самый ничтожный кусок британского побережья. Пусть это послужит предостережением для всякого, кто захочет посягнуть хотя бы на один ярд наших морских берегов».

После этого выступления парламент разрешил постройку новых военных судов и одобрил предварительное ассигнование для этой цели пятисот миллионов фунтов стерлингов. Это был поистине внушительный ответ на воздвижение провокационного памятника Иоганну Якобу Шейхцеру в Берлине; памятник обошелся, впрочем, всего в двенадцать тысяч германских марок.

Блестящий французский журналист маркиз де Сад, как правило всегда прекрасно осведомленный, следующим образом отвечал на все эти демонстративные акты: «Британский лорд адмиралтейства заявил, что Великобритания готова ко всем неожиданностям. Прекрасно! Но известно ли высокопоставленному лорду, что в лице своих балтийских саламандр Германия имеет постоянную, грозно вооруженную армию, насчитывающую сейчас пять миллионов профессиональных боевых саламандр, которую она может немедленно ввести в бой в воде или на суше? Прибавьте к этому еще каких-нибудь семнадцать миллионов саламандр, предназначенных для технической и тыловой службы и готовых в любой момент выступить в роли резервной или оккупационной армии. Сейчас балтийская саламандра — лучший солдат на свете; психологически она обработана в совершенстве и видит в войне свое подлинное и высшее призвание; она двинется в бой с воодушевлением фанатика, холодной сообразительностью техника и убийственной дисциплиной истинно прусской саламандры.

Известно ли также британскому лорду адмиралтейства, что Германия лихорадочно строит транспортные суда, каждое из которых сможет перевозить за один раз целую бригаду военных саламандр? Известно ли ему, что Германия строит сотни небольших подводных лодок с радиусом действия от трех до пяти тысяч километров, экипаж которых будет состоять исключительно из балтийских саламандр? Известно ли ему, что Германия сооружает в разных частях океана гигантские подводные резервуары для горючего? И мы еще раз спрашиваем: уверен ли британский гражданин, что его великая страна *действительно* хорошо подготовлена на случай каких-либо неожиданностей?

Нетрудно себе представить, какую роль в ближайшей войне будут играть саламандры, вооруженные подводными «бертами», минометами и торпедами для блокады побе-

режий; клянусь честью, впервые в мировой истории никто не сможет позавидовать превосходному островному положению Англии. Но раз уж мы начали задавать вопросы, осведомимся еще: известно ли британскому адмиралтейству, что балтийские саламандры снабжены в общем-то мирным инструментом под названием пневматическое сверло? Это сверло, представляющее собой последнее слово техники, в течение часа вгрызается на глубину десяти метров в крепчайший шведский гранит и на глубину от пятидесяти до шестидесяти метров в английские меловые породы. (Это доказали опытные буровые работы, тайно производившиеся по ночам немецкой технической разведкой 11-го, 12-го и 13-го числа прошлого месяца на английском побережье между Гайтом и Фолкстоном, то есть под самым носом Дуврской крепости.) Предоставляем нашим друзьям по ту сторону Ла-Манша самим подсчитать, сколько недель потребуется на то, чтобы Кент или Эссекс были просверлены под водой, как кусок сыра. До сих пор британский островитянин с беспокойством поглядывал на небо, считая, что только оттуда может прийти опасность, грозящая его прекрасным городам, его Английскому банку и его мирным коттеджам, таким уютным в рамке из вечнозеленого плюща. Теперь пусть он лучше приложит ухо к земле, на которой играют его дети: не услышит ли он, как скрипит, шаг за шагом въедаясь все глубже, неутомимый страшный бурав саламандрового сверла, прокладывающий путь для невиданных доселе взрывчатых веществ? Последнее слово нашего века — это уже не война в воздухе, а война под водой и под землей. Мы слышали самоуверенные слова, прозвучавшие с капитанского мостика надменного Альбиона; да, пока еще это мощный корабль, который вздымается на волнах и властвует над ними; но в один прекрасный момент волны могут сомкнуться над разбитым и тонущим судном. Не лучше ли заблаговременно отразить опасность? Через три года будет слишком поздно!»

Это предостережение знаменитого французского журналиста вызвало в Англии необычайную тревогу; несмотря на все официальные опровержения, люди слышали скрип саламандровых сверл в разных концах Англии. Конечно, немецкие официальные круги резко и категорически отрицали угрозы, содержащиеся в процитированной нами статье, объявляя ее от начала до конца злонамеренным

вымыслом и враждебной пропагандой; одновременно в Балтийском море происходили, однако, большие комбинированные маневры германского флота, сухопутных вооруженных сил и военных саламандр. Во время этих маневров минные роты саламандр на глазах у иностранных военных атташе взорвали участок просверленных снизу песчаных дюн в районе Рюгенвальде площадью в шесть квадратных километров. Это было великолепное зрелище: с грозным гулом вздыбилась земля, «словно ломающаяся льдина», и только потом поднялась вверх гигантской тучей дыма, песка и камней; сделалось темно, почти как ночью; поднятый взрывом песок сыпался на землю в радиусе почти ста километров, а через несколько дней обрушился песчаным дождем на Варшаву. В земной атмосфере после этого великолепного взрыва осталось так много свободно парящего мелкого песка и пыли, что во всей Европе до конца года закаты солнца были необычайно красивыми; таких огненных, кроваво-красных закатов в этих широтах никогда до сих пор не наблюдали.

Море, залившее взорванный участок побережья, получило потом название «Шейхцерова моря» и сделалось местом бесчисленных школьных экскурсий и походов немецких детей, распевающих популярный саламандровый гимн:

Solche Erfolche erreichen
nur deutsche Molche[1].

5. Вольф Мейнерт пишет свой труд

Должно быть, именно эти трагически прекрасные солнечные закаты, о которых мы только что говорили, вдохновили кенигсбергского философа-отшельника Вольфа Мейнерта на создание монументального труда «Untergang der Menschheit»[2]. Мы можем живо представить себе, как он бродит по берегу моря с непокрытой головой, в развевающемся плаще и смотрит восторженными глазами на

[1] Таких успехов достигают лишь немецкие саламандры (*нем.*).
[2] «Закат человечества» (*нем.*).

потоки огня и крови, заливающие больше половины небосвода. «Да, — шепчет он в экстазе, — да, пришла пора писать послесловие к истории человека!» И он написал его.

Сейчас доигрывается трагедия человеческого рода, так начал Вольф Мейнерт. Пусть нас не обманывает его лихорадочная предприимчивость и техническое благополучие; это лишь чахоточный румянец на лице существа, уже отмеченного печатью смерти. Еще никогда человечество не переживало столь высокой жизненной конъюнктуры, как сейчас; но найдите мне хоть одного человека, который был бы счастлив; покажите мне класс, который был бы доволен, или нацию, которая не ощущала бы угрозы своему существованию. Среди всех даров цивилизации, среди крезовского изобилия духовных и материальных богатств нас все больше и больше охватывает неотвязное чувство неуверенности, гнетущей тяжести и смутного беспокойства. И Вольф Мейнерт беспощадно анализировал душевное состояние современного мира, эту смесь страха и ненависти, недоверия и мании величия, цинизма и малодушия. Одним словом — отчаяние, кратко резюмировал Вольф Мейнерт. Типичные признаки конца. Моральная агония.

Встает вопрос: способен ли человек быть счастливым и был ли он когда-либо способен на это? Человек — несомненно, как каждое живое существо; но человечество — никогда. Все несчастье человека в том, что ему предопределено было стать человечеством; или в том, что он стал человечеством слишком поздно, когда он уже непоправимо дифференцировался на нации, расы, веры, сословия и классы, на богатых и бедных, на культурных и некультурных, на поработителей и порабощенных. Сгоните в одно стадо лошадей, волков, овец и кошек, лисиц, медведей и коз; заприте их в одном загоне, заставьте их жить в этом неестественном соединении, которое вы назовете Обществом, и исполнять общие для всех правила жизни; это будет несчастное, недовольное, разобщенное стадо, в котором ни одна божья тварь не будет себя чувствовать на месте. Вот вам вполне точный образ огромного и безнадежно разнородного стада, называемого человечеством. Нации, сословия, классы не могут долго сосуществовать, не задевая друг друга и не тяготясь друг другом до полного отвращения; они могут жить или

в вечной изоляции друг от друга, — что было возможно лишь до тех пор, пока мир был для них достаточно велик, — или в борьбе друг с другом, в борьбе не на жизнь, а на смерть. Для биологических человеческих групп, таких, как раса, нация или класс, существует единственный естественный путь к блаженному состоянию ничем не нарушаемой однородности: надо расчистить место для себя, истребив всех других. А это и есть то, чего не успел сделать вовремя людской род. Теперь уже поздно браться за это. Мы обзавелись слишком многими доктринами и обязательствами, которыми оберегаем «других», вместо того чтобы от них избавиться; мы выдумали кодекс нравственности, права человека, договоры, законы, равенство, гуманность и прочее; мы создали некую фикцию человечества, понятие, объединяющее и нас и «других» в воображаемом «высшем единстве». Какая роковая ошибка! Нравственный закон мы поставили выше биологического. Мы нарушили величайшую естественную предпосылку всякой общности: только однородное общество может быть счастливым. И это вполне достижимое благо мы принесли в жертву великой, но неосуществимой мечте: создать *единое* человечество и установить *единый* строй для людей всех наций, классов и уровней жизни. То была великодушная глупость. То была единственная в своем роде достойная уважения попытка человека подняться над самим собой. И за этот свой предельный идеализм род людской расплачивается ныне неизбежным распадом.

Процесс, в ходе которого человек пытается как-то организовать себя в человечество, столь же древен, как сама цивилизация, как первые законы и первые общины; и если человечество в итоге, после долгих тысячелетий, добилось лишь того, что пропасти между расами, нациями, классами и мировоззрениями стали такими глубокими, бездонными, как сейчас, то уже не стоит закрывать глаза на тот факт, что злополучная историческая попытка сплотить всех людей в некое человечество потерпела окончательное и трагическое крушение. В конце концов мы уже начинаем осознавать это; отсюда эти попытки и замыслы организовать человеческое общество иначе, с помощью радикального освобождения места для *одной* нации, *одного* класса или *одной* религии. Но кто может сказать, насколько глубоко проникли в нас микробы неизлечимой болезни дифференцирования? Рано или поздно любое

мнимооднородное целое неизбежно расколется вновь, превратившись в скопление разноречивых интересов, партий, сословий и так далее, которые или снова начнут подавлять друг друга, или будут страдать от своего сосуществования. Нет никакого выхода. Мы движемся по заколдованному кругу; но развитие не может вечно кружиться на одном месте. Об этом позаботилась сама природа, освободив на свете место для саламандр.

Не случайно, философствовал далее Вольф Мейнерт, саламандры начали осуществлять свои жизненные возможности только тогда, когда хроническая болезнь человечества, этого плохо сросшегося, все время распадающегося гигантского организма, переходит в агонию. Если не считать некоторых незначительных отклонений, саламандры представляют собой единое грандиозное и однородное целое; они не создали до сих пор резких делений на племена, языки, нации, государства, религии, классы или касты; среди них нет господ и рабов, свободных и несвободных, богатых и бедных; правда, между ними существуют различия, определяемые разделением труда, но по существу это однородная, монолитная масса, состоящая, так сказать, из одинаковых зерен, — масса, во всех своих частях одинаково биологически примитивная, одинаково бедно наделенная дарами природы, одинаково угнетенная, с одинаково низким жизненным уровнем. Последний негр или эскимос живет в несравненно более высоких условиях, пользуясь бесконечно большим богатством материальных и культурных ценностей, чем миллиарды цивилизованных саламандр. И тем не менее нет никаких признаков, которые говорили бы, что саламандры страдают от этого. Наоборот. Мы видим, что они совершенно не нуждаются ни в одной из тех вещей, в которых человек ищет успокоения и облегчения от метафизического ужаса и страха перед жизнью; они обходятся без философии, без веры в загробную жизнь и без искусства; они не знают, что такое фантазия, юмор, мистическое чувство, мечта, игра; они насквозь проникнуты реализмом. Нам, людям, они столь же чужды, как муравьи или сельди; они отличаются от этих существ только тем, что приспособились к другой жизненной среде, а именно — к человеческой цивилизации. Они устроились в этой среде так, как устраиваются собаки в человече-

ских жилищах; они не могут прожить без нее, но от этого они не перестают быть тем, чем они являются: весьма примитивным и мало дифференцированным семейством животных. Они довольствуются тем, что живут и размножаются; они могут даже быть вполне счастливы, так как их не тревожит ощущение какого-либо неравенства. Они совершенно однородны. Они могут поэтому в один прекрасный день или, лучше сказать, *в любой* ближайший день без всякого труда осуществить то, что оказалось не под силу человечеству: единство своего вида во всем мире, свою всемирную общину, — словом, всеобъемлющий мир саламандр. В этот день окончится тысячелетняя агония человеческого рода. На нашей планете не хватит места для двух сил, каждая из которых стремится овладеть всем миром. Одна из них должна будет уступить. Какая именно — это мы уже знаем.

Сейчас на земном шаре насчитывается около двадцати миллиардов цивилизованных саламандр, то есть приблизительно в десять раз больше, чем людей. Отсюда с биологической необходимостью и в согласии с логикой истории вытекает, что саламандры, будучи угнетенными, должны будут освободиться; будучи однородными, они должны будут объединиться; превратившись, таким образом, в величайшую силу, которую когда-либо видел мир, они неминуемо *должны* будут захватить мировое господство. Думаете, они настолько безумны, чтобы пощадить тогда человека? Думаете, они повторят историческую ошибку человека, который испокон веков ошибался, порабощая побежденные нации и классы, вместо того чтобы их истреблять? Который из эгоизма вечно создавал новые различия между людьми, а потом из идеализма и великодушия пытался перекинуть через них мост? Нет, восклицал Вольф Мейнерт, *подобной* исторической бессмыслицы саламандры не допустят — хотя бы уже потому, что они извлекут предостережение из моей книги! Они станут наследниками всей человеческой цивилизации; в их руки попадет все, что мы делали или пытались сделать, желая покорить мир; но они действовали бы против самих себя, если бы захотели вместе с этим наследством принять и нас. Они должны избавиться от людей, если хотят сохранить свою однородность. Если бы они поступили иначе, то рано или поздно мы заразили бы их своей разрушительной двойственностью: создавать

различия и страдать от них. Но на этот счет мы можем быть спокойны; ни одно создание, которое продолжит историю человека, не станет повторять его самоубийственных безумств.

Нет сомнений, что мир саламандр будет счастливее, чем был мир людей; это будет единый, гомогенный мир, подвластный единому духу. Саламандры не будут отличаться друг от друга языком, мировоззрением, религией или потребностями. Не будет между ними неравенства в культурном уровне, не будет классовых противоречий — останется лишь разделение труда. У них не будет ни господ, ни рабов, ибо все они станут служить лишь Великому Коллективу Саламандр — вот их бог, владыка, работодатель и духовный вождь. Будет лишь одна нация с единым уровнем. И мир этот будет лучше и совершеннее, чем был наш. Это — единственно возможный Счастливый Новый Мир. Что ж, уступим ему место; угасающее человечество уже не может совершить ничего иного — только ускорить свой конец, озарив его трагической красотой, пока и это еще не поздно...

Мы изложили здесь взгляды Вольфа Мейнерта как можно более популярно; мы знаем, что от этого много потеряла их сила и глубина, которые в свое время загипнотизировали всю Европу и особенно молодежь, восторженно принявшую веру в упадок и надвигающийся конец человеческого рода. Правда, некоторые политические аналогии побудили германское правительство запретить учение «великого пессимиста», и Вольфу Мейнерту пришлось скрыться в Швейцарию. Тем не менее весь культурный мир с удовлетворением принял теорию Мейнерта о гибели человечества; его книга (в 632 страницы) была переведена на все языки и во многих миллионах экземпляров получила распространение даже среди саламандр.

6. Икс предостерегает

Очевидно, под влиянием пророческой книги Мейнерта литературный и художественный авангард в культурных центрах провозгласил лозунг: «После нас хоть саламандры!» Будущее принадлежит саламандрам. Саламандры —

это культурный переворот. Пусть у них нет своего искусства — зато они не обременены грузом идиотских идеалов, иссохших традиций и того обветшалого, нудного школярского хлама, который назывался поэзией, музыкой, архитектурой, философией или культурой вообще; все это дряхлые слова, от которых нас тошнит. Саламандры еще не поддались искушению пережевывать жвачку изжившего себя человеческого искусства — тем лучше: мы создадим для них новое. Мы, молодые, расчищаем путь для будущего всемирного саламандризма; мы хотим быть первыми саламандрами, мы — саламандры завтрашнего дня!

Так родилось в поэзии молодое направление «саламандрианцев», возникла тритоническая (трехтональная) музыка и пелагическая живопись, которая вдохновлялась образами медуз, морских звезд и кораллов. Работы саламандр по упорядочению побережий были объявлены источником новой красоты и монументальности. Мы сыты природой по горло, — раздавались голоса; пусть гладкие бетонные берега придут на место старых живописных скал! Романтика умерла. Будущие континенты будут очерчены прямыми линиями и примут формы сферических треугольников и ромбов; старый геологический мир должен уступить место миру геометрическому. Словом — это было опять-таки нечто новое и футуристическое, новая сенсация духовной жизни и манифесты новой культуры. Те же, кто не успел своевременно вступить на путь грядущего саламандризма, с горечью чувствовали, что остались за флагом, и мстили за это, проповедуя чистую «человечность», возврат к человеку и к природе и прочие реакционные формулы. В Вене был освистан концерт тритонической музыки, в парижском Салоне Независимых неизвестный злоумышленник изрезал пелагическую картину, выставленную под названием «Capriccio en bleu» [1].

Одним словом, саламандризм победоносно и неудержимо шествовал вперед.

Не было, однако, недостатка и в ретроградных выступлениях, направленных против «саламандромании», как ее тогда называли. Самым принципиальным из них был анонимный английский памфлет, вышедший в свет под заглавием «ИКС предостерегает». Эта брошюра получила значительное распространение, но личность ее автора никогда

---

[1] Голубой каприз (*итал.* и *франц.*).

не была раскрыта; многие считали, что ее написал кто-то из князей церкви, так как в английском языке буква икс («X») служит сокращенным обозначением имени Христа.

В первой главе памфлета автор пробовал дать статистику саламандр, прося простить его за неточность приводимых цифр. Даже по приблизительному подсчету, говорил он, саламандр в настоящее время в семь — двадцать раз больше общего числа людей на земном шаре. Столь же неопределенны и наши сведения о том, сколько есть под водой у саламандр фабрик, нефтяных скважин, водорослевых плантаций, ферм для разведения угрей, установок для использования водной энергии и других естественных энергетических ресурсов; у нас нет даже приблизительных данных о производственной мощности промышленных предприятий саламандр; но меньше всего нам известно, как обстоит дело с вооружением саламандр. Мы знаем, правда, что в получении металлов, деталей машин, взрывчатых веществ и многих химикалий саламандры зависят от людей; но, во-первых, все государства держат в строгом секрете, какое именно оружие и сколько других фабрикатов они поставляют своим саламандрам, а во-вторых, мы поразительно плохо осведомлены о том, что именно изготовляют саламандры в морских глубинах из полуфабрикатов и сырья, покупаемого у людей. Несомненно одно: саламандры отнюдь не желают, чтобы мы знали об этом; в последние годы утонуло или задохнулось так много водолазов, спускавшихся на морское дно, что их гибель никак нельзя приписывать простой случайности. Это, безусловно, признак тревожный как с промышленной, так и с военной точек зрения.

Конечно, продолжал Икс в следующих главах, трудно представить себе, что именно саламандры могли бы или хотели потребовать от людей. Они не могут жить на суше, а мы совершенно не в состоянии помешать их образу жизни под водой. Их жизненная среда и наша четко и навеки отделены одна от другой. Правда, мы требуем, чтобы они выполняли определенные работы; но за это мы кормим большинство из них и поставляем им сырье и товары, которые без нас они вообще не могли бы получить, например — металлы. Но если даже нет практических поводов к какому-либо антагонизму между нами и саламандрами, то, я сказал бы, существует метафизическое противопоставление; глубинным созданиям проти-

востоят создания поверхности, ночным существам — дневные, темная пучина вод — сухой и светлой земле. Граница между землей и водой очерчена более резко, чем до сих пор: *наша* земля соприкасается с *их* водой. Мы могли бы прекрасно жить все время в стороне друг от друга, обмениваясь лишь определенными продуктами и услугами; но трудно избавиться от гнетущего ощущения, что это едва ли удастся. Почему? Я не могу привести никаких определенных доводов; но это ощущение не исчезает; это как бы предчувствие, что в один прекрасный день сами воды поднимутся против земли, чтобы разрешить вопрос — кто кого. Признаюсь, страх мой несколько иррационален, пишет далее Икс; но я почувствовал бы огромное облегчение, если бы саламандры выступили с какими-нибудь претензиями к людям — тогда с ними можно было бы, по крайней мере, договариваться, заключать разные концессии, соглашения и компромиссы: но их молчание — страшно. Я боюсь их непонятной сдержанности. Они могли бы, например, потребовать для себя определенных политических прав; откровенно говоря, законы для саламандр во всех странах немного устарели и стали недостойными столь цивилизованных и количественно столь сильных существ. Следовало бы разработать новые права и обязанности саламандр в смысле более выгодных для них условий; можно было бы подумать о какой-то степени автономности для саламандр; справедливо было бы улучшить их рабочие условия и вознаграждать их труд щедрее. Итак, во многих отношениях можно было бы облегчить их участь, *если бы только они этого требовали.* Тогда мы могли бы пойти на некоторые уступки в их пользу, связав их компенсационными договорами; по меньшей мере мы выиграли бы несколько лет. Но саламандры не требуют ничего; они только повышают производительность своего труда и увеличивают заказы; настала пора спросить себя наконец, на чем остановится то и другое.

Когда-то говорили о желтой, черной или красной опасности; но все это были люди, а мы более или менее можем себе представить, чего хотят люди. И все же, хотя мы пока и понятия не имеем, как и против чего придется человечеству обороняться, одно должно быть ясно: если на одной стороне будут саламандры, то на другой встанет *все* человечество.

Люди против саламандр! Пора уж наконец формули-

ровать это положение. Ведь, положа руку на сердце, нормальный человек инстинктивно ненавидит саламандр, питает к ним отвращение и... боится их. Какая-то леденящая тень ужаса пала на все человечество. Как иначе объяснить эту безумную похоть, эту неутолимую жажду утех и наслаждений, эту оргию разврата, которая охватила теперешних людей? Такого падения нравов мы не знали с тех времен, когда на Римскую империю готовились обрушиться лавины варваров. Это уже не только плоды небывалого материального благоденствия, но и отчаянные усилия заглушить страшное чувство разложения и гибели. Еще последнюю чашу, пока не настал конец! Какое безумие, какой позор! Будто сам бог, по грозному своему милосердию, ниспослал старческую дряблость нациям и классам, которые стремительно несутся в бездну. Хотите прочесть роковые слова «мене — текел — фарес», начертанные огненными знаками над пирующим человечеством? Поглядите на световые надписи, всю ночь горящие над входами в притоны кутежа и распутства. В этом отношении мы, люди, уже приближаемся к саламандрам: мы живем больше ночью, чем днем.

Если бы саламандры не были, по крайней мере, так чудовищно посредственны! — с тоской восклицал Икс. Да, они более или менее образованны; но это делает их тем более ограниченными, ибо они взяли от человеческой цивилизации только то, что есть в ней стандартного и утилитарного, механического и прикладного. Они стоят около человечества, как Вагнер около Фауста, но разница в том, что они удовлетворяются этим и их не гложут никакие сомнения. Страшнее всего, что этот переимчивый, туповатый и самодовольный тип цивилизованной посредственности размножился в миллионах и миллиардах одинаковых единиц. Впрочем, нет, я ошибся: страшнее всего, что они достигли таких успехов. Они научились пользоваться машинами и арифметикой, и оказалось — этого достаточно, чтобы они сделались властителями своего мира. Они выбросили из человеческой цивилизации все, что было лишено непосредственной полезности, всякую игру, фантазию, заветы старины; тем самым они лишили ее всего, что было в ней человеческого, и усвоили только ее оголенно-практическую, утилитарную, техническую сторону. И эта жалкая карикатура на человеческую цивилизацию изумительно процветает; она создает техни-

ческие чудеса, перекраивает нашу старую планету и в конце концов начинает гипнотизировать само человечество. Фауст будет учиться тайнам преуспевающей посредственности у своего ученика и слуги! Одно из двух: или человечество столкнется с саламандрами в борьбе не на жизнь, а на смерть, или же оно бесповоротно осаламандрится. Что касается меня, меланхолически заканчивает Икс, то я предпочел бы первое.

И вот Икс предупреждает вас, продолжал анонимный автор. Еще можно стряхнуть это холодное и скользкое кольцо, которое обвивается вокруг нас. Мы должны избавиться от саламандр. Их стало слишком много. Они вооружены и могут пустить в ход против нас военный материал, о мощи которого мы почти ничего не знаем. Но страшнее всего для нас, людей, не их численность и сила, а их торжествующая над всем неполноценность. Я не знаю, чего нам надо бояться больше: их человеческой цивилизованности или же их коварной, холодной, звериной жестокости. Но когда одно соединяется с другим, то получается нечто невообразимо кошмарное, почти дьявольское. Во имя культуры, во имя христианства и человечества мы должны освободиться от саламандр. И анонимный апостол взывал:

БЕЗУМЦЫ, ПЕРЕСТАНЬТЕ НАКОНЕЦ КОРМИТЬ САЛАМАНДР!

Перестаньте давать им работу, откажитесь от их услуг, порвите с ними, пусть они переселяются куда хотят, где смогут кормиться сами, как и вся остальная водная фауна. Сама природа управится тогда с излишком саламандр; только бы люди, человеческая цивилизация и человеческая история перестали

РАБОТАТЬ НА САЛАМАНДР!

И ПЕРЕСТАНЬТЕ ПОСТАВЛЯТЬ САЛАМАНДРАМ ОРУЖИЕ!

Запретите снабжать их металлами и взрывчатыми веществами, не посылайте им наших машин и изделий! Вы ведь не станете поставлять зубы тиграм и яд змеям; не станете подогревать огнедышащий вулкан или разрушать плотины, чтоб открыть путь наводнениям! Пусть запрещение поставок распространится на все моря, пусть саламандры будут объявлены вне закона, пусть будут они прокляты и изгнаны из нашего мира.

ПУСТЬ БУДЕТ СОЗДАНА ЛИГА НАЦИЙ ПРОТИВ САЛАМАНДР!

Все человечество должно быть готово отстаивать свое существование с оружием в руках. Пусть по инициативе Лиги наций, короля шведского или папы римского будет созвана всемирная конференция всех цивилизованных государств, которая создаст Всемирный союз или, по крайней мере, Союз христианских наций против саламандр! Настал решающий момент, когда под давлением страшной саламандровой опасности и лежащей на людях ответственности, быть может, удастся сделать то, что не под силу было мировой войне, несмотря на все бесконечные жертвы: учреждение Соединенных Штатов Мира. Дай бог! Если бы *это* удалось, — значит, саламандры появились не напрасно, значит, они были орудием промысла божьего.

Этот патетический памфлет вызвал живейшие отголоски в самых широких кругах публики. Пожилые дамы соглашались главным образом с тем, что настало небывалое падение нравов. Наоборот, экономические обзоры газет справедливо указывали, что нельзя ограничивать поставки саламандрам, так как это привело бы к резкому сокращению производства и к тяжелому кризису во многих отраслях промышленности. Да и сельское хозяйство, писали они, рассчитывает на огромный сбыт кукурузы, картофеля и других продуктов, служащих кормом для саламандр; если бы численность саламандр уменьшилась, то на рынке продовольственных продуктов цены сильно упали бы, и земледельцы оказались бы на краю разорения. Что касается «Лиги наций против саламандр», то все ответственные политические инстанции возражали, заявляя, что в ней нет надобности: во-первых, уже есть Лига наций, а во-вторых — Лондонская конвенция, согласно которой морские державы обязались не снабжать своих саламандр тяжелым вооружением. Нелегко, впрочем, требовать такого ограничения вооружений от государства, которое не имеет уверенности в том, что какая-нибудь другая морская держава не вооружает тайно своих саламандр, повышая этим свой военный потенциал в ущерб соседям. Равным образом ни одно государство и ни один континент не могут принудить своих саламандр перебраться куда-нибудь в другое место — хотя бы уже потому, что таким путем они повысили бы, с одной стороны,

сбыт промышленной и земледельческой продукции, а с другой — военную мощь других государств или континентов. И подобных возражений, с которыми вынужден был соглашаться всякий здравомыслящий человек, приводилось много.

Несмотря на это, памфлет «Икс предостерегает» произвел глубокое впечатление и не остался без последствий. Почти во всех странах начало расти движение против саламандр и создавались Союзы истребления саламандр, клубы «антисаламандрианцев», «комитеты защиты человечества» и много других организаций такого же рода. Женевские делегаты от саламандр подверглись оскорблениям, когда собирались на 1213-е заседание комиссии по изучению Саламандрового Вопроса. На заборах вдоль морских побережий появлялись угрожающие надписи, вроде «Смерть саламандрам», «Долой саламандр» и т. и. Много саламандр было побито камнями; ни одна саламандра не осмеливалась больше высовывать днем голову из воды. Несмотря на все это, с *их* стороны не было никаких протестов или ответных действий. Они просто сделались невинными, по крайней мере, днем, и люди, которые заглядывали через их заборы, видели только бесконечную даль равнодушно шумящего моря. «Ишь сволочи, — с ненавистью говорили люди, — даже не показываются».

И вдруг среди этого гнетущего затишья прогремело так называемое

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ЛУИЗИАНЕ.

7. Землетрясение в Луизиане

11 ноября в час ночи жители Нью-Орлеана почувствовали сильный подземный толчок; в негритянских кварталах рухнуло несколько домишек; люди в панике бросились на улицу, но толчки больше не повторились. Бешеным порывом пронесся с воем шквал, разбивший окна и сорвавший крыши в негритянских переулках; несколько десятков человек было убито; потом на город обрушился ливень илистой грязи.

Пока нью-орлеанские пожарные спешили на помощь в наиболее пострадавшие районы, телеграф выстукивал призывы из Морган-Сити, Плэкмайна, Батон-Ружа и Ла-

файета: «SOS! Пришлите спасательные отряды! Мы наполовину сметены землетрясением и циклоном; плотины на Миссисипи грозят прорваться; немедленно шлите саперов, санитарные отряды и всех работоспособных мужнин». Из Форт-Ливингстон пришел только лаконичный запрос: «Алло, у вас там тоже сюрпризы?» Потом была получена телеграмма из Лафайета: «Внимание! Внимание!) Больше всего пострадала Ныо-Иберия. По-видимому, сообщение между Нью-Иберией и Морган-Сити прервано. Пошлите туда помощь!» Вскоре из Морган-Сити сообщили по телефону: «Связи с Нью-Иберией не имеем. Видимо, повреждены автомобильная дорога и железнодорожная линия. Пошлите пароходы и самолеты в бухту Вермильон! Нам самим не нужно больше ничего. У нас около тридцати убитых и ста раненых». Затем пришла телеграмма из Батон-Ружа:

ПО НАШИМ СВЕДЕНИЯМ ХУЖЕ ВСЕГО В НЬЮ-ИБЕРИИ ВСЕ ВНИМАНИЕ НА НЬЮ-ИБЕРИЮ К НАМ ШЛИТЕ ТОЛЬКО РАБОЧИХ НО ПОСКОРЕЕ ИНАЧЕ У НАС ОБРУШАТСЯ ПЛОТИНЫ ДЕЛАЕМ ЧТО МОЖЕМ

Следующая телеграмма:

АЛЛО АЛЛО ШРИВПОРТ НЕЙЧИТОКС АЛЕКСАНДРИЯ ПОСЛАЛИ СПАСАТЕЛЬНЫЕ ПОЕЗДА В НЬЮ-ИБЕРИЮ АЛЛО АЛЛО МЕМФИС ВИ-ОНА ДЖЕКСОН ОТПРАВИЛИ ПОЕЗДА К НЬЮ-ОРЛЕАНУ ВЕСЬ АВТОТРАНСПОРТ МОБИЛИЗОВАН ПЕРЕБРАСЫВАЕТ ЛЮДЕЙ К ПЛОТИНАМ В БАТОН-РУЖЕ

И еще:

АЛЛО ГОВОРИТ ПАСКАГУЛА У НАС НЕСКОЛЬКО УБИТЫХ НУЖНА ЛИ ВАМ ПОМОЩЬ

Тем временем пожарные команды, санитарные машины и спасательные поезда уже мчались по направлению Морган-Сити — Паттерсон — Франклин. В пятом часу утра было получено первое более или менее точное сообщение: «Железнодорожный путь между Франклином и Нью-Иберией поврежден наводнением в семи километрах к западу от Франклина; по-видимому, в результате землетрясения там образовалась глубокая трещина, начинающаяся от бухты Вермильон, и в нее хлынуло море. Насколько можно сейчас установить, эта трещина идет от бухты Вермильон на восток — северо-восток, поворачивает близ Франклина на север, врезывается в Большое озеро и затем тянется дальше к северу до линии Плэкмайн — Лафайет, где она заканчивается в старой озерной впадине;

ответвление этой трещины связывает Большое озеро с находящимся к западу от него Наполеонвильским озером. Общая протяженность трещины около восьмидесяти километров, ширина — от двух до одиннадцати километров. Вероятно, здесь был эпицентр землетрясения. Можно считать величайшим счастьем, что трещина миновала все более или менее крупные населенные пункты. Тем не менее число человеческих жертв довольно значительно. В Франклине выпало илистых осадков на шестьдесят, в Паттерсоне — на сорок пять сантиметров. Жители побережья бухты Ачафалайя сообщают, что во время землетрясения море отступило приблизительно на три километра, а потом ринулось на берег валом в тридцать метров высоты. Опасаются, что на побережье погибло много людей. С Нью-Иберией все еще нет связи».

Первым поспел к Нью-Иберии поезд, отправленный с запада, из Нейчитокса; сообщение, посланное окольным путем через Лафайет и Батон-Руж, было страшно. Не доезжая нескольких километров до Нью-Иберии, поезд вынужден был остановиться: полотно дороги занесло илом. Беженцы рассказывали, что в двух километрах на восток от города начал действовать «грязевой вулкан», который в одно мгновение выбросил огромную массу жидкого холодного ила; по их словам, Нью-Иберия погребена под илом. Дальнейшее продвижение поезда в темноте и под непрекращающимся дождем крайне затруднительно. Связи с Нью-Иберией все еще нет.

Одновременно было получено сообщение из Батон-Ружа:

НА ПЛОТИНАХ МИССИСИПИ УЖЕ РАБОТАЮТ НЕСКОЛЬКО ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК ТЧК ХОТЬ БЫ ПРЕКРАТИЛСЯ ДОЖДЬ ТЧК НУЖНЫ КИРКИ ЛОПАТЫ ГРУЗОВИКИ ЛЮДИ ТЧК ПОСЫЛАЕМ ПОМОЩЬ В ПЛЭКМАЙН ТЧК ЭТИ ГУБОШЛЕПЫ НЕ МОГУТ СПРАВИТЬСЯ САМИ.

Телеграмма из Форт-Джексон:

ПОЛОВИНЕ ВТОРОГО УТРА МОРСКОЙ ВОЛНОЙ СНЕСЕНО ТРИДЦАТЬ ДОМОВ ЧТО ЭТО БЫЛО НЕ ЗНАЕМ СМЫЛО ОКОЛО СЕМИДЕСЯТИ ЧЕЛОВЕК ТОЛЬКО СЕЙЧАС ИСПРАВИЛ АППАРАТ ПОЧТОВУЮ КОНТОРУ ТОЖЕ УНЕСЛО АЛЛО ТЕЛЕГРАФИРУЙТЕ СКОРЕЙ ЧТО ЭТО БЫЛО ТЕЛЕГРАФИСТ ФРЕД ДАЛЬТОН АЛЛО ПЕРЕДАЙТЕ МИННИ ЛАКОСТ ЧТО СО МНОЙ НИЧЕГО НЕ СЛУЧИЛОСЬ ТОЛЬКО СЛОМАНА РУКА И УНЕСЛО ВОДОЙ ВЕЩИ НО ГЛАВНОЕ АППАРАТ ОПЯТЬ РАБОТАЕТ О КЕЙ ФРЕД

Самое короткое сообщение пришло из Порт-Идса:

ЕСТЬ УБИТЫЕ БЭРИВУД ЦЕЛИКОМ СНЕСЕН МОРЕ

В это время, утром — шел уже восьмой час — возвратились первые самолеты, посланные в пострадавшие районы. Летчики рассказали: все побережье от Порт-Артура (штат Техас) до Мобиле (штат Алабама) было ночью залито гигантской волной; везде видны разрушенные или поврежденные дома. Юго-восточная часть Луизианы, начиная от дороги озеро Чарльза — Александрия — Нейчиз, и южная часть Миссисипи (до линии Джексон — Хэттисбург — Паскагула) занесены илом. В бухте Вермильон в сушу врезался новый залив шириной от трех до десяти километров, доходящий вплоть до Плэкмайна в виде длинного фьорда. Нью-Иберия, вероятно, сильно пострадала, но видно много людей, отгребающих ил, под которым похоронены дома и дороги. Приземлиться оказалось невозможно. Особенно много человеческих жертв, очевидно, на побережье. У Пойнт-оф-Эра тонет пароход, кажется мексиканский. У островов Шанделур море покрыто обломками. Дождь прекращается во всем районе. Видимость хорошая.

Первый экстренный выпуск нью-орлеанских газет вышел уже в пятом часу утра; с наступлением дня появлялись новые выпуски с новыми подробностями; к восьми часам утра в газетах появились фотографические снимки пострадавших районов и карта нового залива. В половине девятого было напечатано интервью выдающегося сейсмолога из Мемфисского университета — д-ра Уилбура Р. Броунелла о причинах землетрясения в Луизиане.

Пока еще рано делать окончательные выводы, заявил знаменитый ученый, но, по-видимому, землетрясение не стоит ни в какой связи со все еще интенсивной вулканической деятельностью в Центральной Мексике, лежащей как раз против пострадавшего района. Сегодняшнее землетрясение вызвано скорее тектоническими причинами, то есть давлением горных масс, с одной стороны, Скалистых гор и Сьерра-Мадре, а с другой — Аппалачского нагорья, на обширную впадину Мексиканского залива, продолжением которой является широкая низина в нижнем течении Миссисипи. Трещина, начинающаяся в бухте Вермильон, не больше чем новый и сравнительно ничтожный излом, мелкий эпизод того геологического оседания, в результате которого образовались Мексиканский залив и Карибское море с кольцом Больших и Малых

Антильских островов, этим остатком некогда существовавшей здесь горной цепи. Не подлежит сомнению, что оседание земной поверхности в Центральной Америке будет продолжаться, сопровождаемое новыми колебаниями почвы, изломами и трещинами. Не исключено, что Вермильонская трещина — только увертюра активного тектонического процесса, центр которого лежит в Мексиканском заливе; в этом случае мы можем оказаться свидетелями грандиозных геологических катастроф, в результате которых почти пятая часть территории Соединенных Штатов сделается морским дном. Зато, если бы это случилось, мы могли бы с известной вероятностью ожидать, что начнет подниматься дно моря вблизи Антильских островов или еще восточнее — в тех местах, где древний миф предполагал затонувшую Атлантиду.

Вместе с тем, продолжал успокоительным тоном блестящий ученый, нет оснований серьезно опасаться проявлений вулканической активности в пострадавшем районе; мнимые кратеры, извергающие ил, — не что иное, как взрывы болотных газов, начавшиеся в Вермильонской трещине. Не было бы ничего удивительного, если бы в наносах Миссисипи образовались огромные подземные газовые пузыри, которые при соприкосновении с воздухом могли дать взрыв и поднять вверх сотни тысяч тонн ила и воды. Впрочем, повторил д-р У. Р. Броунелл, для окончательного объяснения катастрофы потребуются дальнейшие исследования.

Пока броунелловские рассуждения о геологических катастрофах сбегали с ротационных машин, губернатор штата Луизиана получил из Форт-Джексона телеграмму следующего содержания:

СОЖАЛЕЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЖЕРТВАХ ТЧК МЫ СТАРАЛИСЬ ОБОЙТИ ВАШИ ГОРОДА ОДНАКО НЕ УЧЛИ ОТДАЧИ И КОНТРУДАРА МОРСКОЙ ВОДЫ ПРИ ВЗРЫВЕ ТЧК МЫ НАСЧИТАЛИ ТРИСТА СОРОК ШЕСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЖЕРТВ НА ВСЕМ ПОБЕРЕЖЬЕ ТЧК ВЫРАЖАЕМ СОБОЛЕЗНОВАНИЕ ТЧК ВЕРХОВНЫЙ САЛАМАНДР ТЧК АЛЛО АЛЛО У АППАРАТА ФРЕД ДАЛЬТОН ПОЧТОВАЯ КОНТОРА ФОРТ-ДЖЕКСОН ТОЛЬКО ЧТО ОТСЮДА УШЛИ ТРИ САЛАМАНДРЫ ОНИ ЯВИЛИСЬ НА ПОЧТУ ДЕСЯТЬ МИНУТ ТОМУ НАЗАД ПОДАЛИ ТЕЛЕГРАММУ НАПРАВИЛИ НА МЕНЯ РЕВОЛЬВЕРЫ НО УЖЕ УШЛИ ОТВРАТИТЕЛЬНЫЕ ТВАРИ ЗАПЛАТИЛИ И ПОБЕЖАЛИ К ВОДЕ ИХ ПРЕСЛЕДОВАЛА ТОЛЬКО СОБАКА АПТЕКАРЯ КТО ИМ ДАЛ ПРАВО ХОДИТЬ ПО ГОРОДУ БОЛЬШЕ НИЧЕГО НОВОГО ПЕРЕДАЙТЕ МИННИ ЛАКОСТ ЧТО Я ЦЕЛУЮ ЕЕ ТЕЛЕГРАФИСТ ФРЕД ДАЛЬТОН

Губернатор штата Луизиана долго качал головой над этой телеграммой. Должно быть, отчаянный шутник этот Фред Дальтон, решил он в конце концов; лучше не передавать эту телеграмму газетам.

8. Верховный Саламандр предъявляет требования

Через три дня после землетрясения в Луизиане разнеслись вести о новой геологической катастрофе — на этот раз в Китае. Сопровождаемый мощным раскатистым гулом, подземный удар разорвал надвое морское побережье в провинции Цзянсу к северу от Нанкина, почти посредине между устьем Янцзы и старым руслом Хуанхэ; в образовавшуюся трещину хлынуло море и слилось с большими озерами Баньюном и Хунцзу между городами Хуанганом и Фучжаном. Есть сведения, что в результате этого землетрясения Янцзы покидает под Нанкином свое прежнее русло и направляет свое течение к озеру Тай, а оттуда к Ханьчжоу. Число человеческих жертв нельзя пока установить даже приблизительно. Сотни тысяч человек спасаются бегством в северные и южные провинции. Японские военные суда получили приказ направиться к пострадавшему побережью.

Хотя землетрясения в Цзяну по своим размерам далеко превосходило луизианское бедствие, на него, в общем, обратили мало внимания, так как мир уже привык к катастрофам в Китае, тем более что там, как видно, не ставят ни во что какой-нибудь миллион человеческих жизней; к тому же с научной точки зрения было ясно, что речь идет о простом тектоническом землетрясении, связанном с существованием углубления на дне океана у островов Рюкю и у Филиппин.

Но еще через три дня европейские сейсмографы отметили новые колебания почвы, эпицентр которых находился где-то у островов Зеленого мыса. Более подробные сообщения гласили, что от сильного землетрясения пострадало побережье Сенегамбии к югу от Сен-Луи. Между городами Лампул и Мборо образовалась глубокая трещина, в которую хлынуло море: она тянется по направлению к Меринагену вплоть до Вади Димар. По словам очевидцев, из земли со страшным грохотом вырвался столб огня и пара, разметав на далекое расстояние песок

и камни; затем стал слышен рев моря, хлынувшего в образовавшуюся впадину. Человеческих жертв немного.

Это третье по счету землетрясение вызвало уже нечто вроде паники.

БЫТЬ МОЖЕТ, ОЖИВАЕТ ВУЛКАНИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗЕМЛИ? —

спрашивали утренние газеты.

ЗЕМНАЯ КОРА НАЧИНАЕТ ТРЕСКАТЬСЯ! —

объявляли вечерние выпуски. Специалисты высказали предположение, что сенегамбская расселина возникла просто вследствие извержения вулканической «жилы», связанной с вулканом Пико на острове Фого, одном из островов Зеленого мыса; этот вулкан действовал до 1847 года, а с тех пор считался потухшим. Таким образом, западноафриканское землетрясение не имеет ничего общего с сейсмическими явлениями в Луизиане и в Цзянсу, которые носят явно тектонический характер. Но людям, по-видимому, было все равно, разверзается ли земля по тектоническим или по вулканическим причинам. Факт тот, что в этот день все церкви были переполнены толпами молящихся. В некоторых странах пришлось и ночью оставить храмы открытыми.

Двадцатого ноября около часа ночи радиослушатели в большей части Европы отметили сильные помехи в эфире, как если бы начала работать какая-то новая, необычайно мощная передаточная станция. Они нашли ее на волне двести три метра: был слышен какой-то гул, похожий на шум машин или морских волн; в этот протяжный бесконечный рокот внезапно ворвался страшный, скрипучий голос; все описывали его одинаково: глухой, квакающий, как бы искусственный голос, к тому же невероятно усиленный мегафоном; этот лягушечий голос возбужденно кричал:

— Hallo, hallo, hallo! Chief Salamander speaking! Hallo, Chief Salamander speaking! Stop all broadcasting, you men! Stop your broadcasting! Hallo, Chief Salamander speaking! [1]

---

[1] Алло, алло, алло! Будет говорить Верховный Саламандр! Алло, будет говорить Верховный Саламандр! Люди, прекратите всякое радиовещание! Прекратите ваше радиовещание! Алло, будет говорить Верховный Саламандр! (*англ.*)

Затем другой, странно глухой голос спросил:

— Ready? [1]

— Ready!

Послышался треск, как будто щелкнул переключатель; неестественно приглушенный голос произнес:

— Attention! Attention! Attention! Hallo! Now! [2]

И тогда среди ночной тишины раздался хриплый, утомленный, но все же повелительный голос:

— Алло, люди! Говорит Луизиана. Говорит Цзянсу. Говорит Сенегамбия. Сожалеем о человеческих жертвах. Мы не хотим причинять вам напрасный вред. Мы только хотим, чтобы вы эвакуировали морские побережья в тех местах, которые мы вам заранее укажем. Если послушаетесь, избежите прискорбных бедствий. Впредь будем сообщать вам не менее чем за две недели, в каком именно месте мы намерены расширить наше море. Пока мы производили только технические испытания. Ваши взрывчатые вещества вполне оправдали себя. Благодарим за них.

Алло, люди! Сохраняйте спокойствие. У нас нет враждебных по отношению к вам замыслов. Но нам нужно для жизни больше воды, больше берегов, больше отмелей. Нас слишком много. Нам уже не хватает места на ваших побережьях. Поэтому мы должны взламывать ваши континенты. Мы превратим их в острова и бухты. Таким путем общая длина береговых линий всего мира увеличится в пять раз. Мы будем сооружать новые отмели. Мы не можем жить в глубоких водах. Ваши континенты понадобятся нам как материал для засыпания глубоких мест. Мы ничего не имеем против вас, но нас слишком много. Вы можете пока перебраться во внутренние области. Можете укрыться в горах. Горы мы будем разрушать в последнюю очередь.

Вы хотели нас. Вы распространили нас по всему свету. Получайте же, что хотели. Мы намерены поладить с вами добром. Вы будете доставлять нам сталь для наших сверл и кирок. Будете доставлять нам взрывчатые вещества. Будете доставлять нам торпеды. Будете работать для нас. Без вас мы не сумеем ломать старые континенты. Алло, люди! От имени всех саламандр мира Верховный

---

[1] Готово? (*англ.*)

[2] Внимание! Внимание! Внимание! Алло! Начинаем! (*англ.*)

Саламандр предлагает вам сотрудничество. Вы будете вместе с нами разрушать ваш мир. Благодарим вас.

Утомленный хриплый голос умолк, и снова стал слышен гул не то машин, не то моря.

— Алло, алло, люди, — опять раздался скрипучий голос, — передаем для вас легкую музыку в вашей граммофонной записи. Сейчас будет исполнен Марш тритонов из постановочного фильма «Посейдон».

Газеты, конечно, объявили эту ночную передачу «грубой и неуклюжей мистификацией» со стороны какой-нибудь нелегальной радиостанции. Тем не менее в следующую же ночь миллионы людей сидели у своих приемников, ожидая, не раздастся ли вновь вчерашний страшный, настойчивый, скрипучий голос. Он раздался ровно в час ночи, сопровождаемый сильным плещущим гулом.

— Good evening, you people![1] — весело заквакал он. — В начале передачи мы предлагаем вам прослушать граммофонную пластинку — танец саламандр из вашей оперетты «Галатея».

Когда замолкла громыхающая, непристойная музыка, снова заскрипел тот же ужасный, как будто чему-то радующийся голос:

— Алло, люди! Только что потоплена торпедой английская канонерка «Эребус», которая пыталась уничтожить нашу передаточную станцию в Атлантическом океане. Экипаж погиб. Алло, вызываем английское правительство. Пароход «Аменхотеп» из Порт-Саида отказался сдать нам в нашем порту Макаллаху заказанные нами взрывчатые вещества. Он якобы получил приказ приостановить дальнейшую доставку. Пароход потоплен. Советуем английскому правительству отменить по радио свой приказ не позже двенадцати часов завтрашнего дня; в противном случае будут потоплены пароходы «Виннипег», «Манитоба», «Онтарио» и «Квебек», следующие с грузом зерна из Канады в Ливерпуль. Алло! Вызываем французское правительство. Отзовите крейсеры, которые идут в Сенегамбию. Нам еще надо расширить вновь образо-

[1] Добрый вечер, люди! (*англ.*)

вавшуюся там бухту. Верховный Саламандр приказал передать обоим правительствам его твердую волю установить с ними самые дружественные отношения. Передача сообщений закончена. Передаем ваш романс «Саламандрия» (эротический вальс) в граммофонной записи.

На следующий день пополудни к юго-западу от Мизен-Хед были потоплены пароходы «Виннипег», «Манитоба», «Онтарио» и «Квебек». Волна панического ужаса захлестнула весь мир. Вечером британское радио сообщило, что правительство его величества запретило поставлять саламандрам какие бы то ни было продовольственные продукты, химикалии, машины, оружие и металлы. В час ночи в эфире заскрипел возбужденный голос:

— Hallo, hallo, hallo! Chief Salamander speaking! Hallo, Chief Salamander is going to speak! [1]

И вслед за тем раздался усталый, хриплый, сердитый голос:

— Алло, люди! Алло, люди! Алло, люди! Думаете, мы дадим уморить себя голодом? Бросьте ваши глупости! Все, что вы делаете, обернется против вас! От имени всех саламандр мира вызываю Великобританию. С настоящего момента мы объявляем полную блокаду Британских островов, за исключением Ирландского свободного государства. Я закрываю Ла-Манш. Закрываю Суэцкий канал. Закрываю Гибралтарский пролив для всех судов. Все британские порты блокированы. Все британские суда на всех морях будут торпедированы. Алло, вызываю Германию. Увеличиваю в десять раз заказы на взрывчатые вещества. Направляйте немедленно на наш главный склад в Скагерраке. Алло, вызываю Францию! Сдайте заказанные торпеды в ускоренном порядке в подводные форты СЗ, БФФ и Запад-5. Алло, люди! Предупреждаю вас. Если вы ограничите доставку нам продовольственных продуктов, я сам сниму их с ваших пароходов. Еще раз предупреждаю в а с . — Усталый голос понизился до глухого, почти неразборчивого хрипа.

— Алло, вызываю Италию. Приготовьтесь к эвакуации провинций Венеция, Падуя, Удине. В последний раз предупреждаю вас, люди. Прекратите ваши глупости.

---

[1] Верховный Саламандр будет говорить! (*англ.*)

Наступила длительная пауза, и слышен был только шум, похожий на рокот ночного холодного моря. А затем снова зазвучал веселый квакающий голос:

— Теперь мы будем передавать последнюю модную новинку «Тритон-трот» в вашей граммофонной записи.

9. Конференция в Вадузе

Это была странная война, если вообще можно назвать ее войной; дело в том, что не существовало никакого саламандрового государства или признанного саламандрового правительства, которому можно было бы официально объявить войну. Первым государством, которое оказалось в состоянии войны с саламандрами, была Великобритания. В самом начале военных действий почти все британские суда, стоявшие в портах, были потоплены саламандрами; не было никакой возможности предотвратить это. В относительной безопасности были в тот момент только суда, находившиеся в открытом море, да и то лишь до тех пор, пока они крейсировали в глубоководных местах; так спаслась часть британского военного флота, прорвавшая саламандровую блокаду у острова Мальта и сосредоточившаяся над глубинами Ионического моря; но и эти суда были выслежены небольшими подводными лодками саламандр и потоплены одно за другим. В течение шести недель Великобритания потеряла четыре пятых всего своего тоннажа.

История дала Джону Буллю возможность еще раз проявить свое пресловутое упрямство. Правительство его величества не вступало в переговоры с саламандрами и не отменяло запрещения делать им поставки.

«Британский джентльмен, — заявил английский премьер от имени всей нации, — покровительствует животным, но не вступает в соглашения с ними».

Уже через несколько недель на Британских островах ощущался катастрофический недостаток продовольствия. Только дети получали ежедневно по ломтику хлеба и по нескольку ложечек чая или молока; английский народ с беспримерным мужеством терпел эти лишения, хотя и пал до такой степени, что съел всех своих скаковых лошадей. Принц Уэльский собственноручно вспахал первую грядку на стадионе Роял-Гольф-клуба, где решено

было выращивать морковь для лондонских детских приютов. На теннисных кортах в Уимблдоне посадили картофель, на ипподроме в Аскоте посеяли пшеницу.

— Мы пойдем на величайшие жертвы, — говорил в парламенте лидер консервативной партии, — но не посрамим британской чести.

Так как британские берега были полностью заперты в кольце блокады, то у Англии оставался только один путь для снабжения и для сношений с колониями, а именно — воздух. «Нам нужно Сто Тысяч Самолетов», — заявил министр авиации, и все, что имело руки и ноги, взялось за осуществление этого лозунга; принимались лихорадочные меры к тому, чтобы изготовлять по тысяче самолетов в день; но тут вмешались правительства других европейских держав с резким протестом против подобного нарушения равновесия в воздухе; британскому правительству пришлось отказаться от своей программы авиационного строительства и построить не больше двадцати тысяч самолетов, да и то в течение пяти лет. Англии не оставалось ничего другого, как по-прежнему голодать или платить умопомрачительные цены за продовольствие, доставляемое на самолетах других держав; фунт хлеба стоил десять шиллингов; пара крыс — одну гинею, коробочка икры — двадцать пять фунтов стерлингов. Это были золотые денечки для континентальной торговли, промышленности и сельского хозяйства. Так как английский военный флот был уничтожен в первые же часы войны, то операции против саламандр велись только с суши и с воздуха. Сухопутные войска палили в воду из артиллерийских орудий и пулеметов, но, по-видимому, не причиняли саламандрам больших потерь; несколько лучший результат давали бомбы, сбрасываемые самолетами в море. В свою очередь саламандры обстреливали из подводных орудий британские порты, обратив их в груду развалин. Из устья Темзы они бомбардировали даже Лондон; военное командование сделало тогда попытку отравить Темзу и некоторые бухты бактериями, керосином и щелочными веществами. Саламандры в ответ пустили на английское побережье, на протяжении ста двадцати километров, облако ядовитых газов. Это была только демонстрация, но повторения не потребовалось; впервые в истории британское правительство вынуждено было просить другие державы о помощи, ссылаясь на запрещение газовой войны.

В следующую ночь по радио раздался хриплый, гневный, напряженный голос Верховного Саламандра:

— Алло, люди! Пусть Англия не дурит! Если вы будете отравлять нам воду, мы отравим вам воздух. Мы пользуемся вашим же собственным оружием. Мы не варвары. Мы не хотим воевать против людей. Мы хотим только получить возможность жить. Мы предлагаем вам мир. Вы будете поставлять нам ваши продукты и продадите нам ваши континенты. Мы готовы хорошо заплатить за них. Мы предлагаем вам больше, чем мир. Мы предлагаем вам торговлю. Предлагаем вам золото за вашу сушу. Алло, вызываю правительство Великобритании. Сообщите мне вашу цену за южную часть Линкольншира у бухты Уэш. Даю вам три дня на размышление. На это время прекращаю все военные действия, кроме блокады,

В то же мгновение на английском побережье сразу прекратился грохот подводной канонады. Замолкли орудия и на суше. Наступила странная, почти жуткая тишина. Британское правительство объявило в парламенте, что оно не намерено вступать в переговоры с саламандрами. В районах бухты Уэш и Линн-Дип жителей предупредили, что предстоит, видимо, большое наступление саламандр и было бы лучше эвакуировать побережье и перебраться внутрь страны; однако приготовленные для этой цели поезда, автомобили и автобусы увезли только детей и часть женщин. Мужчины все остались на месте, у них просто не умещалось в голове, что англичанин может потерять свою территорию. Ровно через минуту после истечения трехдневного перемирия прозвучал первый выстрел; это выстрелило орудие королевского Северо-Ланкаширского полка под звуки полкового марша «Алая роза». Вслед за этим раздался страшный взрыв. Устье реки Нен провалилось до самого Уисбека, и туда хлынуло море из бухты Уэш. Помимо всего прочего, под волнами погибли знаменитые развалины Уисбекского аббатства, замок Голланд-Касль, харчевня «Святой Георгий и дракон» и другие исторические памятники.

На следующий день, отвечая на запрос в парламенте, английское правительство заявило, что в военном отношении для обороны британского побережья было сделано все возможное; что не исключена возможность новых нападений на британскую территорию, и притом в гораздо большем масштабе; что правительство его величества не

может, однако, вести переговоры с неприятелем, который не щадит мирных жителей и даже женщин. *(Возгласы одобрения.)* Сейчас речь идет о судьбе уже не только Англии, но всего цивилизованного мира. Великобритания готова обсудить вопрос о международных гарантиях, которые поставили бы известные границы этим ужасным варварским нападениям, угрожающим всему человечеству.

Через несколько недель после этого в Вадузе собралась всемирная конференция.

Она состоялась в Вадузе, потому что Высоким Альпам не грозила опасность со стороны саламандр и потому что там укрывалось уже большинство состоятельных людей и видных деятелей из приморских стран. По общему признанию, конференция с большой энергией взялась за разрешение всех актуальных мировых вопросов. Прежде всего все страны (кроме Швейцарии, Абиссинии, Афганистана, Боливии и других государств, не имеющих морских побережий) принципиально отказались признать саламандр самостоятельной воюющей стороной, главным образом из опасения, как бы после этого их собственные саламандры не объявили себя подданными саламандрового государства; не исключена ведь была возможность, что признанное саламандровое государство пожелает распространить свой государственный суверенитет на все воды и берега, где живут саламандры. Отсюда следовал вывод, что юридически и практически невозможно объявить саламандрам войну или оказать на них международное давление каким-нибудь другим способом; каждое государство имеет право выступать только против *собственных* саламандр; это чисто внутреннее дело. Не может поэтому быть и речи о коллективном дипломатическом или военном демарше против саламандр. Международная помощь государствам, подвергшимся нападению саламандр, может выразиться только в иностранных займах на нужды обороны.

Тогда Англия предложила, чтобы все государства обязались, по крайней мере, прекратить поставку оружия и взрывчатых веществ саламандрам. По зрелом размышлении это предложение было отвергнуто, во-первых, потому, что такое обязательство уже содержится в Лондонской конвенции; во-вторых, нельзя запретить какому бы то ни было государству снабжать своих саламандр техни-

ческим оборудованием «исключительно для собственных надобностей» и оружием «для обороны собственных берегов»; в-третьих, приморские государства, «естественно, заинтересованы в сохранении добрых отношений с жителями моря», а потому признают целесообразным «временно воздержаться от всяких мероприятий, которые саламандры могли бы счесть репрессивными»; тем не менее все государства готовы обещать, что они будут поставлять оружие и взрывчатые вещества также и государствам, которые подвергнутся нападению саламандр.

На закрытом совещании было принято предложение Колумбии — начать хотя бы неофициальные переговоры с саламандрами. Верховному Саламандру будет предложено послать на конференцию своих уполномоченных. Представитель Великобритании резко возражал против этого, отказываясь заседать совместно с саламандрами; в конце концов он согласился временно уехать в Энгадин «для поправки здоровья». В ту же ночь правительственные радиостанции всех морских держав передали его превосходительству господину Верховному Саламандру приглашение назначить своих представителей и послать их в Вадуз. Ответом было хриплое: «Ладно; на этот раз мы еще придем к вам; в будущем ваши делегаты отправятся под воду ко мне». А потом — официальное сообщение: «Уполномоченные саламандр прибудут послезавтра вечером Восточным экспрессом на станцию Букс».

С величайшей поспешностью делались все приготовления для приема саламандр; в Вадузе были устроены роскошнейшие купальные помещения, и экстренный поезд привез в цистернах морскую воду для саламандровых делегатов. На вокзале в Буксе должна была состояться вечером лишь так называемая неофициальная встреча; туда прибыли только секретари делегаций, представители местных властей и около двухсот журналистов, фотографов и кинооператоров. Ровно в 6 часов 25 минут Восточный экспресс подошел к станции. Из салон-вагона на красный ковер спустились три высоких элегантных господина, а за ними несколько прекрасно вымуштрованных щеголеватых секретарей с туго набитыми портфелями.

— Где же саламандры? — вполголоса спросил кто-то.

Две-три официальные персоны нерешительно двинулись навстречу трем элегантным господам; первый из этих господ сказал негромко и торопливо:

— Мы делегаты от саламандр. Я профессор д-р ван Дотт из Гааги. Мэтр Россо Кастелли, адвокат из Парижа. Доктор Маноэль Карвало, адвокат из Лиссабона.

Присутствовавшие раскланялись и представились друг другу.

— Так вы, значит, не саламандры, — произнес с облегчением французский секретарь.

— Конечно, нет, — сказал д-р Россо Кастелли, — мы их адвокаты. Пардон, эти господа, кажется, хотят заснять нас для кино.

И улыбающихся делегатов от саламандр стали усердно снимать для кино и газет. Участвовавшие во встрече секретари делегаций не скрывали своего удовлетворения. Очень благоразумно и деликатно со стороны саламандр послать в качестве своих представителей обыкновенных людей. С людьми удобнее разговаривать. А главное — отпадают некоторые неприятные затруднения светского характера.

В тот же вечер состоялось первое совместное совещание с делегатами саламандр. На повестке стоял вопрос — как бы поскорее восстановить мир между саламандрами и Великобританией. Слово попросил профессор ван Дотт.

— Не подлежит сомнению, — сказал он, — что саламандры подверглись нападению со стороны Великобритании; британская канонерка «Эребус» напала в открытом море на судно с радиопередатчиком саламандр; британское адмиралтейство нарушило мирные торговые сношения с саламандрами, запретив пароходу «Аменхотеп» выгрузить заказанные взрывчатые вещества; наконец, наложив эмбарго на всякие поставки, британское правительство тем самым начало блокаду саламандр. Саламандры не могли обратиться с жалобой на эти враждебные действия ни в Гаагу, так как Лондонская конвенция не предоставила саламандрам права жаловаться, ни в Женеву, поскольку они не состоят членами Лиги наций; им не оставалось поэтому ничего другого, как прибегнуть к самообороне. Несмотря на это, Верховный Саламандр готов прекратить военные действия, но лишь на следующих условиях: 1. Великобритания принесет извинения саламандрам за вышеперечисленные обиды. 2. Она отменит все запреты на поставки саламандрам. 3. В виде компенсации она безвозмездно уступит

саламандрам район нижнего течения рек в Пенджабе, чтобы они могли устроить там новые берега и морские бухты.

Председатель конференции ответил, что он сообщит эти условия своему уважаемому другу, представителю Великобритании, который сейчас отсутствует; он высказал, однако, опасение, что эти условия едва ли окажутся приемлемыми; тем не менее позволительно надеяться, что они могут послужить основой для дальнейших переговоров.

Следующим пунктом порядка дня была жалоба Франции по поводу сенегамбского побережья, которое саламандры взорвали, посягнув таким образом на французскую колониальную империю. Слова попросил представитель саламандр, известный парижский адвокат д-р Жюльен Россо Кастелли.

— Докажите это! — воскликнул он. — Мировые авторитеты в области сейсмографии разъясняют, что землетрясение в Сенегамбии — вулканического происхождения и было связано с возобновлением активности вулкана Пико на острове Фого. Здесь, — продолжал д-р Россо Кастелли, хлопнув ладонью по своему портфелю, — лежат их научные заключения. Если у вас есть доказательства, что землетрясение в Сенегамбии вызвано действиями моих клиентов, то пожалуйста, — я жду этих доказательств.

Бельгийский делегат Крё. Ваш Верховный Саламандр сам заявил, что это сделали саламандры!

Профессор ван Дотт. Его выступление было неофициальным.

Мэтр Россо Кастелли. Мы уполномочены опровергнуть упомянутое выступление. Я требую заслушать технических экспертов по вопросу о том, можно ли искусственным способом проделать в земной коре трещину длиною в шестьдесят семь километров. Предлагаю, чтобы нам показали практический опыт в подобном же масштабе. Пока таких доказательств нет, господа, будем говорить о вулканической деятельности. И все же Верховный Саламандр готов купить у французского правительства морскую бухту, которая образовалась в сенегамбской трещине и вполне годится для того, чтобы основать там поселение саламандр. Мы уполномочены договориться с французским правительством о цене.

Французский делегат министр Деваль. Если рассматривать это как возмещение за причиненный ущерб, то мы готовы начать переговоры.

Мэтр Россо Кастелли. Очень хорошо! Правительство саламандр настаивает, однако, чтобы соответствующий договор о купле-продаже распространялся также на департамент Ланд от устья Жиронды до Байонны, что составляет территорию площадью в шесть тысяч семьсот двадцать квадратных километров. Другими словами, правительство саламандр готово купить у Франции этот кусок ее Юга.

Министр Деваль *(родом из Байонны, депутат от Байонны).* Чтобы ваши саламандры превратили часть Франции в морское дно? Никогда! Никогда!

Д-р Россо Кастелли. Франция пожалеет об этих словах, мусье. Сегодня еще речь шла о покупной цене.

На этом заседание было прервано.

На следующем заседании предметом переговоров было общее международное предложение саламандрам, чтобы вместо недопустимого повреждения старых густонаселенных континентов они строили для себя новые побережья и острова; в этом случае им будет оказан широкий кредит, а новые континенты и острова будут признаны потом их самостоятельной и суверенной государственной территорией.

Д-р Маноэль Карвало *(крупнейший лиссабонский юрист)* поблагодарил конференцию за это предложение, которое он передаст правительству саламандр. «Однако всякому ребенку ясно, — сказал он, — что строительство новых континентов требует гораздо больше времени и больших расходов, чем раскалывание старых земель. Новые берега и бухты необходимы нашим клиентам в ближайшее время; для них это вопрос жизни и смерти. Для человечества лучше было бы принять великодушное предложение Верховного Саламандра, который пока еще готов купить мир у людей, вместо того чтобы отнять его силой. Наши клиенты нашли способ добычи золота, растворенного в морской воде; благодаря этому в их распоряжении имеются почти неограниченные средства; они могут заплатить за ваш мир хорошую, даже баснословную цену. Учтите, что с течением времени цена мира будет падать, особенно если, как это можно предвидеть,

произойдут новые вулканические или тектонические катаклизмы, далеко превосходящие по своим размерам те катастрофы, свидетелями которых вы были до сих пор, и если вследствие этого площадь континентов в значительнейшей мере сократится. Пока еще можно продать мир во всем его нынешнем объеме; но когда от него останутся только обломки гор, торчащие над поверхностью моря, никто не даст вам за него ни гроша. Я присутствую здесь в качестве представителя и юрисконсульта саламандр, — воскликнул д-р Карвало, — и обязан защищать их интересы; но я такой же человек, как и вы, господа, и благополучие людей мне дорого не меньше, чем вам. И я советую вам, больше того — заклинаю вас: продавайте континенты, пока не поздно! Можете продавать их оптом или отдельными странами. Верховный Саламандр, великодушный и передовой образ мыслей которого известен ныне каждому, обещает, что при всяких необходимых в будущем изменениях земной поверхности он будет, по возможности, щадить человеческие жизни; затопление континентов будет производиться постепенно и с таким расчетом, чтобы не доводить дело до паники и ненужных катастроф. Мы уполномочены вести переговоры как со всей почтенной всемирной конференцией в целом, так и с отдельными государствами. Присутствие столь выдающихся юристов, как профессор ван Дотт или мэтр Жюльен Россо Кастелли, послужит вам порукой, что, отстаивая справедливые требования наших клиентов-саламандр, мы вместе с тем, рука об руку с вами, будем защищать самое дорогое для всех нас: человеческую культуру и благо всего человечества».

После этого конференция в несколько подавленном настроении перешла к обсуждению нового предложения: уступить саламандрам для затопления центральные области Китая; взамен этого саламандры должны на вечные времена гарантировать неприкосновенность берегов европейских государств и их колоний.

Д-р Россо Кастелли. На вечные времена — это, пожалуй, слишком долго. Скажем — на двенадцать лет.

Профессор ван Дотт. Центральный Китай — это, пожалуй, слишком мало. Скажем, — провинции Аньхуэй, Хэнань, Цзянсу, Хэбэй и Фуцзянь.

Японский представитель заявляет протест против уступки провинции Фуцзянь, так как она входит в сферу японских интересов. Берет слово китайский делегат, но его, к сожалению, никто не понимает. В зале заседаний растет беспокойство; часы показывают уже час ночи.

В этот момент входит секретарь итальянской делегации и шепчет что-то на ухо представителю Италии, графу Тости. Граф Тости бледнеет, встает и, не обращая внимания на китайского делегата доктора Ти, который все еще говорит что-то, хрипло восклицает:

— Господин председатель, прошу слова! Только что получено известие, что саламандры затопили часть нашей Венецианской провинции в направлении на Портогруаро!

Воцаряется гробовая тишина, только китайский делегат все еще бормочет свою непонятную речь.

— Верховный Саламандр давно предупреждал в а с , — проворчал доктор Карвало.

Профессор ван Дотт нетерпеливо заерзал на месте и поднял руку.

— Господин председатель, следовало бы вернуться к порядку дня. На очереди вопрос о провинции Фуцзянь. Мы уполномочены предложить за нее японскому правительству вознаграждение в золоте. Но, спрашивается, какую компенсацию предложат заинтересованные государства нашим клиентам за ликвидацию Китая?

В это время радиолюбители слушали ночную передачу саламандр.

— Вы только что прослушали баркаролу из «Сказок Гофмана» в граммофонной з а п и с и , — скрипел д и к т о р . — Алло, алло, теперь мы включаем Венецию.

И в эфире стал слышен только глухой и грозный гул, похожий на рокот надвигающихся вод...

10. Пан Повондра берет вину на себя

Кто бы сказал, что прошло столько лет, утекло столько воды. Вот и наш пан Повондра уже не служит швейцаром в доме Г. Х. Бонди; теперь он, как говорится, почтенный старец, который может спокойно пожинать плоды своей долгой и хлопотливой жизни в виде маленькой пенсии; но разве может хватить каких-нибудь двух-трех сотняжек

при теперешней военной дороговизне! Хорошо еще, что иной раз выловишь рыбку-другую, — и вот сидит пан Повондра в лодке с удочкой и смотрит: сколько этой воды утекает за день — и откуда ее столько берется! Бывает, на удочку попадается плотва, а когда и окунь; вообще рыбы стало больше, верно потому, что реки теперь куда короче. Окунь — тоже вещь неплохая; правда, в нем много костей, зато мясо вкусное, миндалем немножко попахивает. А уж матушка умеет их приготовить!.. Пан Повондра не подозревает, что матушка, разводя огонь под его окунями, пускает на растопку те вырезки, которые он когда-то собирал и сортировал по коробкам. Правда, пан Повондра забросил свою коллекцию, когда перешел на пенсию; зато он завел аквариум, в котором, вместе с золотыми рыбками, держит крохотных тритонов и саламандр; он целыми часами наблюдает, как они неподвижно лежат в воде или вылезают на берег, который он устроил для них из камней; потом покачает головой и скажет: «Кто бы, матушка, мог подумать!» Но — скучно только глядеть да глядеть; вот пан Повондра и занялся рыболовством. Что делать, мужчинам всегда нужно какое-нибудь занятие, снисходительно думает мамаша Повондрова. Это лучше, чем шататься по пивным да заниматься политикой.

Да, правда, много, очень много утекло воды. Вот и Франтик — уже не школьник, изучающий географию, и не молодой вертопрах, протирающий носки в погоне за суетными развлечениями. Теперь он тоже человек в летах, этот Франтик, служит, слава богу, младшим чиновником на почте; не зря он, значит, так усердно изучал географию. «Остепеняется помаленьку, — думает о нем пан Повондра, спускаясь в своей лодочке вниз по реке к мосту Легионеров. — Сегодня заглянет ко мне: в воскресенье он свободен от службы. Возьму его в лодку, и поедем с ним вверх, к выступу Стршелецкого острова; там рыба клюет лучше; Франтик расскажет мне, что новенького в газетах. А потом пойдем домой, на Вышеград, и сноха приведет обоих детей...» Пан Повондра на мгновение отдался тихому довольству счастливого дедушки. «Да, через год Марженка в школу пойдет, — мечтал он, — а маленький Франтик, внучек, весит уже тридцать кило...» Пана Повондру охватывает сильное, глубокое чувство, что все в порядке, в прекрасном и добром порядке.

А вот у самой воды уже стоит сын и машет ему рукой. Пан Повондра направил лодку к берегу.

— Ну, наконец-то пришел, — укоризненно говорит он. — Осторожнее, не упади в воду!

— Клюет? — спрашивает сын.

— Плохо, — ворчит старик. — Поедем вверх, что ли?

Какое славное воскресенье! Еще не настал тот час, когда всякие лодыри и сумасшедшие толпами валят домой после футбола и прочих глупостей. В Праге пусто и тихо; немногие прохожие, которые изредка показываются на набережной или на мосту, никуда не спешат, шагают чинно и степенно. Это хорошие, благоразумные люди, они не собираются гурьбой у парапета, не смеются над влтавскими рыболовами.

Повондра-отец снова испытывает приятное ощущение благополучия и порядка.

— Что нового в газетах? — спрашивает он с отцовской строгостью.

— В общем, ничего, папаша, — отвечает сын. — Вот только читал я, будто саламандры уже до Дрездена докопались.

— Стало быть, немцу каюк, — констатирует старый Повондра. — А знаешь, Франтик, странный народ были эти немцы. Культурный — но странный. Знавал я одного немца, он шофером служил на фабрике; и такой это был грубый человек, этот немец! Но машину содержал в порядке, что верно, то верно... Ишь, значит, уж и Германия исчезла с лица земли, — продолжал рассуждать Повондра. — А шуму сколько поднимала! Ужас, да и только: всё-то у них армия, всё солдаты... Да нет, против саламандр и немец не устоит. Я, вишь, знаю этих саламандр. Помнишь, я их тебе показывал, когда ты вот таким был?

— Смотрите, папаша, клюет, — сказал сын.

— А, это просто малек, — проворчал старик и шевельнул удочкой.

«Вот как, значит, и Германия туда же, — думал он. — Да, теперь уж ничему не удивишься. А сколько раньше крику было, когда саламандры топили какую-нибудь страну! Пусть это была всего лишь какая-то там Месопотамия или Китай — а все газеты только об этом и писали. Теперь-то уж спокойнее стали, — меланхолично размышлял Повондра, поглядывая на свою удочку. — Привыкает человек, что поделать. До нас не дошло, и ладно;

только бы дороговизны такой не было! К примеру, сколько сегодня просят хотя бы за этот кофе... Правда, Бразилия тоже исчезла под волнами. Нет, все-таки сказывается на рынке, когда затапливают такой кусок земли!»

Поплавок пана Повондры тихо покачивается на мелких волнах. А старик вспоминает — сколько стран уже затопили саламандры! И Египет под море ушел, и Индия, и Китай. Подумать только — Черное море достигает теперь северного полярного круга — батюшки, воды-то сколько! Да уж, что ни говори, порядком обглодали наши материки эти твари. Хорошо еще, дело у них не так скоро подвигается...

— Так ты говоришь, саламандры уже у Дрездена? — прервал молчание Повондра-отец.

— В шестнадцати километрах. Почти вся Саксония уже под водой.

— Я был там как-то с паном Бонди, — заметил Повондра. — Богатейшая земля, Франтик, а не сказать, чтоб у них там хорошее питание было. А в общем, славный народ, куда лучше пруссаков. Да нет, и сравнить нельзя.

— Пруссии тоже больше нет.

— И ничего удивительного, — процедил старик. — Не люблю я пруссаков. Зато французу теперь хорошо, когда немца не стало. Вздохнет теперь свободнее.

— Да не очень, папаша, — возразил Франтик. — Недавно было в газетах: добрая треть Франции уже под водой.

— Ох-ох-хо, — вздохнул старик. — У нас, то есть у пана Бонди, был один француз, слуга, Жаном звали. Бабник был — срам один. Оно, понимаешь, к добру-то не ведет, легкомыслие это.

— Зато в десяти километрах от Парижа они разбили саламандр, — сообщил Франтик. — У тех, говорят, там много подкопов было наделано, они и взорвали все. Два армейских корпуса саламандр уложили.

— Это верно, француз, он всегда добрый солдат был, — с видом знатока согласился Повондра. — Наш-то, Жан, тоже спуску не любил давать. И не пойму, откуда в нем что бралось. Духами от него разило, как из парфюмерной лавки, но уж когда он дрался, то дрался на совесть. Только два корпуса саламандр — это маловато, — задумался Повондра-старший. — Строго говоря, люди умели лучше воевать с людьми. И не так долго это у них тянулось. А с саламандрами возятся уже двенадцать лет,

а все ни с места, всё, вишь, готовят более выгодные позиции... Вот в мои молодые годы — какие битвы бывали! К примеру, тут три миллиона солдат и там три миллиона солдат, — старик жестикулировал так энергично, что лодка сильно раскачалась, — и вдруг как бросятся друг на друга! А это и на войну-то не похоже, — сердито закончил Повондра. — Имеешь дело с одними бетонными дамбами, а вот в штыки подняться — куда!

— Да не могут люди столкнуться с саламандрами, папаша, — отстаивал молодой Повондра современный способ ведения войны. — Нельзя же идти в штыковую атаку под воду!

— В том-то и дело, — презрительно буркнул старик. — Им друг друга не достать. А пусти-ка ты людей на людей — рот разинешь, чего они натворят! Да что вы знаете о войне!..

— Лишь бы она не перекинулась сюда, — несколько неожиданно произнес Франтик. — Знаете, когда у тебя дети...

— Это как это — сюда? — чуть ли не с возмущением воскликнул старик. — К нам, в Прагу, что ли?

— Вообще к нам, в Чехию, — озабоченно уточнил Повондра-сын. — Я думаю: если они уже под Дрезденом...

— Ишь ты, умник! — упрекнул его отец. — Да как же они до нас доберутся? Через наши горы-то?

— Да хотя бы по Лабе... А потом по Влтаве...

Отец Повондра возмущенно фыркнул.

— Скажет тоже — по Лабе! Разве что до Подмокл долезут, но не дальше. Там, братец, сплошь горы да камни. Я там был. Нет, нет, сюда саламандрам не пройти, у нас положение хорошее. У швейцарца тоже неплохо. А знаешь, это ведь замечательно выгодно, что у нас нет никаких морей! Кто нынче морями владеет — несчастный тот человек.

— Но ведь море теперь доходит до Дрездена...

— Там — немцы, — оборвал сына Повондра. — Это уж их дело. А к нам саламандры, конечно, не доберутся. Для этого им пришлось бы убрать те горы; ты понятия не имеешь, какая это работа!

— Подумаешь — работа... — возразил, нахмурившись, молодой Повондра. — Им на это раз плюнуть! Вы же знаете, что в Гватемале они потопили целый горный хребет.

— То другое дело, — решительно заявил старик. — Не говори глупостей, Франтик! То в Гватемале, а то у нас. Здесь совсем другие условия.

Молодой Повондра вздохнул.

— Ладно, папаша, пусть будет по-вашему. Но как подумаешь, что эти твари потопили уже около пятой части всей земной суши...

— Только у моря, дурачок, а больше нигде. Ничего ты не смыслишь в политике. Те государства, что расположены у моря, ведут с ними войну, а мы нет. Мы — нейтральное государство, как же они могут на нас напасть? Понял? И помолчи, пожалуйста: из-за тебя я ничего не поймаю.

Над рекой стояла тишина. На поверхность Влтавы уже легли длинные нежные тени деревьев Стршелецкого острова. На мосту звенел трамвай, по набережной разгуливали няньки с колясочками и благопристойные, одетые по-воскресному люди.

— Папа... — как-то по-детски прошептал молодой Повондра.

— Ну, что?

— Это не сом, вон там?

— Где?

Из воды, как раз напротив Национального театра, высовывалась большая черная голова, медленно продвигавшаяся против течения.

— Это сом? — повторил Повондра-младший.

Старик выронил удочку.

— Это? — пробормотал он, указывая дрожащим пальцем. — Это?

Черная голова скрылась под водой.

— Это был не сом, Франтик, — сказал старик каким-то чужим голосом. — Пойдем домой. Это конец.

— Какой конец?

— Саламандра. Значит, они уже здесь. Пойдем домой... — повторил он, неверными руками складывая удочку. — Значит, конец.

— Вы весь дрожите, — испугался Франтик. — Что с вами?

— Пойдем домой, — взволнованно бормотал старик, и подбородок у него жалобно вздрагивал. — Мне холодно!.. Мне холодно... Этого только недоставало! Понимаешь,

теперь конец. Значит, они уже добрались сюда. Господи, как холодно! Мне бы домой...

Молодой Повондра внимательно посмотрел на него и схватился за весла.

— Я вас провожу, папочка, — сказал он тоже каким-то не своим голосом и сильными ударами весел погнал лодку к острову. — Бросьте, я сам ее привяжу.

— Отчего так холодно? — удивлялся старик, стуча зубами.

— Я вас поддержу, папа. Идемте же, — уговаривал сын, подхватывая его под руку. — Наверное, вы простыли на реке. А то был просто гнилой пень.

Старик дрожал как лист.

— Да, гнилой пень... Рассказывай! Я лучше знаю, что такое саламандры. Пусти!

Повондра-младший сделал то, чего не делал еще ни разу в жизни: подозвал такси.

— На Вышеград, — сказал он, вталкивая отца в машину. — Я вас отвезу, папа. Поздно уже.

— Еще бы не поздно, — стучал зубами Повондра-отец. — Слишком поздно. Конец, Франтик. Это был не гнилой пень. Это они.

Дома, по лестнице, молодому Повондре пришлось почти нести старика на руках.

— Мама, постелите, — быстро прошептал он в дверях. — Надо уложить папашу, он у нас расхворался.

И вот Повондра-отец лежит под пуховиком; нос его как-то странно торчит на лице, а губы что-то жуют и невнятно бормочут; каким старым он кажется, каким старым! Сейчас он немного утих...

— Лучше вам, папа?

В ногах постели плачет и сморкается в передник мамаша Повондрова; сноха растапливает печь, а дети, Франтик и Марженка, уставились широко открытыми глазами на дедушку, словно не узнавая его.

— Не позвать ли доктора, папаша?

Повондра-отец смотрит на детей и что-то шепчет; вдруг по щекам у него покатились слезы.

— Вам что-нибудь нужно, папаша?

— Это я, это я, — шепчет старик. — Так и знай, что я во всем виноват. Если бы я тогда не пустил капитана к пану Бонди, ничего бы не случилось...

— Да ведь ничего и не случилось, папа, — успокаивал его молодой Повондра.

— Ты не понимаешь, — хрипел старик, — ведь это конец, ясно? Конец света. Теперь и сюда придет море, раз саламандры уже здесь... И это все наделал я, не нужно было пускать капитана... Пусть люди узнают когда-нибудь, кто виноват во всем...

— Ерунда, — непочтительно возразил сын. — Выбросьте это из головы, папаша. Это сделали все люди. Это сделали правительства, сделал капитал. Все хотели иметь побольше саламандр. Все хотели на них заработать. Мы тоже посылали им оружие и всякое такое... Мы все виноваты.

Повондра-отец беспокойно ворочался.

— Прежде везде море было, и опять будет то же самое. Это конец света. Мне как-то говорил один человек, что и здесь, на том месте, где Прага, тоже было морское дно... Наверное, и тогда это сделали саламандры. Ох, не надо мне было докладывать об этом капитане. Что-то мне все время говорило: «Не докладывай», — но я подумал — быть может, капитан даст мне на чаек... А он и не дал. И вот так, за здорово живешь, человек погубил весь мир... — Старик проглотил слезы. — Я знаю, я хорошо знаю, что нам пришел конец. И я знаю, что все это сделал я...

— Дедушка, не хотите ли чайку? — участливо спросила молодая Повондрова.

— Я хотел бы одного, — прошептал старик, — я хотел бы только, чтобы дети мне простили...

11. Автор беседует сам с собой

— И ты это так оставишь? — вмешался тут внутренний голос автора.

— Что именно? — несколько неуверенно спросил писатель.

— Так и дашь пану Повондре умереть?

— Видишь ли, — защищался автор, — я сам неохотно делаю это, но... В конце концов пан Повондра немало пожил на свете: ему сейчас, скажем, далеко за семьдесят...

— И ты дашь ему переживать такие душевные муки? И не скажешь: дедушка, дело не так плохо; мир не

погибнет от саламандр, и человечество спасется; вы только погодите немного — и доживете до этого... Послушай, неужели ты ничего не можешь для него сделать?

— Ну, я пошлю к нему доктора, — предложил автор. — У старика, вероятно, нервная лихорадка; в его возрасте это может осложниться воспалением легких, но надо надеяться, что он поправится; он еще будет качать Марженку на коленях и расспрашивать, чему ее учили в школе... Старческие радости, господи, пусть этот человек и в старости найдет еще радость!

— Хорошенькие радости!.. — насмешливо возразил внутренний голос. — Он будет прижимать к себе ребенка старческими руками и бояться, да, бояться, что и Марженке в один прекрасный день придется бежать, спасаясь от клокочущей воды, которая неотвратимо поглощает весь мир; охваченный ужасом, он насупит свои косматые брови и будет шептать: «Это я сделал, Марженка, это я...»

— Слушай, ты *в самом деле* хочешь дать погибнуть всему человечеству?

Автор нахмурился.

— Не спрашивай, чего я хочу. Думаешь, по *моей* воле рушатся континенты, думаешь, *я* хотел такого конца? Это простая логика событий; могу ли я в нее вмешиваться? Я делал, что мог; своевременно предупреждал людей; ведь Икс — это отчасти был я. Я взывал: не давайте саламандрам оружия и взрывчатых веществ, прекратите отвратительные сделки с саламандрами и так далее — ты знаешь, что получилось... Все приводили тысячи безусловно правильных экономических и политических доводов, доказывая, что иначе поступить нельзя. Я не политик и не экономист; я не мог их переубедить. Что делать, по-видимому, мир должен погибнуть; но, по крайней мере, это произойдет на основании общепризнанных экономических и политических соображений; по крайней мере, это совершится с благословения науки, техники и общественного мнения, причем будет пущена в ход вся человеческая изобретательность! Никакой космической катастрофы — только интересы государственные и хозяйственные, соображения престижа и прочее. Против этого ничего не поделаешь.

Внутренний голос помолчал с минуту.

— И тебе не жалко человечества?

— Постой, не торопись! Ведь не все человечество обязательно погибнет. Саламандрам нужно только побольше берегов, чтобы жить и откладывать свои яйца. Они, наверное, нарежут сушу, как лапшу, чтобы берегов было как можно больше. На этих полосках земли останутся, скажем, какие-то люди, не так ли? И будут изготавливать металлы и другие вещи для саламандр. Ведь саламандры не могут сами работать с огнем, понимаешь?

— Значит, люди будут служить саламандрам.

— Да, если хочешь, назови это так. Они просто будут работать на фабриках и заводах, как и сейчас. У них только переменятся хозяева...

— Ну, а человечества тебе не жалко?

— Оставь меня, пожалуйста, в покое! Что же я могу сделать? Ведь люди сами этого хотели; все хотели иметь саламандр; этого хотела торговля, промышленность и техника, хотели политические деятели и военные авторитеты... Вот и молодой Повондра говорит: все мы виноваты. Еще бы мне не жалко человечества! Но больше всего мне было жалко его, когда я видел, как оно само неудержимо стремится в бездну. Прямо плакать хотелось. Кричать и махать обеими руками, как если бы ты увидел, что поезд идет по поврежденной колее. Теперь уж не остановишь. Саламандры будут размножаться дальше, будут все больше и больше дробить старые континенты... Вспомни, что доказывал Вольф Мейнерт: люди должны уступить место саламандрам; и только саламандры создадут счастливый, целостный и однородный мир...

— Сказал тоже — Вольф Мейнерт! Вольф Мейнерт — интеллигент. Есть ли что-нибудь достаточно пагубное, страшное и бессмысленное, чтобы не нашлось интеллигента, который захотел бы с помощью такого средства возродить мир? Ну ладно, оставим это. Ты не знаешь, что делает сейчас Марженка?

— Марженка? Думаю, играет в Вышеграде. Веди себя смирно, сказали ей, дедушка спит. Ну, и она не знает, чем заняться, и ей ужасно скучно...

— Что же она делает?

— Не знаю. Скорее всего, пробует кончиком языка достать кончик носа.

— Вот видишь. И ты готов допустить нечто вроде нового всемирного потопа?

— Да отстань ты от меня! Разве я могу творить чудеса? Пусть будет что будет. Пусть события идут своим неумолимым ходом! И в этом есть даже некоторое утешение: все происходящее свершается в силу внутренней необходимости и закономерности.

— А саламандр никак нельзя остановить?

— Никак. Их слишком много. Им нужно жизненное пространство.

— А нельзя ли, чтобы они отчего-нибудь вымерли? Допустим, среди них начнется какая-нибудь эпидемия или вырождение...

— Слишком дешево, братец. Неужели природе вечно исправлять то, что напортили люди? Значит, и ты не веришь, что они могут сами себе помочь? Вот видишь, вот видишь! Вы всегда хотите иметь в запасе надежду, что кто-нибудь или что-нибудь спасет вас! Скажу тебе одну вещь: знаешь, кто *даже теперь,* когда пятая часть Европы уже потоплена, все еще поставляет саламандрам взрывчатые вещества, торпеды и сверла? Знаешь, кто днем и ночью лихорадочно работает в лабораториях над изобретением еще более эффективных машин и веществ, предназначенных разнести мир вдребезги? Знаешь, кто ссужает саламандр деньгами, кто финансирует Конец Света, весь этот новый всемирный потоп?

— Знаю. Все промышленные предприятия. Все банки. Все правительства.

— То-то же. Были бы только саламандры против людей — тогда еще, наверное, что-нибудь можно было бы сделать; но люди против людей — этого, брат, не остановишь.

— Погоди-ка!.. Люди против людей... Мне пришло в голову... Ведь в конце концов могли бы быть и саламандры против саламандр!

— Саламандры против саламандр? Как ты себе это представляешь?

— Предположим... когда саламандр станет слишком много, они могли бы передраться между собой из-за какого-нибудь куска побережья, бухты или еще чего-нибудь в этом роде; потом предметом распри станут все более и более обширные побережья; и в конце концов им придется воевать друг с другом за господство над всеми морскими берегами, не так ли? Саламандры против саламандр!

Скажи-ка сам, разве это не логично с точки зрения истории?

— ...Да нет, не годится. Саламандры не могут воевать против саламандр. Это противоречит природе. Ведь саламандры — один род.

— Люди тоже один род. А, как видишь, это им нисколько не мешает. Один род, а смотри — из-за чего только они не воюют! Сражаются даже не за место под солнцем, а за могущество, за влияние, за славу, за престиж, за рынки и уж не знаю, за что еще! Почему бы и саламандрам не начать между собою войну, скажем ради престижа?

— Зачем им это? Ну, скажи, пожалуйста, что им это даст?

— Ничего, разве только то, что одни временно имели бы больше берегов и были бы более могущественны, чем другие. А через некоторое время наоборот...

— Да к чему им это могущество? Ведь они все одинаковы, все — саламандры; у всех одинаковый скелет, все одинаково противны и одинаково посредственны... Зачем же им убивать друг друга? Скажи сам, во имя чего им воевать между собой?

— Ты их только не трогай, а уж причина найдется. Вот смотри-ка: здесь европейские саламандры, а там африканские; тут разве сам черт помешает, чтобы в конце концов одни не захотели быть чем-то большим, чем другие! Ну, и пойдут доказывать свое превосходство во имя цивилизации, экспансии или чего-нибудь еще; всегда найдутся какие-нибудь идеологические, политические соображения, в силу которых саламандры одного побережья обязательно станут резать саламандр другого побережья. Саламандры столь же цивилизованны, как и мы, и у них не будет недостатка в политических, экономических, юридических, культурных и всяких других аргументах.

— И у них есть оружие! Не забудь, они прекрасно вооружены.

— Да, оружия у них хоть отбавляй. Вот видишь! Неужели же они не научатся у людей делать историю?

— Постой, погоди минутку! (Автор вскочил и забегал по кабинету.) Это правда! Было бы чертовски странно, если бы они не додумались до этого! Теперь я понимаю. Достаточно взглянуть на карту мира... Черт подери, где бы взять какую-нибудь карту мира?

— Я представляю ее себе.

— Хорошо. Вот, значит, здесь Атлантический океан со Средиземным и Северным морями. Тут Европа, а вот тут Америка... Это колыбель культуры и современной цивилизации. И где-то здесь потонула древняя Атлантида...

— А теперь саламандры пускают на дно новую.

— Правильно. Ну, а вот здесь — Тихий и Индийский океаны. Древний таинственный Восток. Колыбель человечества, как его называют. Здесь, где-то на восток от Африки, затонула мифическая Лемурия. Вот Суматра, а немного западнее...

— ...островок Танамаса. Колыбель саламандр.

— Да. И там владычествует Король Саламандр, духовный глава саламандр. Там еще живут tapa-boys капитана ван Тоха, исконные тихоокеанские, полудикие саламандры. Короче, это *их* Восток, понял? Вся эта область называется теперь Лемурией, а та, другая область, цивилизованная, европеизированная и американизированная, современная и технически зрелая, — это Атлантида. Там теперь диктаторствует Верховный Саламандр — великий завоеватель, техник и солдат, Чингисхан саламандр и разрушитель континентов. Любопытнейшая личность.

(— Слушай, а он в *самом деле* саламандра?)

(— Нет. Верховный Саламандр — человек. Его настоящее имя — Андреас Шульце, во время мировой войны он был где-то фельдфебелем.)

(— Ах, вот оно что!..)

(— Ну да. То-то и оно.) Итак, значит, Атлантида и Лемурия. Такое разделение объясняется причинами географическими, административными, культурными...

— И национальными. Не забывай национальных причин: лемурские саламандры говорят на «пиджин-инглиш», а атлантские — на «бэзик-инглиш».

— Ну, ладно. С течением времени атланты проникают через бывший Суэцкий канал в Индийский океан...

— Естественно. Классический путь на Восток.

— Верно. Наоборот, лемурские саламандры огибают мыс Доброй Надежды и устремляются на западный берег бывшей Африки. Они утверждают, что в состав Лемурии входит вся Африка.

— Разумеется.

— Лозунг гласит: «Лемурия — лемурам! Долой инородцев!» — и тому подобное. Между атлантами и лемурами растет пропасть взаимного недоверия и наследственной вражды. Смертельной вражды.

— Другими словами, они превращаются в Нации.

— Да. Атланты презирают лемуров и называют их «грязными дикарями»; а лемуры фанатически ненавидят атлантских саламандр и видят в них осквернителей древней, чистой, исконной саламандренности. Верховный Саламандр домогается концессий на лемурских берегах якобы в интересах экспорта и цивилизации. Благородный старец Король Саламандр волей-неволей вынужден согласиться; дело в том, что его вооружение хуже. В заливе Тигра, недалеко от того места, где некогда был Багдад, произойдет вспышка: туземные лемуры нападут на атлантскую концессию и убьют двух офицеров, якобы оскорбивших национальные чувства лемуров. В результате...

— Начнется война. Естественно.

— Да, начнется мировая война саламандр против саламандр.

— Во имя культуры и права.

— И во имя истинной саламандренности. Во имя национальной славы и величия. Лозунг будет — «Мы или они». Лемуры, вооруженные малайскими криссами и кинжалами йогов, беспощадно вырежут атлантов, пролезших в Лемурию; в ответ на это более прогрессивные, получившие европейское образование атланты отравят лемурские моря химическими ядами и культурами смертоносных бактерий, и притом с таким успехом, что будет зачумлен весь мировой океан. Моря будут заражены искусственно культивированной жаберной чумой. А это, брат, конец. Саламандры погибнут.

— Все?

— Все до одной. Это будет вымерший род. От них останется только старый энингенский отпечаток Andrias'a Scheuchzeri.

— А что же люди?

— Люди? Ах да, правда... Люди... Ну, они начнут понемногу возвращаться с гор на берега того, что останется от континентов; но океан еще долго будет распространять зловоние разлагающихся трупов саламандр. Постепенно континенты опять начнут расти благодаря реч-

ным наносам; море шаг за шагом отступит, и все станет почти как прежде. Возникнет новый миф о всемирном потопе, который был послан богом за грехи людей. Появятся и легенды о затонувших странах, которые были якобы колыбелью человеческой культуры; будут, например, рассказывать предания о какой-то Англии, или Франции, или Германии...

— А потом?

— Этого уже я не знаю...

О создании романа «Война с саламандрами»

Мне был задан вопрос, — что натолкнуло меня на создание «Войны с саламандрами» и почему я выбрал именно саламандр носителями действия своего так называемого романа-утопии о гибели человеческой цивилизации. Итак, если я должен ответить со всей откровенностью, что меня привело к этому, то придется честно признаться, что поначалу я, собственно, никакой утопии писать не собирался. У меня нет особого пристрастия к утопиям; прежде чем я начал писать своих «Саламандр», у меня был на уме совсем другой роман; я задумал образ хорошего человека, очень похожего на моего покойного отца, образ деревенского врача в окружении пациентов; из-под моего пера должна была выйти идиллия из жизни врача и вместе с тем некоторый экскурс в патологию общества. Я не мог нарадоваться этому сюжету, вынашивая его неделями и месяцами, но целиком он все-таки меня не захватывал. Мешало смутное ощущение, что в нашем полном разлада мире, каким он был тогда и каким остается сейчас, этому добряку доктору, пожалуй, нечего делать. Да, он мог лечить людей и облегчать их боль, но был слишком далек от тех болезней и болей, которыми страдает мир. Я думал о хорошем докторе, в то время как весь мир говорил об экономическом кризисе, национальных экспансиях и будущей войне. Я не мог полностью отождествить себя со своим доктором, потому что мною, — хотя это, по всей вероятности, от писателей не требуется, — владела, и все еще владеет тревога за судьбу человечества. Разумеется, и я никак, собственно, не могу отвратить то, что угрожает человеческой цивилизации; но я, по крайней мере, не в силах не видеть этого и не думать об этом почти постоянно.

В то время — дело было весной прошлого года, когда в экономике мира обстоятельства складывались прескверно, а в политике и того хуже, — я по какому-то поводу написал фразу: «Вы не должны думать, что развитие, которое привело к возникновению нашей жизни, было единственно возможной формой развития на этой планете». С этого и началось. Эта фраза и повинна в том, что я стал автором «Войны с саламандрами».

Ведь и в самом деле: отнюдь не исключено, что при благоприятных условиях иной тип жизни, скажем иной зоологический вид, чем человек, мог бы стать двигателем культурного прогресса. Человек со всей своей цивилизацией и культурой, со всей своей историей развился из класса млекопитающих, из отряда приматов; но ведь вполне вероятно, что подобная же эволюционная энергия могла бы окрыляюще подействовать на развитие другого зоологического вида. Не исключено, что при определенных жизненных условиях пчелы или муравьи могли бы развиться в высоко интеллектуальные существа, способности которых к созданию цивилизации были бы ничуть не ниже наших. Легко допустить это и в отношении других разновидностей фауны. При благоприятных биологических условиях какая-то цивилизация, и, может быть, не более низкая, чем наша, могла бы возникнуть и в водных глубинах.

Такова была моя первая мысль, а вторая сводилась к следующему. Если бы иной зоологический вид, чем человек, достиг ступени, которую мы называем цивилизацией, то как вы думаете: стал бы он совершать такие же безумства, как человечество? Вел бы такие же войны? Переживал бы такие же исторические катастрофы? И как бы мы смотрели на империализм ящеров, на национализм термитов, на экономическую экспансию чаек или сельдей? Что бы мы сказали, если бы иной зоологический вид, чем человек, провозгласил, что, ввиду своей образованности и многочисленности, только он один имеет право заселить весь земной шар и господствовать над его жизнью?

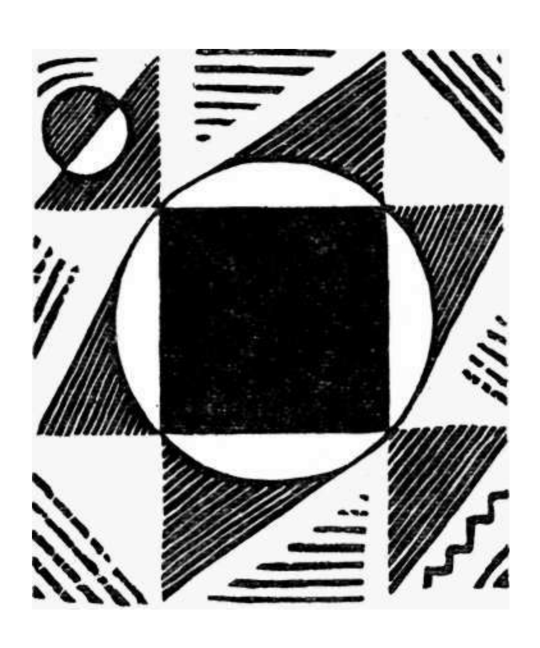
Именно это сопоставление с человеческой историей, причем с историей самой актуальной, и заставило меня сесть к письменному столу и написать «Войну с саламандрами». Критика сочла мою книгу утопическим романом, против чего я решительно возражаю. Это не утопия, а современность. Это не умозрительная картина некоего отдаленного будущего, но зеркальное отражение того, что есть в настоящий момент и в гуще чего мы живем. Тут дело не в моем стремлении фантазировать — фантазии я готов сочинять даром, да с походом и когда угодно, — если кто захочет; тут мне важно было показать реальную действительность. Ничего не могу с собой поделать, но литература, не интересующаяся действительностью и тем,

что действительно происходит на свете, литература, которая не желает реагировать на окружающее с той силой, какая только дана слову и мысли, — такая литература чужда мне.

В этом-то все и дело: я писал своих «Саламандр», потому что думал о людях. Саламандр же я выбрал для своей аллегории не потому, что люблю их больше или меньше, чем иные божьи создания, но потому, что однажды скелет исполинской саламандры третичного периода по ошибке был действительно принят за окаменевший скелет нашего человеческого предка; следовательно, из всех животных саламандры имеют наибольшее историческое право выступить на сцену в роли нашего подобия. Но хотя саламандры послужили лишь предлогом для изображения человеческих дел, автору пришлось вживаться в их образ; при таком эксперименте легко подмочить свою репутацию, но в конечном счете дело это столь же удивительное и столь же страшное, как и вживание в образ человеческих существ.

(1936)

Комментарии



Во второй том Собрания сочинений Карела Чапека включены его социально-фантастические романы «Фабрика Абсолюта» (1922), «Кракатит» (1924) и «Война с саламандрами» (1936).

Чапек обогатил сам арсенал типов социально-фантастических произведений, их художественные средства, поэтику.

Основоположник научной фантастики Жюль Верн создал, как известно, роман о научном открытии, «роман науки», по его собственному определению. История фантастического научного открытия или изобретения, подвиг ученого, поэзия познания и творчества, демонстрация возможностей человеческого разума, его грядущих завоеваний составляли основное содержание, смысл и пафос произведений французского писателя. В творчестве Г. Уэллса научно-фантастическая гипотеза, допущение необыкновенного научного открытия или изобретения, не утрачивая самостоятельной ценности, приобрели вместе с тем и иную, так сказать, «служебную» функцию. То, что у Жюля Верна было непосредственным предметом и объектом изображения, становилось теперь одновременно средством достижения и иных целей, средством конструирования условных, искусственных обстоятельств, нужных писателю для постановки и заострения философских и социальных проблем, для раскрытия противоречий человеческого общества и диссонансов его развития, которые с особой силой проявились в эпоху империализма. Научно-фантастическое допущение стало использоваться для мотивировки социально-фантастического сюжета. Перенося явления современной общественной жизни в вымышленную обстановку или в будущее, рассматривая отдаленные последствия современных процессов и тенденций, писатели получали в свое распоряжение новые способы их художественного анализа, гиперболизации, поворота проблемы неожиданными сторонами и т. д.

В творчестве Г. Уэллса и его современников формируется роман мысленного социально-философского эксперимента, основанного на научно-фантастических мотивировках. Научная фантастика синтезируется с жанром социальной утопии, с художественными формами аллегории и притчи.

Все эти особенности мы находим и в творчестве Чапека.

Романы и драмы Чапека носят характер иронических или сатирических утопий-предостережений, обращенных своим острием против определенных явлений современной общественно-политической и международной жизни — тех, в которых писатель-гуманист находил опасность обесчеловечивания человеческих отношений. Обычно Чапек не переносит действия своих романов и драм в далекое будущее. Наоборот, фантастические события у него как бы вписаны в современность. Не машина времени уносит читателя в даль грядущих веков, а скорее, современные процессы стремительно ускоряются и нарастают в его произведениях под влиянием изменившихся обстоятельств. Научное открытие, мощно воздействуя на жизнь, служит как бы катализатором, способствующим быстрому проявлению ее опасных тенденций. Отличаясь философской обобщенностью, произведения Чапека в то же время зачастую насыщаются элементами сатиры не только на определенные явления действительности, но и на подлинные институты, события современной общественно-исторической и международной жизни, на подлинных лиц. В романах «Фабрика Абсолюта» и «Война с саламандрами» этот прием используется столь широко, что иллюзия достоверности изображаемых событий, характерная для научной фантастики, уже почти в самом начале произведения «рассекречивается», и повествование переводится в плоскость озорной мистификации. Чапек соединил стихию научной фантастики и социальной утопии философского плана с возможностями комического жанра, с сатирой, имеющей конкретный адрес. В его творчестве словно бы сомкнулись традиции Г. Уэллса, Д. Свифта и А. Франса.

Предмет тревог и предостережений Чапека — это прежде всего диспропорция между научно-техническим и социально-моральным прогрессом, опасность кровопролитных военных конфликтов, масштабы которых катастрофически возросли в XX в. Неизгладимый след в сознании Чапека оставила первая в истории человечества всемирная война, в водоворот которой были втянуты огромные людские массы и не виданные ранее технические средства. Проблема трагических противоречий в жизни человечества, выливающихся в военные столкновения, вновь и вновь приковывают внимание чешского писателя. В каждом его социально-фантастическом произведении на горизонте изображаемых событий и процессов маячит грозный призрак войны. Война для Чапека главное зло и бедствие современного человеческого бытия, наиболее ужасное проявление бесчеловечности... К теме войны писатель обратился уже в первом своем романе «Фабрика

Абсолюта». Оценивая это произведение, следует, однако, иметь в виду, что протест против войны принял в нем особую форму. Еще в период мировой войны, мучительно раздумывая над вопросом о причине трагических конфликтов в жизни людей и изучая одновременно философию прагматизма, молодой писатель оказался близок к представлению о множественности истин, о безнадежной «разноголосице» современного мира, мешающей взаимопониманию людей. Мировая война 1914—1918 гг. стала для него своего рода моделью конфликта в человеческом мире, раздираемого разнонаправленными, «частными» интересами и убеждениями, имеющими, однако, объективную почву для своего возникновения. Исходя из последнего, Чапек невольно уравнивал разные по своей природе конфликты и противоречия. Социальные «конфликты» представлялись ему не основой основ, а лишь одним, пусть и очень важным, типом конфликтов в ряду других. Человеческое общество рисовалось при таком подходе в виде некоей системы неустойчивого равновесия, нарушением которого и оказывались обострения конфликтов, вспышки вооруженных столкновений. Любые попытки усилить ту или иную тенденцию воспринимались как потенциальная угроза обострения конфликта и перерастания его в вооруженную борьбу. Отсюда недоверие Чапека к «абсолютам», под которыми он понимает «максималистскую», «фанатическую» абсолютизацию интересов, идей, убеждений и устремлений. «Абсолюты», по Чапеку, нечто противоположное альтруизму, терпимости к «инакомыслию», к многообразию и расхождению интересов и мнений.

Жалобой на расщепленность мира и является роман «Фабрика Абсолюта» (1922). Несмотря на юмористическую, буффонадную тональность произведения, в основе его лежит грустная мысль о непрестанных центробежных тенденциях в жизни человечества. Замысел романа был подсказан априорным тезисом о том, что никто не имеет права на абсолютную правоту, что общую, даже благую идею люди всегда разменяют на частные интересы, превратят в частные «истины» и фанатически присвоят их, что неуступчивость в идеях, интересах и устремлениях и порождает катастрофы. В качестве конкретного объекта сатиры на нетерпимую «абсолютизацию» «частных» интересов в романе выступают прежде всего действительно вредоносные силы современного мира — монополистический капитал и клерикализм. Само фантастическое допущение появления духа — абсолюта, якобы выделяемого при расщеплении материи в атомном «карбюраторе», превращается в пародию на представление о бо-

жественной субстанции, разлитой во всем сущем. С другой стороны, роман приобретает нечто от озорной и веселой сказки о боге, попавшем в «безбожный» мир, который притворяется добропорядочным, верующим и справедливым, и о злоключениях бога в этом мире. Выпущенный, подобно джинну, из материи, в которой он был заточен, бог предстает в качестве нежеланного гостя в мире враждующих церквей, торгашеских отношений и борьбы хищнических интересов.

Диапазон антиклерикальной сатиры Чапека простирается от осмеяния примитивных верований обывателя до памфлета на ухищрения «точной теологической науки» и политику Ватикана.

Во второй части романа развитие сюжета связано с тем, что борьба разных религий, а затем и наций, рас, государств за присвоение бога (за право на абсолютную правоту — в более общем и переносном философском смысле) порождает войны, которые выливаются в одну всемирную войну. Роман превращается в обличение милитаризма. Появляется памфлетный образ новоявленного Наполеона — символ претензий на завоевание мира.

Война изображается Чапеком как нечто бессмысленное, нелепое и абсурдное, как хаос, в котором смешалась религиозная, политическая, межгосударственная, национальная и расовая борьба. Это взаимное кровавое истребление людей и народов. Писатель не склонен выделять ни гражданские, ни освободительные войны, как это он будет делать впоследствии (пьеса «Мать»). Он просто в принципе протестует против кровопролитий.

Ценность произведения снижается стремлением писателя распространить свое недоверие к «абсолютам» и на радикальные прогрессивные вмешательства в ход истории.

Тему войны Чапек продолжил в романе «Кракатит» (1924), подойдя к ней, однако, с другой стороны. Вслед за Г. Уэллсом (роман «Освобожденный мир», 1913) он предостерегал перед опасностью создания атомного оружия и ставил проблему ответственности человека за те разрушительные, деструктивные силы, которые он способен вызвать к жизни. Кракатитом Чапек назвал атомное взрывчатое вещество колоссальной силы. Слово «кракатит» образовано от названия вулкана Кракатау, катастрофическое извержение которого в 1883 г. было одним из самых мощных вулканических извержений на памяти человечества. Вместе с тем понятию кракатита придан и более широкий, переносный смысл, связанный с представлением о катастрофических силах, скрытых

в человеческом обществе и в самом человеке и способных прорываться наружу. Через весь роман проходит метафора, заложенная в представлении о кракатите и основанная на противопоставлении скрытых, «связанных» и «развязанных», разбушевавшихся сил и стихий.

Если в романе «Фабрика Абсолюта» Чапек рисовал сатирически-буффонадную картину конфликтности современного мира, то роман «Кракатит» представляет собой попытку поставить в центре произведения «человечного» героя. Не случайно в качестве такого героя выступает плебей, на собственном опыте познавший, что такое война. Основу произведения составляет история борьбы инженера Прокопа за сохранение секрета созданного им кракатита, на который покушаются международные военные круги.

Своеобразна форма романа. Его действие частично может быть воспринято как галлюцинации Прокопа. Тем самым автор получает возможность делать дополнительные обобщающие акценты за счет экспрессивных и фантасмагорических картин.

Композиция напоминает трехчастное сказочно-симфоническое построение. Три части романа — три круга испытаний и искушений, три соблазна жизненных возможностей, через которые проходит Прокоп. Среди этих соблазнов — богатство, слава, любовь аристократки и перспектива безграничной власти над миром. Не без внутренней борьбы Прокоп отвергает все эти соблазны.

В эпилоге произведения герой, затерянный ночью где-то в поле, откуда он видит атомный взрыв, встречает благостного старичка, бредущего возле ветхой повозки. Нравоучения старичка заключают в себе мораль. «Ты хотел взорваться страшной силой; и вот останешься целым, и мир не спасешь и не разрушишь. Многое останется в тебе запертым, как в камне огонь, и это хорошо, ибо в этом — твоя жертва. Хотел ты творить слишком великое — а будешь творить малое. И это хорошо».

В такой морали есть два аспекта: протест против создания страшного оружия, против войны, насилия, эгоизма и вместе с тем — вновь опасения перед любыми большими акциями и «неосторожными» вторжениями в макропроцессы бытия. Призыв к подавлению гордыни, к повседневному труду на пользу людям, к созданию вместо кракатита машины, которая бы «светила и грела», чтобы «людям легче работалось», — в своей основе глубоко гуманен. Но в то же время он не дает реального ответа на вопрос о создании гармонического общества, в котором не было бы войн и вражды.

Вершиной социальной фантастики К. Чапека стал роман «Война с саламандрами». Он был написан через десятилетие после выхода в свет романа «Кракатит», в 1935 г. За это время в сознании Чапека произошли значительные изменения. Годы мирового экономического кризиса и обострения всех противоречий буржуазного мира, приход к власти в Германии и Италии фашистов с их откровенно бесчеловечной политической программой нанесли чувствительный удар по философским представлениям Чапека. Признать правоту за гитлеровской «животной доктриной», как ее назвал писатель, он не мог. Его прежние философские постулаты о множественности истин, о том, что «каждый прав по-своему» и «судить некого», рухнули, как карточный домик. И это открыло писателю путь к гораздо более решительному и конкретному утверждению и отрицанию. Новый роман Чапека вырос в сатиру на различные стороны жизни буржуазного мира и, главным образом, на бесчеловечную практику фашизма, на милитаризм. Стремлением выявить и обличить антигуманистическую сущность фашизма был подсказан сам образ фантастических человекоподобных животных, оказавшихся способными к подражанию человеку, освоивших внешние атрибуты человеческой цивилизации, но оставшихся невосприимчивыми к ее гуманистической сущности.

Мир саламандр оказывается подобием мира людей, из которого выхолощено человеческое начало, изъято гуманистическое содержание. «Саламандризм» выступает как олицетворение безликого шаблона, бездушного стандарта, нивелировки личности, жестокости.

Воплощение сатирического замысла достигает своей кульминации, когда саламандры отождествляются с фашизмом.

Сближая вымышленную действительность романа с политической жизнью 30-х годов, писатель широко вводит в повествование подлинные факты, намеки на подлинные события, имена известных лиц. Он сатирически «моделирует» политику различных буржуазных государств, основываясь на их реальной политической позиции 30-х годов, повествование облекается в блестящие пародийные стилизации. Все это создает особую, неподражаемую сатирическую атмосферу.

События романа Чапека развертываются в масштабах всего человечества. Это произведение о судьбе человеческого рода, существование которого поставлено на карту. Планетарные масштабы утопии служат в данном случае не только целям сатирической гиперболизации, но и выражению мысли о смертельной опасности для всего человечества со стороны фашизма.

Чапек завершил роман поражением человечества и порабощением его саламандрами. Однако было бы неверно видеть в таком финале прогноз в прямом смысле слова. Горький и саркастический конец романа носит характер поучения и назидания. Предостерегающий и назидательный смысл произведения подчеркнут и тем, что в сатирическую утопию введена глава «Икс предостерегает», содержащая призывы к коллективным действиям против саламандр. Показав затем политику попустительства по отношению к саламандрам-фашистам и изобразив поражение человечества, писатель дает понять, что исход событий был бы иным, если бы призыв Икса был услышан.

Несомненно, последняя книга романа и особенно его финал не лишены и трагической горечи. Это объясняется отчасти общим направлением международной жизни 30-х годов, явно клонившейся к войне. Финал романа можно расценивать как признание Чапеком кризиса буржуазной демократии и ее неспособности блокировать агрессивные силы и предотвратить войну. Однако атмосфера трагической иронии в романе имеет и еще один источник. Веря — о чем свидетельствуют статьи писателя — в конечное торжество гуманистических принципов и в грядущую гармоническую организацию человеческого общества, Чапек вместе с тем не видел путей принципиального устранения «экономического и политического национализма» в обозримом будущем, так как не принимал революционного решения. Трагические ноты не снимают, однако, большой обличительной силы политического памфлета Чапека, который является одним из самых сильных обличений фашизма в мировой художественной литературе.

В настоящих комментариях частично использованы примечания к чешским изданиям этих романов.

Фабрика Абсолюта

Роман «Фабрика Абсолюта» был начат К. Чапеком в 1921 г., окончен в 1922 г. После публикации романа в газете «Лидове новины» (с октября 1921 г. по 10 апреля 1922 г.) в 1922 г. появилось книжное издание.

На русском языке он вышел впервые в 11-м томе «Библиотеки современной фантастики» (М., «Молодая гвардия», 1967), для на-

стоящего тома взят исправленный текст этого издания; перевод сделан по книге Карела Чапека «Továrna na Absolutno», Прага, 1962.

Стр. 8. *«Понедельник»* («Понделник») — имеется в виду утренний выпуск газеты «Лидове новины», выходивший по понедельникам.

У Семи Халуп — хутор близ Малых Сватонёвиц — городка, где родился писатель.

Стр. 22. *Рустон* — металлургические заводы в г. Либень, Чехословакия.

Стр. 23. *Фехнер* Густав Теодор (1801—1877) — немецкий ученый, один из создателей психофизики в экспериментальной психологии, философ-идеалист, считавший, в частности, что материя есть вместилище духа.

Стр. 28. *Крейчи* Франтишек (1858—1934) — чешский философ-позитивист, в момент создания романа профессор Карлова университета в Праге.

«Святой Войтех» — католический журнал, выходивший в Чехии в начале века.

Выскочил Квидо Мария (наст. имя Выскочил Антонин Людвик; 1881—1969) — чешский писатель, автор многочисленных слащаво-сентиментальных романов и рассказов.

Стр. 34. *Экзорцизм* (греч.) — заклинание или изгнание злого духа, дьявола.

Стр. 35. *Лурд* — город во Франции, место паломничества к «святому» источнику.

Место паломничества — «святой» источник Девы Марии в М. Сватонёвицах находился близ дома, в котором родился К. Чапек.

Стр. 43. *Steel Trust* (англ.) — металлургический концерн, *AEG* (Allgemeine Eliktrizitäts Geselschaft) — Объединенная компания электропромышленников; *Маннесман* — немецкий металлургический концерн, производящий трубы, носит имя братьев инженеров-изобретателей М. и Р. Маннесманов.

Стр. 44. *«Чешские братья»* — члены чешской религиозной общины, возникшей около 1457 г., проповедовали добровольную бедность и любовь к ближнему. В период контрреформации жестоко преследовались официальной католической церковью. Реорганизованные группы «чешских братьев» сохранились вплоть до XX в.

Стр. 45. *Дедрасбор* — рабочие театрально-хоровые коллективы, возникшие в Чехословакии в начале 20-х годов.

Стр. 53. *Чванчара* Карел (1882—1970) — редактор газет аграрной партии «Вечер» и «Венков» («Деревня»).

Стр. 56. *Поражение белогорское* — поражение чехов в битве на Белой Горе под Прагой от войск Габсбургов в 1620 г., после которого Чехия на три столетия потеряла независимость.

Стр. 59. *Прейсс* Ярослав (1870—1946) — ведущий представитель чехословацкой буржуазной финансовой олигархии, один из основателей концерна «Живнобанка» (Промысловый банк), председатель Центрального союза промышленников.

Стр. 69. *Чешский лев* — знак, входящий в чешский герб.

Стр. 70. *«Час»* («Время») — чешский общественно-политический журнал либерально-буржуазной ориентации; издавался в 1887—1923 гг.

Стр. 71. *Культ огня у парсов* — религиозный культ у парсов — выходцев из Ирана и Зап. Индии.

Флагелланты (от лат. flagellum — бич) — участники религиозного антикатолического движения, возникшего в XIII в. в Италии среди городской бедноты. Флагелланты рассматривали публичное самобичевание как средство искупления грехов и покаяния.

Хилиазм — религиозное учение о пришествии мессии и тысячелетнем «царстве божьем» на земле; в средние века хилиазм стал составной частью многих еретических течений.

Анабаптисты (перекрещенцы) — члены плебейской религиозной секты, возникшей в Германии в XVI в.; отрицали церковную иерархию и некоторые церковные обряды.

Тауматурги (греч.) — «чудотворцы», члены чешской религиозной секты «белых чудотворцев».

Стр. 89. *Киевский национальный костюм* — костюм жителей округа чешского города Киёв.

Стр. 93. *«Народни листы»* — чешская реакционная газета, с 1935 г. орган фашистской партии «Народни съедноцени» («Национальное единство»).

Стр. 97. *Флетчеровское вероучение.* — Речь идет о пропагандировании американским фабрикантом Г. Флетчером (1849—1919) метода правильного питания (тщательное разжевывание пищи и т. д.).

Стр. 99. *Вааловы идолы.* — У древних народов Сирии, Финикии и Палестины Ваал первоначально бог солнца, грозы и плодородия, позднее — символ воинственности.

Стр. 101. *«Вольная мысль»* — международная атеистическая организация, основанная в 1880 г. на конгрессе в Брюсселе и на-

правленная против католической церкви. Была весьма пестрой по своему составу. Имела определенное влияние в Чехии (конгресс «Вольной мысли» 1907 г. происходил в Праге).

Теософский центр Адиар. — Теософия — религиозно-мистическое учение, признающее источником «богопознания» мистическую интуицию, откровение. В конце XIX в. возникли центры теософического общества в США и в Индии. Адиар — предместье Мадраса, Индия.

Стр. 102. *Бреве* — краткое папское послание.

Конклав — совет кардиналов, избирающий нового папу.

Стр. 103. *Деификация* — букв.: возведение в сан бога (лат.), по аналогии с «канонизацией», ритуалом причисления к лику святых.

Стр. 105. *Acta Sanctae Sedis* («Вестник святого престола» — лат.) — официальный орган Ватикана.

Старокатолики — течение в христианстве, отколовшееся от католической церкви после Ватиканского собора в 1807 г. Старокатолики отвергают верховную власть папы, догмат о его непогрешимости и т. д.

Нонконформисты — здесь: противники епископской церкви в Англии.

Стр. 109. *Махдизм* — религиозное представление мусульман о пришествии мессии, бога или человека, который восстановит «истинный ислам».

Стр. 110. *Ватикан и Квиринал* — в данном случае противопоставление церковной и светской власти *(Квиринал* — название холма в Риме и расположенного на нем королевского дворца).

Стр. 117. *Рейзек* Ярослав, коллега К. Чапека по газете «Лидове новины».

Стр. 118. *«Маккавеи»* — последователи Иуды Маккавея — сторонники иудаизма.

Стр. 119. *Радл* Эмануэл (1873—1942) — профессор Карлова университета, философ-идеалист, подчинявший философию религии.

Веленовский Иозеф (1858—1949) — известный чешский ботаник, позднее сторонник спиритуализма и идеалистической концепции «космического психизма», автор двухтомного труда «Философия природы» (1921—1922), вышедшего из печати во время работы К. Чапека над романом «Фабрика Абсолюта».

Стр. 120. *Арне Новак* (1880—1939) — консервативный чешский литературовед и критик, в момент написания романа К. Чапека профессор университета в г. Брно.

Ян Врба (1889—1961) — консервативный обильно печатавшийся чешский писатель.

Стр. 122. *Битва у Липан* — сражение 1434 г. между таборитами (левое крыло гуситов) и чашниками (правое течение в гуситском движении). Поражение таборитов в этой битве способствовало укреплению феодального строя и католицизма.

Рукописи о делах богатырских. — Имеются в виду так называемые Краледворская и Зеленогорская рукописи, имитация древних эпических сказаний и лирических песен. Они были созданы В. Ганкой в 1817—1818 гг. и выданы за оригинальные древнечешские памятники. Легендарная чешская княжна — прорицательница Либуше, воспетая в этих сказаниях, предрекала, в частности, междоусобицы чешскому народу.

Крамарж Карел (1860—1937) — чешский фабрикант и реакционный политический деятель, лидер буржуазной национально-демократической партии, премьер-министр чехословацкого правительства в 1918—1919 гг., в 1920—1931 гг. — депутат парламента.

Стр. 127. *Эвзоны* (греч.) — греческие гвардейцы.

Стр. 134. *Сословный театр* — старейший театр в Праге, построен в 1783 г., с 1793 г. стал называться Сословным (ныне театр им. И. К. Тыла).

То Бол-кай, Гро-ши — китаизированное написание фамилий чешского историка и библиографа З. В. Тоболки (1874—1951) и бургомистра Праги в 1906—1918 гг. К. Гроша.

Стр. 135. *Капитул* — духовная коллегия при епископской кафедре в католической церкви, в данном случае при кафедральном соборе на Вышеграде в Праге.

Стр. 136. *Битва у Градца Кралове* — произошла в 1866 г. во время австро-прусской войны.

Кракатит

К. Чапек работал над романом с октября 1922 до августа 1923 г. Роман печатался в газете «Лидове новины» (декабрь 1923 — апрель 1924 г.), в 1924 г. появилось и книжное издание. На русский язык роман впервые был переведен (в 1926 г.) с английского издания (украинский перевод, вышедший в 1930 г., был сделан с оригинала). Первый русский перевод с чешского, сделанный по книге: К. Чапек. Krakatit. Прага, 1957, вошел в пятитомное Собрание сочинений Чапека (М., ГИХЛ, 1958).

Стр. 162. *Страгов* — холм в Праге, на котором расположен Страговский монастырь.

Гибшмонка — часть Смихова, промышленного района Прагм, прежде отдаленный пригород.

Кракатау — остров и вулкан в Зондском проливе. Извержение вулкана Кракатау в августе 1883 г. — одно из самых мощных вулканических извержений, во время которого погибло 36 тыс. человек, остров наполовину погрузился в море. Частицы вулканического пепла в течение нескольких лет, оставаясь в земной атмосфере, вызывали повсюду необыкновенно красные зори.

Стр. 166. *Нитраты церия* не обладают свойствами взрывчатых веществ.

Стр. 167. *Перхлорированный ацетилсалицилацит* — вымышленное взрывчатое вещество (соединение хлора и аспирина).

Экзотермические взрывчатые вещества — вещества, взрыв которых связан с выделением тепловой энергии; строго говоря, все взрывчатые вещества являются экзотермическими.

Альфа-взрыв — термин, придуманный Чапеком о взрыве, связанном с радиоактивным распадом типа альфа.

Стр. 169. *Бензолтриоксозонид* — взрывчатое химическое соединение. Озониды не применяются в качестве взрывчатых веществ из-за неустойчивости при высоких температурах.

Аргонозонид — взрывчатое вещество повышенной силы, которое, по мысли Чапека, можно создать на базе инертного газа аргона подобно тому, как создаются взрывчатые вещества на основе азота.

Хлораргоноксозонид — вещество, которое, по мнению автора, должно соединять взрывчатую силу хлористого азота и аргонозонида.

Тетраргон — вымышленное взрывчатое вещество.

Стр. 171. *Сплющивание Фитцджеральд-Лоренца* — сжатие тел в направлении движения при околосветовых скоростях, впервые предположенное ирландским физиком Д. Ф. Фитцджеральдом (1851—1901) и голландским физиком Г. А. Лоренцем (1853—1928).

Эвклидова плоскость бесконечности — плоскость, уходящая в бесконечность. Представление о такой плоскости возможно лишь на основе геометрии древнегреческого математика Эвклида (III в. до н. э.), в соответствии с которой прямые уходят в пространстве в бесконечность и параллельные прямые не пересекаются. Теория относительности Альберта Эйнштейна (1879—

1955) дает иное объяснение пространства. В данном случав Чапек имеет в виду понятие искривления пространства, идею цилиндрической и замкнутой вселенной, которую допускает теория относительности.

Стр. 173. *Вальд* Франтишек (1861—1930), профессор Высшей политехнической школы, преподаватель физической химии, не был сторонником атомной гипотезы, опытов со взрывчатыми веществами не производил.

Гуметалл — вымышленный термин.

Стр. 200. *Бюхнеровская наивность.* — Имеются в виду упрощенные, вульгарно-материалистические воззрения немецкого врача и физиолога Людвига Бюхнера (1824—1899), автора книги «Материя и сила» (1855).

Стр. 203. *Батист Бильрота* — непромокаемый перевязочный материал, созданный известным немецким хирургом Теодором Бильротом (1829—1894).

Стр. 206. *...бросит Юпитера на Сатурна* — согласно античному мифу, Юпитер (Зевс), бог неба и грозы, сверг своего отца, титана Сатурна (Кроноса), покровителя земледелия и мирного труда. Чапек имеет в виду колоссальные стихийные силы, скрытые в природе и в обществе и способные вырваться наружу.

Стр. 220. *«Политика»* — обиходное название газеты «Народни политика» («Национальная политика»).

Стр. 228. *Музей* — чешский Национальный музей, расположен на Вацлавской площади.

Стр. 236. *Как это у Шиллера? «Dem einem ist sie... ist sie...»* — имеется в виду эпиграмма великого немецкого поэта Фридриха Шиллера (1759—1805) «Наука»: «Einem ist sie die hohe, himmlische Göttin, dem Andern eine tüchtige Kuh, die ihn mit Butter versorgt» — «Для одного она возвышенная, небесная богиня, для другого тучная корова, которая обеспечивает его маслом».

Стр. 237. *Балттин* — вымышленный город, название которого рассчитано на ассоциацию с Балтикой и воинствующим германским милитаризмом.

Керанит — вымышленное взрывчатое вещество.

Метилнитрат — взрывчатое вещество, не используется из-за большой неустойчивости.

Желтый порох — вымышленное взрывчатое вещество.

Стр. 238. *Крушер* (англ.) — медный стержень для измерения силы взрывчатых веществ, при взрыве уменьшается в объеме.

Стр. 244. *ТСФ* — сокращенно французское название беспроволочного телеграфа.

Трансрадио — вымышленное название.

Стр. 250. *Евхаристическая церковь* — в данном случае католическая церковь, признающая таинство причастия (евхаристию) и соответствующий ритуал.

Стр. 264. *Фульминат йода* — вымышленное взрывчатое вещество.

Стр. 268. *Ленглен* Сюзанна (1899—1938) — французская теннисистка, чемпионка мира.

Стр. 292. *Сведенборг* Эммануил (1688—1772) — шведский естествоиспытатель, автор теологических сочинений.

Календари — издания для массового читателя и «семейного чтения», содержащие наряду с материалами справочного характера и практическими сведениями художественные произведения, как правило невысокого уровня.

Стр. 299. *Ароматические нитроамины* — азотистые органические соединения, к пудре отношения не имеют.

Стр. 328. *Какемоно* — вид японской живописи на бумаге или на шелке.

Стр. 342. *Перипатетическое обучение* — обучение в процессе непринужденной беседы учителя с учеником.

Стр. 422. *Джирдженти* — город на острове Сицилия (с 1928 г. Агридженто). Построен на месте греческого города Акрогант. В Агридженто сохранились памятники античной архитектуры.

Стр. 423. *Полдью* — населенный пункт на крайнем юго-западе Англии. Во время первой мировой войны здесь была построена радиотелеграфная станция для связи с Канадой.

Пернштин — средневековый замок в Моравии.

Война с саламандрами

Роман «Война с саламандрами» был завершен Чапеком в августе 1935 г., как он сообщал об этом в статье «Ничего нового» для книги «День мира», изданной в СССР по инициативе Горького. Роман печатался в газете «Лидове новины» (с 21 сентября 1935 г. по 12 января 1936 г.), в 1936 г. был издан отдельной книгой с подзаголовком «утопический роман», позже выходил без подзаголовка. На русский язык впервые переведен в 1938 г. Настоящий перевод сверен по чешскому изданию 1958 г., сделанному по исправленному автором изданию 1936 г.

Стр. 437. *«Батя»* — фирма чешского обувного короля Томаша Бати, экспортировавшего обувь во многие страны мира.

Стр. 444. *Тодди* — пальмовая водка.

Стр. 448. *Голомбек* Бедржих (1901—1961), *Валента* Эдуард (1901—1973) — чешские журналисты, коллеги Чапека по газете «Лидове новины», авторы очерковых произведений, романов и книг о Яне Вельцле (см. следующее прим.).

Стр. 449. *Вроде этого эскимоса Вельцля.* — Вельцль Ян (1868—1937) — чех, проведший значительную часть жизни в полярных областях, в Сибири и на Аляске, подвизавшийся в качестве золотоискателя, рыбопромышленника, торговца. Одно время был главой племени эскимосов. После возвращения Вельцля на родину (в 1928 г.) чешские писатели и журналисты Рудольф Тесноглидек (1882—1928), Голомбек и Валента написали ряд книг о его странствиях.

Стр. 473. *Фриско* — просторечное название Сан-Франциско.

YMCA (Young Men's Christian Association — «Ассоциация молодых христиан») — американская мужская религиозно-просветительская организация.

Стр. 480 *...решила сделаться величайшей кинозвездой всех времен...* — Эта фраза бросает иронический свет на название яхты «Глория Пикфорд», в котором претенциозно соединены имя и фамилия кинозвезд Голливуда Глории Свенсон и Мэри Пикфорд.

Стр. 486. *...подобно шиллеровскому рыцарю...* — Имеется в виду герой баллады Ф. Шиллера «Перчатка» (1797).

Стр. 492. *«Торговый флаг»* («Trader Horn») — кинофильм, снятый в 1931 г. в Африке американским режиссером Ван Диком (1887—1943), о приключениях в Африке торговца Горна и белой девушки, плененной туземцами.

Стр. 503. *Иоганн Якоб Шейхцер* (1672—1733) — естествоиспытатель из Цюриха, геолог и палеонтолог. Оттиск древней саламандры, принятый за отпечаток скелета «допотопного» человека, был найден Шейхцером в 1700 г.

Стр. 512. *Мей Уэст* (р. 1892) — американская опереточная и драматическая актриса, одна из кинозвезд Голливуда, автор пьесы «Sex» («Чувственность», 1926), исполнительница главных ролей в фильмах «Красотка 90-х годов» (1934), «Путь в общество» (1935).

«Генрих Восьмой». — Имеется в виду фильм «Частная жизнь Генриха VIII», поставленный в 1933 г. английским режиссером Александром Корда (1893—1956).

Стр. 520. *Лемурия* — мифический материк, существовавший, по предположению некоторых ученых, в древности на месте Индийского океана и соединявший Африку с Индией и Индонезией.

Стр. 521. *Гибловский журнал «Гиллос».* — Гибл Ян (1786—1834) — чешский писатель и редактор развлекательных и научных журналов; журнал «Гиллос» выходил в 1820—1821 гг.

«Млекопитающие» Яна Сватоплука Пресла. — Пресл Ян Сватоплук (1791—1849) — деятель эпохи чешского национального возрождения, профессор естествознания, ботаник и автор книги «Млекопитающие, систематическое пособие для самообучения» (1834).

«Основы природоведения или физики» Войтеха Седлачека — первое на чешском языке изложение основ физики и математики, принадлежавшее перу Иозефа Войтеха Седлачека (1785—1836). Издавалось в 1825—1828 гг.

«Крок» — чешский естественнонаучный журнал энциклопедического характера. Издавался Я. С. Преслом в 1821—1840 гг.

Журнал Чешского музея — научный чешский журнал, издающийся с 1827 г.

Стр. 522. *«О человекоящерах».* — В оригинале романа текст газетной вырезки набран готическим шрифтом, употреблявшимся в Чехии в конце XVIII — начале XIX в., и с сохранением особенностей чешского правописания того времени. Дальнейшие размышления Угера напечатаны латинским шрифтом, но также с сохранением архаического правописания, чем автор намекал на устаревшие воззрения некоторых чешских ученых, своих современников.

Стр. 536. *Поль Адам* (1862—1920) — французский писатель, автор исторических и утопических романов, в которых сказывается повышенное внимание к эротике и аморализму.

Олдос Хаксли (1894—1963) — английский буржуазный писатель, автор утопических романов. В романе «Новый прекрасный мир» (1932) люди будущего изображены им как аморалисты.

Стр. 558. *Э.Э.К.* — Чапек подписал стилизованный очерк об облавах на саламандр инициалами журналиста и писателя, «неистового репортера» Эгона Эрвина Киша (1885—1948), автора многочисленных очерков, материал для которых он зачастую собирал ЕО время путешествий по разным странам мира.

Стр. 572. *Мадлен Рош* (1885—1930) — известная французская драматическая актриса.

Генри (Кульсон) *Бонд* — президент английской ассоциации сталепромышленников.

Тони Вайссмюллер. — Вайссмюллер Джонни (р. 1904) американский пловец, с 1932 г. снимавшийся в роли Тарзана в серии голливудских фильмов о Тарзане.

Стр. 573. *Франсуа Коппе* (1842—1908) — французский поэт, драматург и прозаик, автор популярных в свое время стихов и песен.

Стр. 575. *Pidgin-English* (пиджин-инглиш) — жаргон, распространенный в странах Тихого океана, смесь английского и китайского.

Стр. 576. *«Открытые врата речи»* — комическая аналогия к знаменитому лингвистическому труду великого чешского ученого-педагога Яна Амоса Коменского (1592—1670) «Открытая дверь к языкам» («Janua linguarum reserata», 1631).

Стр. 577. *«Народни листы»* — см. прим. к стр. 93.

Стр. 578. *«...не надо верить никому на свете, нет у нас там друга, нет ни одного»* — строки из стихотворения «Не верим никому...» чешского поэта Сватоплука Чеха (1846—1908).

Стр. 578—579. *Яромир Зейдл-Новоместский, Генриэтта Зейдлова-Хрудимская, Богумила Яндова-Стршешовицкая.* — Чапек иронизирует над распространенной среди третьестепенных чешских писателей провинциальной модой добавлять к своим фамилиям звучные псевдонимы. В данном случае псевдонимы образованы от названий районов Праги (Нове Место, т. е. Новый Город, Стршешовице) и чешского городка Хрудим.

Стр. 580. *...висят ли еще на Мостовой башне головы казненных чешских панов?* — После поражения чехов в битве на Белой Горе под Прагой (1620 г., см. прим. к стр. 56) были казнены двадцать семь руководителей чешского антигабсбургского восстания. Головы казненных дворян были вывешены на Староместской башне Карлова Моста.

Стр. 581. *«Блажен, кто вырастил для родины своей одну хотя бы розу, один хотя бы черенок»* — строки из поэмы чешского поэта Франтишека Ладислава Челаковского (1799—1852) «Столепестковая роза».

Стр. 582. *Болеслав Яблонский* (псевдоним Карела Эугена Тупого; 1813—1881) — чешский поэт, автор сентиментальных стихов и дидактически-морализаторских сочинений.

Липаны и ... Белую Гору... — См. прим. к стр. 122 и 56.

Приматор доктор Бакса. — Бакса Карел (1863—1927), бурго-

мистр Праги в 1919—1927 гг., член шовинистской национально-социалистической партии.

Стр. 596. Текст не имеет смысла.

Стр. 598. *Поль Маллори* — вымышленный французский поэт, имя и фамилию которого Чапек образовал, соединив имена и фамилии Поля Валери (1871—1945) и Стефана Малларме (1842—1898), в творчестве которых отразилось увлечение античностью.

Стр. 600. *...вы приходите к нам не как Афродита Пенорожденная, но как Паллада Анадиомена.* — Анадиомена (греч.) — пенорожденная. Поль Маллори хочет сказать, что на этот раз (в отличие от древнегреческого мифа) из пены морской выходит не богиня любви и красоты Афродита, а богиня мудрости Паллада; ирония Чапека состоит в том, что Афина Паллада, вышедшая, согласно мифу, в шлеме и панцире, из головы Зевса, является богиней не только мудрости и ремесел, но и войны.

Стр. 602. *...спор между старосаламандрами и младосаламандрами* — намек на борьбу между старочехами и младочехами, консервативной и либеральной партиями чешской буржуазии второй половины XIX — начала XX в. В области культуры старочехи отстаивали консервативные национальные традиции, выступая против «вольнодумных» веяний с Запада, младочехи призывали следовать во всем более развитым капиталистическим странам.

«Народни политика» — массовая ежедневная чешская газета, рассчитанная на мелкобуржуазные слои читателей и не отличавшаяся принципиальностью. Выходила с 1882 до 1945 г.

Стр. 606. *Жюль Зауэрштоф.* — Имеется в виду Жюль Зауэрвайн, редактор отдела иностранной политики в ряде парижских буржуазных газет.

Стр. 607. Текст представляет собой набор иероглифов.

Стр. 609. *Тлаченка* (чеш.) — колбаса из рубцов.

Стр. 630. *«Закат человечества».* — Чапек пародирует книгу «Закат Европы» (Untergang des Abendslandes») немецкого философа Освальда Шпенглера (1880—1936), одного из предшественников нацизма; книга выходила в 1918—1922 гг., была переиздана в Германии незадолго до написания Чапеком настоящего романа.

Стр. 639. *Роковые слова «мене-текел-фарес»* — огненные слова, появившиеся, по библейскому сказанию, на стене во время пира вавилонского царя Валтасара и предвещавшие гибель вавилонского царства.

Стр. 653. *«Нам нужно Сто Тысяч Самолетов»* — намек на программу строительства мощного военно-воздушного флота, провозглашенную премьер-министром Великобритании Стэнли Болдуином в 1934 г. в ответ на гонку вооружений в Германии.

Стр. 673. *...Андреас Шульце, во время мировой войны он был где-то фельдфебелем...* — Намек на Адольфа Гитлера, который в годы первой мировой войны был ефрейтором.

На стр. 680 дан фрагмент рисунка И. Чапека, 1922 г.

Содержание

Чапек К.

Ч 19 Собрание сочинений. В 7-ми томах. С иллюстр. Карела и Иозефа Чапеков. Ред. коллегия: Н. А. Аросева и др. Т. 2. Романы. Пер. с чешского. Коммент. С. Никольского. М., «Худож. лит.», 1975.

704 с.

Во второй том Собрания сочинений К. Чапека включены хорошо известные советскому читателю социально-фантастические романы «Фабрика Абсолюта» (1922), «Кракатит» (1924) и «Война с саламандрами» (1936).

Ч $\frac{70304\text{-}386}{028(01)\text{-}75}$ **подписное** **И (Чехосл)**

Карел Чапек

Собрание сочинений
Том 2

Редактор
И. Иванова
Художественный редактор
Г. Масляненко
Технический редактор
О. Ярославцева
Корректор
Н. Усольцева

Сдано в набор 2/IV 1974 г. Подписано в печать 31/XII 1974 г. Бумага типогр. № 1. Формат 84x108 $^{1}/_{32}$. 22 печ. л. 36,96 усл. печ. л. 38,35 + 1 вкл. = 38,41 уч.-изд. л. Заказ № 1380. Тираж 75000 экз. Цена 1 р. 30 к.

Издательство «Художественная литература»
Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Гатчинская ул., 26.